А.В. Амфитеатров

9

А.В. Амфитеатров

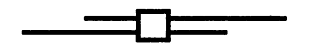
А.В. АМФИТЕАТРОВ





А.В. АМФИТЕАТРОВ

Собрание сочинений
в 10 томах



ЛИЛЯША
ПУТИ РУССКОГО ИСКУССТВА
ЛИТЕРАТУРА В ИЗГНАНИИ



Москва
НПК «Интелвак»
2005

А.В. АМФИТЕАТРОВ

Собрание сочинений в 10 томах

Том девятый



РОМАН

ИЗ ПУБЛИЦИСТИКИ



Москва
НПК «Интелвак»
2005

УДК 882 Амфитеатров 2
ББК 84 (2Рос=Рус)1
А 63

Составление, примечания *Т.Ф. Прокопова*

Научный руководитель проекта *В.Н. Кеменов*
Зам. руководителя проекта *И.И. Изюмов*

ISBN 5-93264-018-9
ISBN 5-93264-025-1 (т. 9)

ЛИЛЯША

Роман одной женской жизни

Пролог

Лето 1896 года было самым нелепым и — не побоюсь признаться прямым словом — *постыдным* в моей жизни. Всегдашним грехом моей молодости, да с отголосками и в зрелых летах, было, как оно в катехизисе определяется, «любление твари паче Бога». То есть весьма самозабвенное увлечение каким-нибудь очень талантливым человеком, дружба с которым становилась для меня на известный период времени, иногда очень долгий, самым важным и дорогим на свете. Так что, говоря высоким слогом, под солнцем ее меркли все остальные житейские интересы и привязанности.

Так любил я когда-то покойного В.М. Дорошевича, Эрнесто Росси, так любил впоследствии Максима Горького и — последняя крепкая и нежная дружба моя — Германа Александровича Лопатина. По выходе своем из Шлиссельбурга он много лет прожил у меня в доме.

В 1896 году предметом такой моей влюбленности был Владимир Иванович Ковалевский, известный государственный деятель последних двух русских царствований. А в то время — директор департамента торговли и промышленности и устроитель пресловутой Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде, столь неудачно затеянной покойным Витте, тогда еще не графом, но просто Сергеем Юльевичем, ибо за «вашим высокопревосходительством» он, «министр в пиджаке», не гнался.

Поехал я в Нижний с Ковалевским на три дня, а застрял там, увлеченный его красноречием и энергией, на три меся-

ца. Застрявши же, как-то совсем незаметно и даже, пожалуй, противовольно закрутился в дикой карусели высокочиновного Петербурга и тузовой Москвы, съехавшихся к слиянию Волги с Окою под предлогом забот и совещаний об экономическом преуспеянии России. А в существе — совершенно по тем же побуждениям, как, бывало, Тихон Кабанов удирал от суровой матери Кабанихи и слезливой, непонятно поэтической жены все туда же, на Макарьевскую: «Душа простора просила».

Как и в какой простор разрешалась эта просьба души, здесь говорить не место и не время. Любопытствующие пусть возьмут мой роман «Дрогнувшая ночь». В его первых главах «нижегородское обалдение» — как аттестовала это время и состояние, усердно переживая их, столь пресловутая впоследствии Эльза Шабельская — изображено подробно и фотографично. Для неохочих же справляться в первоисточниках, скажу кратко: даже и посейчас изумляюсь долготерпеливой милости Божией, что все мы там не спились с круга.

Для такого трагического конца помимо бесчисленных торжественных завтраков, обедов и ужинов было вполне достаточно уже одного павильона, в котором покойный князь Лев Сергеевич Голицын учредил российское Эпернэ и, уверяя, будто его шампанское уже на пути к тому, чтобы превзойти французское, усерднейше приглашал убеждаться в том всякого встречного и поперечного, знакомого и незнакомого с десяти часов утра и до семи часов вечера.

Помню самый высокоторжественный день голицынского павильона: посещение царем, царицею и блистательною свитою, пожаловавшими в Нижний из Москвы, только что отбыв коронационные празднества. Вошло это великолепное сборище к Голицыну величественно и даже строго. Но вышло! Вышло!!

«Сам»-то ничего, должно быть, был крепок на голову, держался молодцом, только немного покраснел с лица. Но зато вокруг царственной четы решительно все устои и столпы

России качались и шатались в самом буквальном смысле слова. Наблюдая это обратное шествие весьма близко, мы с М.И. Кази очень сомневались, не останутся ли царь с царицей у ворот выставки одни-одинешеньки. Потому что свита их таяла с каждым шагом, теряя отсталых у каждой скамейки. Иные же, замедлив шаг, после некоторого нерешительного колебания вдруг обращали стопы свои вспять и устремлялись обратно под тот же гостеприимный кров, только что ими покинутый. Два же звездоносца, выйдя изпод гостеприимного крова, уже и вовсе не могли следовать дальше, но, опершись спинами о стенку павильона, стояли недвижными кариатидами с блаженными улыбками на разрумяненных лицах.

Голицын так основательно обработал государевы палату и воинство, потому что вместо своего шампанского подсунул самое настоящее французское крепчайших марок. Но он не рассчитал, с каким великим знатоком имеет дело. Попробовал Николай, улыбнулся коварно и изрек безапелляционно:

— Pommery sec!..*

Вот этим-то удивительным летом в одно ночное утро или в одну утреннюю ночь, ибо на небе стоял еще выцветающий полный месяц, между тем как весь воздух с востока уже дрожал и румянился зарею, я имел удовольствие впервые познакомиться с нижегородскою местностью, называемою «Пески».

Прибыли мы туда в четырехместной коляске, причем на козлах, рядом с кучером, сидел редактор «Московского листка» Виктор Николаевич Пастухов (сын), малый шальной, кутила и самодур, испорченный ранним, дешево доставшимся богатством, но умница и доброй души — куда лучше отца своего, пресловутого Николая Ивановича! Отчасти его, этого Виктора Пастухова, изобразил я во втором томе своих

* Яблочное сухое!.. (О вине) (*фр.*).

«Девятидесятников» в лице «редактора Бабурова»... Взгромоздившись на козлы, Виктор с весьма серьезным тщанием трубил сигналы на добытом откуда-то почтальонском рожке.

Рядом со мною сидел петербургский сановник на министерской стезе, соперник В.Н. Коковцева, В.И. Тимирязева да не очень-то доброжелатель и В.И. Ковалевского. Он попеременно был в трех настроениях. В первом проклинал Витте и трех, только что названных его товарищей, доказывая, что они социалисты и губят Россию. Во втором читал наизусть одно за другим чувствительнейшие стихотворения Фета. В третьем ругательски ругал свою жену, призывая небеса в свидетели, что она — «из стерв стерва». Не имея чести лично знать ее превосходительство, я не имел причин оспаривать утверждение его превосходительства. Но так как инкриминируемая жена, сколько мне известно, жива и по сие время, то я остерегусь назвать его превосходительство по имени. Сам он расстрелян большевиками в 1918 или 1919 году где-то на Северном Кавказе.

Насупротив, на передней скамеечке, помещался «король московских репортеров» В.А. Гиляровский (всероссийски известный «дядя Гиляй»). Внимательнейше рассматривая и вертя в руках неизвестно зачем поднятую стоптанную опорку, он всю дорогу глубокомысленно решал трудный вопрос, какой именно босяк мог ее потерять с ноги.

Рядом задумчиво и величественно улыбался Н.А. Мейнгардт, красивый, солидный русский немец, москвич, капиталист из некрупных, но большой делец «с идеями». За рыцарство и широкую натуру мы на выставке прозвали его «принцем крови». Он был издателем выставочной газеты, а я «считался» редактором. Ставлю кавычки потому, что после первых двух-трех дней этого курьезного издания я, закружившись в вихре «нижегородского обалдения», решительно ничего в газете не делал, а все в ней мастерил

очень молодой еще, добросовестный и работящий Н.Е. Эфрос, впоследствии театральный критик и вообще близкий сотрудник «Русских ведомостей».

* * *

«Пески» Нижегородской ярмарки — это отмели р. Оки, сплошь покрытые бараками-ресторанами, которые, кажется, торговали только ночью. По крайней мере не вспомню, чтобы кто-либо признавался в том, что он днем пировал на «Песках».

Гораздо правильнее было бы назвать эти ночные рестораны с откровенностью публичными домами почти что под открытым небом и... уж как-то очень по-русски: с размахом разгула, едва ли достижимым в какой-либо другой стране и обстановке.

Среди гостей, мужчин, мелькали азиатские физиономии и костюмы, носы армян, глаза-маслины персюков, грузинские черкески, но их меньшинство терялось в море русых бород, серых глаз, скуластых и лобастых лиц с носами топором и картошкой. Гуляли Верхний Плес, Леса, Горы, Низовье, Москва, Сибирь. Никакой «Европы» совсем не было видно, равно как и евреев. Женщины все были русские, за исключением какого-то венгерского квартета и цыганского хора, — и все, во всех хорах — откуда только собрали их таких? — одна другой краше. И во всех прозрачно сказывалась еще вчерашняя сарафанница «сверху», из-под Городца либо Балахны, или «снизу», из-под Дубовки.

Никогда, ни раньше, ни позже, нигде, ни в Европе, ни в России, ни в известных мне кусках Азии, не видал я более смелого и бурного, убежденного, восторженного служения Вакху и Афродите, хотя из тысячи-другой гулявших едва ли набралось бы здесь десять человек, слыхавших о Вакхе и Афродите. Да и из этих десяти поди половину привезла наша коляска. Зато славянского Ярила все эти дети Волги, Оки и Камы зна-

ли очень хорошо. А неистовое бушевание этих июльских ни утра, ни ночи было, конечно, не чем иным, как бессознательно справляемым Ярилиным праздником.

То, что творилось кругом, я не решусь назвать даже развратом. Потому что в разврате, хотя бы самом разнузданном, всегда сквозит и слышится тайная холодная основа его: рассудочная изощренность больной чувственности и еще более рассудочно потрафляющая на нее корысть. Здесь было совсем не то.

Когда мы изучаем историю уничтоженных христианством натуральных религий, нам очень привычно повторять определения — *религиозное пьянство*, *религиозная проституция*, — но очень трудно их психологически осмыслить, образно согласовать, представить идею в деятельности, символ в воплощениях действительности. На нижегородских «Песках» я понял, что это было и как оно бывало.

И вот что я скажу. Декламировать о «божественных оргиазмах» и воображать их в романтической дымке — дело легкое и красивое: немножко статуарный музей, немножко игривый балет. Но, когда вы попадаете в настояще оргиастическую обстановку, цельную и неподдельную, это... «Это вам не жарты», — как говорил покойный Дедлов-Кигн, но *страшно*.

Настолько страшно, что откровенно признаюсь: впервые едучи на «Пески», я был пьян — очень мило, весело пьян. А в какие-нибудь десять минут на «Песках» я их зрелищем вытрезвился до совершенно отчетливого сознания, что здесь пьяным быть нельзя, а держи ухо востро, ибо «надо беречь свою шкуру».

Беречь от чего? От грабежа? От мошенничества? От соблазна на какую-нибудь из вакхически кружащихся бабенок, которая вдруг окажется черт знает чем больна? От столкновения с ревнивым «котом» и тычка ножом под пятое ребро?

В отдельности все это страхи мальчишек. На них, с позволения сказать, «наплевать» человеку, прошедшему во

всесветном бродяжестве огни, воды и медные трубы и наученному пестротою пережитых опасностей разглядывать не только приближающегося человека, но и, как говорится, на три аршина землю под человеком. «Бродя три раза кругом света, я научился храбрым быть!» — как рекомендует себя звучным баритоном маркиз де Корневиль.

Нет, не то. А страшна совокупность, общий дух, вся атмосфера этого, кругом тебя охватывающего, оргиазма, чреватого неожиданностями самых диких вдохновений — на неслыханные слова, на невообразимые *поступки*. Страшна молния мысли, вдруг обжигающая мозг: «Если я не поддамся общей одурке, выйду ли отсюда живым? Если поддамся, не убью ли кого-нибудь?»

Эти безумноглазые бабы-зверихи, с атласной кожей и еще грубыми, рабочими ногтями, рвущие платье с наливных плеч вместе с пуговицами, падающие белыми грудями в лужи расплесканного по столам вина, вытирающие эти лужи бархатными и шелковыми подолами, не растерзают ли меня, смущенного невидалью гостя, как некогда фиванские вакханки истребили противника *Дионисовых* празднеств, скучного Пенфея?

А если войду во вкус и закружусь с ними, то не растерзаю ли я сам какого-нибудь Пенфея, охваченный вакхическим безумием, подобно матери этого несчастного царька, когда она, неся голову сына, воткнутую в пику, голосила победную песнь:

Мы несем с гор
Славную добычу:
Зверя затравленного
В удачной ловитве!

Никогда-никогда, нигде-нигде не видел я, чтобы так обильно — прекрасно и страшно — потоком лился виноградный

сок. Никогда и нигде я, полсвета объездивший, не видал такого обилия женщин-богатырок; столько прекрасных в своей здоровой полуобнаженности и столько бесстыдно животных вызовом нестесняемой чувственности, в которой не разобрать границы, где продажность, где каприз похоти. Былинная плоть бушует. Начинаешь понимать, как Забава Путятишна наперекор девичьему стыду прибежала сама сватать себя Соловью Будимировичу.

Как удалая поленица Настасья Микулишна хватала добрых молодцев за желты кудри и сажала во глубок карман:

— То ли я молодца убью, то ли за молодца замуж пойду.

Как Святогорова жена, понуждала «старого казака» Илью Муромца:

— Сотвори со мною грех, а не то разбужу мужа — пущай он с тебя голову снимет!

Никогда не слыхал я таких дико соблазнительных песен. Никогда не обонял таких грешных запахов, раздражающе объединявших женщину и вино, любовь и смерть, страсть и гниение, прелесть живого тела и разложение трупа. Никогда не встречал таких смелых и дерзких мужских лиц, с глазами, в которых ревущие инстинкты погасили интерес к различию между добром и злом. И светилась в них лишь безумная воля к наслаждению. Во что бы то ни стало, до последней нитки с себя, до ножевой расправы со всем, что становится на дороге и препятствует.

Это было не «дно», о котором нам повествовал Горький, потому что «дно» нище, скудно и голодно и именно лишь чрез нищету, скудость и голод свирепо и зло. А здесь, говорю же я, картуз, чуйка, «спинжак» и сапоги бутылками заливали столы лужами шампанского, а бабы шелком и бархатом грязь вытирали. Но веял над безумною толпою удачников, может быть, еще вчера нищих и завтра нищих опять, грозный и увлекательный демон именно того романтического «дна», дошедшего с отчаяния до философии приятного са-

моуничтожения чрез алкоголь и зверинство. Дух разрушительного презрения ко всему, кроме очередного страстного достижения. Дух отречения от всего, кроме переживаемой минуты своевольного торжества. Дух фанатического охвата грехом, который вырос в единое, исполинское и требовательное божество. И пред лицом его тут уже никак не философствовали, но радостно самоуничтожались.

* * *

Конечно, я рассказываю здесь только первое впечатление. Впоследствии я в этом хаосе осмотрелся, разобрался и приобвык к нему.

«Как?! — воскликнет целомудренно возмущенный читатель, а тем паче стыдливая читательница. — Как? Вы не ограничились одним посещением подобного ада, а еще возвращались в него? Ну, знаете… Случайно упасть в яму — это еще куда ни шло, особенно если потом последовало раскаяние. Но сознательно <…> барахтаться в ней... Ай-ай-ай-ай, какой же вы дурной, нехороший!»

Со всеми достойными проступка извинениями должен сознаться, что да — прошел дикую школу песковского безумия весьма основательно! И не стану лицемерить: совсем не для того только, чтобы «наблюдать нравы и запасаться материалом». Это потом пришло само собою, как-то даже без предвзятого намерения и усилия с моей стороны. А сперва просто затянуло вихрем, понравилось. И имею дерзость нисколько не раскаиваться в том, хотя глупостей тогда наделал много, а повредил себе ими еще больше.

Было несколько дней опасного угара, когда «Пески» были сильнее меня, а потом через привычку я стал сильнее «Песков». То есть именно овладел возможностью уже наблюдать их спокойным любопытством изучателя. Завелись у меня и песковские дружбы — мужские и женские. В числе этих последних и с тою, чья жизнь рассказана в этой книге.

Я заметил ее еще в первый раз, как попал на «Пески». В дикой сумятице молодых и нарядно разодетых баб, крутившихся между столами, она, видимо, была старшею и как бы вроде распорядительницы. Туалет ее, в противность всем прочим, был скромный и глухой. Если бы не «краска ланит», сделавшаяся фиолетовою в лучах народившегося дня, ее издали и с близоруких глаз можно было бы принять за гувернантку из хорошего дома, невесть какими судьбами заблудившуюся в этот вертепе. И лишь с приближением иллюзия пропадала, потому что скромный гувернантский туалет и по материи, и по столичному, если не парижскому, фасону оказался тысячным.

Лицо ее, весьма обремененное белилами и румянами, кармином и тушью, было изрядно помято, обличая немолодой уже возраст. Да и в фигуре, и в походке сказывалась брюзглая тяжеловесность полной женщины в сорок лет — бабий век. Меня поразили ее глаза: большие и слегка выпуклые, налитые ласковым серо-голубым светом, они, единственные во всем бабьем сборище, принадлежали не пьяной, одичалой в похотях, двуногой зверихе, но существу сознательному, должно быть, неглупому и даже как будто интеллигентному. Более того: они показались мне знакомыми. Словно я уже видал где-то эти «интересные» глаза.

— Обратите ваше просвещенное внимание, — басил мне Виктор Пастухов, — любопытнейший экземпляр местной фауны и флоры! Хозяйка русской капеллы. Командует девятью музами, сама десятая. Особа, доложу вам, анекдотическая. Из образованных. Знаете, как немка сводня девицу рекомендовала: «Клавир шпильт, Чернишевски гелезен унд...»* — ну, и так далее!.. Погодите, с нею не скучно, я ее приглашу к нашему столу.

И возопил гласом великим:

---

* «Играет на рояле, читала Чернышевского и...» (*нем.*)

— Елена Венедиктовна! Друг сердечный! Что ты вокруг ходишь — приятеля обходишь? Будет тебе за казанцами ухаживать, присядь к москвичам!

Рекомендация Пастухова не оправдалась. Подошедшая к нам особа казалась нисколько не интересною, а, напротив, именно скучною. Шаблонный тип старой городской проститутки, смолоду имевшей обращение со студенчеством и офицерством и от них нахватавшейся некоторой дрессировки на загадочно-пикантную роль несчастно загубленной якобы «женщины из общества». Может слегка поддержать подобие «образованного» разговора с полупьяным гостем — интеллигентом, охочим допытываться, «как дошла ты до жизни такой». Способность не мудрая, так как, обыкновенно, в подобных беседах интеллигент сам разглагольствует за двоих, а женщине остается только подавать в паузах согласные реплики. В молоденьких проститутках это по крайней мере наивно и комично, но старая вертепная баба, кривляющаяся пародией на «синий чулок», достаточно противное существо. К тому же наша собеседница недолго и выдержала роль, вскоре перейдя с Пастуховым в беседу, содержание которой передавать излишне да и невозможно. В ней «хозяйка русской капеллы» если и обнаружила начитанность, то уж никак не в Чернышевском, но в запретных произведениях Пушкина, Лермонтова и Баркова. Рассмотрев ее близко, я убедился, что ошибся: никогда раньше ее не знавал и не видал.

Однако вскоре мы лучше познакомились и подружились. Привлекли меня удивительно восторженные отзывы о ней девяти ее хористок. Редкость исключительная! Обыкновенно обо всех подобных хозяйках у кабальниц — одна аттестация: «Змея, ведьма киевская, кровь нашу пьет! Подарить бы ее знакомому черту, да совестно — назад приведет!»

Елену же Венедиктовну ее девицы обожали: «Мать родная, а не хозяйка! Лучше матери! За нею, как за каменною стеною! Ей бы не в этаком месте, то святою быть!»

Вспоминая сцены, потрясающее собеседование Елены Венедиктовны с В.Н. Пастуховым, я выразил некоторое сомнение в ее пригодности для кандидатуры в святые.

Но получил ответ:

— Это что же! Такое наше дело. Мы знаем, какому гостю чем угодить можно, и должны потрафлять. Ремесло нельзя ставить в вину. «Язык болтай — голова не знай». Вы бы еще обиделись, что она пьет люто...

— А люто?

— До ужасти. И, когда во хмелю, очень нехороша. Поэтому, зная себя, крепится. И от воздержания — почти всегда не в духе. Ну а когда не вытерпит, черт прорвет — пошла куролесить: все пропьет! Кабы не это, разве бы ей с нашею капеллою горе мыкать? У нее способностей и ума — палата: достало бы на большие дела... Она нам во хмелю иной раз показывала такие листы от начальства, что даже страшно смотреть, сколько печатей, да медалей, да двуглавых орлов... И ведь только не любит она обнаруживать, а попробуйте: она и по-французскому, и по-немецкому… по-всякому может...

А уж доброты... истинно ангельская душа! Другие хоровые «апринерши» только знают, что деньги в банк кладут да купоны стригут, а девушки у них воймя воют. А у нашей мы как сыр в масле катаемся, а сама она, случается, при плохих делах часишки закладывает и кольца с рук. А уж — чтобы обидел кто которую-нибудь из нас, трактирщик ли, услужающий ли, гость ли, — Боже сохрани! Не посмотрит на лицо, но — смирна, смирна, добра, добра, а тут с нею не шути: глаза выцарапает!

Да и помимо рекомендации хористок заметно было, что «Пески» очень уважают Елену Венедиктовну. Когда вспыхивали пламенные хулиганские ссоры и добрые молодцы, запустив руку под полу пиджака за спину, начинали нащупывать финские ножи, Елена Венедиктовна бестрепетно устремлялась между повздорившими и — глядишь, — в два-

три слова улаживала дело. Уже опять сидят все вместе и мирно пьют.

Поэтому я думал, что Елена Венедиктовна — женщина большого и властного характера. Однако при ближайшем знакомстве убедился, что у нее, напротив, вовсе нет характера. Натура слабая, податливая, неспособная на отказ, когда ее настойчиво просят, хоть бы даже к очевидной своей невыгоде. А потому — вечно эксплуатируемая и то под одним, то под другим влиянием, очень непостоянная. Таким образом, ясно стало, что любят ее «Пески» не за страх, но за совесть, относясь к ней, пожалуй, немножко, как к ... чтимой юродивой!

«Образованностью», о которой я столько наслышался, Елена Венедиктовна никогда предо мною не блистала. Но наконец однажды вдруг выказала ее в таком неожиданном свете, что озадачила меня ужасно — до полной растерянности.

* * *

В тот раз — я заметил — она все как-то странно поглядывала на меня своими ласковыми серо-голубыми глазами, как будто порываясь и не решаясь заговорить со мною о чем-то, очень ее волнующем и важном. Мне это надоело, и я окликнул ее шуткою:

— Елена Венедиктовна, если любите, скажите прямо, а так не смотрите: сглазите!

Тогда она, покраснев под румянами, мигнула мне на дощатую стенку слева и шепнула:

— Выйдите в отдельный кабинет, я должна вам что-то сказать...

Отдельный кабинет на «Песках» — не иное что, как чулан из барачного леса, с дырьями в досках и щелями между досок. В щели проходит указательный палец, в дырья — большой. Я последовал за Еленою Венедиктовною в это поме-

щение — из вежливости, но без всякого удовольствия, опасаясь трагикомической возможности получить амурное приглашение от женщины, столь же мало пригодной для роли жены Пентефия, как я для роли Прекрасного Иосифа. Но, когда мы вошли в чулан, она вдруг обернула ко мне очень серьезное и смущенное лицо и чуть слышным шепотом быстро спросила:

— Простите, что смею... скажите... не откажите... Ваш дядя, профессор Александр Иванович Чупров, сейчас в Нижнем Новгороде?

Меня ошеломило до состояния барана, созерцающего новые ворота. Услыхать имя скромнейшего, трезвейшего, целомудреннейшего Александра Ивановича Чупрова из дышащих коньяком уст полупьяной хозяйки проституцией живущего хора на нижегородских «Песках» — это... номер!!!

Я до того растерялся, что вместо естественного вопроса: откуда вы знаете, что Чупров мне дядя и какое вам до него дело? — пробормотал... положим, тоже естественный ответ:

— Нет, он вчера уехал в Москву... А что?

— А вы в Москве его не увидите?

— Конечно, увижу, но...

Она совсем сконфузилась.

— А... вас не затруднит... вам не будет неловко... когда вы увидите Александра Ивановича, передать ему... мой почтительный... сердечный привет и глубокий-глубокий поклон?..

— Ваш поклон?! Простите, Елена Венедиктовна, но... Послушайте, каким образом вы можете знать дядю?!

Она с горечью и как бы с гордым негодованием отвечала:

— Да уж, конечно, не здесь с ним познакомилась и ни в каком другом подобном месте. Не беспокойтесь, я знаю, о ком говорю...

Нагнулась совсем к моему уху и, утопив меня в коньячном духе, прошелестела:

— В 1880-м я была его слушательницей на курсах Герье... Час от часу не легче!

— Вы... Елена Венедиктовна... были на курсах Герье?!

— Да, была и на курсах Герье, — подчеркнула она голосом, указывая тем, что курсами Герье ее образовательный ценз не ограничивается.

А из-за стены, сквозь дырья в большой палец и щели в указательный, гудит-орет содом разноголосицы. Сразу десять песен под пианино, торбан, гармонику, балалаечный оркестр — и все одна другой удалее и отчаяннее:

Ай люли!
Все бери!
Ярмонка на то!
Денег не жалей — и
Будет хорошо!

———

Серая свита
И бубновый туз,
Голова обрита
И старый картуз...

———

Паша! Паша! Я пред тобой лежу,
Паша! Паша! В глаза тебе гляжу...

———

Погиб я, мальчишечка,
Погиб навсегда,
Годы за годами
Идут, как вода!

— Ну, — оборвала Елена Венедиктовна, — подробно объяснять — слышите? — мне некогда и не к месту. А заговорила я с вами об Александре Ивановиче потому, что третьего дня после многих лет видела, как он подъехал на извозчике к Главному дому... Лучше, святее вашего дяди я в жизнь свою никого не встречала, и остался он для меня, как помню его на кафедре, самим дорогим видением... А, впрочем, теперь такой, как вы

меня видите, это мне и вспоминать-то не следует... выходит вроде кощунства... Но... вот, видела на улице, узнала... и очень душа всколыхнулась!.. Так, если не противно вам, передайте поклон-то... от Елены Сайдаковой!..

— Вы Сайдакова? — изумился я.

Эта фамилия хорошо была мне известна по Москве. Один Сайдаков был моим товарищем по университету. Теперь я узнал, почему так знакомы казались мне глаза Елены Венедиктовны: это были точка в точку глаза моего товарища.

Я не был знаком с Сайдаковыми, но слыхал о них очень много хорошего, как о семье интеллигентной, либеральной, заметной в общественной жизни. К тому же они были в родстве с одним из популярнейших профессоров университета, игравшим в Москве очень значительную роль вездесущего деятеля, без которого, что называется, и вода не святится, и сыр-бор не горит.

Елена Венедиктовна кивнула головой и продолжала:

— Я вас сразу узнала, как только вы приехали к нам в первый раз... Помните, с Виктором Пастуховым?

— Да... но разве мы когда-нибудь были знакомы?

— Лично нет, но я слыхала вас в концертах... Вы ведь Кочетовой ученик?

— Да, был грех.

— На студенческих балах видала в Собрании... Вы-то, извините, были тогда еще почти мальчик, только что вышли в молодые люди. А я была уже взрослая барышня… Пожалуй, иной злой язык мог бы уже обидеть и перестарком назвать…

Мне все-таки она была еще немножко сомнительна. Доказательных примет дает много, да ведь могла она их нахвататься и со стороны. Знал я в Москве сыщика — специалиста по студенческим делам. Он, натершись-нашлифовавшись в университетских кругах, всю профессуру изучил как свои пять пальцев — до подноготной. Всюду сходил за «старого

студента» и обнаглел до такой самонадеянности, что во время одной университетской истории затесался в делегацию, отправленную студенчеством к ректору Н.С. Тихонравову. Но тут-то и сорвался. Тихонравов был памятлив на лица. Увидев пред собою незнакомого студента, к тому же не очень юных лет, он удивился и быстро спросил:

— Вы на каком же факультете?

«Старый студент», рассчитывавший смирненько постоять за спинами молодежи и послушать, что она, крамольная, будет изъяснять ректору, никак не ожидал той возможности, чтобы ректор заговорил именно с ним. Застигнутый врасплох, он растерялся, заторопился и бухнул:

— На юридическом.

Тихонравов лукаво ухмыльнулся и посоветовал студентам пересмотреть состав делегации, так как слушатели «юридического» факультета вряд ли могут быть компетентны в академических вопросах. Понятно, что «старый студент» поторопился расточиться, как бес от креста, не выжидая, чтобы молодые студенты приняли его в толчки, «яко злодея пехающе».

«Так вот, — думаю, — и здесь не «юридический ли факультет»?»

Спрашиваю:

— А вы что слушали у Александра Ивановича — политическую экономию или статистику?

Отвечает:

— Статистику и историю политической экономии. Я и в семинарии у него работала. Реферат подала о Бентаме. И ничего, защитила. Он очень хвалил...

Черт знает что такое! С конфузом вспоминаю, что я-то сам этого Бентама так и не удосужился прочитать за все мои четыре университетских года, сколько ни настаивал на том дядя: даже и сочинения Бентама мне подарил!.. И вот вдруг встает предо мною укоряющим привидением его эко-

номическая тень! И где же? На «Песках»! И кто же вызывает ее? Старая проститутка! А за стеною, знай себе, рев и гам:

Обобью я гроб парчою,
Оболью его...
Ах, тошно да невозможно,
Без милова жить не можно!..

Елену Венедиктовну окликнули: кто-то потребовал ее капеллу, и она, поспешно простясь со мною, выбежала из чулана. От столиков, между которыми она проходила, сыпались предположения по поводу ее продолжительного отсутствия, более остроумные, чем цензурные. Она на бегу отстреливалась словами, от коих во всяком другом здании стены покраснели бы. А я в чуланном одиночестве недоумевал, наяву я или это уже начинается бред — столь заурядный результат «нижегородского обалдения»?

* * *

В Нижнем я пробыл до средних чисел августа. Так что знакомство мое с Еленой Венедиктовной Сайдаковой продолжалось более месяца. За это время мне удалось оказать ей довольно серьезную услугу, выручив из беды ее любовника. Сударя этого, грозу ярмарки, губернатор Н.М. Баранов, предназначил было к высылке из Нижнего за поведение, слишком громкое даже для «Песков».

Всемогущий нижегородский губернатор-диктатор был человек иронический и весьма не без остроумия. Встретив меня на выставке, он сказал:

— Я ваше ходатайство уважил, оставил этого шельмовского Энея при его Дидоне. Но если теперь в Оке удвоится число утопленников, то по крайней мере записывайте их в поминание: это будет на вашей душе грех.

Его превосходительство жестоко преувеличивал, Черненький (так звали на «Песках» моего протеже) был действительно буян ужасный и вор изрядный, но парень столь добродушного и веселого нрава, что вообразить его в убийцах я никак не могу.

Да и Елена Венедиктовна клялась, а все ее девицы подтверждали, что никаких серьезных (по ярмарочным понятиям) грехов за Черненьким не водится. А просто он горячка, нетерпелив, самолюбив, обидчив, а потому уж чересчур охоч «ходить со своим кулаком в чужую морду». Надо думать, что и в его «морду» чужие кулаки ходили частенько, потому что он вспоминается мне не иначе, как с закрашенным пудрою синяком под глазом. Без подобных украшений я, кажется, его не видал ни разу. Он был значительно моложе Елены Венедиктовны и очень красив. По словам хористок, жила эта пара душа в душу.

Но пили оба действительно зверски. Причем Черненький-то вливал в себя вино, словно воду плескал на каменку, — только пару поддавал, а не пьянел нисколько. Ну а Елену Венедиктовну случалось раза три видеть в лютейшем бушевании пьяной истерики. А однажды — и вовсе бесчувственною, как говорится, без задних ног.

За хлопоты у Баранова Черненький отблагодарил меня тем, что неожиданно возвратил мне золотые часы с брелоками, сорванные у меня в одно из первых моих посещений «Песков». И тут тоже не обошлось без курьеза. Рассыпаясь в благодарностях, любезностях и извинениях, он подал мне великолепный тяжеловесный хронометр с инициалами под баронскую короною.

— Слушайте, это не мои часы, — отказался я, — я не могу их взять...

— Не ваши? — удивился Черненький. — Ах, да! Извините, ошибся, в другом кармашке...

И, спрятав баронскую драгоценность, извлек откуда-то из-под жилета уже несомненную мою собственность.

Настоящее имя Черненького было Илья Тимофеич, фамилии не помню точно — Богоявленский или Вознесенский. Он был в своем роде тоже образованный: происходил из духовного звания и прошел четыре класса духовного училища при каком-то монастыре Калужской губернии, откуда, однако, вылетел, не кончив курса и с волчьим паспортом. По свидетельству — за «дерзновение против начальствующих лиц и нестерпимое буйство». А по словам самого Черненького — «подвел подлец инспектор за то, что не хотел ему вместо девчонки быть». Рассказы его о духовном училище и монахах были жутки до неправдоподобия. Однако, читая впоследствии «Пруд» Ремизова, я нашел в нем как раз те сцены, что с большой злобою описывал Черненький.

Поклон Елены Венедиктовны Александру Ивановичу Чупрову мне случилось передать только много лет спустя, в 1904 году. Обстоятельства сложились так, что после Нижнего я немедленно уехал из Москвы за границу, а возвратясь, вскоре переселился в Петербург. А тем временем Александр Иванович Чупров был выжит из московского университета Боголеповым, Капнистом и усилившеюся в совете профессоров кликою реакции, покинул Россию и осел в Мюнхене. У меня же последовали: разрыв с «Новым временем», стремительный боевой период «России», взрыв сего корабля пресловутым фельетоном «Господа Обмановы», ссыльный год в Минусинске, перевод в Вологду, японская война, вторая ссылка в Вологду за Горный институт — и, наконец, после убийства Плеве Сазоновым Лопухин выпустил меня за границу, и я превратился в эмигранта.

При свидании с дядею в Мюнхене много перетряхнули мы воспоминаний — почти за десять лет! И в том числе набрел я памятью на давно забытое имя Елены Венедиктовны.

— Скажи, пожалуйста, — спросил я, — не вспоминается тебе из твоих московских слушательниц некая Елена Сайдакова?

Александр Иванович оживился и засверкал очками.

— Как же! Очень помню. Премилая была барышня. Не скажу, чтобы очень даровитая, но умница, старательная, работящая. Подала мне прекрасный реферат...

— О Бентаме?

— Да. А ты откуда знаешь?

— От нее и знаю.

— О?! Да врешь?!

Я с терпением принял это вековечное скептическое присловье дяди (надо заметить, самого доверчивого человека в мире), выкликаемое им, бывало, раз по двадцати на день — навстречу решительно каждому сообщению, которое его приятно удивляло. А он столько же обычным жестом хлопнул себя ладонями по коленкам и расспрашивал:

— А что она? Где и как она? Я давным-давно потерял ее из вида. Славная, славная была девушка. И ведь даже собою недурна очень. Расскажи, пожалуйста. Интересно знать, что из нее вышло...

Он так хорошо обрадовался своей бывшей слушательнице, что мне сделалось ужасно тяжело огорчить этого святого человека (покойный редактор «Русской мысли», В.М. Лавров, умиленно звал его «Пречистою Китайскою Богородицею»), посвятив его в печальную правду. И солгал — сказал с небрежностью:

— Да ничего особенно замечательного не вышло. Обыкновенная мать семейства. Когда я ее видел, имела девять душ детей...

— Девять?! — ужаснулся дядя и, хотя хлопнул себя по коленкам, но даже не прибавил дежурного: «Да врешь!» — между тем как именно в этот раз имел на то полнейшее право.

— Ровнехонько девять, — подтвердил я с совершенно спокойной совестью, вспоминая слова хористок Елены Венедиктовны: «Она нам мать, лучше родной матери!..»

* * *

Покуда я оставался в Нижнем, Елена Венедиктовна навещала меня довольно часто. Особенно после того, как я, на-

скучив осточертевшею выставочною суматохою, «в пустыню удалился». То есть бросил шумное и безумно дорогое житье в гостинице, и наняли мы вдвоем с проф. Дмитрием Петровичем Коноваловым (известный химик, вскоре после того директор Горного института) крохотную дачку: очень уединенный оазис позади выставочных зданий, посреди пустыннейшего кочковатого болота, под приземистым и ржавым, редким, засыхающим сосновником.

Болото это, вероятно, и мокрое-то было довольно отвратительно, а высохшее, уже совсем ни на что не походило. Более чахлого и гнусного пейзажа я не видывал. Но внутри дачки малютка садик, дико заросший травой, репейником и лопухами, и терраска, задавленная до полумрака буйною сиренью и бузиною, были очаровательны: создавали впечатление далеких-далеких — где-то вне культуры, за тридевять земель, в тридесятом царстве — покоя, мира и тишины.

Мы с Коноваловым отлично жили в своем зеленом омуте. Совсем не предчувствовали, что будет время, когда «коноваловская история» в Горном институте поставит нас, так сказать, по разные стороны баррикады и меня за ее обличение Плеве вторично ушлет в Вологду, а его она лишит популярности (в девяностых годах огромной) среди учащейся молодежи. Еще менее того предчувствовали, конечно, что придет и такое время, когда я, гонимый Сипягиным и Плеве, «враг существующего строя», окажусь в новом зарубежном изгнании, «контрреволюционером» и «матерым белогвардейцем»; а покровительствуемый Плеве, верноподданнейший и консервативнейший Д.П. Коновалов благополучно состоял на службе у большевиков, будет у них persona grata* и в качестве академика будет подписывать сочувственные адреса Ленину, Дзержинскому, Горькому...

Переутомленные выставкою и ярмаркою люди любили приезжать на отдых в наш оазис. В.И. Ковалевский, М.И. Кази,

---

* Желательная персона (*лат.*).

С.Т. Морозов, кн. А.И. Сумбатов-Южин, К.Н. Рыбаков, Е.А. Шабельская, Е.К. Лешковская и др. были нашими гостями. Впрочем, вернее будет сказать — моими. Потому что Коновалов, страшно занятой по выставке, уходил на нее с раннего утра и возвращался только к ночи, часов в десять и позже. Но это были гости явные и почетные. В сумерки же ныряли ко мне ночные потайные птицы — вроде Елены Венедиктовны, Черненького и им подобных. Один Гиляровский каких только типов ко мне не привозил и не присылал!

Кроме того, встречались мы с Еленою Венедиктовною раза два или три в казенной каменной гостинице у покойного Владимира Карловича Петерсена, писавшего в «Новом времени» под псевдонимом «А-т». Как-то раз они столкнулись у меня, и В.К. Петерсен ею чрезвычайно заинтересовался.

Петерсен был человек большого таланта и ума, но вывихнутых до парадоксальности, иногда граничившей с безумием. Незадолго пред тем он выпустил в свет под каким-то страннейшим псевдонимом огромный двухтомный роман, в котором пылко развитые и защищаемые идеи социализма и почти что коммунизма причудливо и капризно переплетались с проповедью жесточайшего антисемитизма. Не могу вспомнить, как назывался роман, а негде справиться. Кажется, «Огни» с каким-то предварительным эпитетом. Героиню романа звали символически — Серафимою, ибо она была как бы чистый Серафим на сей грешной земле, которая принизила ее до профессии проститутки. Написан был роман хорошо. Настолько, что публика, не зная, кто скрывается за псевдонимом, приписывала авторство А.С. Суворину, что этому последнему не доставляло ни малейшего удовольствия.

Петерсен вообще много интересовался женским вопросом, качаясь в его области, по обыкновению, из крайности в крайность. То есть высказывая взгляды и мнения, то столь радикальные, что, пожалуй, хоть нынешним товарищам Лилиной, Луначарской и Коллонтай впору; то такие крутые и к теремам

поворотные, что даже и сам автор Домостроя, вероятно, нашел бы их сверхмерными...

Один печальный нижегородский случай натолкнул Петерсена на изучение самого лютого зла былого ярмарочного быта — проституции малолетних. Елена Венедиктовна дала ему много потрясающих сведений, которые талантливый фельетонист потом использовал в своих интересных статьях.

Я лично обязан Елене Венедиктовне многими бытовыми подробностями, освещенными в моем довольно известном романе о тайной проституции — в «Марье Лусьевой». А сверх того и ее собственной автобиографией, выразительною не менее приключений Марьи Лусьевой. Тем более что эти вторые комбинированы мною в названном романе из фактов, но вокруг вымышленного лица, которое служит лишь для механической связи картин, вроде commere* в «Обозрении». А Елена Венедиктовна — лицо не вымышленное.

Читатели настоящей книги найдут в ней биографию Елены Венедиктовны в виде романа. Когда-то она сама пробовала составить свое жизнеописание, и первые десять глав романа почти дословно переписаны с того, что нашел я в довольно толстой лиловой тетради, ею мне подаренной на память при нашем расставанье. Дальнейшее в большей части тоже дословно отражает рассказы самой героини — изменены только имена. Часть рассказов я опустил и передаю их лишь в сжатой, сухой схеме, необходимой для уяснения преемства в действии. Это потому, что они мелькали уже в «Марье Лусьевой» и бесполезно было бы их повторять. Остальное восстановляю по памяти и считаю долгом предупредить: в этой части романа я не стеснялся вводить в повествование факты из других моих наблюдений в том же злополучном мире, как скоро они казались мне согласными с характером героини и возмож-

* Сплетни (*фр.*)

ными в ее житейских условиях. Впрочем, кажется, все такие случаи я оговорил или в тексте или примечаниями.

1925

Книга первая

I

Я родилась в большом губернском городе средней России от родителей достаточных и образованных. Отец был дворянин, мать из купеческой семьи, весьма развитой, уважаемой и влиятельной в местном обывательстве.

Почему-то воспитывать детей — а нас было немало — родители мои не хотели в родном городе, а отправляли в Москву. Здесь мы живали с осени до поздней весны, покуда кончались экзамены в учебных заведениях, по которым были мы разбросаны. Одни — в пансионах, другие — по учебным квартирам. Это создало во всех нас — братьях и сестрах — большую привычку к чужим людям и отвычку от собственной своей семьи. К тому времени, как мне вырасти из девочки в барышню, старшие братья и сестры уже были раскиданы — кто службою, кто брачными узами — по разным городам России. В Москве из них как-то никто не осел.

Когда я кончила курс гимназии — и смею похвалиться, что кончила очень хорошо, с серебряною медалью, и только немногого не доставало, чтобы перегнать свою соперницу по классу и получить золотую, — в то время умерла в нашем родном городе и похоронена там была моя мамаша. Поэтому по окончании курса вместо больших образовательных планов, которые строила, будучи в гимназии, я должна была немедленно вернуться к отцу и принять на свои руки его дом и хозяйство.

Застала я его совершенно больным, до психоза удрученным смертью жены. Так что заботы и о нем самом было достаточно, а большой домашний обиход его требовал массу работы и поглощал своею суетою все мое время и внимание. С отцом мы очень подружились. Мне искренне хотелось быть ему полезною, как только я могу и, возможно, больше, потому что он был прежалкий старик.

Я чувствовала себя еще очень молодою: мне только исполнилось семнадцать лет.

Сознавала, что если отец поправится и можно будет с ним расстаться, то время мое не ушло ни для науки, ни для опыта жизни. От влюбленности покуда Бог миловал, а просто замуж идти не хотелось: не было расчета и необходимости, хотя предложений я получала очень много интересных и выгодных.

Однако, к сожалению, отец мой никогда уже не мог оправиться от постигшего его удара. Прожив два года в глубочайшей меланхолии, не говоря почти ни с кем, за исключением меня, всегда пользовавшейся его нежным вниманием и осыпанной его ласками, он слег на смертную постель от воспаления легких, которое, как я подозреваю, он получил едва ли не нарочною простудою. Болел очень не долго и скончался с большим спокойствием и мужеством.

Дела свои он за последние годы по смерти матери значительно запустил. Так что, когда съехались все дети, раздел наследства дал суммы весьма незначительные на долю каждого. Настолько, что мы, одинокие — один из старших братьев, вдовец, и я, — решили пожертвовать свои части в пользу двух замужних сестер, имевших несчастье найти в своих супругах житейских неудачников. Господа мужья попрожили их приданое, а вместо того наградили их большими семьями и нуждою. При жизни отца они получали от него вспомоществование, чем лишь, собственно говоря, и жили.

Старший брат, вдовец, который сам отказался в их пользу от своей доли и уговорил меня сделать то же со своею частью, в это время получил прекрасное место в Москве — инспектором в одном среднем учебном заведении, частном, но с правами, очень модном, избранного, привилегированного типа. Брат предложил мне ехать с ним вместе и поселиться у него, заведуя его хозяйством, так как вновь жениться он не думал, а посторонней женщины-хозяйки в дом брать не хотел.

Это был человек превосходнейший, кристальной души и золотого сердца и необычайно скромный, совсем не по заслугам своего ума, знаний и прекрасного воспитания. Он указал мне, что его холостое хозяйство будет совсем не так сложно, чтобы брать все мое время. Следовательно, я буду в состоянии исполнить свои гимназические планы, которым он горячо сочувствовал, и получить то высшее образование, о котором я мечтала.

II

Итак, мы поселились в Москве, живя жизнью приятною. Смею не без гордости вспомнить, что наша маленькая квартира была известна в хороших кругах московского образованного общества как центр, в котором сходились очень интересные и даже иногда знаменитые люди тогдашнего времени. И товарищи брата — педагоги, и литераторы, и артисты. Иногда — кое-кто из профессоров; с ними мы были связаны через одного, хотя и дальнего, нашего родственника, популярного в Москве как крупная научная сила тогдашнего университета и разносторонний общественный деятель, столп и двигатель городского хозяйства.

План моего брата относительно меня удался как нельзя лучше в смысле возможности его исполнения. Но, к сожалению, самое исполнение-то оказалось как-то ни к чему. Будучи способна и расположена к образованию всякого рода, не-

глупа, восприимчива и прилежна, умея систематически работать и усваивать научные сведения, я оказалась в то же время как-то совсем лишена призвания и способности переводить свои теоретические знания в практику, применять ту науку, которую давали мне прослушанные курсы, в прикладные возможности и средства к жизни.

Быть может, тому мешало обеспеченное и спокойное положение, которое занимала я в доме моего превосходного брата. Устроена я была им настолько хорошо, что, право, некуда было рваться — по пословице, что от добра добра не ищут. И все казалось, что самостоятельно жить я еще успею, а теперь вот лучше еще поучусь тому-то и тому-то и послушаю таких-то и таких-то. Большое, несокрушимое в то время, мое здоровье и редкая моложавость как-то совсем лишали и меня, и окружавшее меня общество сознания, что ведь годы-то мои идут и я совсем уж не такая молоденькая девушка.

Я не стану исчислять все учебные учреждения, в которых я прослушала между двадцатым и двадцать шестым годом жизни моей курс разных наук и практических знаний. Скажу одно: за эти годы я прослыла по Москве «вечною слушательницей», и в верхнем ящике моего комода лежало четыре документа, удостоверявших блистательную сдачу экзаменов по весьма разнообразным специальностям женского труда, — в то время еще очень бедного труда, встречавшего на всех своих путях суровое начальственное противодействие и общественное предубеждение.

Не скажу, однако, чтобы я не пробовала делать из этих дипломов практического употребления. Но каждый раз меня встречали самые роковые неудачи, и, быть может, обязана ими я была не столько внешним обстоятельствам, сколько какому-то внутреннему собственному недостатку, неизменно парализовавшему все мои добрые начинания и намерения. Так, теоретически я отлично знала новые языки, но переводчица я никуда не годная, говорю с дурным произношением и в пер-

вую минуту, как со мною заговорят, всегда теряюсь, затрудняюсь в выборе слов.

Педагогика тоже провалилась. По протекции брата я несколько раз брала очень хорошие и не трудные, казалось бы, уроки в весьма расположенных ко мне домах. Но после нескольких недель добросовестность заставляла меня самое отказаться от урока, и каждый раз я имела неудовольствие видеть, как при отказе моем прояснялись лица родителей, чьих детей я просвещала.

Один из моих дипломов дозволил мне даже поступить в очень шикарную лечебницу в качестве фельдшерицы и надзирательницы. Но тут я не пробыла и двух недель, потому что ясно почувствовала, что я не умею обращаться с больными и они вредны мне, а я им.

И так-то вот повсюду.

К счастью или несчастью, уж не знаю, но я не обладала никакими художественными талантами. Так что меня минули и сцена, и консерватория, и всякие курсы изящных искусств. Я даже любительских спектаклей избегала, потому что мне всегда казалось, что если я выйду на сцену или эстраду, то сделаю что-нибудь такое смешное, от чего весь зал расхохочется, а я потом пропаду со стыда и обиды.

Словом, несмотря на шесть лет моего разностороннего учения и не только зрелый, но даже перезрелый для девицы возраст, я думала про себя, а брат меня в этом поддерживал, что мое будущее еще не определилось и мое призвание, которое должно наполнить мою жизнь, еще впереди.

К замужеству, несмотря опять-таки на множество выгодных предложений, по-прежнему не чувствовала никакого расположения. Даже за все эти годы ни разу не была влюблена.

Брат был слишком деликатен и осторожен, чтобы внушать мне предубеждение против брака. Он испугался бы таких внушений, чтобы я не заподозрила его, будто он меня отговаривает для того, чтобы сохранить меня около себя

и пользоваться моими услугами, которые были для него так удобны. Но вместе с тем он, конечно, не имел ни расчета, ни просто желания отговаривать меня и в обратную сторону. Тем более что сам он был весьма настроен против брачной жизни, испытав ее с покойной женою крайне несчастно — настолько, что буквально отравил ею всю свою жизнь и испортил карьеру.

Дело в том, что он, кончая университетский курс и будучи оставлен при университете, счел своим долгом жениться на содержательнице меблированных комнат, в которых он неизменно прожил все свои студенческие годы. С женщиною этою он был в связи, начиная еще с первого курса. Весьма не глупая и довольно добрая, она, к сожалению, была почти совершенно безграмотна и окружена еще более темною и даже грязною роднею, которая сразу нахлынула на молодых, как только они повенчались.

Несмотря на то что, повторяю, эта невестка моя была, по-видимому, недурною женщиною, однако надо правду сказать: в выгодах брата она хорошо сделала, что умерла. В противном случае он, вероятно, всю жизнь свою просидел бы в глухом провинциальном городке учителем математики, не смея принять лучшего места: исключительно потому, что не хотел срамить свою жену, которую он не мог ввести в мало-мальски порядочное общество без того, чтобы она не подвергалась насмешкам. А он жену любил и жалел, а она была человек понятливый и гордый.

Из-за этого брат не остался при университете, хотя кончил курс первым кандидатом и его кандидатское сочинение привело в восторг Цинтера и Бугаева. Вместо того чтобы засиять научною звездой, закабалился человек почти на десять лет в учителя гимназии. Так что карьера брата, впоследствии шагнувшая довольно почтенно и высоко, собственно говоря, началась только по смерти его жены, опять-таки, к счастью, может быть, не оставившей ему

детей. Было их двое, да оба померли маленькими, а затем деторождение прекратилось.

В тот московский год, о котором мне придется теперь много говорить, брат состоял по-прежнему инспектором значительного среднеучебного заведения и был уже на директорской вакансии куда-нибудь в хорошую провинцию. Я ждала этого назначения, не особенно его желая, но и без особенного страха. Крепко сдружившись с братом, тогда я думала, что такой внешний повод необходим для того, чтобы нам наконец разлучиться. Я чувствовала, что в провинцию я для брата, очень привыкнув к Москве и имея в ней громадное приятное знакомство, все-таки вряд ли поеду. Да и он этого не потребует.

III

Так как брат мой, как я обрисовала его выше, был человек необыкновенно деликатный и не обладал сильным характером, то связь его с роднею покойной жены не прекратилась со смертью Анны Трифоновны (так ее звали). Он сумел отстранить эту родню лишь настолько, чтобы она не лезла к нему в дела и душу и не смущала своею фамильярностью нашу обособленную жизнь. Но он никогда не мог отказать, когда с этой стороны обращались к нему за благодеянием и покровительством. Поэтому то и дело приходилось устраивать на места самые неожиданные фигуры, завещанные ему покойною супругою.

Из этого сложилось также и то курьезное обстоятельство, что в доме нашем — на кухне, в чуланчиках, в коридоре — всегда, кроме прислуги, ютились какие-нибудь женщины или молодые люди, приходившиеся брату моему через покойную жену в дальнем свойстве. Иногда такие приживалы и приживальщицы околачивались у нас целыми месяцами, а иные даже, выживая прислугу, сами занимали ее место на более или менее продолжительное время. Эти компромиссы все-

гда были не особенно для нас приятны. Потому что, бывало, никак не сообразишь, как обращаться с этими людьми. Если требовать с них, как с обыкновенной прислуги, — обидно по-родственному. А если обращаться по-родственному — то служат Бог знает как и обращают квартиру только что не в свинюшник.

Единственным исключением из этого печального правила оказалась некая пожилая девица, уже лет за тридцать и даже с порядочным хвостиком, носившая довольно странное и редкое имя Дросида. Она приходилась брату моему совсем уже, как говорится, седьмою водою на киселе: покойной Анны Трифоновны троюродная, что ли, сестра с материнской стороны. Девица эта довольно приятной наружности, хотя несколько истощенная бедною и тяжелою рабочею жизнью, как-то очень пришлась нам ко двору. Мало-помалу она сняла с меня почти все хозяйственные мои заботы. Дом она вела очень честно и исправно, обладая к тому талантом, гораздо большим, чем я чувствовала в себе. Да и брат находил то же самое, хотя по деликатности своей остерегался мне это выражать. Так что с тех пор, как Дросида поселилась в нашем доме на постоянное жительство, я, собственно говоря, только считалась уже хозяйкой, а на самом деле и кухня, и весь быт наш легли всецело на плечи этой новой пришелицы.

Человек она была не скажу, чтобы покладистый и уступчивый. Напротив, в ней было много самостоятельности и даже гордости, что нам обоим с братом очень нравилось. А в то же время и фамильярности большой она никогда не проявляла, знала свое место и — куда ее не спрашивали — не совалась. Брат говорил с нею на «вы», что она и принимала с большим удовольствием. Я говорила ей «ты», на что она не обижалась.

До приезда этой Дросиды мы с братом держали двух прислуг: кухарку и горничную для уборки комнат. Но как только Дросида утвердилась в нашем дом, так нашла, что две при-

слуги нам слишком много, и мало-помалу убедила нас с братом, что горничная лишняя. Так и пошло с тех пор это дело: кухарка и Дросида. Ни брат, ни я, конечно, ее так вот прямо «горничной» не почитали, а держали ее на линии, так сказать, домоправительницы и гостям старались такое же отношение к ней внушить. Однако, в сущности, она была у нас не более чем — как это в старину называлось — «горничной с ключами».

Я очень уважала эту женщину и даже немножко ее побаивалась, потому что она мне казалась жизни строгой и ума более серьезного, чем мой собственный, несмотря на мое хорошее и разностороннее образование. Она была очень опытна в жизни, много видела, на разных местах служила, имела замечательно разнообразные знакомства в разных провинциальных больших городах, которые посетила, зарабатывая себе на жизнь, хорошо помнила все и всех, и если начинала что-либо рассказывать, то это всегда было интересно. Однако отнюдь не была болтушкою, и я решительно не помню, чтобы она про кого-нибудь из своего прошлого рассказала что-нибудь, для него опасное, неловкое, компрометирующее. Говор у нее был чрезвычайно разнообразный. Иной раз слушаешь: по фразе, по интонациям совсем интеллигентная женщина. А вдруг — точно сорвется в ней какая-то внутренняя пружина: бряк с языка фабричная девка либо ростовская огородница (она откуда-то с тех мест была урожденная).

Итак, жили мы с братом за этою особою как за каменною стеною и чувствовали себя превосходно — так, что хоть бы и никогда не менять нашей спокойной, удобной и не обремененной скучными обыденными заботами жизни.

Готовясь к одному из бесконечных своих экзаменов на один из не нужных мне дипломов, я как-то умудрилась переутомиться и нажить себе зачатки острого малокровия. Знаменитый врач, большой приятель моего брата, осмотрев меня,

посоветовал провести лето где-нибудь на юге. Я провела его в Крыму, в Гурзуфе, и очень поправилась. Но пребывание на веселом курорте как-то вдруг сильно повлияло на всю мою психику: выбило меня из привычной методической рабочей колеи и повернуло в сторону новую, неожиданную и для меня самой, и для всех моих знакомых.

Как я уже говорила, никакое личное участие в искусствах и всяких показных выступлениях меня никогда не пленяло. Но театр, музыку, зрелища я всегда любила, хотя и не до страсти. А теперь вот у меня вдруг развилась к ним именно страсть. Особенно к опере, в которой я по возвращении в Москву начала бывать чуть не каждый вечер. А не в опере, так в концертах либо в драматическом театре.

Такого образа жизнь повлекла за собою новую потребность — хорошо одеваться. Так как за особенною роскошью я, конечно, не гналась — да в нашем обществе это было и не принято, показалось бы просто неприличным, — то и эта потребность оказалась также удовлетворимою. Средства наши были не велики, но все-таки и не настолько скудны, чтобы три-четыре туалета средней руки в год могли лечь на доходы наши с братом слишком тяжелым дефицитом. Лично брат даже рад был моему увлечению, так как он по свойственной ему деликатности всегда несколько страдал внутренне подозрением: не слишком ли мне скучно жить при нем, одиноком вдовце, всегда занятом службою и ученическими тетрадками, не заел ли он жизнь мою, не задушила ли я ради него свои молодые годы?

Очень может быть, что мои театральные и связанные с ними увлечения продолжались бы недолго и кончились бы сами собою без всякого вреда для нашей жизни и нашего бюджета, если бы тут вдруг не вмешалась новая сила — и все перевернула на свой лад и закружила меня в тот вихрь, которому я обязана крушением всей своей жизни и началу своей гибели.

IV

Дело, конечно, в том, что я не ушла от общей женской судьбы и наконец влюбилась. Очень несчастно и по выбору, и по судьбе. Героем моего неудачного романа явился один наш дальний родственник с отцовой стороны, барон М. О нем в московском обществе ходило великое множество рассказов как о победительном Дон Жуане, сопернике всех тогдашних светских и артистических знаменитостей по этой части. Блестящий, родовитый, едва тридцатилетний молодой человек, эффектный, умный и остроумный, обаятельный, он, несмотря на свою дурную репутацию кутилы и развратника, как-то тянул к себе общество и женщинами был избалован превыше всякой меры. Романам его в московской молве счета не было, но — «кто, когда, где» — этого никогда никто сказать не мог. Сплетен послушать, так список его побед был гораздо длиннее пресловутых mille e três*. А назвать имена даже и московская сплетня не умела.

Увлекательное и обаятельное существо был этот барон М. Да притом не лишен был ни порядочности, ни сердечно-сти. Если не ошибаюсь, то он и до сих пор жив и счастлив, занимая в Петербурге довольно высокий административный пост**).

Мы знали друг друга детьми. Но с детства не встречались. И вновь узнали друг друга, когда он уже кончил университет и был помощником присяжного поверенного, а я считала себе уже двадцать третий год. Встретились по-старому,

* Тысячи и трех (*фр.*); в знач.: великое множество.

**) Барон М. умер в 1906 году. Я знал этого человека и воспользовался некоторыми внешними его чертами для фигуры «Демона», Антона Арсеньева, в «Восьмидесятниках», но, главным образом, для эпизода, которым вспоминается Антон Арсеньев в «Закате старого века». Эпизод этот я взял именно из записи о Лиляше, но смешал его с другим и перенес действие в другую среду, с иным освещением. *Ал. Амф.*

по-родственному, на «ты». И сделались очень хорошими друзьями, без всякой другой подкладки, кроме чистого приятельства. Видались мы не очень часто, но всегда с большим удовольствием. Разговаривали охотно, но опять повторяю: мне никогда и в голову не приходило, что я когда-нибудь буду влюблена в этого человека до безумия и он решит судьбу моей жизни. Так это и тянулось почти три года, до моего возвращения из Крыма и до превращения моего в театралку.

Случилось как-то, что по возвращении я очень долго не встречалась с бароном М. Лишь в половине зимы столкнулись мы с ним — почти в буквальном смысле столкнулись, нанесенные друг на друга густою толпою в залах Дворянского собрания, в антракте симфонического концерта, которым дирижировал знаменитый в то время Эрдмансдёрфер.

Не знаю, что случилось, но это было как удар молнии. Мы решительно ничего особенного не говорили между собою, он не был ко мне ни нежнее, ни внимательнее, чем обыкновенно. Но мне все время, пока мы говорили, казалось, что передо мною сидит совсем не он, не тот барон М., которого я давно родственно знаю, люблю и уважаю, а какой-то новый человек-полубог. И каждый взгляд его, каждое слово дарят меня новою — неслыханною, неземною — радостью, которой возможности я ранее не подозревала... Возвращаясь домой, я чувствовала себя, сама не зная отчего, на седьмом небе. И когда осталась одна, то могла сказать, как Татьяна: «Я влюблена!..»

К сожалению, это роковое имя оказалось пригодным для меня и в дальнейшем развитии моего романа. Я-то была влюблена, да он-то нисколько. И — подобно тому, как Онегин хотел остаться честным человеком по отношению к влюбленной в него Татьяне, так и мой прекрасный барон, заметив, что я стремлюсь к нему чувством не только дружеским и родственным, стал обращаться со мною очень сдержанно, почти холодно и даже начал меня избегать. Это меня и оскор-

било, и огорчило. А — что хуже всего: вместо того, чтобы, как надеялся барон, образумить меня и погасить мою влюбленность, — вместо того, разожгло ее в какую-то почти гневную, болезненную страсть, желавшую достигнуть своего предмета во что бы то ни стало. А без того, казалось, будет и жизнь не в жизнь, но мука адская, и лучше уж умереть...

Начался для меня очень унизительный период моей жизни. Чем больше избегал меня барон М., тем усерднее я за ним гонялась. Каждый день я должна была видеть его. Искать этой возможности стало моим главным занятием. Где бы он ни был вечером, если только это место было сколько-нибудь доступно порядочной женщине, я уже непременно находила его там — хотя бы для самой мимолетной встречи, для обмена двух-трех мельком сказанных слов. Иногда просто для того лишь, чтобы издали встретить его случайный взгляд и обменяться с ним таким же издали взглядом и поклоном.

Все это, конечно, не могло укрыться от разных внимательных и опытных глаз. О нас заговорили. Брат мой, как истинный ученый и чрезвычайно занятой человек, совершенно не привычный к тому же видеть меня жертвою каких-нибудь романических приключений, ничего не замечал. Но, например, я видела ясно, что Дросида, хотя и молчит, читает мои чувства, как раскрытую книгу, и, как мне казалось, очень меня жалеет и мне сочувствует.

Вечно продолжаться так — в неопределенном и в невысказанном положении — это не могло. Барон М., очевидно, предполагал, что рано или поздно последует между нами объяснение, и всячески старался его избежать. Мне же не хотелось верить в нарочность его уклончивости. Что мы никогда не могли встретиться наедине, я приписывала это несчастной случайности, а не его нежеланию.

Правду сказать, наружность моя в то время вполне оправдывала такую самоуверенность. Красавицей я никогда не была — не похвалюсь. У меня не было тех правильных

черт и изящества в рисунке и красках, которые дают право на этот титул. Но, когда смотрю я на свой портрет, оставшийся именно от того года и написанный одним художником, влюбленным в меня столько же, сколько я была влюблена в барона М., то на меня смотрит русская девушка, блондинка, привлекательной и ласковой наружности, с приятным овалом лица, теплыми глазами, в красивой рамке очень пышных волос.

«В вас есть что-то романовское, — говорил этот художник. — Уж не согрешила ли какая-нибудь ваша бабушка или прабабушка с Николаем Павловичем или Александром Первым?»

Находили, что я несколько напоминаю дочь Александра Второго, Марию Александровну, герцогиню Эдинбургскую. А когда я однажды по настоянию одной своей приятельницы снялась в бальном платье, очень декольте, то все и расслались, будто я — вылитый портрет императрицы Елизаветы Петровны.

Хотя одевалась я только недурно, а никак не роскошно, но в театре, в собраниях меня всегда замечали, и я видела, что явлением своим доставляю удовольствие всем глазам. Фигуру мою портнихи и до сих пор хвалят — фигуру сорокалетней, расплывшейся женщины. А тогда я была еще стройная, как молодая березка.

Словом, зная нескольких дам, с которыми романы молва приписывала барону М., я, по совести сравнивая себя с ними, не могла найти себя по наружности хуже их. А так как и по образованию они представлялись мне ниже меня, то я в бессонные и одинокие ночи свои только недоумевала, обливаясь слезами: почему же им выпало на долю счастье его любви, хотя бы мимолетной, а мимо меня оно проходит так невнимательно и безжалостно? Того обстоятельства, что все эти дамы были весьма «с прошлым» и довольно-таки удалой жизни, которые, как говорится, закинули свой чепец за мельницу и терять им нечего, я не учитывала.

Считая барона М. идеалом всех прекрасных качеств, я как-то упускала, однако, из вида все благородство и рыцарство его поведения в отношении меня. Если бы он хоть мало захотел, ему ничего не стоило бы обратить меня в свою — не то что любовницу, а рабу. Я совершенно отчетливо чувствовала, что нет такой жертвы, которой я не согласилась бы ему принести по первому его знаку. Страх быть компрометированною чрез навязчивую откровенность моей любви, равно как опасение за будущее, был мне совершенно чужд. Право, даже в голову не вступали подобные мысли. Жила в мире каком-то не здешнем, сочиненном, в мире мечтательной любви, желающей и мучительной.

Состояние свое я очень хорошо понимала и психологически, и физиологически. Ведь я же была уже не молоденькая по годам. Имела много замужних подруг, достаточно со мною откровенных, и, кроме того, прошла фельдшерские курсы, давшие мне достаточно знаний по физиологии человеческих страстей. Читала с ранней юности все, цензуры на мои книги никто не накладывал, любила всегда прямой взгляд на жизнь и натуралистическую правду о ней. Как ни велика была идеализация, которой я подвергала образ барона М., но и прямое страстное чувство к нему я понимала вполне ясно, отчетливо. И мне его, как бывает во всякой большой и захватывающей жизнь страсти, даже нисколько не было стыдно. Позволю себе так характеризовать свое состояние: я была в том напряжении искренней любви, когда самое целомудренное, что может сделать женщина, это — отдаться любимому человеку. Кто испытал настоящую любовь, тот меня поймет.

V

Но отдаться можно только тому, кто берет. Нечто вроде объяснения между нами произошло, но в нем я пережила крушение всех моих надежд.

Барон М. вел себя, быть может, еще благороднее, чем Онегин с Татьяной, но и более решительно. Он дал мне понять, что его страшно огорчает все между нами происходящее, так как лишает его возможности пользоваться моею дружбою, которою он так много дорожит. Сам же он, помимо того, что «не создан для блаженства», еще очень обманывает, к сожалению, многих видимостью своей жизни, как будто холостой и свободной. Он и не скрывает, что действительно по легкомыслию своему он не умел себя стеснять во внешнем своем быту. Но в действительности он совсем не свободен, так как вот уже пятый год связан с женщиной, которую он очень любит, равно как и она его. С женщиною, которая ради него бросила мужа и семью и живет очень уединенно, скромно, не принимая почти никого, кроме него. Он не любит открывать эту тайну, и если сообщает ее сейчас мне, то лишь затем, чтобы мне в его поведении ничто не казалось темным, лукавым или фатовским...

Говорил он чрезвычайно сердечно и ласково, но от слов его у меня точило кровь сердце и стальными обручами сжалась голова. И, когда мы расстались, я, сознавая, что он поступил со мною честнее чего нельзя и требовать, все-таки осталась почему-то глубоко оскорбленною и во власти такого жестокого стыда, что на некоторое время он даже как будто образумил меня и приглушил мою страсть.

Промучившись раскаянием и стыдом после этого разговора недели три, я стала немножко успокаиваться и, сделав над собою значительное усилие (чтобы не сказать: насилие!) воли, попробовала ввести себя в колею правильной, нормальной жизни...

До известной степени мне это удалось... Я нашла себе новый интерес, который мне помогал не думать о моей провалившейся любви.

По крайней мере когда не видала барона М. и не испытывала его непосредственного влияния на меня... Тут голова

моя, достаточно здравомысленная и вооруженная логикою, торжествовала над сердцем — и я легко обманывала себя, будто образумилась и излечилась, Но стоило мне пробыть час-другой в его обществе, чтобы здравый смысл и логика терпели полное крушение и обращались в ничтожество. Меня охватывала унизительная тоска желания, подсказывая мне чисто рабские выходки, от которых мне трудно было сдерживаться, и не знаю, сдержалась ли бы я, если бы не была уверена, что после первой же подобной сцены М. меня брезгливо возненавидит. Он, опытный знаток женщин, понимал меня очень хорошо и избегал часто бывать у нас. А я, со своей стороны, научилась избегать тех мест, где могла рассчитывать его непременно встретить...

Так тянулось около полугода. За этот срок полученная рана разгладилась и заросла. Я стала относительно спокойною к полученному уроку и хотя восторгом к нему проникнуться все-таки никак не могла, однако выучилась понимать, что барон поступил со мною как честный человек и что иначе, при его совершенном равнодушии, он, конечно, поступить и не мог, и не должен был... Но утешало меня это очень мало... И часто я думала даже, что уж лучше бы он был не рыцарем, а подлецом и поступил бы со мною соответственно этому милому званию...

В особенности оскорбляло меня и кололо воспоминанием последнее прощание со мною барона, когда он прозрачным намеком дал мне понять, что считает мою к нему страсть просто случайною вспышкою темперамента, долго спавшего и в внезапном пробуждении обратившегося всею своею силою на первый предмет, который ему представился. Все это он высказал мне в очень изящной, вежливой форме, но я тогда же с горечью сказала себе: «Это значит объяснить девушке, что она, собственно говоря, уже старая дева и сходит с ума от целомудрия, передержанного под спудом...»

Говорил он и о том, что скоро я найду истинную любовь, брак и семейство, счастье, которого я достойна, так как во-

обще он чувствует во мне прекраснейшие задатки хорошей жены и любящей матери... Ну, словом, говорю же — совсем Татьяна: «Мужу верная супруга и добродетельная мать...»

Шансов повыситься в эти лестные для женщины чины у меня было сколько угодно. Именно в этот год за мною ухаживал один молодой, но уже громко прославившийся профессор. Впервые брат мой сказал, что если бы мы вздумали побрачиться, то он слова не сказал бы против, а был бы очень счастлив моим счастьем и спокоен за мою будущность. Ухаживал за мною и также выжидал случая сделать предложение присяжный поверенный с большой практикой, человек, блестяще образованный и с превосходным характером; впоследствии он дважды был женат, и обе жены его были счастливы.

В свой театральный период я, хотя и поздно, разбудила в себе инстинкт кокетства и выучилась немножко флиртовать, как тогда только что начали говорить это слово. Все это было очень невинно и скромно, однако моя красивая наружность, спокойная ласковость, которою я отличалась в те годы, и природная веселость и простота обращения создавали мне известный успех в мужской среде, и я не могла жаловаться, чтобы у меня не было поклонников.

К тому же в эту зиму я свела знакомство с несколькими дамами из так называемой коммерческой аристократии — не самой крупной, однако все-таки с капиталами и широко живущей. Все дома были семейные и строго приличные, но жизнь в них била ключом, и жизнь веселая, разнообразная и, как всегда это в Москве, немножко безалаберная. В двух из этих домов хозяйками были старые мои гимназические подруги, которые обожали меня еще в гимназии. Теперь — они уже матерями семейств, а я девушкою не первой юности — встретились и сделались совсем близкими и задушевными приятельницами.

Мало-помалу я втянулась в их образ жизни, он, в свою очередь, стал отражаться и на нашем дому. У нас начало бывать много народа, пестрого и разнообразного. Наши с братом пят-

ницы, прежде собиравшие кружок человек в десять, стали теперь посещаться так, что иной раз, бывало, и потанцевать негде: до того переполнялись наши маленькие комнаты. Вместе с моими подругами-коммерсантками побывала и я в знаменитых загородных ресторанах, узнала удовольствие сидеть под пальмами, вкус шампанского и возбуждение радости, им производимое.

Однажды бокал шампанского попал на большое острое горе, которое я переживала молча, про себя, по обыкновению, замкнутая и боясь себя выдать. Случилось это после одной из неприятнейших встреч с бароном М., особенно мне обидной, потому что я видела его с тою женщиною, о которой он мне рассказывал, и я считала ее главною причиною его ко мне равнодушия. И, когда я рассмотрела ее, то в один миг поняла, что — да, тут оставь надежды навсегда! Такой женщине я не соперница: она лучше, чем красавица, она обворожительна; к ней меня, ревнивую и враждебную, и то невольною симпатией потянуло... Куда она мне?..

К моему удивлению и радости, тяжелое настроение, в котором я изнывала после этой встречи, от шампанского вдруг рассеялось, и я почувствовала себя почти спокойною и странно веселою. Это мне не только понравилось, но даже показалось как бы благодеянием.

До тех пор я очень остерегалась всякого опьянения, так как у меня в этом отношении не совсем хорошая наследственность со стороны отца. Он одно время довольно сильно пил и только уже в пожилые годы силою воли преодолел страсть к вину и совсем от нее исправился. Мы, дети, все сохранили некоторый страх к этой пагубной привычке и следили внимательно друг за другом, чтобы кто-либо не предался ей. Но теперь благотворное действие на меня вина было настолько очевидно и желанно, что я перестала его бояться и хотя никогда им не злоупотребляла, однако в обществе с удовольствием выпивала стакан-другой хорошего

вина, причем особенно любила шампанское и сладкие испанские вина.

Оживленный и разнообразный быт, в который я теперь погрузилась, дал мне лекарство против моей печали. Я живо надеялась, что хотя, быть может, не скоро, а все-таки вылечусь от моей страсти, которую уже сама начинала находить безумною и ненужною.

VI

Кроме серьезных и солидных искателей моей руки, которых я назвала, вертелось тогда вокруг меня множество других, самых разнообразных по характерам, темпераментам и намерениям. Праздных ловеласов, подъезжавших ко мне с бесчестными расчетами, я умела угадывать недурно и быстро их от себя отваживала. А друзей среди мужского моего знакомства у меня нашлось очень много, особенно из студенчества. Были также и искренно влюбленные в меня молодые, несмелые люди, которые обожали меня издали, никогда не говоря со мною о своих чувствах. Конечно, эти были или безусые, желторотые юнцы, или люди, хотя допущенные в наше общество, но по своему положению неровни, которые не смели рассчитывать на мою взаимность. Я должна сознаться, что в это хорошее время была окружена людьми очень порядочными. Сколько ни вспоминаю нашу тогдашнюю жизнь, решительно не могу вспомнить, чтобы она когда-нибудь омрачилась чьим-либо нечестным или грязным поступком.

В числе таких моих поклонников издали был некто Галактион Артемьевич Шуплов: молодой человек, подаренный в наше общество тоже наследием моего брата от его несчастного брака. Покойной жене брата он приходился какою-то родною, и в свое время брат тоже немало повозился с ним, чтобы устроить его на подходящее ему место и вывести его в люди. В настоящее время он занимал какое-то маленькое

место в какой-то торговой конторе. Говорили, что он малый не без способностей и сделает себе хорошую дорогу.

Будучи дальним свойственником брату через покойную жену его, Галактион Артемьевич, конечно, должен был быть родственником и нашей Дросиде. Но на сколько близким, я тогда и не подозревала, а потом узналось, что он ей — родной племянник. Но они не показывали этой близости между собою. Когда со временем она открылась и выяснилась, оказалось, что это укрывательство было делом большой привязанности со стороны нашей домоправительницы к племяннику. Дросида почитала Галактиона Артемьевича способным и обязанным делать большую и хорошую карьеру, а себя в своем необразовании и ложном положении как бы лишним тормозом на его пути*). Они при посторонних едва здоровались и были между собою на «вы». А на самом деле чрезвычайно дружили между собою. Я даже скажу, что редко видала родственников, столько согласных в целях своей жизни и энергических в их достижении и помощи друг другу на всех житейских путях.

Все, что я знала о Галактионе Артемьевиче, внушало к нему известное уважение как к человеку дельному, рабочему и скромному. Но, к сожалению, он не получил образования, а самообразование, должно быть, далось ему плохо. Да сверх того, когда я узнала жизнь его ближе, то поняла, что, занятый постоянно мыслью о том, чтобы обогатиться и выйти в люди, он и не имел времени к настоящему, систематическому самообразованию. В нашем обществе он имел такт больше молчать и слушать, отвечая лишь на обращенные к нему вопросы. Так что прослыл у нас, между молодыми людьми, «великим молчальником», «картезианцем» и тому подобными именами. Наш кружок был очень щедр на клички, и почти все имели какую-нибудь.

---

*) Тем, что Лиляша рассказывает о Дросиде, я воспользовался для образа Епистимии в «Паутине». *Ал. Амф.*

Брат мой относился к Галактиону Артемьевичу очень хорошо — внимательно и с уважением, которое даже несколько удивляло меня, так как при всей своей мягкости и любезности брат не раздавал своей симпатии по пустякам и первому встречному.

Одною из характерных черт брата было, что он терпеть не мог рассказывать что-либо о своих друзьях, родных и знакомых, предоставляя всем и каждому самим узнавать о них, если это кому угодно и надо. Поэтому мы чрезвычайно поздно узнали, что Галактион Артемьевич, которого по его молодости, положению и манере держать себя мы уж никак не могли принять за человека с большим романическим прошлым, успел пережить на своем коротком веку очень тяжелую сердечную драму — долгую, оскорбительную, мучительную. В его мрачной судьбе было, пожалуй, нечто общее с участью моего брата. Быть может, этим и объяснялась симпатия, которую брат к нему имел.

Печальный роман нашего Галактиона Артемьевича был такой. Он с раннего детства воспитывался, то есть, вернее сказать, жил и рос как благодетельствуемый питомец, а в действительности без всякого призора, в доме одного провинциального магната, губернского предводителя дворянства в большом университетском городе. Благодетелю своему он приходился, кажется, в каком-то не признанном родстве с левой стороны: был едва ли не сыном одного из братьев предводителя, который в свое время, пожив в полное свое удовольствие и наделав немало мерзостей, спился с круга, впал в идиотизм и умер от прогрессивного паралича в доме умалишенных.

Мать Галактиона Артемьевича — родная сестра Дросиды, женщина простая, но презамечательная, жила в монастыре и, вся погруженная в богоугодные стремления, как бы отреклась от жизни. Сына неохотно видала. Было очевидно, что она его совсем не любит, будто он ей напоминает что-то тяжелое и неприятное, о чем хотелось бы позабыть,

что следовало бы вычеркнуть вон из жизни. Со временем она и вовсе постриглась в монахини и в этом ангельском чине сделала известную карьеру. Умерла она не так давно чтимою игуменьей в одном из южных монастырей.

Что касается благодетеля, он вырастил своего подозреваемого племянника на самом ложном положении: не возвысил его до своих собственных детей и не оставил его товарищем своих слуг и служанок. Не будучи ни в тех, ни в сех, Галактион прожил в этом богатом дому очень тяжелое детство. Сверху его не то чтобы обижали и унижали, но покровительственно к нему придирались. А снизу ему завидовали и вредили, ненавидели его и старались подводить под неприятности, за которые взыскивалось сурово и без всякой пощады самолюбию. Так что, когда ребенок вырос в отрока и нашли нужным отдать его сперва в реальное училище, а потом, когда он прошел четыре класса, открылось ему местечко по торговой части у одного из знакомых благодетелю коммерсантов, Галактион с истинным удовольствием покинул дом, в котором он будто бы «получил воспитание». Тем не менее о семье своего благодетеля и в особенности о детях его он сохранил самые лучшие и благодарные воспоминания как о товарищах ласковых, добродушных, простых и очень его любивших.

Молодежи этой было пять человек: два брата и три сестры, в возрастах от 12 до 24 лет. Сверстником и более или менее ровесником Галактион приходился младшему сыну своего благодетеля и старшей дочери, очень милой и красивой девушке. О ней я слышала много хороших воспоминаний. Эти братья и сестры относились к Галактиону с особенно внимательною дружбою и ласкою. Живя вдали, на месте, он тем не менее очень часто их посещал, поддерживая дружбу, которою гордился и дорожил более всего в жизни.

Едва ли не первое свое серьезное горе узнал Галактион — и никогда не мог позабыть, — когда внезапная бо-

лезнь, брюшной тиф, унесла в могилу его товарища, предводительского сына. В это время Галактиону шел двадцать второй год, а дочери благодетеля, его приятельнице, девятнадцатый. В тоске по умершему брату, которого они оба любили, они начали часто видеться. Последовало сближение, влюбленность, любовь. Кончилось тайным браком, с уходом предводительской дочери из дому и отказом ее от рода-племени, которые, конечно, никогда не простили ей такого мезальянса.

Не простил и огорченный родитель и навсегда отказался от виновной дочери. Однако, как человек тактичный, постарался, чтобы приключение получило как можно меньшую огласку, а как человек не жестокий, не захотел, чтобы молодые пропали с голоду. И хотя дочь из завещания вычеркнул, но устроил ее мужу какое-то скромное — по способностям и образованию его — место в дальнем провинциальном городке под строгим наказом — никогда к нему не обращаться ни в каком случае, забыть про родство и даже по возможности отказаться от него перед другими, если будут спрашивать.

По-видимому, условие это было выполнено в полном своем размере, настолько честно, что молодая чета словно канула в море. Плыли, конечно, кое-какие темные слухи, более или менее близко нащупывавшие правду. Но вообще-то гордый предводитель, когда его спрашивали о дочери, куда она отбыла, неизменно говорил, не моргнувши глазом, что девица воспылала любовью к искусству и теперь живет в Италии, обучается пению и ваянию у разных тамошних знаменитостей.

«А у кого именно — лучше меня и не спрашивайте: я, как совершенный в этих делах профан, ничего знать не знаю, ведать не ведаю. Да и должен вам сказать, что нисколько этим не интересуюсь. Я совершенно против ее блажи, но — что поделаете с современною молодежью? Разве они слушают нас, стариков?..»

В своем изгнании молодая чета прожила бедно и довольно уютно три года, в течение которых успела обрасти детьми. Сперва у них родилась дочка, потом два мальчика, близнецы, а третьими родами супруга Галактиона Артемьевича умерла. За нею быстро последовали и малютки-близнецы, унесенные на тот свет дифтеритом. Уцелела только дочка. Ее взяла на воспитание к себе в монастырь мать Галактиона Артемьевича.

А сам он, отгоревав свою потерю, порвал окончательно все связи с недавним и коротким своим магнатским свойством и пустился в Москву — на поиски нового житейского счастья. Здесь попал под протекцию моего брата, нашел хорошее место в крупной коммерческой фирме и привился в ней крепко и надежно.

VII

Когда я узнала про роман, пережитый Галактионом Артемьевичем, то была так удивлена, что долго не хотела верить. Мне просто невероятным казалось, чтобы этот человек — некрасивый, лишенный отпечатка интеллигентности во всем своем явлении, может быть, не глупый от природы, но, по-видимому, невежественный и потому в образованном обществе то смешной, то невыносимо скучный, всегда неумело и безвкусно одетый и с мещанскими манерами, — мог быть героем подобного приключения: увлек девушку из хорошего общества! Да еще такую, о которой все, ее знавшие, вспоминали с восторгом. Мне, да и не одной мне, а, кажется, всем, кто знакомился с этой историей, она казалась просто-таки противоестественною.

Любопытство заставляло многих из нашего общества наблюдать за Галактионом Артемьевичем, но из наблюдений этих никто не вынес ничего интересного и нового. Он и при ближайшем знакомстве оказывался совершенно тем

же, как видели его в обществе. Кругом мещанин, без всякой доли романической привлекательности. Жил он, сообразно занимаемому им небольшому месту, бедно и скупо — и чрезвычайно одиноко. Поэтому его и считали холостым.

Когда я узнала, что Дросида приходится ему теткою, то она рассказала мне о нем много хорошего, но опять-таки хорошего по-обывательски, даже по-мещански, без капли поэзии. Мне понравилась было только его верность памяти покойной жены и в зависимости от того строгое поведение, о котором Дросида повествовала даже не без лукавой усмешки. Чтобы молодой человек, тридцати с малым лет, здоровый и крепкий, жил чуть не совершенным монахом и был так осторожен знакомиться с женщинами, это редкость.

Однако — как разочаровала меня та же Дросида — это зависело вовсе не от поэтической преданности покойной жене. Напротив — Галактион Артемьевич уже года полтора все подумывал да присматривался, как бы ему жениться. Но колебался, так как после первого своего брака заключить второй в своей среде ему уже не очень-то хотелось. А такие удачи, как в первый раз, конечно, не повторяются. Поэтому он весьма благоразумно и с холодною рассудительностью решил, что не женится более до тех пор, покуда не достигнет какого-либо крупного положения, хотя бы в той же фирме, в которой он теперь служил, и не составит с нее маленького капитала, дающего право на приличное сватовство. Человек он был вообще молчаливый и скрытный. Насколько эти планы его достигались им и двигались вперед, даже тетка не знала и не могла ничего о том сказать.

Находя эту расчетливость Галактиона Артемьевича благоразумною, хотя и очень скучною, я, однако, не могла не заметить, что если бы я захотела, то могла бы быстро перевернуть все его планы и выкладки вверх дном. Потому что он влюбился с первого же нашего свидания. Воображал, будто очень хорошо и искусно чувство свое прячет, а между тем

оно так и сквозило из глаз его и из каждого слова. Это меня иногда забавляло, а чаще надоедало мне и было досадно не только как скучное зрелище и впечатление, но и просто дерзость. Но любить молчанием и созерцанием нельзя запретить никому, а слова не то что непочтительного или вольного, но просто сколько-нибудь намекающего на нежные чувства ко мне я от него никогда ни одного не слыхала. Этот человек умел владеть собою и при всей своей первобытности обладал большим характером и природным тактом. Наметив для себя в обществе известные рамки, скромные, но безобидные, он никогда не выходил из них — на риск быть оборванным, приниженным или осмеянным. Умеренную, но верную удачу он всегда предпочитал самому головокружительному обещанию, маленький и точный расчет — самому щедрому и яркому полету надежд...

Узкий и наивный прозаизм его казался нам тем более странным, что, будучи допущен в наше общество, Галактион Артемьевич в нем привязался к людям наиболее поэтического склада души, к самым пылким нашим фантазерам и мечтателям. Но самою большою его любовью, предметом почти обожания был барон М. Галактион Артемьевич на него только что Богу не молился. Чем, собственно, создалась такая большая привязанность? Для того чтобы получить ее, барон решительно ничего не делал. Впрочем, она возникла раньше, чем Галактион Артемьевич показался в нашем обществе. Брат Павел говорил, что, кажется, барон хорошо знал покойную жену Галактиона Артемьевича, до известной степени поддержал ее в период, когда слагался их брак, и чуть ли не был даже ее шафером на свадьбе. Во всяком случае, бароном была оказана Галактиону Артемьевичу или его покойной жене какая-то житейская услуга — по всей вероятности, сама по себе ничтожная, которую барон едва помнил и нисколько не ценил. Зато Галактион Артемьевич запомнил ее крепко и на всю жизнь остался барону благо-

дарен. А из благодарности выросло благоговение — как я уже сказала — до обожания.

Притом впоследствии, когда я узнала Галактиона Артемьевича ближе, то с удивлением заметила, что, совершенно лишенный всякого вкуса для самого себя, он чрезвычайно понимал и любил изящество в других — как в женщинах, так и в мужчинах. А этого качества у барона М. было не занимать стать. Я не раз замечала, что, когда он бывает у нас, Галактион Артемьевич издали наблюдает его с таким восхищением и преданностью, что, право, если бы я подсмотрела такой взгляд у женщины, то закипела бы к ней гневною ревностью. Барон М. знал об этом боготворящем чувстве и считал за него Галактиона Артемьевича большим чудаком. А впрочем, позволял обожать себя — как всегда и во всем, что он делал, — безразлично, лениво и равнодушно.

По какому-то случаю они были на «ты». Так как о Галактионе Артемьевиче шла молва, что у него имеются маленькие сбережения, а барон М., наследник совершенно расстроенного состояния, вечно нуждался в деньгах, то не удивительно было бы, если он и должал у своего бескорыстного друга. Да и вообще чувствовалось, что Галактион Артемьевич всегда готов оказать барону всякую услугу, которой тот от него потребует, если только он будет в его средствах, а барон услуг этих иногда просит и даже привык к ним...

Это пылкое и восторженное отношение к предмету моей страсти, понятно, не могло не нравиться мне, влюбленной, и мирило меня со многим, что казалось мне в Галактионе Артемьевиче несимпатичным, некрасивым и вульгарным. Говоря правду, я сама не меньше барона злоупотребляла его любезностью и всегдашним желанием угодить мне и быть чем-нибудь полезным. Конечно, денег не занимала, но времени брала у него ужасно много и заставляла его рыскать по моим поручениям, как какого-нибудь посыльного.

В конце концов, когда я вспоминаю Галактиона Артемьевича, то всегда прихожу к заключению, что он был человек очень хороший и созданный для хорошей жизни. И не его вина, что обстоятельства так дурно для него сложились, что сперва он был долго человеком несчастливым, а впоследствии, пожалуй, мог иногда назваться и дурным человеком... Но об этом после.

VIII

Итак, моя любовная канитель тянулась уже более полугода. За эти месяцы я порядочно-таки закружилась. От моего прежнего рабочего быта, с усердным чтением и серьезным обществом, я совершенно отстала, а приобрела множество знакомства в круге не то чтобы совсем «веселящейся Москвы», но все-таки не чуждом уже несколько преувеличенной веселости.

Те коммерческие семьи, в которых я начала новую для меня жизнь, уже отдалились от моего знакомства. Причиною, должна сознаться, всюду была ревность, которую я возбуждала в моих бывших подругах — в одной раньше, в другой позже, но обязательно когда-нибудь во всех.

Ревность эта, по чести уверяю, не имела решительно никаких оснований. Но — повторяю — я в то время была хороша собою. А убедилась из всего опыта моей жизни, что любимейший женский тип, за которым усерднее всего охотятся господа мужчины, это свободная и красивая девушка в летах, если она производит такое впечатление, что не ищет замужества, а просто любит веселое мужское общество и невинный, ни к чему не обязывающий, товарищеский флирт.

Собственно говоря, такие отношения — наилучшая гарантия женам, что их скучающие мужья не убегут от них с какой-нибудь серьезной соблазнительницей и не наделают глу-

постей, которыми испортят свою семейную жизнь и обратят ее если не в драму, то в трагикомедию. Но жены это редко понимают. И мы, вот такие — резвые, фамильярные, как я была, — сперва находим в них пылких и восторженных поклонниц. А затем, через несколько недель, а может быть, даже и дней, все это исчезает и они становятся нашими злейшими врагами и гонительницами, потому что в глупой ревности начинают подозревать всякие гадости там, где нет ничего, кроме веселья и резвой игры, да и не ищет никто, чтобы было иное.

Зато знакомством мужской молодежи я окружилась очень. На маленьких наших журфиксах становилось все оживленнее, веселее и интереснее. В обществе этом, как мне казалось, я исцелилась от своей любви. Но место ее в душе (если только она ушла) осталось совершенно не занятым. Я даже хотела бы заполнить его чьим-либо новым образом и новым чувством. Но чувство не приходило. Образы, все, которые встречались, казались бледными, недостойными и ненужными. «Храм разрушенный» оставался все «храмом», а «кумир поверженный» — «все Богом»...

Новый, 1882 год у нас встречали вечеринкою, которая очень удалась. Молодежи собралось много. Пели, танцевали, гадали, весело ужинали. Но кончилось это празднество очень нехорошо.

Виноват был барон М. Я пригласила его к нам встречать Новый год — не без расчета лишний раз себя уверить и ему показать, что все прежнее между нами кончено и мы можем отныне опять быть хорошими друзьями, не отвлекаясь к более нежному чувству. Он отвечал любезною запискою, что будет непременно, только извиняется, что не может быть на весь вечер, и просил позволения приехать попозже. Действительно, он явился только уже в половине ужина, когда мы давно поздравили друг друга шампанским и я уже потеряла надежду, что он приедет.

И лучше бы он сделал, если бы в самом деле не приехал. Такая неделикатность огорчила бы меня, оскорбила бы, но... во всяком случае, не могло бы случиться того, что вышло последствием его приезда.

Явился он с какого-то очень торжественного вечера — во фраке, прекрасный и обаятельный более, чем когда-либо, настоящий молодой бог. Долгое ли ожидание подействовало, общее ли возбуждение вечера, но я так и вспыхнула ему навстречу. Все прошлое мое благоразумие сразу куда-то исчезло. Вся моя дрессировка себя в течение многих месяцев пропала даром. Никогда еще я не чувствовала себя влюбленною в него более, чем в этот вечер. Это было опять, как удар молнии, при первом же его появлении, едва я завидела его в дверях, с улыбкой на лице, вытирающим свой аполлоновский лоб от налипших снежинок.

Он пробыл очень недолго, всего несколько минут ... много если полчаса. И, заметно, все это время сидел как на иголках. Видимо, только хотел исполнить долг вежливости, а сам куда-то спешил, в более интересное место.

Будучи вызвана на минуту от стола Дросидою для какого-то хозяйственного спроса, я поспешила наскоро отделаться от нее и быстро возвратилась к барону. Но, к удивлению моему, встретила его в соседней со столовой комнате — не одного, а вдвоем с Галактионом Артемьевичем. Они стояли у окна и быстро о чем-то переговаривались. Я вошла как раз в то время, когда Галактион Артемьевич передал барону что-то в руку, а тот быстрым и небрежным движением положил это в жилетный карман.

Затем, просидев рядом со мною за столом минут пять, проговорив все время о каких-то беспечных пустяках, барон тихо попросил у меня извинения, что должен уехать, так как его неотложно ждут. Как ни упрашивала я его остаться, он ни за что не согласился. Досада, грусть и ревность загорелись в моем сердце. Когда же он в самом деле уехал, я впа-

ла в такое мрачное и тяжелое настроение, как еще никогда в жизни.

Было уже поздно — второй час ночи. Гости наши начинали расходиться, хотя еще много оставалось их за столом. Мне вдруг неотложно, безумно захотелось узнать, куда именно уехал барон. Вызвав в соседнюю комнату Галактиона Артемьевича, я пристала к нему с допросом. Он, помявшись несколько, не счел нужным скрыть от меня, что барон в настоящее время находится в маскараде Большого театра, куда он вызван сегодня какою-то запискою.

Едва он сообщил мне это, как в моей разгоряченной голове вдруг родилась идея — поехать тоже в этот маскарад. Для того чтобы еще раз видеть обожаемого человека и, может быть, под маскою несколько поинтриговать его, выведать какую-нибудь его тайну, еще раз сказать ему, как много я его люблю. Осуществить эту затею было легко: у меня имелись и домино, и маска.

Театральные маскарады Москвы, впоследствии прекращенные, считались местом не особенно приличным, так что даме одной туда ехать было совершенно невозможно. Подумав, кого бы из кавалеров пригласить себе в провожатые, я остановилась на Галактионе Артемьевиче как на самом скромном и, наверное, не болтливом. Сверх того, увидав женское домино в его сопровождении, барон никогда и не подумает, что это я. А мне именно того и надо было, чтобы он меня не узнал.

Как только я предложила Галактиону Артемьевичу сопровождать меня, он сейчас же выразил полную свою готовность. Только предупредил меня, что мы приедем уже к самому концу маскарада, когда оттуда вся приличная часть публики разъезжается. После половины третьего начинают понемногу гасить огни и выживать народ из зала, а в фойе тогда начинается большое безобразие.

Я сказала, что до такого срока мы, конечно, не пробудем. Всего вероятнее, что мы останемся лишь несколько минут,

так как я только хочу видеть картину маскарада и поинтриговать барона.

Что я поеду в маскарад, я предупредила брата и обещала скоро вернуться, а его просила занять до моего возвращения еще оставшихся гостей, если они намерены просидеть долго. А брат, узнав, что Галактиону Артемьевичу завтра рано надо быть на службе, чтобы сводить какие-то очередные счета, предложил ему, когда он проводит меня обратно, заночевать у нас, чтобы не потерять остаток ночи в пешем хождении на свою квартиру. После некоторых отнекиваний Галактион Артемьевич согласился с благодарностью, и мы поехали, как только могли спешно-спешно в Большой театр.

Все это время я была в каком-то истерическом состоянии, похожем на сумасшествие. Точно неведомая злая сила меня увлекла и тянула. Я в этот вечер совсем почти не пила вина, кроме нескольких глотков поздравительного шампанского, но меня легко было принять за пьяную, потому что мысли так и прыгали в моей голое. И когда я говорила, то чувствовала, что и слова прыгают, что я слишком много и бестолково смеюсь и говорю иногда совсем не то, что надо: невпопад и иначе, чем хотела сказать.

IX

Я раньше бывала в маскарадах, но такого громадного, пестрого, шумного, душного даже и не воображала. Он меня ошеломил, оглушил, потом испугал. Мне почти сделалось дурно. Галактион Артемьевич, который заботливо охранял меня от давки, как только я пожаловалась ему, что мне нехорошо, вывел меня в одно из фойе со столиками для прохладительных напитков. Выпив стакан лимонаду, я совершенно оправилась.

Однако в зал я не решилась возвратиться. Мы вошли в одну из опустелых уже лож яруса над бельэтажем, которую после

короткого разговора с Галактионом Артемьевичем любезно предоставил нам, схватив кредитку в руку, ярусный капельдинер, и оттуда сверху рассматривали кипящую внизу толпу...

Я скоро высмотрела в ней барона М. Он был с какою-то очень шикарною маскою. Домино ее резко выделялось между другими, такими же черными и однообразными, красивым брильянтовым аграфом. Мне захотелось пойти и следить за ним и этою незнакомкою.

Мы спустились вниз, но я уже потеряла барона. Мы долго и напрасно толкались между народом, что меня и утомляло, и одуряло. В зале барона не было. Галактион Артемьевич сделал предположение, что по позднему времени вернее будет искать его в буфете, где он, вероятно, с дамою своею ужинает. Тогда я потребовала, чтобы он вел меня в буфет. Он исполнил это неохотно, так как в маскараде было уже пьяно и безобразно. Местами даже вспыхивали скандалы. Не будь со мною Галактиона Артемьевича, ко мне, конечно, давно привязались бы разгулявшиеся студенты или офицеры. Ими полны были все входы в зал и коридоры.

Действительно, в буфете сквозь табачный дым мы уже издали завидели барона М. Но дамы с брильянтовым аграфом с ним уже не было. Теперь он сидел за столом с двумя дамами без масок. Профессия их была, несомненно, написана на их лицах, красивых, но намазанных беспощадно.

Меня поразило это зрелище. Я никогда не подозревала, чтобы барон нуждался в подобном обществе. А издали по его веселому лицу и вольным жестам я видела, что в обществе этом он свой человек и ему оно, по крайней мере сейчас, по-видимому, очень нравится.

Я просто вне себя стала и от ревности, и от глубокого разочарования, гневом и отвращением сердце исполнилось. И мне — повторяю: какая-то неведомая злая сила тянула и влекла меня — захотелось во что бы то ни стало выпить чашу оскорбления до дна и досмотреть сцену, мне ненавистную.

Высмотрев свободный столик не особенно вдалеке от барона М., мы его заняли.

Чтобы не сидеть за пустым столом, Галактион Артемьевич спросил фруктов и полбутылки портвейну. Я с удовольствием выпила рюмку, так как чувствовала себя совсем ослабевшей и расстроенной.

Барон М. заметил Галактиона Артемьевича и издали послал ему приветственный знак рукою. Да еще и с шутливым жестом в мою сторону, от которого я вся покраснела под маскою. И по вольности жеста, и по сконфуженному, неловкому виду Галактиона Артемьевича я поняла, что барон принимает меня за такую же особу, как сидящие с ним за вином... Это меня возмутило, взволновало, испугало, показалось мне отвратительно стыдным. Я быстро встала с места и попросила Галактиона Артемьевича увести меня отсюда.

— Довольно, нагляделась, едем.

Он с готовностью и радостью расплатился, подал мне руку, и мы пошли. Но в соседнем зале я почувствовала, что быстро слабею, силы меня оставляют и я вот-вот сейчас упаду...

Галактион Артемьевич, очень испуганный, быстро усадил меня за первый попавшийся пустой столик. Кстати, в этой зале было не так душно и дымно накурено, как в той, которую мы оставили. Сам же побежал в буфет и принес мне ледяного лимонаду и рюмку коньяку. Я выпила это и оправилась, почувствовала себя совершенно бодрою, но в то же время быстро опьянела.

Галактион Артемьевич очень испугался за меня, был совершенно бледен, и я сама сказала ему, что он на себя не похож и, чтобы оправиться, выпил бы вина. Таким образом, мы остались сидеть в этой зале еще довольно долго и — я уж и не знаю, как это началось, но мы принялись пить шампанское. А от него, как всегда, мне стало весело и захотелось болтать.

Сознание помутилось. Залы пустели. Я видела будто сквозь туман, как мимо нас прошел барон М. — совсем не похожий на того, которого я знала. Красный и с мутными глазами, он показался мне совсем пьяным. Он очень бесцеремонно уводил одну из своих дам, обняв ее за талию, а она хохотала во все горло, так что даже в бесшабашной толпе гаснущего маскарада на нее оглядывались...

Это изменило мое веселое настроение в плаксивое. Я почувствовала прилив непроизвольной откровенности и, почти плача под маскою, начала изливать перед Галактионом Артемьевичем весь свой неудачный роман, о котором он оказался очень хорошо осведомленным... Это должно было бы меня удивить, однако нисколько не удивило, точно так тому и следовало быть.

Затем все смешалось и спуталось у меня в голове, и разговор, который мы вели, затанцевал в мыслях моих какими-то обрывками. Из них я ловила — то будто я рассказываю Галактиону Артемьевичу, как я влюблена в барона; то будто он, Галактион Артемьевич, мне объясняется, как он в меня влюблен.

Ухода нашего из маскарада и короткого переезда до квартиры я совершенно не помню. Но когда мы подъехали к воротам, то я вдруг как-то сразу очнулась от мысли, что хотя уже и очень поздно, почти утро, однако у нас могли еще засидеться какие-нибудь неугомонные новогодние гости, и брат, вероятно, не спит, ждет меня. Значит, нужно показаться домой совершенно приличною, так, чтобы никто не заметил, что я выпила слишком много вина. При свете фонаря я заметила, что Галактион Артемьевич оглядывает меня странным и как бы несколько критическим взглядом, по-видимому, занятый тою же мыслию. Он же мне показался, хотя и сквозь винный туман, меня слепивший, совершенно трезвым...

Брат действительно еще не спал и отворил нам двери на наш звонок. Чтобы не выдать пред ним своего состояния,

которое я уже совершенно понимала, я не стала снимать верхнего платья в прихожей, а, обменявшись с братом короткими словами о страшной усталости, прошла прямо в свою спальню, одетая, как была. Раздеваясь, я еще слышала, как в соседних комнатах брат и Галактион Артемьевич разговаривали между собою о маскараде и брат показывал Галактиону Артемьевичу постель в зале, приготовленную ему для ночлега.

Я, раздеваясь, чувствовала себя совершенно пьяною. Комната кружилась и плясала у меня перед глазами. Однако привычка к аккуратности и заведенному с юных лет порядку инстинктивно делала свое. Я и разделась, и умылась, и причесалась, как всегда на ночь, — и очень хорошо и ясно помню, как, по обыкновению, заперла дверь в свою комнату на крючок и зажгла ночничок на тумбочке около кровати. Но, едва очутилась я в постели, погрузилась в сон — черный и глубокий, без видений, чувства и чутья. Мертвый сон, в котором человек отличается от трупа только теплотою тела.

Долго ли, коротко ли длилось такое состояние — не знаю. Но потом сквозь сон стала я чувствовать, будто меня всю в кипятке варят. А проснуться никак не могу — нечем дышать, а во рту и в горле целый ад, словно кто-нибудь натолкал в них горячих углей. Не могу дать себе отчета, с закрытыми ли глазами, с открытыми ли вижу какие-то прыгающие лица, которые пребесстыдно надо мною смеются и говорят мне что-то безобразное, скверное. А я опять-таки не могу их отстранить и должна слушать, а мне от этого делается все тоскливее, скучнее, тошнее.

Душит за горло, тяжело давит грудь кошмар. Что-то мелькает и кружится, лепеча, моргая и болтая. Как будто барон М., а как будто и какое-то незнаемое, сверхъестественное чудовище прыгает передо мною, грозя разинутой огненной пастью, и ловит меня и хочет схватить цепкими, длинными когтями. И от пламенного, желтого дыхания, которое оно

на меня изрыгает, мне ужасно, мучительно до тоски смертной — хочется пить. А я все никак не могу проснуться. И сквозь сонное сознание, что ведь мне же стоит лишь сесть на постели да протянуть руку к графину с водой, чтобы сразу прекратить этот дикий кошмар, мучит меня еще больше неутолимой досадой и страхом: почему же я не в состоянии сделать такого простого и необходимого движения?

А чудище уже не одно, а несколько. И они понимают мое жалкое бессилие, и все дразнят меня своими отвратительными языками, и лезут ко мне, ползают вокруг меня, обжигая меня по всему телу злыми огненными прикосновениями.

Я говорю. Я чувствую, слышу, сознаю, что я *говорю*. Но — *что я* говорю, не могу осознать, не понимаю, не доходит до мысли. Все задерживающие центры расхлябались, и ум, потерянный в больном, пылающем мозгу, разбежался, точно разлитая ртуть.

Задыхаюсь в чем-то мутно-красном, душном, жарком, будто банный пар, хлынувший с каменки. И тяжело, и противно. Тошно во рту и горле, тоскливо в груди. А во всех оконечностях какая-то приторно-сладкая вялость, волнующая и пугающая, будто слабая судорога, от которой почему-то даже и во сне делается стыдно. И хочется спрятать лицо и отбиваться руками и ногами от вьющихся и палящих огнем, желтоглазых и желтоязычных чудовищ... И вдруг все исчезает, рухнув в черную бездну, — и нет ничего, и я, должно быть, опять сплю...

X

Проснулась я внезапно от страшной головной боли и жажды.

И в ту же минуту, как проснулась, закашлялась, еще не веря, что я проснулась. Потому что мне показалось, будто со мною за ночь сделалось чудо и весь рот и горло у меня обросли шерстью. С каждым порывом кашля я выплевыва-

ла какие-то волосистые волокна, шерсть чувствовала на нёбе, шерсть на губах. Приподнялась, перепуганная, но — голову так схватило, что сейчас же опять упала ничком на подушку, жалобно стоная и инстинктивно стараясь согреть лоб и придавить его какою-нибудь тяжестью, чтобы было не так остро больно. Глаза едва могла приоткрыть: в них будто кто ломом ковырял, стараясь продырявить веки и воткнуть его в белок.

Однако мимолетный взгляд, хотя и был короткий, как молния, успел сказать мне, что, должно быть, еще очень рано: занавеси на окнах чуть белели. Шерсть во рту объяснилась тем, что рядом с головою своею на подушке я увидала мой башлык из верблюжьей шерсти. Но как он мог сюда попасть и зачем я, очевидно, жевала и грызла его, этого понять я не могла. Да и не успела: таким острым, железным обручем вдруг стиснуло виски.

Но, когда обруч несколько разомкнулся, я вдруг вспомнила, почему я больна. Живо представились мне вчерашний маскарад, столик, за которым я сидела и пила вино, проходящий мимо барон с девицей, повисшею на его руке... Вспомнилось, что я плакала, говорила с истерикою что-то кому-то о своей неудачной любви. Слушала, как кто-то мне в любви своей признавался, и я позволяла это говорить и принимала благосклонно...

И вдруг — меня... Вдруг — вихрем, наплывом — бурный, неизобразимый стыд залил меня всю огнем, между тем как руки и ноги похолодели, как ледышки... Вдруг меня охватил какой-то особый, новый, никогда еще неведомый ужас... И сквозь ужас я впервые почувствовала все свое тело. И оно сказало мне безмолвно, что в минувшую ночь со мною произошло действительно ужасное и что тело мое осквернено...

И — как только толкнула меня эта мысль, и — острым ударом — пронизало меня с головы по всему телу, до кончиков пальцев на ногах, и пламенем обожгло руки и бедра, а потом бросило в мороз, и я сразу вся покрылась гусиною кожею,

так что даже зубы мои стучали и пальцы стали судорожно крючиться, гнуться и впиваться в подушки. Кровь волною летала по жилам, и на мгновение я даже забыла, что проснулась совершенно больная. Я вскочила, отбрасывая подушки и одеяла, и вид постели подтвердил мне, что я не ошибаюсь, предполагая самое ужасное...

Я бросилась к двери. Я ясно и уверенно сознавала, что вчера пред тем, как лечь спать в постель, заперла дверь на крючок... И увидала, что она только притворена, а крючок висит, словно он никогда и не был в петле.

В изумлении и ужасе смотрела я на это, точно на какое-нибудь магическое чудо... Потому что в этом-то я поклясться могла, и, следовательно, войти ко мне никто не мог... Это было сверхъестественно — какая-то злая игра безобразного домового... Каприз и насмешка тех чудищ, которые ночью, во сне, мучили меня желтыми языками и глазами...

Я машинально замкнула опять крючок, как сделала это вчера, и могла убедиться, что он совершенно в порядке: ни петля, ни гвозди, которыми он прибит, не расшатаны...

Но тут острый стальной обруч опять вернулся, сжал виски. В глазах позеленело, и будто вихри огненные закрутились в мозгу...

Я едва добралась до постели, повалилась в нее со стоном, засунула голову между двух подушек и, побежденная болью и изнеможением, сейчас не находила в себе ни чувства, ни мысли, а только желание хоть несколько забыться и в забытьи избыть томящую тоску всего тела и острую боль в голове, которая, казалось, хочет разорваться в куски... Хотелось неподвижного состояния, потому что каждое сокращение какого-либо мускула отзывалось в мозгу ударом раскаленного молота. Хотелось полного бессмыслия, потому что каждое движение мысли было царапаньем огненных клещей по обнаженному мозгу.

Не знаю, пришло ли ко мне желанное, целительное забытье. Но неподвижное состояние длилось долго и безмыслия я добилась.

Утро выбелило занавеси, и в комнате стало совсем светло... За дверью шарканье половой щетки и движение... Это Дросида проснулась и убирает комнаты... Каждый звук, доходивший оттуда, как-то ритмически ударял меня по темени и закрытым глазам... Затем я услыхала тихий спокойный разговор между нею и братом: он, по обыкновению, встал рано и уходил на свою утреннюю прогулку, которую совершал методически... По спокойствию, с которым они разговаривали, я могла понять, им еще неизвестно, что ночью произошло в доме несчастие, преступление...

Это меня так поразило, что я даже позабыла о своих стараниях оставаться неподвижною и привстала с постели в сомнении, почти в надежде: «Да не ошиблась ли я? Не во сне ли мне пригрезилось? Не продолжаются ли это безобразные, кошмарные грезы минувшей ночи, отравленной вчерашним вином и маскарадными впечатлениями?..»

Но безжалостная правда не щадила...

Тогда я горько заплакала, легла ничком — и так исходила слезами за часом час, пока Дросида не постучала ко мне в запертую дверь и не окликнула, что, мол:

— Елена Венедиктовна, думаете вы вставать сегодня или нет? Ведь уже двенадцатый час и скоро завтрак...

Привычка вставать рано и стыдиться позднего спанья так велика в человеке, привыкшем к упорядоченной жизни, что по оклику Дросиды я вскочила в ужасном испуге за свое опоздание. Откликнулась Дросиде, что встаю и сию же минуту буду готова. Но самый звук моего голоса показался мне странным, изменившимся, ужасным, каким-то непристойно новым. А усилие откликнуться громко опять охватило голову острым колющим обручем, опять вонзило в глаза проклятые тяжелые ломы...

Тем не менее я преодолела себя и кое-как начала одеваться, в то же время недоумевая: зачем я, собственно, должна это делать? Зачем все это теперь, после того, что случилось, когда я не могу себе дать даже отчета, как теперь будет дальше: что я, зачем я... Каждое движение стоило мне ужасного труда и боли, однако привычное утреннее старание привести себя в порядок упорядочивало и мысли...

Я усиливалась вспомнить то, что меня погубило, и как будто что-то вспоминала, но — что, никак не могла определить, оформить, понять...

Кто виноват в этом, выбора возможностей не было: я знала. Но это было так неожиданно, так дико и странно, так не вязалось с личностью предполагаемого виновника, с его скромностью, порядочностью, с его обожающим уважением ко мне, что казалось невозможным поверить...

А не верить было нельзя... И почти сверхъестественный ужас какой-то наплывал: «Что же это было? Как мог взять меня человек, который до сих пор смотрел на меня, как на святыню какую-то, и едва смел глаза на меня поднимать? Как могла я — в доме, своем доме, наполненном людьми, мне преданными, — как могла я так беззащитно погибнуть? Хотя бы и пьяная, и бессознательная — отдаться человеку, который мне нисколько не нравится, которого я — не боюсь произнести это слово при всех его там внутренних достоинствах — все-таки почти что презирала?.. Во всяком случае, считала неизмеримо ниже себя, смотрела на него сверху вниз, именно как богиня с пьедестала может смотреть на нищего, ей молящегося...

Дросида вторично постучалась и окликнула: принесла свежей воды для умывания. Пришлось отворить ей двери. Когда она вошла, это первое человеческое лицо, которое я видела после своего несчастья, поразило меня страхом. Я старалась скрыть от нее мое лицо, не только боясь, но твердо уверенная, что мое несчастье уже написано у меня на лбу и стоит Дроси-

де только взглянуть на меня, чтобы все понять и узнать и в негодовании оскорбить меня — может быть, молчаливою, но все равно злою, невыносимою — насмешкою...

Пока Дросида возилась у умывального стола, я старалась стоять к ней спиною и наблюдала ее в зеркало над комодом. Но ничего подозрительного не заметила: лицо ее было, по обыкновению, спокойное, холодное, без выражения, как застылая маска сдержанной почтительности, которая уважает сама и требует уважения к себе... Было ясно, что она ничего не знает, ничего не слышала, ничего не подозревает и не видит ничего странного во мне, в комнате... Я вздохнула свободнее... Она вышла...

XI

Брат мой любил вспоминать свои студенческие годы. Московский университет его времени был какой-то странный: что ни профессор, то блестящий талант, но — что ни талант, то из чудаков чудак. Политическую экономию читал профессор Мюльгаузен, глубокий ученый, вдохновенный лектор, чудной души человек, любимец молодежи, но горчайший запивоха. Так вот его спросит, бывало, студентик:

— Профессор, не будете ли вы так добры дать мне несколько указаний для реферата?

— Пожалуйста. Заходите ко мне на дом, батенька.

— А когда позволите, профессор?

— Да когда хотите, батенька. Только не утром. До полудня я практикую физический спорт.

Студент изумляется:

— Как? Вы... спорт? Смею спросить: какой же спорт, профессор?

А Мюльгаузен ему — серьезнейше:

— Называется: «Утренняя борьба дворянина с умывальником».

Сколько раз брат рассказывал, и слушавшие смеялись, и между мужскою молодежью нашего кружка — для охотников покучивать — эта «утренняя борьба» Мюльгаузена в пословицу-дразнилку вошла...

Да, когда «дворянин борется с умывальником», оно, пожалуй, и смешно. А вот — когда «дворянка»... Ой, гадко! Ой, как подло, гадко!

Дросида вышла, но я не была в состоянии ни одеться, ни умыться. Так и отбрасывало меня назад, к постели моей опозоренной, словно злою силою невидимою... Ноги не двигаются, руки не подымаются, к телу своему горящему прикоснуться противно, точно оно — гниль вонючая. На кувшин и таз с водою смотрю с отвращением и ненавистью, будто они — мои лютые враги... Это я-то, Лили-чистюлька, над которою брат смеется, будто я моюсь «не больше» десяти раз в час, мыла извожу «не больше» пуда в неделю, а духов «не больше» ведра в месяц!..

Победа в унизительной борьбе осталась за умывальником. Не добрела я до него, повалилась, полуодетая, обратно на подушки. Лежа, стащила с себя, удерживаясь, чтобы не стонать и не охать, все, что успела было надеть до прихода Дросиды, спихнула ногами на пол и завернулась глухо-наглухо в одеяло. Потому что — то меня жаром обольет, как кипятком, то озноб морозом по коже подерет, аж зубы застучат...

«Что это? Простудилась, что ли? Больна лежу? Может быть, тиф начинается?..

Да! Как бы не так! Тиф! Просто пьяна ты, мерзкая! Не проспалась еще, грязная! До сих пор пьяна!»

Погибшая — и пьяная... Пьяная и погибшая... Кто же я теперь?! Как мне думать о себе! Как назвать себя?!

Женщина... Нежданно-негаданно — без любви, без желания — женщина...

«Жертва насилия?.. Ох, как бы я хотела иметь уверенность... право... плюнуть этим обвинением в глаза моему погубителю!..

Погубитель... какое мещанское слово!.. Глупое, пошлое, фальшиво-жалобное...

Погубитель... Да что я — девочка пятнадцатилетняя, что ли, гимназистка из подростков, которую победил и обесчестил старый, хитрый развратник?! Мне двадцать седьмой год, я образованная, я воспитанная, у меня дипломы, аттестаты... Училась-училась, читала-читала, путешествовала, знаю свет, знаю жизнь, общество знаю, флиртом искушена до совершенства, даже беспутному праздному быту «веселящейся Москвы» немножко причастна, не совсем в нем чужая...

Погубитель... Да кто же поверит мне, что он — «погубитель», мне, этакой-то удалой и многоопытной бой-девице?! Брат разве в своей святой наивности, в своей слепой доверчивости, в своем высоком мнении обо мне, в своем незнании людей, а уж в особенности женщин... Неисправимый идеалист! На кого ни взглянет, все ангелов видит, а я-то, сестра, пуще всех ангел...

Да, брат поверит... Но ведь он из всех в мире людей последний, кому я решусь признаться... рассказать... Язык не повернется! Сердце остановится!.. Скорее, чем это, — на Москву-реку да в прорубь! Петлю на шею да на гвоздь! Нашатырного спирту на двугривенный...

А то — на Курский вокзал: доеду до Люблина или Царицына и — под поезд... как Анна Каренина!.. Да-да, как Анна... как Анна Каренина... Анна Каренина... Анна Каренина... А, да ну тебя! Привязалась! Лезет в голову! Тут — смерть моя, а я — в литературу!..

Какая там Анна Каренина! Хорошо быть Анной Карениной, когда из-за графа Вронского... А если Галактион Шуплов?.. Впрочем, вот: барон М. с крашеными тварями обнимается, а на меня и смотреть не хочет... Чем барон М. хуже Вронского?..

Вот пойду и брошусь! Пойду и брошусь?! Пусть все думают, что из-за него, проклятого... Записку такую оставлю...

И он пусть думает, совестью терзается... А правды никто никогда не узнает... никогда! Никто! Никто!..

Господи ты Боже мой! Как меня вдруг со всех сторон, словно сетью, опутало! Кто поверит, когда я и сама-то не знаю, верить или нет?.. Погубитель... Скромный, смирный, известный своею степенностью... Никогда не искал близости со мною... отдален от меня общественным положением... Не он, а я затеяла эту глупую, подлую, проклятую поездку в маскарад. Не он, а я настаивала, чтобы мы оставались там, в пьяной и развратной толчее, из которой спешили убраться все трезвые и порядочные люди. И, уж конечно, не было там... кроме меня, безумной, которую дьявол в бездну толкал... не было там больше ни одной порядочной женщины...

Не он, а я гонялась... Да, да! Это самое слово! Гонялась до неприличия (теперь-то я слишком хорошо понимала это!) по всему театру, из зала в зал, за бароном М. Ах, как же вместо вчерашней страстной любви теперь, ужасным этим утром, возненавидела я этого барона! Из-за него ведь, все из-за него!.. Одурела, страх и стыд утратила, в пьяный буфет пролезла за идолом своим — любоваться, как он публичных женщин щиплет, сидела наряду с ними... Я! Я! Лиля Сайдакова!.. Чуть не за соседним столом... И в заключение напилась с горя!

Насилие?.. Да, должно быть... может быть... Память кружит какие-то безобразные клочки, постыдные обрывки... Зачем этот башлык очутился у меня на подушке? Почему рот у меня был полон шерсти с него?.. Да, была минута грубого насилия... Башлыком, конечно, это он мне рот заткнул, чтобы не кричала... Только я не помню, ничего не помню... Ночь — как гладкая черная доска, а по ней скользят каракули... Мелькнет каракулька и скроется, мелькнет и скроется, не давшись прочитать…

Насилие... Да как же, с чего же это вдруг он — он! — посягнул на насилие? Откуда дерзости набрался? Баран в хищниках: кто видал такое превращение?!

А что, если это... моя вина?!. А вдруг — это я его так настроила, что он решил: «Эге! Да с нею на что хочешь рискнуть возможно!..»

Разве я вчера вела себя, как барышня из порядочного общества, как невинная девушка, как Лили Сайдакова, которую он знал, уважал, издали благоговейно боготворил?.. Нет. Он имел право подумать обо мне самое дрянное, самое скверное... увидать во мне бывалую, доступную женщину, лицемерную искательницу пикантных приключений, которая дома и в приличном обществе только ловко маску невинности носит, дурачит простаков...

Насилие?.. А что... если я не сопротивлялась?.. Башлык?.. Да, конечно, башлык... Но тело нигде не болит: ни синяка на нем, ни царапины... Значит, борьбы не было... Да и помнила бы я борьбу, если бы была, — как можно забыть борьбу?.. Ничего не помню... клочки... обрывки.. каракули... Но не то в них, не то, не то!.. Мерещатся какие-то любовные слова... смех глупый... не чужой — мой смех... поцелуи как будто...

И потом — эта дверь, которую я своею собственной рукой заперла на крючок... Дьявол, что ли, его поднял и ее «погубителю» открыл? Никто не мог, кроме меня самой... Сама погубить себя захотела, сама навстречу сраму своему пошла...

Ах, нет, нет! Какое уж там насилие! Некого винить, кроме себя! Правду скажи: не насилие, а падение... грязное, пошлое, звериное... Хуже: скотское падение!.. Спьяну! С первым встречным!.. Самки четвероногие разборчивее отдаются, чем ты, голубушка, себя устроила!..

И это — разрешение и финал твоей великой, возвышенной любви, которою ты годами страдала и, как святыню требовательную, в больном своем сердце берегла и всякими мучительными жертвами ублажала?.. Ах ты, ничтожество! Ах ты, дрянь! Пошлая, низкая, блудная тварь!.. Как же ты теперь жить-то останешься? Что с тобой дальше-то будет? Кто ты, ну кто ты такая? Каким именем тебя, такую, назвать?»

Стало невыносимо жаль себя, и сердце, сжатое мучительными тисками, вдруг бурно разродилось новым ливнем слез, хлынувших, точно в глазах прорвалась какая-то запруда: в миг один подушка под щекою стала насквозь мокрая. Никогда я не воображала, что можно так бесконечно плакать — без рыданий, без всхлипыванья, молча. Только лежу, да мою лицо слезами, как водою, да кусаю, тискаю зажатую в зубах простыню.

Не знаю, долго ли так было, может быть, наверное даже, всего лишь несколько минут, но мне казалось, что проходят многие часы. И рада тому я была и хотела, чтобы тихий плач мой все длился и длился и никогда бы мне не перестать. Потому что он как будто размывал камень, в который вдруг одичала моя ужаснувшаяся душа, и он размягчался и легчал. Сплывали слезами удушье в горле и теснота в сердце, таяла проклинающая злоба в мыслях, сострадания и жалости к себе они запросили...

«Ах я несчастная! Несчастная!..»

И... я и не заметила, как в разливе слез, щекою на мокрой подушке сковал меня глубокий сон. Налетел на неслышных пуховых крыльях — мягкий, теплый, бархатный, — накрыл, и — будто какая-то теплая, ласковая смерть: ни звука, ни видения...

Вот уже бабий век я прожила, за сорок повернула, а и до сих пор мне удивительно и немножко стыдно вспомнить, как это я тогда в таких-то муках своих вдруг заснула.

Вот оно, тело-то здоровое, что значит и какую бесстыжую власть над нами имеет! Вся душа потрясена и в ранах, волнением совести ее до дна перебуровило, а тело — нет, оно совести не знает.

«Ты, — говорит, — душа, мечись, если тебе нравится, сколько хочешь: такая твоя повинность, потому что ты — от дуновения Божия. А я — началом глина, бытием скотина, так долго мучить себя заодно с тобою мне накладно. По-

волновалась, пометалась, да будет — хорошенького понемножку: психологии — как угодно, а по физиологии мне отдых отдай!»

XII

Спала я долго, проснулась поздно. Январский день уже умирал в серых сумерках.

Я решительно ничего не видала во сне, но проснулась, будто встряхнутая кем-то за плечо и с такою яркою и громкою мыслью в уме, точно она не во мне прозвучала, но кто-то звонко и внушительно сказал мне на ухо: «В восемь часов вечера надо быть на Пречистенском бульваре».

И, стряхнув сонную одурь, я, окончательно очнувшаяся, повторила эти слова уже наяву. С недоумением, откуда они взялись, но со смутным сознанием, что — правда: какое-то мое обещание кому-то, и в восемь часов вечера я действительно должна быть на Пречистенском бульваре.

Дросида заглянула в комнату и, заметив, что я не сплю, принесла мне лампу и кучу писем. Все по почте; одно лишь, сказала она, занес часа два тому назад Галактион Артемьич...

Опять внутри меня все взметалось и задрожало. Но теперь я была уже трезва, здорова и сильна и легко овладела собою.

— Э, барышня?! Кофейку-то вы так с утра и не тронули? — удивилась Дросида.

Тут только я заметила на тумбочке у кровати чашку с захолодевшим кофе, кофейник, сахарницу... Когда это появилось? Значит, во время моего сна Дросида входила ко мне?

Взглянув по комнате, не увидала я ни юбок, сброшенных мною на пол, ни снятого вчера домино и платья — убрано...

Это меня сильно кольнуло: в каком-то виде она их нашла? А она умная, хитрая — черт знает, что она по ним заключила обо мне и как теперь меня понимает...

Но слышу:

— Прикажите, я свеженького заварю?

Ага! Она — спокойно, ну, значит, и я спокойно:

— Нет, спасибо, не надо... Я люблю холодный...

— Да оно, пожалуй, и взаправду поздно, — говорит она, глядя, как я за чашку берусь (ничего, рука не трясется) и пью (ничего, зубы о чашку не постукивают). — Пятый час, до обеда недалеко, братец поди скоро с визитов домой будут... Горячим-то аппетит испортите...

А я пью кофе, поверх чашки на нее поглядываю и не знаю, как быть. И мучительно мне ждать, скоро ли она со своим кофе уберется, чтобы я могла распечатать письмо... то... от «погубителя»-то... Потому что, чувствую, при ней боюсь, не посмею распечатать: вдруг он там такое мне пишет, что не выдержу — сомлею на ее глазах... А в то же время нетерпение жжет, жжет, жжет... И новая забота тревожит — о платье-то и юбках убранных: как отпустить Дросиду, не разузнав...

Но тут, на великое мое счастье, она сама заговорила:

— Тувалет ваш, барышня я весь на мороз вывесила, прокурили вам его господа кавалеры настолько ужасно, что в неделю не выветрить... вот насчет домина позвольте доложить: очень грустно отделали вы его, хоть брось: в трех местах сладким вином залито... Для атласа нет этого хуже — не отойдет...

Я внимательно прислушивалась, пробегая глазами поданные письма — все поздравительные, ненужные, неинтересные... Да и что мне было тогда интересно, кроме одного письма — того, на которое я при Дросиде даже глазом повести не решалась! А — нет: достало звериного инстинкта, выдержала характер... Она кофе с тумбочки убирает, а я вожу глазами по строчкам, не понимая, что в них писано, но равнодушно-преравнодушно говорю:

— Не отойдет, говоришь? Заставлю барона М. новое купить; это он отличился, чокнулся так, что мою рюмку

расплескал, свою разбил, всю меня обдал ликером... дурак этакий!

Никогда я лгуньей не была и находчивостью на выдумку не отличалась, а тут так быстро выдумала и ловко солгала, словно век в том упражнялась. Дросида засмеялась почтительно и вышла, а я, все письма бросив, — к тому...

Только четыре слова содержало оно, и то не полных:

8 час. Преч. б.

Вот оно! Вот оно, что разбудило меня, словно толчком выбросило из сна!.. Назначенное свидание, условленные час и место... Напоминание, чтобы не забыла, проспавшись, что обещала пьяная...

Следовательно... Ну да, конечно, «следовательно»!.. Не напоминал бы, если бы не имел права напоминать!.. Что? «Хмельная — вся чужая»? Проспала себя, шлюха?.. Боже мой, Боже мой! Какой позор!.. В чем себя винить и судить дожила, какими словами!..

А попробуй умягчи их, слова-то, найди другие, извинись обходцем деликатным, «лживкой, лукавкой, вежливкой», что, мол, если несчастная и виновна, то все-таки заслуживает снисхождения!.. Нет, Лиличка, друг ты мой, враг ты мой, других ты, может быть, и обманешь, себя не обманешь, всем солжешь — себе не солжешь...

«Не напоминал бы, если бы не имел права напоминать...» Боже мой, Боже мой!.. Да неужели же правда? Неужели же, в самом деле, имеет?.. Боже мой, Боже мой!.. Нет, это невозможно! Не хочу! Так нельзя! Тут адское недоразумение... Надо выяснить!.. Да, да, выяснить... Вот пойду — и выясню... Да! Выясню... выясню... выясню...

Что из того будет, не знаю, не хочу думать, боюсь загадывать... Но — пойду и выясню!..

Пойти... а как?.. Пойти — встать с постели... Дросида придет убирать комнату, оправлять постель...

Но лгательная машинка, стоит раз ее завести, так уже работает, не запинается, вертит мозгами, в какую сторону надо. Зову:

— Дросида!

Пришла. Я, на локте приподнявшись, повернулась к ней спокойным лицом, взяла одно из полученных писем (нарочно наметила написанное по-французски), смотрю в него, будто перечитываю, и говорю — сама на себя изумляюсь, как голос ровно и чисто звучит:

— Как погода, Дросида?

— Похвалить нельзя: такая завирюха на дворе — сущий буран!

— Тогда я и подниматься не буду... Досадно: хотела выехать, но если такая вьюга... Дай-ка мне перо, чернила и книгу какую-нибудь, чтобы подложить под бумагу. Я напишу ответ Элле Левенстьерн, а ты, пожалуйста, сейчас же отвези...

— Слушаю, барышня.

Пишу и ворчу:

— Досада!.. Элла приглашает меня в итальянскую оперу, ложа у нее... «Джоконда» идет, Маркони поет — пожалуй, и не услышишь в другой раз...

Она возражает:

— Так, ежели вам так интересно это, куда Элла Федоровна вас зовут, то и поехали бы, барышня. Что вам на погоду смотреть? Слава Богу, не старая старуха, а молодой человек...

Ага! Того мне и надо было!.. Ну теперь — была не была — самое трудное!.. Говорю:

— Я не посмотрела бы на погоду, да вот пришлось некстати... Я, понимаешь, в своем маленьком нездоровьице... А ты знаешь, я осторожная и мнительная: первый день — всегда в постели...

Говорю, а у самой сердце прыгает, как заяц, и то сожмется в орех, то разожмется в арбуз. То будто его вовсе нет в груди,

то будто вся грудь им полна и уже места ему в ней не хватает — ломится наружу.

— Э, — говорит Дросида, — охота вам, барышня, этакой, простите на слово и не сглазить бы вас, здоровущей, разбирать в подобном обыкновенном деле дни, который первый, который последний. Чай, не котлы ворочать зовут вас, а в ложе сидеть. А я хоть и постарше вас буду, однако с этим самым и котлы ворочаю — ничего мне не деется! Иной раз и не замечу первого-то дня. Только потому и обратишь внимание, что кошка уж больно усердствует некстати вокруг вертеться да мурлыкать... Поезжайте, барышня, что валяться-то зря?

— Ты думаешь? — будто сомневаюсь я и размышляю. А в голову стук новое подозрение: «Что это она как будто уж очень усердно выпроваживает меня из дому? Уж нет ли условьица между нею и ее почтенным родственником? Уж не известно ли ей, куда я на самом-то деле отправиться должна?»

Но Дросида и в том меня тут же успокоила:

— Конечно, поезжайте. И мне заодно кстати праздничек дадите. Хочу, коли отпустите, проведать куму Марью Петровну...

— Это которая у Дорогомилова моста лавочку держит?

— Она самая. Сегодня у нее, на Василия Кессарийского, муж именинник, так очень звала.

Сплыла с меня и эта тревога.

— Хорошо, — говорю, — будь по-твоему, поеду, рискну... Ведь, и вправду, в другой раз Маркони, пожалуй, не услышу... А ты, Дросида, уж, пожалуйста, на именинах-то не засиживайся очень...

— Будьте спокойны: к тому времени, как вам быть из театра, дома буду, и самовар на стол... только поди вы-то вряд ли вернетесь: уж наверно Элла Федоровна, по прежним примерам, уговорит вас к ней ужинать — там, как обыкновенно, останетесь ночевать...

— Нет, нет! — заторопилась я — и напрасно слишком загорячилась!..

В предположении Дросиды не было ничего подозрительного: у Эллы Левенстьерн, очень богатой вдовы, большой моей приятельницы еще с гимназических лет, я заночевывала таким образом, как Дросида говорила, по крайней мере дважды-трижды каждый месяц. Но уж таково свойство виновной совести: в каждом слове чудится ловушка!

— Нет, нет! Я — домой, прямо из театра домой!

И, спохватившись, что пылкость моя может показаться ей странною, объяснила как бы с досадой:

— Я все-таки чувствую себя не очень-то здоровою, а Элла такая несносная разговорщица: не даст мне отдохнуть, будет до утра французские стихи читать да о князе Урусове рассказывать, какой он умный и как тонко понимает всякое искусство... Однако уже поздно... Дай мне одеваться...

— Какое платье подать? Голубое, что ли, наденете?

— Все равно, давай хоть голубое.

Пошла она за голубым платьем, а я сижу на кровати, туфли ногами ищу и торжествую, как ловко лгала: на всякий крючок свою петельку нашла — плела-плела, да и выпуталась.

И вдруг среди торжества — как иголка в сердце: не очень-то мое плетенье находчиво! В пустяках вывралась, а главное забыла — что Дросида знает мои женские сроки и, значит, вспомнит, что последний отбыла всего неделю тому назад...

Ну, тут комната так и поплыла, так и завертелась у меня перед глазами. Счастье мое, что я уже стояла у умывальника: нырнула в таз лицом, не допустила меня холодная водица до обморока...

Возвратилась Дросида с платьем, а я умываюсь, долго умываюсь, а сама сквозь пальцы на нее украдкой поглядываю...

Нет, Дросида как Дросида, лицо каменное, в глазах — ни недоумения, ни насмешки... Значит, слава Богу, забыла, на мое счастье, приняла все мое вранье как должное!

Отлегло!.. Звериная радость нежданной удачи волною горячей крови прокатилась во мне...

И сделалась я сразу такая радостная, такая веселая, такая шутливая, что когда вышла к обеду, то брата чуть смехом не уморила, рассказывая в потешном виде, чего я насмотрелась в маскараде и как барон М. отличался, не подозревая, что я рядом сижу и все его подвиги вижу...

Брат заливается и хохочет, даже суп из ложки расплескал, а я болтаю, болтаю, болтаю... И самой мне дико, что я говорю так много и бойко, и будто не от меня это идет: что-то чужое будто из меня острит, дразнит и смеется; а я, как посторонняя, прислушиваюсь и только удивляюсь, откуда слова берутся. И жутко мне, что вот-вот это чужое оборвется на полуслове и дело скверно кончится, а остановиться не могу... Брат хохочет, а во мне каждая жилочка дрожмя дрожит...

XIII

Кажется, никогда еще в Москве не было такой отвратительной погоды, как в этот вечер. Едва я вышла из подъезда, меня схватила, завертела, закрутила визжащая вьюга, и ноги прямо со ступенек крыльца ступили в снежный сугроб.

От нашей квартиры в Гагаринском переулке до Пречистенского бульвара — два шага, какие-нибудь пять-шесть минут ходьбы. А мне казалось, что я час иду и никогда не дойду. Так свирепо дуло навстречу колючим снегом, рвало шапочку с головы, муфту из рук — словно хотела остановить меня вьюга: «Вернись, не надо тебе идти вперед, ступай назад — домой! Домой! Домой!»

Улицу совсем перемело: на тротуаре — то сугроб по щиколку, то скользишь, как на катке, по оголенным обледе-

нелым плитам. Рев и вой ветра, стон телеграфных проволок в звуковой ад какой-то сливались. Глаза залепило, я совсем ослепла и шла, не глядя, ступая наудачу, благо знакомая, часто хоженная дорога. Фонари, забеленные вьюгой, только самим себе светили, чуть видные, как пятна мутно-радужного тумана. Лицо мое будто десятки иголок кололи, нос мерз, и напрасно я прикрывала его муфтою: ее запорошило снежною пылью и она вздыбилась каждым волоском меха, точно обледенелый еж.

Башлык я не решилась надеть: противен очень он был мне; еще перед тем, как выйти мне из своей комнаты, я улучила минуту, забросила его за свой книжный шкафчик: туда Дросида с уборкой не полезет, а когда со временем найдется, свалю порчу и изъяны на мышей, благо их в доме — стадо.

От дыхания муфта таяла, текло по подбородку, смок шарфик на шее, с шарфика затекало за воротник.

Все вместе была такая мерзость, что натиском враждебной погоды меня даже как бы вышибло из колеи моих мрачных и оскорбительных мыслей. Несколько минут я не думала ни о чем другом, кроме ветра, снега, сугробов, скользкого тротуара, мерзнущего носа, талых капель, ползущих по шее, мокрого подола, хлещущего потопом.

Ни души не попалось мне навстречу. Даже дежурные дворники попрятались в подворотные глубины. Не то что добрый, а и злой хозяин в такую погоду собаки на двор не выгонит, а я вот иду, должна идти, не могу не идти. Переходя из переулка к бульвару, поскользнулась на булыжной мостовой и едва-едва устояла на ногах под диким снежным вихрем. Коротенькую лесенку с улицы на бульвар осиливала, словно на Иван Великий лезла.

Когда на бульваре, отделившись от домика полицейского поста, двинулась мне навстречу невысокая и чуть темнее окружающей снежной мути фигура, меня затрясла дрожь, аж зубы застучали. От волнения или от перезябу, не умею ска-

зать, потому что зимняя буря, сквозь которую я прошла, выветрила и выпустошила мою голову: как метлой вымела — нет мыслей, да и все тут!.. — никаких мыслей!..

Когда «он» подошел ко мне, я что-то сказала ему, а что — не знаю. А что я заговорила, а не «он», верно потому, что первые слова «его», которые я расслышала, были как будто ответными на какой-то мой вопрос:

— Конечно, Елена Венедиктовна, какой же здесь возможен разговор! Не погода, а погибель...

Он держался обеими руками за шапку, я грела муфтою нос и стучала зубами. Он — в слышном недоумении — говорил:

— Я очень хорошо понимаю, Елена Венедиктовна, что между нами должен быть серьезный разговор, но куда нам пойти для разговора? В хорошую гостиницу нас вдвоем не пустят, а в какую-нибудь худой славы я сам вас не поведу...

Замялся, примолк на мгновение и продолжал с запинкою:

— Разве... может быть, не побрезгуете... осчастливите посещением мое скромное жилище?.. Отсюда рукой подать, даже расстоянием нельзя назвать, одна нога здесь, другая там... Заранее прошу извинения: живу бедно, но в тепле и спокойствии... Что касается каких-либо нареканий или сплетен, не извольте опасаться: квартира моя весьма уединенная, и хотя имеются соседи, но сейчас они уехавши на гостьбу к родственникам в Елабугу и обиталище их пустует под замком, от коего даже и ключ поручен мне на хранение. Двор же у нас, наоборот, людный и проходной по той причине, что во флигеле помещается телеграфное отделение, так народ к нему денно и нощно снует в ворота. Стало быть, как вы вошли, как вышли, никто не потрудится взять хотя бы и в малое внимание.

И опять я не помню, не знаю, как и когда я согласилась идти к нему. Думаю, что, если бы он мне в те минуты предложил укрыться в ночлежку, я и то приняла бы с машинальною покорностью, так жестоко била меня лихорадочная дрожь

от нервного потрясения внутри, от вертящегося холода колючей вьюги снаружи.

Помню, как, спотыкаясь, вися на его руке, переходила я площадь, с мутными в снежных облаках электрическими солнцами храма Спасителя, невидимого за густой вьюгой... С площади повернули направо, в улицу Остоженку, с улицы — в темный двор, во дворе толкнулись в какую-то дверь... Холод и вихрь дикой ночи сразу прекратились, а навстречу нам задышала гнилым теплом тьма жилого подвала, и мы стали спускаться по скользким невидимым ступенькам.

— Осторожнее... ради Бога, осторожнее... — суетливо заботился «он», поддерживая меня под локоть. — Тут, знаете, с непривычки... Уж извините великодушно: похвастать своим антре не могу, такого другого подлеца-лестницы не найти, хоть всю Москву исходи, от Данилова монастыря до Сокольников... Еще две ступеньки, Елена Венедиктовна... раз, два... вот все и готово...

Он повертел в темноте ключом. Вырезался перед глазами светлый четвероугольник распахнутой двери.

— Пожалуйте, Елена Венедиктовна, милости просим, будьте гостья. Прошу проследовать далее. Вместо прихожей-то у меня, извините, кухонька, — старушку приходящую нанимаю для харчей: утречком из богадельни приходит, что требуется, сготовит, к полудню я из конторы являюсь, минута в минуту, на полчаса, старушка меня накормит чем Бог послал и уйдет уже совсем-с, до завтрева... Три рубли в месяц плачу ей: довольнехонька, старая кочерга!.. А вот тут мое помещение... Опять извинить молю: не боярские палаты, хороших гостей в них принимать, по правде говоря, даже как бы и совестно, но добрые люди говорят, что в тесноте, да не в обиде...

Всеми этими словами он сыпал, снимая с меня шубу, шапку и высокие галоши, с которых потекли по крашеному, сильно облупленному полу талые ручьи. В комнате было жарко от

почти раскаленной печки-голландки. С мороза теплом мне в голову ударило. Небольшое зеркало на стенке отразило мое иссеченное снежною крупою лицо красным, как кумач; я показалась себе ужасно безобразною. На «него» я старалась не смотреть. А он усиливался быть спокойным, но я слышала, что он говорит не в меру много и быстро, и видела, что руки его, багровые с мороза, дрожат и делают много движений совсем ненужных.

Жил Галактион Шуплов действительно бедно, хотя действительно чисто. Комната была просторная, но полуподвал, с двумя окнами, в уровень мостовой, с потолком в свод, крашенная в серо-голубой цвет с коричневой лентой панели. В углу, за цветным ситцевым пологом, широкая деревянная кровать. Комод дешевенький, рыночный, под красное дерево, такой же зауряд-мещанский шкап-буфет, честно заявляющий о своем происхождении со Смоленского рынка, этажерка кустарной работы, купленная в уличном разносе, на ней десяток растрепанных книжек, над ней часы с кукушкой, расписанные розами и яблоками.

По стенам, а в особенности вокруг зеркала множество фотографических карточек. Среди них бросилась мне в глаза моя собственная, большого формата, снятая прошлою зимою, в бальном платье, декольте: говорят, я на ней на императрицу Елизавету Петровну похожа. Это меня удивило: откуда он взял ее? Я ему не дарила!.. И, наконец, широкий клеенчатый диван с пуфами перед круглым столом под нарядною цветною скатертью, на котором красовалась обильно приготовленная чайная закуска: варенье, печенье, конфекты, тарелочки с нарезанной колбасой, сыром, языком, баночка патефруа, какие-то бутылки.

— Что это? — обернулась я к «нему», вносившему из кухоньки самовар. — Вы гостей ждете?

Он стукнул самоваром о поднос и, добывая из буфета чайную посуду, объяснил:

— Никак нет, Елена Венедиктовна. Разве я смел бы пригласить вас, если бы ждал гостей? Да у меня и вообще по вечерам никогда никто не бывает. Ни на кого не рассчитывал, кроме вас.

От этих слов его меня так и взорвало.

— А на меня-то это вы на каком основании изволили «рассчитывать»? — бросила я вопрос — надменный, дерзкий, презрительный.

Он испуганно уставил на меня серые глаза свои — настороженные, округлившиеся.

— Вы — что же? — продолжала я с возрастающим озлоблением, радостно чувствуя, что он озадачен, я нисколько его не боюсь и отлично владею собою, и сейчас — погоди ты, отделаю тебя, как последнего негодяя, моя над тобою победа! — Вы — что же? Значит, уже и на бульваре шли с уверенностью, что я пойду к вам в эту вашу берлогу? Пиршество приготовил! Скажите пожалуйста Уж не воображаете ли вы, что получили на меня какие-то особые права? Так знайте, милостивый государь...

На этом слове он меня перебил. Округленными глазами он смотрел теперь уже не на меня, а внимательно сосредоточил их на чайнике, который поставил париться на конфорку.

— Помилуйте, Елена Венедиктовна, что вы?! Какие права?! Решительно ничего я не воображал, но просто, как увидел, что к сумеркам погода не исправилась, но, напротив, стала еще пуще собачья, то подумал, что нашему с вами свиданию никак нельзя состояться под открытым небом. А потому позволил себе принять меры... Соблаговолите чашечку чайку, Елена Венедиктовна... Прикажете с лимоном или со сливочками?

Но я закричала на него, как на лакея, завизжала, затопала, в глазах красно стало, по корням волос кипяток прошел — ярый трепет и пламя страдания гневом — до гневного восторга!..

Что я ему вопила? Долго ли вопила?.. Опомятовалась и замолкла оттого, что со стола слетела чашка и разбилась, разливая чай лужею на пол...

Галактион Артемьич наклонился и подобрал осколки.

— Это ничего, не извольте беспокоиться, совершенно ничего, — бормотал он, согнутый так, что мне не видать было лица его. Но руки его трепетали, и затылок под каштановой стрижкою был пунцово красен.

А я уронила руки на стол, лицо — в руки и прорвалась в неуемных слезах, зарыдала на голос…

Галактион Артемьич мертво молчал, ни слова от него, ни шороха. Кукушка в часах начала кричать. Я машинально считала — и слезы сохли...

— Девять? — прошептала я, не отрываясь лбом от стола.

— Никак нет, — отозвался тихий голос, — они у меня, извините, с неверным боем: половина десятого.

Я вскинулась, изумленная: как половина десятого?! Я вышла из дому — еще не было восьми! Куда же девались полтора часа? Сколько же времени я здесь?

XIV

Галактион Артемьич стоял передо мною через стол за самоваром и подвигал ко мне дымящуюся чашку.

— Самовар-то остыл было, — все так же тихо и ровно говорил он, — да я подогрел... Пожалуйте горяченького...

От слез и крика рот у меня высох, в горле шерстило, язык был, как тряпка. В груди — жестокая натруженность, все тело болит томлением усталости, руки, ноги ноют, точно вывихнутые… Молча взяла чашку, хлебнула раз-другой — почувствовала себя как будто легче...

А «он» говорил:

— Не смею настаивать, но было бы не худо, если вы изволили прибавить в чай ложечку коньяку или рому. Я обеспоко-

ен, что вы перезябли, и вон, как я замечаю, ботинки и чулочки на вас даже и посейчас совершенно мокрые. Так можно очень опасно простудиться...

— Тем лучше, — пробормотала я, избегая глядеть на него. — Если бы насмерть простудиться, теперь был бы самый лучший, самый желанный выход из моего ужасного положения.

— Я смею надеяться, что нет, — возразил он очень твердо, — и полагаю, что ежели вы соблаговолите меня выслушать, то, может быть, вы измените ваше печальное суждение. Но прежде всего убедительно прошу вас позаботиться о вашем здоровье и надеть сухие чулочки... Не извольте стесняться: я покуда пережду в кухоньке.

Его прозаическое самообладание сбивало меня с толка, взвинченные нервы слабели — словно заигранные струны сползали с колков... Рядом с собою на диване я увидела три пары шелковых дамских чулок: когда только он успел их подложить?!

— Это что же? — спросила я, стараясь вложить и в слова, и в тон свой как можно больше злого яду.— Ваша удивительная предусмотрительность даже и на этот случай простиралась? Или вы приготовили мне их, как какой-нибудь павшей горничной, в подарок «за любовь»? Как бишь это говорится-то? Да — «вещественный знак невещественных отношений»?

Не вышел мой саркастический удар. Галактион Артемьич отбил его невозмутимо.

— Этого, Елена Венедиктовна, вы думать обо мне никак не можете, — возразил он убежденно, — против собственных мыслей говорите... А чулки — моей покойной супруги: по кончине ее уже четыре года лежали без употребления. Выпрашивала их у меня тетка Дросида, да я не дал: не по чину ей носить такой прекрасный товар. И сам не знаю, зачем их берег, — ан, вот и пригодились. Уважьте, Елена

Венедиктовна, извольте надеть, успокойте меня за ваше здоровье.

— И не стыдно это вам, — оборвала я его с вызовом прямо в глаза, — не стыдно вам предлагать вещи вашей жены девушке, которую вы опозорили?

Его сильно передернуло, но — сдержался и, не отвечая, сказал:

— Так я, Елена Венедиктовна, пойду. Убедительно прошу вас: перемените чулочки.

Я осталась озадаченная. У этого человека был какой-то особенный талант понижать настроение. В ответ на его фамильярную настойчивость мне следовало бы, конечно, вспыхнуть новым негодованием и поднять новую бурю. Но, должно быть, я уже слишком выкричалась и выплакалась: не было никакого подъема, никакой воли начинать сначала... Одно недоумение — сознание, что положение мое пред лицом врага, столь невозмутимого, что даже и защищаться себе не позволяет, начинает делаться смешным.

Вообразите себе трагическую героиню, Лукрецию или Виргинию какую-нибудь, в бурном монологе, когда она призывает смерть и ад на голову Тарквиния и свою собственную, кинжалом машет и вот-вот им пронзит либо Тарквиния, либо себя. А Тарквиний вместо того, чтобы ей в тон тоже кричать и кинжалом махать, вдруг — добродушнейше:

— Душечка, ты бы чулочки переменила: у тебя ножки промокли!

Фу, как глупо! Фу, как пошло! Даже не водевиль, а просто — была трагедия, а вдруг стала клякса... серое, будничное, мещанское пятно...

Чулки были чудесные. Пара оранжевая, пара кремовая, пара виолет. Знаю: дорогая вещь. Точно такие, с высокими стрелками, Элла Левенстьерн выписывает из Парижа... Невольная женская мысль мелькнула: «Однако покойная ма-

дам Шуплова, должно быть, была порядочная франтиха! Скажите пожалуйста, как он ее баловал!..»

Посмотрела... пожала плечами... и сделала, как он хотел: скинула свои чулки — ужасно дрянные они мне показались в сравнении с предложенными — и надела... кремовые. Ногам стало уютно и приятно. Но мне жаль было надеть на такие хорошие чулки мои сырые ботинки. Я встала и приставила их сушиться к печке-голландке рядом с галошами, которые уже придвинула туда заботливая рука Галактиона Артемьевича. Мимоходом налила себе чашку чаю и залпом ее выпила, хотя обожгла рот. Опять уселась на диван, поджала под себя ноги по-турецки — жду...

«Он» вошел. Сел насупротив, к самовару. Опять чаю предлагает и ложечку рому советует. Слушаюсь, беру, пью. Говорит. Слушаю.

А говорил он такое:

— Вот, Елена Венедиктовна, вы изволили претендовать, что я вас — выходит по вашему подозрению — как бы неприлично заманил к себе на квартиру. Однако сами теперь посудите: в каком другом месте, допустим, был бы подобный шум, как вы произвели? Если я в непременном ожидании того сообразил, как бы это так устроить, чтобы дать свободу вашим справедливым чувствам, не привлекая общественного внимания, то, право же, извините меня, Елена Венедиктовна, я за это не брани от вас заслуживаю, а скорее маленькой похвалы, что догадался...

Каков?! Я так и рванулась было:

— Мне решительно все равно теперь, привлекаю я к себе чье-либо внимание или нет!

Но он не дал мне продолжать, перебил:

— Ах нет! Извините, нет! Этому я никак не поверю, чтобы вам все равно было! И не должно быть, чтобы все равно было, и не с чего тому так быть...

— То есть как же это не с чего?! — вскричала я, возмущенная. — Право, милостивый государь, вы так... неожиданны, что я теряюсь, как о вас думать: глупы безгранично или уж такой наглец, какому имени нет!.. «Не с чего»!.. Да что же, все, между нами происшедшее, вы считаете, будто это для меня так — из комнаты в комнату девушка перешла, мимоходом, как вот сейчас чашку чаю выпила? Да за кого же вы меня принимаете, негодяй вы бесстыжий?! Вы меня погубили, вы меня из чистой девушки жалкою тварью сделали, вы меня в непоправимую беду, в пропасть безвылазную столкнули — вот оно как «не с чего»!

Он выслушал меня очень серьезно, но, хотя я прямо в лицо ему вины его бросала, не опустил глаз. И возразил вежливо и спокойно:

— Позвольте вам заметить, Елена Венедиктовна, что вы — понятно, будучи в волнении — несколько преувеличиваете. Я вашей беды, как вы изволите называть, непоправимою почесть никак не могу. Себя нисколько не оправдываю, напротив, признаю себя виноватым и преступным, может быть, в большей мере, чем вы меня судите. Но поправить вашу беду и обратить ее на лучшее возможно когда угодно, лишь бы вы захотели...

— Полно вам вздор нести! — оборвала я. — Не дурочка я и не малолетняя. Того, что вы со мною сделали, не только люди, сам Бог не может поправить.

Он возразил:

— Напрасно вы так себе представляете. Посредством таинства брака поправка эта происходит довольно даже легко и просто.

— Что такое?! Что такое?! — вскричала я, с дивана вскочив. — Вы... на мне жениться воображаете?!

— Если позволите мне ласкаться такою надеждою, что рука и сердце мои будут вами благосклонно приняты, то смею сказать: предложить вам узы брака почитаю для себя и долгом священнейшим, и желаннейшею мечтою...

— Послушайте... послушайте...

— Я слушаю-с, — кротко заключил он.

Я вышла из себя:

— Нет, вы неподражаемо восхитительны! Вы меня извините, что я было усумнилась, что вы глупы ли очень или очень подлы...

— Надеюсь, однако, Елена Венедиктовна, что в моем предложении вы не усматриваете ничего бесчестного?

— О, решительно ничего! Напротив: благородство и великодушие без границ. Хоть согрешил, да грех покрыл. Тронута до слез!

— Вы смеяться изволите, а я... я не совсем вас понимаю, Елена Венедиктовна: если даже и так, то что же в том с моей стороны худого?

— А то худого, господин Шуплов, что вы слишком много возомнили о своей особе. Скажите пожалуйста! Что помог ему дьявол осилить девушку в ненормальном состоянии, так он уже вообразил, будто мне в мужья годится! Это в рабство-то к вам пойти? Жизнь свою с вашею в один узелок завязать? Нет, Галактион Артемьевич, благодарю за честь, но осчастливьте вашею рукою и сердцем... дуру глупее меня! Мне эти сокровища не ко двору...

Наконец-то я его больно задела! Густым румянцем, как вишневым соком, облился. Глаза белые стали. Руки сжал — пальцами захрустел. Заговорил — голос захрипел:

— Брезгуете?

Я и ответить не захотела, только плечом повела.

— Так-с.

Помолчал, подумал, поборолся с собой — справился. Краска в лице унялась, глаза поцветнели. Кашлянул, выгнав хрипотцу из горла. Говорит:

— В таком случае, Елена Венедиктовна, я, со своей стороны, недоумеваю: зачем вам понадобилось это вот нынешнее наше свидание?

Вот тебе раз! Что он плетет?! Я глаза вытаращила:

— Мне?!

— Так точно, вам.

С больной головы на здоровую!

— Вы с ума сошли!

— Ничуть, Елена Венедиктовна. Вы и место назначили, и время. Я даже ставил вам на вид некоторые возражения в отношении неудобств новогоднего дня и позднего часа, но... было ваше непременное желание. С твердостью несколько раз повторили: Пречистенский бульвар, восемь часов вечера...

Слушала — пламенным стыдом горела. Невыносимо! Хочу сказать: лжете вы — не могу, не смею. Потому что помнить не помню, а чувствую: правду говорит. А он мои мысли в глазах читает:

— Я, Елена Венедиктовна, лгать вообще не охотник, а в подобных серьезных обстоятельствах и подавно. Докладываю вам в полной точности, как дело было. Верьте чести.

Собралась с духом, возражаю:

— Если даже и так, то ни за какие свои вчерашние поступки и слова я не отвечаю. Как вам не стыдно ссылаться на мой бред? Вы знаете, какова я была вчера.

— Да, не в себе, того я и не отрицаю. А только оно у вас полосами шло, и минутками вы даже очень сознательно изъяснялись. И вот-с, когда я вам выставлял свои резоны против нынешнего свидания, вы, настойчиво приказывая, изволили сказать: «У меня голова кружится и в мыслях туман, так ты мне завтра...»

— Ты?! — вскричала я, отбрасываясь дальше от него по дивану. — Я говорила с вами на «ты»?!

— Так точно... Почему же бы нет? Мы же с вами в маскараде на брудершафт пили... изволили забыть?

— Все равно... Дальше!

— «Изволь мне завтра напомнить, где и когда». И это ваше желание я исполнил, лично записочку занес и собственноручно ее Дросиде отдал, когда вы еще почивали.

Мраком он мою душу придавил. И, как только он назвал Дросиду, опять вдруг почему-то я забоялась ее, как давеча утром.

— Погодите, — говорю, — Дросида знает?

— Можете быть уверены, Елена Венедиктовна, что, поскольку от меня зависит...

— Оставьте. Не то. Допустим, что в вас я уверена. Я спрашиваю вас об этом не как обвинительница, а как сообщница. Как вы полагаете: знает она?

Он молчал и морщил лоб, видимо, впервые задумавшись над вопросом, который и его если не обеспокоил, то заинтересовал.

— По совести отвечу вам, Елена Венедиктовна: не знаю. Не должна бы знать, откуда бы ей знать... Шума не было, света не было... Но, говорят, всякая чужая душа потемки, а Дросидина, скажу я вам, наипаче. Что она знает, чего не знает, этого постороннему носу не унюхать, если сама не скажет. Не девка — могила! Однако если вы изволите опасаться насчет ее нескромности, то напрасно. У нее длинен язык только против тех, кого она невзлюбит, а без надобности она не болтунья, к вам же, сверх того, и весьма привержена. И, наконец, я имею большое влияние. Прикажу молчать — будет свято.

— Да, — пробормотала я, очень удрученная, — но если она знает, то, значит, тайное стало явным, секрет не между нами двумя, и я — в зависимости от третьего лица, этой Дросиды вашей...

Он брови поднял, плечами пожал, руками развел.

— Елена Венедиктовна! Осмелюсь повторить: ведь я же имею честь предлагать вам путь, на коем вам не будет надобности бояться ни тайного, ни явного, ни третьих лиц...

— Ах, это вы опять с предложением законного брака? Я полагала, что после моего отказа вы будете настолько благоразумны и тактичны, что не вернетесь больше к этому нелепому вопросу.

— Очень хорошо-с. Уважаю вашу волю и беру свои слова обратно. Но тогда будьте благосклонны, разрешите мне вернуться к другому вопросу: в таком случае, зачем же вам понадобилось нынешнее свидание и что, собственно, вы желаете от меня слышать?

XV

В гимназии была у меня подруга Верочка Капкова. О девочке этой мы, однокурсницы, вечно спорили и никак не могли прийти к соглашению: что она — очень ли уж умна, так что никто из нас ее понять не в состоянии, или, наоборот, совсем дурочка, у которой ум за разум зашел и Бог знает как бредит и колобродит. Потому что она денно и нощно «работала головой» и «философствовала», но престранно: размышляла все о вопросах и предметах, казалось нам, не стоящих никакого размышления. Спросишь ее, бывало:

— О чем ты, Верочка, так замечталась, что даже глазки твои прекрасные как-то остолбенели?

С минуту жди, пока вопрос до нее дойдет. А тогда ответит преважно:

— Я не мечтаю. Я думаю.

— Можно узнать, о чем?

— Взгляни, что это?

— Ну... перочинный ножичек... так что же?

— А вот: что «перочинный», это я понимаю. Значит: чтобы перья чинить. Хотя перьев никто уже не чинит, осталось от старины, когда писали гусиными. Но почему — «ножичек»?

— То есть... как это — почему?!

— Ну да: почему нож — это нож, а не вилка, не губка, не карандаш?

— Боже мой, какой вздор ты, Верочка, плетешь! Потому что каждому предмету свойственно особое название.

— А название откуда? Почему?!

Тут мы обыкновенно теряли терпение и вчетвером, впятером бросались тормошить и трясти Верочку до тех пор, пока не вытряхивали из нее «философию» и становилась она девочка как девочка. Но ненадолго. Чуть одна, глядь, уже опять устремила свои пленительные очи, яснее дня, темнее ночи, в неведомую даль и безмолвно решает про себя какое-нибудь новое недоумение, вроде того, почему доска не потолок.

Насмешек Верочка терпела от нас — конца-краю нет. Уже в маленьких ее дразнили Метафизиком из басни. А с возрастом, когда стали знакомиться с литературой, каких только кличек и прозвищ ей не пришпиливали! И «наш собственный Кифа Мокиевич», и «Козьма Прутков в юбке». А однажды сложились всем классом по три копейки и торжественно поднесли Верочке книжку «Почему и потому»: в те мои полудетские годы она очень в ходу была для юношества, немца Улэ сочинение...

— На тебе, — говорим, — Вераша, читай: тут тебе ответы на все вопросы!..

Однако и немец Улэ Верочке удовлетворения не дал, и что дальше, то больше донимала своими «почему» не только нас, но и классных дам — преподавателей. Словесник Надеждин (мы его Эсперансовым звали) был охотником поболтать и почитал себя остряком, так на каламбурах от нее отъезжал.

— Ваш, госпожа Капкова, пытливый ум жаждет понять, почему вилка есть вилка? Потому, что вилка уменьшительное от «вила» или, употребительнее, во множественном числе «вилы». Инструмент этот, будучи двузубым или трезубым, сходствен с вилкою по форме, но значительно превосходит ее в размерах. Но уже читаю в глазах ваших вопрос, а почему вила — вила? От глагола «вить», который, надеюсь, вам небезызвестен. А почему вить значит вить, это уже благоволите дойти своим умом, руководясь в качестве пособия хотя бы романсом: «Взвейся выше, понесися, сизокрылый голубок»

или, может быть, более вам знакомою кадрилью: «Веревью, веревью, веревьюшки, вьюшки, вьюшки, на барышне башмачки сафьяненькие!..»

Мы, класс, хохочем, радуясь не столько семинарскому остроумию Эсперансова, сколько тому, что время урока проходит в разглагольствании. Верочка, передернув плечиками, опускается на место, недовольная, и тихо цедит сквозь зубы:

— Пошляк!

Но кто был истинный страдалец от нее, так это математик. Он у нас был старичок и половину того, что смолоду знал, уже забыл. Так он, бывало, всякий раз, что Верочка руку поднимает или уставится на него с вопросительным выражением в черных глазах, даже весь трястись как-то начинал.

— Что вам еще не ясно, госпожа Капкова?

— Вы сказали: между двумя данными точками можно провести только одну прямую...

— Ну-с?

— Почему?

— Как почему?! Вечно вы, госпожа Капкова, с пустяками!.. Это аксиома!

— Почему аксиома?

— Потому, что ясно по самому своему существу и не требует доказательства. Поняли?

— Не понимаю, почему не требует.

С треском ломается в пальцах старичка мел о классную доску.

— Нате! Вот вам две точки. Попробуйте провести между ними две прямые! Попробуйте!

— Я, конечно, не умею.

— И никто не умеет.

— Да, но — почему?

— Господи ты Боже мой! Да вы просто смеетесь надо мною, госпожа Капкова. Что я вам — Гаусс, Лобачевский,

Эвклид, что ли, дался, чтобы доказывать аксиомы? Садитесь. Несчастная у вас голова!

Верочка садится, но бормочет себе под нос, не то негодуя, не то торжествуя:

— Так бы признался сразу, что ничего не знает... Дурак!

В предположениях, что станется с Верочкою в жизни, класс делился надвое: то ли из нее великий философ выйдет, то ли она в дом умалишенных угодит. Однако Верочка обманула и те, и другие ожидания, а по семнадцатому году, не кончив курса, из предпоследнего класса вышла замуж за бравого казацкого сотника и принялась ежегодно рожать, вероятно, уже не спрашивая, почему.

Эта Верочка Капкова вспомнилась мне здесь по той связи, что есть у каждого человека в уме и сердце такие свои аксиомы, которые ему самому представляются ясными, как день, и непременными. Ан другой человек, со стороны, спросит: а почему вы знаете, что оно так, а не этак? Глядь — вы и стали в тупик. Чувствуете, что правда ваша, но это — чувство, а рассуждение молчит или виляет обиняками. Право же, нет ничего труднее, как удовлетворительно ответить на прямой вопрос о чем-нибудь таком, что вам самим кажется настолько естественным, простым, бесспорным и самопонятным, что вы этого и себе не доказывали, и никогда не воображали, будто кто-либо способен спросить у вас доказательства.

Вот так-то застал меня врасплох вопрос Галактиона Артемьевича, зачем мне понадобилось свидание.

— Как зачем? — пробормотала я. — Чтобы объясниться с вами.

— Очень понимаю-с. Но того именно и жду от вас: какого объяснения вы желаете?

— Вы сами должны знать!

— А если не знаю-с?

— Тогда вы человек без чести и совести, с которым...

— Позвольте, Елена Венедиктовна: это крик и брань, а не объяснение.

— Да, не вы ли сами сейчас только, на бульваре, сказали, что нам необходим серьезный разговор?

— И жду его, Елена Венедиктовна. И, со своей стороны, сделал к тому попытку, которую вы, однако, не изволили принять...

— Опять вы начинаете?!

— Да, помилуйте, Елена Венедиктовна! Надо же и мне моими темными мозгами уразуметь наконец сколько-нибудь, в каких позициях мы теперь обретаемся. Вину свою пред вами я признаю и считаю себя достойным за нее лютейшей казни. Желает казнить — вот он я, в ваших руках, казните как хотите. Включительно до лишения жизни! Готов, слова против не скажу. И даже так-с, что вам не придется для того и акта никакого совершить. Достаточно вашего слова. Прикажите: Галактион Артемьев, нам с тобою на сем свете несовместно, уберись-ка ты на тот. Сделайте ваше одолжение! Завтра же меня не будет. Разве только на сутки отсрочки попрошу, чтобы отчетность по службе привести в порядок. А то, пожалуй, еще возникнут подозрения, не убился ли потому, что в конторе проворовался... Хотя мертвому оно не составляет различия, но все-таки неприятно, помирая, думать, что может быть понят за жулика...

XVI

Он говорил все это с такою простотою, до того, так сказать, домашне и уютно, что я совсем смутилась. Если бы сильные слова, голос трагический, жесты нервные, гроза в глазах, я не поверила бы, подумала и сказала бы: «Испугать и расчувствовать хочет, театральную сцену раскаяния представляет: мелодраматический герой — преступник по несчастию, по совести — человек чести».

Но он, говоря, даже стакан чаю себе налил, не забыв при этом сказать мне: «С вашего позволения», — сидит, прихлебывает маленькими глоточками и ровно, слово за словом «излагает» с совершенным спокойствием, как самое обыкновенное дело.

И доказать, «почему», я опять не сумела бы, но всем существом своим почувствовала, что тут надо верить: жизнь и смерть этого спокойного человека действительно в моих руках. И, если я его не прощу и осужу судом смертным, то он действительно сперва отчитается честь честью по должности, чтобы хозяева не поминали его лихом, а потом — либо пулю в висок, либо бух с Каменного моста. И я испугалась.

— К чему это все? — прервала я его, стараясь прикрыть страх раздражением. — На что мне ваша смерть? За ваше преступление я вас ненавижу, я вас презираю, но вы сами достаточно знаете меня, чтобы не воображать злодейкою какою-то, способною взять на свою совесть подобный ужас: человек чтобы умер... Хотя бы и врагу, злодею своему...

В глазах его пробежал огонек и стих, подавленный.

— Значит, милосердовать желаете? — произнес он тихо и почти угрюмо.

Я промолчала.

Он глубоко вдохнул и, потупясь, забарабанил пальцами по столу. Теперь он гораздо больше волновался, чем когда предлагал мне смерть свою. Долго молчал. Потом с новым вздохом:

— На милости спасибо, но... это тяжело Елена Венедиктовна!

— Что тяжело!? — серьезно не поняла я.

— Бремя, которое вы на меня возлагаете своею милостью. Жить с ним будет тяжело.

— А, вот что! А мне не тяжело? Мне легко будет жить? Скажите, какой совестливый! Вы вот для того, чтобы из жизни уйти, приговора от меня требуете, то есть ответственность

за себя перекладываете на мои плечи. А не приходила вам в тупую вашу голову мыслишка о том, что сегодня утром я, очнувшись в позоре, могла на себя руки наложить? Не спрашивая ничьего приговора, а просто... от срама... как другие погибшие себя убивают?

Он сделался очень бледен. Глухо, чуть слышно он возразил:

— Не только приходила мне, Елена Венедиктовна, эта мысль в голову, хотя, может быть, и справедливо вы называете ее тупою, но в непрерывном страхе и мучении пребывал я чрез опасения... того самого... с того грешного часа... Некоторое успокоение получил только, когда, занесши к вам записку, услышал от Дросиды, что вы изволили с утра проснуться, но не пожелали встать, а вторично започивали...

— И тут, — горько прервала я, — вы, конечно, почли меня — совершенно справедливо, впрочем! — жизнелюбивым ничтожеством, за которое нечего опасаться: небось пожалеет шкурку свою! Пожалеет, похнычет да и пойдет себе дальше, припеваючи... Можете радоваться: я именно такова, не ошиблись! Ни убиваться, ни убивать не гожусь... Можете радоваться!

— Я действительно радуюсь, Елена Венедиктовна, — очень серьезно возразил он, — но совсем не тому, как вы изволите напрасно себя поносить. А тому, что сгоряча и в первом, извините за выражение, неистовстве вы не совершили непоправимого... Умертвить ли, умереть ли — недолгая штука... Да ведь не в том дело, Елена Венедиктовна, а в том, что помирать так помирать, а жить так жить. И, значит, как теперь, когда жизнь нашу покривило этакою наносною бедою, выправить ее, чтобы опять прямо пошла?

— Больше всего нравится мне то, что вы после преступления, вы, кругом виноватый, позволяете себе брать наставнический тон и чуть ли не правила морали вещать собираетесь!

— Преступление — это вы точно определяете, Елена Венедиктовна. И человеку с совестью, каким смею я почи-

тать себя вопреки бывшему на меня греховному попущению, существовать с преступлением на душе гораздо тяжелее, чем за преступление в могилу сойти. Давеча, когда я шел на бульвар вас встречать, то надвое думал, вернусь домой или нет. Настолько был готов погибнуть от вашей ли руки в праведном вашем гневе, от своей ли — по вашему приказанию. Настолько был предрасположен к тому, что вот, не угодно ли взглянуть, я даже и записочку приготовил на всякий случай, что умираю-де доброю волею по причине, известной мне одному, и в смерти моей прошу никого не винить...

Он подал мне это письмо. Холодное, мокрое, измятое, оно своим видом показывало, что действительно Шуплов носил его с собою на бульвар. Полусмытый талым снегом адрес гласил расплывшимися буквами: «Властям полицейским и судебным». Невольная дрожь пробежала по моему телу, точно я до покойника дотронулась.

Оттолкнула письмо и с величайшим усилием над собою к равнодушию говорю:

— Стану я брать в руки такую грязную бумагу! Спрячьте, пожалуйста, ваш романический документ. В подлинности его не сомневаюсь: вижу ваш почерк, он у вас красивый.

Он совершенно серьезно поблагодарил меня на добром слове, взял письмо и запер в комод. И продолжал:

— И, не кривляясь, как актер какой-нибудь в театре, но с полным прямодушием смею вас заверить: и записку эту я писал, и на бульвар шел с облегченным сердцем: буди воля твоя! Жизни, конечно, очень жалко... Ведь мне всего тридцать первый год, Елена Венедиктовна!.. Зато — сразу: брызнул кровью на грех и — смыл... Большой соблазн, Елена Венедиктовна!.. Но так как жить-то все-таки хочется, то решил я попробовать: если, думаю, не пожелает она моей смерти, то осмелюсь я... Извините, ради Бога: опять вам будут неприятны мои слова, но клятвенно обещаю, что повторяю их в последний раз... Осмелюсь я предложить руку и сердце...

Потому что, Елена Венедиктовна, я так понимаю: даже независимо от моего к вам восторга и обожания жизнь моя отныне принадлежит не мне, но вам. Должен я всего себя отдать навсегда в ваше распоряжение, чтобы загладить свое преступление... Да, да, совершенно вы правы в этом словечке — преступление против вас...

— Ах, да не надо мне ваших...

— Мне надо, Елена Венедиктовна! — не дал он мне договорить. — Мне надо! Угодно ли вам, не угодно ли, это уже не от вас, а от внутренних чувств моих зависит — и в совершенной неистребимости. Раб ваш душою и телом — вот я кто теперь, Елена Венедиктовна! Но, так как рабски служить женщине мужчина, одержимый любовью к ней, может с приличием, только будучи законным ее супругом, то...

— Такой-то ваш обещанный «последний раз»?

— Именно последний, Елена Венедиктовна: больше не заикнусь. А разъяснить считаю долгом потому, что, выходит, вы мне ни смерти заслуженной не даете, ни жизни облегченной. И предстоит мне, значит, влачить ее, как Каину какому-то проклятому, оставаясь мерзавцем в своих собственных глазах! Вот-с и выходит, как видите, моя правда: своим милосердием вы налагаете на меня неудобоносимое бремя... не под силу!..

Я слышала: он говорил искренно. Стало против воли жаль его. Хотелось сказать ему что-нибудь доброе. Нельзя. Уступка велика — примет за сдачу враждебной позиции и шаг к примирению. Попробую отразить высокомерной шуткой.

— Да если вам уж так непременно хочется застрелиться, то зачем мое разрешение? Можете обойтись и без него. Ведь теперь, когда я знаю, из-за чего вы застрелитесь, разве это не все равно, как если бы я разрешила?

Он ответил с глубокою серьезностью:

— Для меня-то, в покойниках, пожалуй, будет все равно, а для вас, которая останется в живых?

Я смутилась и примолкла. Молчал и он — стоял потупясь. Часы тикали.

И вдруг он поднял голову, как бы подумавши что-то, и сказал быстро — тоном дружелюбным и доброжелательным, но твердо, почти с резкостью:

— Извините мне, Елена Венедиктовна. Скажите: не твое дело. Так правда. Но позвольте вам заметить: напрасное это ваше чувство к барону М. Ничего из него для вас хорошего не будет, одна беда!

XVII

Того, чтобы Галактион Артемьевич заговорил со мною о моих отношениях к барону М., я никак не ожидала. Растерялась. А справившись с растерянностью, рассердилась. Говорю:

— Вы правильно сказали: это совершенно не ваше дело. И я могу только изумляться вашей дерзости, как вы смеете вторгаться...

Он недослушал, перебил — и очень сухим, официальным будто тоном, словно старший чиновник младшему заметил и «на вид поставил»:

— Полагаю, что смею, Елена Венедиктовна, после того, как вчера сперва в маскараде, потом едучи Москвою на извозчике, битых два часа выслушивал ваши жалобы и в некотором роде ваши горькие слезы утирал... Или вы это изволили запамятовать?

Нет, это я, к стыду моему, помнила. И опять, как давеча утром, люто шевельнулась во мне новорожденная, место еще вчерашней страстной любви занявшая ненависть к барону М. — словно каленый винт или бурав закрутился в сердце...

Он, он во всем виноват! Это он, а не Галактион Шуплов, истинный погубитель мой. Через него, через глупую, упрямую

любовь мою к нему я с высоты моей в грязное болото свалилась. И теперь вот в тине лежу, барахтаюсь и должна выслушивать, как за него же меня отчитывает — с властью — кругом виноватый, преступный против меня человек.

А Шуплов продолжал все также сухо «докладывать»:

— Это первое-с. А второе: какие же теперь будут мне от вас распоряжения касательно барона? Что вы прикажете против него предпринять?

Озадачил!

— Вам? Против барона?.. Вы не бредите ли, господин Шуплов? Какие распоряжения? Какие предприятия?.. Бессмыслица какая-то!

— Не совсем так, Елена Венедиктовна. Между мною и бароном М. возникли и имеются большие, очень большие счеты...

— Да мне-то что до ваших счетов? Он мне чужой, вы мне чужой. Есть между вами какие-то счеты, так и считайтесь, как вам больше нравится. А я — дружны ли вы с ним, в ссоре ли, — я-то при чем?

В ответ я получила взгляд такой жесткий, что враждебным мне почудился. И я его не выдержала — потупилась и отвернулась, и маленькая дрожь тайного испуга мимолетно скользнула по спине. И впервые за вечер почуяла, что этот человек, при всей своей влюбленной покорности — во влюбленности-то его я уже не сомневалась — как не поверить! Ошибиться нельзя было! — еще далеко не весь в моей власти. Шевелится в нем подспудно что-то свое, сопротивляющееся мне, чего я должна опасаться и стеречься, не вырвалось бы оно на волю, наружу, потому что оно сердитое и презлое.

В детстве любила я рассматривать немецкий иллюстрированный журнал «Gartenlaube» — старинные комплекты за несколько лет. Была там картинка, не помню, какого художника, к балладе какого-то немецкого поэта, называлась «Невеста льва». В львиной клетке лежит девушка в

венчальном уборе, мертвая, а лев рядом, положил на нее огромную когтистую лапу и смотрит свирепыми глазами на взметавшихся в ужасе за решеткой людей. Эта девушка, видите ли, была дочь хозяина зверинца; она льва кормила, поила, и он привязался к ней, как собака, души в ней не чаял, умирал с тоски, если долго ее не видел. Пришло девушке время полюбить, выйти замуж и ехать с молодым супругом на чужую сторону. Лев почуял разлуку и затосковал, не ест, не пьет. Утром в день свадьбы перед тем, как идти к венцу, девушка захотела проститься со своим другом, львом, вошла к нему в клетку — ан лев-то и задушил ее. Если, мол, мне суждено тебя потерять, то не доставайся же ты никому! И лежал, грозный, сторожил мертвую, и никто из людей не дерзнул к нему приблизиться... издали его пристрелили!..

Вот эта баллада с картинкой почему-то вдруг необычайно живо воскресла в моей памяти. На льва Шуплов, конечно, походил не больше, чем я на планету Венеру. А все-таки стал он казаться мне как-то значительнее, чем прежде.

Чеканит-докладывает раздельные слова:

— Вы притом, Елена Венедиктовна, что вчера, едучи Воздвиженкою, осмелился я после ваших признаний относительно барона М. осведомиться у вас: какие же теперь, когда вы полагаете себя оскорбленною бароном М. и разочаровались в нем, будут ваши к нему дальнейшие чувства, а вы на то — с большою быстротою и решимостью, даже до резкости и как бы неистовства — изволили ответить: «Такие мои к нему чувства, что если бы нашелся человек, чтобы сделать ему самое скверное зло, осрамить его самым последним срамом, со свету его сжить, в гроб вогнать, — то я бы того человека полюбила как избавителя и благодетеля моего, душу и тело мои предала бы ему...» Может быть, и эти ваши слова, Елена Венедиктовна, вы соблаговолите припомнить?

Я молча кивнула головой, горя лицом, ушами, шеей. Да, какие-то глупости в этом роде я плела вчера. А сейчас в спо-

ре нашем я уже давно начала удивляться про себя: как по мере того, что я мешкаю в берлоге Шуплова, все тает и тает туман, все шире раздвигается завеса хмельного забвения, скрывавшего от меня в течение дня вчерашнюю ночь.

«Вот, — думаю, — какой изумительный психологический эффект! Как новое нервное потрясение угасшую память воскресило!..»

Эх! Любит человек приукрасить правду о себе в собственных своих глазах мудреным словом! Какой там «психологический эффект»! Просто опохмелилась — начал действовать на старые дрожжи ром в чае. Ложечку в чашку — немного, да чашек-то я в жару спора и частой жажде выпила, не помню, пять, не помню, шесть. Теперь, старая, сорокалетняя пьяница, я хорошо знаю, практическим опытом искушена, что, ежели забыла что спьяну, выпей опять — вспомнишь! А тогда было вновь.

Шуплов ответил на мой кивок коротким движением левой руки — одною кистью, вывернув ко мне ладонь и растопыренные пять пальцев, словно на ней было что написано, — на, читай!.. Вот-де как у нас все чисто и без обману!.. Жест был вульгарный, мещанский, приказчичий жест...

XVIII

Ногам стало холодно. Вспомнила, что стою на полу в тонких шелковых чулках, почти босая. Опять села и ноги поджала. А он, словно я этим движением его за собою потянула, тоже автоматом каким-то шагнул ко мне и сел на тот же диван, так что между нами очень небольшое расстояние осталось, и из-под шапки-то шевелящейся и с глазами, будто из алюминия, ко мне — яростно:

— Если бы всего того между нами не было, посмел ли бы я к тебе ночью прийти? На Богородицу скорее посягнул бы, чем на тебя: какое питал к тебе благоговение! Но не

разбойником на насилие шел к тебе, а полагал себя в полном своем праве получить с твоего согласия то, за что я свою жизнь и свободу проторговал! Так-то, Лили!

Уже с той минуты, как мне вспомнилась эта чувствительная «Невеста льва», я начала потрухивать Галактиона Артемьевича: не вошла ли, не дай Бог, и я в клетку к опасному зверю? А теперь, когда он в гневе показался мне красивым, все больше и больше боялась. К счастию, он, поглощенный своим волнением, не замечал, что я робею.

Отодвинулась подальше по дивану, стараюсь не видеть его алюминиевых глаз, потому что очень в душу лезут, сказать по-нынешнему, гипнотизируют. Собрала всю энергию, сколько позволил смущенный дух, и ухватилась за повод, чтобы оборвать, — поймала его на «ты». Взмахнула королевой глазами и — как сумела, спокойнее и суровее:

— Я для вас не Лили, а Елена Венедиктовна. Потрудитесь обращаться ко мне без фамильярностей. Признавать дурацкий брудершафт в нетрезвом виде я не намерена. Он не существует... как и все безумие вчерашней ночи, которым вы так честно воспользовались и еще продолжаете пользоваться...

Галактион ужасно смутился и покраснел, отчего глаза еще больше побелели, и — спасибо! — наконец-то отвел он их от меня... Бормочет:

— Виноват, Елена Венедиктовна, действительно забылся... хам и невежа пред вами выхожу... Простите, Бога ради, не поставьте в новую непростимую вину...

Вижу и слышу: искренно кается, совсем огорчен собою человек. Так что мне его уж как будто втихомолку, про себя, немножко и жаль стало. Но пользуюсь тем, что он перестал страх мне внушать; спешу закрепить свое положение — опять взять над ним верх.

Вложила в голос, сколько сумела, язвы, говорю:

— Так вы «проторговали» мне свою жизнь и свободу? Нечего сказать, красиво вы чувствуете да и выражаетесь

недурно!.. А так ли? Правда ли это? Не я ли, наоборот, «проторговала»-то себя?.. Погодите, молчите, дайте досказать!.. Хорошо, пусть все было так, как вы рассказываете. Пусть я была безумная, говорила безумное, обещала... недопустимое. Но ведь даже в безумии под условием: если сделаете, когда сделаете. Вы же потребовали свою плату, еще ничего не сделав, и вперед ее взяли... у безумной! Если не силой, то все равно что силой! Славным «избавителем и благодетелем» показали вы себя! Честным!

— Елена Венедиктовна, я уже имел честь докладывать вам, что признаю себя преступником, которому нет оправдания, и — прикажите мне казнить себя — не пикну против. Единственное, что смею сказать не в извинение, а так... разве к некоторому снисхождению: беда горами качает и враг рода человеческого силен.

— Так, так! Валите теперь на черта: он привычный, все вынесет. Ведь это же глупо, наконец, Галактион Артемьевич! Наделал мерзостей, а оказывается, не он, а черт виноват!

— Виноват, Елена Венедиктовна. Не иначе, что это он, лукавый, внушил вашему братцу Павлу Венедиктовичу оставить меня на ночевку. Разве я ожидал, разве я предполагал возможность подобного соблазна и падения? Да если бы хоть малая мысль щелкнула — золотом меня осыпьте с головы до ног, — не остался бы. Честь-то моя, хотя я и маленький человек, дорога мне, Елена Венедиктовна, ох как дорога! Всегда я так гордо на себя надеялся: преступным по несчастию быть могу, бесчестным — нет. А вот и поймал меня дьявол на гордости моей: осрамил, запятнал, изгадил... Дурак я, дурак! Чем бы бежать из-под вашего крова — нет, дубина, позволил себя уговорить, поленился, что надо опять — на мороз, в темную ночь, ногами снег месить. Вот теперь и расплачивайся, осел ушастый, козел развращенный, за ночлег и честью, и всею жизнью своею!

Он так усердно и свирепо ругал себя, что я против воли чуть не улыбнулась. Но он не заметил.

— Четыре часа утра было. Вошел в дружеский дом, смею назвать, дом благодетелей своих, честным и преданнейшим человеком. А в пять оказался против них подлецом из подлецов, злодеем, каторжанином!.. Как же не черт-то, Елена Венедиктовна! Непременно он, окаянный, тут работал.

— Ах, бросьте вы эти пошлости! Что вы меня морочите? Так вот я и поверила, что вы в черта верите!

— Этого я не знаю, не могу вам объяснить, Елена Венедиктовна, верю я в него или не верю. Конечно, насколько я имею образование, хотя малое, на медные деньги и больше от собственного усердия и разумения, существование рогатого черта я отрицаю. Да что же, Елена Венедиктовна? «Черт» ведь это — так, глупое мужицкое слово. Может, оно и совсем не то обозначает, и черт, выходит, не то чтобы «черт», а иное что-то... Этакое, над чем, знаете, верь в него или не верь, а не посмеешься!.. Как вам угодно, а есть в мире некоторое — как бы вам лучше сказать? — овладение, что ли... Извне на человека нападает, и Боже тебя сохрани зазеваться — попустить, чтобы оно к тебе в нутро пробралось! Пиши пропало, тогда ты — весь его! В один момент не станет у тебя ни своих мыслей, ни воли, ни характера, не человек ты, а чертова игрушка!.. И вчера, Елена Венедиктовна, это самое овладение — называйте, как хотите, — поиграло нами обоими... жестоко поиграло!

— Пьяны были оба, — возразила я с нарочною от брезгливой злобы грубостью, — пьяны были, вот и все ваше «овладение»!

Шуплов раздумчиво покачал головою.

— К сожалению, для себя не могу того принять, Елена Венедиктовна. Я совершенно не был выпивши, что называется, ни в одном глазу. Да если желаете знать правду, то я в маскараде и пил-то самую малость, больше вид делал,

будто пью, а то вино либо в пепельницу сливал, либо на пол сплескивал.

Я насторожилась.

— Это зачем же? Драгоценное, однако, признание! Значит, вы нарочно, умышленно споить меня хотели?

— Помилуйте! — возмутился он, но с большою кротостью. — Как подобное могло вам в мысли прийти? После всей-то моей пред вами откровенности? Если бы я такие подлые намерения имел, разве бы я теперь в этой моей вчерашней хитрости открылся пред вами? Лукавил, потому что вы мне пить приказывали, а не хотел вам противоречить... нельзя было вчера вам противоречить, Елена Венедиктовна!..

Подчеркнул свои слова таким выразительным тоном и взглядом, что я поникла, сконфуженная, — только проворчала, чтобы оставить за собою последнее слово:

— Мы, кажется, на шаг от того, что вы меня обвините, будто я вас споить хотела!

Сарказм мой он не удостоил внимания, а с тою же кротостью разъяснил:

— Лукавил я потому, что, первое дело, я вообще до вина не охотник и в большом количестве трудно его переношу. А второе дело: однажды взявшись вас сопровождать и охранять, должен был удержать голову в свежести. Ведь в местечке-то мы с вами, Елена Венедиктовна, были, смею назвать, аховом. Уже и то за чудо почитаю, что повезло нам выбраться без скандала... Нет, нет, Елена Венедиктовна! Надо быть справедливым и к нечистой силе. Пьяный бес в моем преступлении ни при чем... Тут если действовал, то другой... другие!.. По чувствам моим судить, так был их целый легион!

Нахмурился, встал; молча налил себе чаю стакан, отошел с ним к комоду; стоит почти спиною ко мне, чтобы лица не видала, прихлебывает и говорит. А я гляжу, я гляжу, как у него уши горят и затылок вспыхивает.

— Позвольте вам изъяснить, Елена Венедиктовна, хотя бы и почти с моей стороны неприличным. Вы, как барышня, возросшая в благом воспитании, не знаете по вашей девичьей скромности и не можете того понимать. Но мудреное это дело — влюбленному мужчине, ежели только он не какой-нибудь несчастный обглодыш, извините за выражение, спокойно уснуть, когда он знает и слышит, что вот тут — рядом, через стенку тонкую, спит милая ему соседка, которая его только что целовала и обнимала и обет давала, что — твоя буду. Угодникам святым — и тем подобные искушения озлобленной плоти бывали не под силу, а нашему брату, грешному, слабому мирскому человечишке, где же выдержать?.. Уж я вертелся, вертелся, крутился, крутился с бока на бок — нет, не преодолеть!.. Все бесы-асмодеи вокруг меня собрались, манят, дразнят, подстрекают, во всяких картинах увлекательных вас мне мечтанием показывают... прямо — с ума сойти! Тело свое ощущаю, как сосуд, наполненный горящими угольями, и сам от них раскаленный. Каждая жилка, каждый нерв стали, как лук, напряженный до последнего: не спусти стрелу, тетива лопнет и лук пополам! Истинно уж — вот оно, как в тропаре-то к Богородице поется: «Демонского стреляния терпети не могу...» Маялся, маялся, страдал — нет моей мочи!.. Вскочил. «Ладно же, —думаю, — коли так, уйду от греха; оденусь потихоньку да через Дросидину комнату — в кухню и удеру черным ходом...» Одел, извините, носки — едва нашарил их в темноте, — ищу прочего... И вдруг, словно в тех носках именно сидел дьявол: подумать я не успел, как — будто сами ноги меня понесли, чем направо, налево — уже стою перед вашею дверью. Сердце колотится, в голове пожар — никакого рассуждения! Будь что будет! Хоть пропасть, да свою любезную добыть!..

— Как вы могли войти? — остановила я его, мрачная, с тоскою бездонного стыда в отравленной, словно помоев

напившейся душе. — Ведь дверь была заперта. Не приснилось же мне — я отлично помню, что с ночи заперла ее на крючок.

Спросила — и замерла от стыдного страха, что он сию минуту скажет: «Да очень просто — я постучал, а вы мне отворили».

Но он сказал иное:

— С дверью, Елена Венедиктовна, странная штука вышла, точно опять бес-асмодей вмешался. Сколько я ни сожигался своим пламенем, однако, чтобы стучаться к вам, не говоря, что ломиться, — никогда не посягнул бы на подобный скандал, даже во вчерашней своей горячке. С тем и стоял у двери, прислушивался: не шевелится ли Дросида? Не проснулся ли Павел Венедиктович? Все мне шорох чудился да хруст какой-то — ан это сам же я, в одних носках по паркету ступая, ногами хрустел. Думаю: «Не заперто — была не была, войду; заперто — стало быть, не судьба. Скажу «слава Богу» да и в самом деле оденусь-ка, взбужу Дросиду, чтобы меня выпустила, и — восвояси!..»

Толкнул дверь тихонько: заперта! Стою впотьмах и сам не знаю: огорчен я или радуюсь. А, между прочим, в ушах — словно чужой голос: «Чего робеешь? Ведь дверь-то — али забыл? — не на ключе, а на крючке. Потяни ее кверху, да дерни вправо, да нажми!»

Потянул, дернул, нажал — глядь, дверь заплясала, дала длинную щель вдоль косяка, и свет от вашего ночничка просочился... Я еще потянул, дернул, нажал — отворилась!.. Вы, Елена Венедиктовна, должно быть, когда запирали, то, как были не совершенно в себе, закинули крючок только чуть-чуть в петельку, а плотно ли он вошел в петельку, на то внимания не обратили...

Слушала и думала:

«Все-таки сам ворвался, не я впустила. Слава Богу, хоть от одного-то позора избавил меня!»

XIX

Свирепа я на него была, однако... Ах, самочья мы порода! Не противно, любопытно это нашей сестре слышать, что вот, мол, ты какая обольстительная, умела внушить этакому кроткому и приличному человеку этакую звериную страсть — до преступления!

Покуда Галактион Артемьевич излагал свои покаянные признания, я не видала лица его: все стоял у комода, в стену смотрел, ни разу не повернул головы больше, чем вполоборота, — то щека красная мелькнет, то глаз белый сверкнет. Плечи беспокойны, спина подрагивает, шапка волос на голове ходит. Видно, недешево ему достается!

Кончив, долго молчал. И я молчала. И злобы много в душе, и жаль его было. В самом деле, ведь «овладение» какое-то: ни с того ни с сего, ни за что ни про что погубил хороший человек и меня, и себя. Оба, сами не зная как, без чести остались: я — в теле, он — в душе... И кто его знает, может быть, ему не легче — вон как убивается...

Повернулся. Красный еще, но глаза твердые. Смотрит прямо и четко говорит:

— А что касается барона М., то — какое ваше решение ему выйдет, то и исполню.

Постой же ты! Я тебя испытаю!

Смерила его глазами, пристально смотрю.

— Даже убить?

Не моргнул — ответил:

— Ваша воля, мои руки.

— Да как же так? Ведь барон — ваш друг? Ведь вы его тень живая! Боготворите его!

Он мгновенно побледнел — покойники краше. А я все-таки ведь когда-то и на фельдшерских курсах побывала, физиологии училась, знаю кое-что. Соображаю: «Ну, любезный мой, кровообращение-то у тебя не очень в порядке, если ты

способен в одну секунду так менять краску в лице. Похоже на порок сердца, пожалуй, что однажды аневризмом жизнь кончишь».

И вспомнились тут линии жизни, дарования и счастья на его ладони, какие они короткие, — опять стало его жаль.

А он, живым мертвецом стоя предо мною, медленно, тихим голосом — трудно ему, — с задыханием изъясняет:

— Да, Елена Венедиктовна, правда ваша. После вас никого на свете я не любил и не уважал до сего дня больше, чем барона М. И не скрою от вас: продолжаю любить и уважать, и причинить ему какое-либо зло, а тем более жизни его лишить — для меня тягчайшее испытание и жестокое горе. Но, не давши слова, крепись, а давши, держись, — так-то, Елена Венедиктовна! Сказано: раб я ваш и ваше желание — единый мне закон. По вашему слову не то что бароном М., матерью родною готов пожертвовать.

С силою сказал. И, право же, прекрасивый был, когда говорил! И как ты ни злись, как ни отчуждайся, а приятно женщине слышать и верить, что ее так любят. Говорю:

— Можете успокоиться. Я уже сказала вам, что я не трагическая героиня — не способна убить ни себя, ни кого другого. Против барона М. действительно накипело у меня в сердце сейчас очень нехорошее чувство. Но это только в пятнадцатом веке водились такие женщины, что подсылали убийц к мужчине за то, что она ему не нравится и он не хочет быть ее любовником. Да и те были венецианские догарессы или испанские инфанты какие-нибудь, а не московские барышни из Гагаринского переулка. Если я вчера наболтала вам что-то о какой-то мести, то это были не мои слова, но бред — именно вот, как вы выражаетесь, «овладения» безумного беса, который в меня вселился. За что я буду мстить барону? Мстят за злую волю, а его воля в том, что случилось, виновата не больше, чем лошадь извозчика, который вез нас из маскарада. И никаких испытаний вашей

дружбы с бароном М. я налагать на вас не намерена. Можете боготворить его сколько вам угодно, не препятствую вашей нежной приязни...

Краска вернулась в его щеки, и глаза просветлели, но он замотал головой.

— Нет, Елена Венедиктовна. На том, что вы так великодушны — снимаете эту тягость с моей души, — сердечно вам благодарен, понимаю вас прямо благодетельницей своею. Но теперь между мною и бароном тоже все кончено. Друзьями нам больше не бывать.

— Вот?! Почему же так вдруг? Это любопытно.

— Вы между нами стали.

— Если из-за меня, то напрасно. Он меня не любит, я ни его, ни вас не люблю — вы не соперники.

— Даже веря, что вы его разлюбили, никак мне не забыть того, что вы сердце свое ему отдавали... сколько напрасных лет!.. Завидно, Елена Венедиктовна!

— Поздно же вы завидовать спохватились! Было вам, когда я любила, а теперь...

— Елена Венедиктовна, смеет ли смертный маленький человек, хотя бы и любил богиню, завидовать тому, что богиня не его, маленького, а бога любит? На такую зависть человеческого воображения не хватит, если позволите так выразиться... Изволите улыбаться?

— Мне смешно, что вы меня так высоко ставите... С чего это вы меня возвели в божественный идеал какой-то? Нашли редкость! Конечно, смешно...

— Высоко, Елена Венедиктовна! — подтвердил он. — И потому завидовать не смел, но, признаюсь, глубокое сострадание и жалость к вам имел, будучи свидетелем, как вы свое сердечко бросили в любовь к барону, словно в быстротечную речку. И, когда ваше сердечко мимо него плыло, он, бог избалованный, ленился хотя бы руку протянуть, чтобы подхватить, спасти, не потонуло бы либо не расшиб-

лось бы оно о встречные камни. А я, кабы мне позволено было ловить это сердечко, всю речку за ним вынырял бы, все дно исползал бы на коленках от истока до устья... Вот и завидно… задним числом завидно, Елена Венедиктовна!.. Я собою не обольщен и знаю цену себе. Не только с бароном М. не смею ставить себя в уровень, но и во всем обществе, вас окружающем, пожалуй, нет человека менее значительного, чем Галактион Шуплов. Но любить вас, уж в этом смею вас заверить, с тем и возьмите, никто и никогда не в состоянии вровень со мною. Не полюбят вас, нет, не ждите, не полюбят, как Галактион Артемьев Шуплов любит!.. Никто, будь он хоть профессор-распрофессор или барон-разбарон!

За сердце хватало, действовало на душу. И каждую минуту он менялся в моих глазах. То гляжу: да он прямо-таки хорош собою — как это я прежде не замечала, какое у него благородное выражение лица? То — резнет он по слуху каким-нибудь «с тем и возьмите» либо «смею вас заверить», — всю меня покоробит, и вижу: никакого благородства в лице его нет, самое пошлое, мещанское, с позволения сказать, «рыло»... Уж лучше бы урод, вроде Квазимодо или Гуинплэна, — все-таки интереснее. А то, как у Гоголя кто-то: ни то ни се, черт знает, что... таких по тринадцати на дюжину дают!.. Так вот и шло полосами...

Говорю ему серьезно, искренно:

— Оставим идеалы в покое. А в положительных возможностях, Галактион Артемьич, я не жду и не желаю того, чтобы меня кто-нибудь сильно полюбил, потому что сама любить не хочу. Отлюбила свое — будет. Время мое проходит, пора опомниться. Ведь я — не боюсь сознаться — только выгляжу очень моложаво, а годами уже не молоденькая...

Отвечает:

— Годы мне ваши известны, Елена Венедиктовна. В рассуждении женской молодости они незначительны — можно даже сказать, расцветные. Но для девушки действительно

не маленькие. А потому пора вам серьезно подумать о себе и найти опору для жизни в мужской руке, твердой и любящей.

— Опять вы за свою сказочку про белого бычка?! Не умеете держать слова!

— Я ничего не сказал, Елена Венедиктовна, кроме как подобно вам выразил на ваше положительное суждение о себе собственное мое суждение о вас, тоже в общем и положительном смысле...

Я сконфузилась, и, может быть, главным образом, потому, что рассердилась на него совсем не так сильно, как мне хотелось, а может быть, и вовсе не рассердилась.

Отмахнулась: слыхала, мол, эти песни!.. А что сказать — не нахожу. Но тут на выручку моему смущению часы начали бить. Взглянула: «Боже мой! Половина двенадцатого! Значит, в театре опера если не кончилась, то идет к концу. Дома Дросида, наверное, уже вернулась из гостей, от кумы, и ждет меня с самоваром. Я обещала приехать из театра прямо домой, не заезжая к Элле Левенстьерн...»

Заторопилась, заволновалась...

— Мне пора. Да и довольно: ни до чего мы с вами не договоримся. Вы оказываетесь правы: действительно, я напрасно хотела этого свидания и пришла... Только в том, что оно напрасно, не моя вина, а ваша, потому что вы, как маньяк, кружитесь около все той же неисполнимой идеи... Ну и будет! Больше ни слова!.. Мне пора. Потрудитесь дать мне мои чулки и ботинки и выйдите, пока я надену...

Галактион Артемьевич уставился на меня странными, будто плохо понимающими или не верящими глазами. Потом молча шагнул к печке, взял в обе руки обувь мою.

— Сыроваты… — глухо пробормотал. — Еще бы минут двадцать... просохнут...

— Все равно. Если давеча не простудилась в застылых, теперь в гретых и подавно не простужусь. Дайте.

Он послушно поставил ботинки на стул у дивана, чулки повесил на спинку стула. Помял их в руках, неодобрительно покачал головою, кашлянул...

— Осмелюсь просить, Елена Венедиктовна, извольте лучше остаться в сухих чулочках, что на вас. Это вам будет полезнее для здоровья, а мне доставит большую приятность...

— Да мне-то неприятность, когда их увидит Дросида, которая их у вас просила для себя, а вы ей отказали...

— Да... это действительно... извините великодушно... не сообразил!..

— Все равно что прямо ей признаться — была у господина Шуплова с визитом и в такой фамильярности, что вот даже чулки его покойной жены на моих ногах очутились... Слушайте, кстати: нам надо условиться. Если бы у нас в доме вышел как-нибудь при вас разговор, где я была в эти часы, то помните: в опере, у Эллы Федоровны Левенстьерн в ложе, слушала Маркони в «Джоконде»... Поняли?

Он, стоя предо мною, как угрюмый истукан, принял мои торопливые заботные слова с глубоким деловым вниманием.

— Маркони... «Джоконда»... Понял. Очень хорошо-с... Только...

— Что еще «только»?

— Напрасно приказываете, Елена Венедиктовна. Никакого разговора о вас при мне никогда и нигде больше быть не может.

Эта речь его неприятно кольнула меня в сердце и словами, и тоном. И глаза его мне не понравились: опасным мелькнули.

«А! — думаю. — Погоди! Ты опять в трагедию повертываешь? Нет, не испугаешь! Сам обучил меня, как надо понижать тон, когда струна слишком натянута...»

И, взяв свои чулки с внутренним пожеланием им всего недоброго: в самом деле еще сырые! — говорю самым равнодушным и небрежным тоном:

— Ваша покойная супруга, говорят, была очень хороша собою? Вы, должно быть, очень любили ее, что баловали такими прекрасными вещами...

XX

Галактион Артемьевич посмотрел на меня как бы с любопытством, точно сказал взглядом: «Зачем это? Нисколько я в твою небрежность не верю. И супруга моя понадобилась тебе только затем, чтобы разговор переменить: неловко тебе, забоялась ты меня».

Вслух же — очень серьезно и веско:

— Да, я покойную мою Лиду очень любил. Потеряв ее, в жизни отчаивался, неутешен был годами. До тех пор, пока не узнал вас, думал, что больше, чем я ее любил, уже нельзя любить женщину. Ошибся. Нашло меня новое несчастье. Вас полюбил больше... Дросида вам рассказывала что-нибудь про нее, про покойницу-то мою?

— Нет, она ведь не из сообщительных. Историю вашей женитьбы знаю немножко от брата. Кажется, это целый роман?

Он, не отвечая, сам спросил как-то грубо:

— Хотите видеть ее портрет?

— Пожалуйста! Любопытно.

Долго рылся в комоде. Несет и подает мне миниатюру, оправленную в золотой, розочками осыпанный ободок; опять богатая вещь! Откуда у него, бедняка, живущего почти в подвале, такие изящные и дорогие прелести?!

Но Лидия его, эта Лидия!!! Да, подобную красоту в иной оправе и держать грех! Только на картинах старинных великих художников видала я такие тонкие черты, такие благородные профили. Относительно всего овала лица она была, пожалуй, несколько большеглазая, зато и глаза же! «Светлее дня, темнее ночи!» Приветливые, умные!.. Ах,

помимо красоты, и хорошая же, должно быть, была женщина!..

Так вот какою мадонною мурильевскою обладал этот захудалый господин Шуплов! Не ожидала.

Раньше слыхав, что мадам Шуплова была из барышень хорошего рода и хороша собою, я полагала, что это значит, просто недурна. А что глупа — то уж наверное, иначе не ввязалась бы на свою погибель в мещанский «мезальянс». Повезло нашему Емеле, как в сказке, по щучьему веленью, по своему прошенью обойти и пленить неизвестно какими своими достоинствами смазливенькую дурочку — вот и весь роман... А тут вдруг... Вся я изумление стала!

И такая меня досада охватила — до злости! — что он, Шуплов, видит мое изумление.

Поди, наверное, самодовольствует, мещанишка ничтожный: что, мол? Удивил? То-то! Любливали нас женщины и почище тебя!.. Таким именно словом и думает, наверно, — «почище»!..

Похвастай он тогда как-нибудь, не то что словами, только лицом вырази свое торжество, — так бы, кажется, и пустила ему в физиономию портретом!..

Но он как стоял, так и стоит, угрюмый, и глаза все те же — опасные... будто внутрь себя смотрят...

— Ну, — говорю, — и красавица же была ваша Лидия!

А он взял от меня портрет, вертит его в руках. Потом — здравствуйте! — бух:

— Вы лучше.

На эту глупость я уже и в самом деле рассердилась.

— Как вам не стыдно так пошло льстить? Дурочка я, что ли, в ваших глазах, чтобы равнять себя с подобною красотою?

— Нет, вы лучше.

— Оставьте это, пожалуйста! Я не дура, вы не слепой. Ваша Лидия — богиня, солнечный луч какой-то, воплотившийся и сверкающий... А вон — сравните, — указываю ему

на стену, где портрет-то мой висел, в бальном туалете декольте, на котором я вышла похожею на императрицу Елизавету Петровну, — смотрите: лепешка великороссийская...

— Нет, вы лучше.

Отлично понимаю, что неправду говорит. А вот, подите же: раз возразила, два возразила, а на третий только плечами пожала.

— Да чем же лучше, наконец? Просветите мое недоумение. По крайней мере буду вперед знать, чем в себе должна гордиться.

Отвечает с раздумьем:

— Этого я не знаю и не могу вам объяснить, чем вы лучше, но только лучше. От того самого момента, как я вас увидал и впервые с вами говорил, постиг я это, всем существом своим постиг, что вы лучше. До встречи с вами покойница, и мертвая, душою моею владела, как живая. А с того дня отлетела, не стало ее. И в уме сразу другое закрутило, словно, знаете, пожаром взвихрило или в кипятке потопило... Хожу да думаю: «Хороша была твоя Лида, Галактион, друг любезный, однако, выходит, ошибался ты, полагая в ней предел своей жизни. С нею тебе — так, только случаем большое счастье выпало, а вот теперь нашла тебя твоя настоящая судьба...»

Подумал и прибавил тихо, глаза пряча:

— И погибель.

Да, вообще-то понимаю, — неправду бредит. Но для себя — кто его знает, — может быть, и правду? Один мой знакомый врач-психиатр, большой остряк, уверял, будто все влюбленные заболевают «нравственным косоглазием»: видят своих возлюбленных не теми, каковы они в действительности, а под особым углом зрения, который строит для них воображение. Эх, память мне изменяет, девять десятых позабыла того, что когда-то знала, а помнится мне: у Шекспира есть какая-то пьеса, где с полдюжины рыцарей влюблены в полдюжины дам, и каждому своя представляется идеалом красо-

ты, а прочие пять уродами. Так вот и между нами с Галактионом Артемьевичем. Для прямых глаз — неправда, а для влюбленного косоглазия — может быть, и правда.

И вот, подите же: я-то сама на себя хотя без косоглазия смотрела, прямыми глазами, однако стала уже не без приятности слушать, что меня — женщину, конечно, недурную собою, из дюжины не выкинуть, но, хоть и похожа я на императрицу Елизавету — что особенного?! — превозвышает человек над мадонной мурильевской... Да еще тот самый человек, который эту мадонну женой имел!

Тут уж я, с вашего позволения, сошлюсь на Шекспира без страха за ослабевшую память. Потому что недавно была в театре — Южин приезжал на ярмарку из Москвы на гастроли, видела его в «Ричарде Третьем», как в первой сцене Ричард обольщает леди Анну. Она ему: «Ты изверг, убийца, дьявол!» А он ей: «Все — чрез твою небесную красоту!» Она: «Ты мужа моего убил!» Он: «Потому что у тебя лицо ангела!» Она: «Ты короля заколол!» Он: «Потому что ты красавица!..» Красавица, да ангел, да небесная — глядь, и поверила... Сам Ричард удивился, как легко она сдалась... А кто-то другой уверял, будто и фурию смягчить возможно, если повторять ей, что змеи в волосах очень ей к лицу!

Усмехнулась я:

— Странный же у вас вкус, если так. Правду говорят люди, что о вкусах не спорят.

А он тут возьми да и выкинь вот какую штучку. Показывает мне миниатюру жены из своих рук и объясняет:

— Этот портретик, Елена Венедиктовна, у меня в глубочайшем смысле слова заветный. Единственный, который остался мне от покойницы. Фотографий она не любила: очень оживленную улыбку имела, так не выходило ее личико на фотографии. А это писал один любитель, политический ссыльный в том дальнем городишке, где мы с нею проживали на манер тоже как бы ссыльных. С талантом был человек, сход-

ство схватил чудесно. Писал по строгому секрету — сюрпризом мне от нее ко дню ангела. И, когда покойная дарила мне-то — «Это, — говорит, — Галя, для тебя одного, никому никогда не показывай, пусть навсегда останется только между мною и тобою». И я это слово от нее принял, Елена Венедиктовна, и обещал, и обещание сдержал. Кроме художника да нас двоих, этого портретика никто не видал до нынешнего вечера. Лидия давно в могиле, художник тоже помер — там же в городишке замерз на улице, пьяненький... Так что один я остался эту вещь знать и ею любоваться. Вот — сам и в рамку обделал, без мастера: присмотрел на одном аукционе подходящую по мерке... И должен вам сказать: лютую ревность питаю к этой вещи — самое дорогое, что имею. И даже заранее так я решил на случай смерти моей, что, как почувствую: пора! — то прежде эту Лидочкину память уничтожу... Но вот для вас нарушил слово: показал...

— И напрасно сделали, — возразила я, — зачем? Я ведь не просила, вы сами предложили...

Но он едва ли и слышал мою вставку, продолжая с дикою, будто пьяною усмешкою:

— Первой вам показал и — последней. Никто в мире больше не увидит Лидочки! Никто!

И с этим словом быстро наклонился, будто преломился пополам, щелк заслонкою и шварк миниатюру в печку прямо на горящие уголья! Стекло — трр... бумага — пергамент дымком пошла... А я, на самый короткий миг остолбенев, и не спохватилась, как меня с дивана, словно вихрем, сорвало и тоже к печке перенесло в волнении ужасном: «Да что же он, сумасшедший дурак, делает?! Вещь-то какая прелестная... и алмазная осыпь!»

Очень стыдно, но не о портрете, а об оправе первая мысль была. Между тем пергамент уже огненным язычком лизнуло... Кричу:

— Безумец вы нелепый! Спасайте же!.. Пропадет!

Кочережка была приставлена у стенки. Тебя-то мне и надо! Схватила и — к печке, в устье!

А он, Галактион-то Артемьевич, в ту самую секунду — хвать меня сзади, поперек поясницы, поднял, взвил на воздух. Кочережка у меня бряк из рук вон... Испугалась я — голоса нет! Света не вижу! Только нечеловечий образ какой-то глазам мерещится: будто багровая вишня величиною в арбуз, а на ней две белые плошки светят тусклым оловом... И рычит:

— Не отдам барону! Никому не отдам! Моя! Ничья, как моя!

Какая тут была между нами борьба, ничего не помню. Только, должно быть, я ему что-то очень больно сделала, потому что охнул он и выпустил меня. Отскочил к окну, стоит — одной рукой за подбородок держится, другой за низ живота — и таращится на меня с багровой морды белыми своими плошками.

А я оказываюсь на постели — не сижу, не лежу, на локтях держусь. Вся в испарине, с головы до ног, словно кто меня из шайки горячей водой обдал. Ноги висят, чулки завернулись, подол вздернут выше колена, на платье моем голубом из подмышек по бокам швы треснули... Господи! Одним-то, одним малым мигом я от этого зверя ушла!

* * *

Оправилась... отдышалась кое-как... Сердце, как летом трещотка садового сторожа, болтается, колотится. Слышу его, словно оно из груди в ухо переехало. Кровь в висках звенит, глаза пламенем жжет, по всему телу волной ходит, и зуд какой-то по коже от нее. Вся комната пляшет и идет кругом. А хуже всего эта испарина несносная, словно я сижу, одетая, в паровой бане на полке...

Он молчит, я молчу. Вид у него — в самом деле только бушлат арестантский надеть да голову обрить, — прямо на

Сахалин, готовый каторжанин. Однако с первой ли победной радости, что отбилась от такого сильного человека: ведь во мне пять пудов без малого, всего две недели тому назад, перед Рождеством, взвешивалась в гимнастическом зале, а он меня, как перышко, взмахнул! — нисколько я его не боюсь больше. Напротив, сдается мне, что опять, как давеча, когда я только что пришла, он меня забоялся... Говорю:

— Так вот вы каков, голубчик?

Молчит... Я перешла к зеркалу — привести в порядок прическу рассыпавшуюся. Вижу себя в стекле: ужас! Не лицо, а морда кошки освирепелой, красна, как кумач, на лбу, на висках, на носу пот бусами... И откуда у меня вместо моих серо-голубых зеленые глаза взялись?! Не то что с красавицами равняться — уродом, зверихою двуногою, ведьмою киевскою почудилась я себе...

В одну минуту быстрою сноровкою, вихрем обулась-оделась на уход. Ботинки натягивала — трудно было без рожка: сырые, — думала: «Лишь попробуй ты меня задержать! Прямо — пальцами в глаза, зубами в горло...»

Но он, как только увидел, что я совсем одета, готова уйти, сам замахал мне рукою на дверь: ради Бога, мол, уходите от греха... уходите... уходите!

Выскочила я на лестницу. Темно, черно, скользко, вонюче. Выползла ощупью во двор. Бури уже нет, метель улеглась. Поземица еще крутит сухим снежком, но в небе между бегучими облаками уже проглянули кое-где звезды и над крышею соседнего дома зеленая Большая Медведица ярко растянулась от трубы к трубе, хвост опустила.

Охватило меня морозцем, пообдуло ветерком. Сразу посвежела голова, просветлились мысли. Яростный страх отошел. Иду к воротам — двор-то огромный, проходной, несколько флигелей, в одном телеграфное отделение...

«А, — думаю, — вот кстати! Зайду и пошлю телеграмму — так, все равно кому: если дворник у ворот привя-

жется — откуда идете, — скажу, что с телеграфа... А потом — за ворота, на первого встречного извозчика и поскачу в самом деле к Элле ночевать... Поздно — ну да она ведь полуночница, раньше двух не ложится. А не домой же мне — Дросиде на глаза — в истерзанном платье... Какой зверь, однако! Вот зверь!.. У Эллы как-нибудь починюсь, надо придумать хорошенько, что бы ей соврать поскладнее... А может быть, и врать не надо: лучше правду... нет, полуправду скажу. Только вчерашнее утаю, а то, мол, имела неосторожность согласиться на свидание с поклонником, который оказался чересчур предприимчив, — и вот едва отбилась! Она, Элла, ведь эксцентричка, не осудит, ей даже понравится... Вот только пристанет расспрашивать, кто... Ну да не всех же моих знакомых знает! Назову... Беляева, что ли... известный нахал с женщинами... Кстати же, он послезавтра уезжает в Одессу — говорил, что раньше лета не будет назад в Москву. А до лета Элла забудет... Да, если и не забудет, вывернусь: скажу, что не тот Беляев... мало ли Беляевых!»

В то время, как я все это так остроумно измышляла, подходя к телеграфу, и на крылечко его уже ступила было, вдруг в это самое время где-то, будто над самым правым ухом моим, что-то как щелкнет! Доска ли треснула от мороза, кучер ли какой-нибудь побаловался на улице бичом, — может быть, не так уж и громко было, как помстилось. Но меня так и откинуло от крылечка, так и закачало на ногах...

«Господи! Это из револьвера! Застрелился! Это он застрелился!»

И руки эти его несчастные с короткими линиями на ладони так и замелькали в глазах.

И охватил меня страх, страх, страх, — и стало мне его жаль, жаль, жаль! Ах как жаль! Вот как: до любви жаль!

Какой уж там телеграф! Какая Элла!.. Повернула назад; как добежала, как по черной лестнице скатилась, как дверь нащупала... Господи правый! Помилуй, не казни меня, грешную! Не допусти такой тягости мне на совесть, чтобы из-за меня, окаянной, человек погиб!..

Шарю скобку — досада! То на клеенку, то на рогожу попадаю... Трясет всю... И все эти линии... эти его линии перед глазами...

Господи, не обидь! Господи, дай застать живым! Со мной теперь будь что будет, а ему не дам умереть! Если умер, не знаю, что... не сдержу своего сердца! Лягу рядом и вместе умру...

Слава Богу, не успел Галактион Артемьевич после моего ухода запереть дверь за мною. Чуть нащупала я скобку, дернула — подалась дверь, впустила.

Лампа светом в глаза ударила, ослепила с темноты. Защитилась муфтой — вижу: стоит он на том же самом месте у окна, где я его оставила, с тем же багровым лицом, с теми же белыми глазами.

Вижу: узнал меня, входящую... И поползла с него прочь эта его ужасная багровая цветность, а белые глаза стали темнеть и зажигаться изнутренним огнем. И было так, пока он не сделался в лице бел как мел, а глаза запылали теми звездами, что я минуту назад видела над трубами соседнего дома…

Вижу: оторвался от окна, шагнул раз... другой. Идет ко мне навстречу... руки раскинул... красивый! Опять красивый!.. Лев... лев! А я невеста!.. И шепчет-задыхается:

— Пришла... пришла... пришла…

А во мне больше уже никакого духа нет. Ни рук, ни ног. Подкосились, подломились, голова с плеч валится. Села на что-то и — я ли, не я ли, он ли со мною, не он ли — видеть вижу, слышать слышу, а до ума не доходит, словно я наяву — в обмороке...

XXI

От автора

Так началась связь Елены Венедиктовны Сайдаковой с Галактионом Артемьевичем Шупловым: первый этап романа песковской «Лиляши».

Тут полезно будет автору приостановиться, чтобы дать читателям кое-какие разъяснения и предупреждения.

Может быть, кто-нибудь из читателей знает том моих сочинений под заглавием «Бабы и дамы», а в нем рассказ «Ребенок»? Действующие в этом рассказе лица — Елена Венедиктовна и Галактион Шуплов, только с другими именами и фамилиями. Оба в «Ребенке» несколько приукрашены, а эпизод, послуживший ему сюжетом, сентиментально сведен к благополучному концу худым миром, который-де лучше доброй ссоры, и — честным пирком да за свадебку. В действительности было не так.

А не так потому, что «Ребенок» был написан несколькими годами раньше моей встречи с Еленой Венедиктовной, и когда я его писал, то не знал, что пишу частичку ее биографии, равно как о ней самой не имел ни малейшего представления.

Вот как это вышло.

Когда Елена Венедиктовна, повествуя мне свои похождения, назвала имя своей приятельницы, Эллы Федоровны Левенстьерн, я удивился:

— Подите же, как близко были мы с вами от того, чтобы познакомиться. Вы были дружны с «роковою Эллою», а я бывал у нее почти на каждом ее журфиксе: помнится, четверги были?

Елена Венедиктовна засмеялась и поправила:

— Нет, пятницы: в виде протеста против предрассудка постного и тяжелого дня.

— Да-да, вы правы: действительно, пятницы. Еще Чехов дразнил ее, будто она выбрала пятничный вечер совсем не в ознаменование своего либрпансерства, а, напротив, из тайного антисемитизма: чтобы к ней на журфиксы не ходили евреи, в частности, Левитан... Элла ужасно злилась.

Елена Венедиктовна, выслушав, возразила:

— В мое время Чехов еще не бывал у Эллы. Она ведь всегда за знаменитостями гонялась, а его тогда кто же знал? При мне там царили князь Урусов, Виктор Александрович Гольцев и Сергей Сергеевич Корсаков. Вот этого я очень хорошо знала: превосходный был человек и психиатр замечательный. И собою какой красавец! Только ростом не вышел, а этакую голову да на настоящую мужскую фигуру, Антиной!.. Элла в него страх как влюблена была...

— А вы?

— Ну где нам! Я тогда уже связана была. Да и никогда не воображала о себе так много, чтобы рассчитывать, что увлеку подобного женского баловня: не хотите ли — пол-Москвы соперниц!

— Вот?! Я не припомню, чтобы у Сергея Сергеевича была такая донжуанская репутация.

— Да, именно потому пламенели к нему москвички наши прелестные, что он нисколько не был Дон Жуаном и на свой успех у дам смотрел с самым ледовитым равнодушием. Нет, влюблена в Корсакова я не была, а как к психиатру к нему обращалась за советом. Элла же и уговорила. Только он мне ничего не помог. Да, пожалуй, я и больна-то не была. Так — вообразила, напустила на себя блажь. Он мне почти то самое и сказал.

— С Урусовым и Гольцевым мне у Левенстьерн как-то не приходилось встречаться, хотя и знаю, что они там были свои люди. Но Корсакова видал не раз, да он часто бывал и у дяди моего, Алексея Ивановича Чупрова, брата Александра Ивановича, к которому вы пытаете такое благоговение, в чем и я вам совершенно сочувствую...

— Я и Алексея Ивановича немножко знала. Ведь он был главным бухгалтером московского Купеческого банка, не правда ли?

— Да и теперь (1896) таковым остается. А у вас к этому банку какие же отношения?

— У меня никаких, а Галактион Артемьевич держал в нем свои деньги на текущем счету... Так... впоследствии... случалось бывать... получать по чекам...

Я избавил Елену Венедиктовну от неприятности запинаться, краснеть под белилами и косить глаза в сторону вопросом:

— Все-таки меня удивляет, как при вашей близости с Эллой Федоровной я не только вас у нее не встретил, но даже имени вашего не слыхал в ее доме…

— Да ведь у нее — прочь с глаз, вон из памяти. А если вы стали бывать у нее в одно время с Чеховым, то я тогда уже и в Москве не жила, и из «общества» выбыла и... И в таком прелестном местечке и звании обреталась, что об одном стараться должна была: как бы не попасть на глаза кому-либо из старых друзей, да — ах, если бы обо мне все забыли!.. Слушайте! — оживилась она от минутно осенившей было ее грусти. — Это правда, что Чехов об Элле какой-то рассказ написал — и очень для нее обидный?

— Обвиняют его некоторые, будто даже два. Но это неправда. В обоих не похожа. Так, сплетники московские прицепились к случаю узнать в общем типе личную карикатуру... Ведь «роковая Элла» была не совсем обыкновенна, может быть, в конце семидесятых, в начале восьмидесятых годов, а к девяностым, когда я ее узнал, этих «роковых», «демонических» и «потусторонних» были десятки, если не сотни.

— Все-таки я с удовольствием прочитала бы эти рассказы, — задумчиво возразила Елена Венедиктовна, — очень хотела бы прочитать... Нет ли у вас? Дайте. Я на книжки честная: не зажилю.

У меня не было, но я обещал ей достать.

К 1896 году я успел уже достаточно позабыть своего «Ребенка», напечатанного в 1891-м то ли в московских «Русских ведомостях», то ли в тифлисском «Новом обозрении», не помню. Он принадлежит к тем рассказам моей молодости, в которых я чувствовал себя ужасно каким Мопассаном по содержанию (все либо о порочной добродетели, либо о добродетельном пороке). А «стиль» выглаживал и выписывал столь старательно, что, как художники выражаются, вконец «зализывал картинку», — и неумолимый Антон Павлович при встречах поддразнивал: «Слушайте же, признайтесь, что вы свои рассказы со шведского переводите?»

Не помню, какому именно перлу тогдашнего моего «шведского» творчества обязан был я удовольствием знакомства с госпожой Левенстьерн и приглашением в ее «салон». Узнал я «роковую Эллу» дамою уже весьма не первой молодости, но счастливо моложавой наружности и очень недурной бы из себя, если бы не что-то козье в ней — и брыкливое, и пугливое. Беспокойные и — от чрезмерной живости — неуловимого цвета глаза косой, как у коз, прорези; а в них сквозь привычно наигранную дерзость чуть не до надменности проблескивает тайный страх природно робкой, не уверенной в себе натуры.

Существо, равно готовое, где можно и кто позволит, к нахрапу до наглости; где нельзя и кто даст острастку, к испугу до паники. Говоришь, бывало, с нею — не знай, чего от нее, внезапной, ждать: то ли сия двуногая коза бодаться начнет, то ли замемекает жалобно и брызнет прочь со всех ног. Говорят, смолоду эти козьи взбрыкивания Эллы были очаровательны. Что вместе с крупным состоянием ее тароватого супруга и общим их обоих умением весело жить, хорошо принять и вкусно угостить и доставляло Элле блистательное окружение «знаменитостями».

Я этого окружения не застал. Элла уже лет десять вдовела, и хотя располагала очень хорошими средствами, однако

сравнительно с прежним, при муже, размахом крылышки ее были укорочены. Вероятно, в связи с тем и «салон» ее потускнел. «Знаменитостями» мы, новые, отнюдь не знаменитые, а больше из «начинающих», гости любовались только на фотографиях, бесчисленных по стенам и в альбомах на столах в бесчисленных же комнатах огромнейшей бельэтажной квартиры. Непомерное «обиталище» это Элла неизвестно зачем оставила за собою пожизненно в бывшем своем собственном доме, когда продала его по смерти супруга городскому кредитному обществу.

Надписания на фотографиях показывали действительно близкое знакомство хозяйки «салона» с множеством известных людей 70—80-х годов как в России, так и за границей. Причем Элла в своей погоне за любимцами славы специальностей не разбирала, а била и сороку, и ворону, и ясного сокола: от Леона Гамбетта до клоуна Анатолия Дурова, от оптинского старца Амвросия до кафешантанной «этуали» Ильики Огай.

Пустопорожние хоромы Эллы были роскошны и, пожалуй, даже «стильны», но хаотичны и мало опрятны. Видно было, что когда-то кто-то со вкусом, хорошо подумал и поработал над их отделкою и убранством в каждом покое, но потом хозяевам «надоело возиться», и пошло неряшество, возобладал беспорядок.

Элла, женщина почти одинокая, чувствовала себя в «обиталище», по собственному выражению, «горошиной в пузыре». Не принимаю вокруг нее иных домашних, кроме некой двоюродной племянницы, барышни лет восемнадцати, некрасивой, тощей и, должно быть, злющей, ибо она была одарена в высочайшей степени, как выразился о ней однажды Чехов, «талантом наглого молчания». Способна была целый вечер просидеть бессловесно, но с какою-то возмутительно вызывающей, притворною и приторною усмешкою на крашеных губах. Было ли это кокетство или просто глупость, осталось тайною для меня.

Прислуги мадам Левенстьерн держала целый штат. Командовала им домоправительница, Марья Матвеевна, нарядная особа в возрасте «бабьего века», когда-то, должно быть, русская красавица — глаза с поволокой и навыкат, русая коса, лебяжьи груди, — но тогда уже просто баба-жиреха, отолщенная во всех округлостях почти до непристойности и снабженная гласом трубным, тоже нельзя сказать, чтобы очень пристойным. Тем более что в контраст «наглому молчанию» тощей племянницы эта расфуфыренная госпожа была одержима духом «наглой говорливости» и фамильярничала с гостями довольно нестерпимо. Барыню свою она заметно держала в руках. И хорошо делала, потому что без ее блюстительства «роковую Эллу» только ленивый не обирал бы: она была добра, как хлеб, да тщеславна — очень уж любила счастливить людей и потом слышать, как ее восхваляют.

В общем, женщина была хорошая, и, когда забывала свою двумя десятилетиями наигранную роль обольстительно брыкливой козочки, с нею бывало приятно и интересно. Поговорить она умела и любила, знала много о многих и при всем своем легкомыслии и смешноватых сторонах стареющей, отставшей от моды львицы была очень неглупа, а начитана, так даже слишком.

Именно вот от Эллы Левенстьерн в присутствии С.С. Корсакова, на которого она ссылалась как на свидетеля факта, и получил я сюжет «Ребенка» в одном из бесчисленных разговоров о «странностях любви», оглашавших пятничные журфиксы «роковой Эллы»: на эти темы она в конце концов всякую беседу сводила и мастерица была их варьировать. Рассказала она историю «Ребенка», конечно, безыменно, однако Корсаков, кажется, был не очень-то доволен ее ссылками на него. Вероятно, боясь, чтобы Элла не выболтала лишнего, он искусно перехватил рассказ и докончил его сам так блестяще и внушительно, что история врезалась в мою цепкую смолоду память яркими чертами. «Ребенок», за

исключением «шведского» налета, написан довольно близко к слышанному.

Как скоро Елена Венедиктовна, повествуя свою автобиографию, дошла до эпизода, соответствующего «Ребенку», я сразу вспомнил тот давний вечер и сообразил, что тогда это о ней, об Елене Венедиктовне, безыменно говорили Элла и Корсаков, передо мною, значит, сидит героиня моего собственного рассказа.

И вот — она повествовала, а я слушал и изумлялся про себя: до чего был мал и узок тогда русский интеллигентный мир! Бывало, сядешь в вагон: сплошь незнакомые лица. Начинаются разговоры — и что же? Между вами и незнакомыми соседями непременно находятся какие-нибудь третьи, четвертые, пятые лица, которых вы оба знаете.

Кто-то из критиков «Восьмидесятников» и дальнейших романов той же серии ставил мне в упрек: зачем действующие лица, чуть не сто числом, происходя из разных семейств, появляясь в разных местностях, оказываются тем не менее знакомы друг с другом или по крайней мере знают друг о друге? Это-де невероятно! А между тем так именно оно и было — по однородности «общества» в нашу молодость, когда расслоение интеллигенции еще едва начиналось и овцы от козлищ не были разделены непроницаемыми тучами взаимного политического фырканья.

Эта поверка знакомств в незнакомстве всегда интересовала меня. Однажды, едучи от Москвы по Курской ж.д., имел я соседом педагога из города Ефремова Тульской губернии. Вот уже где никогда не бывал и, конечно, никого не знаю! Действительно, сколько педагог ни называл своих именитых соефремовцев, — незнаемый народ. Стал он рассказывать про службу свою — хвалить директора гимназии.

— А кто такой?

— Сергей Иванович Лебедев.

— Латинист?

— Да. Изволите знать?

— Еще бы нет, когда у нас в московской шестой гимназии он был любимым преподавателем и даже я, лентяй из лентяев, недурно у него учился!

Так-то вот всегда. В начале 80-х годов мы с ближайшим другом, Евгением Вячеславовичем Пассеком, студентами, стали как-то раз считать шутки ради, сколько у нас, мальчишек, «общих знакомых» с... царем Александром III! Насчитали, к собственному удивлению, я — семь, а он — тринадцать, причем с двумя Пассек был даже на «ты»: с Сипягиным, впоследствии министром внутренних дел Николая II, а другого — не помню. Сдружились в балете и оперетке. Я уверен, что подобные опыты над своей памятью в состоянии проделать любой русский интеллигент — особенно столичный, — которому сейчас шестьдесят лет и выше.

Когда я намекнул Елене Венедиктовне, что, по-видимому, часть ее истории мне известна и даже была использована мною для рассказа, она (увы, была в тот вечер весьма навеселе!) хватила по столу ладонью (увы, уже не ручки, а ручищи!) и возопила:

— Так я и знала, что эта мерзкая Элла не утерпит, будет болтать своим дырявым языком! Ну, счастье ее, что она за границей теперь, я слыхала, живет — постоянно поселилась (молится в Париже Богу на Сару Бернар) и в Россию никогда не наезжает А то бы я уж урвала случай повстречаться с нею, посчитаться с голубушкой! Наплевать мне, что она большая барыня, а я — «оставь надежду навсегда»! Поправлю прическу в лучшем виде!

На столь энергическое заявление я, со своей стороны, мог выразить только удовольствие, что даль расстояния спасает нашу общую приятельницу от встречи, способной иметь столь роковые последствия для ее прически.

А с «роковой Эллой» почти что на старости лет действительно приключилась такая странность, что в один из гаст-

рольных приездов Сары Бернар в Москву она, хотя много раз видала великую артистку раньше в Париже, как будто только теперь прозрела, сколь Сара гениальна и очаровательна. Познакомилась с нею лично, с поразительною быстротою подпала под ее влияние, и кончилось это психопатическое увлечение тем, что, когда Сара Бернар отбыла свои московские гастроли, Элла и еще одна столько же обезумевшая поклонница, тоже с состоянием и тоже немолодых лет, решили совместным советом, что без «Сарочки» им жизнь не в жизнь. И с того времени, куда Сара Бернар, туда и они. Сперва по России, потом по Европе, ездили за нею и в Америку и наконец успокоились под сенью ее собственного парижского театра, в который, слышно было, ухнули и их капиталы. Не знаю, что сталось с другою дамою, но Элла так прочно прилепилась к Парижу, что и жизнь в нем кончила — совершенно офранцуженная, принявшая католичество, почти позабывшая русский язык и — до гроба верная своему позднему кумиру.

В рассказе Елены Венедиктовны имя Эллы встретится еще не раз, но действенной роли она в нем не играет, а потому на сказанном здесь я и кончаю о ней.

Все же изложенное в этой главе я нашел нужным сообщить на тот случай, если бы какой-либо читатель или критик, знакомый с «Ребенком», сделал мне упрек в повторении темы. Затем возвращаюсь к автобиографии Елены Венедиктовны.

Связь началась и упрочилась, но странные отношения установились между любовниками. Особенно в первое время, покуда привычка друг к дружке не отшлифовала острые углы. Дни текли для этой пары так шатко и капризно, что зачастую оба сами не решились бы определить утвердительно, что между ними: страсть неизбывная и неразрывная или прикровенная ненависть. Привычка была — сближения не было. Все время шел, наоборот, подспудный, длительный, шов за швом, нитка за ниткою, разрыв. Десятки раз готов он

был сделаться из тайного явным, и десятки раз то ли истинный, то ли ложный стыд запирал обоим уста, уже раскрытые для рокового решения: «Между нами все кончено. Ты направо, я налево, и — прощай навсегда!»

Для Елены Венедиктовны этот распад любовной воли надвое начался с первого же утра, когда после ночи, дикой и сладострастной, она проснулась в квартиренке Галактиона Шуплова.

Серое утро серо пробиралось сквозь серые занавески, комната была серая, серые фотографии на серых стенах смотрели с серых лиц серыми глазами. Галактион Артемьевич проснулся и поднялся с постели значительно раньше: уже успел привести себя в полный дневной порядок, поставил самовар и теперь в ожидании, пока вскипит, двигался по комнате тихо-тихо, на цыпочках, стирая с мебели серою тряпкою серую пыль.

И сам он, в сером костюмчике, был тоже серый. От вчерашнего льва из баллады не осталось и следа — ни даже шакал, спутник, следующий по пятам за царем, чтобы поедать остатки его добычи. Каков ни есть шакал, а все-таки хищник, — тут же видела Елена Венедиктовна смирное, кроткое, ручное животное, выдрессированное на робость и вежливость, живущее под хозяйским страхом, с домовитою заботою в глазах, сосредоточенно всматривающихся в вещи, в наморщенном лбу, в крепко сжатых губах. Из шкуры льва вылез самый обыкновенный дворовый пес-сторож, довольно облезлый и отнюдь не балованного вида: немного знавал холи, кроме той, что от метлы дворника, и философски привычен к тому, чтобы судомойки из кухонных окон ошпаривали его кипятком.

«Это-то мой любовник?!»

Брезгливою дрожью подернуло женщину. Крепко натянула она на себя одеяло до самого подбородка, глаза закрыла и зубы стиснула. Но — едва подумала, в тот же миг и спо-

хватилась: «Глупо. И даже подло. Это так, реакция. А я люблю. Да, люблю. Да, вот люблю, люблю и люблю».

И твердила себе с закрытыми глазами «люблю», пока в самом деле не показалось, что как будто любит.

А в глубине души шевелилось: «Вот сейчас надо будет заговорить. Как это у нас выйдет? «Проснуться» с улыбкой?.. А вдруг гримаса?.. Нет, лучше не надо, буду серьезна и сурова... Ох, только бы без объяснений!.. Будь что будет, делай со мною что хочешь, но вчерашней муки я не хочу...»

Галактион Артемьевич, покончив с обтиркой мебели, вышел, все на цыпочках, в кухоньку и возвратился, как привидение, окутанный седым облаком шумно кипящего самовара. Открыв один глаз за углом подушки, Елена Венедиктовна наблюдала, как он захлопотал с чаем — деловито и аккуратно: видать человека, привычного в одиноком быту устраивать свой хозяйственный комфорт чисто, вкусно, порядочно. Собрав чай, покосился на постель, но, видя закрытый глаз, лишь усмехнулся с нежностью и одобрительно пошевелил бровями: спит, дескать, — и отлично, пусть ее спит, чем дольше, тем лучше... Он ведь тоже не меньше Елены Венедиктовны переживал тревогу: какими-то словами и поступками начнется их медовый месяц?

В ожидании нашел новое занятие. В буре и натиске вчерашних страстей жестоко пострадала одежда Елены Венедиктовны. Вставши поутру, едва рассвет брезжил, Галактион Артемьевич с великим конфузом обрел все ее покровы лежащими на полу около постели скомканным пестрым ворохом — словно свернулся клубком фантастический пятнистый зверь Гуайс-Кутис, о котором Галактион Артемьевич недавно читал у Майн Рида в «Охотнике за черепами» или «Стрелках в Мексике». Все это добро он тщательно подобрал, оправил и развесил по стульям. А теперь со светом осмотрел его с неодобрительным вниманием: вещи были в ужасном беспорядке — где не хватает пуговицы, где от-

скочил крючок, где лопнул шнурок, где оборвана тесемка, где шов распорот, где зияет прореха и висит лоскут, выдранный вовсе по целому месту. Смущался зрелищем этого разрушения Галактион Артемьевич недолго, а добыл из комода иголку, нитки и ножницы, присел поближе к свету, у окна, и принялся чинить и штопать.

Работал умело и ловко: не в первый, видно, раз взялся за иголку. Но вид шьющего мужчины, склонившегося с важно нахмуренным лбом и глазами, решающими по меньшей мере государственный вопрос, над женскою юбкою, был Елене Венедиктовне забавен. Против воли заулыбалась: «Сказать ему разве, чтобы оставил, — я сама?»

Но тем временем Шуплов отложил чинимую юбку в сторону, повел озабоченно критическим взором по полу и вдруг, опустясь на четвереньки, пополз, подбирая растерянные вчера пуговицы, крючки, петельки: найдет — положит за щеку и ползет дальше.

Этого зрелища смешливость Елены Венедиктовны не выдержала. Она расхохоталась, а Галактион Артемьевич вскочил на ноги и в растерянности рассыпал изо рта весь собранный скарб, что уже вовсе уморило Елену. Она каталась по постели, ныряя головою в подушки, как дельфин в волнах, и в бессилии смеха, задыхаясь, захлебываясь, выкликала:

— Какой ты смешной... ой, не могу!.. Оставь!.. Сил нет, какой ты смешной!..

Случай владеет отношениями человеческими. В этом нечаянном смехе мгновенно стаяла преграда чуждости между двумя виноватыми сообщниками. Отступило прочь чувство взаимной неловкости после грешного сближения, ворвались фамильярность и интимность.

Отхохотали, успокоились немножко. Елена Венедиктовна вытерла набежавшие на глаза слезы.

— Ты подожди вставать, Лили, — сказал Галактион Артемьевич, — я тебе чай в постель подам, а покуда что займусь...

Кивнув на подлежащие починке одеяния, он опять было вызвал взрыв смеха и у Елены Венедиктовны, и у себя. Но сию же минуту принял озабоченный вид.

— Не знаю, как быть с голубым лифом. Надо сшить шелком под цвет, а такого у меня не найдется. Позволь, схожу куплю?.. Десятый час, магазины открыты, галантерейный тут близехонько, на углу...

Елена Венедиктовна осмотрела распоротые швы и опечалилась.

— Все равно непоправимо. На руках шить — это работа до вечера.

— Машинку от соседей принесу, прострочу в полчаса. Схожу? А?

— Хорошо... только как же?.. Я, значит, останусь здесь одна?

— Да ведь какие-нибудь двадцать минут, Лили. Я — лётом!

— А если кто-нибудь придет в твое отсутствие и застанет меня?

— А я квартиру снаружи на ключ запру и дворнику у ворот скажу, что я ушедши, вот никто и не придет. Да и некому прийти. Ко мне по утрам люди не бывают. Я ведь служащий человек, Лили. Это сегодня мне подсудобило такое счастье: контора не работает — за то, что вчера была открыта не в урочный день, для Нового года, по хозяйскому глупому суеверию — в рассуждении ради почина. А в будни я с восьми часов на работе.

Ушел, щелкнул ключом в замке. Но с лестницы вернулся, просунул с кухоньки в комнату сквозь чуть приотворенную дверь голову в шапке.

— Если, Лили, желаешь, пока меня не будет, заняться туалетом, так умывальник тут за печкою. Я все приготовил и ведро воды нагрел, а холодной в кадке рядом сколько хочешь... Одеколон, губка, щеточка... увидишь!

Замечательно! Оба не обменялись еще ни единым словом, ни единым жестом любовной близости. Словно вчерашнего не было, словно они не любовники, а дети, приятельски участвующие в какой-то общей, условно недомолвочной и немножко нечистой игре, которая занимательна, пока играется, а потом о ней лучше не вспоминать.

И вот — либо смеялись, либо говорили деловое, и оба были настороженны друг против дружки опасливым стыдом; не совершить бы шага — не то чтобы недозволительного при осуществленной и признанной обоими близости, но все-таки еще неловкого, с застенчивой непривычки: лучше без него! Не надо!..

Перед уходом Галактиону очень хотелось поцеловать возлюбленную... Она прочла желание в его глазах и еще туже натянула на себя одеяло к подбородку и вся съежилась в досадливом и робком ожидании ласки ненужной и вынужденной. Но и Галактион спохватился на полудвижении, покраснел и отвел глаза, сделав вид, будто нагибался только, чтобы поправить загнувшийся углом полог у постели.

Кухонька была безоконная, но Шуплов с предупредительной заботливостью осветил ее тою большой лампою, что вчера горела в комнате на чайном столе. Чисто было очень: жилье опрятного холостяка. Медный умывальник на поршне горел, как жар, над гладко выструганною лоханью. На полочке у печки Елена Венедиктовна нашла, как и обещал Галактион, умывальные принадлежности, но в таком изобилии, разнообразии и приспособленности к женской именно опрятности, что изумилась: «Не может же быть, чтобы и это все осталось ему от покойной супруги? Мыло ylang-ylang* всего в прошлом году в моду вошло... Гм... Должно быть, прини-

* *Эланг-эланг* — цветы, содержащие ароматические масла. На их основе производились многие парфюмерные изделия, в том числе мыло и очень модные в начале XX века духи.

мать у себя женщин для этого милостивого государя не редкость... Воображаю, какие это женщины!.. Прелестных предшественниц преемницей оказываешься ты, Елена Венедиктовна, мадмуазель Сайдакова!»

Но, к собственному ее удивлению, эта брезгливая мысль уколола ее не столько гневом оскорбленного самолюбия, сколько шевельнулось в душе глухо и коротко что-то, очень похожее на ревнивую обиду.

«Это мы расследуем, — думала она, плеща душистою водою, белою от влитого одеколона, — это мы все узнаем и расследуем».

Чисто было в кухоньке, однако одеколон, хотя Елена Венедиктовна извела его безжалостно, едва побеждал насыщавшее воздух зловоние керосина, застарелый запах варева и какой-то кисло-капустный дух, исходивший от сырой внешней стены, потеклой линялыми полосами. Это дышала в кухоньку лестница, слишком хорошо памятная Елене Венедиктовне, отвратительная лестница вчерашней ночи. И вся эта смесь духов и вони слагалась в густое удушье, которое — казалось Елене Венедиктовне, пока она с наслаждением мылась, но мало освежалась мытьем, — липло к ее разгоряченному телу и всасывалось в него, будто не позволяя ему очиститься, будто спеша его пропитать и прогрязнить.

«Что он так долго ходит? Скорей бы вырваться из этой ямы, — размышляла она, переходя из кухоньки в комнату и с угрюмым отвращением чувствуя, что тяжелый дух струей ползет за нею. — Вырваться... Гм... Хорошо, коли вырвусь... А могу ли я, имею ли еще право вырваться? Не отдалась ли я ей, яме-то, в довечную кабалу?»

XXII

В комнате было веселее: светило солнце. Тусклый январский луч, прокравшись на окне сквозь серопарусинные зана-

вески, а за ними морозные цветы на стеклах, упал как раз на портрет Елены Венедиктовны, схожий с императрицею Елизаветою Петровною. Лицо ожило, зажглось улыбкой. Живой Елене Венедиктовне ухмыляющаяся «Елизавета Петровна» показалась вдруг ужасно противною.

«Откуда, — смотрю да думаю, — это у меня? Как я прежде не замечала? Самодовольная кокотка какая-то. И лукавство, и бесстыдство, и мысли никакой в лице: двуногое животное в похоти! Обнажилась, как не знаю кто. Зачем было так гадко сниматься? Как мне было не стыдно? А все Элла со своей эстетикой: «У тебя, Лили, плечи и бюст не хуже, чем у Балетта — знаешь, этой французской актрисы, которая живет с великим князем Алексеем, — или, знаешь, как Лев Толстой в «Войне и мире» описывает Элен Безухову... Пожалуйста, снимись, не будь эгоисткой, дай людям полюбоваться, грех скрывать такую красоту!..» Ну вот и снялась, и в награду вижу себя на стенке у Галактиона Артемьевича Шуплова... Вероятно, именно за эту вот самую... банную красоту он и делает мне честь находить меня «лучше» своей безукоризненно прекрасной супруги... То-то! Мало ли у меня моих портретов, а он небось именно этот стащил... И, конечно, *стащил* — потому что я никогда ему не дарила! Выразительно натурку свою обнаружил молодой человек! Ах, да что, впрочем! Друг друга стоим!..»

С портрета вспомнила о вчерашней миниатюре. Разгребла золу в печке. От пергамента, конечно, остался только пепел, и Лидия в нем исчезла. Но ободку ничего не сделалось, лишь накалился до того, что жег руку сквозь втрое сложенную салфетку.

Как стерла и обмыла копоть, засияла вещь. Старинная штучка, не моложе восемнадцатого столетия, хорошей французской работы. На аукционе, говорит, подобрал. Вкусто у него, как видно, есть, у разбойника, — знал, во что свою икону обрамить!..

«Ну уж это — пусть меня покойница извинит! — заветное ли, не заветное ли, а я себе присвою. Это мое. Вот сейчас, как он придет, так и скажу, если зажалеет, не отдаст — он ведь, судя по свинскому жилью, должно быть, скаред, — то пусть мою миниатюру закажет и вставит.... Вон хоть с той полногрудой Елизаветы Петровны, черт бы ее побрал, которая для него «лучше»! И — чтобы не на пергаменте, а на слоновой кости. Раскошеливайся, «погубитель»! Раз у тебя в комоде дорогие вещи и даже драгоценности внезапно оказываются, значит, ты только пред людьми жмешься и беднишься, а деньжонки-то у тебя есть...

Фу! Что это я?! Что за наглые пошлости в голову лезут? Мало, что дура дурой, кувырком полетела, — кажется, еще предъявляю кандидатуру в проститутки? Отбыла «ночь любви» — пожалуйте, сударь, подарочек!! Тьфу!.. Колдовство, что ли, какое-нибудь в этой рамке, что с нее в мыслях такие зайцы забегали? И все ведь неправда: лгу, клевещу на себя, как полоумная истеричка. Я люблю. Да, люблю. Да, вот люблю и люблю. Люблю, люблю, люблю, люблю... Ах, и зачем только я эту окаянную рамку из печки вынула! Совесть запачкала... ай! Да и руки тоже!»

Опять прошла к умывальнику, опять окунулась в воздух отравленный, опять он, прилипчивый, погнался за мною. Волосы убираю, он в них, и в гребне, и в щетке. Надела юбки, которые были зашиты, корсет — тухлый воздух уже в материи. Чай пью — он в чае. И уж не разберу, в самом ли это деле или мне чудится?

Был у моего брата приятель, университетский товарищ, веселый и приятнейший человек из несчастного разряда погибших талантов — лет двадцать «много обещал» и «подавал надежды», пока не спился с круга и не угодил в Преображенскую больницу. В свои загулы он пропадал без вести, и кто его знает, в каких трущобах он их отбывал и что там тогда проделывал. А отбыв, являлся чистенький, изящный — он был очень недурен собою — и лишь более обыкновенного грустный.

Ходит, бывало, по комнате, говорит — мастер был и охотник говорить, — а сам все ежится — дергает плечами, нос морщит, усы вздымает. Спросишь:

— Что это, Иван Фавстович, какой вы сегодня? Нездоровится вам?

Отвечает:

— Нет, Елена Венедиктовна, благодарю вас, я совершенно здоров. Но смрад моих пороков отягчает меня!

Так как смрад пороков отягчал Ивана Фавстовича едва ли не ежемесячно, то эта его фраза вошла у нас в домашнюю пословицу. Покажется кому-нибудь:

— Самовар-то как будто с угарцем?

— Нет, все уголья прогорели. Это смрад ваших пороков стягает вас.

Шутили да шутили мы над «моральным обонянием» бедного Ивана Фавстовича, а завершилось-то дело не шутками. В Преображенской больнице, когда его с временно буйного отделения перевели в неизлечимое тихое, он и врачей, и прислугу, и больных, и посетителей донимал одним и тем же по целым дням вопросом:

— Вы слышите, как от меня скверно пахнет?

И отвечать ему надо было:

— Да, действительно, очень скверно.

Потому что, когда его разуверяли:

— Нет, это вам только кажется, а вы, напротив, благоухаете!

Иван Фавстович заливался горькими слезами:

— Значит, я сумасшедший! Непоправимо, неизлечимо сумасшедший!

С тем и умер, обставленный вокруг постели флаконами со всевозможными духами, которыми мы, друзья, угождали — привозили ему.

Так вот в тогдашнем моем ощущении было тоже что-то от Ивана Фавстовича с его «смрадом пороков». Будто не

вокруг меня, а во мне этот тяжкий дух. Чуть трону памятью «ночь любви», тут и он, тошнотворный. Отвратительно!

И очень хорошо понимаю, что не имею уже права отвращаться, лишилась его, потому что сама я этой ночи захотела и в дикой похоти ее провела. А не могу: что ни вспомнится, отвратительно! Отвратительно! Отвратительно!

А «Елизавета Петровна» со стены улыбается с глупою издевкою: «Что, сокровище? «Невеста льва»? Не высоко ли хвачено? Сука ты двуногая! Обыкновеннейшая сука и — в конуре собачьей!»

И такая тут на нее ярость меня взяла, что сорвала я ее с гвоздя и мордою к стене повернула. На ж тебе! Не приставай! И без тебя тошно!.. И уж не знаю, кто мне сейчас противнее, я ли сама, он ли, любовничек мой нежданный, бесоданный. Вся вчерашняя ненависть к нему так и вспыхнула...

Дура, дура! С чего разжалобилась?.. Небось не застрелился бы! Комедия все это, фантастика, роман бульварный... Да если бы и застрелился, не велика потеря для человечества. И получше нас с ним люди убивают себя, однако свет от того не переворачивается вверх дном.

И почему бы нет? Ничего ужасного и несправедливого. Наделал гадостей — ну, и подавай жизнь в расплату!.. Ох, самой-то мне следовало вчера... зачем бы по записке этой ползти в его конуру... Не сумела, струсила, животное жизнелюбивое, рассчитала — отыграться на объяснениях... вот и дообъяснялась!.. До «овладения», как он изволит выражаться...

Именно уж «овладение»!.. Вчера хоть опозоренная, однако могла по крайней мере жалость к себе чувствовать — жертвою себя считать и называть, а сегодня — что? Даже не разобрать, любовница или просто наложница. Хороша любовница, если умом твержу, заставляю себя: «Люблю, люблю, люблю», — а едва этот возлюбленный за дверь скрылся, уже противен мне в каждом воспоминании... брр!..

И он еще воображает, будто я за него замуж пойду! Лили Сайдакова — законная супруга мусье Шуплова, который вместо «надеть» говорит «одеть», обмолвливается «хучь» вместо «хотя» и в жару разговора вывертывает пред вами свою приказчичью лапу, точно товар показывает и выхваливает...

Линии?.. Да что же — «линии»?.. Тем хуже для него, если он какую-то трагедию носит на ладони. А мне-то что? И совсем ему ни к лицу и ни к стати... Кто-то в литературе, Достоевский, кажется, сказал, что есть люди, которым чистое белье нейдет, даже неприлично. Ну так вот, есть и общественные положения, в которых неприлично иметь трагические линии на руке... Да и чепуха вся эта хиромантия! У меня на руке никаких трагедий нету и все три линии такие длинные, что с ладони ползут, — а разве со мною не трагедия... ну, если сильно, не трагикомедия приключилась?.. Елена Венедиктовна Шуплова, урожденная Сайдакова... Хорошенькую парочку монстров составили бы мы в салоне Эллы Левенстьерн!..

Удивительно, однако, как мало обтесала его эта его покойная Лидия! А ведь была тоже барышня, да еще и аристократка, дочь предводителя... Знаю я губернию-то: там все латифундии — значит, баре-магнаты, не чета нам, захудалым Сайдаковым. Да мы о чистоте своего дворянства и не заботились: мамаша была из купечества, а бабушка, папина мать, попова дочка, — мы демократическое дворянство, шляхетский плебс...

Ну, в образовании-то я, вероятно, нисколько не уступила бы этой Лидии — напротив: мало ли у меня дипломов и аттестатов! — а она поди была из институток либо, того плоше, «домашнего воспитания». Не то что никаких Бентамов, Рикардо, Дреперов, Дарвинов, а не знала, где в собственном ее теле помещается печень, где селезенка, и, пока сама не родила, верила, что детей под капустой находят. Но зато воспитание эти особы получают не нашему гимназическому чета...

Да что воспитание! Уже от постоянной близости к такой красавице человек должен облагородиться — лучше стать, душою возвыситься и тело свое украсить, найти в себе изящество — ее изяществу навстречу...

У них дети были. Значит, и она имела с ним такие же «ночи любви»... Не могу, не вяжется это в моем воображении... Такую женщину, если бы я была мужчиною, я не могла бы, кажется, иметь иначе, как своим кумиром неприкосновенным... «Благоговея богомольно перед святыней красоты…» Самое близкое, что сестрою обожаемою и хранимою как зеница ока... Жаль, однако, что он уничтожил портрет. Может быть, при дневном свете она не показалась бы мне такою прекрасною, как вчера при огне: ведь я ее все-таки почти что мельком видала... А с чего же нибудь находит он, что я лучше...

Не знает, с чего, а я знаю. Больше говорит инстинкту его мое тело, ближе натуру мою он к своей низменной натуре чувствует. Та, говорит, случайным счастьем была, а судьба моя и погибель — здесь. Верю. На что ему мурильевская Мадонна? То ли дело «ночь любви» с «Елизаветой Петровной» — плечи Балетта, бюст Элен Безуховой!.. Может быть, и впрямь «лучше»? Только вот для меня-то не «лучше», к сожалению, а вроде плевка в лицо... Ах, жаль! Ах как жаль, что он уничтожил портрет: теперь она в моем воображении все прекраснее и прекраснее хорошеть будет... И — чем она больше возвышается, тем я ниже в своих глазах опускаюсь...

Рассуждая таким порядком или, вернее, беспорядком, дошла я до решения твердого и стремительного: «Из возникших наших отношений ничего доброго выйти не может. Что мы не пара, он сам знает. Любви к нему не чувствую ни малейшей, стыдно и втолковывать ее себе насильно: люблю, люблю. То, что третьего дня было, его преступление, вчера — мое. Две дикие вспышки раздраженного темперамента. Мы квиты. Ну, и конец драме, и довольно. «Лучше»

ли я, хуже ли его супруги, но не намерена ни для него состоять в аппетитных самках, ни самой поработиться самочьим восторгом «ночей любви». И без того добыла себе на совесть груз — хватит для раскаяния на целую жизнь. Сейчас, как только он явится, все это я ему изложу кратко и ясно и ни в какие объяснения и рассуждения больше не стану вступать и не позволю. Выскажу, оденусь и уйду. Если бы дверь не была заперта, ушла бы и сию минуту, без разговора, хоть и в рваных лохмотьях этих... Какое скотство — так испортить совсем новенький туалет! Звери, гадкие двуногие звери!..

А что, если он в ответ на мои слова схватит что-нибудь тяжелое — вон хотя бы то пресс-папье с комода — да меня по темени?

Ну что же? Убьет так убьет. Туда мне и дорога. Нисколько не боюсь, и нисколько мне себя не жаль. Вчера было жаль, а сегодня ни чуточки. Даже рада. По крайней мере стильно: «Невеста льва» так «Невеста льва», а не... противно подумать!

Да где ему! Не убьет! Разве что себя? Вчера сам предлагал... Отказалась, не чувствовала себя вправе принять. А сегодня...

Да и сегодня приказать, как он требовал, не прикажу, но, если он... не переживает... тут ни моей воли, ни моей вины больше нет. Я с ним расплатилась. Он получил все, чего желал. Ну и... как это — опять стихи какие-то в памяти?

Рыцарь, полночь било: кровью
Заплати проступок свой!
Насладился ты любовью
Королевны молодой, —
Палач стоит у дверей!

Жаль только, рыцарь-то мой не того... очень не того! Да и королевна не так уже молода: слава Богу, 27-й годок, — не-

множко опоздала для роли угнетенной невинности, за любовь которой кровью платят...

Ну, да кто бы мы ни были, все равно. Сели в яму — надо выбираться из ямы. Ни задыхаться с ним в яме я не намерена: дороже себя ценю, — ни его из ямы куда-то за собою наверх тащить: не умею. Да, по чистой совести, без лицемерных слов, и никакого желания не имею. Это жертва, а для жертвы надо любить человека. А какая уж там любовь, если он мне — вспомнить — гадок?..

Человек как будто неплохой, это правда, неплохой... Жаль, если бы пропал... Да нет! Вздор! Не пропадет... сокровище! Найдется, конечно, какая-нибудь, тоже неплохая, которая подберет его, утерянного, и окажется «лучше» меня, как я оказываюсь «лучше» Лидии... А мне какое дело? Ну, какое мне тогда дело?..»

На этих благоразумных мыслях и застал меня он, тихонько, дверью не скрипнув, вошедший. Разделся там, в кухоньке, бесшумно и вырос предо мной, как бес из-под земли. Румяный с мороза, веселый, глаза искрятся — счастлив бесконечно!.. Вот тебе раз! Да он опять красивый!

Спрашивает:

— Никто не стучал, не потревожил тебя, Лили?

А, вот и прекрасно: с того и начну, что прекращу это бесстыдное «ты». Ледяным тоном ответила:

— Нет, никто меня не беспокоил, кроме вас.

— Меня, Лили?!

— Вы так долго ходили, что я думала: уже совсем пропали. Не очень-то деликатно с вашей стороны.

Удивился:

— Где же долго, Лили? Как говорил, так пришел: ровно двадцать минут.

— Не может быть. Вы по крайней мере час пропадали.

— Взгляни на часы, Лили.

Действительно... Как же это я в такой малый срок чуть не целую жизнь передумала?! Сконфузилась... А он смотрит, нежно улыбается... Красивый!

— Ну, значит, без вас для меня время уж очень долго тянулось.

Сказала, а — зачем сказала? Разве я то должна была сказать? Не надо было этого говорить, совсем другое следовало говорить...

А он схватился за слово, обрадовался:

— Ах, Лили, в самом деле так? Счастливишь ты меня, радость ты моя безмерная!

Однако что же это? Теперь уже так повернулось, что он мне «ты», а я ему «вы»?! Что за глупость!

— Послушайте... — начала.

А в голове вдруг: «Да не все ли равно — «ты» или «вы», когда... Нашла, о чем беспокоиться, когда сидишь пред ним в нижней юбке и незастегнутом корсете — и не стыдно... почему-то не стыдно! Утром до подбородка в одеяло куталась, чтобы ни кусочка моего не видал, а теперь вон какая на виду — и нисколько не стыдно. Куда же это мой стыд против него отошел? Что такое произошло с утра, что такое невидимое и тайное установилось между нами, что он отошел?»

— Я слушаю. Что, Лили?

— Все-таки ты мог бы поторопиться и раньше прийти.

Что я говорю?! Это ли я хотела сказать?! Что такое? Мысли одни, слова другие, голова моя, язык не мой...

— Продавщица в магазине задержала. На грех, знакомая и болтунья ужасная. Чем бы сразу товар отпустить, стала рыться по коробкам. Еще и расспрашивает: зачем это вам, Галактион Артемьевич, понадобился голубой шелк?

— Ты что же сказал?

Господи! Да не все ли мне равно, что он сказал? Зачем спрашиваю? А между тем опять, как давеча в кухоньке,

когда я подумала, что странно — почему это у него, одинокого, женских вещей много? — опять глупый щипок за сердце.

— Сказал, что галстух-пластрон починить.Смеется: все, говорит, для прельщения нашей сестры стараетесь!

— Вот какие между вами фамильярности! И как глупо: кто же голубые пластроны носит?

— Наобум соврал, чтобы отвязаться. У меня нет такого. Она ведь тоже не всерьез спрашивала, а так — скучно ей сидеть в магазине, она и рада почесать язык со знакомым покупателем. Бабенка вдовая, молодая, веселая...

Чуть он выговорил это — ай, что тут меня взяло! Словно кто — раз-раз-раз! — острым колом ударил меня в затылок, в спину против сердца и под ложечку, и вся кровь в голову пошла, сердце отяжелело, руки-ноги поледенели, а по лбу, по груди, по животу огненные обручи и пояса легли. За горло хватки, и он будто плывет-качается предо мною в тумане, за сеткою красною.

— А?! Молодая? Веселая? Я тебя тут ожидаю, а ты с продавщицами развлекаешься? Да как же ты смел? Как ты смел?

Схватила чашку со стола и шварк в него!

— Что ты, Лили?! Бог с тобою, Лили!

А я уж даже не вижу, какой он.

— Иди ко мне, — кричу, — сию же минуту иди! И будь со мною, не смей отходить от меня!.. И если ты когда-нибудь... я тебе горло зубами перегрызу... серной кислотой оболью!...

Да-а-а... была игра! Была игра!.. Ох, была игра! Прав, должно быть, он был на счет «овладения»-то. Что не в человеке оно, а вне человека. И — не знаешь, в чем оно таится, каким оборотнем вокруг тебя вьется. Узнаешь его, когда спохватилась, да поздно: засел в тебе враг, словно в крепости, взятой обманом, и командует. Предало тебя тело твое, и пропала душа.

XXIII

От автора

Над браками по «стерпится-слюбится» много издеваются, что не мешает им быть наиболее частыми из браков, а пропорционально общему числу таковых, делающими несчастных едва ли больше, чем браки «по любви». Статистикой несчастных и счастливых браков вообще, кажется, никто еще не занимался с основательностью и проникновением. Да вряд ли и возможно заняться, потому что — где распределяющий критерий, что есть брачное счастье, что несчастье? По крайней мере, прежде чем супруги достигнут возраста Филемона и Бавкиды, Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, Фимушки и Фомушки. Да и то... Недавно в газетах оглашен был американский случай развода 85-летнего старика с 80-летнею старухой после 58 лет безусловно, казалось бы, благополучного брака. Лев Николаевич Толстой сбежал от образцовой супруги и безукоризненной матери семейства, графини Софьи Андреевны, чуть ли не накануне золотой свадьбы.

Как ни странно, бывает «стерпится-слюбится» и там, где, казалось бы, может место иметь и действовать только одно «любится»: во внебрачных любовных связях. Приключается это в тех из них, которые возникают либо из случая — налетом и взрывом темперамента, — либо из усердия во флирте. Очень частая это трагикомедия, что мужчина и женщина, нравясь друг дружке очень мало и сознательно для обоих нисколько не подходящие один другой, но оба «порядочные», так заигрываются во взаимном кокетстве, что им уже совестно сознаться, будто между ними нет настоящей любви, а идет, как на сцене, только флиртовый водевиль. И вот оба принимаются втолковывать и доказывать себе в самолюбимом упрямстве, что — нет, неправда! Есть любовь, есть, и еще какая пылкая! «Разве я позволил бы себе то-то и то-то, если

бы не обезумел от любви к ней?» — «Разве я допустила бы то-то и то-то, если бы не была влюблена в него до сумасшествия?»

И, как то ни дико, мало-помалу, обманывая себя таким образом, дообманываются до того, что ему, не любя, в сущности, однако «неловко», даже «не деликатно» как будто не настаивать на «увенчании пламени», как в старину острили; а ей, не любя, тоже «неловко» отказать. Он боится, что если отступит после всех своих фраз, поз и жестов, то она получит право считать и аттестовать его пустейшим фатишкой. Она боится выявиться в его глазах бессердечною кокеткою, которая праздно забавляется, играя серьезными чувствами, и «завлекает» мужчин.

Прибавьте к тому, что, обыкновенно, каждая сторона искреннейше обманывается и в том, будто другая сторона захвачена чувством гораздо глубже, чем она сама. Когда действительно бывает такое, трагикомедия обостряется в тяжелую драму, как в чеховском «Рассказе неизвестного человека». Знал эти нескладно слетные пары Антон Павлович и хорошо умел их изображать.

Но не все драмы. Чаще просто обоюдная... канитель! Вот сошлись втайне, нисколько не желая сходиться. Через привычку связь укрепляется — «стерпелось-слюбилось», да еще, пожалуй, ребенок... Живет связь и в жизнь глубокие корни пускает, уже трудно устранить ее из жизни, не взрыв глубоко и опасно самую жизнь. Длится годами, десятилетиями, иногда кончается лишь вместе с жизнью его или ее. А тогда оставшаяся в живых сторона, к удивлению своему, чувствует себя сквозь горе об утраченной привычке как-то... будто освобожденною. И в оглядке на прошлое, смущенная, размышляет: «Как же это так вышло, что я десятки лет лгала всем существом своим — любила того (или ту), кого нисколько не любила?»

О сколько долговременных связей держится исключительно на стыде и страхе прервать их, хотя и ему, и ей дав-

ным-давно хотелось прервать! Всего тут есть понемножку. И упрямство-то сознаться в основной ошибке, с обидою за жизнь, напрасно истраченную в напускном чувстве. И привычка разжигать себя искусственным огнем, когда угасли и пеплом подернулись угли отгоревшего естественного. И сожаление утратить хоть и не любимое, да многолетнее «свое», и в этом — даже до ревности. И страх опустошить свое изжитое существование: если, мол, я уже и эту «мебель» выдвину из души, то с чем же останусь? И, наконец, как будто и незначительное, а, может быть, самое частое и главное: конфуз пред «неделикатностью инициативы».

Тысячам «любвей» следовало бы переходить в близком или дальнем времени в дружбы, но успевают в том едва ли десятки. Гораздо чаще прекращенные связи разрешаются в злобу и ненависть.

Потому что очень трудно установиться отношениям дружелюбного равнодушия там, где годами царила привычка интимной близости, телесной и духовной. Препятствует огромное накопление за срок любви символов ее — фраз, слов, жестов, взглядов тайного взаимопонимания, сохраняющих глубокий след вместе пережитого, хотя бы бывшие любовники и старались его изгладить. Оттого-то так трудны и не искренни бывают дальнейшие встречи расставшихся, если только расстались они в добрых отношениях, а не в лютой ненависти, которая не имеет нужды скрываться, ибо тут уже все порвано в корень и пошло насмарку.

Враги так враги — это понятно. Но когда вовсе не враг, но уже нисколько не любимое существо, однако тобою по-прежнему ценимое и уважаемое и тебя ценящее и уважающее, — раздельная линия между отвалившимся прошлым и установившимся настоящим проводится очень трудно и щекотливо. Счастливы те редкие, кто умеет провести ее с тактом, не оказавшись ни грубым, ни жалким, ни неуместно чуждым, ни неуместно фамильярным,

ни слишком уж тонким умником, ни, что всего чаще даже именно с умниками приключается, просто глупым и смешным.

Одна из замечательнейших русских актрис, женщина большого ума и едкой насмешливости, когда вошла в пожилые годы, говорила, что теперь для нее нет более веселого удовольствия, как встреча с кем-нибудь из прежних «друзей сердца» (la regina ne aveva molti!*), потому что — «несравненно забавно, как он, милый, будет стараться выдерживать старый тон!».

А один очень значительный русский писатель признавался, что самый неловкий час в жизни своей он провел при визите к другому, тоже небезызвестному писателю, в супруге которого неожиданно узнал свою собственную супругу, разведенную с ним лет за пять перед тем по обоюдному соглашению после кратковременного неудачного брака. И неловко было именно потому, что встретился ничуть не враждебно и, следовательно, сидя вместе за чайным столом и беседуя, как чужие, друг дружке посторонние знакомцы, оба отлично понимали, что оба полны самых фамильярных воспоминаний — до ничтожнейших мелочей, которые оба друг в дружке примечают.

— Как только посмотрела она на меня, так и прочел я в ее глазах: «Ну, конечно! Один ус кверху, другой книзу, пенсне на носу криво сидит — пять лет учила дурака, все не выучила!..» Стала чай разливать, вижу: прямо в стакан из чайника льет, а что ситечко перед нею тут же на скатерти блестит — нуль внимания... верна себе! А ведь сколько мы с нею ссорились за эту ее небрежность!.. Всех других гостей опрашивает: «Вы крепкий любите? Вам — слабый? Со сливками? С лимоном?» А мне без спроса прямо мой обычный средний, сахару три куска сама положила, лимон толстым ломтем отрезала, как я люблю: помнит, дрянь этакая!.. А я сижу как на иголках

* Королев не бывает много (*ит.*).

и со стыда горю, потому что кажется мне, будто все замечают эти наши вещественные знаки отставных невещественных отношений и гости смеются про себя, а муж сконфужен, зол, как бес, и внутренне желает мне провалиться в тартарары... И ужас, ужас, до чего неловко и противно!

А впрочем, все — до поры до времени. Все такие чувства, все значительнейшие воспоминания духа, заключенного в бренной плоти, выцветают и тускнут с течением годов подобно золотым буквам на корешках богато переплетенных старых книг — грустный образ из задумчивой сказки Андерсена:

Что позолочено, сотрется, —
Свиная кожа остается!

Таково правило и — много ли исключений?

Однажды, в шестидесятых годах прошлого столетия, в Париже, в приемной министра народного просвещения, ожидали очереди лысый старик и старуха в буклях. Старуха просила уступить ей очередь. Он отказал и прошел к министру первым. Разгневанная старуха спрашивает чиновника-докладчика:

— Скажите, кто этот нелюбезный господин?

Чиновник посмотрел на нее с видом человека, крайне изумленного вопросом, и ответил:

— Как, сударыня? Вы не знаете? Это известнейший писатель, академик Жюль Сандо.

— А, вот кто, — равнодушно протянула старуха, — изменился же он... вот развалина!

Жюль Сандо вышел от министра, старуха вошла к министру. Уходя, Сандо спросил того же чиновника-докладчика:

— Скажите, пожалуйста, какая эта дерзкая старуха непременно хотела перехватить мою очередь?

Тут чиновник уж и руками развел, и глаза вытаращил.

— Вы ли спрашиваете, господин Сандо?! Вам ли ее не знать?! Но ведь это же, это она — наша великая! Жорж Занд!

— В самом деле? — еще равнодушнее возразил Сандо. — Вот никогда не узнал бы! Черт знает какая старая хрычовка!

Таким эпилогом завершился один из знаменитейших любовных романов XIX века. Так встретились после тридцатилетней разлуки два существа, которые «любили друг друга так долго и нежно, с тоскою глубокой и страстью безумно-мятежной...».

У Лермонтова конец стихотворению:

И смерть пришла: наступило за гробом свиданье,
Но в мире новом друг друга они не узнали.

Увы! Нередко так бывает и в догробных свиданиях старого мира!

Связь Лили Сайдаковой с Галактионом Шупловым была — по крайней мере со стороны Лили — именно вот связью «наперекор внутреннему убеждению».

Любви никакой не было, но чувственность играла, и по женскому фатализму, по женской настойчивости доказывать себе во что бы то ни стало разумность своего образа действий, по женскому стыду сознать в себе случайную жертву и затем добровольную рабу собственного темперамента Лили поторопилась уверить себя, будто любит, и, постаравшись, довольно в том успела.

Шуплов же, отуманенный влюбленностью до одурения, не в состоянии был разбираться в чувствованиях своей Лили да и не хотел. Принимал дело попросту: «Грех мой простила, отдалась, живет со мною — значит, любит».

Смущало его только решительное нежелание Лили покрыть грех законным браком. Каждый раз, что он заводил о том речь, Лили резко обрывала его:

— Не вижу никакой надобности торопиться. Успеем еще заковаться в вековечные кандалы. Повенчаться, мой милый, легко и не долго, но сперва надо увериться, что, повенчавшись, не захочешь развенчаться.

— Я в себе уверен, Лили.

— А я нет.

Шуплов бледнел.

— Ты думаешь... ты... ты в состоянии... ты могла бы меня бросить, Лили?

— Ничего я не думаю и бросить тебя не собираюсь, но отстань ты от меня, ради Бога, не неволь меня к венцу. Надумаюсь — сама тебе скажу, что время. А сейчас — ну вот что ты хочешь — нет во мне решимости переступить этот порог. И, если ты принудишь меня, берегись, Галя: не поручусь за то, что в тот самый день, как ты меня венцом прикрепишь, тут-то ты и потеряешь меня.

— Сохрани Бог, Лили! Что это такое ты говоришь!

— Что чувствую. Не слышу я еще в себе жены твоей. Довольствуйся любовницей.

— А ежели меня вот так всего и передернет всякий раз, что ты себя этим словом обзываешь?

— Что делать, мой милый? Люблю точные определения и терпеть не могу обманывать самое себя и прятаться в напрасную ложь. К тому же с глазу на глаз, ты да я — что нам условничать-то и вуалироваться между собою?

— Да, с глазу на глаз, между собою... А если люди прознают и теми же словами заговорят?

— А зачем им знать? Надо, чтобы не знали.

— Рано или поздно прознают, Лили. Шила в мешке не утаишь.

— Однако вот уже апрель идет к концу, а сошлись мы с тобой в первых числах января. Покуда — никто не прознал, а бываю я у тебя почти каждый вечер, и на Пасхе в Петербург мы вместе прокатились...

— Случайное счастье, Лили. Везет.

— Ну, пока везет, и пусть везет. Перестанет везти, тогда и будем говорить.

— Да, сколько бы ни везло, на что нам тайна и прятки, когда мы в полном своем праве — въявь открыться пред всеми?

— А почем ты знаешь, может быть, мне именно тайна и прятки-то и нравятся?

— Ну, Лили, уж это, как тебе угодно, нерассудительное что-то. Кабы резон, а то романический каприз.

— Пусть романический. Почему же ты думаешь, что я не романическая? У меня, может быть, это в крови, а? Что улыбаешься? Покойная мама рассказывала мне про бабушку Анну Викентьевну, что, когда посватался к ней дедушка Павел Митрофанович, вся родня была рада-радехонька и сама она к нему — с лапочками, потому что жених был блистательный.

— Но, — говорит, — одно условие, Поль: вы должны меня похитить и увезти!..

— Как, Аночка, похитить и увезти? С какой же стати? Ваши родители согласны, мои также, никто никаких препятствий нашему счастию не чинит...

— Да, — говорит, — к сожалению, это так, но все равно: я уже давно, еще девочкой, это решила, что выйду замуж не иначе, как чтобы жених меня похитил и увез!

И сколько Павел Митрофанович ни спорил, а нечего делать, должен был исполнить Аночкино желание: похитил и увез! Венчались тайно: вся родня и человек сто гостей приглашенных стояли вокруг церкви и заглядывали в окна, помирая со смеху... Так вот, видишь, какой романической бабушки я внучка. Может быть, и я в нее?

Шуплов смеялся, но не очень-то весело, и опять беспокойно хмурился, мрачнел.

— Бабушка бабушкой, а еще вернее, что...

— Ну — «что»? Не спотыкайся, договаривай!

— Стыдишься ты меня, вот что! Боишься обнаружить пред людьми, что полюбила меня... этакая великолепная, образованная барышня этакого маленького человека!

— И вот, — рассказывала Елена Венедиктовна, — как, бывало, он преподнесет мне что-нибудь подобное, так сразу словно всю душу высушит. В одну секунду сделаюсь не в духе и пошла огрызаться:

— Печатать в газетах о наших отношениях действительно нахожу излишним. Никому не интересно, нам бесполезно, а мне и вредно.

— То-то вот и есть, что...

— Ничего не «то-то»! Не ври! Если я не стыжусь самой себя пред судом своей совести, то можешь быть уверен: никакой суд и стыд людской мне не страшны нисколько, — достаточно я горда для того, и стыдно тебе так долго не узнать меня лучше. Придет время — увидишь, докажу тебе. А теперь не зли меня, не приставай!

XXIV

— Я в том не лгала, но Галактион был прав больше меня. Чутье ему говорило, что хоть и хвалюсь я своей гордостью и сама себя искренно очень гордою почитаю, но в глубине-то души точит меня острая неудовлетворенность. И — только успевай спохватываться да вовремя приглушать, а то — и стыда, и досады на свое унижение, что жизнь свою так нелепо свертела в трубочку, — готов во мне пожар на сбор всех частей.

Ожиданию, что когда-нибудь надо будет выйти замуж за Шуплова, я вообще-то — принципиально, как говорится, — покорилась. Но как-то все-таки не умела себе представить, что это — непременность. И все ждала — чего не знаю, а с уверенностью ждала, что произойдет однажды что-то такое, от чего все мои нынешние обстоятельства перевернутся вверх дном

и прожитая жизнь вдруг отступит куда-то вдаль и станет как небывалая, а начнется что-то другое, совсем новое и ужас до чего для меня хорошее.

Тут, знаете, к нам в заведение, на «Пески», почитай что каждую ночь бывает коммерсант из образованных. Был богатый человек, да сорвался на казенном подряде, прогорел дотла и мало-мало, что не ушел в Сибирь по этим делам. Было это — будет тому уже лет семь или восемь, а с того времени, бедняга, состоит он под другим процессом, с бывшим своим компаньоном. Тот его на подряде-то и усахарил, а теперь с него же требует убытки, тысяч будет до сорока. И, сколько они ни судятся, этот прогорелый коммерсант, гость-то наш, все проигрывает, все проигрывает, а бестия компаньон все выигрывает.

Как-то недавно я сижу с гостем и, видя его большую угрюмость, осмелилась, говорю:

— Бросили бы вы, Василий Никифорович, эту вашу канитель с процессом: ведь ясное уже дело, что не выиграть вам его, — неужели вы еще надеетесь?

— Нет, — отвечает, — ты, Лиляша, совершенно права: выиграть нельзя и нисколько я не надеюсь.

— Тогда зачем же вы с ним канителитесь, деньги и нервы изводите напрасно?

— А это, — говорит, — друг ты мой Лиляшенька, для отдаления момента. Понимаешь?

— Нет, Василий Никифорович, не понимаю. Если вы говорите относительно момента разорения, то ведь...

— Я уже разорен, чего хуже нельзя, хочешь сказать? Правильно, друг мой. Но видишь ли ты: есть разница между существом факта и публикацией факта... Понимаешь? Вот, например, ты мне говоришь «вы», а я тебе «ты». Почему это, понимаешь?

— Еще бы того не доставало, чтобы я вам говорила «ты», а вы мне «вы»!

— Ага? Уразумела? Ну а вот с момента-то публикации факта это самое оно и будет, что я тебе — вы, а ты мне — ты...

— Ну уж извините, Василий Никифорович, ошибаетесь, и даже обидно очень, что вы так дурно думаете обо мне...

— Не о тебе, Лиляша. Ты-то, может быть, и не тыкнешь. А тысячи тех, кому я на своем веку, сверху вниз глядя, тыкал и имел право тыкать, тогда мне с особым наслаждением тыкнут... Да и ты, Лиляша... Ну скажи по совести: ежели я, который вчера твоих девчонок в шампанском купал, завтра приду к тебе тапером в твой хор проситься, неужели ты выдержишь характер, не скажешь хоть обиняком, если не прямыми словами: что? Довертелся, такой-сякой сын?? Ну, сказывай, сколько тебе, прохвосту, надо, чтобы с голоду не околеть?

— Бог знает что вы говорите, Василий Никифорович!

— Не Бог знает, а я знаю и ты, Лиляша, знаешь... не лицемерь! И вот потому-то этот самый момент... момент публикации… я и отдаляю! Да!.. Потому что, в конце концов, факт — ничто... Да!.. А публикация факта — все! Да! Понимаешь?

— Очень хорошо понимаю, Василий Никифорович. Сама в свое время не столько на факте, как вы выражаетесь, сколько на «публикации факта» погибла. Но только, раз вы эту публикацию факта считаете рано или поздно непременною...

— Всесовершенно!

— Тогда стоит ли тянуть и мучить себя, как вы маетесь, по мелочам? Отрубили бы раз — хоть больно, да однажды и навсегда — готово! А то ведь жутко на вас смотреть, как вы маетесь...

А он смеется:

— Ну да, это ты из анекдота, как сердобольный англичанин жалел своего бульдога — отрубить ему хвост за один раз, и резал каждый день по маленькому кусочку... Но я тебе на твою притчу отвечу своею! Слыхала ты, что жил-был

некогда в Персии такой мудрец, шут и бродяга, по имени Насреддин?

— Нет, не слыхала. Что нынешнего персидского шаха зовут Насреддин, это я знаю. Когда я была маленькая, он приезжал в Россию, проезжал через наш город, была ему торжественная встреча на станции, и мы, вся женская гимназия, были в белых платьях, подносили ему букет...

— Вот видишь, как ты много знаешь! Так вот теперь узнай еще. Был у этого самого шаха Насреддина, которому ты букет подносила, слон — любимый белый слон: драгоценный подарок сиамского короля. И был этот слон такой умный, такой умный, совсем человек, только не говорит. И объявил шах Насреддин по всему своему царству, что если найдется среди его подданных человек, который возьмется научить слона говорить, так он такого мастака золотом осыпет; а буде возьмется, да не выучит, то за обман на кол посадит. Персюки шаховых бирючей выслушали, посмеялись втихомолку над шаховой глупостью — охотников учить слона не нашлось. Но тут-то вот как раз и появляется вдруг тот другой Насреддин, мудрец, бродяга и шут.

— Так и так, — говорит, — ваше величество, я могу учить слона!..

Обрадовался шах.

— Превосходно! Учи! А скоро ли выучишь?

— А вот уж за это, ваше величество, отвечать я никак не могу, — говорит мудрец, — зависит не от меня, а от способностей слона.

— Ну, все равно учи! Когда-нибудь да выучишь!..

Дали бродяге хорошую квартиру, отпустили сытный паек, положили жалованье — зажил шут Насреддин припеваючи. Но друзья, которые любили его, обеспокоились:

— Что ты делаешь, Насреддин? В чью ты голову бьешь? Ведь, когда шах поймет, что ты его надул, ты не успеешь и глазом мигнуть, как уже будешь сидеть на колу!..

А Насреддин возражает им спокойно:

— Любезные мои, напрасно вы тревожитесь. Я совсем не так глуп, как кажусь. На кол сажать меня не за что. Я взялся учить слона говорить, но не ручался за срок, когда могу его выучить. Ну и буду учить с Божией помощью, а покуда учу, одна из трех возможностей: либо слон помрет, либо шах помрет, либо я помру. У меня же тем временем всегда будут жирный плов, ширазское вино и женщины с глазами газели... Понимаешь, Лиляша?..

Так вот, по той самой логике — этого прогорелого гостя нашего и персидского философа Насреддина — и я «оттягивала момент» своего превращения в мадам Шуплову. Не то чтобы — либо он помрет, либо я помру, а все-таки — авось время устроит как-нибудь так, чтобы грех — в орех, а покуда — зернышко в рот.

Для удобства наших с Галактионом Артемьевичем свиданий повела я образ жизни еще более рассеянный и театральный. Каждый вечер исчезала из дома часам к восьми, а жди меня домой, значит, либо поздно за полночь, либо лишь завтра поутру.

Чтобы оправдывать ночевки, еще ближе сошлась с Эллой Левенстьерн. Ее пришлось посвятить в секрет отчасти. Однако не назвала ей ни героя моего романа, ни обстоятельств не рассказала, как и что. А она оказалась настолько великодушна — не настаивала в расспросах.

Как я и предвидела, Элла отнеслась к моим признаниям очень снисходительно. Как всякой многогрешной женщине, ей даже приятно было узнать, что и приятельница ее, которую она в чистых девах числила, тоже, оказывается, с грешком. А то, что я говорю, да чего-то не договариваю, Элла по своей прошлой практике объяснила себе так, что я ей в романе своем если не все вру, то многое подвираю, и даже, может быть, и вовсе никакого романа нет у меня, а просто поступила я втайне на содержание к человеку, который в по-

добных делах не любит или опасается афишироваться. Да, пожалуй, еще старик или урод какой-нибудь, так, понятно, мол, бедняжке Лили особенно стыдно в том признаться.

Это предполагать Элле было тем легче, что сама она состояла в подобных же отношениях с будущим своим супругом, Яковом Петровичем Левенстьерном, покуда не скончалась его первая жена. А был он, Левенстьерн этот, человек хотя очень добрый и неглупый, но из себя пребезобразный, сразу на всех зверей похож и каждые сутки с утра вполпьяна, к полудню пьян, к вечеру — хоть выжми, к ночи — «без задних ног». При всей его кротости и щедрости быть возлюбленной подобного сокровища было не очень-то сладко такой эстетической особе: если бы не носился постоянно пред глазами Эллы радужный мираж миллиона в руки, то едва ли и выдержала бы. Ну, по терпению и награда. Миллион не миллион, а цапнула в ручку не малый кушик и прожила век в свое удовольствие, не то что я, грешная.

Поддерживало подозрения Эллы и то совпадение, что как раз в это время очень улучшились мои материальные обстоятельства, стала я лучше одеваться, позволять себе лишние траты, вообще вести себя, как барышня не без кругленького состояньица.

Началось это с того, что мы, Сайдаковы, получили маленькое наследство от дальней родственницы, которую почти не знали — только через наследство и вспомнили, что как будто была у нас такая. Деньги были ничтожные, на мою долю досталось всего три тысячи рублей. Брат советовал мне положить их в банк и по возможности даже процентов не трогать. А Шуплов отсоветовал. «Лучше, — говорит, — поручи мне, я тебе помещу деньги в доходное дело, хорошо получать будешь».

И действительно поместил как-то так выгодно, что начали мои скромные три тысячи приносить годовых процентов чуть не втрое против капитала.

Какое именно было дело, я не знала. Шуплов объяснял, но сбивчиво и непонятно, а я в коммерческих операциях и теперь не сильна, а тогда ровно ничего не смыслила. Слышу: «биржа», «курс», «Бологовские поднялись», «Сормовские упали», — черт же их разберет, что это значит. Но так как я читала Золя и Боборыкина, то знала, что на бирже можно как-то очень много выигрывать и проигрывать, а потому и не удивлялась своему доходу. Тем более что Шуплов то и дело давал мне отчет и каждый раз с приложением: то пятьдесят рублей, то сто, а то и двести.

Проигрыша никогда не бывало. Шуплов играл с каким-то сверхъестественным счастием. И, что всего удивительнее, выигрывал всегда необычайно кстати — как раз когда мне нужны бывали деньги на туалет или на другую какую-нибудь трату по моим выездам. Словом, ниспала мне в наследстве дальней тетушки с небес Голконда какая-то. И — что дальше, то больше.

Элла в мое наследство — по глазам видно и по речи слышно было — не очень-то верила, считала, что я басню сочинила, чтобы скрывать содержанство свое. По правде сказать, мне и самой не раз приходило в голову сомнение, уж не маскирует ли мой Галактион Артемьевич своею беспримерно счастливою игрою просто-напросто денежные мне подарки? Но, хотя я видела по многим признакам, что Шуплов далеко не так беден, как представляется, однако думала, и не настолько же он богат, чтобы безотказно, по каждому моему требованию выбрасывать из собственного своего кармана десятки и даже сотни рублей. Тем более что для себя он был очень скуп — почти что ничего не тратил, так что едва ли проживал и то маленькое жалованье, которое получал из своей конторы.

Было между нами однажды и объяснение по этому его счастливому секрету. Галактион выслушал мои подозрения и плечами пожал.

— Охота тебе, Лили, воображать такой вздор!

— Совсем не охота, но я не желаю также и очутиться в глупом положении какой-то бессознательной содержанки против воли.

— Что за страсть у тебя, Лили, марать себя подобными словами? Уж если считаться, то в деньгах не ты от меня, а я от тебя завишу.

— То есть как же это? Почему?

— Потому что в моих руках находится твой капитал, я им оперирую, имею от него свою выгоду, а ты получаешь только проценты.

— Да они какие-то уж очень огромные?

— Ничуть. Бывают и много больше... Впрочем, если ты во мне сомневаешься, то изволь, я верну тебе твои три тысячи. Но ты понимаешь: без дохода с них трех тысяч тебе достанет ненадолго.

— Да, — должна была я сознаться, — очень стыдно, но я стала ужасная транжирка.

Он одобрил:

— И отлично, Лили. Молодая красавица, как ты, не должна скупиться на украшение своей жизни всем, на что средств хватит. Я человек простой, дикий, светскому обществу чужой и бывать в нем не люблю и боюсь. Но ты не можешь представить себе, какое для меня наслаждение знать, что ты, так сказать, витаешь в хорошем обществе, там, где всеми принято и всем лестно быть, и одета ты прекрасно и модно, изящная собою, так и блестишь. Когда я воображаю тебя такою, то об одном сожалею: зачем я не Ротшильд или хоть Поляков, что ли, чтобы ты у меня была всех великолепнее и изящнее. Когда ты будешь моей женой...

— Тогда и будем об этом говорить, — оборвала я.

— Я хотел только сказать, что рад трудиться денно и нощно для того, чтобы ты ни в чем не знала отказа.

На этом наш разговор и кончился.

Книга вторая

XXV

Скажу вам из своего женского опыта. Страшное это дело, горькое это дело, когда девчонка рано себя теряет. Ну а недоброе дело тоже и потерять себя, перезревши.

О ранних: седьмой год хор держу, так что порченого девья проходило через мои руки! Путевые ведь попадают к нам за редкость: «Которая беленькая, которая черненькая, которая с буланцем, а все с изъянцем». Такая наша профессия, что неудобно в ней невинной девушке быть. Проститутки не проститутки — а это на нас много напраслины клеплят, — да и не монашенки. Иной гость — грубиян обзовет «девкой», — правда не правда, молчи: будь ты хоть всех честных честней, место тебя обличает: коли не дьяволица, так зачем служишь в аду? Бывало это, что приходили, просились ко мне в хор невинненькие, но я, имея совесть, не приняла ни одной и каждую отговаривала, чтобы не ходить и к другим хозяйкам. И не возьму никогда, хоть сиди у нее в горле самый голосистый курский соловей. Как можно! Что греха на душу!

И вот этак-то присмотревшись, я вам по характеру и поведению девицы всегда скажу, из каких она изъянниц, ранних или поздних. К нам в хоры докатываются больше ранние, потому что перестарков мы не держим, разве что уж очень краля собою или голос особенно хорош. Так такая и сама в хору не засидится: красавицу на содержание сманят, голосистую — в оперетку, а то навернется меценат, послушает да и определит в консерваторию, стипендию положит. А вообще наш возраст — с шестнадцати. По правилу-то мы не вправе принимать моложе восемнадцати лет, да кто же на правило смотрит? Да и хотя бы — ну пусть она докатилась до хора в восемнадцать лет: покати-

лась-то, наверное, много раньше. Не сразу же они после этого в хор идут, у каждой своя история есть, у иных и долгая. Как порасспросишь голубушек по душам, так надо считать: из десяти семь, а то и восемь свергались до возраста — та в пятнадцать, эта в четырнадцать, а знала я одну: хвастала, что в тринадцать лет мамой была.

Ну и калеки. На всю жизнь. Которую папа с мамой такою здоровенною телкою родили, что осталась не искалечена телом, все равно: пуще искалечена душою. А знаете, и мужчины с искалеченными душами — бросовый народ, а уж мы, бабы... а-ах, нехороший человек искалеченная женщина, ух, какой нехороший!

На два типа. Либо обозлена непримиримо, всегда держит свое несчастие в памяти — ни забыть, ни простить, и весь свет пред нею стал в виноватых. Такая только в том и проводит жизнь, что одна явно, другая тайно своею злостью черта кормит и разводит вокруг себя кромешный ад. Либо, наоборот, с виноватости своей, с понимания своей неполноты против прочих оробела на век, раскисла, обессилела. Не женщина, а живуля самодвижущаяся. Только что ходит на двух лапках да речи не лишена, а то — так, тряпка одушевленная: кто мимо шел, ухватил, тот ею пол и вытер.

Этакую если приглядит «кот», так не спросит: любишь не любишь, хочешь не хочешь, — прямо забирает, как никому не принадлежащую вещь. Да потом, если доходна, и мотит из нее жилы лет десять, пьет ее кровь. А она терпит, не пикнет. И не то чтобы по любви — какое! Ненавидят иные! А потому что одна, сама по себе, она ни быть, ни жить не умеет: рыба на песке!

И — нет «кота», так сама подобьется к какой-нибудь подружке постарше и с характером — из тех, обозленных-то. Благо они почти все — мужененавистницы, воительницы-амазонки, и любимое это их занятие: брать слабеньких «сестриц» под свое крылышко и настраивать их против подле-

цов мужчин. Ну, тут уж — раз, два, три, и вырастет такое рабство, что иная, покуда не вовсе обалдела под командой «сестрицы», пожалуй, поминает не лихом даже и побои брачливого «кота». Потому что он — хоть по телу, а эти норовят прямо по душе. Подай «сестрице» все свои чувства и мысли, принадлежи ей сердцем и головою, не считая прочего, двадцать четыре часа в сутки, на сторону не взгляни, о себе не помысли, знакомства без позволения не заведи.

Ревность... Гм... У меня тапер с образованием: не играет, так пьет, не пьет, так читает; через него удосужилась я прочитать «Крейцерову сонату»... Ну, и сама я знавала мужскую ревность: ребра трещали, бывало, не чаяла, уйду ли жива... А все-таки скажу вам, что какой там-нибудь Позднышев или Отелло, мужская ревность против женской между собою — это летняя гроза. Нашла туча, нагремела, может, и беды наделала, но — разрядилась и прошла. Уходя, еще иной раз и жалует, и совестится, зачем безобразила, если уж очень. Потому что мужчине всегда можно доказывать, что он не прав, он если не вовсе пьяный или бешеный, хоть злится, но резоны принимает.

Ну а между «сестрицами» тучи в обложную. Не часами, не днями, а месяцами, годами, всегда. И каждую минуту — не знай, что будет. Тут тебе и нашатырь, и мыльный камень, и серная кислота, и с моста в реку.

Истинно благодарю Небо и натуру свою, что прожила свой бабий век без этих страстей. И у себя в хоре чуть замечу, что завелась парочка, — по первому скандалу вон. Потому что с ними, чертовками, сегодня протокол, завтра протокол, а там, глядишь, и попер тебя обер вон из столицы либо хотя бы здесь Баранов с ярманки.

И никогда-то ни одна из них ни в какой своей пакости не покается, потому что так уж, знаете, устроен наш женский ум, что мы, бабы, всегда и во всем правы пред собою, а в наших винах все кругом виноваты, только не мы сами. Оттого и об-

ложные тучи. Казалось бы, прошла гроза: отвздорили, помирились, поладили, тишь, гладь и Божья благодать. Ходят в зале в обнимку, как милочки, ангельски улыбаются друг дружке. А внутри у каждой кипит-бурлит: знаю, мол, я тебя, голубка: на словах смирилась, а в сердце: «Ах, понапрасну стражду от обидчицы-злодейки. Погоди-то ты у меня, угнетенная невинность, я тебя!..» И, глядишь, день-другой перетерпели с грехом пополам и — прорвало: давай «объясняться»! И начинай музыку сначала: «и слезы, и грозы, и жуткие, страшные сны», как в романсе поется, — и нашатырь, и мыльный камень, и серная кислота...

Не дозреть — пропасть, перезреть — пропасть.

Говорят, прабабушек наших выдавали замуж тринадцатилетними, и ничего. Ну, это давно было, чего никто в нашем веке не видал, и с бабушками нашими такого уже не бывало, знаем только из преданий да из книжек. Помните, няня в «Онегине» поет: «А было мне тринадцать лет». Кто их знает, наших прабабушек, какие они были, может быть, с ними и можно было так. Может быть, совсем другой народ был — давние эти... Я вон с хором бывала в Самарканде, Верном, Андижане. Там девушку и сейчас считают перестарком в шестнадцать лет. Так чего же ей в тринадцать не идти замуж, коли она в одиннадцать уже созрела по-нашему, женскому, и бедра у нее, как у нашей восемнадцатилетней, и кормить есть чем? Там — солнце, а прабабушки поди в теремах своих вызревали, как ранние огурцы в парниках, у лежанок горячих, с мягких пуховиков, да медовых папошников, да сбитню, да сыченых браг... Коли на древние нравы ссылаться, этак, пожалуй, можно дойти и до праматери Евы: ей-то, голубушке, ведь и года от рождения не было, когда вышло у нее это ее приключение насчет яблока...

Нет, а вот что хотите, отцы-матери наши не глупы были, когда считали, что до шестнадцати береги дочь пуще глазу, между шестнадцатью—восемнадцатью хорошо ее выдать

замуж, между восемнадцатью и двадцатью — надо выдать, а в двадцать два не выдана — плохо дело: уже перестарок, и гляди за ней опять в оба, как бы сама не вышла. Засиделась, перевалила за двадцать пять — ставь на ней крест: старая дева, — на том свете ей, коли в рай попадет, святую Екатерину к венцу причесывать; коли в ад, козлов пасти.

Мы все это переменили. Теперь девушка, кроме как в крестьянстве, редко видит цель жизни только в замужестве, готовят ее к замужеству плохо, а нужда только в бедноте. По темпераменту мы, русские девы, не эфиопки и не мексиканки какие-нибудь, которым, чуть зацвела, подавай мужчину, а то сгорит внутренним огнем и пропадет цустоцветом. Если русская девушка не развращена дурными примерами, то она девство свое несет спокойно и темперамента этого пресловутого в себе по большинству просто не замечает. Поэтому мы невесты неспешные, разборчивые. Сидим в девках, если жизнь сытая, не стесненная и не скучная, охотно и не боимся досиживаться до возрастов, в которых наши бабушки — одни подумывали: «А ведь еще годика три-четыре, и пора мне будет свою старшенькую замуж выдавать!» А другим зеркало подсказывало: ну что, первая молодость отошла от них безвозвратно, стало быть, коли ты, голубушка, не сыта ею, то начинай вторую. А эта вторая — нет, уже не то, совсем, совсем не то! Первую молодость посылает женщине Бог, а вторую — черт.

Возьмите в пример хотя бы и меня, пропащую. Разве я в девках беспокойно сидела? Да я до своей влюбленности в барона М. знать не знала, какой это такой бывает «темперамент». Да и во влюбленности все-таки не нашла его такою силою, чтобы уж никак нельзя было ей противостоять. Любила, но — чисто, благородно, с мечтою, как в романах любят. Не удалась любовь — боролась с нею и побеждала. Из окошка не выбросилась, с моста не кинулась, не травилась, не топилась. Какой же тут «темперамент»?

Но он подлец. Свирепый, мстительный подлец. В невинном девичьем теле он сидит, как колодник, замурованный в глухой тюрьме, и — будто и нет его вовсе. А вдруг, случаем неожиданным, фатальным — вот как со мною, дурою, — тюрьма-то вдруг — ух! Да и рухнула... Ну и выскочил колодник на волю и набросился на тебя бес бесом, голодный, жадный, хищный: «А, мол, ты меня знать не хотела? Так познакомься! Ты меня, царь-девица, держала, как какого-нибудь Кощея, в тюрьме и забывке, голодом морила, жаждою томила, так теперь поработаешь ты мне тоже, как царь-девица у Кощея в полоне! Накормишь, напоишь досыта-допьяна за все годы, что я маялся! Натешусь тобою, рабою! Никакой волюшки тебе не дам! Ни о чем другом думать тебе не позволю, никакой мыслишки в головенке твоей не оставлю, кроме — как бы мне угодить!»

Вот говорили мы с вами о первой и второй молодости... Знаете что? В девушке, невинной телом, держится эта богоданная первая молодость крепко, возраст пожирает ее медленно. Иная доносит остатки ее до седых волос. Старые девки смешны-смешны, однако посмотрите: самый бесстыжий мужчина не станет болтать при сорокалетней девушке пошлости, в которых ничуть не постеснится пред молоденькой бабенкой. Потому что эта знает, а та нет, и выходит, что она, хоть годами старше, да девичьим стыдом моложе. И прекращается эта молодость девичьего стыда только с прекращением вообще женской жизни, женского тела, когда к шестому десятку лет женщина — девица ли, баба ли, все равно — делается существом бесполым.

Если девушка стала женщиною в благое время своей молодости, она теряет молодость девичью, но меняет ее на первую молодость женскую — тоже прелестное состояние, когда сладко быть и женою, и любовницею, и впервые матерью, и впервые домохозяйкою. Очень хороша тогда любовь что в браке, что в вольном союзе, и темперамент в ней

не деспот повелительный, не тиран-мучитель, а веселый товарищ. Но, если девушка запоздала против благого времени — вот как я, — то она перепрыгивает из своей девичьей молодости прямо во вторую женскую. А это, говорю же вам, не то, совсем не то! Не от Бога, а от черта.

Тонко, думаете? Напротив, очень грубо. Разницу спрашиваете? А вот она, разница. В первой женской молодости, когда заговорит в женщине темперамент, так если она не похотливая мерзавка, кошка Машка по натуре, то он должен Бог знает каким идеалистом прикидываться, чтобы она его послушалась и позволила ему взять ее во власть. А во второй молодости женщина, когда обуяет ее темперамент, сама спешит приодеть его в маску и красивый костюм какого-нибудь идеала, чтобы и удовольствие свое получить и не быть в собственных своих глазах потаскухой. Что же, дескать, в том, что я черту сдалась, — думала, что ангелу. А все врет: ничего не думала. Отлично видела, что — черт, да черту-то поработать забавно и приятно. Смеетесь? Напрасно. Кто из вашей братии, мужчин, нарывается на такую — не обрадуется.

Видали мы этих жен, которые из своей супружеской верности делают маску ревнивой похоти и мучают мужей кошачьей страстью, пока не опротивеют. Умные мужья, особенно пожилые и с опытом, которые женаты не в первый раз, имеют обыкновение держать подобных супруг несколько лет подряд, из года в год, в беременном состоянии, пока не обвешают их детьми до того, чтобы утомленному организму стало не до темперамента, а воображению за суетою с детьми не до идеалов. Иначе — роговая музыка на супружеском челе! Скучнеет для неудовлетворенной в темпераменте женщины жизнь в прозе брака, и потянет ее ненасытный дьявол расцвечать вторую молодость поэзией в смене любовников.

Словом, это — период, когда для каждой женщины окончательно определяется жребий, кем она доживет свой бабий век — «мужу верною супругою и добродетельною ма-

терью» или, не говоря худого слова, потаскухою в благопристойной форме, и бывает, что и в очень неблагопристойной. Период рокового кокетства, ревнивых драм, уходов от семьи, разводов, пальбы в мужей, любовников, соперниц, пробных и настоящих самоубийств, содержанства, соучастия в дрянных процессах, шантажа, блудного любопытства ко всяким извращениям, лесбийской любви...

Вторую молодость женщины и поэты воспевали и романисты возносили на пьедестал. Как же! «Бальзаковская женщина» — страдалица любви, — я помню. Ну, что же? Не все, конечно, черненькие, иная выберется и беленькая. Да и вообще скажу я вам: если женщина не глупа, имеет характер и умеет носить узду, свою ли собственную, чужой ли рукой надетую, она во всяком возрасте хороша, и бес ею не бывает обрадован, а только издали прыгает вокруг, бессильно щелкая зубами в завистливой злобе. Но для женщины бесхарактерной и безуздой жуткое время — вторая молодость, и сама она в этом сроке — жуткое существо, и опасное, и несчастное... И уж не возьмусь вам сказать-решить, что хуже: если умная или если дура...

XXVI

Теперь представьте себе, что в этакую «вторую молодость» вошла — да нет, не вошла, а вихрем внеслась и бухнула — с вечера девка, к утру баба, — двадцатисемилетняя особа, телосложения — как видите, кровь в жилах ходит, аж будто слышно, как гудит. И — никакой узды. Ни отца, ни венца. Есть любовник, но до того влюбленный, что, будь я хоть сколько-нибудь садисткой, могла бы, пожалуй, кроить кожу ремнями со спины его, — он и то поди нашел бы в порядке вещей.

Была, конечно, сдержечка стыда пред обществом и отсюда тайны. Но какую же женщину стесняла когда-либо в свое-

волии ее узда тайны? Разве узда — тайна? Не хлыст ли скорее, чтобы подстегивать нашу сестру-грешницу, когда мы ходим, птички, весело по тропинке бедствий, не предвидя от сего гибельных последствий?

Тайна располовинила мою жизнь, и, как только прошел первый страх «попасться», я выучилась находить в двойственности своего существования приятно щекочущую пикантность.

Галактиону нравилось, чтобы я «блистала в обществе»: так точно он выражался. Ну что же? Блистала. Почему не блистать? Я люблю блистать — были бы средства. А в них отказа я не видала. Мои три тысячи в оборотливых руках Галактиона положительно чудеса какие-то творили. Конечно, я не зарывалась в соперничество с миллионщицами, не смела тягаться хотя бы с тою же Эллою Левенстьерн, а все-таки туалеты мне уже не шила моя прежняя большая искусница да русская неудачница, скромная Марья Антоновна, портниха без вывески с Сивцева Вражка, но поставляла модная та же Федотова в Леонтьевском переулке. Знавали? Красавица женщина! Держалась этакою модисткою-дилетанткою, из каприза, дескать, да любви к искусству. Говорила не иначе, как по-французски, — и с каким произношением! Парижанка! Выходила ко мне средневековою дамою, в сопровождении двух огромнейших сенбернаров, и хотя была утонченно любезна, но давала прозрачно понять, что снисходит к моим скромным заказам лишь из особой симпатии, которую я ей внушаю. А, впрочем, премилая была особа и сыпала остроумием, как из короба. Ну и счета ее тоже, что говорить, бывали остроумны.

На первых порах Галактион покушался делать мне ценные подарки, но я сразу это прекратила. Я вообще не люблю подарков, потому что люблю хорошие вещи и привыкаю к ним. Принять подарок легко, а вдруг — поссоришься? Надо будет возвращать, а трудно, жалко. Так лучше уж и не брать.

Возможности же, что мы с Галактионом поссоримся, я никогда не выпускала из памяти. Вовсе не намеревалась и не хотела ссориться, но мысль эта была как-то сильнее меня.

Но взамен подарков Галактион обладал талантом, которым пользоваться я не могла отказать ни ему, ни себе. Он любил скитаться по разным аукционам и дешевым распродажам и умел находить случайные вещи по баснословно низким ценам — как раз мне по карману. Так что я не раз смеялась ему, будто он, наверное, скупает «хапанное» у жуликов. А он, усмехаясь, возражал: «Не совсем, Лили».

Итак, разукрасилась я на славу. А как скоро драма новогоднего приключения перешла в мирную колею «медового месяца», то я, как водится с новобрачными, помолодела и похорошела. Выряжусь, бывало, так в антракте Симфонии или Филармонии либо в ложе бенуара у Эллы Левенстьерн — есть на что взглянуть!

И была я замечена. Очень. Ухаживателей появилось множество. И тут обнаружилось еще одно превосходное качество Галактиона: он оказался нисколько не ревнив. Напротив, успех мой у мужчин веселил его и наполнял какою-то курьезною гордостью, которая меня иногда смешила, а бывало, что и раздражала. Бывая на танцевальных средах Дворянского собрания, в опере, на концертах, я могла быть уверена без предупреждения, что где-нибудь на хорах, в «купонах» верхних ярусов или на галерке уже кроется от глаз моих Галактион, неотрывным взором созерцая свое божество, то есть вашу покорнейшую. Что делается на сцене — не видит, что поют на эстраде — не слышит. Однажды — после — спрашивает меня:

— Скажи, пожалуйста, Лили, показалось мне, будто сегодня в театре марш из «Фауста» играли, или в самом деле? Уши-то у меня, знаешь, дубовые...

Я смеюсь:

— Да, как же не в самом деле, если «Фауст» шел?

— Ах, «Фауст»... вот оно что!

— А ты что же думал?

— По правде тебе сказать, Лили, ничего не думал.

— Да как же ты билет-то покупал? На что?

— А как? Подошел к кассе: есть на сегодня? Говорит кассир: «Нет на сегодня». Я — к барышникам: «Есть на сегодня?» Один, кривой нос, говорит: «Есть». — «Давай!..» Втрое подлец заломил. Поторговались, уступил...

Так-то вот и поощрял он искусство, ходя не на «Фаустов» и «Лоэнгринов», а на «сегодня», «завтра», «послезавтра», глядя по тому, где когда я бывала.

А потом, ночью, у него в квартиренке, окажется, что из «Фауста»-то он только марш чудом раз слышал, да и в том не уверен, но зато от него не ускользнуло ни одно мое движение — как я вошла в ложу, где села, когда встала, кому руку подала, на кого в бинокль смотрела, с кем смеялась, как конфетку съела, как веер держала, — все!

Вначале эта влюбленная слежка злила меня: по какому, думаю, праву? Что он воображает — в собственность я, что ли, досталась ему? Супруг какой нашелся! Скажите пожалуйста! Как бы не так!.. Потом разглядела, что это не из ревности, а из восхищения, не собственник глядит, а любуется покорный раб, — стало льстить. Впоследствии надоело — опять злилась...

Впрочем, не ревнуя меня, Галактион был совершенно прав. Любить его — я не знаю, любила ли и тогда, — позже, знаю, определенно, не любила. А тогда если и любила, то с враждебностью, с обидою за себя. Редкое свидание у нас проходило без того, чтобы я не затеяла с ним ссору. Потом, конечно, все равно в постель. И, кажется, обозлена уж до страсти, все внутри дрожит, ненавижу и презираю, а — откажись-ка он в эту минуту, чувствую: ногтями в глаза вцеплюсь, в клочья изорву... Тоже — называется — любовь!

Ну, любовь не любовь, но тело мое было сыто, а к разврату, ищущему, как говорится, чувственного разнообразия, я по

натуре нисколько не склонна. Если бы не сидело во мне обиды за ту окаянную новогоднюю ночь — вот ведь и простила, кажется, и не хотела помнить, а она все-таки как засела где-то глубоко-глубоко, в самом темном углу души, так, знай, и сидит да сидит! — если бы не показывала она время от времени колючие рога свои, то, может быть, мы и хорошо поладили бы и счастливы быть могли бы... Я ведь хоть и погано жизнь свою испортила, а знаю: не вовсе я дрянная, в хороших руках могла бы хорошим человеком быть. Да как ему было меня в руки взять, когда так влюблен? Поехала я на нем. Он везет, а править-то я не умею. Погоняю шибко, а впереди — ров… Ну, да после об этом!

Так что ухажерство вокруг меня было для Галактиона безопасно, а он оказался очень умен, что это понял, и я была благодарна ему за это, и служило оно к большому плюсу в моем о нем мнении. Бывают женщины, охочие, чтобы их ревновали. Не ревнует, значит, мол, не любит. Всегда таких за дур считала. По-моему, для женщины, если она ведет себя честно, нет ничего обиднее, чем когда ревнуют понапрасну. Иная тут с одной досады на неправду в отместку за оскорбительное подозрение возьмет да и нарочно согрешит, и я ей тот грех не очень и в грех поставлю. Потому что, знаете, сегодня Отелло, завтра Отелло, послезавтра Отелло — какая ни будь Дездемона, а скажет наконец: «Да что же это, наконец, Господи? Терплю-терплю от этого идола… Уж если суждено мне через него страдать, так пусть хоть будет за что!»

Я в Армавире знала офицерскую жену: красавица была и репутации самой семейной, а муженек напрасною ревностью загнал ее в такой угол, что озлобилась баба, стала попивать, и однажды застал ее супруг-дурак и в самом деле с любовником, да не из офицерства, к которому он пылал глупою ревностью, а с собственным своим денщиком… Думаете, развратная была? Ничего подобного. Я ее после

того, как муж ее выгнал — в одной рубахе из дому выбросил, — подобрала к себе в хор, три года она у меня служила, всегда была на глазах: ни-ни-ни! Монашенкой себя вела. После ее в Ирбити, на ярманке, сманил от меня купец из Иркутска по своему вдовому положению в экономки. И теперь получаю от нее письма: ничего, живет — Бога хвалит, человек оказался настоящий, без дурной блажи, пожалуй, кабы муженек ее догадался помереть, то этот не побрезгует, женится...

Но когда женщина в себе уверена, что не соблазнит, то мужское мотыльковое увивание около себя видеть и чувствовать очень приятно. Главное, смешно, знаете. Не обидитесь за свой пол, что я вам скажу? Ужасно смешны мужчины, когда ухаживают и воображают, будто с успехом — задело, мол, вот-вот еще одно усилие и — победил!

Вы замечали, что женщины в мужском обществе очень много смеются, иной раз как будто и совсем не смешному? Спросить вас, так что вы скажете, почему?

Один ответит:

«Кокетство. Показывают, что зубы хороши. Дурнозубая небось не засмеется!»

Другой:

«От женской пустоты. Прикрывают смехом отсутствие в них содержания».

Да, как бы не так! Сами-то больно полны!

Прикрывать-то смехом мы прикрываем, да только не то. А вот именно — как смешон напрасно старающийся победитель мужчина...

Задело? А ни чуточки! Язык болтай, голова не знай, нервы не играй, сердце не страдай, а занимательно. Беспоследственный этакий флирт, вроде как у актеров и актрис на сцене. Мужчине этой нашей особой веселости не понять, потому что они очень высоко о себе думают, самодовольны и, чуть помани да по головке погладь, сейчас же и пошли забирать вглубь да всерьез, а на тебя поглядывать свысока,

как уже на обязанную... Ну и смешно. Слыхали наше русское выражение «Мы своему смеху смеемся»? Вот это самый и есть женский «свой смех».

— «Ха-ха-ха!» — «Чему вы, Лиляша?..» Да, как же, так и ответила правду! «Ха-ха-ха! Посмотрите, какой курьезный нос у того господина в ложе напротив!..» А на деле-то по тебе смеюсь, дурашка, по тебе!.. И — никакого зла, напротив — с дружбою. Просто весело. Покуда весело, пусть кружится мотылек. Надоел, можно и отшить. Без вреда для себя, без вреда для него. А я даже и не отшивала. Что мне? Пусть их! Они сами по себе, а я сама по себе. «Во! И больше ничего!»

Встречалась с бароном М. В первый раз немножко толкнуло в грудь чем-то острым и сердце замерло на малую-малую минутку, но ничего, не оплошала, справилась с собою, мигом прописала своей душеньке «тене ву друат»* — никому не в примету, ему всех меньше.

В ложе была у Эллы. Приняла его очень любезно, но — так, «в числе прочих». И, кажется, очень тем обрадовала. По крайней мере заслужила взгляд, слегка удивленный, но определенно одобрительный. Обрадовался, понимаете, голубчик, что отвязалась наконец ненужная женщина, не лезет больше со своей ненужною любовью! Достанься мне такой от него взгляд до новогодней ночи, я неделю ревела бы с горя и оскорбления. А теперь, сытая самка, столько равновесия накопила в организме, что — скользнуло не зацепив... Мало, что не подумала: «Не хотел, — тебе же хуже!»

Галактион видел нашу встречу и чутко понял ее. Никогда я не видала его более радостным, счастливым и влюбленным, чем в ту ночь, после театра.

Человекоубийственные замыслы против барона М. мы, конечно, оставили втуне. Что за глупости, в самом деле?

---

* Держитесь прямо (*фр.*).

Испанцы мы, что ли? Напротив, решили поступить с ним великодушно. Галактион открыл мне, что барон страшно запутан в долгах, у него ничего нет, у дамы, его сожительницы, соперницы моей ненавистной, еще того меньше. Существуют они и барский тон держать в состоянии только вексельным оборотом, и устраивает эти дела им он, Галактион. Живут его кредитом и аккуратностью. Отступись Галактион от бароновых дел, и не дальше, как через месяц, барону с его красавицей — крышка!

Признаюсь, я не без удовольствия почувствовала судьбу барона в своих руках, хотя ни минуты не думала злоупотребить против него своею неожиданною властью. Напротив, упросила Галактиона ни в коем случае не покидать барона на произвол судьбы, но по возможности быть ему теперь еще более полезным, чем раньше. Галактион был очень обрадован этою моею волею. Он ужасно любил барона. И то, что ради меня он пожертвовал было своею любовью к барону и готов был принести мне в жертву даже самую жизнь его, выразительно определяло силу любви Галактиона ко мне.

Узнала я и источник, откуда взялось обожание Галактионом барона М. Действительно, шло оно из времен и обстоятельств женитьбы Галактиона Артемьевича Шуплова на предводительской дочке. Барон, троюродный или дальше того брат невесты, не только покровительствовал их тайному браку и устраивал венчание уходом, но и после свадьбы помогал молодым деньгами — тогда у него еще было небольшое состояние. Сдержал родню прекрасной Лидии от гласного скандала и даже дрался на дуэли с каким-то тоже пятиюродным братом или дядею, который в присутствии Галактиона обозвал Лидию похабным словом.

Галактион мгновенно закатил ругателю злейшую оплеуху. Было при свидетелях, дело не могло кончиться без дуэли. Но пятиюродный брат или дяденька заявил, что ему, потомственному дворянину, ведущему род чуть не от Добрыни

Никитича, неприлично требовать удовлетворения от ничтожного мещанинишки, каков есть господин Шуплов, а за обиду он расплатится иначе. Тогда барон М. заявил, что он заступает место своего друга и родственника, в данной пощечине вполне с ним солидарен и, следовательно, можете, если угодно, требовать удовлетворения от меня. Пятиюродный брат должен был сделать вызов. Стрелялись. Барон прострелил противнику ляжку и сам был слегка ранен в левое предплечье. Примирение состоялось под условием, что пятиюродный брат забудет всякие свои мстительные планы против молодой четы Шупловых и однажды навсегда оставит их в покое.

Вот, слышите, какое рыцарское похождение, даром что в последней четверти девятнадцатого века. Как же после того было Галактиону Щуплову не боготворить барона М.? Дружба, как в романах пишут, кровью спаянная. Я так полагаю, что если бы я настояла на том, чтобы Галактион убил барона, то убить-то он убил бы, но и сам не пережил бы его ни минутою, тут же у трупа пустил бы себе пулю в лоб... Очень любил...

* * *

Елена Венедиктовна примолкла, хмурая, вспоминая кипение давних, холодною золою отгоревших лет засыпанных дней... И вдруг редким взмахом ударила-шлепнула по столу пред собою мясистою ладонью, воскликнула:

— А все-таки, она была кривобокая!

— Кто, Елена Венедиктовна? — удивился я.

— Да Лидия эта, из-за которой такие подвиги совершались и было столько беспокойства... Да! Не без изъянца! Личико ангельское, а фигурка не того-с... Мне потом Дросида все это о ней подробно объяснила... У нее, знаете, одна ножка была немножко короче другой. Так она, чтобы избыть хромоту, все эту короткую ножку тянула, тянула — хромоты не

избыла, а скривобочилась... Ха-ха-ха!.. С этого изъяна и женихи к ней не сватались, с того, поди, и Галактиону она досталась... Ха-ха-ха!

Она смеялась.

— Что же это вы, — сказал я, — как смело давеча говорили против ревности, а сами сейчас, похоже, ревнуете — да еще к мертвой, давно похороненной, которую вдобавок вы ведь победили?

Она остановила свой смех на нехорошей длинной улыбке.

— Как, как же! — подтвердила небрежным броском. — Победила... Императрица Елизавета Петровна в оголении с большими грудями... После кривобокой-то лестно... Ангел ангелом, а Лизанька слаще... Мужик! — выговорила напористо, почти со злобой. — Вы не удивляйтесь, что я этак... взбушевала, — уже мягче тоном продолжала она. — Но верите ли, этот ее кривой бок... То есть — и рада я, что он у нее кривой был, потому что тут, конечно, мое прямое над нею превосходство, а быть превосходнее подобной красавицы какой же женщине не польстит? Но, с другой стороны, знай я тогда, как Галактион ошеломил меня ее красою, что у нее был кривой бок, не обвел бы он меня ее портретом... Может быть, ничего дальше и не было бы... Да, очень может быть, ничего и не было бы дальше... и вся жизнь, значит, другими путями пошла бы... Я, когда узнала про этот Лидин кривой бок, целый день ревела от жалости к себе, носом в подушку лежа. Да уж поздно было: снявши голову, по волосам не плачут. Беременная была по седьмому месяцу и собиралась ехать в Киев рожать... То-то и оно-то! Снявши голову, по волосам не плачут... Что смотрите? Не понимаете?

— Действительно, не понимаю.

— Ну, и не старайтесь, не поймете — мужчина!.. Тут наше, женское — женщина чуткая меня поймет... Эх, да дело прошлое! Черт с ними — кривобокими, прямобокими, — ну их в болото... Лучше выпьем.

XXVII

— Тайну нашу я держала крепко. Не только язык был на привязи, за зубами, — вся всегда в струне. Когда мне случалось встречаться с Галактионом при людях, либо слышать о нем, либо самой упоминать его имя в разговоре с братом Павлом, с Дросидою, с кем-нибудь из знакомых, я мысленно проверяла каждое свое движение, диктовала себе каждый взгляд, подстерегала каждый звук в голосе, так ли все, как надо, чтобы самый проницательный наблюдатель не поймал во мне хотя бы малого признака-намека хотя бы на малый интерес к этому человеку. Равнодушная любезность, ласковая чуждость — и никаких! Помилуйте, что же может быть общего между интересной — почти «мондэнкой» — Лили Сайдаковой и каким-то ничтожным полусерым Галактионом Шупловым? Они с разных планет. Даже дальше! Лили Сайдакова будет охотно и с любопытством слушать о жителях Марса, если кто хорошо расскажет, но о Галактионе Щуплове — Бог с вами! Ей-то что?!

Береглась, стереглась, но, правду сказать, отчасти нравилась мне наша тайна. Забавно было, что я в ней — одна против всех, кроме тоже одного только человека, а он — мой сообщник и верный раб. Всех обманываю и дурачу, и никто не знает, что я в себе затаила и чем всех в немом молчании дразню. Сижу, бывало, в ложе и думаю про себя: «Смешно! Туалет от Федотовой, парюра — шик, духи английские, перчатки парижские, для прически заезжала к французу куаферу на Кузнечном мосту... Прошлый антракт проболтала с князем Александром Ивановичем Урусовым о Поле Верлене, а вот из партера кланяется мне и воздушный поцелуй послал Савва Иванович Мамонтов... Элла недовольна: на меня больше обращают внимания... Принцесса! Ну разве я не принцесса?..

А вот сейчас кончится спектакль, выйду я из театра, отделываясь от провожатых, чтобы не следили, куда возьму

извозчика, а если не отделаюсь, сперва скажу неверный адресе, потом в дороге переменю. Едучи темною Москвою, буду соображать, с какой улицы сегодня лучше подъехать: с Остоженки — будто на телеграфную станцию, или с Пречистенки, где у ворот дворник лентяй и сонуля, легко — мимо него да между сонных флигелей — туда... А там — ощупью во тьме по стенке вонючей, склизкой лестницы — облупленная клеенка ненавистной старой двери... Галактион без пиджака, в жилете, под висячею лампою, за столом с самоваром и закускою ждет, сводит какие-нибудь итоги в записной книжке, чиркает карандашом, щелкает костяшками счет... Ждет... Восторженный взгляд навстречу «мимолетному видению, гению чудной красоты...». Пока в шубке, еще не так глупо, но — шубка долой, и вот я в федотовском туалете, со сверкающей парюрой, причесанная французом, надушенная дорогими духами — принцесса принцессой, — стою, сижу, хожу в этой протухлой, промозглой квартиренке-конуре, где каждая вещь кричит о пошлости, серости, дешевизне, мещанстве... Другая я, в образе полногрудой Елизаветы Петровны, язвительно ухмыляется со стены... Дальнейшее — молчание!..

Отвратительная квартира Галактиона, ненавистная мне до глубины души, оставалась, кажется, единственным пунктом, в котором он ни за что не хотел мне уступить. Платил он за эту полуподвальную мерзость совсем не дешево: мог бы за ту же цену найти приличное помещение в центре города, пожалуй, хоть и в лучших переулках между Тверскою и Никитскою. Но, как я ни ругалась, он отстаивал, что эта помойная яма необходима ему по делам, так как она — уже нахоженное место для его клиентов, квартиру-де менять — клиентуру терять.

Какие это были его дела, какие ходили к нему клиенты, я не знала да и не любопытствовала знать. Конечно, что-нибудь наживное: не жалованьем своим мизерным он существует, как-то выколачивает деньги — биржею, что ли,

другими ли какими оборотами, — кто их разберет, деловых людей и их аферы! Я в этой области и сейчас-то, прожив бабий век, как в темном лесу, а тогда совсем была дура. Знала только, что это те самые дела и та самая клиентура, благодаря которым мои три тысячи в его руках приносят мне доход рубль на рубль и я могу делать себе туалеты, покупать красивые вещи и «блистать в обществе»... Чего же мне еще? Ради этаких благ можно примириться с поганой квартиренкой, раз уж эта клоака в самом деле так выгодна.

К тому же нельзя было отрицать того, что для тайны наших свиданий она была редкостно удобна: уединенная от соседства, в проходном дворе, рядом с флигелем телеграфной станции... Ужас, сколько нелепых телеграмм я отправляла, чтобы замаскировать, бывало, свои приходы, а того пуще, утренние уходы из Галактионовой мурьи.

Делами своими Галактион занимался по вечерам, возвратясь из своей конторы. Поест по пути в трактирчике на Волхонке да и засядет часов с пяти до ночи, пока время не укажет, что пора ему нанять меня в театре или где я нахожусь. Тут он, как самая внимательная хозяйка, приготовит стол на случай моего ночного посещения и отправляется... Меня же он крепко-накрепко просил-заказывал, чтобы я никогда не заглядывала к нему по возможности весь день, а уж в особенности этак часов с четырех до семи.

— Потому что, Лили, всякий народ у меня бывает: легко можешь наскочить на знакомого.

Я пошутила:

— Смотри: ты, может быть, женщин принимаешь?

Но он — серьезно:

— Да, иногда бывают и женщины.

— Вот как?! Это зачем же?

— По делам же.

— Но какие могут быть у тебя дела с женщинами?

— Да такие же, как и с мужчинами. Что же ты думаешь, в Москве деловых женщин нет? О-го-го! Про княгиню Латвину слыхала? Миллионами ворочает...

— Даже видала ее... Но неужели у тебя с нею дела?

— Ну где нам! Там, Лили, дела — окиян-море: большим кораблям — большое плаванье, а мне в маленьком челночке хоть по Москве-реке поплавать — и за то спасибо... Я так, только для примера назвал…

— Хорошо, — говорю, — ну, а если мне именно в эти часы будет что-нибудь от тебя непременно нужно?

Он усмехнулся, говорит:

— Сдается мне, что со времени изобретения господином Томасом Эдисоном телефона это затруднение не так трудно.

— Да, — возражаю, — изобретение полезное, только где же взять телефон?

— А вот где.

И открывает в стенке над постелью шкафик. Я думала, у него там посуда стоит или старье какое-нибудь хранится, — но, оказывается, телефон!.. Помните, какие они сперва большущие и неуклюжие были? Вот такой... И звон — как с колокольни...

Я удивилась: в то время телефоны в Москве были хотя и не в редкость, но больше по общественным учреждениям, ресторанам, в крупных магазинах. Для частных квартир это еще была роскошь богатых людей. Элла имела и платила что-то дорого. А тут вдруг полуподвал, окно на помойку, а туда же — телефон.

— Зачем это тебе? Богач ты, что ли?

— Нет, где же богач? А рассчитал, что по многим моим деловым отношениям помимо траты времени на извозчиках больше проездишь... и обуви истреплешь… Взял да и поставил. Опять же хорошо, если надо кому-нибудь сказать что спешно, по секрету. Вот — хоть бы теперь нам с тобой; увидишь, пригодится… Хочешь, поставлю и тебе?

— А что ж? — говорю. — Поставь. Знакомство у меня большое. Но нам-то с тобою, ошибаешься, он едва ли будет на пользу.

— А почему нет?

— А потому, что если дома заметят, что я часто звоню по одному и тому же номеру, то станут любопытствовать, кому... Дросида же, поди, твой номер знает.

— Нет, — говорит, — Дросида моего номера не знает. Я его только деловым клиентам даю, которые представляют для меня интерес. Из не деловых барон знает, еще один верный товарищ мой, Фоколев Миша, да вот тебе, третьей, открываю.

— Скажите, какие тайности! А зачем это?

— Да просто, чтобы не звонили попусту. Тоже надоедает трезвон-то этот. Охотников заедать чужое время много.

— Но ведь, — говорю, — эти твои тайности все-таки вроде того, как страус прячет свою голову в песок и воображает, что уж теперь охотники его не увидят. Ведь в телефонной-то книге ты значишься.

— Значусь.

— Так чего же стоит твой секрет?

А он подает мне телефонную книжку.

— Вот, найди меня, пожалуйста, найди!

Смеется.

Искала, искала, по алфавиту — нету Шуплова!

Он учит:

— Ты лучше по номерам гляди... Нашла?

— Номер нашла, но тут не ты, а какой-то братушка — «Волпушъ»?

Хохочет:

— Твердый знак откинь, наоборот читай...

Ну, конечно: Шуплов. Ишь, лукавый какой!

— А знаешь, — говорю, — мне эта твоя выдумка нравится. Волпуш... Волпуш... что-то с юга, венгерское или

румынское... Нет, погоди! Если бы вместо «п» поставить на конце «б», то — «Волшуб»: чудесная дворянская фамилия... Знаешь, из этих, малороссийских, которые от запорожцев... Преблагородна!

— Ну что благородного, Лили? Есть у меня один клиент с картавинкой, так, когда с ним говорим по телефону, выходит даже совсем неловко: «Здравствуйте, господин Воршуб! До свиданья, господин Воршуб!» — точно это моя профессия такая или фамильное предназначение, что я шубу краду.

— Нет, нет, ты не скажи. «Волшуб»... Я тебе сейчас все твое родословие выведу. Запорожцев почитали в народе колдунами, волшебниками. Гоголя читал?

— Ты, Лили, кажется, меня уж вовсе за невежду почитаешь. О запорожцах я кое-что и посерьезнее Гоголя читал.

— Скажите, какой умный! Читал, так твое счастье... Так вот, ты от них, от этих волшебных запорожцев.

— К сожалению, далеко не так, Лили!

— Знаю, что не так, но согласись, что было бы гораздо лучше, если бы так?

— О, в том не спорю!

— Старый этакий украинский род, как Безбородки или Кочубеи... К «Волшубу» даже и «графа» прицепить не страшно... Знаешь, в прошлом столетии царицы много этих украинских графов понаделали...

— Смейся, смейся!

— Нисколько я не смеюсь. Вот ты любишь, что я будто бы похожа на императрицу Елизавету, а она как раз подобного графа имела любовником и обвенчалась с ним...

— Но ты же венчаться-то и не хочешь!

— Так она его сперва графом сделала, а я тебя не могу. А эффектно... Жаль, Эллы гости входят без доклада. А где с докладом: «Граф и графиня Волшуб» — совсем хорошо...

Вздохнул.

— Примеривай, примеривай... Что делать, Лили! В рождении своем никто не виновен. Графинь Шупловых, конечно, не бывает.

— Еще бы чего не хватало! А грустную ноту из голоса изволь убрать! Терпеть не могу. Начинается унылая канитель!

— Ты сама наводишь, Лили.

— Чем это, позвольте спросить?

— Да вот тем, что тебе приятно воображать себя какой-то небывалой графиней Волшуб, а...

— А в мещанку Шуплову не спешу превратиться? Или нет, кто бишь ты? Как его? Личный почетный гражданин? Звание!

— Какое есть, Лили. В графы выслужиться не надеюсь.

— А дурака ты от меня сейчас уже выслужил?

Ну, пошло-поехало! Он — слово, я — десять. Начнем с пустяков — досчитаемся до серьезного. Бывало, что и уходила, дверью хлопнув. Но не успею на лестницу подняться, он уже догнал и просит прощения... Вернусь.

XXVIII

Подивилась я все-таки на эти хитрости. Совсем ненужными казались мне они. Но я уже успела разглядеть в моем любовнике комическую черту пристрастия к некоторой таинственности. Деловик-деловик, узкая практическая голова, а вдруг, глядь, удерет что-нибудь, словно вычитал из французского романа.

Пришла мне — вы слышали — охота прокатиться на Пасху в Петербург. Он, конечно:

— И я тоже.

— Хорошо, поедем.

Ну, что же дальше? Кажется, просто бы: в курьерский поезд, я — в один вагон, он — в другой. В пути, проверив, что в поезде нет знакомых пассажиров, сошлись бы в общем

купе. А есть знакомые — дотерпишь разлуку и до Петербурга, не велик срок!

Так нет: Галактион уезжает скорым поездом вперед, перехватывает меня на курьерском в Твери, убеждает меня остаться здесь до завтра по каким-то будто бы совершенно необходимым для него делам, везет меня в гостиницу, говорит «лучшая в городе». Может быть, она и впрямь «лучшая», но, чуть мы в подъезд, обдало меня кухонным чадом, аж я попятилась. Спрашиваю швейцара:

— Что это у вас?!

Говорит:

— Ничего, сударыня, не извольте беспокоиться. Это повар котлеты подфитюривает.

— Что-о-о?!

— На котлетах фитюр обжаривает — оно и того... несет...

И так меня эта лучшая в городе Твери гостиница в единый миг «подфитюрила», что я и назавтра даже в Петербург увезла этот милый дух и насилу-то, насилу вытравила его из носа и из платья.

В гостинице — новый сюрприз. Галактион уже с подъезда начал звать меня «Китти». А в номере объяснил, что на время нашей поездки он — не он, а Владимир Сергеевич Бенаресов, я не я, а супруга его Катерина Григорьевна Бенаресова и что такой супружеский паспорт он сдал в контору для приписки.

— Так, смотри, Китти, не ошибись при прислуге.

— Да ты с ума сошел?! Ехать в Петербург по чужому паспорту, называть друг друга чужими именами?! Что же, по-твоему, Петербург — Ташкент или Семипалатинск какой-нибудь, где я могу ручаться, что не встречу знакомых?

Нет, вот влетело ему в голову — прожить в Петербурге три дня парочкой maritalement*, и ничем не отворотить его от этой блестящей идеи.

* Как супруги (*фр.*).

Ну что же мне было делать? Раз паспорт сдан в прописку, не делать же скандал, требуя обратно: этот-де документ господин дал вам по ошибке, а вот мой. Ему как угодно, а я не Катерина Григорьевна Бенаресова, а Елена Венедиктовна Сайдакова.

— И где только ты этот паспорт достал?

— У меня он давно хранится — от товарища. Он пьет очень, Бенаресов, так опасается, что у него в пьяном виде украдут или потеряет. Всегда, как почувствует близко загул, сдает мне на хранение деньги и документы...

— Миленькая, должно быть, фигурка. И фамилия тоже!

— Из поповичей. Ученый человек. В семинарии профессором должен был быть, да обошли вакансией за пьяную репутацию...

— Не завидую же я этой Катерине Григорьевне! Что бедненькая должна терпеть от подобного сокровища!

— Ну, не очень-то бедненькая. Чрез нее и пьет. Адов характер и старше Володьки значительно. У них однажды нехорошо кончится. Либо он ей надоест своим пьяным буйством — и она его окормит крысьим ядом, либо он ее спьяну, не стерпит ее зубчатого пиленья, утюгом пришибет.

— Прелесть! А тебе не приходит в голову, что они могут заняться этими милыми упражнениями в то время, как мы разъезжаем по их паспорту? В каком положении мы с тобой тогда очутимся?

— Нет, ничего... Я Володьку перед Страстною услал к моей маменьке в монастырь говеть: она их, запойных, хорошо пользует, отчитывает по Псалтырю... Раньше Фоминой не вернется... А там паспортов не спрашивают.

— Но, когда вернется, надо же будет возвратить?

— Надо.

— Так увидит же он прописные отметки?

— А что же ? Ну и пусть.

— Да что же ты ему скажешь?

— Скажу, что мне так надо было.

— И он успокоится?

— А то нет? Смел бы он беспокоиться. Я, чай, ему благодетель.

— Значит, с этой стороны мы обеспечены?

— Совершенно.

— Ну хорошо. Теперь скажи: для чего ты меня завез в эту дурацкую Тверь?

Улыбается виновато.

— Это я... чтобы ты привыкла, Ли... Китти.

— К чему это? К фритюрному духу или к благам здешним?

— Нет… чтобы... То есть ты понимаешь: я же знал, что ты запротестуешь и будем спорить... Так — чтобы не в поезде...

Понимаете, какой хитрый? Сообразил, что, если он откроет мне свою паспортную махинацию в пути, так я ни за что не соглашусь и не удастся ему завтра в Петербурге сантиментальная затея эта — устроиться в отеле вместе на супружеском положении. А раз, дескать, Тверь пройдет, то и Петербург пройдет!

Ну тут, конечно, влетело ему от меня — задала гонку! Никаких супружеских блаженств в Твери ему не очистилось, потому что треть ночи ругались, другая треть ушла на то, что я тверских блох истребляла, третья на то, что открытою форточкою проветривала номер, выгоняя фритюрный дух. Как же, выгонишь! Он там, поди, со времен Александра Нев-ского в стенах завяз… или какой, бишь, другой князь — не Александр Невский — в Твери-то сидел? Еще все с Москвою ссорился и татар у себя в Твери перерезал?

— Был такой, Елена Венедиктовна, Александром Михайловичем звали… Как вы, однако, помните!

— Я многое помню... А вы думали, все пропила?.. Нет, много помню. Только не всегда. А есть в мозгу какие-то задние клеточки. Молчат-молчат, а вдруг будто толкнет их что-то — выскочат и высыпят, что застряло… Намедни — верите ли? — проснулась после нашей обычной песковской ночки уже за полдень, что во сне видела, ничего не помню, голова похмельная шумит, а подушка вся вымочена слезами, словно дождик прошел, а губами шепчу… что шепчу? Французские стихи! «La jeuneca ptive»! Как в гимназии зубрила, с того времени в мыслях у меня никогда больше их не бывало... А вот, оказывается, помню, выскочили ни с того ни с сего… Чу-у-удно…

День в Твери — до поезда, — конечно, после бессонной ночи проспала как мертвая. В поезде, хотя сердце с меня уже сошло, продолжала дуться: для выдержки характера. Ну, к Петербургу — вижу, совсем мой Галактион скис… Жаль стало — э, была не была, риск — благородное дело! Уважила его! Остановились в «Hôtel d'Angleterre» как супруги Бенаресовы…

Ничего… Довольно не скучно провели трое суток. Только я остерегалась выходить вдвоем с Галактионом иначе, как в сумерки. И умно делала. Пошла перед отъездом в Гостиный двор за покупками. Только я с Морской на Невский — пожалуйте, великолепная фигура: наш московский баритон, Богомир Богомирович Корсов во всей своей блистательности!..

Он тогда еще почти молодой был — так, в поре, лет на сорок. И бороду свою живописную не брил, как после. Мужчина красоты победительной!

— Ба-ба-ба! Кого я вижу? Прелестная москвичка! Какими судьбами?

И, узнав, что я в Петербурге одна и вольным казаком — не посвящать же его мне было в комбинацию супругов Бенаресовых! — приглашает меня завтракать в Милютины лавки...

Вот тут и представьте мое искушение. Пойти хочется: шутка ли? Корсов приглашает! Элла на моем месте с ума сошла бы от восторга. А страшно. Во-первых, знаю, что Галактион в отеле уже в треволнениях, почему я долго пропадаю, не отправился бы еще на поиски. Во-вторых: Корсову с места в карьер попалась — пожалуй, и еще кому московскому попадусь. С ним-то еще приглядней, потому что идем мы Невским, а встречные на нас так и глядят: кто же Корсова не знает?

Отговорилась, что не могу: завтракаю у подруги. Пожалел и — такой неотвязчивый! — делать ли ему было нечего, понравилась ли я ему очень, но он со мною и в Гостиный двор пошел, и по магазинам вместе ходили, и покупки выбирать он мне помогал — человек-то, знаете, со вкусом! — и даже торговался за меня. А приказчики — ему что ни уступят:

— Только для вас, Богомир Богомирович. Не скупитесь, дайте торговать, Богомир Богомирович! За свою цену вам отдаю, Богомир Богомирович!

Вот ты и изволь соблюдать таинственность в сопровождении этакой вывески, на весь свет популярной.

Увязался было и дальше провожать меня — до «подруги»-то.

— Нет, — говорю, — благодарю, я сейчас извозчика возьму и поеду: это далеко.

— А как далеко? — спрашивает, глядя на думские часы.

Ах ты, Господи! А Петербурга-то я и не знаю!

Боюсь: назову улицу, а она окажется под самым носом... Вспомнила, что слыхала: есть какая-то Петербургская сторона. Думаю: если в Петербурге да еще как-то особенно Петербургская, то, должно быть, далеко... Сказала.

— О! Действительно не близко.

Довел меня до извозчичьей биржи и пакеты мои донес. Усаживает в пролетку, строго приказывает извозчику:

— Свезешь барышню... Вам куда именно на Петербургскую, Елена Венедиктовна?

Вот тебе раз! А я почем знаю?! Чувствую: покраснела, как рак вареный…

— Представьте, — лепечу, — ужас какой: я забыла!

Он смеется, извозчик смеется.

— Ничего, — говорит, — бывает с барышнями. Припомните. Улица или проспект?

Соображаю: сказать «улица» — опять какого-нибудь маху дам и поймаюся на том, а проспекты у них в Питере — все равно, как у нас в Москве бульвары... Э! Валяй, Лилька!

— Да, да... проспект!.. Как глупо забыла!..

И быстро думаю: зоологические сады всегда бывают далеко от городского центра, если Петербургская сторона, так, наверное, там и есть Зоологический сад... И храбро говорю:

— Не помню… трудное такое название… Только это совсем близко от Зоологического сада…

— Ага! — хохочет Корсов. — Вот мы и добрались: Кронкверский проспект?

— Вот- вот! — радуюсь. — Именно Кронкверский! Он самый! И как, право, могла забыть?

А в первый раз слышу!

Откланялся мне Богомир Богомирович, как граф Невер в «Гугенотах»… Уф, поехала! И жалко, и досадно, и смешно…

«Ну, — думаю, — хорошо, что мы сегодня уезжаем в Москву. Надо мне побывать у Эллы раньше, чем Корсов ее увидит. А то порасскажет он, как я, этакою пошехонкою в улице, потеряла в Петербурге Кронкверский проспект. Язычок-то у него — ой-ой-ой! — острый. Насмешит, выставит дурой на целый год…»

Тем временем извозчик довез меня до Невы и поворачивает к мосту.

Остановила и велела везти в Английскую гостиницу.

XXIX

Везло ли нам с Галактионом особенное счастье, или в самом деле мы оказались мастерами хорошо прятаться, но тайна наша оставалась шита-крыта, и связи нашей шел к концу уже четвертый месяц, без всякой встречной помехи, и жила я гладко, словно с указанной горки на салазках катилась. Дома по-прежнему порядок, мир и благополучие. Брат, как всегда, сердечно мил, добр, весел и шутлив. Дросида услужлива, дружественна и почтительна. У Эллы — тон игривой подозрительности, которая даже приятна, потому что блуждает по фантастическим адресам. В прочем знакомстве ни слухи, ни сплетни — сплошные симпатия и благоволение.

Словом, мое двойственное существование устроилось так комфортабельно, что если бы не частые приставания Галактиона с венцом и законным браком, то не было бы и никакой ложки дегтю в этой бочке меду. Может быть, и стыдно признаться, но взялась правду говорить: самое спокойное, а значит, и счастливое время моей жизни... Иногда, правда, бывало, почувствуешь себя как будто скотинкой и кольнет что-то, но женская или по крайней мере бабья самокритика дело скоро проходящее. Говорят: гром не грянет, мужик не перекрестится. Ну а баба если в благополучии, то и под громом спохватится креститься разве по третьему разу.

Заботило одно обстоятельство, да и то мало.

— Отстань ты от меня со своими попами, — отбивалась я от Галакиона. — Разве худо тебе теперь? Смотри: кто от хорошего ищет лучшего, часто теряет все.

— А вдруг ребенок, Лили? Как тогда? А вдруг ребенок?

— Да ведь нет его! Никаких признаков нет! Что же ты сокрушаешься и загодя ноешь?

— Ах, Лили! А вдруг?

— Ох, надоел! «Вдруг» да «вдруг»... Ну наступит «вдруг», тогда и подумаем и решим, как быть. А покуда

«вдруг» нету, не порти и себе, и мне жизнь своими треволнениями...

По правде-то, я немножко подвирала Галактиону. Один признак был, и важный. Обозначился в первый же месяц. Я струхнула, бросилась к акушеркам. К московским не посмела. Не сказавшись Галактиону, скатала в Тулу, проверила себя у трех тамошних. Все три сказали: «Ничего нет, да если бы что и было, нельзя определить, еще рано». Через месяц я опять в Тулу. Опять ничего не нашли. А женская задержка, говорят, хотя и признак, но может быть и случайною: бывает, что организм по полгода молчит... Ну, коли так, то хвала тебе, перепел!.. Эту вторую поездку я Галактиону доложила и очень его успокоила. А в третий месяц уже и не поехала. Зачем, когда я чувствую себя — здоровее чего нельзя и решительно никаких тайных процессов в себе не ощущаю?

Галактион тем легче поверил в напрасность своих тревог, что привык видеть и понимать беременность тяжким женским страданием, которого и скрыть нельзя, и не заметить невозможно. Его кривобокая ангел Лидия бывала в этом положении ужасна. И тошноты, и рвоты чуть не с первого дня, и прихоти дикие, и капризы, и истерики, и лихорадки, и пятна по лицу — все радости! А я — видит — хожу молодцем, здоровая, веселая, что ем, пью — назад не отдаю, в обмороках не валяюсь, птичьего молока не требую... Стало быть, думает, права: пока что Бог милует!.. Я же, истинно скажу, перестала и думать — забыла об этой угрозе.

Забыла я и еще один страх, хотя в первом начале — помните, говорила? — боялась его, пожалуй, пуще всех других.

Однажды брат Павел вышел к утреннему чаю какой-то хмурый. Дросида тоже показалась мне надутою. Улучив минуту, когда она вышла из столовой, брат тихо говорит мне:

— Лили, мне надо сказать тебе кое-что об этой нашей госпоже. Если ты свободна, проводи меня немножко на службу, я тебе все расскажу по дороге...

Подобные таинственные предупреждения были совсем не в характере брата Павла и необычны в наших отношениях. С моею подмоченной совестью было от чего екнуть сердечку. Однако я осталась спокойна. Чутьем взяла, что речь будет не обо мне. Так оно и вышло.

В превосходно солнечное апрельское утро на скамье чуть зазеленевшего Пречистенского бульвара, поглядывая на снопы золотого блеска мечущий купол храма Христа Спасителя, брат поведал мне домашнюю трагикомедию.

— Собственно говоря, — жаловался Поль, — мне самому следовало бы распорядиться. Но ты знаешь мой несчастный характер. Я человек вялый, застенчив, легко конфужусь. Со своими мальчуганами-гимназистами еще кое-как справляюсь, хотя, правду сказать, и они, чуть постарше, не ставят меня в ни грош, дразнят, будто я «добр, как боб», и свой инспекторский авторитет я спасаю с грехом пополам только тем, что меня почему-то очень любят и, когда я хорошо попрошу, слушаются... Но для неприятного объяснения с женщиной я совсем пас. Тем более с такою зубастою, как достопочтенная синьора Дросида. Ты же, Лили, хозяйка дома, и хотя в последнюю зиму немножко забросила хозяйство, все-таки власть законодательная, судебная и исполнительная принадлежат в последней инстанции тебе...

— И что же я в качестве последней инстанции должна совершить?

— Сделаешь мне огромное удовольствие, если серьезно поговоришь с этой особой и подтянешь ее немножко. Извини, Лили, и не прими за упрек, но ты теперь почти не живешь дома, мы видим тебя редко, как зимою красное солнышко. А она, пользуясь тем, по-видимому, вообразила себя госпожою в доме и командует, как сущий Наполеон или даже Дионисий, тиран Сиракузский. Делает что хочет, уходит когда хочет, на рынке берет что хочет, готовит обед, как ей вздумается, в комнатах развела неряшество, самовары с угаром...

И наконец — опять извини, Лили, что я прошу тебя вмешаться в этот скандал, хотя тебе, как девушке, может быть, не следовало бы о нем и знать...

— Ну, я не из тех девушек, у которых уши золотом завешаны. Что она, негодяйка, еще натворила? Говори!

— Да... Я, право, не знаю... Весна, что ли, на нее действует? Казалось бы, не молоденькая...

— Обожателя завела?

— Как ты это... смело!.. Да, теперь у нас на кухне вечно торчит некая бритая личность сомнительной наружности, и нос бутылкой... Я бы, собственно говоря, ничего не имел против... Что же? понимаю: «любви все возрасты покорны» и прочее... Но ты знаешь глупое расположение нашей квартиры: в известных случаях, извини, невозможно пройти иначе, как через кухню и Дросидину комнатушку... А тут — субъект... Дуют со своей Дульцинеей самовар за самоваром — во что лезет?! Папиросы палит — едва видно его сквозь дым: не человек, а какая-то огнедышащая Гекла... Что ты смеешься?

— Похоже представляешь... Я знаю его, Дросида говорит, что жених...

— Не угодно ли? Сорокалетняя девка еще замуж мечтает, женихом обзавелась!. О времена! О нравы!..

— Не возмущайся, брат мой, вспомни, что и твоя собственная сестра почти уже на стезе старой девы.

— Сравнила!.. Но жених ли он Дросиды, другой ли кто, все равно он нахал преужасный... Вчера прохожу: в кухне стол накрыт, на столе двадцатка «смирновки», у плиты Дросида верещит яичницей-глазуньей со шкварками — для ублаготворения жениховой утробы. А этот милостивый государь изволил развалиться в ее комнатушке на постели, извини за выражение, пузом вверх и ноги на спинку кровати, и гудит на гармонике «Тигренка»... Я прохожу, и он хоть бы глазом повел... Я не утерпел — может быть, глупо было, — заметил: «Когда

видят хозяина дома, вежливые люди здороваются...» Удостоил взглядом и снял ноги со спинки... «Ах, да-с, — говорит, — действительно... извините великодушно... немножко замечтался...» И загромыхал «Тигренка» дальше...

— А ты?

— Я? Что же я? Пожал плечами и проследовал куда надо... «Тигренка» прослушал, «Спрятался месяц за тучку...» прослушал, «Твои движенья гибкие...». Когда назад шел, он «Стрелочка» шпарил... Маэстро!.. Тебе смешно?

— Ты же смешишь... А ты бы попробовал — по нем чем-нибудь тяжелым?

— Ну вот: статский советник и Владимира третьей степени кавалер, не сегодня-завтра директором гимназии не в Вятке, так в Нахичевани... Noblesse oblige, ma soeur!..* Но ты, пожалуйста, внемли моим стонам и уйми этого огра и его огрессу...

Поручение как будто пустое, а, в сущности, было не легкое. Я знала характер Дросиды: девка амбициозная. Начнешь ей выговаривать, а она пожалуй: «Коли я вам, барышня, стала неугодна, пожалуйста, расчет».

Терять же ее из-за пустяков я совсем не желала. Романы разные у нее и прежде бывали, но ничего худого от того мы с братом не видали. Если время от времени не дать прислуге в этом отношении некоторую волю, то хуже бывает. Глупы те хозяйки, которые уж очень сердито воюют с «кумом пожарным», ежели он не вор, не пьяница-скандалист и не обличает в себе с морды сифилитика. А в том, что Дросида распустилась и жених ее скандалист, я, в конце концов, винила себя: в самом же деле, совсем забросила дом без присмотра. Какова я ни есть хозяйка, а все-таки покуда налицо и могу вмешаться — хоть номинальный, да авторитет!

В таком рассуждении, прежде чем унимать огра и огрессу, решила я посоветоваться с Галактионом, как это лучше

* Благородство обязывает, сестрица!.. (*фр.*)

делать, чтобы, понимаете, волки были сыты и овцы целы — и порядок в доме восстановить, и Дросида на дыбы не встала бы. И, наконец, если бы, в крайнем случае, дело остро обернулось и пришлось бы Дросиду уволить, то ведь тетка она ему, Галактиону-то: как он на это взглянет?

Но Галактион, как скоро я передала ему жалобу брата, рассердился на Дросиду ужасно: он брата уважал чрезвычайно — пожалуй, после барона М. брат Павел был для него первое лицо, не считая меня, конечно.

— Какие тут могут быть разговоры? — кричит. — Гнать ее, мерзавку, вместе с хахилем ее! Павлу Венедиктовичу оказать подобное свинство! С ума сошла, старая дура… Гнать и гнать!

— Гнать ее, Галя, я не хочу: это ведь первая большая неприятность между нами за много лет, а, если Дросида уйдет, я тебе прямо скажу: другой подобной мне не найти... Ты мне посоветуй — ты лучше меня ее знаешь, — как мне ее образумить и в чувство ввести, чтобы, понимаешь, вышло и внушительно, и тактично...

— Да что тебе с нею соблюдать такт какой-то? Кто она и кто ты? Когда хозяйка недовольна и делает выговор, ее дело слушать да «извините, барышня, бес попутал, больше не буду!..». Не хочешь гнать — твое дело. Но по крайней мере задай ей такую баню, чтобы помнила до новых веников. Как можно строже! Как можно строже!

— Д-да... я, право, не знаю, сумею ли...

— Э-эх… какие вы, ей-Богу, с Павлом Венедиктовичем! Ну что тут трудного? На провинившуюся прислугу накричать — хитрость, подумаешь!.. На меня иной раз как покрикиваешь, а на Дросиду не можешь?

— Это совсем другое дело...

— Понимаю, что другое. Но нельзя же так… по-интеллигентски!.. Озорная девка хочет вам на закорки сесть, а вы уж рады и спину подставить... Отчитай-ка ее хорошенько, отчитай!

— Даешь благословение?

— Обеими руками. Я тетку Дросиду и сам люблю и уважаю, но подобных самозабвенных штук-фокусов терпеть не могу. Павел Венедиктович больно смирен уродился на свет. Доведись на меня, я бы этому гармонисту ноги его задранные из вертлюгов повывернул бы... Этакому почтенному, заслуженному человеку, можно сказать, на всю Москву украшение интеллигенции — неуважение от хамья!.. Отчитай!

— А если Дросида начнет возражать и мне нагрубит?

— Пошли ее ко мне. Со мною много не наговорит.

Ну вот наутро после этого нашего совещания последовало мое объяснение с Дросидой. Ох, памятное утро! Ох, неизбывное объяснение!

XXX

Брат Павел ушел на службу в свою гимназию. Мы с Дросидою оставались одни в квартире. Пока я отчитывала ее за непорядки по хозяйству, Дросида слушала меня с опущенными глазами, с виноватым видом. Как женщина справедливая и дисциплинированная, она сознавала, что я говорю дело и — на что имею право. Хорошая прислуга всегда имеет служебную совесть и бывает сама недовольна собою, когда нагрешит против своих обязанностей. Но, когда я дошла до скандала с гармонистом, Дросида, раньше только бледная, позеленела, подняла голову и, глядя змеиными глазами, прошипела змеиным голосом:

— Ну уж это, барышня, не ваше дело.

Я вспыхнула, но сдержалась.

— Да, — говорю, — романы твои, конечно, не мое дело. Можешь иметь...

И вот на этом месте бес поставил мне ножку: сунул на язык не то слово, которое надо.

— Можешь, — говорю, — иметь любовников сколько угодно, но к нам в дом их вводить я тебе запрещаю.

Она, уже совсем, как лист, зеленая, шипит-хрипит:

— А где же мне прикажете своего любовника (так нарочно грубо и подчеркнула голосом) принимать? У меня для того особой квартиры нету, у него тоже.

Следовало мне сообразить эту ее фразу, а я сгоряча не спохватилась.

— Уж это меня не касается. Но я не позволю, чтобы у меня на кухне дневала и ночевала какая-то подозрительная личность...

Ее в изумруд отлило. Глаза — ножи.

— Это неправда ваша. Он не подозрительный. Почище многих других. Кабы его из почтамта со службы не уволили, так он уже недалеко был — чин получить...

— Это мне все равно. Хоть генеральский! Но у нас — чтобы больше духом его не пахло!.. Я сказала. Можешь идти.

Она было повернулась, пошла, два-три шага сделала, но вдруг назад. Вдруг объяснялись мы — я сидела, она предо мною стояла. И теперь, значит, смотрит она на меня сверху вниз — режет меня ненавистными ножиками. С лица зелень понемногу сбегает. Характерная девка! Успела проглотить обиду и себя в вожжи взять! — но, чем больше оно белеет, тем больше делается разбойное, фурия фурией — и все, как фонарь, светится злорадством, — яд ядом... И — она еще рта не разинула, а я уже угадала, что она скажет, и сразу вся холодным потом облилась. Слышу:

— Охочи стали чужих любовников считать. Своего причтите! Мой-то любовник — почитай, что чиновник. А ваш кто?

Я, обомлевшая, сижу, подняться не могу, ног под собою не слышу. А Дросида нажимает, точит:

— Воображаете, будто мне не известно, что вы с Галактионом связались? Извините-с, не на то меня маменька

приметливой родила. Я молчу-молчу, зла никому не хочу, не в свое дело носа не сую — не то что иные-прочие. Но глазами-ушами Бог не обидел. Превосходно я все ваши шашни-амуры знаю... с самого того раза, как вы под Новый год вернулись вместе из маскарада! Да-с! Вы думали, я спала? Нет, я не спала, а за дверью сидела да в скважинку слушала-смотрела, благо вы ночничок-то забыли — не изволили с большого азарта погасить... Все видела, все слышала! Могу сказать: спектакль дали! Я потом со смеху до белого утра уснуть не могла... Вскочила я.

— Ты... дерзкая... сумасшедшая... не знаешь, что говоришь... Ложь! Гнусная ложь!..

— Уж будто и ложь? — скривилась она торжествующим лицом. — Хи-хи-хи! Будто ложь?.. А свидетелей хотите?

— Что-о?!

Так и подшибло меня. Опустилась на стул, руки-ноги упали. В глазах — мальчики ли, девочки ли, кровавые ли, пестрые ли, — мигание какое-то вокруг ее окаянного злорадного лица... А она, молнией сбегав куда-то, трясет передо мною рыжею тряпкою.

— Вот, — шипит, — первый мой свидетель... Узнаете? Видите?

Мой башлык верблюжьей шерсти — тот самый, что я в ту ночь проклятую жевала и грызла и шерсти с него набрала в рот...

— Вы — хитрая! — его за шкафчик забросили. После — я спросила — сказали, будто в театре забыли, — значит, пропал. А я эту вашу выдумку подловила. Видела я ведь, как вам «он» ротик-то заткнул — против лишнего шума... Дала я башлычку полежать за шкафиком недельку-другую на случай, что вздумаете проверять, там ли он. А когда заметила, что вы о нем забыли думать, вытащила и припрятала... Что глядите? Он, он, не сомневайтесь... вон — и метки от зубов видать... А мало вам — и еще улики найдутся. Я и простын-

ку вашу с постели сберегла, и сорочку, которая была на вас в ту ночь, — все как есть в неприкосновенности... Что? Будете еще спорить, кричать, что ложь? Лгуньей-то не я выхожу, а вы... Стыдились бы! А еще госпожа, барышня!

Как ни была я потрясена, но сообразила, что раз ее «свидетели» не люди, но немые вещи, то с доказательностью их еще можно спорить... Но Дросида, словно прочитав мои мысли, замахала на меня башлыком.

— И не думайте! И не воображайте! Куда вам! Вы с глазу на глаз не могли выдержать характера: обличили себя предо мною — никаких свидетелей не надо... А ежели я начну при Павле Венедиктовиче... хи-хи-хи!.. Вы, коли что, под присягу пойдете? А? То-то! Хотя, как образованная, поди, и в Бога не очень-то верите, а не посмеете, нет, совесть зазрит! А я пойду, потому — мое дело правое...

— Чего тебе надо от меня? — пробормотала я, глядя на нее сквозь туман перед глазами. Ее тощая фигура качалась и зыбилась передо мною, словно окутанная тонкой кисеей.

Вопрос мой озадачил ее. Конечно, он был равносилен признанию. Она не ожидала, что я так сразу сдамся, и не приготовилась. Удивилась, снизилась, снизила тон. С хрипа-шипа сползла на брюзгливое ворчание.

— Чего мне надо... Ничего мне от вас не надо... Что я против вас — антиреганка, антриганка какая?.. Не первый год меня знаете, пора бы понимать...

Я ободрилась.

— Я и понимаю тебя не иначе, как порядочной женщиной, неспособной на низость... Но если тебе ничего не надо, то зачем же ты устроила мне эту дикую сцену и накричала тут Бог знает чего?

Дросида опять взбрыкнула:

— А затем, чтобы вы не возвышались очень передо мною! Что, в самом деле?.. Я вам не мешаю — вы с чего мне мешать вздумали? Я на вас критику не пущала, а вы на

меня пущаете... Вы думаете, приятно это женщине, что сидит перед тобою госпожа, не в пример больше тебя виноватая, а тебе же мораль-нотацию читает, будто правая? Лицемерие это с вашей стороны — вот что!

— Пусть и так... — начала было я.

Но она перебила:

— Враг я вам, что ли? И не была, и быть не хочу. А что сейчас зла, так это вы меня ввели в злобу. Кабы я хотела вам зла, то назавтра же осрамила бы вас — по свежим следам. Галактион, может быть, отвертел бы мне за это голову от плеч, но, когда в женском сердце злоба кипит, оно страха не знает.

А я молчала. «Что же, — думаю, — кабы она была малолетняя или кому обязанная, а то сама себе госпожа и — двадцать седьмой годок. Много ли молодости осталось? Али проквасить ее до конца? По себе знаю, сама в девках застряла перестарком, покуда и замуж никто не взял. Ух, как это обидно, когда кровь в тебе ходит-ходит год за годом, а ты, живя в чужой воле, не даешь ей свободы разгуляться. Глядь, и устала она, перекипела, пошла запекаться печенками. Так, в своей-то воле будучи, да зевать? Гуляй, девушка! Гуляй, гуляй, красная! Пущай грех, да ты грех-то — в грех, а зернышко в рот: оно и сладко будет!»

Дросида с ухарской ухмылкою щелкнула пальцами и бесцеремонно уселась на стул против меня, опершись тощими руками на острые колени.

— Молчала — и молчу, и буду молчать, коли вы меня на рожок сажать не станете. Можете быть спокойны: кроме меня, никто вашего секрета не знает. И Галактион не знает, что я знаю. Что? Молчать умею? То-то! А вы со мной — на ссору! Эх! Не плюйте в колодезь — пригодится воды напиться. Дросида не дура. Вы, по вашему образованию и как обращаетесь в хорошем обществе, умнее меня, может, в тысячу раз, да у вас женского опыта нет, а я, барышня, прошла свет

сквозь огонь, воду и медные трубы. Где вы, при всем вашем уме и образовании, не обидетесь на слове, в лужу сядете, Дросида обвертит беду вокруг пальца и ею нос недругу утрет...

Она хвастала уже совсем успокоенно, с лица сползла последняя зелень, яд глаз желто высветился в самодовольную жалость. Только что была передо мною свирепая сыщица и прокурор в юбке, а теперь — подмигивает готовая сообщница...

И противно... И отлегло от сердца: прошла беда мимо... Рада... Совестно, что рада, но — словно меня из петли вынули или вырвалась из подземной тюрьмы...

«Поладим, — думаю, — чувствую: поладим».

А она понимает — и фамильярничает, уже и в самом деле подмигнув:

— Всякому овощу свое время, барышня. Пробавляться сухою любовью — это достойно девчонок нечеловековатых, которые еще мел грызут, уксус-чернила пьют и сами себя не понимают, какое беспокойство в них сидит и требует подобных глупостей, в нашем возрасте сухая любовь — напрасная меланхолия и один обман против самой себя. Я, может быть, всем сердцем искипела за вас, покуда вы за баронишкой страдали... Очень даже правильно поступили, проздравить могу, что выкинули эту шалость из головы...

Воображала я: никогда никому не позволю ни намеком даже коснуться моих отношений к барону М. — святыня!.. Ан — вот — слушаю... терплю, как она их пошлит... «Баронишка...», «шалости...». И — ничего!.. Только — спешная тревога: «Лишь бы поладить!»

— Значит, — говорю, — ты меня не выдашь?

Крутит тонкими губами.

— Зачем мне вас выдавать? Вы меня не выдавайте, я вас не выдам...

(Ох, похоже, что поладим!)

— Что это значит — не выдавать тебя? В чем я могу тебя выдать?

— А вот давеча-то обидели?

Смотрит зорко... Торговаться намерена... А ну, сподличаю немножко:

— Я говорила с тобою не от себя, но по поручению брата Павла...

Она пренебрежительно отмахнулась башлыком, который продолжала мять в костистых пальцах.

— Ну что Павел Венедиктович! Теля Божье! Как вы захотите, так и будет.

— Не совсем так, Дросида. Брат Павел очень мягок и кроток, возмутить его трудно, замечания он делает редко, но когда делает, то требует непременного исполнения и в этом отношении очень упрям.

Дросида нахмурилась, свела брови.

— Так что же?

— То, что я очень прошу тебя устроиться с твоим... женихом как-нибудь иначе... удобнее для нас... Пожалуйста!

Тонкие брови ее разошлись, сухая морщина на желтом лбу разгладилась.

— Просите? — с откровенным удовольствием переспросила она.

— Очень прошу.

— Ин, быть по-вашему, устроюсь...

— Очень благодарна буду тебе. (Поладили!)

— Что же? — великодушно-нагло рассуждала она. — Оно, конечно, если судить по правде, не так, чтобы,— и никаким хозяевам не лестно... Не беспокойтесь, барышня, мое слово твердо: уберу... Я сама не охотница до беспорядка... А вы мне вот что скажите: Галактиону вы намерены открыться в этом нынешнем нашем разговоре?

Я затруднилась ответом.

— Скажу тебе откровенно: я еще об этом не думала.

Она зорко смотрела на меня желтыми сообщническими глазами.

— Ведь я говорила вам: он не знает, что я знаю...

— Так что же?

— Да я на вашем месте тоже помолчала бы...

— Почему?

— А зачем говорить? Ваш с ними амурный секрет сам по себе, наш с вами бабий секрет сам по себе... Чем меньше он будет знать о вас, тем больше будет у вас против него своей воли. Мужики ведь они, барышня, лукавые: люблю, люблю, а сам лапу топырит, как бы тебя в горсть зажать, чтобы вся тут: ни то своего, ни то чужого, — гляди в точку!.. Впрочем, барышня, как хотите. Это не мой, а ваш интерес, мое дело — сторона... А мне, барышня, доверяйте не сумлеваясь. Как я вижу, что между вами и Галактионом не баловство, а пошло всерьез, то я, желая добра ему и вам, всегда могу дать вам о нем хороший совет. Ведь я его девчонкой нянчила, на руках носила, так смею сказать: знаю его, как собственную ладонь...

«Он то же самое о тебе говорит, — подумала я, — а между тем, оказывается, вот у вас друг от друга тайны... и вы меня друг против друга предупреждаете!»

А вслух, сама не знаю, как, сказала:

— Галактион все уговаривает меня венчаться.

Дросида встрепенулась, насторожилась.

— Гм... А вы?

— А мне что-то не хочется.

Во внимательных глазах ее мелькнуло огромное выражение как будто удовольствия.

— Что так? Низким почитаете или воли девичьей жаль?

— Нет, низким что же? Странно было бы, живя с человеком, считать его низким для законного брака...

— Первая-то, однако, считала, — усмехнулась Дросида. И вздохнула, покачивая головою, крутя губами.

— Чудачина Галактион! Мало ему было в одном браке с образованной барышней мучиться и ее мучить — нет, ладит другую... Видно, кто по этой дорожке пошел, тот век ее и топтать будет. Должно быть, сладко очень...

— Разве они плохо жили? — с любопытством уцепилась я за слово.

— А он сам как вам рассказывает? — встречно спросила она.

— Рассказывать он избегает, а так, из случайных обрывков — мое впечатление, что, напротив, очень хорошо.

Она пожала плечами, как два гвоздя подняла.

— По-господски, может быть, и хорошо, по-нашему худо.

— Что же?..

— Да так... Объяснить коротко трудно, рассказывать долго... Хорошо сделала эта его мадам Лидия, что померла. Он-то, конечно, на первых порах чуть не убился с горя. Ну а мы, родня, согрешили против покойницы, Царство ей Небесное, вечный покой: рады были, что убралась в мать-сыру-землю...

— Не любили ее, значит?

— Нет, зачем? Ничего, любили... За что было не любить? Деликатная была, любезная, к свекрови почтительная, сватьям и золовкам уступчивая... А только — ни к чему... Умерла — вздохнули легче: освободила и себя, и его, и нас...

Задумалась я.

— Странно!

А она:

— Вы, барышня, если в самом деле соберетесь замуж за Галактиона, не теряйте того из вида, что семья наша страх какая родственная и крепкая. Что твой кочан капустный — лист к листу словно клеем прилеплен; а маменька — это мы старшую сестру мою маменькой зовем, родительницу Галактионову, Пелагеей Семеновной в миру звали, а ныне в постриге мать Пиама, — все листы к себе единит, вроде кочерыжки. Так — который лист свой, от

капустного корня, ему в кочане хорошо, а ежели вставить лист стороннего корня, скажем, с артишока какого-нибудь, то и ему плохо от капусты, и капусте от него нехорошо...

— Из этого я заключаю, — улыбнулась я, — что замуж за Галактиона идти вы мне не советуете и меня в родню не желаете?

— Нет, почему же? — засмеялась Дросида. — За племянником будете, теткой вам буду, велю меня тетенькой звать… Лестно!.. А замуж… Кабы вы себя девичеством стесняли, понимаю... А то на что вам замуж? Бабье имеете, девичью волю сохранили — какого вам пряника вяземского? Девичья воля, барышня, слаще всего… Разве только одно, что вот это...

Она округлила руки перед животом. И продолжала серьезно:

— Вот, барышня, вы приказываете: не выдавай! Я-то не выдам, но ведь все равно скоро вы сами себя выдадите…

— Это каким же образом?

Дросида с хитрой усмешкой повторила свой жест.

— Глупости! — сердито возразила я. — Ничего нет!

Она искренно изумилась:

— Да ну?

Я рассказала ей свои тульские поездки. Она слушала и мотала головой.

— Не верю. Быть не может. Это против естества.

— Но если три акушерки — в одно слово?

— А я, как будучи ваша служанка, их слово отрицаю. У них наука, а у меня приметы. Я за вами, голубушка барышня, с того самого раза слежу. По моим приметам, вы — давнехонько! А только — что должны вы молить Бога за ваших папу с мамой, что счастливо породили вас: фигурная вы, ловкая, ходите незаметно для чужого глаза — и долго проходите...

— Если что-нибудь было, то, я полагаю, не чужие глаза, а я сама первая должна была бы заметить.

— Да вы и замечаете, только верить не хотите. Этак-то у нас в Ростове головиха — сродни даже приходится нам маленько. Молоденькая, замуж вышла — первый год после родительской неволи, при добром муже погулять, повеселиться охота. Ан, пожалуйте: с первого месяца готова! Так у той, с позволения вашего сказать, пузо уже на нос лезло, а она все не верила: это, говорит, ем я очень много — от пирогов! Только тогда и поверила, как в свои именины — Митродорой звали, праздник десятого сентября — за обедом, промеж супа и жаркого, подкатила глаза под лоб и взвыла белугой. Еле успели довести до спальни — пожалуйте: с сыном!.. Смотрите, что бы с вами не было так!

XXXI

Много нехорошего, темного, унизительного было в моей жизни. И тайно продажною была, и по книжке ходила, и пьянствовать обучилась, и бивали меня не раз, и в полицию иной раз когда тянут — такое с тобою обращение, что, как отпустят благополучно, то, выйдя — сколько ни претерпелась, — зубами стучишь, а втихомолку и слезами обольешься: «Господи! До коих же лет терпеть? За что?»

И не напиться в подобном разе никак не возможно, потому что трезвая-то, с раскипевшегося сердца, хорошо еще, коли сама повесишься за шейку на гвоздик, а ну как зарежешь кого-нибудь?

Но из всего стыда и грязи, сквозь которые я прошла, вот это мое объяснение с Дросидой — что я пред нею спасовала, и пошла с нею на соглашение, и в сообщницы ее взяла, и тем самым стала от нее зависимою и действительно подставила ей свою спину под седло: садись да поезжай! — вот это объяснение я хуже и ниже всех своих падений почитаю. И, как вспомню, так до сих пор — пятнадцать лет прошло! — так всю меня и затрясет!..

Потому что, сколько я ни грешна, как ни много виновата — ничуть себя ни оправдываю! — но в конечной моей погибели повинна все-таки она, эта Дросида, ласковый черт в юбке... Я на днях в театре была, смотрела Южина в «Отелло», так — помните, он Эмилию называет: «Милая привратница в аду!» Вот это самое и есть Дросида: «милая привратница в аду» — именно «милая»! Когти и зубы она мне после показала, когда я вошла в ад и она захлопнула за мною двери и засовом задвинула. А в ад заманивала тихо-мило, тянула за мизинчик, подталкивала бархатною ладошкою...

В своей уверенности на счет моего положения Дросида не ошиблась. После нового осмотра нельзя было спорить: четвертый месяц в благополучнейшем порядке. Вскоре и движения почувствовала. А снаружи, — чудо! — все такая же, и хоть бы что! Уж подлинно «папа с мамой счастливо фигуркой родили»!

Струсили мы с Галактионом. То есть струсила-то, собственно, я, потому что Галактион в папаши — с лапочками. Но я совсем растерялась, не знаю, что предпринять, как быть. У Галактиона, конечно, одна песня: «Скорее под венец, и делу конец!»

А меня она раздражает. Понимаю, что говорит дело, необходимо, но вся моя душа кричит против: видеть его в эти минуты не могу!.. Ссоримся.

С Дросидой разговоры. Та, знай, твердит свое:

— Охота вам, барышня! Или в Москве докторов не стало? Заплатите сотню-другую, ослобонят вас, и не почувствуете.

Легко сказать: заплатите! Из каких средств? К брату, что ли, прийти с поклоном и приятным сообщением: «Поль, одолжи своей добродетельной сестре двести рублей на выкидыш!»

Дросида говорит:

— Кто виноват, тот и должен платить.

А если у того, кто виноват, при одной мысли, что я могу сделать над собою что-нибудь подобное, белеют зубы, зеленеют глаза и голос становится, как у охриплой цепной собаки?

Да и самой противно.

И то противно, что против воли ношу в своем теле что-то чужое, чего не люблю и нисколько своим не считаю — Галактионов отпрыск, мне не нужный, — и, однако, за свое появление на свете уже требующий моего подчинения себе, уже налагающий на меня оковы. Да какие! Неразрывные на всю жизнь! Хочешь, не хочешь, mademoiselle de Sajdakoff, а пожалуйте-ка в madame... уж хоть бы, в самом деле, Волшуб! А то — Шуплову!

Но как подумаю, что это чужое в моем теле — живое и для того, чтобы удалить его из себя, надо его убить, — вдвое-втрое — не знаю, как противно! Не то что душа и тело как будто возмущаются и протестуют: тошнота во всем организме. И такое презрение к себе, что боюсь к зеркалу сесть — не равно, себе в лицо плюну; боюсь к открытому окну подойти — не равно, перекрещусь да на мостовую выкинусь... Я и сейчас, в сорок лет, не в состоянии цыпленка зарезать, мыши в когтях у кошки мне жалко, намедни с какими-то нежными мамашами на Откосе сцепилась, потому что их милые детки игру веселую изобрели — отщипывать ножки-крылышки у майских жуков... А тут... Помилуйте!

А время идет и требует. Либо венец, либо аборт. Либо аборт, либо венец. В два голоса. Как две птицы. И — которая белая, которая черная — не знаю. По совести, белая — венец, а черная — аборт. А по удобству и выгоде как раз наоборот: аборт — белая, а венец — черная.

Решила я все-таки: «Венец».

Ну... восторженный любовник превращается в восторженного жениха и восторженного будущего родителя. Я, однако, расхолаживаю его восторги.

— Венчаться, — требую, — мы будем не в Москве, а в каком-нибудь городе подальше, где у меня нет знакомства. И, пожалуйста, не делай плачевного лица и не начинай обычной музыки, что я тебя стыжусь — и тому подобное. Стыжусь-то я действительно, но не превращения из мадмуазель Сайдаковой в мадам Шуплову, как ты воображаешь, а того, что мадам Шуплова, обвенчанная заведомо всему московскому знакомству, скажем, 15 июля, произведет на свет сына или дочку уже в конце сентября... Это скандально. Я не хочу, чтобы смеялись надо мною, над братом, трепали по ветру фамилию Сайдаковых... И, наконец, неловко хоть для тебя. Ввиду некоторой странности нашего брака пойдет сплетня, что мой «мезальянс» неспроста, что дитя мое — плод любви несчастной... Можешь вообразить в родителях кого угодно из мужчин, близких к нашему дому; сплетники выбором не стесняются... Что ты фиктивный муж, купленный нами, чтобы прикрыть мой грех своим именем... Вот что будут говорить, и, согласись, правдоподобно. Нравится тебе это?

— Нет, нисколько не нравится, — мрачно возразил Галактион. — Но, во-первых, переехать в другой город из Москвы навсегда или надолго я не могу: дела не пускают. А отлучка на короткий срок — это будет во-вторых — ничего не устраивает. Тут дело не в месте, а во времени. Что из того, что мы повенчаемся не в Москве, а в Киеве, Харькове или Одессе? Возвращаться-то в Москву нам надо или нет? Сроки-то женские в Харькове, Киеве другие, что ли? Какой же, следовательно, прок из твоей затеи? Что она меняет?

— Меняет многое. Само собою разумеется, что там, где мы будем венчаться, я и родить останусь и некоторое время после родов.

Он хмуро уставился на меня.

— Та-а-ак... А я?

— Придется тебе несколько месяцев проскучать в одиночестве... Будешь наезжать ко мне...

Он вышел из себя:

— Все это так дико, Лили, что не ты бы говорила, не я бы слушал! Несколько месяцев! Наезжать! Благодарю покорно! Прекрасно ты планируешь! Вот так счастливый брак и семейный очаг! Это ты не медовый месяц мне сулишь, а из чистейшего дегтю!

— Не кричи, пожалуйста. Глупо. Если тебе брак, как я предлагаю, не нравится, то, ты знаешь, я ничего не имею против того, чтобы и вовсе не было брака. О медовом месяце что же тебе сокрушаться? Ты его давно, в январе, авансом взял. А что до дегтю, именно от него-то я и хочу избавить нас обоих. Ты знаешь, что в деревнях на таких свадьбах, как наша, невестам мажут ворота дегтем... Ах, не перебивай, сделай милость! Знаю, что скажешь!.. В Москве этого нельзя: полиция не позволяет. Но на словесный деготь запретов нет, и я вовсе не хочу, чтобы мы были им облеплены с головы до ног...

Галактион долго молчал — думал.

— Сколько же времени ты, Лили, предполагаешь быть в отсутствии?

— Ровно столько, сколько надо, чтобы утратился интерес к нашей свадьбе.

— Например?

— Ну, в общем, с отъезда, скажем, полгода... семь-восемь месяцев...

— Полгода?! Это ужасно, Лили!

— Что делать, Галя? Зато...

— Да что «зато»! — перебил он с раздражением. — Сейчас мы входим в май. Если, скажем, в мае и обвенчаемся...

— С какой стати? Я же тебе сказала: около 15 июля.

— Долгие подожданки, Лили. Почему?

— Во-первых — подражаю тебе, — потому, что венчаться в мае, по примете, век маяться.

— Ну что за глупости, Лили? Мне смерть, а тебе шутки.

— Нисколько не шутки. В иных случаях я суеверна. Во-вторых, в июне венчают только до 8 числа: дальше Петров пост. Не успеть.

— Положим, если захотеть...

— То ничего не выйдет, потому что, в-третьих и главных, брат Павел освободится от своей гимназии только 3 июля, а 5—8 уедет, как всегда, в каникулярную экскурсию... В этом году — далеко, на Печору... До отъезда же его, извини, Галя, я не могу приступить к выполнению этих проектов наших...

— Разве ты ничего ему не скажешь? — мрачно изумился он.

— Когда повенчаемся, да. Раньше — ни слова.

— Почему?

— Потому что не хочу ахов, охов, жалостных глаз и праздных уговоров. Я не думаю, чтобы брат пришел в восторг от нашего бракосочетания даже в нормальных условиях, а уж так, как ему суждено быть поставленным на сцену, оно и вовсе одно огорчение для добродетельного и любящего брата любимой, но не добродетельной сестры...

— Ах, Лили! Тебе все смех!

— А если я захнычу, это делу поможет? Зачем я буду огорчать человека и портить ему летний отдых после трудовой зимы? Успеет узнать! Чем позже приходит неприятное известие, тем легче с ним мирятся.

— Неприятное... — задумчиво, с горечью повторил Галактион. — А мне казалось, Павел Венедиктович хорошо ко мне относится...

— Очень, но все-таки не настолько, чтобы обрадоваться, видя сестру от тебя беременной, а потому вынужденной выйти за тебя замуж...

Галактион побледнел.

— Вынужденной... — прошептал. — Жестокие слова умеешь ты говорить, Лили... Напрасно ты это ты так... напрасно... ах, напрасно!..

— Галактион Артемьевич, — серьезно остановила я его, — давай уговоримся об этом раз навсегда, чтобы без недоразумений. Да, вынужденной. И не хмурься трагически: не из-за чего. Отношений наших с тобой нисколько не касается. Мы в них вольные птицы, и я желала бы, чтобы всегда такими остались. А что замужеством я не льщусь и иду за тебя неохотно, ты слышишь не в первый раз. Конечно, вынуждена. Не тобою: можешь не бледнеть и не трясти головою. А положением своим вынуждена. Положение мое такое, что требует этой формальности. Без того я на нее, может быть, еще не скоро, а может быть, и вовсе никогда не согласилась бы. Живу я с тобою по доброй воле, а замуж за тебя иду, извини, подневольным выбором. Либо мне с тобой венчаться, либо ребенка вытравлять. Предпочитаю повенчаться. А обиды тебе в том никакой... Сколько во мне любви к тебе, ты и от венчанной получишь столько же, как получал от невенчанной. А в том, чтобы количество любви увеличилось от того, что вчерашних любовников сегодня поп обведет трижды вокруг аналоя, а шафера подержат над нами венцы, сомневаюсь я, Галя, друг милый...

XXXII

Галактион выслушал мою рацею с глубоким вниманием, не проронив ни слова. Кончила — не выразил ни согласия, ни протеста. Вздохнул, махнул рукой, отвернулся от меня с выражением человека, привычно упершегося в знакомую уже стену. Долго молчал. Потом:

— Значит, в средних числах июля?

— Да, значит, в средних числах июля. Время будет дачное — общий разъезд на лоно природы. Исчезну из Москвы на законном основании, никому в голову не придет, что бегу в брак уходом... Что ты считаешь, пальцы загибаешь?

— Высчитываю твои полгода... Если родишь в конце сентября, это, значит, будет два месяца с половиной...

— Ну?

— Выходит, что вернешься в Москву ты в январе будущего года?

— Ну?

— И все это время мне без тебя пропадать?

Я в ответ могла только пожать плечами.

Он медленно рассуждал:

— И потом, не понимаю... Ну хорошо: обвенчавшись в Москве в июле, неприлично родить в Москве в сентябре, — так... Но почему, обвенчавшись в Киеве в июле, прилично привести в Москву в январе трехмесячного ребенка, — этого, извини, я не могу взять в разумение... Что же, ты его за новорожденного, что ли, будешь показывать? Так — не слепые! Кто же поверит? Да уж если ты так боишься сплетников, то, конечно, найдутся охотники высчитать, что и для новорожденного тебе — с июльской до свадьбы — не хватает еще целых трех месяцев...

Я резко прервала:

— Если мой срок кажется тебе мал, я готова просидеть — где там выберем место — и девять месяцев, и год, и два... Не все ли мне равно? Брат с осени, наверное, директор в какой-нибудь Вологде или Пензе. Мне, значит, так ли, не так, предстоит перестраивать свою жизнь. А заняться этим в Киеве или Харькове для меня даже гораздо удобнее, чем в Москве.

— Для тебя! Для тебя! — вскричал он, нервно заходив по комнатушке. — Да пойми же ты, ради Бога, повторяю, что я-то, я-то не могу оставить Москву!.. Раз будет семья, моя обязанность содержать ее. Я должен буду вдвое-втрое работать против того, что теперь. Ты думаешь, я не рад был бы тоже бросить все — и, куда ты, туда я, покуда ты там, потуда и я? Да нельзя, Лили! Крылья коротки. Меня Москва кормит. И никакой город в мире не в состоянии так кормить меня, как Москва...

— А не воображение ли это? Ты же сам говорил мне, что по своей должности в конторе получаешь гроши?

Он пренебрежительно отмахнулся головой и рукой.

— Э! Что моя должность в конторе! Для прилику ее держусь. Дай мне еще несколько лет работы, так я, пожалуй, эту контору, если захочу, осилю за себя взять, а в компаньоны-то и теперь гожусь, кабы хотел рисковать и видел бы выгоды... Не в конторе мои дела, Лили, а в кредитных операциях. В клиентах. От них я уехать не могу. Помнишь, ты сколько раз удивлялась, что твои три тысячи, которые ты мне поручила, дают тебе хороший доход…

— Даже слишком. Все, кому я говорю, находят невероятным.

Он бросил быстрый взгляд из-под нахмуренных бровей.

— Все? А ты многим говоришь?

— Нет, но близким — например, брату Павлу... ну, Элле Левенстьерн… отчего же нет? Разве нельзя?

Он качал головою с неодобрением.

— Лучше бы не надо.

— Почему?

— Сама же ты боишься огласки пуще всего, а даешь предлог для разговоров...

— Поверенного по своим делам иметь, кажется, никому не запрещается? Не могу же я сама!..

Он усмехнулся.

— Да, моих дел ты никак не могла бы делать сама…

— Батюшки! Ты сегодня так загадочен, что я начну подозревать, уж не делаешь ты фальшивые бумажки...

— Нет, фальшивых бумажек я не делаю, — сухо возразил Галактион, — и вообще ничем недозволительным, того менее преступным, не занимаюсь, но нисколько не желаю того, чтобы в мои кредитные операции заглядывали чужие глаза... Хорошее кредитное предприятие любит тайну.

— Жаль! Знаешь, когда я рассказала Элле Левенстьерн, как хорошо ты устроил мои три тысячи, она возгорелась желанием поручить тебе свои какие-то дела... Я обещала поговорить с тобою…

— Боже меня сохрани! — быстро перебил он.

— Но почему, Галя? Она в состоянии хорошо заплатить…

— Бог с ее платою. У меня на свои операции едва хватает времени и соображения, а — чтобы я взял на свой риск чужие?!

— Мои берешь же?

— То — твои... Ты думаешь, мои обороты — легкое дело, Лили? Нет, ангел мой! Бывает, что иной раз лоб трещит от дум, как бы оправдать свои расчеты да вместо прибыли не наесться грязи...

— Извини, если так, — обиделась я, — я не подозревала, что возлагаю на тебя такой большой труд…

Он смешно поправился:

— Прицепить к своим оборотам твои тысчонки для меня не составляет никакого труда, Лили, потому что мы, значит, работаем вместе: в выгоде я — в выгоде ты, теряю я, теряешь ты, — в расчете... А чужие деньги требуют особого счета и особого к ним отношения… Забота… И потом, Лили… Для твоих выгод я рад хоть трижды в день лезть из кожи вон, а для мадам Левенстьерн, согласись сама...

— Ну хорошо уж, хорошо. Доказал. Согласна. Двое дело, как хочешь. Дальше?

— Дальше — вот, Лили. Моим распорядительством ты, значит, довольна. Операции мои дают тебе рубль на рубль и даже больше. А почему? Потому что в Москве. Ты вот часто упрекаешь меня за отвратительную квартиру и совершенно права, потому что нельзя хуже. И очень мне совестно пред тобою, однако я квартиры не меняю: боюсь потерять нахоженное счастливое место. А ты говоришь: город переменить. Да перемести ты меня завтра в Питер, в Киев, Одессу,

сказать тебе, что стали бы приносить три тысячи? Казенных процента сто тридцать пять рублей в год. Согласна? Нравится?

— Совсем не нравится, — рассмеялась я, — разве на одну приличную шляпку хватит!

— Полагаю. Потому что в Москве я делом оброс, как пень грибами, а в каждом новом месте — начинай сначала... Москва — наша кормилица, Лили. И моя, и твоя, и наших будущих детей…

— Да я и не хочу переселиться из нее вовсе. Я сама люблю Москву и намерена непременно в нее вернуться. Я требую только срока, чтобы в ней обо мне забыли немножко. Чтобы в чересчур любопытных головах, хотя бы вроде той же Эллы Левенстьерн, полиняла и спуталась хронология нашего скандала...

— Скандала, Лили?!

— Ну да. Что же нам, говорю с глазу на глаз, объясняться обиняками? Обижайся не обижайся, а, конечно, брак наш будет принят обществом как скандал... Ну?!

— Я хочу сказать: за время твоего отсутствия общество, что же, переродится, что ли?

— Не общество переродится, а скандал выветрится. У Москвы язык злой, а память недолгая. Свежий скандал — что язва на клейменом лбу, а старый, линялый, спутанный — так, белый шрамик: разбирай и вспоминай, с чего он?.. «Шуплова… Шуплова… Кто эта Шуплова?» — «Ах, как, вы не помните?» — «Бывшая Лили Сайдакова!..» — «А-а-а... да, да, да… С нею, кажется, еще какая-то история была, замуж она, что ли, вышла как-то странно?..» — «Да, было что-то, было, не то замуж вышла, не то ногу сломала…» Вот!.. Дай-ка мне год отсутствия, я такую хронологию разведу, что сама Элла Левенстьерн, уж на что хорошо меня знает, и та потеряет счет. «Ты, Лили, когда замуж вышла?» — «Да уж второй год к концу, Эллочка!» — «Ах как время быстро бе-

жит! А мне, представь, казалось: прошлым летом». — «Что ты, что ты, милая! У меня уже сыну скоро год!» И глазом не моргну... Не моргает же она, когда уверяет, будто мы ровесницы и однокурсницы, когда я отлично знаю, что ей тридцать с хвостиком, а гимназию она кончала на три выпуска раньше меня...

В подобных спорах упражнялись мы бесконечно, так что и в самом деле дотянули до июньских недель, когда венчаться нельзя. А тут — как из решета, событие за событием.

— Поздравь, Лили, — говорит брат Павел, — получил я назначение — и лучше, чем мог рассчитывать: не директором, а подымай выше: инспектором учебного округа... Только далеко... в Уфу... Так что, значит, Лили, из экскурсии моей я в Москву уже не вернусь, а прямо с Печоры проследую к месту служения отечеству... Извини, что пышно выражаюсь, но ты видишь, какая важная я стал персона! Дай сантиметр, смеряюсь: мне кажется, я с утра роста прибавил... Ну, а теперь давай выяснять, какие же твои намерения. В Уфу со мною ты, конечно, не поедешь?

— Погостить к тебе как-нибудь побываю с удовольствием и радостью, но на постоянное житье — согласись, Поль, что Уфа...

— Не весьма магнитный пункт, хотя и не так далеко отстоит от горы Благодати. Соглашаюсь. Так — как ты? Давай условимся, как ликвидировать наш здешний московский быт. Приходится несколько наспех. Мне времени в Москве быть остается немного. Как ты думаешь быть с квартирой? До конца контракта еще полтора года. Между тем не думаешь же ты оставаться на ней? Она и для нас двоих была велика и немножко дорога, а для тебя одной — хороша разве только, чтобы репетировать Агарь, заблудившуюся в пустыне... А передать контракт не так легко, да еще и согласится ли домохозяин? Ведь ты знаешь этого нашего чудушку. Гарпагон ему был родитель, Фурия — мать, имя ему

Аварь, да еще при крещении батюшка его темечком о купель стукнул, и с того пошел он на всю жизнь самым упрямым дураком во всей Москве...

Менять квартиру мне очень не хотелось. Я к ней привыкла, ее любила. Подумала, посоветовалась с Дросидой. Она говорит:

— А на что менять? Если в самом деле решили идти замуж, то вот и готовая квартира без хлопот. Не в Галактионовой же берлоге жить станете. А раздумаете замуж идти, сохраните за собою комнату-другую, сколько вам требуется, а в остальные жильцов пустим... семью какую-нибудь — мужа с женой без ребят либо барышень солидных... Пречудесно оправдает себя квартира, еще и выгоду будете иметь...

— Да, — возражаю, — это так, но скука большая с жильцами возиться, да и не умею я...

— Барышня! А я-то на что же!

Так я и доложила брату, промолчав, конечно, о брачной возможности. Но он сам заговорил:

— Собственно говоря, Лили, теперь, когда мы расстанемся и отходишь ты от меня в одиночество, хорошо было бы тебе замуж выйти...

— Не за кого, Поль.

— Ну как не за кого? — И пошел считать.

А я на каждое имя либо головой трясу с пренебрежением, либо высмеиваю его остротами. А сама думаю: «Знал бы ты, так не сватал бы!»

И вдруг шальной задор: сем-ка я попробую пустить пробный шар... Говорю:

— Ты, Поль, всех моих поклонников пересчитал, а одного, самого серьезного забыл...

— Кого это?

— Шуплова Галактиона. Вот самый усердный претендент на мою руку и сердце!

И с неприятностью вижу, что у брата кисло переменилось лицо.

— Гм... Он в самом деле ухаживает за тобою?

— Ну, ухаживает — слишком много сказано... Смел бы он!.. (Вру и не краснею!) А что очень влюблен, вижу не я одна... Так вот, может быть, его мне осчастливить?

И хохочу.

Брат тоже усмехнулся.

— Видишь... самой смешно... Нет, Лили, ты этого парня пожалей, не кружи ему голову. Уверяю тебя: он достоин не насмешек, а жалости... Отличный малый, но, как в каком-то старинном романе я читал, «игралище судьбы»... Эта нелепая случайность его женитьбы себе не под пару... Отравленный человек!.. Он, знаешь, в обществе напоминает мне глубоководную рыбу, которую выбросило море на мель, и среди мелководных она никак не в состоянии приспособиться и должна погибнуть...

— Скажите, сколь поэтично вы, Павел Венедиктович, живописуете!

— Да... поэтично?.. Может быть... В нем, знаешь, есть что-то, располагающее к тому... Некое трагическое нутро... Пристало ему сие, конечно, как корове седло: трагик в комиках, комик в трагиках... Но ты его не обижай, пожалей. Стоит того. Жалок, право, жалок.

— А вдруг я именно с жалости-то возьму да и выйду за него?

Брат пожал плечами.

— Что же? Тогда мне останется только лечь в приличной случаю позе на пол и петь баритоном, как Буховецкий в «Фаусте»:

Маргарита!
Проклинаю!!
Ты умрешь пашкудново шмертью!
Я умираю, как храбрый седло!

Он, по обыкновению, так смешно передразнил, что я — и не хотела, расхохоталась. А что, действительно был у нас

в Москве в опере такой баритон Буховецкий — еврей самый местечковый. Голос дивный, а мозг куриный. Грамоте едва знал и всякому печатному верил. Попался ему, на беду, клавир «Фауста» с опечаткой — вместо «солдат» — «седло». Он зазубрил добросовестно да так и умирал лет двадцать Валентином, как «храбрый седло»!..

— Нет, серьезно предполагая, Поль?

— Не могу я предполагать серьезно того, что в шутку звучит бессмыслицей.

— Как будто уж все осмысленно в жизни и никогда не овладевает ею бессмыслица!

— Замечание философское, но по ассоциации идей наводит на воспоминания о Преображенской больнице, горячечной рубашке, профессоре Корсакове и прочих субъектах и объектах, призываемых на помощь против бессмыслицы, когда она овладевает жизнью...

«Так-с, — думаю, — слышал бы Галактион!»

А брат говорит:

— Надо порасспросить наших педагогов, не знают ли они каких-нибудь охотников на квартиру... А нет — объявим в «Русских ведомостях»...

— Это лучше, — одобряю. — И знаешь — как? «По случаю отъезда брата сестра, девица 27 лет, передает квартиру, 5 комнат, со всеми удобствами. Для холостых и вдовцов — с невестою».

Он сделал мне гримасу и возразил:

— Так тебе и напечатали! Там, душа моя, народ серьезный! Профессора!

XXXIII

Только что покончила с этим вопросом, новая необыкновенность: вызывает меня Галактион к себе по телефону — днем, чего никогда не бывало! Просит: «Немедленно!» — и в голосе

тревога. Спешу, с неудовольствием думая о том, как я буду пробираться в его берлогу при дневном свете и потом из нее выбираться. Но Галактион — умный! — в квартиру меня не допустил и, будто случайно встретились, перенял у телеграфа. Шепчет:

— Иди двором на Пречистенку, там у ворот карета ждет, садись в нее и поезжай...

— Куда?! Зачем?!

Мигает нетерпеливо: «Потом-де! Потом!..» Лицо перевернутое...

— У Арженникова, — шепчет, — остановись: я выйду и к тебе сяду... Иди!

Пошла. Ничего не понимаю. Удольфские тайны какие-то. Испугалась немножко: лицо-то у Галактиона было нехорошее — не стряслась ли какая большая беда?

Вышла на Пречистенку: стоит карета — лукошко из похоронной процессии, запряжена двумя одрами с живодерни, кучер на козлах — грим! Прямо из факельщиков надо быть взять... Черт знает что такое! На меня этот тип — ноль внимания...

Спрашиваю:

— Меня ждете?

— Ась?

— Для меня карета?

Хрипит с козел:

— Коли сядете, то для вас.

Села. Поехали. Куда, не знаю. Думаю: «Если кто знакомый увидит меня в этой постыдной колымаге, отговорюсь, будто ехала с похорон: у нашего домового теща померла...»

Через две минуты — стой! Дернула за шнурок: магазин Арженникова. Помните, может быть? Колониальный был, на бойком месте, маленький особнячок, фасадом к Пречистенским воротам, насупротив храма Спасителя, между бульваром и церковью... Теперь давно уже нет его, а тогда был хорошим из средних и шибко торговал...

Чуть стали, Шуплов выскочил из магазина, прыг в карету, задернул занавески на окнах — кати дальше! Впрочем, «кати» — это сильно сказано, потому что плелись мы чуть не шагом, бабы с кислым молоком скорее ездят... Я сержусь:

— Что за глупые романы? Объяснись, пожалуйста, Галактион.

— Нет, — говорит, — какие же романы? Карету я взял единственно затем, что должен иметь с тобой весьма важный и продолжительный разговор, — ни у тебя, ни у меня неудобно, в гостинице где-нибудь того хуже, так вот я и надумал: поездим этак часок-другой и переговорим...

— В этаком-то лукошке? Да мы задохнемся: тут покойником пахнет...

— Уж ты скажешь, Лили! Что же делать? Взял, что нашел на бирже, лучше не было... Слушай-ка дело, зачем звал...

Дело было такое, что, оказывается, надо моему любезному дружку Галактиону Артемьевичу либо рисковать конечным разорением, либо на сей же неделе — завтра-послезавтра, — оставив все свои московские дела, ехать — ближний свет! — в Восточную Сибирь, в город Кузнецк...

— Шесть, — говорит, — лет тому назад случилось мне оказать тамошнему золотопромышленнику Иваницкому некоторую значительную услугу. В чем она заключалась, долго объяснять, да ты не поймешь: деловая. Словом, спас я его одним своевременным донесением больших денег. А он мне за это в благодарность предложил на выбор: «Хочешь участок на приисках, хочешь — пай у меня в деле». Я, понимаешь, Лидия была тогда еще жива, в Алтайские горы забираться ни ей, ни мне было не в охоту. Люди опытные растолковали мне, что участок — это лотерея: попадешь на жилу — миллионер, а нет — так, крохоборец, а может быть, и вовсе нуль. Дела золотопромышленного я не смыслю, учиться ему надо с азов... Ну, подумал-подумал да и выбрал хоть малое, да верное и без труда: взял пай. И едва ли прогадал, знаешь.

Потому что дивиденд с этого пая из года в год аккуратнейше получаю великолепный и на том построен весь оборот моих здешних дел, а они, как тебе известно, идут тоже ничего себе, слава Тебе, Господи!.. Однако вчера получаю я такую неприятность жизни, что приходит ко мне один благоприятель из сибиряков, которому мои отношения с Иваницким известны, и с места меня, понимаешь, спрашивает:

— А что, Галактион Артемьевич, у вас с Иваницким оформлено?

— Нет, — говорю, — на словах. Он тогда не предложил, а я почел неприличным требовать.

— Да, — говорит, — знаю: он это любит, чтобы не требовали и полагались на его слово, и это даже вернее всякой бумаги. Потому что по бумаге-то он, осердившись однажды, способен иной раз вместо платежа процесс начать и, прав не прав, сто тысяч истратить, лишь бы требуемых ста рублей не заплатить, — а свое польское «слово гонору» держит несломно... Однако дошли до меня такие верные вести, что сейчас он шибко болен и лежит в смертном страхе, — то, не дай Бог, однако, помрет: тогда всем этаким его операциям на слово гонору при наследниках будет грош цена. А как у него не обобраться дел с казною, то еще вмешается государственный контроль, и тогда — толкуйте вы о своей словесной дарственной: если бы наследники и пожелали удовлетворить вас, однако не могут... Разве что из собственных сумм — так это, знаете, кому же в охоту?..

Замолчал Галактион, хмурится.

— Ну и что же? — спрашиваю.

— То, Лили, что надо мне как можно скорее скакать к Иваницкому... Не знаю даже, где он там теперь — в Красноярске ли, у себя ли на прииске, в Томске ли... Устраивать это дело, покуда старик жив...

— А надеешься устроить?

— Ежели лично окажусь на месте, не сомневаюсь в том. Старик меня любит. Опять же, сказывал сибиряк, он и сам, чуя, что век его не долог, спохватился приводить в порядок свои дела. Заведует этим у него… — Тут Галактион назвал какую-то польскую фамилию — извините, не припомню: пан Пшепендовский или Голембиовский, что-то в таком роде… — И пан этот — тоже-де очень порядочный человек и не захочет обидеть меня понапрасну. Ну, конечно, нужно личное мое присутствие. Письмами, телеграммами тут ничего не выиграешь: дело деликатное…

— Так что же? — говорю. — Надо ехать, то и поезжай. Только как же ты оставишь свои московские-то дела?

Он смотрит хмуро, медленно, с расстановкой возражает:

— О делах моих ты не беспокойся: их есть на кого оставить. А вот как я тебя оставлю, это главный вопрос.

— По-моему, нисколько не мудреный. Собирались же мы расстаться в июле, теперь приходится расстаться в июне — только и всего.

— Да! — с горечью повторил он за мною. — Только и всего!.. Это тебе — «только и всего...». А мне…

— Послушай, Галя, ведь мы же не дети, чтобы впадать в драму из-за месяца разницы…

— Из-за месяца разницы! — вскричал он. — Да разве в месяце тут разница, Лили? Мы сговорились так, что расстанемся с тобою после венца, когда ты будешь моею законною супругою, и, значит, ребенок, которого ты носишь, родится моим законным сыном или дочерью, а теперь выходит, что я должен оставить тебя невенчанною... А когда я вернусь — посчитай-ка! — самым большим спехом, и то, дай Бог, к сентябрю…

Я пожала плечами, возразила:

— Так как приращение счастливого семейства ожидается не раньше конца сентября, то, значит, к сроку ты успеешь. А для законности будущего произведения не все ли равно,

обвенчаюсь ли я с тобою на седьмом месяце беременности или на девятом?

— А случайности, Лили, а случайности? — настаивал он. — Ведь в Кузнецк ехать — не то что в Сокольники, как сейчас тащит нас эта колымага. Железная дорога — только до Самары, и там — прости-прощай: перекладная, кое-где пароход…

— Ах, Боже мой! Если тебя ожидают приключения из Майн Рида, то кто же тебя заставляет? Не езди!

— Майнридовских приключений я не ожидаю, — угрюмо возразил Галактион, — но, когда человеку предстоит сделать шесть тысяч верст не по рельсам, а, ежели позволишь так выразиться, в зависимости от стихии, то как тебе угодно, а тут есть, пред чем задуматься, даже вовсе не будучи трусом, каким, я полагаю, ты меня и не почитаешь...

— Боже мой! Галя! Да как же купцы-то сибирские ездят каждый год на Нижегородскую ярмарку?

— Они не оставляют дома невест в интересном положении и не везут с собою и страха, что не успеют возвратиться вовремя к венцу...

Я опять пожала плечами, опять повторила:

— Не езди!

— Да и не поехал бы, — еще угрюмее возразил он, — ни за что не поехал бы, даже рискуя вовсе потерять этот пай... Что я? Из-за денег, что ли, трепещусь? Да пропади он! Если из чего бьюсь, так только ради того, чтобы тебе, Лиличка, когда ты будешь за мною, жить в довольстве и спокойствии, а дал бы Бог, и в богатстве... И вот на этом-то пути я немножко зарвался и споткнулся...

— То есть? — насторожилась я.

— Видишь ли, я так привык считать этот дивиденд с пая Иваницкого своим неотъемлемым доходом, что нынешний год рискнул закредитоваться под него вперед. Ну, и, понимаешь, если он теперь лопнет, то... нам очень трудно придется Лили...

— Нам? — удивилась я. — Нам? Я-то здесь при чем же?

Галактион не то усмехнулся, не то сморщился.

— Ну да, ты права... Я глупо сказал... Придется *мне* трудно... Твои три тысячи я, во всяком случае, спас бы для тебя и, может быть, еще что-нибудь...

— Дело совсем не в моих тысячах, — с досадою перебила я. — Совсем я не такая интересанка, чтобы требовать с тебя мои три тысячи после того, как ты на них заработал для меня — я не считала, сколько, — но, может быть, и вдвое больше... Но, одним словом, ты даешь мне понять, что без этой поездки ты будешь?..

— Банкрот не банкрот, но боюсь, что должен буду потерять все, что нажил своими операциями за шесть лет, и возвратиться обратно к их началу, то есть, Лили, скажу тебе откровенным словом: к ничтожеству…

Вот так сюрприз!

Колымага, нас влачащая, скрипит и дребезжит, трясясь по скверной московской мостовой, подпрыгиваем на подушках. Приподняла уголок занавески, глянула в окно: едем мимо Красного пруда... теперь уже и его нету: засыпали и на его месте — бульвар... Значит, миновали Николаевский вокзал и ползем к Сокольницкой заставе... Обдумываю, что я могу возлюбленному моему ответить на его признания. А он сам забегает вперед и как бы отвечает:

— Вот и посуди, Лили, какое ужасное создается положение. Уехать, оставив тебя так, вся душа моя возмущается от мысли. А не уехать — значит, оставить свое право не закрепленным, потерять ренту, коммерческий кредит, остаться нищим… Имею ли я право, будучи нищим, жениться на тебе и брать на себя ответственность — содержать семью?

— Не имеешь, — очень спокойно ответила ему. — И хотя об этом немножко поздно рассуждать в наших обстоятельствах, но я, со своей стороны, должна тебе объяснить откровенно, что брак с расчетом на рай с милым в шалаше в мои

планы не входит... Пока мы живем в свободном союзе — ты сам по себе, я сама по себе, — твое материальное положение меня не касается. То есть я буду рада за тебя, если твои дела пойдут хорошо, буду сожалеть, если они будут плохи, но это не может влиять на наши отношения. Но, раз строится семья, это совсем другое дело. Тут, помимо всех нежных чувств и любовных утех, я имею право и обязанность прежде всего спросить: «Супруг мой, а на какие средства вы намерены кормить меня и моего младенца?»

— Ты права, Лили, ты совершенно права, — поспешно забормотал он, схватив обе мои руки, тряся их, пожимая и целуя, — мои мысли говоришь... дословно мои мысли... С единственною разницею, что я и теперь... хотя без брака... хотел бы, чтобы вся материальная ответственность за твое благополучие была на мне... Но ты строптива и упрямишься...

— Не упрямлюсь, а не хочу, чтобы было содержанство.

— Ну хорошо, хорошо... не буду... не надо таких слов... Итак, Лили... значит, ехать?

— Непременно ехать.

Он долго молчал. Миновали Сокольницкую заставу, въехали в рощу — все молчал. Мне надоело задыхаться в подвижной клетке.

— Выйдем. На Алексеевской просеке в эту пору никого не встретим. А если и встретим, то — не велика беда: случайно сошлись на прогулки ins Grüne...* никому не запретно!

Вышли. День чудесный. Чуть к вечеру клонит. Сосны сокольницкие — таких дивных, кажется, других на свете нет! — стоят прямые-прямые, как свечи, которые, знаете, в церквах ослопными называются, шапки на них мохнатые, зеленая хвоя синью пошла... Красота!.. Разогрело их с утра-то, распарило хвою, воздух ее дыханием просмолило — густо

* На природе... (*нем.*)

так в рот и ноздри вплывает, точно горьконьким пряничком кормит...

— Боюсь, Лили, — говорит Галактион, — боюсь, что ты навстречу мне опять скажешь какое-нибудь жесткое слово из моих не любимых... Но разве это время... ну, поездка, два месяца до родов... разве ты в состоянии обойтись своими средствами? Если бы мы успели пожениться, это была бы моя обязанность — оплатить... Почему же теперь ты лишаешь меня права и... и великого удовольствия?

Я подумала. Вспомнила слова Дросиды: «Кто виноват, тот пусть и платит». Еще подумала…

— Да, — говорю, — в этом, пожалуй, ты прав... Эту помощь я могу принять от тебя...

Он даже затрясся весь от радости.

— Но позволь, — продолжаю, — ты меня экзаменуешь, достанет ли средств, а сам-то как? Ведь только что признался, что ты — на волосок от разорения?

— Если слетаю в Сибирь, то волосок этот станет толстый — вроде каната... А пока что я в средствах не стеснен... Ты подумай да подсчитай, сколько тебе потребуется на прожитье...

И тут вдруг сорвись у меня с языка:

— Да мы с Дросидой уже считали: меньше трехсот в месяц никак не обойтись.

XXXIV

Галактион на ходу так и остановился, будто вкопан.

— Как с Дросидой? Почему с Дросидой? Откуда — с Дросидой?

Прикусила себе язык, да — поздно. А он смотрит.

— Что значит? Разве Дросиде известно?

Нечего делать! Пришлось сознаться:

— Да, известно. Не хотела говорить тебе, а известно.

— И давно?

Рассказала ему. Слушал, хмурый, головою качал.

— Не ожидал я, Лили, что между нами в круге наших отношений могут быть тайны!

— Ах! — шучу. — Как это важно и трагично! Тайны! Подумаешь, великое преступление я скрыла от тебя! Да и не скрывала, собственно говоря: сколько раз собиралась сказать, но — к слову не приходилось. А — что Дросиде известно, то теперь, когда дело наше идет к брачной развязке, я даже рада.

— Помнится, было время, когда ты, наоборот, боялась больше всего именно, как бы Дросида не узнала...

— Другие были обстоятельства... Да, может быть, и тогда — напрасно. От того, что теперь она знает, я не испытываю никакого неудобства. Напротив: я с каждым днем все больше убеждаюсь, что действительно она очень мне предана. А ты, я вижу, все-таки недоволен? Почему?

— Недоволен-то я тем, что открыл в тебе неожиданную для меня способность к скрытности...

— Ну да! Еще лгуньей назови!

— Нет, зачем же? Но... Однако скажи: это ведь она тебя учила — скрыть от меня?

— Д-да... пожалуй... она советовала...

Галактион кивнул головой, как на давно знакомое.

— Так-так... Узнаю тетеньку... А сказать тебе: зачем ей понадобился этот секрет?

— Н-ну?

— Затем, чтобы я не мешал ей хорошенько забрать тебя в руки... Что? Уже много она успела в этом?

— Ничего подобного, — обиделась я. — Она, может быть, стала несколько фамильярнее, чем раньше, но, безусловно, услужлива и послушна... Я не знаю, что тебе кажется, почему ты вдруг так против нее...

— Я не против, — задумчиво возразил он, глядя в даль просеки, — я тетку Дросиду люблю... Мне никак нельзя быть

против нее, потому что и она меня любит… Может быть, только меня одного настояще и любит на всем свете... Но дело-то в том, что... ей-Богу, не знаю, как тебе это лучше сказать, чтобы ты не приняла за глупость... Ты вот говоришь: умная, практичная… Да-да… А тебе никогда не казалось, что она — того… немножко помешана в уме?

— Бог знает, что ты говоришь! — изумилась, почти возмутилась я. — Никогда! Ни малейшего признака!

— Да... признаков, пожалуй, и нет… Может быть, я и ошибаюсь… Но, если бы ты знала... Право, Лили, она иной раз говорит такие вещи и… и, может быть, способна их делать… что… ну, знаешь ли, можно подумать, не сидит ли в ней черт...

— Послушай, — перебила я, удивленная чрезвычайно, — я видела Дросиду в то объяснение наше страшно разозленною: на нее действительно неприятно было смотреть — до того она вся налилась злостью… Но чтобы она в этом состоянии производила впечатление демоническое…

— Ах, — теперь перебил меня Галактион, — откуда ей быть демоническою? Демоническими бывают господа… Вот, барон М., говорят, демонический мужчина, твоя приятельница Элла Левенстьерн — демоническая женщина...

— Ну уж! — рассмеялась я.

— Разве нет? — простодушно удивился он. — Я ведь по слухом... не знаю... А Дросида, как ты ее ни определяй, все-таки только горничная. С горничной довольно, если она — порченая, беса в себе имеет...

— Никогда никакой бесноватости я в ней не замечала. Она, по-моему, преспокойная, хладнокровная, уравновешенная женщина. Даже не истеричка...

Мы дошли до конца просеки. Взглянули на пыльные облака шоссе под экипажами, катящимися к Богородскому, и повернули обратно. Вечерело уже заметно.

— Ты не примечаешь беса в Дросиде, — говорил Галактион, — потому что не там его ищешь. Злоба — что!

Зла-то она зла, да не это в ней главное... Конечно, этой, например, сцены, что, ты мне рассказала, между вами произошла, Дросида тебе никогда не простит, и когда-нибудь она тебе еще откликнется какою-нибудь большою гадостью. Но коренной бес легиона, в ней сидящего, — не злец, а пакостник, глумливый ненавистник. Так, вообще среди людей она — девка ничего себе, много муштры и дисциплины приняла, умеет быть приличною и приятною, — прислуга хоть в самый лучший и строжайший дом. Но душа ее, когда обнажается, грязная, и добро бы, только сама грязна была, а то страсть в ней неистовая, неутолимая — грязнить и другие души. И вот когда Дросидушка попадает на эту зарубку, тут-то она откалывает штучки, по которым судя, впадаешь в сомнение, не помешана ли она да не вселился ли в нее черт...

Я, слушая, только брови поднимала да плечами пожимала.

— Ничего подобного не замечала я никогда за Дросидою! Мне просто дико слышать... Ничего подобного!..

— Однако вот убедила же она тебя завести тайну от меня...

— Э! Пристал ты с этой тайной! Велика важность, в самом деле!

— Может быть, не велика, но черт душу лапой тронул, на душе осталось пятнышко.

— Благодарю за любезность, но и пятнышка никакого на своей душе не ощущаю. Много шума из пустяков. А вот ты, Галя, меня удивляешь. Говоришь, что любишь Дросиду и она тебя любит, а рассказываешь про нее всякие неподобные страсти...

— Да, я ее люблю, но тебя люблю гораздо больше, а потому если встретятся ваши интересы, то я, конечно, пожертвую не ей тобою, но ею тебе. А если хочешь знать характер моей любви к ней, то — вот: из любви к ней я употребляю, когда и где успеваю, свое влияние на нее, чтобы ее бесовский характер не прорывался в пакости. С четырнадцати лет моих я ее на узду взял и держу, чтобы если уж не в силах она

преодолеть своего беса, то избывала бы его где хочет, на стороне, но не при моих глазах и с моего ведома. Когда она нацелилась определиться к вам в дом, я ей строго-настрого приказал: «Тетка Дросида! Здесь — ни-ни-ни! Назмеишь чего, то злейшим врагом тебе стану!..» Н-ну... ничего, подействовало.... Жила, как будто не закидывалась... Я почему тогда, помнишь, вышел из себя по случаю гармониста, который Павлу Венедиктовичу не уважил? Добродетели ее мне, что ли, жаль? Бесчинство, конечно, но за бесчинство обругал, да и квиты. Нет, я тут учуял неповиновение. Сказано было змее: свернись кольцом, лежи под колодой, не шипи, жалом не шевели. Нет, не вытерпела, подняла головку, попробовала переползти через запрет. Я тогда диву дался, как это она, с чего дерзнула. Теперь понимаю: наш секрет, как нож за спиной, держала... Ох, уж как это мне не нравится, что она к тебе тихомолком подползла и тебя поставила предо мною в скрытницах! Вся эта сцена ваша, ты мне поверь, это только так, проба змеиного жала. Ну да, погоди, я сегодня увижусь с нею, поговорю на прощанье по-своему...

— Боже тебя сохрани! — испугалась я. — Она поймет так, будто я жаловалась тебе, и тогда...

— Не беспокойся. Останешься в стороне. Сам откроюсь, будто по поводу отъезда, и ее наведу на полное объяснение, что знает. Поставлю вас в лучшие отношения, чем были... Но, Лили, я надеюсь, ты не обещала взять ее с собою туда... в отлучку, тебе предстоящую?..

— Нет, да и она не просилась... У нас были совсем другие планы...

Рассказала, как рассчитываем поступить с квартирой. Одобрил.

— Только, — заметил, — обветшала квартирка немножко, особливо для молодоженов, — ремонта требует.

— Так вот пусть Дросида и займется этим, чтобы была готова к осени...

Галактион ухмыльнулся.

— Влетит нам ремонт в копеечку, если Дросида будет заведовать, погреет она тут свои ручки... Да уж Бог с ней, ничего, пусть лучше здесь, вокруг ремонта, чем там, вокруг тебя…

— Когда ты вернешься из Сибири, — продолжала я, — ты можешь въехать прямо на нашу квартиру…

Он поблагодарил меня ласковыми глазами.

— Вот спасибо! Буду поджидать тебя в твоих же хоромах. Но... может быть, ты это только так — для любезности, а на самом деле тебе неприятно? Действительно — ты не против, Лили?

— Что же я могу иметь против, если вообще-то удерживаем и отделываем квартиру на брачный случай? Наоборот, радуюсь, что ты наконец выберешься из своей вонючей лисьей норы, которую я ненавижу…

Он возразил:

— Ненавидеть свою лисью нору я не могу, потому что в ней нашел самое большое счастье, на какое мог надеяться в жизни. Но, конечно, что и говорить, нора конфузная и подлежит ликвидации. Послезавтра ей конец. Я — на вокзал и на поезд, а в нору въедет мой друг-приятель Миша Фоколев. Я тебе о нем говорил. Это мой задушевный: как говорится, одна душа в двух телах. Все мои дела и отношения ему известны, и нет у меня от него никаких секретов, за исключением нашей с тобой любви. И вот — на этот самый счет — хотел я просить тебя: не разрешишь ли ты мне перед отъездом, посвятить Мишу в нашу тайну и познакомить вас?

Вот тебе раз! Прятались-прятались от самых близких и верных людей — брату нельзя, Дросиде нельзя, — вдруг какой-то неведомый Миша?!

Вопрос и недоумение:

— А зачем бы это понадобилось?

— Затем, что в мое отсутствие он будет моим заместителем.

Я расхохоталась:

— Так не у меня же, надеюсь?

Галактион тоже улыбнулся, но довольно кисло.

— Ну да, это я неловко, глупо сказал... А ты уж рада подхватить на зубок!.. Кредитные операции свои я ему поручаю. В том числе и по твоим трем тысячам.

— Он кто же такой, твой Миша? Финансист?

— Нет, откуда же финансист? Где ему! Такой же служащий, как я... малая сошка!.. Ихняя фирма — бельевая...

И называет мне большой магазин на Петровке. А в нем, знаю, как раз Элла Левенстьерн — постоянная заказчица, и ее толстуха домоправительница Матрена Матвеевна там свой человек. А уж где Матрена Матвеевна освоилась и завела печки-лавочки, можете быть спокойны: вся подноготная будет ей известна — о своих, о чужих, о знакомых, об извозчике, который у подъезда, о лошади извозчика, все повыспросит и будет знать. Баба неумолимого любопытства и с нюхом тоньше самого тонкого сыщика. А Элла хотя изображает из себя большую барыню и будто презирает сплетни, однако самое это ее любимое занятие — после обеда повалиться одетою на постель, рядом уложить Матрену Матвеевну, и та ворчит ей своим басом — бу-бу-бу! — все новости и слухи, какие ей в уши наплыли из городской ли молвы, из кухонной ли болтовни. А как я знаю, что обе давно уже заинтригованы, с чего бы это я поправилась в обстоятельствах и кто бы это меня взял на содержание, то — благодарю покорно за этакого бельевого Мишу! Матрене Матвеевне только ниточку дай, а клубок уж она размотает.

— Нет, — объясняю Галактиону, — подобное знакомство сделать — все равно что послать Элле Левенстьерн пригласительный билет на свадьбу... Ни за что!

Он стал было доказывать, что я ошибаюсь: Миша не болтун, умный, деловой мальчик и верный друг...

— Ну, и хвала Господу, что наградил его столькими хорошими качествами, но с меня довольно уже и того, что я через наш секрет попала в зависимость от Дросиды, за которую ты же меня сейчас журил... даже напугал!.. Прибавлять новую зависимость от Миши твоего мне нисколько не улыбается, будь он хоть ангел во плоти, хоть из сахара сделан... Да и почему ты настаиваешь? Разве так необходим?

— Совершенной необходимости нет, — отвечает, морща брови в раздумье, — однако если в мое отсутствие тебе понадобятся деньги, то касса-то у него, у Миши...

— На что мне может понадобиться больше, если ты дашь мне, сколько мы с Дросидой рассчитали?

— Вы с Дросидой считали плохо, скупо. Я выпишу тебе чек на две тысячи. До сентября в обыкновенных условиях, если ничего особенного не произойдет, ты обойдешься...

— Еще бы не обойтись! — воскликнула я, сконфуженная. — По-моему, слишком много... Ты шикаришь, Галя, чересчур широко шагаешь!

— Это я оставляю тебе *мои*, — подчеркнул он. — Твоих не трогаю. Они останутся в обороте у Миши Фоколева. Если бы тебе моих не хватило...

— Да как может не хватить? — возмутилась, почти обиделась я. — Ты решительно считаешь меня за какую-то транжирку — дырявый карман. Ведь я же еду, кажется, не по балам прыгать, а — на родильный срок — в келейное заточение. Ну, пансион, ну, акушерка, ну, может быть, врач... Для приданого будущему у меня полон комод материала: и перкаль, и батист, и пике, а главное, полотняного старья, Дросида говорит, не то что на одного младенца, а чуть не на целый воспитательный дом...

— А ты бы не позволяла ей нагличать-то! — сердито проворчал Галактион — и с внезапною гневною краскою в лице.

— А что?! — искренно не поняла, озадачилась я.

— То: в твоих условиях, чтобы горничная своей барышне намекала о воспитательном доме, — разве это не наглость? Этакая же змея! А ты еще повторяешь!

— Признаюсь, совершенно не заметила...

— Очень жаль, что не заметила. Нет, уж ты, пожалуйста, замечай. А то однажды не заметишь и того, как она тебя заставит говорить ее словами и думать ее мыслями.

— Ну, Галактион, уж ты слишком на нее... В конце концов, простая обмолвка, я уверена, без всякого дурного намерения...

— Не бывает у Дросиды обмолвок без намерения!

— Не всякое же лыко в строку?!

— С нею необходимо — всякое. И, если ты хочешь, чтобы я за тебя спокоен был, должна мне обещать, что не позволишь ей забываться против тебя ни словечком, ни ухмылкой, ни взглядом — ни вот столечко!.. — щелкнул он ногтем. — Ей дай волю! Как же! Только дай ей волю!

Так рассердился, что минуты две шли в молчании, и я уж нарочно не начинала.

— Так ты говоришь, Лили, — заговорил он, — для маленького все готово?

— Только пошить... Там на месте возьму мастерицу или двух поденно... Это маленький расход...

— Там на месте... там на месте... — раздумчиво ворчал он. — Ты окончательно решилась на Одессу и эту тамошнюю мадам?

— Да, мне ее хвалят — что от добра добра не ищут. А Одесса удобна тем, что там я уже, уверена, не имею ни души знакомой...

— Откуда ты прознала ее, эту мадам? — прервал он меня, угрюмо глядя в землю.

Я подумала про себя: «Сказать тебе, что рекомендацией и хлопотами Дросиды, то ты опять взбеленишься и — стен

нет, так на сосну полезешь. Ишь, как курьезно, оказывается, вы любите-то друг дружку! Спаси, Господи, и помилуй всякого от этакой любви!»

И солгала, будто, когда ездила в Тулу проверяться в последний раз, получила адрес от тамошней акушерки с ручательством, что очень хороший приют, искусный уход и строгая тайна. Дорого, но мило. Удовлетворился. Но денежным расчетом продолжает волноваться:

— Вдруг, не дай Бог, болезнь, Лили? Или деньги потеряешь? Или обокрадут тебя? Багаж пропадет в дороге?

— Так вот уж непременно все беды должны на меня посыпаться?!

— Береженого Бог бережет, Лили. Да, наконец, мимо всяких бед, просто, может быть, увидишь ты и какую-нибудь вещь хорошую, захочешь купить, ан купила-то и нету...

— А говорят: на хотенье есть терпенье. А если терпенья не хватит, телеграфирую тебе. Ведь адрес твой иметь я буду?

— А когда я получу твою телеграмму по этому адресу? Тут, знаешь, лотерея. Еду в Кузнецк, а может быть, в Красноярск, а может, в Томск, а может быть, в горы Алтайские и степи Абаканские на прииски... Какие там почты и телеграфы! Лови за фалдочки ветер в поле... Нет уж, в случае чего, пиши или телеграфируй не мне, а сюда, в нашу старую лисью нору, Михаилу Фоколеву...

— Человеку, которого я совершенно не знаю? Дико, Галя!

— Потому и хочу, чтобы вы познакомились.

— А я тебе объяснила, почему не хочу знакомиться.

XXXV

Галактион снял шляпу и шел, обмахивая ею разгоряченное и разогорченное лицо с резкою красною полосою поперек лба. Думал, кусая губы, морща лоб, сводя и разводя брови.

— Хорошо, — сказал наконец. — Не нравится мне это. Очень хотелось бы мне оставить тебя на этого человека; доверяю Мише малым меньше, чем самому себе. Но раз упорствуешь, не хочешь, будь по-твоему. Поставим на чисто деловую ногу. Получишь от Фоколева официальное письмо, как от моего компаньона-заместителя, что по вложенному тобою в мои предприятия капиталу располагаешь ты у нас таким-то и таким-то кредитом, в размерах которого он ждет твоих ордеров к выплате по первому твоему востребованию… Это-то, кажется, уж никак не может тебя компроментировать?.. Что ты морщишься?

— Когда я выучу тебя произносить «компрометировать» без этого дурацкого «н»?

Он печально улыбнулся и отмахнулся от меня шляпой.

— Господи! Я ей дело говорю, а она… Уж теперь поздно учить, Лили: послезавтра качу в Сибирь, к чалдонам, — там и с «н» буду хорош... «Однако» да «ревит»: что народ, что язык — медвежий... А что с эном, что без эна, ты на эту комбинацию соглашайся. Сама же говорила, что иметь поверенного по делам никакой женщине не запретно… Идет, что ли? Ладно так?

— Пожалуй… Хотя, право, Галя, лишнее все это... Не понадобится...

— Тем лучше, Лили, тем лучше. Но по крайней мере я, летая за тридевять земель в тридесятом царстве, буду спокоен за тебя хоть в том-то отношении, что ты не стеснена в средствах и ни в чем не терпишь нужды. Если бы не дорога да не платежи пред дорогой, я оставил бы тебе больше. Но боюсь: надо, отъезжая, малость почистить свой кредит и утолстить волосок, на котором я вишу… А теперь вот еще что, Лили: Дросиде — ни слова! Ни о Михаиле Фоколеве, ни о том, что я тебе оставил две тысячи.

— Этого я не сумею скрыть, Галя. Она все время убеждала меня, что я должна спросить у тебя на расходы, и не поверит, будто ты отказал.

— Хорошо. Вы рассчитывали месяц по триста, значит, с сентябрем на тысячу двести. Скажи ей, что я дал тысячу — больше не осилил. Я сам ей подтвержу. Другую тысячу спрячь хорошенько или, еще того лучше, переведи на свое имя в Одессу… По крайней мере, — пробормотал он сквозь зубы, — я буду уверен, что хоть эта-то вторая тысяча целиком пойдет на тебя, а не ощиплет с нее пух и перья Дросида в свой сундук! Пожалуйста, Лили, вот и в этом тоже следи за ней в оба глаза, не позволяй себя обирать...

— Но само собою разумеется, Галя! С какой же стати? Дурочка я, что ли?

— Ты не дурочка, да она-то — клещ! — резко отрубил он.

И без перерыва озадачил меня снова быстрым вопросом:

— Ты как меня понимаешь, Лили? Какой я, по-твоему, человек? То есть, я разумею, вот в этом отношении... по денежной части?

— То есть... я не совсем понимаю, что именно...

— Ну как я тебе кажусь: сквалыга или не считай деньга скаред или открытая мошна, скупец или расточитель?

— Мне кажется... ни то, ни другое... Ты странно живешь... Я не раз удивлялась…

— Ага! Ну, так вот, в этой удивительной моей странности, как ты думаешь, на что я больше способен — оказать ближнему своему помощь и великодушие или, напротив, прицепиться к нему клещом и кровь из него сосать?

Совсем меня смутил. А он настаивает:

— Ты не стесняйся, режь правду-матку, я не обижусь, что ни скажешь.

— Откровенно и скажу, Галя: не знаю, что сказать. Это, что ты спрашиваешь, касается, вероятно, деловой стороны твоей жизни, а она от меня закрыта, и, признаюсь, я не очень любопытствую, чтобы ты мне ее открывал... А так, в общем, сколько я тебя успела узнать, какой же ты сквалыга?.. В отношении меня ты был всегда очень мил и даже вот толь-

ко что, несколько минут тому назад, явил себя очень щедрым... А что ты способен на великодушие, ты доказал своим отношением к барону М.

Галактион сухо усмехнулся.

— В отношении тебя, в отношении барона... — пробормотал он, глядя в донышко своей шляпы, словно там не фабричное клеймо видел, а наши портреты. — Это, Лили, особ статья. Будь у меня капиталы Иваницкого либо княгини Латвиной, то я бы и тебя, и барона, и Павла Венедиктовича, и еще человек с десяток, может быть, и другой в золото одел бы, как иные богачи одевают иконы в церквах. Потому что обязан вам многим добром, а на добро ко мне имею сердце отзывчивое и сам умею тогда добра хотеть... Но к прочему роду человеческому... Не обманываю себя, Лили, и тебя обмануть не хочу... Тоже клещ я натурою... Схожи мы с Дросидою, два сапога пара... Клещевая порода, клещевая семейка... Только и умеем, что питаться чужою кровью... Ты что так смотришь на меня? Не веришь?

— Не верю. Романы, Галя, романы! Напускаешь на себя — вроде того, как в Петербург неизвестно зачем надо было ехать под чужим именем... Где же ты питаешься чужою кровью — чьею, — когда ты в работе по целым дням?

— Работа работе рознь, Лили...

— Но ты же говорил мне однажды, что в твоих операциях нет ничего непозволительного и противозаконного...

— И повторить могу по чистой совести... Только... Сам закон-то, ты думаешь, не клещ?.. О-го!.. Еще и какой! Всем клещам клещ!.. А позволительность — ведь это не вообще, а — глядя по человеку... Мне позволительно, потому что я себе позволяю и должен позволять, иначе нищий буду, а Павлу Венедиктовичу либо барону не позволительно, потому что они себе не позволят, пожалуй, хотя бы и нищими остались... Ну да это — так... философия!.. В сторону!.. Д-да...

Надел шляпу, крепко примял ее к бровям, глядит в сторону из-под полей.

— Работа работе рознь, Лили, но и клещ клещу тоже рознь. Иные — всей природой своей клещи: жесткая шкура, как броня непроницаемая, да неутолимая кровососная жажда — вот и все существо. Это, должно быть, счастливые клещи. Потому — что ему? Дополз на ощупь до мягкого места, все равно, до чьего и какого, впился и сосет, покуда не отвалится от полной сытости, став десять раз поперек себя толще, либо не сдохнет, потому что его сзаду помажут деревянным маслом — дыхание ему прекратят. Потому что выдирать впившегося крепко клеща — не ему, а тебе хуже: головка в мякоти останется, воспаление прикинется, может даже серьезно заболеть человек… Ну а есть клещи, которым, кроме броневой шкуры и кровососной жажды, вложено в существо природою что-то вроде кусочка сознания… совести, что ли... вообще, хоть ученые и отрицают, души… Порченые, значит, клещи, нет в них настоящей клещевой цельности… Наша семья, Шупловы, вот такая: кто на половину, кто на три четверти, кто на все девять десятых — клещ, а на остальной кусочек все-таки немножко как будто и человек...

Слушаю, только головою качаю.

— Эка тебя самообличение-то разбирает! Ах и русский же ты человек, Галя! Любишь покопаться в себе...

— Нет, что же «самообличение»? Я тут не все беру на себя. Во-первых, я не совсем чистой шупловской породы: замешалась барская кровь... А во-вторых, я хотя и в нелегком детстве вырос, но милостивы были ко мне боги ли, судьба ли — называй, как хочешь, — я предпочитаю Богом звать... Ставил Он на пути моем светлых ангелов-хранителей: Лидию-покойницу, Вячеслава, брата ее, с которого дружбы наша близость началась... И художник тут этот, который Лидину миниатюрку делал, и барон М. — всех я почитаю в том ангельском числе… Ну, они с меня пообскребли маленько кле-

щевую-то броню, дали душе простор расшириться... Очеловечил... К лучшему для себя или худшему, не знаю... Человек я, по чистому, правдивому о себе суждению, не полный, с клещевинкой, очень даже с клещевинкой. А клещом настоящим, в полной мере, быть тоже уже не могу. Так — ни в сех, ни в тех, середка на половинке. Людям — смотреть свысока, клещам — снизу... со злобою, что уже не ихний...

Шел, жевал какую-то веточку, отплевывал листки.

— Вот однажды увидишь ты мою мамашу, Пелагею Семеновну, честную инокиню Пиаму... Тип!.. Незадолго перед тем, как нам с тобою, Лили, спознаться, она меня мало-мало не убедила в монахи пойти, и я уже очень к тому склонялся...

— Ты?! — изумилась я. — Ты монах?! Вот уж чего не ожидала!

Галактион молча кивнул головой, как бы без слов сказал: «Да, вот поди же ты! Чего не бывает на свете!»

И продолжал:

— Большой любви между мною и моей мамашей нету, но она очень умна, а ко мне имеет особое понимание. Сама она в миру была из клещих клещиха. Но тоже, надо полагать, не без кусочка души, потому что однажды как-то поглядела на себя, поглядела да и... того... испугалась... А испугавшись себя — характер-то, знаешь, крутой: перегибай палку в другую сторону! — и очутилась нежданно-негаданно для всей родни в постриге... И меня к тому же убеждала, когда я по кончине Лидии был в отчаянии, хоть руки на себя наложить...

— Потому что, — доказывала мне, — мы с тобою такой окаянной породы, что сами по себе, сколько ни хотим, хорошими быть не можем, должны беречь себя от демонского стреляния в порабощении внешнем, ходя на внешней крепкой узде — в нерушимую помощь обузданию внутреннему. Я, — говорит, — знаешь, когда ряску-то решилась надеть? Когда учуяла, что, ежели не ряска теперь же, то в скором

времени неминуче на сем свете арестантский халат и остров Сахалин, а на том — геенна огненная... Ряску надела — как лошадь в упряжь влегла: на шее хомут, справа-слева оглобли, вожжи чувствуешь, знаешь, что есть кнут, — с каким норовом ни будь, небось не разбрыкаешься!.. Хочешь человеком быть и Богу угодить, иди в монахи. А в миру останешься — где тебе, одному, против самого себя выстоять! Начнет стрелять в тебя дьявол — послужишь дьяволу. Силен он, дьявол от, над нашею шупловскою породою... Прячься от него, вооружайся, ограждайся, покуда он вне тебя бродит; внутрь войдет — погибнешь, не выгонишь...

— Ну-ну... я все-таки пожалел своей молодости, не послушал ее, понадеялся на себя... А тут вскоре послал мне Господь встречу с тобою, и опять любовь покрыла меня как бы крылами ангельскими: как за щитом стою — стреляй в меня хоть сто дьяволов... Ограждаюсь твоим именем крепче монастырских стен... Иной раз и встопорщится во мне природный шупловский клещ-кровосос, запросит утоления своей поганой жажды — ух как запросит, затребует, подлый, даже до мучительства! — и случай удобный, и соблазн большой... Да как подумаю: «А вдруг надо будет признаться Лили?» — ну и пуще монашеской ряски на себя и деревянного масла на клеща: мигом задохнется и отпадет. А как отпал, отряхнуться от него не штука. Есть, знаешь, пословица: «Клещ не вещь — где упал, там пропал...»

— Это очень приятно и лестно слышать, что я имею на тебя такое хорошее влияние... Даже неожиданно и незаслуженно лестно... Однако...

Но он, не слушая, продолжал:

— А относительно дьявольского засилья на нас, Шупловых, это мамаша хотя по суеверию, невежественной аллегорией сказала правду. Шалая наша кровь, завистливая, злая. С дедушек-бабушек — греха-греха на нас! И теперь, сколько ни есть Шупловых, все несуразные. Жестоконрав-

ная порода. С дядьями своими, что по отцу, что по матери, я и знаться остерегаюсь: жуткие люди, прямым словом назвать — кулацкое зверье. Из теток только одна была путевая, да и та дальняя: Анна Трифоновна, которой Бог послал чудо-счастье быть за Павлом Венедиктовичем. Остальным, которых знаю, лучше было бы в самом деле, как мамаша рекомендует, запереться по монастырям, чем в миру кутить-мутить, себя срамить — которая злостью, которая распутством... Дросида хоть умна и получила политуру от жизни, а знала бы ты Марью да Анисью с Прасковьей! Этакой дурости, этакой бесстыжести, этакого хамства... Тьфу! Ненавижу! И они меня, конечно, ненавидят: не ихний, полубарской крови, с господами повелся, отрезанный ломоть... А впрочем, все они и друг дружку ненавидят. Каждую послушать про каждую — оторопь берет, мороз дерет по коже: достойны каторжной тюрьмы и публичного дома! Конечно, много врут, однако не все же, поди, врут...

И вместе с тем и при всем том — дивное дело, Лили! — представь себе: фамильная сплоченность, какой ты не найдешь в самых лучших ваших образованных и благородных семьях. Взять хотя бы вас, Сайдаковых. Ты с братом Павлом Венедиктовичем живешь-дружишь душа в душу, а до прочей родни, какие еще есть на свете Сайдаковы, ни вам думки нет о них, ни им — о вас. А мы — как волчья стая. В грызне между собою рады друг дружку живым съесть, а попробуй-ка затронуть которого-нибудь Шуплова со стороны: все ощетинимся, шерсть дыбом, зубы оскалены, глаза в зеленом огне...

— И ты? — засмеялась я недоверчиво.

— Да, вообрази себе, и я. Ненавижу, всячески отгораживаюсь от них, а вовсе избыть из себя это шупловское единство — нет, не могу. Намедни, помнишь, была у тебя история с Дросидой из-за гармониста ее. Ты не поверишь, как ты меня обрадовала и облегчила тем, что, чем бы самой ее разделать, посоветовалась сперва со мною, — вроде, зна-

чит, как бы пожаловалась мне и, стало быть, ответственность свою на меня переложила... Турни ты ее своей волей, я, конечно, понял бы, что ты в резоне и права, но все-таки укусил бы меня малый зубок за сердце: «Нашу обижают!» Ну а — как моего согласия спрошено, то тут уже все равно — в твоем лице как бы я сам: катай ее, шельму, по-нашему, по-семейному, по-шупловскому!

Смеешься? Я и сам смеялся бы, кабы иной раз страшно не бывало... Что нас вяжет? Почему все дики, взбалмошны, своевольны, а старшую сестрицу, Пелагею Семеновну, то есть мою мамашу, зовут «маменькой» и что она прикажет, то — по всему роду свято? Когда мне Бог послал счастье жениться на Лидии, то все они — Машка, Аниська, Парашка, Дросида — так и навострили зубы загрызть ее. Да, к счастию, мамаше уж очень понравилась Лидия, что красавица, предводительская дочь да еще из того барского дома, где когда-то она сама большую любовную обиду пережила... Лестно!.. Мстительно, знаешь, и лестно!.. «Ваш-де братец — меня, а мой сын — вашу дочку, и теперича мы с вами, дорогой сват, выходим квиты», — так, знаешь, и отписала она достопочтенному моему тестю... Понимаешь характерец?.. За Лидию она мне и самое существование мое простила. Теперь мы хоть не как нежная мать с нежным сыном, близки не близки, любим друг дружку не любим, а все-таки в приличных и дружественных отношениях... Девочку мою, Лидину дочку, к себе забрала, воспитывает... А раньше едва выносила меня, вид мой был ей противен — кабы меня от нее не взяли в раннем детстве, наверное, забила бы меня... «Н-ну...» — цыкнула она по родне. Ничего, смирились Шупловы... Не скажу, чтобы в хорошем ладу, но можно жить было. Я на себя, конечно, много ехидства принял, но мне это — наплевать, а до Лидии — нет, не доставали... Атмосфера, что называется, конечно, была душная, недружелюбие висело в воздухе, но делом — никто не смел, «маменьку» боялись... Везде, в мелочи какой... Так на ме-

лочь Лидия — счастливую натуру имела — была простодушна и нечувствительна: ежели кто свое благородство понимает и вокруг себя благородно смотрит и видит, того мещанскими шпильками не легко проберешь — к ним тоже надо иметь понимание и вкус. Ну а я, как их имею, то, бывало, заметив что, при всех смолчу, а после, наедине, пожалуйте на цугундер: вы это — что? Вы это — как? Да морду-то наглую и наколочу…

— Галя!!! — возопила я и даже остановилась на ходу и руками всплеснула.

Но он, тоже остановившись, в лицо мне глядя, храбро возразил:

— А то как же, Лили? Дай клещихам поводку в малом, на большом не уймешь… Вот хотя бы и Дросиду за этот ее гнусный намек о воспитательном… Жаль, не при мне было: ходила бы она, зеленая рожа, суток трое с красными щеками...

— Никогда не воображала, что ты способен поднять руку на женщину.

— На женщину — нет, но, ежели, повини на грубом слове, она против меня стерва — что же мне, свою, что ли, рожу ей под плюхи подставлять? Ничего! От плюхи не помрет и не слиняет, а болью память крепнет. Иной раз и зачешется язык на пакость, а щека помнит, как ее за это били, и уймет..

— Ну и нравы, Галактион Артемьевич!

— Да, Лили, жестокие… Что поделаешь? С волками жить — по-волчьи выть. Видела бы ты, когда наша шупловщина собирается на какое-нибудь семейное пиршество или торжество. Получаса не могут выдержать вместе, чтобы не переругались между собою, справа налево насквозь, самыми скверными словами, не пересчитались мерзостями, былыми и небывалыми, которые, дивиться надо, как язык поворачивается выговаривать. А если маменьки нет

либо не успела она вмешаться и запретить, то — недолга история: глазом не мигнешь, как уже Васька Кузьку в зубы-зубы хоп-хоп-хоп!.. Кротости, мягкости, деликатных чувств от нас, Шупловых, не жди: не той породы черти…

— Однако ты мне казался всегда совсем иной породы... и кажешься, несмотря на эти твои милые признания. Впрочем, я им, правду сказать, не очень-то и верю...

Галактион пожал плечами и вздохнул.

— Да, вот это у вас, культурных людей, тоже есть слабость, что вы некультурности, ежели она не в курной избе живет и не в лаптях ходит, плохо верите... А — что я отчасти иной, говорю же тебе: полукровка и ангелов-хранителей знавал, обвевали меня белыми крылами... Вообрази ты себе, вообрази, Лили, что я с моим шупловским фундаментом души встретил бы на своем жизненном пути не белокрылого ангела-хранителя, а черного черта с рогами и хвостом... И — скок! прыг! — влез бы он мне в душу, как в свободную от жильцов квартиру… Как ты думаешь, хорошенькое получилось бы существо?

— Да-а-а… боюсь, что не из безопасных!

Он важно и строго взглянул на меня, поправил шляпу на голове и многозначительно погрозил мне пальцем.

— Так вот знай, помни и не забывай: именно такой я — с чертом, впрыгнувшим в душу, — есть моя любезная тетенька, а твоя служанка Дросида. И от того, что она телом женщина, дело не легче. Напротив, черту в ней куда прочнее и свободнее, а людям с нею — хуже. И ежели подобная бесноватая клещиха вопьется, то уж и не знаю, каким ее маслом мазать, чтобы отпала. А силой выдирать, так она со злости скорее нарочно даст перервать себя пополам, лишь бы не уступить, не выйти. Чтобы, понимаешь, пусть сдохну, а мертвое мое тулово в тебе останется, загниет, гной разведет: более расчесывай — авось, на мою удачу, дочешешься до антонова огня!

XXXVI

Вот и разъехались мы — кто куда. Первым — Галактион в Сибирь. Вторым — брат Павел на Печору... Думала ли, провожая, что прощаюсь с ним навсегда и никогда-то, никогда нам больше не встретиться — не увидаться!.. Последнею — я в Одессу...

Ох, и пора была! Слишком пять месяцев выручала меня моя счастливая фигурность, а к концу шестого как начало меня дуть, как начало дуть! Не по дням, а по часам. В одну неделю чудищем стала. Уехала тайком, никому не сказавшись, а перед тем несколько дней пряталась в квартире, никуда не выходила. Потому что последний пред тем раз, как была я у Эллы Левенстьерн — тоже прощаться заезжала: она за границу тогда укатила, в Эмс на воды, — то ли мне показалось, то ли в самом деле было, будто толстая Матрена Матвеевна оглядывает меня уж очень критическим взором: «Эге, мол, красавица, никак ты у праздника?»

Ехала превосходно, свободно. Знакомых в поезде во всю дорогу — никого. Для незнакомых — на руке — обручальное кольцо. Молодая красивая дама в почтенном положении; всякий рад явить себя джентльменом, показать любезность и предупредительность. С попутчицами — дамский разговор. Покуда до Одессы доехала, мало-мало пять практических лекций выслушала, которая как рожала в первый раз — эта Сашеньку, та Оленьку. И все ободрили, что не следует бояться: оно хоть и страшненько немножко, но Бог не без милости, а потом, как все отойдет, одно наслаждение, душевный и телесный рай. Ну, и — народ правду говорит: «Крута гора, да забывчива».

И хозяйка приюта в Одессе, противная бестия-гречанка — ух, и чистила же она с меня за пансион! — тоже все успокаивала:

— Гусепька, не тирайте гуха, ницево не бойтесь: если бы было так стласно, как пугают, то вговы второй раз замуз не выхогили би!

А меня и успокаивать было нечего. Нисколько не боялась. А только скучала ужасно да нетерпеливо мечтала, поскорее бы мне опростаться и покончить с тоскою своего заточения и уродством, которым последние месяцы словно мстили мне за легкость и приглядность первых.

Прямо чудовище я стала. Страшно в зеркало взглянуть. Губистая, оплывшая, лицо — лепешка, нос — картошка, глаз — лукошко. Гречанка обещает:

— Гевоцку носите. Это холосо, цто погурнели. Красавицу рогите. Хотите гевоцку?

Ох, девочку ли, мальчика ли, только бы перестало оно во мне возиться и толкаться так, что по мне будто волны ходят, — и больно это иной раз, наконец! Другие родильницы в приюте восхищаются движениями своих, а я — вот не могу и не могу никак настроить себя на восторг. А больше такое настроение, что, если бы умела, с удовольствием бы я эту «гевоцку», ожидаемую красавицу, вытянула бы из себя за ушонки: не обижай бедную маму прежде, чем родилась!

Обдирала гречанка жестоко, но, надо ей отдать справедливость, и кормила на славу. За обедом, знай, подкладывает:

— Кусайте, позалуста, кусайте: вам на гвоих наго много кусать.

А уж что там — «кусайте»! Не кушаю, не ем даже, а жру, лопаю, трескаю, с позволения сказать. А через полчаса опять голодна и блуждаю по дому, по саду, выдумывая и советуюсь с прислугой, чего бы опять пожевать... Сущее животное!.. Горничная, бойкая дивчина-хохлуша, дразнится:

— Та вы ж, пани, усю кецаль у Одесту зъили, нема бильш на торгу, чого куповати!

Не знаю, есть ли состояние более скучное, чем тайной родильницы. Гречанка заставляла меня ходить, быть в движе-

нии, но двор и сад ее дачи на Малом фонтане надоели страшно, прямо опостылели, глаза бы не глядели. А на улицу показываться не хотела: не потому, чтобы боялась, что — кто увидит и узнает, а безобразия своего стыдно — куда я выйду на люди таким уродом?

На рукоделье — страшная лень, да и никогда не была я умейницей: не в натуре. Читать серьезное что — голова отяжелела, ум не воспринимает, а сон берет. Начала брать из библиотеки романы, и уж, конечно, не Достоевского или Диккенса там, либо Флобера, а самые пустозвонные, чтобы глаза были заняты, внимание по строкам скользило, интерес по верхушкам мозгов играл, а голове — хоть бы что: не бременит. В Москве, в своем обществе, постыдилась бы и признаться, что читала такую труху. А тут — всего Габорио, всего Ксавье де Монтепена, всего Понсон дю Террайля. И с каждым томом — коробки рахат-лукума как не бывало! «Рокамболя» с рахат-лукумом вприкуску вычитывала с таким увлечением, что гречанка моя даже стращала:

— Ой зе, нацитаете ви себе, цто син Рокамболь бугет!

— Да вы же мне сулите девочку?

— А гевоцка — то белокулая глесница Баккала!

Галактион писал часто и помногу, но, так как, добравшись до Сибири, пришлось ему за Иваницким, который вопреки московским слухам оказался здоровехонек, гоняться по городам, покуда не поймал он этого своего Креза уже где-то под Иркутском, то — чем дальше отъезжал, тем дольше почта шла, и между письмами получались большие провалы. Иной раз позднее письмо придет прежде раннего — читаешь, и не понять ничего. Последнее письмо уже в конец августа, когда я начинала находить, что если венчаться, то пора бы Галактиону Артемьевичу быть обратно, извещало, что отношения его с Иваницким обернулись в самую хорошую сторону, и он пишет совсем на отъезд. Но затем неделя-другая — молчание. Начинаю недоумевать и тревожиться.

И вдруг из Москвы нежданно-негаданно Дросида. Что? Как? Зачем?

— Да нельзя сказать, чтобы с приятностью, барышня. Галактиона под Томском лошади разбили, и лежит он в больнице — будет ли жив, нет ли, доктора говорят надвое, потому что — сотрясение мозга.

Доложила она мне это с большою подготовкою, как ей велено было телеграммою от этого вот пана Пшепендовского или Голембиовского, которого я не упомню-то. Они вместе с Галактионом катили — семи верст не доехав до Томска, колесо с перекладной прыг, — ну, на всем скаку, в канаву притрактовую! Ямщик убился, пан ногу сломал, а Галактиона ошеломило кузовом тележки, сутки без памяти лежал, а очнулся — в сотрясении. Плох.

Подготовкой своей Дросида, как водится, разволновала и испугала меня еще пуще.

Жалко Галактиона. Даже до угрызения совести, что мало любила человека, не поберегла, отпустила в путешествие, а уж так ли оно было необходимо? Вон Иваницкий-то здрав и благополучен, катает по Сибири и, может быть, до ста лет проживет, а Галактион из-за ложного слуха очутился, почитай что, на смертном одре. Да, если бы и правдив был слух, точно был бы болен Иваницкий, неужели мы без этого его пая так уж и пропали бы?

Идти за нищего, без будущности, конечно, не пошла бы. Но Галактион — не тот человек, чтобы так вот сразу и покончиться на одном деле, остаться без всякой будущности. Ну, перетерпели бы год, другой, пока он не оправится в делах. Что мне — разве нужда грозила? Слава Богу, хоть и не богата, но не нищая. Жила, не тужила до того, как Галактион взялся за мои три тысячи, прожила бы и опять без дохода с трех тысяч. И, наконец, ежели бы рассудок велел лучше разойтись, ну разошлись бы... честь честью... хотя бы и с драмою — для него... Но не с трагедией же! Без вме-

шательства слепого рока, который вдруг, ни с того ни с сего посылает на дорогу человека, в двух шагах от достижения счастья, не то смерть с косой, не то безумие с горячечной рубашкой... Сотрясение мозга... Учила я, знаю, что за штучка!

На себя оглянуться — тоже и мое положение не из веселых. Глупее нельзя. Хожу последние недели, а — вот тебе и свадьба! Вот тебе и законнорожденное дитя! Капризничала, откладывала честь сделаться мадам Шупловой — ходи успех девой в пустынных местах с тайным плодом любви несчастной в трепетных руках! Кстати, и осень ненастная уже на дворе через прясло глядит... Поэма...

Дросида точит:

— Говорила я вам, барышня, по весне: бросьте вы эту затею — носить! С чего так заспешили рожать? Вота теперь на мое и вышло. Сохрани Бог, Галактион помрет или останется малоумным, куды вы с ребенком-то? Галактиону перед отъездом помстилось с одного моего неосторожного слова, будто я советую вам сбыть дитя в воспитательный дом, так он мне на прощанье такого перцу задал! А по правде-истине куда теперь, как не в воспитательный либо, поразведав, которые соседи добрее, им, в корзиночке, на подъезд, с записочкой: «Примите ради Христа и вскормите...»

— Этого не будет. Не каркай! Я в грехе, я и в ответе. Сама вскормлю и воспитаю.

— Судьбу свою, значит, хотите совсем узлом завязать? Говорить-то смело, барышня, легко, а до дела дойдет — смела едва ли хватит. В людях живете, а не в пустыне. Вы не девка-поморка, которую, ежели она с приплодом, охотнее замуж берут. Вы барышня, вам без «лепутации» нельзя. Годы ваши небольшие: беспременно захочете замуж выйти. А кто вас возьмет с ребенком-то?

— Кому буду нужна, тот и возьмет.

— Вы-то будете нужны, да он-то никому не нужен... Я, барышня, всех, кто вами антирисуется и не прочь бы

иметь вас супругою, могу перечесть по пальцам, и довольно даже большая череда. Имеете успех, есть, можно сказать, по уши влюбленные. Но такого, чтобы обрадовался вашему младенцу и принял его как приятное приложение, — извините, из всех не предвижу ни одного. Это мужики иногда так рассуждают, что пусть-де растет лишний работник в доме, а ежели, скажем, университетский профессор или присяжный поверенный, то — на что ему? Сморщит нос и повернет оглобли... Да и у мужиков подобная снисходительность — только когда мальчишка, а вам вон Аглая Ристарховна девочку сулит. Беззаконные девчонки — самая напрасная утварь на свете. Это только фальшивая слава людская, будто незаконным — счастье. Мальчишки еще и так и сяк, иной раз выныривают, а девчонки — из всех несчастных планид родятся под самою несчастною, да так с первого дня рождения и ходят под нею до гробовой доски. Нет, уж теперь молитесь, чтобы, когда непоправимо, то по крайности родить мальчишку. Мальчишка вас простым узлом завяжет, а девчонка — тройным, морским...

Аглая Аристарховна была много добрее и успокаивала:

— И цево ви так себя тлевозите, зацем тлевозите? Лазве пельвый лаз это визу в моя плактика, цьто зеных с невестой опазгивают свагьбой и клестины ланее венца? Сто зе? Позенились — значит, пливенчали: плосение на Височайсее имя, и больси ницево...

А Дросида, знай, каркает:

— Привенчали! Было бы к кому привенчивать. Ежели бы Галактион даже остался жив и в своем уме, очень я плохо верю тому, что вы, барышня, теперь за него выйдете.

— Почему это? Какие у тебя основания?

— А такие, что вы и раньше шли за него неохотою и через силу, а теперь, когда он так ли, этак ли искалеченный человек, приманки-то в брак для вас ровно бы и вовсе мало осталось... Обязанность вы на себя взяли и крепко себе ее

представляете, а настоящих чувств у вас к нему нет. Извините мою продерзость, но, любя вас обоих, смею сказать: если и состоится дело, ни вам не быть с того счастливою, ни его не сделаете счастливым...

— Он, однако, думает не так!

— Он... что он? Тут вы — голова, а не он... Ему с любовного слепа — что?! А вы в своем хладнокровии должны о себе рассудком рассудить и далеко вперед мыслями раскинуть... Идете за человека, а, между прочим, его конфузитесь, и даже до того, что иной раз просто-таки противен он вам... Что? Скажете, неправду говорю?.. Так не мною одною замечено, «маменька» Пелагея Семеновна то же самое говорит...

Удивилась я:

— Ей-то откуда что знать? Она меня никогда не видала.

— Она у нас такая: и не видав, все знает...

— Странно! С чужих слов, значит? Кто же ей наговорить мог? Не Галактион же? Ты, что ли?

— Ничего я не говорила ей о вас, кроме самого хорошего. А она сама догадлива. Говорите: не видала. А почему, зачем «не видала»? Рассудите-ка: выходите замуж за ейного сына, а с будущею свекровью и большухою мужнина рода познакомиться не взяли на себя труда. Разве это хорошо?

— Тут я нисколько не виновата. Если она сердится на меня за это, то не права. Я несколько раз говорила Галактиону, что хотела бы познакомиться с его матерью, но он почему-то упорствовал, что — не надо, успеем, лучше после свадьбы...

Дросида хитро ухмыльнулась.

— А вам не в догадку, почему?

— Не в догадку, если не просто потому, что они, как я могла понять, не очень-то ладят между собою.

— Это — что! — небрежно отмахнулась Дросида. — Наши нелады, домашние, свойские. Их всерьез брать нельзя.

Каков ни есть сын, а все своих черев урывочек. Нет, я бы вам объяснила, да боюсь: худо примете, обидетесь.

— Говори, ничего.

— Честное благородное слово — нет?

— Ну хорошо, честное слово.

Тогда она уперлась мне в глаза наглыми своими глазищами и, кивая на живот мой, говорит:

— «Маменька» Пелагея Семеновна, чай, инокиня, в постриге мати Пиама зовется, живет в честной обители — как же бы он вас в этаком положении повез бы ей представляться, — подумайте, куда: в женский монастырь, к Христовым невестам?! Это не под благословение было бы, а под прямехонький запрет. А не послушал бы, так «маменькин» карихтер крутой: не задумается честная старица и проклятием тарарахнуть... Не очень-то обожает она, чтобы ее поднимали на смешки...

— Что за вздор! Какие смешки? Кто ее собирался поднимать на смешки?

— Как кто, барышня? Да вся обитель смеху далась бы: привез к матери Пиаме сынок невесту благословляться, ан невеста-то брюхатая... Уж извините, что я так попросту; не свои слова говорю, изображаю ихнее глупое рассуждение... Помилуйте! Разве можно с подобным грехом — в святые монастырские стены и под благословение особе, облеченной в ангельский сан? Это им, святым инокиням, с бездельной скуки хватило бы сплеток и смеха на долгие годы! Ведь как-никак, а опять с извинением пред вами, барышня, за ихнюю глупость, вы, покуда с Галактионом не повенчаны, выходите в их глазах вся в грехе и как бы... ну, ихним грубым монашеским словом говоря, блудница...

Как варом меня обварило!.. Покорно благодарю!.. До-ждалась радости и чести!.. Однако!.. Куда же это я иду? В какую яму соскальзываю?

Проглотив все милые словечки Дросиды — что же с нее спрашивать? Ведь не от себя их говорит — да еще и за каждым вслед извиняется! — спрашиваю:

— Каким же образом она знает, что я в таком положении? Дух Святой, что ли, ей открыл?

Дросида пресерьезно отвечает:

— А может быть, и Дух. Она мудреная. Кто ж ее знает? А вернее, своим умом дошла: не так уж оно хитро. С чего бы вам, в самом деле, за Галактиона-то идти, ежели бы не это?

С острою горечью признала — глубоко про себя — правоту ее слов: если бы не это, совсем нет во мне ни малейшего стремления к тому, чтобы по нашему с Галактионом поводу ликовал Исаия. Конечно, не замуж выхожу, а ребенка обзаконивают, не венчаюсь, а только именно привенчиваю. И если бы можно было обойтись как-нибудь без того — ах, с каким бы восторгом!

Особенно теперь, когда дело повернулось так, что — будет ли муж, нет ли, загадка, а разгадка — вторая загадка: если и будет, то не калека ли? А позади всех этих грядущих приятностей — вроде черного фона — семейка мещан Шупловых, которых сам же Галактион расписал мне клещами, одержимыми бесом, и во главе их благочестивая мати Пиама, которая, чувствую по каждому слову Дросиды, заранее меня ненавидит.

Оказалось, что Дросида проездом из Москвы ко мне в Одессу побывала у старшей сестрицы — «маменьки» в монастыре и что Галактион с «маменькой» все лето был в переписке, подготовляя ее к нашему осеннему бракосочетанию. Дросида нашла у «маменьки» мой портрет (спасибо, не в виде императрицы Елизаветы Петровны!) и два моих письма, пересланных Галактионом из Сибири, — для моей рекомендации, какое я совершенство ума, образования и женского характера.

Эта подробность — о письмах — очень покоробила меня. Переписка с Галактионом была для меня сущим мучением. И уж не знаю, когда хуже, от него ли получая, ему ли отве-

чая. Когда он писал, полуинтеллигент, которого он в себе умел более или менее припрятывать или по крайней мере сдерживать молчанием, находясь в обществе выше уровня своего развития, обнаруживался во всей наготе. И так как писал он чрезвычайно влюбленно и страстно, а выражаться старался как можно, красивее, по книжкам, то получалась какая-то нестерпимо писарская лирика, которой досадное впечатление довершал его великолепный писарский почерк.

Вот ведь, кажется — что такое почерк? Как может он, особенно если красивый, влиять на содержание слов? А уверяю вас: бывало, как увижу я его нежности, выписанные крупными, чуть косыми буквами с лихими штрихами — нажим книзу, — с хвостами-завитками, росчерками, так мне душу и перевернут.

Накорябай он то же самое каракулями-кривулями, несравненно лучше было бы: хоть наивно и смешно — не умеет человек, а старания много, — ну что же, на нет и суда нет, а за старательное усердие спасибо! Брат Павел на подобные случаи какую-то латинскую пословицу имел... не помню!.. Но, когда, знаете, читаешь черным по белому о «вожделенном моменте, когда узы неразрывности соединят нас, обожаемый ангел, в сладостное супружество по гроб» — и нажим, хвосты, росчерки, — делается ужасно стыдно... Словно вдруг ты — не ты, а горничная или швейка и получила любовную цидулку от соседского лакея... И грамотность такая же. Пишет, в общем, довольно правильно, нашколенно, а вдруг словно у него что-то в уме взбрыкнет и перо за собой потащит: пошел сажать «яти», где не надо, насует без толку прописных букв...

Отвечать ему в соответственно нежном тоне я решительно не могла. Я вообще характером пряма, не из притворщиц — как ни много притворяться и играть роли заставила меня жизнь, — а на письме я, пожалуй, еще искреннее, чем на словах. Дружеское письмо написала бы нареченному своему с величайшим удовольствием, а

любовное — нет, не выходит: нет чувства — нет слов. Строки тянутся вялые, ленивые, тон натянутый, неестественный, недоговоренность какая-то... Влюбленный-то подобное письмо, пожалуй, сослепа и сгоряча примет, проглотит и за сладкое почтет. А сторонний читатель с чутьем сразу разберет бесстрастным вниманием, что мне смерть как не хотелось писать и я лишь исполняла, насилуя свою волю, скучную и неприятную обязанность.

И представьте себе: эта монастырская кутафья, мать Пиама, «маменька» Пелагея Семеновна, разобрала!

Прочитала, много раз перечитала письма, разглядывала и переглядывала мой портрет, а когда заехала к ней Дросида, тут «маменька» и преподнесла ей свое заключение:

— И не пара, и не любит. Блажь. Запрета не кладу: сын — мой, разум у сына — свой. Благословения не даю.

И еще одно словцо прибавила. Оно стало известным немного позже. Знай я его тогда, то уже назло ей, из самолюбия одного дождалась бы Галактиона и настояла бы на свадьбе.

Сказала:

— Это ему не Лидия.

Лидию эту, мурильевскую Мадонну с кривым боком, она уважала, видите ли, за то, что сколько ни любила Лидия Галактиона, но выдержала себя с ним до брака в строгости и пошла под венец чистою девицею... Трудность, подумаешь, в девятнадцать-то лет! В ее годы и я свой «темперамент» под пяткой держала и каблуком притаптывала: лежал — не пикал!

А слово, которого и позже я не узнала от Дросиды, а уж самой пришлось о нем догадаться со временем, когда было поздно — ах, как поздно! — а было между тем это слово матери Пиамы, «маменьки» Пелагеи Семеновны, самое главное. Было оно:

— Ты, Дросида, мне эту свадьбу разбей!

XXXVII

Я не забыла наставлений Галактиона — не вверяться Дросиде. Но не было случая применить их к делу. Дросида решительно не искала того, чтобы я ей вверялась. Справив свою миссию, т.е. осведомив меня о беде с Галактионом, она собралась обратно в Москву и поджидала только ответной телеграммы на посланную нами в Томск пану Пшепендовскому или как его с запросом о Галактионовом здоровье. Телеграмма пришла успокоительная в том смысле, что-де жив будет, но болезнь предстоит долгая и трудная и в Россию возвратиться едва ли есть надежда раньше Рождества.

Было это 7 сентября. А мне срок — в конце сентября, с самым большим опозданием — в первых числах октября. Приуныла. Так ли, этак ли, выходит-таки младенцу «планида несчастнее всех планид», как выражается Дросида. Предстоит мне произвести на свет не полноправное законное дитя, а «тайный плод любви несчастной». И обидно мне за младенца, и совестно, и жаль ужасно. Реву.

Читала я в романе «Наш общий друг» у Диккенса, что была однажды такая свадьба. На жениха, когда он был в разлуке с невестой, напал злой соперник и так его оглушил, что тоже сделалось сотрясение мозга и приключилось разное увечье. Но невеста приехала к жениху издалека и, хотя он лежал, еле жив, их в госпитале обвенчали. Вспыхнуло во мне: «А что — если и я так пойду?»

Дросида и гречанка — на дыбы. Говорят:

— С ума вы сошли? Кабы по железной дороге, и то в ваших сроках какой риск! А на лошадях?! Да вы сто верст не сделаете — рассыплетесь! Не дай Бог, на какой-нибудь захолустной станции погубите и себя, и ребенка.

Правы. Нельзя.

— Но что же делать? Делать-то что?

Гречанка журчит:

— Цто гелать? Ницего не гелать — принимайте Судьбу, так прихогит, против судьбы не пойгти!

А Дросида, видя мое великое волнение, согласилась ради меня остаться еще на несколько суток в Одессе. И назавтра вышел у нас с нею большой разговор. Прямо поставила мне вопрос:

— Скажите, барышня: что вас больше антиресует — с Галактионом повенчаться или чтобы младенца обзаконить? Потому что — видите: обстоятельства подошли такие, что надо выбирать то или другое, а вместе соединить нельзя.

В ответе она едва ли сомневалась — так, для прилику спрашивала, чтобы договориться до конца и не оставить на себе никакой ответственности: на всех-де «i» точки были поставлены явственно и тобою приняты, так, если недовольна, вини самое себя, а не меня!

Мое же настроение она поняла превосходно.

Престранное оно было. Когда, бывало, скучно от тягостного ожидания или теремной замкнутости в приюте либо больно от шевеления ребенка внутри, овладевала мною тупая, узкая, сосредоточенная тоска, и в эти минуты не оставалось у меня иной мысли, кроме раскаяния в нелепой своей связи. Сижу, хожу, лежу — все думаю: «За что я страдаю и буду страдать?»

По чувству справедливости сперва обвиняла себя одну: «Не черт тебя толкал связаться, сама была дура — ну и кайся!»

Но в каждом человеке силен инстинкт самооправдания, а уж в нашей сестре, виноватой женщине, в особенности. И не замечала я, как этот окаянный инстинкт перевел меня от нападок на самое себя к нападкам на Галактиона.

Занялась делом, которое всего опаснее для отношений между женщиной и мужчиной: арифметикой чувств. Взвешивала сумму позора, лжи, неприятностей, скуки и болезни, полученных и ожидаемых мною от связи, с наслаждением, подаренным ею, и в сравнении что дальше, то больше увле-

калась, преувеличивая свои огорчения и унижая приятности. Ни любви, ни страсти, только стыд сознания, что вот зачем-то принадлежала мужчине и скоро буду иметь от него ребенка. И это назойливое, недоумелое «зачем-то» всего обиднее, потому что, если не знаю, зачем, то — кто же я выхожу? В самом деле, блудница, что ли, как зачисляет меня наглая чернохвостница, «маменька», мать Пиама? Нет, это уж очень оскорбительно — за что так? Надо себя пожалеть! И опять, как в январе, явилась потребность насильно уверять себя, что нет — я люблю. Только с непрошеною — против воли — догадкою: «Да, любить-то я, пожалуй, люблю, но какая же я была дура, что полюбила!»

Слова Дросиды, что я конфужусь своего жениха-любовника, а пожалуй, временами и противен бывает он мне, метко попали в цель и глубоко в душу запали: почву, значит, благодарную нашли!.. И пошло это злое семя развиваться и расти не по дням, а по часам. И никакая Дросида уже не была в том виновата — сама себя подгоняла, дразнила и пришпоривала. Да так, что вскоре чувство свое как бы наизнанку вывернула. Уже стало теперь стыдно не в том сомневаться, что была ли любовь, и не к тому заключению приходить, что любви не было, — наоборот, начало казаться, что стыдно то было бы, если бы любовь была.

К кому? За что? Глупое телесное падение — и все тут. Грех, безумие, мерзость — да! Но уже наказана ведь! Искупаю! Ребенок — мое возмездие и искупление. Дальше-то зачем же? Какой может быть брак, если уже теперь вся наша связь вылилась для меня в одно чувство — досадного удивления, как она могла приключиться?

Что ни вспомни, отвратительно. Лисья нора, лестница, кухонька, запах полосатой стены... брр!.. А пуще всего — он. Представляла себе в воображении его фигуру, лицо, руки и едва себе верила, что это тот самый человек, которому я принадлежала.

«Как можно было любить его? И он... как он смел подумать, что я его люблю?»

И знаете, понравилась возможность выгородить себя из греха — в своем падении-то. Опять схватилась за старое: «Пьяную взял! Я — жертва, взятая силою! Не теперь только сделался он мне противен, а всегда был — лишь на гордости женской не хотела в том сознаться, что живу с ним по принуждению, обманывала себя и его».

Твердила да твердила такое, да и дотвердилась до того, что уверила себя, — понравилось! А как уверилась, такая тут вспыхнула во мне злоба... сама себя не узнаю: я это или не я? И, как подумаю, что вот ради ребенка надо мне закабалить себя в супружество с мерзавцем (я уж и до таких определений дошла!), меня загубившим, которого я ненавижу... Как подумаю, что вот такая я, благородная и великодушная, приношу себя в жертву — он и тут, «мерзавец», оплошал: угораздило его некстати шею себе сломать, и жертва моя принесена быть не может, и ребенок останется, как хохлы говорят, «байструком»... Как подумаю, всю меня поведет злобой, и — все месяцы спокойно носила, а тут припадок за припадком! Обмираю, свет из глаз теряю, три раза упала — счастливо пришлось, что на мягкое...

Все это свое внутреннее кипение-бурление я выносила в себе в одиночку, молча, не ища советов и участия. Но втихомолку придумала в своей полоумной ажитации штучку, которая если бы удалась, то, как ни плачевно обернулась моя позднейшая житейская судьба, а, пожалуй, могла бы обернуться и еще много хуже.

Когда я только что прибыла в Одессу, рассказала мне гречанка историю, как гостила у нее некая барышня из Херсона, соблазненная заезжим актером-гастролером. Скрывая от родителей, тоже доскрывалась до того, что для аборта поздно. Папенька с маменькой надавали дочке пощечин и отправили ее в Одессу к гречанке на тайные роды. Напутствен-

ные пощечины барышне очень не понравились, тем более что она предчувствовала: это только задаток, данный с осторожностью, в уважение ее беременности, а настоящая-то расплата предстоит по возвращении.

Но была у барышни тетенька в Николаеве, которая ее крепко любила и очень жалела, — женщина с состоянием. Вот она прикатила в Одессу да, пошептавшись сперва с барышней, потом с гречанкой, и устроила племяннице в три темпа полную гуляй-свободу. Нашли где-то, чуть ли не в порту, среди босячья, опустившегося дворянчика хорошей фамилии и сторговали его, чтобы повенчался с барышней, и — сию же минуту ей на руки отдельный вид на жительство с правом выезда за границу.

Так и сталось. Превратилась беззаконная мамзель в законнейшую мадам, родила законнейшего младенца, а от счетов с папенькой-маменькой и от возможных претензий купленного супруга уплыла в Константинополь, Афины, Италию и так далее.

И вот вскочило мне в голову: «Так бы и мне!»

И, когда Дросида предложила мне свой прямой вопрос, чего я хочу, Галактиона в мужья ждать или законное дитя родить, — я ей этот свой проект и высыпала. Она выслушала с вниманием и любопытством, но охаяла:

— Нет, это вы несбыточное придумали. Не пройдет.

— Почему? Думаешь, много денег надо? Аглая Аристарховна говорила, что вся история со свадьбой и отъездом за границу обошлась в две тысячи рублей. У меня есть.

— Знаю, что есть, — насмешливо протянула она, — и больше есть. У Михаила Фоколева лежат: вы думаете, от меня скрыто?

Новый сюрприз от Галактиона: как уговаривал меня тайну держать, а сам, оказывается, болтает?! На самом деле было это не так. Совсем не Галактион разболтал, а Дросида после моего отъезда из Москвы подружилась с Фоколевым:

его же Галактион против Дросиды не предупредил, и он, считая ее моею доверенною наперсницею, легко позволил ей выпытать, какими средствами я располагаю, и за грех того не почел... Но Дросида, заметив, что предполагаемая болтливость Галактиона меня злобит, не нашла нужным опровергать. Ей очень хотелось, чтобы между нами все чаще черные кошечки бегали.

— Вот вы, барышня, говорите «с выездом за границу», и как будто это, по-вашему, второстепенное. А ведь это ваша ошибка: самое главное!.. Прохвоста, чтобы на скорую руку обвел вас вокруг аналоя, найти нетрудно: здесь ли не сыскать? Не город, а сточная труба! И денег больших не потребуется: зачем тысячи? Две-три сотни в зубы — и довольно. Да ведь каков прохвост навернется. Той барышне, как тетенька выпроводила ее за границу, оно — сполгоря: из чудных краев супружеской власти достать ее не может. А вы не так обеспечены в своих средствах, чтобы поселиться за границей навсегда, да, поди, и не захотите, соскучитесь: москвичка вы, русский человек, — что вам с бусурманами-то? Месяц-другой хорошо, а целый век — поди куда как тошно. А в отечестве остаться — значит быть в мужней воле. Жена — раба, муж — господин. Захочет однажды свернуть вас в бараний рог, никакая власть не сильна ему воспрепятствовать. И, скажем, вы сами ему не понадобитесь, так он клещом насядет на ваши доходы, прицепится к вашей родне: содержание ему подай, протекцию подай, место хорошее, чтобы как сыр в масле катался. А не то — не угодно ли вам, драгоценнейшая супруга, пожаловать ко мне для совместного сожительства? Не угодно, так не затруднюсь вытребовать по этапу! Да не угодно ли передать мне наше законнорожденное чадо — это моя отцовская воля, какое воспитание я желаю ему определить!.. Нет, барышня, это вы в страшную игрушку сыграть вообразили! Попадете шантажнику в когти, он и из вас кровь-соки высосет, и из

Павла Венедиктовича, и по всей вашей родне-знакомству будет шататься, клянчить, вас срамить и на Галактиона насядет, через дитя роженое... Это нельзя, как вам будет угодно, я против того, нельзя!

И опять же: что вам не в охоту идти замуж за Галактиона, это я понимаю и одобряю. Но ведь он же — не лукошко, не выбросить его из окошка. И нехорошо, и какой вам расчет? Теперь возвратится он, а вы — замужняя! Что? Как? Объясняете, что это, мол, только для модели, чтобы люди глядели: ради законнорожденности ребенка. «А ребенок-то теперь, выходит, чей же?» — «Да вот этого, который со мною обвенчан...» Вот те и фунт миндалю с изюмом! Ни жены, ни ребенка... Как хотите, а это выходит — обобрать человека догола! Ничего удивительного не будет, если он полезет на стену и натворит такого скандала, что все газеты с месяц писать будут, а ему и вам, если уцелеете в живых, все равно — конец, не забудется до гробовой доски...

Нет, вы это свое изобретение насчет подложного брака оставьте. А послушайте-ка лучше, что я вам предложу. Такое, чтобы все волки сыты, все овцы целы, и вы — свободны, и Галактион — без обиды, и младенец — в законе и при вас, хотите, при одной, хотите при обоих, и, покуда пожелаете, потуда будет всему делу полный ненарушимый секрет...

XXXVIII

— Что-то уж больно хорошо, — говорю я Дросиде. — Плохо верится.

— А вы хорошо поверьте: по вере вашей и дается вам.

— Говори!

— Нет, вы сначала поверьте.

— Как же я могу поверить, не зная, во что?

— Мне поверьте, что я вам добра желаю и хочу устроить все, как для вас лучше.

— Ну хорошо, представим себе, что в этом я тебе уже поверила. Оно же трудно. В самом деле, за что ты будешь желать мне зла? Я тебе никогда не сделала никакого худа.

Тогда она подумала, собрала в глазах мысли со словами и тихонько этак, с оглядкой:

— А зачем бы вам, барышня, вопче родить?

Я гляжу: смеется она, что ли, надо мною? А она:

— Совсем в этом нет никакой надобности. Давайте-ка поручим это какой-нибудь другой женщине. Да что вы на меня уставились, как на сумасшедшую? Я не шучу и не морочу вас, дело говорю... У меня и охотница на то припасена. Я, еще едучи сюда, все это обмозговала, только хотела раньше видеть, в каком вы расположении...

— Расположение мое такое, Дросида, что я ровно ничего не понимаю, потому что говоришь ты какими-то загадками, вещи, которых не бывало на свете с тех пор, как Ева родила Каина и Авеля, и быть не может...

— Да, — говорит, — по естеству оно, конечно, так. По естеству вам, конечно, самой потрудиться придется. А по бумагам развеликолепно может вас заменить другая. И стоить это будет всего-то-навсего пятьсот рублей да, если будете так любезны, мне пожалуете сколько-нибудь за хлопоты...

— За этим, — отвечаю, — дело не стало бы, но я не разберу, в чем тут для меня польза?

— Польза та, что дитя ваше родится в законе, как вы того желаете.

— И будет принадлежать другой матери? Ни за что!

— Ошибаетесь. Другая мать этим совсем не льстится. Ей бы пятьсот рублей получить, а младенца с метрикой берите себе в полное свое родительское владение. Хотя смею надеяться, что подобной глупости вы не сделаете.

— Какую я должна, по-твоему, умность сделать?

— А вот какую. Первым делом, скажите мне, как вы себя чувствуете — в состоянии ли будете доехать до Киева?

Потому что здесь этого дела обделать нельзя. Вы приписаны под своим именем. А вводить Аглаю Аристарховну в секрет не годится. Должно быть промеж нас двоих, без свидетелей.

— А женщина эта удивительная и таинственная, которая соглашается родить вместо меня, она-то — разве не свидетельница?

— Нет. Ей, кабы она в донос пошла, — по пословице, первый кнут. Да вы не бойтесь: от нее этого опасаться нельзя. Женщина с пониманием, а кроме того, больная, слабая, в чахотке — она и не проживет долго: осень-зиму проскрипит, а с вешнею водою, даст Бог, и уплывет...

Ух, как царапнуло меня по сердцу это ее «даст Бог»! Замелькали в памяти Галактионовы предостережения... А она мне высчитывает:

— Смотрите, сколько вы выигрываете. Ребенок — законный, раз. Фальшивого супруга-шантажника нет — два. Ребенок в полном вашем распоряжении — три. В случае, Галактион вернется, — какую вас оставил, такую и находит, — четыре. А что у ребенка фамилия будет другая, так это не ваша вина, а его, Галактионова, зачем опоздал. Ведь теперь, если вы хотя бы и здесь в приюте родили, будет ребенок не Сайдаков и не Шуплов, а — по крестному отцу... таков порядок!.. В свое время, захотите — то ли привенчаете, то ли усыновите, — вся воля ваша!

— Погоди. Ну а если все-таки она или муж ее ухватятся за ребенка и не отдадут мне?

— Да нету мужа! Какой муж? Вдовка свежая: два месяца, как опился безобразник ее, стащили пьяницу на Дорогомилово... По вдовьему паспорту — чего вам лучше?

— Дорогомилово... Стало быть, она, эта вдова, москвичка?

— Ну, москвичка. А что?

— А ты говоришь: надо в Киев?

— В Киев я вас приглашаю, только чтобы отделаться от Одессы и Аглаи Аристарховны. Ну и, правда, есть там зна-

комая бабушка-повитушка, очень верная женщина, легче будет с нею — возьмет деньги за постой, а никаких расспросов. Вдове же этой нашей в Киеве незачем и быть. Это вы за нее в Киев подъедете, и там вас ею пропишем. Паспорт ее вдовий у меня в кармане.

— Покажи!

— А вы на мою канбинацию согласны?

— Не знаю... Спутала ты меня... У меня голова кругом идет.

— Ну, так не покажу. Когда столкуемся, тогда увидите. А если не подходит канбинация, зачем же делать женщине напрасно огласку и канпроментировать?

— Послушай, да ведь я-то должна же, наконец, знать, в чьи руки отдаю судьбу свою и ребенка?

Дросида хитро прищурилась, засмеялась:

— Ни в чьи руки, кроме собственных. И чего вы трусите, не понимаю?

— Как же не трусить, когда ты мне предлагаешь... я, право, не знаю, как сказать... ведь, это же самозванство, в конце концов...

— Уж и самозванство! Скажете! Это Гришка Отрепьев на Москве самозванцем сидел, им за это из пушки выпалили. А что в незнакомом городе по чужому паспорту пропишетесь и проживете месяц-другой, какое же тут самозванство? Анафемой не проклянут и из пушки палить не за что!.. И, подумаешь, впервой вам!

Я так вздрогнула, что ребенка во мне всколыхнуло.

— Как это... что ты хочешь сказать?

Она — с лукавыми-лукавыми, торжествующими, уличающими глазами:

— А кто на Пасху в Петербург ездил с паспортом Катьки Бенаресовой? Что же вы — по ее паспорту — брюхатеть можете (так мне и преподнесла!), а родить нельзя?

— Ты и это знаешь?!

— Чего я не знаю!

И вынимает из кармана паспорт.

— Смотрите-ка, вот он, голубчик. Как возьмете в руки, так и станете вы — не вы... И всей стоимости — пятьсот рублей чохом. Столковано.

— Погоди... Значит, она-то знает?

— Что?

— Что это для меня?

— Не дура, должна догадаться... Да говорю же вам: о ней заботу вы оставьте, с этой стороны вам не будет никакого страха... А плант мой такой: разродитесь вы в Киеве в звании мадам Бенаресовой, отбудете после родов сроку, сколько здоровье потребует, да и довольно погуляли, пожалуйте в Москву на старую квартирку: отделала я вам ее — Галактион наказывал, чтобы не жалеть денег, — не узнаете... И опять вы — мадмазель Елена Венедиктовна Сайдакова, и никаких следов, и — хотите, жениха ждете, хотите, так живете....

— А ребенок?

— Ребенка временно Бенаресова должна держать. За это ей, конечно, надо будет платить особенно...

— А ты говорила: «Ни в чьи руки, кроме собственных»! Если я должна отдать ребенка, то для чего же и затевать всю эту путаницу и муку?

— Да ведь не на веки, барышня, а временно, очень даже временно... Вы смотрите, как оно умно выходит. Если теперь, скажем, Бенаресиха по весне, даст Бог, помрет...

— Ах, да перестань ты с этим твоим «даст Бог»! Жутко слушать... Живого человека в могилу суешь...

— Ну, ежели вам больше нравится, авось ее черт возьмет...

— Еще того лучше!

— Не угодишь на вас — ишь, капризная! Ну так скажем просто: когда она ноги протянет — забираете вы младенца к себе, желая быть ему благодетельницей, как круглому сиро-

те. И никто вас за то не осудит, а, напротив, всякий похвалит. А если бы по Москве пошли какие-нибудь слушки и сплетки, так у младенца есть метрическое свидетельство — вы за ним, как за каменной стеной, хоть в газетах его пропечатайте...

Задумалась я, крепко задумалась: соблазнительно! И в самом деле, как все кругло сходится! А Дросида еще пуще кружит и накидывает петлю на петлю:

— И еще приготовила я вам кое-что получше, спасибо скажете. Катерина Бенаресова — женщина, верная на слово, и язычок-молчок, на замочке. Но характер у нее поганый, прямым словом сказать, ведьмина дочка, и с дитем возиться для нее — одна злоба и мука-мученская. А как теперь ее болезнь ест, то уж и вовсе нестерпима...

— Тогда — как же возможно поручать ей дитя?

— А мы ей и не поручим. Теперича доктора велят ей, чтобы она не жила в городе, а ехала бы куда-нибудь в деревню. Есть у нее родня в Курской губернии. И так ей теперь эта курская деревня загорелась в сердце, наяву бредит — сесть да уехать...

— И ребенка, значит, увести с собою? Славно придумано, нечего сказать!

Дросида посмотрела на меня наставительно.

— А вы считать меня за дуру не спешите! Ну скажите на милость: зачем ей, чахоточной, в курской деревне, чужой ребенок? Ей впору за собой ходить, и то через силу, а не пеленки менять-стирать. Дитя она оставит в Москве. И не в самой Москве, а есть такая подмосковская деревня, Марфино, Давыдовых имение. Так присмотрела я для вас одну почтенную женщину: тем и промышляет, что берет питомцев от матерей, которые сами не в состоянии воспитывать деток при себе. То ли по неправильной секретности рождения, а бывает, что и в полной законности, да — которая служащая при чужом деле по множеству своих занятий; другая — вот, как мы ладим, — за отъездом из Москвы: что — некому дома поручить дитя на-

дежно... Хорошая женщина, трех коров держит и козу. Чтобы на хлебной соске, этого ни-ни-ни! А как у нее сейчас сноха тоже на сносях, то, ежели пожелаете, вот вам и готовая кормилица; бабица молодая, здоровущая, зальет молоком...

Кольнула меня. Поникла я. Есть в этом пункте у каждой женщины особая ревность. Возражаю с грустью:

— А мне бы как хотелось самой кормить...

Дросида даже расхохоталась, запрыгала своими плечами-гвоздями...

— Выдумаете же! Ах вы, забавница!.. А, впрочем, что же, покуда будете лежать в Киеве у бабушки, пожалуйте, побалуйтесь... Ну а вопче-то, стало быть, кончаем? Идет?

Можно было бы сказать: «Да», — но, посчитав свои финансы, вижу: сильно я прожилась в Одессе, не хватит остатков на наше хитроумное предприятие. Но, когда черт берется свертеть какое-нибудь скверное дело, он устраняет с пути все препятствия.

Назавтра же после разговора, когда я обдумывала, как и откуда раздобыться мне основным и оборотным капиталом, — неожиданное явление. Подают мне визитную карточку: «Михаил Иванович Фоколев». В своем безобразии девятого месяца я решительно никого не принимала и не хотела видеть, то есть, точнее, чтобы меня видели уродиной. Но... Фоколев... из Москвы... компаньон и лучший друг Галактиона... кассир и распорядитель его дел и моих трех тысяч... так внезапно и неожиданно... незнакомый со мною — ко мне... Что бы значило? Должно быть, какие-нибудь важные и, конечно, тревожные вести... Растерялась, заволновалась. Дросиды, словно нарочно, нет дома... Нечего делать, укутала себя, как сумела, задрапировала свое безобразие, вышла.

Вижу: стоит молодец, ростом ни велик ни мал, коренаст, широкоплеч, дороден, лицо — как свежеиспеченная сайка, глаза — черная коринка, брит чисто, брови — черные, словно дегтем выведены, бел, румян, черноволос, нос грушей,

улыбка во весь рот, белогубая, сахарная; словно и в самом деле, как шутила я с Галактионом, паренек из сахара сделан! Костюм, манеры, голос, речь, ухватки — не надо и подписывать картинку: сразу видать, что выскочил из-за прилавка!..

Объясняет, что получил от Галактиона Артемьевича распоряжение осведомиться, не нуждаюсь ли я в деньгах, а как совпало это с поручением ему от фирмы принять на таможню прибывший заграничный товар, то и осмелился он, чем письмо писать, представиться лично.

Было очень кстати, однако я все-таки осердилась на это появление — опять совсем против нашего уговора с Галактионом... Дросида, «маменька», Аглая Аристарховна, Катерина Бенаресова, впереди предстоят киевская бабка и какая-то хорошая-расхорошая женщина в Марфине, теперь вот выскакивает вдруг еще этот белосахарный гусь лапчатый... Сколько же посторонних людей уже ввязалось в мой секрет? Какая же это, извините, ко всем чертям, тайна?!

Досады своей я белосахарному гостю, конечно, не показала, но и нельзя сказать, чтобы очень любезно приняла его: так — на сухой официальной вежливости. Выписал он мне чек на тысячу рублей, откланялся и ушел. Всего нашего свидания было разве что десять минут.

Назавтра мы с Дросидой укатили в Киев. Я боялась, не стала бы Аглая Аристарховна задерживать, изумляться, отговаривать, требовать объяснения, почему это я вдруг надумалась ни с того ни с сего бросить ее в самое критическое время — может быть, накануне родов. Но лукавая гречанка, выслушав мой отказ, и бровью не повела: всякие виды видывала в своей практике! Думаю, что с приездом Дросиды, как стали мы уединяться да шептаться, она-таки заподозрила, что мы замыслили и стараемся осуществить какой-то план относительно будущего младенца, не очень согласный с законностью, — и рассудительно предпочла, чтобы если это

так, то произошло бы не при ее участии и не в стенах ее приюта.

На прощание еще раз меня обобрала как липку — и расстались дружески.

В Киев мы с Дросидой доехали вполне благополучно. Без запиночки, в самом спокойном и прозаическом порядке все обошлось и там. Родила легко — всего четыре часа помаялась. Мальчика Артемием крестили. Дросида уехала в Москву, а я оставалась в Киеве еще два месяца, при младенце, к которому привязалась очень нежно. Молока у меня оказалось против ожидания мало, и с первой же недели пришлось взять кормилицу. До хохлов и хохлуш я не охотница, выбрала русскую, орловку. Добрая была баба, только урод лицом и глаза — глупей не бывают. Вижу: хорошая женщина, решила взять ее в Москву. Спрашиваю, поедет ли. А она, как услыхала, что в Москву, обрадовалась, аж прослезилась.

— Хоть и жалованья не платите, только отвезите! Обрыдли мне хохлы окаянные. Дразнят меня, что я некрасивая, а — пять лет здесь маюсь, четвертое дите родила.

XXXIX

И вот очутились мы с нею, с этой кувалдой орловской, в родных палестинах, в Москве-матушке. Кувалду с Артюшей прямо с вокзала Дросида — в карету и в Марфино, а я — домой. Назавтра тоже в Марфино прокатилась и я по морозцу под солнцем, на лихаче. Нашла, что устроен Артюша — лучше чего не надо: я сама не сумела бы так. Простота, чистота, порядок. Хозяйка — баба солидная, опрятная, умница, видно, опыта за нею — годы, и не из тех, что, беря питомцев, находят выгодным их голодом морить и в грязном рубище держать. Прямо дает понять: заплатите не щепки, но деньги, но зато уж можете быть спокойны за дитя — уберегу пуще собственного глаза!..

Что кормилицу я привезла с собою, вышло очень кстати, потому что сноха хозяйкина, на которую мы было рассчитывали раньше, принесла двоешек и, стало быть, на третьего ее никак не хватило бы...

Так что в отношении ребенка я имела право успокоиться — и успокоилась. Другое беспокойство мучило меня теперь.

Галактион оправился и писал, что к Рождеству будет непременно — жди!.. Ждала же я его с великим страхом и ненавистью. Прямо этим жестоким словом надо сказать. Что это со мною тогда было и как сталось — хоть убейте, и посейчас не понимаю и не объясню... Но, как вот тогда, помните, вошла перед родами, вошла в меня эта беспричинная злость против Галактиона, так и засела, и стала расти-расти — истинно, как зерно горчичное...

В родовой период я, конечно, не имела ни времени, ни охоты утруждать свои мысли какою-либо иною заботою, кроме как о своем и ребенка здоровье, а о волнующем и печальном старалась вовсе не думать, хотя бы мимолетом. Однако, когда встала с постели, вопрос о связи моей с Галактионом оказался уже как-то непроизвольно и неожиданно — втихомолку от себя самой — выношенным и решенным. И в уме, и в сердце. Словно в остром потрясении родами я сама вся переродилась.

Сейчас — чувствую себя превосходно, как никогда не бывало лучше, в будущее гляжу бодро, весело, бесстрашно, а чуть оглянусь памятью назад на прошлый год — отвратительно... И так этого прошлого года оказывается много во мне, что просто бояться стала одна оставаться: пока на людях, все как будто хорошо и жизнь мила и приятна. А едва одна, лезет в голову Галактион с его ненавистной любовью... Брр!.. Неужели не кончено? Неужели опять?..

Вспоминаю, отбиться не могу от мыслей, и — что дальше, то пуще: ярю себя на стыдную злобу. Мало некрасивой правды — выдумываю, перетолковываю, и все к худу... И до

того в этих выдумках и перетолках запуталась и завралась, что совсем потерялась: навязала себе целое море лжи и недоумений. Злой хаос какой-то в голове, где действительность, где выдумка и клевета, уже не разбираю — все в одной куче! И Галактион сделался в воображении совсем не тем Галактионом, которого я знала, которого свысока ласкала, которым повелевала... Нет, стал мне мерещиться какой-то совсем новый, фантастический Галактион: лукавый грубый зверь, который меня загубил, которого я боюсь, ненавижу, чьи узы мне постыли хуже смерти, и надо их с себя сбросить во что бы то ни стало...

Думала я этак, думала, злобилась да злобилась, отвращалась да отвращалась и — однажды дозлобилась, доотвращалась, додумалась: «А нормально ли это во мне? Откуда взялось — ни с того ни с сего, — будто с ветра налетело? Не рехнулась ли ты немножко, Елена Венедиктовна? Не спятила ли с ума?»

И так ушибла меня эта догадка, что — пойду-ка я, думаю, да посоветуюсь с хорошим психиатром...

Но — хвати-похвати, ан не с кем: все известные психиатры в Москве — Корсаков, Рат, Савей Могилевич, Сербский, старик Кожевников — либо друзья, либо хорошие знакомые: как нести к ним свой секрет? В Петербург поехать — жаль от ребенка надолго отбыть: я привыкла уже получать о нем известия из Марфина ежедневно, а сама навещала его каждую неделю — раз и два, как позволяли обстоятельства.

Хорошо понимала, что при большом моем знакомстве трудно скрыть эти регулярные отлучки в зимнее время: кто-нибудь догадается, проследит и выйдет сплетня. А потому набралась смелости да и пошла сама навстречу, взяла быка за рога. Как-то, знаете, экспромтом вышло. Раз у Эллы Левенстьерн вооружилась мужеством и говорю при всех гостях совсем хладнокровно и небрежно:

— А у меня, Эллочка, необыкновенное приключение. Не чаяла, не гадала — определилась в бонны. Оставил брат Павел Венедиктович мне на попечение некую свою бедную родственницу, Катерину Георгиевну Бенаресову. Бедняжка этим летом овдовела, сама в злой чахотке, живет в жесточайшей нищете да еще недавно произвела на свет мальчика. И теперь у меня — миллион хлопот, потому что отдали мы это милое существо, чтобы мать не заразила, в деревню и на моей обязанности стало — следить, как он там...

Прошло. Только вечная моя смутительница, толстая Матрена Матвеевна, как-то уже очень зорко на меня посмотрела и затем весь вечер все ко мне приглядывалась издали... Вижу и понимаю: другие — кто как, а она ни словечку моему не поверила... Ну, думаю, кажется, я, удало размахнувшись, глупость сделала?! Э, да все равно... Склонна я к внезапностям-то. Натура моя: прыгай в воду, а мелко ли, глубоко ли, лед или кипяток — в ней будешь, узнаешь.

Действительно, с неделю этак погодя говорит мне Дросида, качая головой и сверля глазами-буравами:

— Какая вы, барышня, право, неосторожная! Зачем это было вам болтать у Эллы Федоровны о Бенаресихе и о младенце? Вы бы для полности еще в Марфине адресок дали...

— Откуда ты знаешь?!

— Мишка Фоколев — седни на улице стренулся, от него...

— Фоколев?! Ему-то как знать?

— Довольно просто: чай, ихняя Матрена Матвеевна ему двоюродная тетка, а коли языкам дать веру, еще не ближе ли кто... Была у него вчера в гостях, смеялась и допрашивала: «Ты, Миша, в недавнее время ездил в Одессу, не встречал там барышни Сайдаковой?»

У меня сердце замерло.

— Ну?

— Мишка не глуп и друг верный... «Нет, — говорит, — где же? Я ведь личного знакомства с ними не имею, а только

что капитал их находится временно у меня на счету по случаю отсутствия ихнего поверенного, который есть мой друг и приятель Галактион Артемьич Шуплов...» — «Жаль, — ответила ему Матрена, — а я было хотела тебя переспросить... Тут она нам намедни очки втирала, да как будто не очень хитро...» И выкладывает ему, понимаете, эти ваши напрасные откровенности...

— А он?

— Говорю же вам: парень верный... Говорит: «Меня, тетенька, это дело не касается и нисколько мне не занимательно и, признаюсь, даже не в догаде мне, почему оно вас-то так много антиресует?..» Отвечает: «Антиресуюсь я им потому, что летом уехала в Одессу она, по всем моим приметам, брюхатая, я в свое время и барыне Элле Федоровне так докладывала о ней...»

— И Элле!! — вскричала я, вспрыгнула с места, словно на раскаленный гвоздь села.

— Да-с, и Элле, — подтвердила Дросида, многозначительно поджимая губы, кивая острым подбородком, — только Элла Федоровна не дали ей веры, сказали: «Глупости, если бы что-нибудь было, Лили, конечно, мне открылась бы, она ни в чем от меня не таится, я всегда знаю все ее романы...» Ну, Матрену это и зацепило, что барыня ей не верит в ровную меру против вас, и принялась она с той поры вас выслеживать... И вот умудрило же вас, прости Господи, теперь дать ей карты в руки... Булавочкой бы вам приколоть язык-то, право, булавочкой!

Выяснилось затем, что Матренушка уже успела побывать в адресном столе, нашла квартиру Бенаресовой, и хотя самое Катерину Григорьевну в это время Дросида уже сплавила в желанную ей курскую деревню, но пронырливая баба порасспросила дворников, жильцов-соседей. Что недавняя вдова, ей подтвердили. Что в злой чахотке и трудна, тоже. Но о беременности, родах — никто не слыхивал, и до тепе-

решнего своего отъезда в деревню Бенаресова никуда из Москвы не выезжала.

Все эти сведения Матрена Матвеевна с торжеством принесла и выложила пред Эллой Левенстьерн: видите, дескать, барыня, вы меня обидели, моему глазу не верили, а выходит моя правда: никакой тут Бенаресовой — все вам барыня Сайдакова врет, — а скрывает-питает она собственное свое дитя. Откуда она им раздобылась, с кем пригуляла, этого я сейчас еще не могу доложить вам, но — характер мой любопытный не может утерпеть того, чтобы был секрет, жива быть не хочу, ежели не разузнаю вскорости доподлинно...

— И разузнает, — зловеще заключила Дросида, — она уж такая: вцепилась в нитку, не отстанет, покуда не размотает весь клубок. И это у нее, вы не бойтесь, не со зла, а — натура ейная: чтобы всегда все о всех... Потому: командовать больно любит и чтобы все побаивались ее.

— Со зла ли, натура ли, — возразила я, встревоженная, — однако вон она уже на улице сплетни обо мне болтает...

— Ну где же на улице, — примирительно возразила Дросида. — Миша Фоколев — ее самый доверенный. И он ей за-претил, чтобы она языка не распускала, а, меня встренув, поспешил предупредить, чтобы приняли свои меры... На Мишку Фоколева, барышня, — продолжала она с усмешкой, — вы надейтесь, как на каменную стену: ваш человек...

— То есть — Галактионов, ты хочешь сказать? Мой-то с какой же стати?

Она засмеялась, все свои бледные десна обнажила.

— Врезавшись он в вас ужасно.

— Глупости какие!

— Нет, не глупости, а так: готов по вашему слову в огонь, воду и на крестную муку...

— Вот дурак!

— Да, уж, видно, родом так... Имею честь проздравить: победили...

— Нисколько тем не льщусь, а, напротив, нахожу очень глупою дерзостью с его стороны...

— Да он и сам то же находит, — подхватила Дросида с невинным видом, — жалобился мне давеча. «Вот, — говорит, — полонила сердце мое, ни о чем, кроме нее, не думаю — всегда в ожетах, а нешто я смею? Кабы мне Галактионово счастье, а то — что?»

Получила, Лиляшенька, урок?.. «Дерзость»... «не смеет»... А почему бы, собственно, теперь Мишке Фоколеву и «не сметь» мечтать о любви — не то невесты, не то любовницы своего приятеля и компаньона, и по общественному положению, в конце концов, как там ни называй его, такого же приказчика, как и сам он, Мишка Фоколев? Именно уж, что только в «счастье» разница, а достоинство... Ух, как же в эту минуту всколыхнулись во мне злость и отвращение к Галактиону!

Сдерживаясь, говорю с насмешкой:

— Когда же это я удостоилась чести и счастья завоевать сердце этого белосахарного кавалера?

— А в Одессе, когда он привез вам деньги.

— Помилуй, мы десятью словами не обменялись, не более десяти минут меня видел он...

— А влюбился.

— Быстро же!

— Такая вы оказываетесь скорострельная!

— Нет, это не я скорострельная, а, должно быть, он уж очень пламенный человек...

И удивляюсь: во что было влюбиться? Ведь я тогда чудовище была, урод уродом — об одном старалась, как бы закутаться погуще, чтобы не разглядел...

— Однако вот пронзили... Говорят, не по-хорошу мил, а по-милу хорош... Вы, барышня, — что я вам скажу? — им, Мишкой этим, не пренебрегайте...

— То есть? — вскинулась я на нее.

— Да так: серьезного тут ничего нет...

— Надеюсь! Еще бы!

— А полезен он по своим чувствам к вам всегда может быть — и даже очень... Вот хоть бы и в нынешнем разе: не предупреди он о Матрене Матвеевне, мы бы ничего и не знали, а теперь, спасибо ему, меры примем...

— Какие меры-то? — возразила я, угрюмая, с недоверием.

Она долго молчала, кусала губы, косила глазами, покачивала головой, толкачом своим жидковолосым. Наконец решительно вздернула к ушам плечи-гвозди.

— А что, барышня? Мой совет: коли уж ошиблись, начали, так надо поправлять — кончать...

— То есть?

— Поезжайте вы к Элле Федоровне да наедине, с глаза на глаз, и выложите ей начистоту всю правду, как есть...

— Ты с ума сошла?

— Ни чуточки... Она дама вольного духа, не ханжа, сама в подобных делах терта-перетерта, а доверие от вас будет ей лестно: этакие дамы-госпожи любят, чтобы подружек брать под свою опеку и покров... Можете твердо надеяться: сама будет молчать и Матрене Матвеевне завяжет рот... А этой, вы разрешите, расскажу я. Потому что того-то, чтобы они между собою вдвоем не перешептались, этого я никак не ожидаю. Элла Федоровна у Матрены вся в руках: между них скрытого нет. Так вот, ежели вы принимаете мой плант, давайте условимся, что им говорить, чего — нет, чтобы не вышло разнословья...

И, видя, что я хмурюсь, колеблюсь, продолжала с проницательной, прескверной усмешкой:

— Что? В Галактионе признаться не хотите? Обидно вам? Так его можно и побоку...

— Как побоку? — встрепенулась я. —Что ты плетешь? Куда же его деть?

— Так очень просто. Если ухитрились мы, что вместо вас Бенаресиха дитя родила, то неужели мудреное дело, чтобы вместо Галактиона кто-нибудь другой дитя это сделал?.. Ну? Что это, право, какая вы непонятная? Смотрите, будто никогда меня не видали. Выберите в своей компании, между ухажерами-то вашими — немалая, слава Богу, орда! — мужчинку поприглянее, от которого было бы вероятно, да и валите на него, раба Божья...

— То есть ты мне советуешь — оклеветать человека? О Дросида! Подлость какая!

— Уж и подлость! Уж и оклеветать! Подумаешь? Что вы — уголовщину или какой-либо позорный поступок, что ли, ему на плечи взваливаете? Самое обыкновенное мужчинское делишко. Полюбились да разлюбились, ясный сокол свое взял и отлетел, соколена оплошала, яичко снесла. Обида — вам, а ему — что же? Был молодцу не в укор — даже лестно!..

— Не знаю, что может быть лестного в том, чтобы таскать на плечах чужую вину.

— Донжеваном прослывет, дамье-бабье на него вешаться почнет. Ведь это уж так у нашей сестры: только удайся мужчинке с одною недотрогою, другие пойдут прыгать ему на шею, как козы... А если уж вам так жалко, что бедняжка терпит напрасянку, платит за обед, где не кушал, так вы, барышня, чтобы не вовсе была клевета, того... возьмите да наградите...

И преподло ухмыляется, подмигивает.

Я вспыхнула.

— Ты невозможно забываешься, Дросида! Не берешь в рассуждение, ни что ты говоришь, ни с кем говоришь...

А она с невинною наглостью таращит на меня свои бельма, будто невесть как удивлена.

— Что я сказала? Ничего я не сказала... Заплатить, говорю, можно за неудовольствие, если слушок пройдет, толь-

ко и всего... Не знаю, с чего вы вскинулись, что вам помстилось...

Она говорит, а мне в голову вступило воспоминание, как в январскую ночь, убежав было от Галактиона, хотела я, растерзанная, ехать на ночевку к Элле и собиралась объяснить свой безобразный вид покушением нахала Беляева... Милый такого сорта, что о нем и без доказательств всему поверят. «Тен може!» — как говорят поляки. Наклеветать на него действительно нельзя: можно только, так сказать, переместить правду — не со мною, так с другою, а уж был свиньей... И, если дойдет до него сплетня, то именно, как аттестует Дросида, ничуть не обидится, а почтет за лестное и даже сам прибавит и подробностями распишет...

Дросида про этого Беляева слыхала, репутацию его знала, а как сказала я ей, что он прошлою зимою уехал в Одессу и не был, а может быть, и вовсе не будет назад, — обрадовалась:

— Чего же вам лучше? Прямо Бог на шапку посылает. Так складно выходит, словно и не время. Погодите: я сегодня побегаю по Москве — наведем справочки, — может, что и еще перепадет на нашу долю...

И перепало: разнюхала Дросида, что этот московский Дон Жуан, Беляев, женат. С женою врозь и выдает себя, будто разведен, но врет: Дросиде знакомый сыщик в том участке, где он прошлый год квартировал, выложил о нем всю подноготную. И, наслушавшись беляевских анекдотов, сплели мы, две бабы, из них такое вранье, что сколько ни был горазд лгать сам Беляев, но мы перелгали и всего кругом оболгали.

Удивительное это дело, скажу вам! В девушках, сызмальства, жила я, слова неправды не говоря, даже и в шутку приврать не любила. Теперь, доживая бабий век, подите спросите, кого хотите: можно ли верить Елене Венедиктовне? Всякий, ежели не подлец, скажет: верь, как в аптеке, ее слово — олово.

А в те окаянные годы, когда я ко дну шла, словно врущий бес меня обуял — воистину, отец лжи и всякого лукавого наущения. Только дай мне намек, а у меня уже и вдохновение: такое сплету, такого напутаю в один момент — писателю день думать не выдумать. И все ясно, просто, естественно, убедительно, честным голосом, со светлыми глазами, не краснея... Бес, истинно говорю вам, бес меня одолел и во мне сидел!

И выскочил он, окаянный, из меня только тогда, когда, пролетев всю глубину с поверхности до дна, ударилась я о дно с такою силою, что надолго потеряла всякие человеческие чувства — вроде, знаете, долгого обморока наяву... В скотском порабощении, в скотском трепете... тьма!.. И никакого просвета... ни точечки белой впереди — все черно!.. И, знаете, как путник в ночи, безмерно усталый, бросается на землю где попало — дороги не видать, а все равно, где лежать, — так и я, бывало, повалюсь на постель ничком и лежу часами, нос уткнув в подушку, реву:

— Господи, да что же это? Неужели я хуже всех Твоих тварей на свете, что отвернулся Ты от меня? Пожалуй же, не отрини меня, самое себя от Тебя удалившую и бесплодных ради дел ныне обнищавшую!

XL

Разделала я драму пред Эллой: давай Бог Ермоловой сыграть на сцене! И, собственно говоря, все солгавши, ни в словечке, однако, не солгала, потому что подробно рассказала ей всю свою январскую историю, только с маленькой поправочкой — вместо Галактиона Беляева подставила. И так как уж очень ненавистны были мне эти воспоминания, то искренне и правдоподобно выходило... В настоящую дрожь истерическую впала, зубы стучат, слезы градом... в самом деле всякое самообладание теряю...

Элла была потрясена, расчувствовалась, тоже задергало ее, папиросу за папиросой курила, облака нагустила в комнате. Дошла я до рассказа, как поехала в Одессу — в намерении догнать, увидаться с Беляевым и умолять его, чтобы он женился на мне, но он оказался совершенным мерзавцем, рассмеялся мне в лицо, с ним была уже другая женщина, — и так далее...

Элла всплеснула руками.

— Лили! Бедняжка! Да разве ты не знала, что он женат?

Я — как вскочу:

— Что? Женат? Как? Женат? Этого только не доставало!

И — бух в обморок!

Вы думаете, в притворный? Сыграла? Нет, в том-то и дело, что в самый настоящий: двадцать минут в себя привести не могли! Выходит, что до того хорошо играла, что доигралась... Вот вам: на заправской сцене ничего не могу, а в жизни — пуще Ермоловой.

Дросида верно угадала: своим секретом я Элле новую интересную игрушку дала, увлеклась она, и пошла между нами конфиденция пуще прежнего. Она со мною и в Марфине побывала. Умилилась. Нашла, что планы фантастические...

— Как хочешь, — твердит, — а нельзя, чтобы Беляеву это милое похождение сошло даром. Пусть только покажется в Москву. Мы заставим его развестись с женой и жениться на тебе...

А я, говоря о Беляеве, а про себя думая о Галактионе, возражаю:

— Никогда! Ни за что! Мне все равно теперь, женат он, холостой, вдовец, свободен или связан, хочет меня или не хочет. Я его не хочу — понимаешь, я! Он мне постыл, противен, отвратителен... Вся моя гордость кипит от негодования, чуть помыслю, что я принадлежала ему! Я, дитя свое чтобы любить, стараюсь забыть, что оно от него, а ты хочешь ви-

деть меня его женою!.. Да меня замучит уже одно сознание, что он получит права на меня, уже одна необходимость носить его фамилию... Я с наслаждением кожу с себя сорвала бы всюду, где он целовал и обнимал меня, а ты думаешь, что я в состоянии жить с ним...

И так часто, так много, так яростно распространялась я о том — говоря о Беляеве, а в уме держа Галактиона, — что однажды уже и Элла пришла к сомнению, которое раньше я сама о себе возымела.

— Знаешь ли, моя Лили, горе твое я вполне понимаю и разделяю. Ненависть твоя тоже вполне естественна и законна. Но ты переживаешь свой кризис в возбуждении, которое мне кажется опасным. Так взвинчивать себя нельзя. Ты наживешь себе невроз...

— Что же мне делать, если я не в силах с собою справиться?

— Посоветуйся с Корсаковым. Он тебе поможет.

— Как же я могу, Элла? Ведь это же новое признание... пред чужим человеком... Я никогда не решусь...

— Не пред чужим человеком, — поправила она, — а пред врачом. У них тайна. Врач — все равно что духовник.

— Ах, как будто духовники никогда не пробалтываются!

— Удивляюсь, — возразила Элла, — право, удивляюсь я на тебя, Лили... Каким-то повивальным бабкам, какой-то Дросиде, какой-то сомнительной госпоже Бенаресовой, какой-то деревенской бабе в Марфине ты не боишься доверяться...

— Кто тебе сказал, что не боюсь? Очень боюсь, ужасно боюсь, но... это уж так вышло, само собою... А тут...

— Надо самой взять инициативу, и духа не хватает, — перебила она, окружаясь дымом новой папиросы. — Глупо, chèrie*. Имеешь дело не только с врачом, обязанным к про-

* Дорогая (*фр.*).

фессиональной тайне, но и из врачей-то едва ли не с самым порядочным человеком во всем их сословии, сколько есть в Москве... Можешь быть уверена: выслушает тебя, совет даст и — похоронит в себе, как в могиле…

— Да! А встречаться как с ним потом, как ему в глаза смотреть, зная, что он все знает?

— А, мон Дье!* Ты же не намерена, надеюсь, раззнакомиться со мною — встречаемся, как прежде, и в глаза одна другой прямо смотрим, хотя я тоже все знаю...

— Ты, Элла, другое дело: ты подруга...

— Ах, Лили, поверь, что в отношении тайн врачи гораздо надежнее подруг...

— Присутствующие, конечно, исключаются? — улыбнулась я через силу.

А она, обкуривая меня папиросой, преспокойно возражает:

— Представь себе: я даже в этом не уверена. Потому что у меня ужасно чешется язык — все рассказать о тебе Сергею Сергеевичу... И, если ты не решаться намерена, извини за выражение, мямлить, то даю тебе слово: я ему сама доложу твои приключения и затем — хоть убивай меня из револьвера!

— Тебя я из револьвера, конечно, не убью, но — как бы мне самой не застрелиться со стыда и страха.

— Не понимаю, почему надо стреляться из-за того, что узнает профессор Корсаков, если не стрелялась, когда узнали Дросида, Матрена Матвеевна и прочие...

— Потому что они, каковы бы ни были, женщины.

— Так что ж?

— Моя тайна, — женская тайна, мое дело — женское дело. Между женщинами — хороша ли, плоха ли — есть известная солидарность... взаимопонимание... А тут — обнажать свою душу пред мужчиной...

* Боже мой! (*фр.*)

— И совсем не пред мужчиной, а пред врачом-психиатром. Врачи, душа моя, пола не имеют.

Уговаривала-уговаривала и уговорила.

Трусила я у Корсакова в приемной, кажется, больше, чем перед родами. Но Сергей Сергеевич был такой необыкновенный! Как только он в кабинете усадил меня против себя да начал добро поглядывать на меня ласковыми карими глазами, болтая веселым языком о том о сем, словно ему, занятому-то этакому человеку, и времени вовсе не жаль, — весь мой страх прошел, и стеснения в груди не стало, и говорить сделалось легко.

И я заметила даже, как и когда перескочили мы с пустяков, от оперы да разной городской молвы, на серьез — к моему состоянию душевному и телесному. И сижу я перед ним — мужчиною, да еще красавцем писаным! Одет картинкой! — и рассказываю ему, что называется, вся своя откровенная, гораздо свободнее и подробнее, чем даже Элле признаваясь, — и никакого стыда и страха... Чудотворец, право!.. В самом деле, будто бесполый — не от плоти, а как-то повыше, так что нам, плотским грешникам, не конфузно с ним. Словно пред тобою не другой человек, а так — вроде живого зеркала. Всю себя в нем увидишь, а осуждения тебе от него нет — кроме того, которое ты сама в себе носишь. Не судья, а лекарь.

Много мне помогало, может быть, и то, что пред Корсаковым не надо было разыгрывать лживой комедии о Беляеве, как пред Эллой. Доктора имен не спрашивают. Просто объяснила, что вот, дескать, имела несчастие подвернуться насилию от человека, мне антипатичного, который овладел мною пьяною, — в это время я уже совершенно убедила себя, что так оно все и было: *насилие* над пьяною! Потом-де из гордости и самолюбивого стыда сознаться, что была изнасилована, переломила себя, заставила себя любить этого человека и как будто успела в том: стерпелось-слюбилось.

Сына родила, могу, когда хочу, грех покрыть и замуж выйти. Но... нет, не в состоянии!.. Отвращение до ненависти... беспричинное, стихийное какое-то... Даже против воли, потому что если сердцем человека не люблю, то по совести и рассудку ничего против него считать не могу, сознаю его хорошесть и уважаю...

Корсаков выслушал меня с любопытством; много медицинских своих вопросов мне задал; повыпытал об отце, матери, близкой родне, не было ли душевнобольных, неврастеников, алкоголиков, эпилептиков; по женским нашим окрестностям подробно экзаменовал; веки мне поднимал, глаза высмотрел... Вижу я по чуть насмешливому огоньку в его глазах великолепных, по движениям с ленцою, как он осмотр производит, что в голове у него — обо мне: «Здоровехонька... Так, заблажила девка — распустилась и собраться не хочет...»

А я жду — сама не знаю, радоваться мне его насмешливому добродушию или обижаться.

Кончил, пожал плечами, развел руками и только одно слово сказал:

— Бывает!

— То есть, профессор?

— Бывает, говорю. Видали «Уриэля Акосту»? Бен Акиба говорит: «Бывало все, да, всякое бывало». В прошедшем времени. А я, как помоложе Бена Акибы, в настоящем говорю: «Бывает все, да, всякое бывает».

— А для будущего что вы скажете?

— А будущее, Елена Венедиктовна, знают пророки и колдуны, то есть хвалятся, будто знают. Я ни к тем, ни к другим не принадлежу и, с откровенностью говоря, терпеть их не могу...

— Обо мне-то какое же заключение вы вывели?

— Самое для вас лестное, Елена Венедиктовна.

— Да нет, вы не шутите, Сергей Сергеич, скажите прямо: здорова я или больна?

— Гм... Как любит выражаться наша с вами приятельница, милейшая Элла Федоровна, за depend...*

— От чего, Сергей Сергеевич?

— От того, что вам больше улыбается — быть здоровою или больною.

— Значит, здорова?

— Физически — безусловно.

— А морально? А душою, профессор?

— Душою... Чужая душа, говорят, потемки...

— Помилуйте, Сергей Сергеевич, вы же знаменитый специалист! Уж если для вас потемки...

— Увы, представьте, и для меня... Ужасно коварные потемки!

— Значит, я больна?

— А я же вам сказал: за depend... Вы как считаете: когда вы примирились с этим господином, о котором вы свидетельствуете так разнообразно и даже, извините, немножко противоречиво, и почувствовали к нему, скажем, привязанность, вы были здоровы или больны?

— По-моему... здорова...

Корсаков весело усмехнулся.

— Значит, теперь вы больны.

— А если нет?

Он совсем уже рассмеялся, блеснул зубами — слоновою костью между черным бархатом усов и бороды.

— Тогда вы теперь здоровы, а раньше были больны.

Я обиделась.

— Это не ответ, профессор.

— Что же я могу еще сказать вам? Вы недавно родили... Мало ли какие... — Он поискал слова, я так и ждала, что скажет «блажи», но он сказал вежливо: — Аффекты... бывают у молодых выздоравливающих родильниц... Вы же еще

---

* Смотря по обстоятельствам...; посмотрим.... (*фр.*)

немного истеричны, и наследственность у вас не то чтобы опасная, однако и не вовсе блистательная... Вы своего возлюбленного не полюбили, а была у меня пациентка, тоже молодая мамаша из первородящих, слезами обливалась: «Что мне делать, профессор? Обожаю своего ребенка, а видеть не могу: хочется мне перекусить ему горло...» Ничего... Прошло... И у вас пройдет...

Но я вместо того, чтобы обрадоваться, испугалась:

— Пройдет? Итак... это временное?

— Все, что мы переживаем, временно, Елена Венедиктовна.

— Следовательно, мне надо лечиться?

— Лечиться никогда не лишнее.

— Ах, профессор, вы смеетесь надо мною!

— И не думаю, и не смею, но я, право, не знаю, чем вас утешить. Вы преисполнились отвращением к вашему возлюбленному, находите это неестественным и полагаете, что вы больны...

— Нет, я нахожу естественным и думаю, что я здорова.

— В таком случае, чего же лучше и о чем же речь? Я-то вам зачем же? Остается поздравить вас с радостью выздоровления, с советом не заболеть вновь, что, по-моему, очень возможно...

— Вы хотите сказать...

— Что вы не гарантированы от воспламенения прежним вешним чувством.

— Это было не чувство, профессор! — возмутилась я. — Не называйте это чувством, не было у меня к нему чувства!

— Ну, если вы придирчивы к словам, ищете строгой определенности и... позволяете, то скажем точно и грубо: хотением.

— Это чрез отвращение-то?!

— Елена Венедиктовна, я же имел честь доложить вам: все, что мы переживаем, временно и условно.

— Для меня, профессор, такая временность и условность разрешились бы в тот ужас, что, хочешь не хочешь, а должна я буду завязать свою жизнь в один узел с противным человеком, которого не выношу...

— Дорогая Елена Венедиктовна, в эти обстоятельства я входить не могу. Тут уж я решительно ничем помочь не в состоянии. Это вне компетенции моей науки...

— Тогда... сделайте хоть что-нибудь так, чтобы это прошло!

— Что именно? — озадачился он, брови на лбу подняв.

— Ну по крайней мере, уж если мне судьба... то — хоть отвращение-то снимите с меня!

— Да ведь вы же говорите, что оно — от здоровья?

— Не надо мне здоровья... такого... Пусть я буду опять больна...

Корсаков опять не утерпел, рассмеялся:

— Прикажете то есть лечить вас от здоровья и дать вам приворотный корень? Так его нет в аптеках... Вот что, Елена Венедиктовна, мой вам сказ: все это у вас от разлуки. Дождитесь-ка вы возвращения вашего жениха...

— Ах, — сморщилась я и затрясла головой, — только без этого слова, ради Бога... без этого ненавистного слова...

— Ну, как вам будет угодно... Увидитесь — и поступайте, как вам душа подскажет, как взглянется... Всего вероятнее, что ваша драма, как скоро ваши расходившиеся нервы замолчат и успокоятся, кончится разрешением желательным и благополучным, без трагических эффектов, без разрыва и прочего, прочего... Продолжаете качать головой?

— Никогда, Сергей Сергеевич, я уверена, что никогда.

— Э! В чем человек может быть за себя уверен, женщина тем более? Если нет, если не стерпится и не слюбится вторично, как было первично, то вы же вольная птица: ваше дело, как вам поступить и собою распорядиться... Микстурку и порошочки против нервного возбуждения я вам все-таки,

пожалуй, пропишу. Позабавьтесь, попринимайте — если лучше не станет, все же развлечение... Ну, и регулярное медицинское обязательство всегда полезно: вводит порядок в жизнь, контролирует машину организма.

Ушла я от Корсакова, совершенно им очарованная, но и немножко обиженная втайне. Досадным мне казалось, что мое странное состояние он толкует аффектом, движимым чисто физиологическими причинами. Хотя я, как большинство девушек в интеллигенции моего времени, воспиталась в материалистических взглядах, но это, как у большинства же, было больше на словах. А на деле я, как опять-таки большинство подруг, очень решительною перегородкою отделяла свой духовный мир от физического и придавала влиянию тела на душу гораздо менее значения, чем души на тело. И теперь мне стало противно и досадно, что состояние, которое я считаю психологическим изъяном, объясняется каким-то физиологическим капризом. И в виде лечения чуть не прямо предсказывают мне новую близость к тому самому человеку, отвращения к которому я одновременно и стыжусь, как несправедливости, и избыть его не хочу, потому что в нем — мое освобождение от безумной ошибки, загубившей уже целый год моей женской жизни и угрожающей погубить всю остальную жизнь.

Книга третья

XLII

От автора

Встреча Елены Венедиктовны с возвратившимся Шупловым была довольно схоже изображена мною в «Ребенке». Получив телеграмму от Шуплова, что он уже в пути, Елена Венедиктовна струсила и надушилась — по ее выражению — «забежать зай-

чиком вперед». Послала ему в поезд телеграмму, по номеру поезда и по расчету времени прибытия на станцию Козлов, что она нездорова, встретить его на вокзале не может и просит его остановиться на прежней квартире, а к ней быть в таком-то часу, и непременно без опоздания, потому что «надо поговорить». Подписалась без фамилии и не «Лили», а Еленою.

Получив телеграмму, Шуплов ехал дальше в немалом смущении.

«Надо поговорить...» Ну да, разумеется, надо поговорить, если муж и жена (иначе он своих отношений с Лили уже не понимал) не видались полгода. Но как странно пишет Лили! Выходит, будто она зовет меня... да нет, даже не зовет, а «приглашает» только потому, что «надо поговорить».

Ползли в голову неприятные, подозрительные мысли. Успокаивал себя тем соображением, что-де «неумелая редакция», но, как нарочно, на телеграммы-то Елена Венедиктовна была большая мастерица: напрактиковалась, бегая на свидания в «лисью нору» и прикрывая их забегами во флигель телеграфа...

«Да и зачем вся эта телеграмма?.. Просьба остановиться на прежней квартире... Словно боится, что я нагряну к ней невзначай — как с неба упаду, без предупреждения... И — Елена... Почему Елена?! С каких пор она стала для меня «Елена»?.. И о мальчике ни слова... Странно, чрезвычайно странно...»

Но чем ближе поезд подвигал Шуплова к Москве, тем бледнее выцветали его опасения. Радость близкого свидания с любимой женщиной заливала душу волною такого полного, светлого счастья, что черным думам не осталось места в уме: прилив любви их вытеснял.

На вокзале Шуплова ждала высланная Еленою Венедиктовною навстречу Дросида. Ее спокойный вид и тон окончательно сняли тревогу с взволнованной души влюбленного жениха. Дросида объяснила, что хотя нездоровье барышни лег-

кое, но встретить Галактиона на вокзале она побоялась из-за стоящих морозов: ехать-то ведь через всю Москву! А остановиться у нее на квартире неловко, потому что гостят-де тетушки-старушки, приехавшие из глухой провинции хлопотать по своему судебному делу. Правда, они по целым дням блуждают по Москве, навещая родню, знакомых и своих адвокатов, но каждую минуту могут и явиться неурочно домой — какая же приятность? Барышня, мол, нарочно выбрала для тебя такой час, когда их наверное не будет дома.

Елена Венедиктовна решила покончить дело первым же объяснением. Предвидя сцену неприятную и, может быть, бурную, она после того, как Дросида возвратилась с вокзала и подробно доложила ей, каким она нашла прибывшего Галактиона, услала хитроумную свою наперсницу из дому, чего, впрочем, Дросида и не подумала исполнить. Выпроводив ее черным ходом, барышня сама, собственноручно заперла за нею дверь на ключ. Дросида же, слегка улыбнувшись на это, дошла не дальше дворницкой, где и просидела, точа лясы со стариком дворником и поглядывая в оконце на улицу, покуда к воротам не подъехал Шуплов. Тогда, дав ему войти в квартиру барышни, Дросида преспокойно возвратилась вспять, открыла дверь запасным ключом, беззвучно, как мышь, проскользнула в кухню, из кухни в комнату, бывшую барышни. Оттуда, через стену, ежели открыть ночной отдушник, слышно было все из бывшего кабинета Павла Венедиктовича, который теперь занимала барышня Лили, — все равно как, если бы быть в самом кабинете, не только каждое слово, но и каждый шорох.

Елена Венедиктовна была в жестоком волнении. Опустила шторы на всех окнах квартиры, ломая руки, хрустя пальцами, ходила взад и вперед через те передние, что на улицу, комнаты — ждала ненавистного звонка.

Раздался он, порывистый и яркий. Лили, трижды сменив в лице пурпурный румянец и меловую бледность, вышла

в переднюю, открыла и быстро отскочила назад в залец, схватившись обеими руками за горло, делая вид, будто боится простуды.

— Как? Сама? — весело вскричал знакомый голос. — Ой, какое неблагоразумие! Уходи, уходи, Лили: я с холода, шуба промерзла... около меня, как у сугроба...

Елена Венедиктовна, пока Шуплов снимал в передней верхнее платье и теплую обувь, искренно желала, чтобы шуба с него не лезла, руки застывали в рукавах, ботинки не снимались с ног — чтобы, словом, это уже после нее, минутное отсутствие его перед неизбежной встречей длилось бы долго-долго, — казалось, — хоть всегда...

Но вот Шуплов вошел. Радостный, бойко, весело, даже шумно. Широко раскрыл ей объятия, схватил, сжал ее. Елена Венедиктовна, растерянная, нерешительно подставила ему безответные губы. Когда же поцелуй затянулся, тихонько уперлась в грудь Галактиона ладонями и незаметно освободилась, ускользнула из его рук. Трюмо показало ей пламенно покрасневшее лицо, полное смущения и испуга. Села на диван и как бы нечаянным толчком сдвинула ближние кресла и преддиванный круглый стол так, чтобы они совсем загородили ее, — подойти и подсесть к ней стало нельзя.

— Как ты поздоровела и похорошела! — восторгался Шуплов. — Девочка ты моя! Да такая же ты молоденькая и хорошенькая! Да никак тебе опять восемнадцать лет?!

Елена Венедиктовна отвечала на шумные возгласы Шуплова сдержанно, боязливо... Ну, и он ответно довольно быстро стих...

— Что ты такая скучная?

— Нет, ничего... Устала немного: нездоровится мне уже третий день...

— Говорила мне Дросида. В беспокойство меня привела, да как тебя увидал, вижу: этакая ты цветущая — дай Бог не сглазить! — увлекся и забыл, дурак этакий!.. Доктор был?

— Вот еще! Очень нужно!..

— Что же перемогаться-то? Если чувствуешь себя усталой, ляг, отдохни...

— Когда ты уйдешь, так и сделаю, но теперь оставим меня с моим здоровьем — рассказывай о себе...

Шуплов заговорил о своей поездке, о своих удачных делах, о несчастье, постигшем его на шоссе близ Томска, о болезни и выздоровлении. О том, как нет худа без добра: несчастное приключение еще более расположило к нему Иваницкого, так что благодаря новым благодеяниям и поручениям сибирского Креза он теперь чувствует себя на твердом пути к крупной состоятельности...

— Я обещал тебе, Лили, что ты будешь богата со мною, и сдержу слово: скоро, очень скоро будешь богата!

Говорил долго. Но вдруг среди речи осекся — уставился в лицо Лили испуганными глазами: заметил, что она его нисколько не слушает, занятая чем-то своим, а на него смотрит странно, с затаенностью какою-то, словно ей необходимо что-то особенное сказать ему, но не смеет... И кольнуло его в сердце нехорошим предчувствием: «Вот оно — поговорить-то надо… Давешняя телеграмма!»

И страстно, и страшно захотелось ему, чтобы не надо стало поговорить, чтобы Лили раздумала говорить это вот свое затаенное, что блуждает в темно-голубом сумраке ее тревожных глаз, что сказать она порывается — и не смеет.

А Елена Венедиктовна, видя, что он ее разглядел, угадывает и испугался, тоже испугалась, зачем уже разглядел, угадывает и испугался. И во взаимной переглядке странными глазами забегал между ними взаимный страх, и смолкли речи…

— Что с тобой, Лили?

Робкий, трепетным голосом брошенный вопрос зажег румянец на щеках побледневшей было женщины. Елена Венедиктовна решилась. Порывисто встала, оттолкнула кресла.

— Нет, так нельзя! — сказала, ломая пальцы. — Я не хочу... Я должна сказать прямо... Послушайте! Между нами больше не может быть ничего общего. Не ждите, что наши отношения продолжатся... Я затем и взяла вас, чтобы сказать... Вот!

Залпом, в один дух высказав, отвернулась к трюмо и, задыхаясь, стала без всякой надобности поправлять бывшую в совершенном порядке прическу. Видела в стекле, что вся красным огнем пылает.

Шуплов стоял ошеломленный.

— Что с тобой, Лили? — повторил он, жалко улыбнулся.

Она не отвечала.

Тогда Шуплов побагровел, на лбу его надулась толстая синяя жила, глаза выкатились, налившись тусклым свинцовым блеском. Он шагнул вперед, бормоча невнятные слова.

Елена Венедиктовна еще никогда не видала его таким. Она вскрикнула и, обратясь к Шуплову лицом, прижалась спиной к стеклу трюмо.

Шуплов отступил, провел по лицу рукой, круто повернулся на каблуках и, повесив голову на грудь, зашагал по комнате с руками, закинутыми за спину, — пальцы, еще красные с мороза, шевелились в крепком своем переплете, словно ножки бегущего краба. Елена Венедиктовна следила за каждым движением Шуплова округленными глазами и со страхом, и с отвращением.

Остановился пред нею.

— Давно это... началось? — спросил, глядя в сторону.

— Что?..

— Ну... да вот это! — вскрикнул нетерпеливо и, не дожидаясь ответа, махнул рукой и опять зашагал.

Елена Венедиктовна молчала, враждебно глядя пред собой. Коротко ответить не находила подобных слов, а много и подробно говорить не хотела: боялась, что не сумеет и за-

путается... Настроение ее было настороженное, зыбкое. Тот фантастический звериный образ, в котором она измыслила и приучила себя представлять Шуплова за время их разлуки, владел ею все время, покуда она ждала Галактиона одна в пустой квартире, и переполнял ее страхом. Когда Галактион вошел к ней, она еще держала в уме фантастического зверя, и только страх пред его воображаемой лютостью заставил ее принять его поцелуй. Заговорили — увидала, услыхала прежнего Галактиона, страх исчез, — остались только отвращение и решимость отвязаться.

— Послушай, Лили...

Она в упорном, тупом молчании обратила к нему холодные, чужие глаза.

— Послушай...

Он хрипел, с трудом глотая вдыхаемый воздух.

— Послушай… отчего же это так? Ведь я... я, кажется, ничего не сделал против тебя такого, за что стоило так круто перемениться ко мне...

Елена Венедиктовна ободрилась: зверь был решительно не страшен — вернулся из Сибири тою же смирною овцою, как уехал.

— Да, вы — ничего, — возразила она, — то есть по крайней мере… ничего нового... Но я пережила много... о, как много!

— Ты другого полюбила? — быстро спросил Галактион, сразу весь бледный, отчего на лице его некрасиво и неприятно покраснели рубцы и шрамы. Елена Венедиктовна только теперь разглядела, как, должно быть, сильно был он разбит: лицо в трех местах было сшито, и следы швов тянулись еще свежими дорожками по щекам, взбегая на нос, по лбу, пересекая оплешивевшую левую бровь.

— Нет... я никого не люблю... Я только много думала, продумала и прочувствовала наши отношения и убедилась, что мы с вами не пара...

Очередь молчать пришла Шуплову. Долгая тяжелая очередь. Сидел у стола, глядел в скатерти, барабанил пальцами…

— Что же так поздно, Лили? — с горечью сказал наконец, качая головою. — Я ведь такой же, как был. Беда моя, конечно, красоты мне не прибавила...

— Ах, оставьте, пожалуйста, об этом, — резко, надменно перебила она, — что за новости? Когда это было, чтобы я пленялась вашей красотой? Разве в том дело?

— А что до прочего… Лили! Не я ли тебе говорил сколько раз: где же мне равняться с тобою? Ты умница, красавица, образованная, а я — что?! Сама же ты мне зажимала рот: молчи! Это все равно! Я тебя люблю!.. А теперь, когда я думал… имел право думать, что мы связаны неразрывно, когда у нас есть ребенок… Теперь… ты разглядела то, что, кажется, никогда скрыто не было... и сама, собственными руками, одним взмахом разрушаешь нашу любовь…

— Не говорите о любви! Какая любовь?. Не было любви!

— Как не было, Лили! Что ты?

— Никогда, никогда!

— Ты не любила меня?

— Нет!

— Да что же тогда было между нами? — вскричал он, схватясь обеими руками за голову. — Я не знаю... не понимаю!.. Ты знаешь, что я смотрел на тебя свято, как, не хвалясь, скажу — редкий муж смотрит на жену... А ты говоришь: не было любви! Что же было?

— Грязь была… безумие…

— Лили, опомнись! Что ты говоришь?!

— Дело говорю. Припомните, как это началось, так и нечего удивляться, чем кончается…

— Сколько же раз, Лили, ты приказывала мне, чтобы я никогда не поминал об этом начале, что оно стерто, забыто...

— А вы и обрадовались?

— Нет, Лили, не обрадовался... Я как тогда сказал, что за свой грех повинен заплатить тебе всею моею жизнью, так и теперь неизменен в мыслях. Я тебе только твои слова и чувства напоминаю, а сам я ничего не стер и не забыл, и грех мой всегда предо мною…

— Да не о вашем грехе я говорю, — с нетерпением перебила Лили, — что мне до вашего греха: сведены счеты!.. Не на вас, на себя плюю… Моя грязь, мое безумие, мой грех…

— Не клевещи на себя, Лили!

— Не клевещу, а правду говорю. Распустилась, дрянь животная! Самка! Чувственница! Бросилась в безлюбный разврат — вот и доразвратничалась...

— Лили! Лили! Какие мысли! Какие слова!

— Самые правдивые в нашем нелепом положении.

— Лили, вспомни, с кем ты говоришь!

— С сообщником в разврате, которого я не хочу продолжать!

— Нет, Лили. Пред тобою отец твоего ребенка. Ты мать и, наверное, любишь свое дитя. Как же тебе не совестно обижать его?

— Чем это я свое дитя обижаю?

— Тем, что говоришь, что он родился из грязи и безумия. Нехорошо, стыдно, Лили!

— Дитя не виновато в том, что мать негодница!

— Но мать, которая клеймит себя подобными словами, очень пред ним виновата!

— Что же, по-вашему, мне самоотчет запрещен?

— Да это вовсе не самоотчет, Лили! Если бы это был действительно самоотчет, это было бы ужасно!

— Ну и ужасайтесь!

— Не за себя, а за тебя и за ребенка, у которого ты таким самоотчетом мать отнимаешь!

— Оставьте моего ребенка в покое!

— Не могу оставить: мои права на него те же, что твои.

— В этом вы горько ошибаетесь. Какая бы я ни была, я мать. Моего материнства у меня никто и ничто отнять не может. Изменить в нем что-либо — тоже. Артюша — кусок моего тела, поняли? А вы при чем? Вы, как всякий «родитель», — злобно подчеркнула она голосом, — в его рождении случайность — и больше ничего!

— Лили!

— Да что — «Лили»? — передразнила она в нахлынувшем приливе бешеного вызова. — Я двадцать восьмой год Лили!.. Не учите, пожалуйста! Я-то себя знаю, какая я. А вы что знаете? Права на ребенка — вам? Да почему вы так уверены, что это у меня ваш ребенок?

Шуплов пошатнулся — глаза затмились — чуть не упал — удержался за спинку кресла.

— Вздор! — прохрипел он, борясь с охватом головокружения. — Вздор! Нарочно лжешь, чтобы оскорбить меня. Не верю, уши затыкаю, чтобы не слышать. Не лги!

До замутившегося гневом сознания Лили дошло, что она зашла слишком далеко, но, разгоряченная, она уже не в состоянии была сдержаться — язык владел ею, а не она языком.

— Ну и пусть вздор!.. — грубо крикнула, враждуя голосом и глазами. — Ну и пусть лгу!.. Ваше, ваше произведение — можете утешаться!.. А никаких ваших прав на ребенка признавать я все-таки не намерена... Мой — и больше ничей!.. И никакого отца ему не нужно!.. Мой!.. И не навязывайтесь, пожалуйста, не то...

— Лили, ты говоришь бессмыслицу... довольно!

— Сами вы бессмысленны с вашею расколоченною о шоссе головою! Отстаньте от нас, говорю вам, или я в самом деле не пожалею себя, на весь свет накричу, что сама не знаю, от кого родила, — в двадцати любовниках признаюсь, только не в вас... нет, не в вас!

— Лили, перестань! Это не ты, не ты говоришь! Тобою овладел дьявол! Это он водит твоим языком и подсказывает тебе низкие, недостойные тебя слова...

— Ну да, дьявол! Как не дьявол! Ха-ха-ха! Вы охотник на дьявола ссылаться... знаю!.. И после той ночи, когда обработали меня, дуру, тоже ведь на дьявола валили... ха-ха-ха!

Шуплов выпрямился, негодующий, резкий, повелительный.

— Это не Лили Сайдакова сказала, — отчетливо и веско отчеканил он, — это кричит какая-то незнакомая мне, действительно развратная уличная женщина...

В глазах Елены Венедиктовны забегали красные огни, кровь прилила к вискам.

— Как ты смеешь так? — закричала она. — Я не развратная! И это ты сказал? Ты смеешь плевать на меня? Ты, погубивший меня? Ты, кого я не знаю, какими словами проклинать? Ты... подлец! Силою взял меня, нарочно опоил... И потом... потом всегда... всегда насильно... из-под страха я с тобою жила... Ненавидя тебя, подлеца... Насильник!.. Подлец!.. Ай...

Она отпрыгнула в соседнюю комнату, потому что Шуплов с почерневшим от бешенства лицом бросился на нее, крутя над головою сжатыми кулаками. Теперь он и впрямь похож был на воображенного Еленою Венедиктовною зверя. Он догнал ее и, схватив за плечи, толкнул так, что она, перелетев через всю комнату, ударилась о стену плечом и упала на колени.

— Не лгать! — завопил он. — Слышишь? Ни слова лжи больше! Сама знаешь, что клевещешь! Я на тебя Богу молился, а не то что... И не подлец я! Не подлец!.. Ох!..

Он бросил по комнате растерянный взгляд, ища стула, направился было к нему, но вдруг, не дойдя, неожиданно сел на пол и, всхлипнув, как ребенок, закрыл лицо руками. Елена Венедиктовна глядела на него мрачно: ей не было его жаль — у нее ныло ушибленное плечо. Правду Галактионова гнева она уже чувствовала, но сама была так возбужде-

на, что охотно бросила бы снова в лицо ему свою клевету, если бы не очень оробела.

Дросиде было приятно, что встреча любовников так прямо и круто пошла к ссоре, но в ее расчеты вовсе не входило, чтобы дело дошло до кулачной расправы или хотя бы громогласного скандала, способного привлечь внимание соседей либо улицы. Поэтому, как только Елена Венедиктовна, отпрыгнув, завизжала, Дросида перестала подслушивать, а по-прежнему мышью, выюркнув черным ходом во двор, обежала к парадному крыльцу и принялась что есть мочи дергать звонок...

Тревожный звон образумил Елену Венедиктовну.

— Это, должно быть, тетушки мои вернулись, — мрачно сказала она, направляясь в переднюю, — потрудитесь прийти в себя и принять приличный вид, чтобы я могла представить вас им как гостя...

Шуплов чуть взглянул на нее, плохо понимая. Когда слова дошли до него, медленно поднялся с пола. Стоял посреди комнаты, дико оглядывался.

Елена Венедиктовна вернулась.

— Нет, это Дросида не могла войти с черного хода. Но, во всяком случае, помните, что мы теперь не одни... Да и вообще не довольно ли объяснений? Кажется, сказано с обеих сторон достаточно, чтобы понять друг друга...

По пестрому израненному лицу Шуплова, безмолвного и внимательного, поплыла дикая, бессмысленная улыбка. Без единого слова, без поклона даже он, как автомат, вышел в переднюю, надел шубу, шапку, ботики, взялся за дверную цепочку...

— Барышня, это нельзя, чтобы он такой один ушел, — шепнула откуда-то вывернувшаяся к уху Елены Венедиктовны Дросида, — он этак беды может наделать... Вы позвольте, я с ним пойду?

— Иди, пожалуй, мне все равно!

XLII

— «Все равно» мне не было, это я неправду сказала. Напротив, оставшись одна, я начала с той же самой минуты с нетерпением ждать возвращения Дросиды — с нетерпением до томления, что-то принесет мне она о так много перепугавшем и озадачившем меня Галактионе.

Но Дросида не возвращалась, а вернулись старушки тетушки с бесконечною болтовнею о своем сутяжном деле и о знакомых, виденных сегодня в их неутомимом шлянье по Москве. Мною овладела беспокойная скука-тоска — хоть в петлю лезть! «Ведь вот поди же: казалось бы, чего лучше? Сделала все, чего хотела, как по писаному: освободилась! А между тем — ужасно нехорошо на сердце, и совесть грызет… Можно бы иначе… ах, следовало бы как-нибудь иначе... А может быть, и вовсе не следовало бы?.. Ну как ошиблась я? Не следовало?.. Следовало... Не следовало… Ах, какая мука! На картах, что ли, загадать? Голова ничего не подсказывает... На месте ни минуты не сидится...»

Нестерпимо сделалось оставаться с крутящимися вихрем тревожными мыслями в обществе двух ненужно болтливых старух. Сказала им, будто звана обедать к Элле Левенстьерн, и уехала, наказав тетушкам, чтобы как скоро Дросида вернется домой, то позвонила бы мне к Элле по телефону…

У Эллы в ожидании телефона сидела как на иголках. Позвала меня наконец Матрена Матвеевна в будочку. Ах, неприятно! Знаю, что она все телефонные разговоры подслушивает: не брякнула бы Дросида лишнего…

— Вы, барышня?

— Я, Дросида… Что?

— Ничего… Доложить вам, что — куда меня посылали, все благополучно, кланяются вам и желают быть здоровыми... А еще, барышня, как вы, не дождавшись меня, выеха-

ли из дому больно налегке, а между тем мороз к вечеру люто забирает, то не разрешите ли мне привезти для вас к Элле Федоровне вашу лисью шубку?

Соображаю: «Надобности в том нет никакой: одета я тепло, как всегда, а, если бы и впрямь завернул уж очень крепкий мороз, то у Эллы шуб много, может меня снабдить… Значит, Дросиде просто надо что-то сказать мне так, чтобы домашние стены не слыхали, а шубку она выдумала как предлог, чтобы надуть эту телефонную мышь-шпионку Матрену... Молодец Дросида! Умница!»

— Хорошо, — говорю, — привези… Кстати, потом проводишь меня домой от Эллы... Я что-то разлюбила ездить одна по вечерам, робка стала…

Так и устроились.

Вышли на улицу: мороз лютый. Сразу щеки защипало, нос стынет, дух захватывает. Немного наговоришь! Да и как — на извозчике? Домой нельзя из-за тетушек. В ресторан — с горничной — как-то дико, в общем зале — будут смотреть во все глаза, смеяться, пожалуй, Дросиду и не впустят; в кабинет — странно. В номера хорошие не пустят без вещей, в сомнительные — страшно двум женщинам, долго наткнуться на каких-нибудь скандалистов?

Дросида предлагает:

— А поедемте, барышня, в Сандуновские бани? Самое любезное дело. Никто не осудит. Возьмем номер и перетолкуем на свободе.

— Да, конечно... но... белья же с нами нет.

— Это недолго купить по дороге.

Сандуновские бани теперь, как перестроили их Гонецкий с Фирсановой, самые шикарные в Москве: дворец дворцом — в Риме термы лучше бывали ли? Тогда они были попроще, однако все-таки почитались лучшими по чистоте и отделке — нигде дерева, всюду — желтый подольский мрамор.

И вот, значит, сидим мы двумя Евами на желтом подольском мраморе: Дросида так рассудила, что, раз за банный номер деньги заплочены, то не пропадать же им, надо их оправдать, — разговор разговором, а за один счет и вымоемся... Я не захотела, только душ взяла, а она не могла отказать себе в любимом бабьем русском удовольствии и принялась мыться всерьез. И вот, окруженная облаками пара, как Пифия какая-нибудь, под плесканье воды, тоже вроде ключа Кастальского, поведала она мне, что, к общему нашему — моему и ее — удивлению и удовольствию, Галактион принял нашу «трагедь» гораздо проще и благоразумнее, чем мы ожидали.

— Что ж, — говорит, — очень мне тяжко и больно, но я не зверь, хотя она меня и заклеймила насильником: в принуждении томить ее не хочу. Лили вольна в своих чувствах и вправе думать обо мне, как хочет… Что о браке моя мечта была несбыточная — как ни горько, — теперь сознаю... Что же, в самом деле? Ну, буду требовать, ну, положим, даже и дотребуюсь… Что получу? Не жену, а лютого, озлобленного врага… Что ей, что мне — никакой жизни… Нет, скажи ей: «Бог с тобой, отпускаю! Себя до погибели не допущу, твоей не хочу: веревка пополам — гуляй на свободе!..»

Изъясняя все это мне, Дросида, с намыленною головою, желтая, желтее мрамора, на котором сидела, являла зрелище довольно удивительное, а пожалуй, даже и чудовищное. В жизнь свою не видала я женщины более худой и тощей: кожа да кости! Плечи, локти, колена — уж именно что гвозди, как я всегда сравнивала; грудей на месте, где им быть полагается, нет, а болтаются какие-то тряпочки по впалому животу; ребра наперечет. Только помела не хватает, а то совсем бы ведьма — летит на Лысую гору танцевать кадриль в паре со скелетом.

Не утерпела я, хотя и боялась, что обидится, спросила:

— Отчего, Дросида, ты такая худая — смотреть страшно?

Она оскалила зубы из-под мыла, с волос по лицу текущего, сплюнула, потому что мыло ей в рот полезло, и говорит:

— Кому страшно, а кому и весело... Али нас не любят?

— Нет, серьезно, болела ты, что ли?

— Бог миловал.

— Так с чего же?

— Со злости, барышня,

— Как это? С какой злости?

— А так: и со своей, и с человеческой...

И не захотела больше говорить о том, опять повернула на Галактиона.

И вот судите нашу бабью натуру! Казалось бы то, что она сообщила, должно было невесть как меня обрадовать. А вместо того в сердце кольнуло, и я, наружно показывая радость, внутри себя обиделась: «Легко же этот господин кончает со мною! Вот тебе и пылкая любовь и неисцелимая страсть до гроба! С чего же он давеча-то ломал со мною «трагедь», как выражается эта желтая шельма Дросида?»

Желтая шельма тем временем, ополаскивая голову, выливала на себя чуть не десятую шайку воды и стонала тонким голосом от удовольствия.

Затем, растирая свои кости кокосовою мочалкою с ожесточением, покуда они из желтых не стали красными, сообщила, что, так как планы Галактиона насчет брака и семейного устройства в Москве рухнули, то он думает немедленно уехать обратно в Сибирь, на постоянное место, предложенное ему Иваницким. Но пред отъездом непременно желает видеть меня еще раз, обещая, что о чувствах своих ничего говорить не намерен и не будет — довольно горд для того, — а только о делах — насчет ребенка и о моем капитале.

Доложила и пошла под душ, пестрая от мыла, как леопард; закорчилась в водяном столбе — сущая нимфа ужаса.

Состоялось это наше второе свидание. Прошло действительно очень спокойно. Галактион вел себя со строгою вы-

держкою, словно в самом деле чужие — доверенный с доверительницей. Спросил, желаю ли я получить свои вверенные ему деньги обратно или оставлю их в деле, которое он прекращает за отъездом и передает Фоколеву. Я отвечала, что помещение моих денег было настолько мне выгодно до настоящего времени, что я, если возможно, хотела бы продолжить.

— Очень возможно, — отвечал он, — но я должен *вас* предупредить, *Елена Венедиктовна*, что в руках Фоколева *ваш* капитал будет приносить значительно меньше, чем в моих.

— Неприятно! Почему?

— Потому что Фоколев не обладает теми связями и знакомствами, которыми располагал я, и немножко ленив, малорасторопен. Кроме того, я видел в вас не заурядную клиентку, а близкое мне лицо, и старался для вас, как для самого себя... может быть, иногда и немножко больше... Фоколев как чужой вам человек, конечно, не будет прилагать такого старания к вашим интересам...

«Ну, это еще — как знать», — подумала я, вспоминая слова Дросиды о влюбленности в меня белосахарного молодого человека.

Галактион же, подумав, заключил:

— Впрочем, из всех возможных помещений капитала всетаки выгоднее всего — я советую — будет оставить вам его у Фоколева... Я же рекомендую Михайле особенное внимание к вашим выгодам...

— Благодарю вас.

Покончили с этим, занялись с ребенком. Претензий к овладению им Галактион не изъявил.

— Я уезжаю в Сибирь, с собою мне его не взять, а здесь — вы, мать, кому же о нем заботиться, как не матери?

— Очень рада слышать, что вы так умно и честно рассуждаете.

— Д-да… умно и честно… спасибо на добром слове!.. На содержание его — я сделал распоряжение — можете ежемесячно требовать от Фоколева еще сто рублей… Достаточно?

— Вполне.

— Если бы не достало или какая-нибудь экстренная надобность, оставляю у Фоколева еще запасную тысячу рублей… Без крайности не тратьте, в нужде не жалейте...

— Все это очень хорошо и великодушно, Галактион Артемьевич, — говорю я, — и я вам, конечно, благодарна всем сердцем, вы прекрасный человек. Однако я тоже предупреждаю вас: прав на Артюшу вы этим у меня не купите, не уступлю…

— Но вы же слышали: я и не требую. Пред вашею и моею совестью не требую. А официально, вы хорошо понимаете, я и не могу требовать: какие же мои права на законнорожденного ребенка госпожи Бенаресовой? Бог миновал — с Катериной Григорьевной в супружестве не состоял...

Очень горько сказал он это. Невольно покраснела; совестно стало. И в правду ведь вышло, как Дросида предсказывала в Одессе: кругом оголили человека от надежд его — ни жены желанной, ни ребенка.

— Единственное право, — говорит, — которое я желаю получить, и надеюсь, вы меня не лишите его: позвольте мне перед отъездом взглянуть на Артюшу...

Подумала я, согласилась:

— В этом не смею вам отказать...

— Сердечно вам признателен. Когда я могу его видеть?

— Да хоть сегодня. Или нет — завтра.

— Зачем откладывать?

— Что же вам одному ехать в Марфино? Вас там не знают, примут с недоверием...

Он горько усмехнулся.

— Может быть, вы опасаетесь, что я его похищу?

— Что вы! — смутилась я. — Нет, такая несбыточность мне и в мысли не приходила... А просто завтра я сама еду в Марфино, следовательно, вы можете видеть Артюшу при мне...

— В котором часу прикажете мне туда приехать?

— Мы можем ехать вместе. Я выеду с утра, часов около девяти, чтобы вернуться засветло. Если угодно, заеду за вами, где скажете вас взять...

Уговорились, что Галактион будет ждать меня на Божедомке, у Набилковской богадельни, против сада Лентовского «Эрмитаж».

Ехали мы в прекрасную погоду. День выпал с легким морозцем, солнечный, яркий. Знакомый лихач, которого я всегда брала в эти поездки, летел вихрем по указанным снежным улицам бойкой московской окраины. В городе было безветренно, но, когда выехали за заставу, лихач указал рукавицей на белую гладь перелеска Марьиной рощи.

— Повевает сиверком... Как бы не завьюжило.

Покуда лишь небольшой низовой ветерок ходил по перелеску, взвихривая изредка невысокие снеговые взметы — то там, то сям белые дымки, — словно коробку с пудрой встряхивал.

Ехали дружелюбно, как добрые знакомые. Галактион рассказывал свои сибирские странствия. Вероятно, многое повторял из вчерашнего, но вчера я как будто ничего не слыхала, что он говорил, а что я слышала, выбила из памяти последовавшая сцена, когда мы, сказать откровенным, прямым словом, мало-мало что не подрались.

Галактион говорит, а я больше молчу да рассматриваю его украдкой. Шрамы обезобразили его, особенно теперь, посинев на морозе. Но вон у немецких студентов, бывает, все лицо порублено в котлетку — а ничего, гордится тем, и барышни в них за рубцы еще пуще влюбляются. А рубцы

простив, надо было прямо признать: Галактион похорошел. Как бывает после выздоровления от долгой и тяжкой болезни, когда человек видал смерть у постели, очень одухотворилось его лицо, сошла с него мещанская грубость, в глазах — будто дно углубилось, и, как в омуте русалка-утопленница, засела в них вчерашняя печаль... Очень тяжелое и жалкое впечатление производил... И после болезни остались у него нервные подергивания в лице: все хорошо-хорошо, а вдруг и скорчит рожу, щеки к глазам поехали, а рот к правому уху...

Ах ты, бедняга несчастный! Какой безупречный здоровяк-то был! И — подумать, — хоть и случаем, индюшка судьбы того хотела и шутку сшутила, — а все-таки в конце-то концов, — из-за меня...

Едем. Я совестью угрызаюсь, а он подробно рассказывает: как поладил с Иваницким, как старик оставлял его при себе в Сибири и место предлагал ему богатое — управляющим на один из своих приисков, да он отказался было: уж очень тянуло в Москву... Ан вот приехал, а в Москве-то, оказывается, ему делать нечего, и, выходит, надо укладывать чемоданы и ползти обратно... Высказал это с большою простотою и тем самообладанием, которое давеча укололо меня, когда о нем рассказывала Дросида...

В Марфине он вел себя очень трогательно. Все ему понравилось. И помещение, и хозяйка со снохой, и кормилку расхвалил:

— По лицу видать, что очень хорошая женщина! Удачно выбрали!

А пуще всего, конечно, привел его в восторг Артюшка, Артюшенок, Артишок мой маленький. Галактион минут десять обогревался, прежде чем подошел к нему, чтобы не принести ребенку холода. На цыпочках подошел. Стоит у колыбели, смотрит. По лицу умиление расплылось, как масло. В глазах... знаете стихи:

Мне грустно и легко. Печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою...

Так вот именно «светлою печалью» глаза, как лампадки, теплились — мерцали и грели.

А Артюшка — здоровый, крепкий, как кирпич, толстый и красный, лежит-спит — крепко, с наслаждением, как умеют спать только грудные дети. Галактион шепчет:

— Можно его поцеловать?

— Проснется...

Но Галактион уже нагнулся и поцеловал. В лобик. Артюшка сморщил нос, но пребыл в прежнем безмятежном состоянии.

А я смотрю на них обоих и вижу: прямо ужас, до чего Артюшка похож на него... на отца-то... Чуть-чуть не сказала того вслух, уже и рот открыла, да спохватилась, что совсем излишняя чувствительность, прикусила язык и — от искушения отвернулась, гляжу в сторону...

Галактион, однако, заметил, поднял на меня глаза — совсем, вижу, влажные.

— Вы что сказали?

— Я ничего не говорила. Хотела только... да ни к чему.

Он опять уставился на ребенка. А со мною сама не знаю, что творится: льется мне в душу из колыбели Артюшиной тепло какое-то. Любо мне стоять вот так у изголовья спящего ребенка, моего ребенка; нравится, что Галактион присел к нему с таким чистым, преданным, отцовским лицом; и невольно просится-стучится в сердце мысль: «А ведь покуда есть на свете Галактион, Артюшка мой не будет одинок и беззащитен... Да и я...»

Но о себе опять спохватилась, что этого нельзя, что тут кончено. Однако чувствую: умиротворилось мое гневное сердце, нет в нем недавней дикой ненависти и неправого презрения, и брезгливость эта, знаете, чувственная, что бушевала

во мне месяцами, тоже как-то примолкла и пошла наутек, будто таяла... «За что, — думаю, — разобидела я его? Развоображалось невесть чего. Человек как человек. Да еще какой хороший человек. Эх ты, Лили! Капризюлька!»

И не утерпела, сказала ему, хотя и будто сердито, через силу:

— Он на вас похож... вот что я вам сказать хотела...

Галактион обрадовался, так и расцвел:

— Разве?!

— А вы сами не видите?

Слышу: и голос мой не тот, и он слышит... Оттаял голос, теплая струя в нем заходила, умильная струна заиграла... Д-да-а...

На улице мороз, а я таю...

— Вот что, — говорю, — Галактион Артемьевич. Сядем-ка рядком да потолкуем ладком. Простите меня. Я была не права пред вами.

Вскинул глаза — зоркие, настороженные. Медленно и бережно, взвешивая слова, возразил:

— А когда и в чем именно вы, по вашему мнению, были не правы, Ли... Елена Венедиктовна?

— Когда говорила, что у нас с вами нет ничего общего... Я ошиблась: не было... теперь, — киваю ему на Артюшу, — есть... Простите!

Взяла его за руку, крепко пожала. Молчит. Сидит-молчит, в пол смотрит. Разглядела я: ох, чего же ему стоит молчать! Ох, как же глубоко обижен человек!

Говорю:

— Что я разлюбила вас, это виновата, так — разлюбила... Но мне начинает казаться, что я не имела права на то... Хочу сказать: не имела права гнать вас от себя... теперь, когда... Ну да! Я не беру своих слов обратно: мы с вами не подходящие друг к другу люди, но случай ли, другое ли что соединили нас, к сожалению... Я мать, вы отец... Между нами

этот ребенок... *Чужими* мы уже не можем стать; можем стать врагами — *чужими* нет!

— Я тоже думаю, — спокойно согласился он. — Еще когда вы заговорили, что если выйдете за меня замуж, то будете мне врагом, еще тут я подумал... Только зачем же нам быть врагами, Елена Венедиктовна? Что ни что, можно остаться друзьями...

— Не знаю... Но врагами ли, друзьями ли, мы навсегда *свои*: это я сознаю сейчас, чувствую всем существом... Да... Мы можем ненавидеть друга друга, между нами могут выходить ужасные сцены, а мы все-таки *свои*... Как это странно!.. Разве не удивительно, что после нашего последнего объяснения мы сидим здесь у колыбели так мирно и тихо?.. Ах, я была ужасна тогда! Ах, ужасна! Мне стыдно вспомнить, как я была груба... Так виновата, что стыдно даже извинения просить! Боюсь, что вы не в состоянии простить меня...

Он, не поднимая глаз, возразил:

— Человек, который любящий, все простить в состоянии, Лили.

От «которого любящего» дохнуло на меня немножко ненавистною «лисьею норою», но я не поддалась скользнувшему впечатлению, которое мне подсовывал дьявол, обозлясь, что в присутствии младенца приблизился ко мне добрый ангел, — и, напротив, растрогалась. Говорю:

— Да неужели же вы еще можете любить меня после всего, что было?

Ответь он мне «нет», я, вероятно, страшно оскорбилась бы в ту минуту, и гневный бес опять возликовал бы. Ответь «да» — как знать, может быть, с самодовольства, что имею такого верноподданного раба, которого никакою трепкою не отшибить, я его запрезирала бы с высоты своего божеского пьедестала — повелительница этакая снисходительная, но безусловная!.. Но он долго молчит, думал, а надумавшись, сказал очень прямо и честно:

— Право, не знаю, Елена Венедиктовна. Прежнего, кажется, не будет. Но я знаю одно: нам нельзя расстаться этак неладно… нечестно будет... И я не хочу расставаться… Мы люди, а не звери... По-человечьему надо, по-людскому... Долг свой надо знать… Вон по отношению к тому-то, — указал он глазами на колыбель.

— Вы же думаете в Сибирь уехать, к Иваницкому?

— Да что же Сибирь? О Сибири я помышлял, покуда вон этого Иваницкого не видал, — опять нежно кивнул он на Артюшу, — а сейчас, как имел честь познакомиться с их благородием, вижу: нельзя... То есть, я разумею, нельзя, чтобы он остался так... без попечения... О, не извольте беспокоиться! — поспешил он в ответ на мое движение, которое показалось ему тревожным. — Я не о правах каких-нибудь… ничего подобного... А вообще… Нельзя!.. И потому позволяю себе просить вас: если уж имел я несчастие лишиться любви вашей, то разрешите остаться нам с вами в дружбе и взаимном уважении… Это я вам предлагать осмеливаюсь не ради себя, не ради даже вас, но ради нашего мальчика… Хотя и упрочили вы с Дросидой его гражданином Бенаресовым, но — не расти же ему в таковых сиротою от совсем посторонних родителей, должен же он иметь настоящих отца и мать… Вы, Лили, — уважая все материнские права и заботы ваши, — не можете же претендовать, будто вы, оставаясь одна, в состоянии содержать и воспитывать его, как могли бы, мы соединясь…

— В пару? — перебила я, строго глядя ему в глаза. — Нет, на это я не пойду даже для такой высокой цели, хотя ее значение для нас вы прекрасно изображаете и с вами согласна совершенно... Дружба — да, взаимное уважение — да, но вы должны дать мне слово, что не предъявите так и ко мне никаких наших прежних прав… что отныне мы с вами оба лишь совоспитатели нашего сына — и только!

Израненное лицо его задергала сильная судорога.

— В том, — глухо произнес он, — поклянусь вам какою хотите святынею. Не опасайтесь: не буду докучать вам своею глупою любовью. Жива она во мне, нет ли, я еще и сам сейчас не знаю, потому что истинно говорю вам: с того самого нашего разговора живу в ошеломлении. Но высказывать ее вы отбили у меня охоту… Елена Венедиктовна! Как я против вас ни смирен и слаб, но у меня есть и характер, и самолюбие. А вы очень меня оскорбили... простить можно, забыть трудно... Не беспокойтесь: слова о прежнем вы не услышите от меня… Разве что… разве замечу я, что, извините за невероятную надежду, что вы первая делаете какой-нибудь шаг мне навстречу...

— А так как невозможное невозможно, — прервала и заключила я с убеждением, — то хорошо, я согласна. Доверяюсь вам на союз дружеский и безобязательный. Вот вам моя рука — честно ее даю и честно жму вашу.

XLIII

— «Невозможное невозможно», — печально, загадочно и как-то мудро улыбалась Елена Венедиктовна, медлительно покачивая головою, которая благодаря большому великорусскому лицу с широкими скулами и высокой модной прическе всегда производила на меня впечатление некой тяжеловесности не по росту, даже при ее крупной и весьма полной корпуленции. — Невозможное невозможно… Да как бы не так!.. А я вот вам расскажу, как оно невозможно… Человек предполагает, а Бог располагает... Да и один ли Бог, не черт ли тоже немножко?

Любовались мы с Галактионом Артюшей нашим час, другой, третий и долюбовались до того, что короткий зимой день пошел на быструю убыль, а давешние утренние взметы снежков по полям выросли к сумеркам в буйную вьюгу. Спохватились ехать в Москву — ан на дворе темно, хоть

глаз выколи, а вьюга-метель ходит-воет, кружит-пляшет, ни зги не видать за нею, только сухим снегом сыплет-колет, как иголками.

Лихача своего я с утра отпустила в Останкино — чай пить, потому что в Марфине нет трактира. Условлено было, что он приедет за нами к двум часам, — изволил явиться в пять, пьян-распьян и на совершенно измученной лошади. Расстояние между Останкиным и Марфиным пустое, три-четыре версты, но дорога — проселок с оврагами. Возница наш по ней мотался-мотался сквозь вьюгу, как слепой, битый час, покуда умница лошадь не выручила: вывезла прямохонько к избе нашей хозяйки и уперлась мордой в ворота.

Вышли мы с Галактионом на крыльцо попытать погоду: ад снежный! Темень — рядом стоим, друг дружки не видим. Вот тут и поезжай!

— Этакого бурана я и в Сибири не видывал, — говорит Галактион.

Лихач бахвалится:

— Не видал я метелей?! Плевать в тетрадь! Садитесь: доставлю в лучшем виде.

А хозяйка отговаривает, тоже плюнуть советует, только не в тетрадь, а в бороду бахвалу извозчику, потому — «борода глазам замена».

— Он, пьяница, вас не то что в Москву, до Останкина не довезет, свалит в овражец… Как можно? Посмотрите животинку евоную: бока ходят, словно изнутри кузнец мехами поддувает, сопит, в мыле вся и пар столбом…

Решили заночевать и выехать завтра, чуть свет, как скоро уляжется метель. Да если и не уляжется, до Останкина с дороги не собьемся при свете: два шага, а от Останкина на Марфину слободку — прямое шоссе.

У хозяйки не нашлось места для нашего ночлега, но она устроила нас у богатой соседки, которая жила почти на купеческий лад и отвела под нас чистую половину избы. Дей-

ствительно, оказалась не по имени только чистою, но не отапливалась всю зиму. Поэтому теперь баба поусердствовала нажарить печь, аж в горнице пар от стен белым туманом плыл, как в бане. Мне досталась мягкая хозяйская двухспальная постель за дощатой от избы перегородкой. Галактион поместился в избе — добыли для него где-то койку на козлах. Поужинали яичницей-глазуньей и затем сидели недолго. В девятом часу мы, как и все Марфино, уже были в постелях, баюкаемые вьюгою, которая, не умолкая, стучала-хлестала в окна и ведьмой выла в трубу.

Засыпала я очень веселая, довольна была хорошо прошедшим днем. И худой мир лучше доброй ссоры, а наше замиренье с Галактионом как будто даже было не худо. Он на отведенном ему одре устроился с деликатною бесшумностью, и — уж не знаю, спал или не спал, но не подавал ни признака жизни, словно его и не было в избе. Я, устав за день и от езды, и от волнующих разговоров, заснула, едва положила голову на подушку.

Но часа, должно быть, через два проснулась, уже как будто выспавшись: бывает это, когда заснешь с устали сразу очень крепко. Лежу в египетской темноте, слушаю вьюгу, поджидаю нового сна. Сверчок скрипит. Жарко — ужас! Ну, и не без клопиков.

В избе по-прежнему ни шороха, но со стороны бревенчатой стены, к которой примыкает моя кровать, слышу как будто шепот. Наставила ухо: да, шепчутся, целуются, смеются, возня... Ага! Это в клети — соседкина сношка с мужем, молодожены с Покрова, еще очень влюбленные друг в дружку, полуночничают, изволят играться... По тишине ночной мне все слышно... Забавно!.. Засмеяться боюсь, не сконфузить бы влюбленную пару, а они, воображая, будто никто не слышит, все пуще и пуще...

«Ну, — думаю, — и с подглазицами же завтра станет молодуха!»

Опять заснула... И теперь уже сразу стала видеть сон. Да такой ярый и живой, что — сколько, бишь, ему, четырнадцать, что ли, лет прошло, — а и сейчас, чуть захочу вспомнить, он так и засверкает перед глазами.

Снилось мне, будто я в Петербурге и поднимаюсь по лестнице в Эрмитаж — пришла смотреть картины. А лакей ливрейный подает мне букет каких-то языкастых оранжевых цветов, вроде орхидей, и говорит:

— Сударыня! Для чего вам смотреть картины, когда вы сами картина? Извольте стать в рамку, есть распоряжение от директора показывать вас публике, по рублю с персоны.

Я будто тем нисколько не удивлена, словно так оно и следует и мне давно известно, но обидным кажется: почему же только по рублю? Неужели же я больше рубля за посмотр не стою?

А брат Поль с приятелем своим Иваном Фавстовичем будто проходят навстречу мимо, лица отвернули, носами крутят.

— Фи, Лили! В каком ты виде? Смрад пороков твоих отягчает тебя!

Глядь: ан я вся голая! И со стыда как брошусь я бежать вверх по лестнице, а ей — конца нет! Что больше бегу, то она выше! А за мною и вой, и свист: погоня! Держи ее! Держи!

Но я вдруг — пред картиной: знаете, есть там известная — вакханалия сатиров... чья она? Рубенса, что ли?.. Ну, где толстый старик сатир, сидя на осле, дремлет, молодая сатиреса кормит грудью козлоногих близнят, а мальчишка-сатиренок в углу, извините, за маленькой нуждой ходит... Я на него смотрю: что это? Никак мой Артишок? Ах, поросенок! Да когда же он успел так вырасти, что уж и на ножки встал?.. А вся эта их козлоногая компания, представьте, как только завидела меня, скок с полотна в зал и давай около меня кружиться и плясать хороводом. И старик толстопузый тоже с осла слез, топчется с ноги на ногу и ловит меня, бурчит:

— Сотворим прелюбы!

Но я его ногой в пузо, он перекувырнулся и пропал, а я — вот тебе раз… будто и впрямь на картине, и — знаете, на какой? Тогда «Русалки» Маковского в моде были — ну так будто я русалка, лежу в камышах на берегу, гляжу в воду, а в воде отражается полный месяц, и у него человечье лицо, мужское, и только я никак не могу разобрать, чье — то ли барона М., то ли Галактионово... И тянусь, тянусь, тянусь к месяцу, поймать его хочу, а он от меня — все вглубь да вглубь... А за мною сзади будто подкрался и стоит кто-то, а кто — и ни оглянуться, ни спросить не смею: страшно!.. «Батюшки, — думаю, — никак леший?»

И слышу шепот:

— Чего зеваешь? Бери ее, дурень! Не бойся: она креста не носит — я намедни с нею в бане мылась, видела...

Так и есть: это Дросида поведьмилась и сговаривается с лешим на мою погибель!.. Как я закричу, как прыгну от них вперед, в воду!.. Ну в воду-то не попала, а проснулась — не лежу, а сижу на кровати, одеяло слетело, подушка тоже, босые ноги — на полу, а сама — вся в дрожи и в поту…

А за стеною все еще целуются! Вот черти — угомона на них нет!

Слышу: Галактион тоже что-то возится, спичками чиркает, щелкнул часами... Окликаю:

— Галактион Артемьевич, вы не спите? Который час?

— Четверть первого, Елена Венедиктовна...

— Боже мой! Значит, еще целая ночь впереди, а я уже почти задохлась в здешней жаре и сплю отвратительно, под кошмаром, дикий сон сейчас видела...

— Да, я слышал: вы закричали... Потому и свет зажег — на случай, не дурно ли вам...

— Благодарю вас, нет, нисколько... Мне совестно: разбудила я вас?

— Никак нет, Елена Венедиктовна, я еще не спал.

— О?! Что же вы так?

Он помолчал. Потом — коротко:

— Жарко.

— Да, хозяюшка дров не пожалела. Даже вьюга тепла не выдувает. Как, по-вашему, лучше на дворе?

— Как будто стихает понемножку... К утру обойдется...

— Слава Богу, потому что, если будет так же, я и днем не решусь выехать... Это — в Москву с сырой говядиной вместо лица приехать... Вам-то необходимо в город?

— Да, есть делишки...

— В крайнем случае, поедете одни, а за мною пришлете потом, когда стихнет.

— Слушаю...

— Ну, утро вечера мудренее... Попробуем уснуть...

— Попробовать можно... — возразил он нерешительно.

— А надежды мало?

— Да, признаюсь, разгулялся, что сна ни в одном глазу...

— Мне соседи мешают немножко, смешат...

— Отчасти и до меня доходит...

— Ну, приятных сновидений!

Перекидываемся такими вот незначительными словами, а — как будто говорим совсем не то, что хотим сказать. Про самое себя это чувствую, про него — в голосе слышу.

Сон не берет. Уткнулась носом в подушку. Думаю. Вспоминаю свое сновидение, только что бывшее: откуда оно стасовалось и к чему бы было?

Я это люблю. Знакомые доктора-психиатры научили, что ежели внимательно и с соображением разбирать привидевшийся сон, то непременно узнаешь в нем свой вчерашний день, отраженный, как в кривом зеркале. Соображаю: Артюшу видела — понятно; кормилиц в Марфине насмотрелась — не удивительно, что пригрезилась сатиреса с сатирятами; брат с Иваном Фавстовичем попрекнули смрадом пороков потому, что я сама себя, в совести своей, грызла и корила целый день и зачинала себе разные побранки. «Сотворим прелюбы» — это уж, конечно, от милых целую-

щихся соседушек-молодоженов... А все вообще — от жары невыносимой, пуще тропической: тут не только до сатира пляшущего, а и до огненного змея недолго доспаться, как бывает с бабенками, которые на горячей печи спят да еще укрываются бараньим тулупом... Ну и то, Лили, принимай в расчет, что которое время живешь монашкою... И еще поцелуйщики эти за стеной... Смешно-то, смешно на них, а... гм, как будто, пожалуй, и завидно...

Мечта пошла. А — нет-нет и пробежит в теле огонек какой-то, который внутри обожжет, словно горячий уголек проглотила, а по спине оттого мгновенным морозом дернет, чтобы затем, в следующую секунду, еще жарче стало... И все чаще, чаще... Размышляю о себе, о Галактионе: жалко мне его...

Как хорошо показал себя сегодня!.. И Артюшу как любит!.. А уж меня — что же и говорить, как меня!.. Хорошо это все-таки, что мы договорились до дружелюбных, добрых отношений... Чего же? Всегда скажу: человек превосходный и встречаться с ним — как свои — я всегда буду рада... Мне, конечно, не за что на него злобиться, решительно не имею, в чем его винить... Положим, исключая сцену намедни, и ему меня тоже... Любила, не любила — не знаю, но любовницей была верною... пусть-ка поищет такую другую!.. А любопытно: будет искать или, как в январе сулил-грозился, мною навсегда забастует?.. От него станется!.. Хотя... забыл же он свою Лидию, когда повстречал меня... Победила императрица Елизавета Петровна кривобокую Мадонну!.. Теперь — отвалилась Елизавета Петровна — пошлет черт навстречу какую-нибудь Екатерину Алексеевну, что ли: утешится! Верь им, мужчинам!

И чувствую: ужасно неприятна мне эта мысль! Так неприятна, что огоньки, во мне бегающие, как бы в одно пламя слились и давай меня всю охватывать, чередуя полымя с ознобом. Мечусь, головой по подушке кручу, выискивая местечки попрохладнее, и с тоскою злою думаю: «Этого вот

я никогда ему не прощу, если он после меня, в Москве живя, с моего, значит, ведома, в двух шагах от меня польстится на какую-нибудь Миликтрису Кирбитьевну, будь у нее звезда во лбу и ясный месяц под косою... Тогда лучше пусть в Сибирь уезжает, чтобы мои глаза не видали... О! Я ему покажу! Я ему тогда покажу! Пусть он, как Дросида говорит, не лукошко, не выкинуть его из окошка, да ведь и я не перчатка, чтобы снял меня с руки да другую надел... В Сибири все равно не уследить и не достать, хоть гарем заводи из татарок косоглазых. Но — только узнай я, что к нему тут в «лисью нору» какая-нибудь мерзавка шляется, да — я ее! Да я его!.. Собака на сене? Сама не ем, другим не даю? Ну и собака на сене! Такой мой характер, не переродиться мне!

А впрочем, еще найди-ка ты, Галактион Артемьевич, другую такую, охочую настолько жертвовать собою и рисковать, лазя в твою «лисью нору»... Уж смею сказать: доказала привязанность и преданность, нестерпимое терпела и невыносимое выносила — не грех и любовью, пожалуй, назвать... Да... дело прошлое, а пожалуй, что и так... Что же? С чего-нибудь да была же я ему верна-то, и ни один мужчина мне не нравился с того часа, как мы сошлись... Вот полгода не видались, а я, с гордостью похвалиться могу, чистенькая: как оставил, так нашел... А ведь вот уже три месяца с лишком, что родила... Здоровущая, не кормлю, крови-то во мне, крови!.. Не деревяшка, не статуя мраморная... Опять целуются застенные скоты!.. Ах, чтобы вас!

И этак-то, в полудуме-полубреде, горела я, металась и ворочалась, покуда не подступило ко мне то самое «овладение», которым когда-то в великом недоумении пред самим собою извинял себя в своем грехе против меня Галактион; которое на минутку, на одну только минутку и я испытала поутру в «лисьей норе», когда он вернулся с голубым шелком — зашить мне лиф, а мне почудилось, будто он долго ходил, и я сперва закатила ему сцену за какую-то безвин-

ную продавщицу, а потом, как сумасшедшая, бешеная, ему на шею повисла...

И как подступило «овладение», то охватило меня пламя уже сплошное, безознобное, и сгорел в нем мой рассудок... Отшвырнула одеяло, соскочила с кровати и — босыми ногами — топ-топ-топ за перегородку, в избу!.. Без памяти, зверь зверем... Поутру сноха соседкина действительно с ужасными подглазицами вышла, да и я — недурна...

Вот вам и «невозможное невозможно»! Вот вы и разберите нашу сестру, бабу! Сам царь Соломон, говорят, отказался, забастовал, и самый умный писатель нас никогда до конца не поймет и не напишет, потому что мы и сами-то себя так лишь, чуть-чуть понимаем, чем и как мы в состоянии иной раз вдруг взять да и себя, и других удивить!

* * *

Ну-с, возобновилась, значит, и потянулась между мною и Галактионом Шупловым прежняя канитель.

Не совсем, однако, по-прежнему. Скрывалась я теперь меньше. «Лисью нору» мы почти упразднили. Так как от Дросиды было прятаться не к чему, то теперь, как скоро тетушки мои уехали восвояси, я начала храбро принимать Галактиона у себя. Был проект совсем переселиться ему ко мне, как предполагали весною, но Дросида отговорила:

— Кабы венчаться, другое дело, а то — что же вам вывеску-то прибивать к квартире: живу-де с любовником!

О браке вопрос больше не поднимался. Ни мною, ни Галактионом. От Дросиды я узнала теперь, что, когда он раньше настаивал на свадьбе, то — молчал только, скрывал от меня, а между тем приносил своей любви большую жертву. Пресловутая его «маменька», честная старица Пиама, прямо заявила ему, что, если он женится не по ее выбору, а уж в особенности на мне, почему-то уж очень ей не полюбившейся, то как сына она его, конечно, не отвернет, но на со-

стояние ее он может не рассчитывать: все оставит своему монастырю. А у нее в Купеческом банке лежит нетронутым, обрастает процентами капитал, доставшийся ей по завещанию от отца Лидии, первой жены Галактиона.

Этот пункт в завещании предводителя в свое время немало удивил душеприказчика, потому что обозначен был — «в вознаграждение услуг по уходу за покойным братом моим во время его долгой и тягостной болезни». А брат-то умер чуть не двадцать лет тому назад. Очень благодарно, но кто же ценит услуги сиделки в двадцать пять рублей? Да еще и награждает двадцать лет спустя службы? Тем более что завещатель почтенную Пелагею Семеновну, ныне мать Пиаму, терпеть не мог, как особу, напоминавшую ему семейный позор: брак Лидии с Галактионом.

Люди догадливые объясняли странное чудачество гордого предводителя надвое. По одному суждению, он тем исполнил волю покойного брата. Тот ведь умер сумасшедшим и, следовательно, сам не мог завещать ничего своей сперва любовнице, потом сиделке, а между тем хотел ее обеспечить и в один из своих светлых промежутков поручил это своему брату и наследнику. Тот сперва поручением пренебрег, а впоследствии, в предчувствии смертного часа, совесть зазрила, дворянская честь заговорила, — исполнил. По другому — капитал был косвенно завещан предводителем Лидии; прямо он из гордости не хотел назвать ее по фамилии, ему ненавистной, а свекровь ее, «маменьку» Пелагею Семеновну, при всей своей нелюбви считал бабою честною и заслуживающею доверия. Она его и не обманула, но по смерти предводителя вокруг наследства поднялись споры, так что получение Пелагеей Семеновной ее части очень затянулось. Тем временем умерла и Лидия, и деньги остались на руках у свекрови.

Так или иначе, но мать Пиама берегла доставшийся ей капитал в такой строгой неприкосновенности, будто в самом

деле лишь порученный ей, а не ее собственный. Говорила Дросида:

— Хоть зарежься мы все, Шупловы — братья, сестры, — на ее глазах, из предводительских она копейки не выдаст. Так она довольно даже родственная и другими какими средствами, если может, поможет, а этими — ни за что! Помру, говорит, Галактион все получит, если будет к матери почтителен и послушен. Тогда может распоряжаться как угодно, а покуда жива — ни-ни-ни! А кроме Галактиона, никто другой на этот капитал не рассчитывай: это его деньги, так все и знайте! Ему не достанутся — никому не достанутся: Богу верну, на монастырь отдам.

Конечно, самоотвержение Галактиона, что ради меня он зачеркивал шанс такого крупного наследства, меня тронуло. Но в то же время я впервые как-то чересчур практично нашла, что это уж слишком, и откровенно высказала Дросиде:

— Напрасно же Галактион рисковал ссорою с матерью! Разве можно — из упрямства ведь, в конце концов, — выбрасывать за окно подобные возможности? С таким наследством при уменье и счастье Галактиона в делах ему никакой Иваницкий не будет нужен. А жениться, если доживем — не поссоримся, успеем: мать Пиама не бессмертная богиня, когда-нибудь да помрет...

Как видите, я сделала большие успехи с того дня, когда меня коробили бессердечные расчеты Дросиды на смерть Катерины Бенаресовой!

А Бенаресова-таки их оправдала: Царство ей Небесное, пухом земля! В марте получили от курских ее родных — дьякона с дьяконицей — в каком-то селе захолустном письмо, что отдала Богу душу, и счет за лечение и похороны... Ничего — недурной был счетец: воображения и аппетита хватило отцу дьякону на кругленькую сумму!

Мои соображения насчет брака и «маменькина» капитала Дросида передала Галактиону, и больше я от него никогда никаких свадебных проектов не слыхала. Но изволила также сообщить и «маменьке». А та в первый же раз, что сын приехал ее навестить, и преподнесла ему:

— Слыхала я, будто ты с «твоей» на мою смерть рассчитываете? Так знай, сынок любезный, что, хотя я теперь монахиня и завещание может быть опорочено, но ежели замечу, что вы меня в смертном моем часе надуть собираетесь, то я капитал при жизни передам из рук в руки кому моя воля будет...

Галактион задал Дросиде страшную гонку, но Дросида клялась и божилась, будто она ничего не говорила «маменьке», а та сама, своим умом дошла. Кое-что и еще прибавила «маменька» к своей угрозе, чего Галактион мне не передал, и лишь много позже я узнала. Сказала:

— А что я теперь не прекращаю вашего бесстыжего баловства и беззакония, так только потому, что знаю, открыто мне: скоро оно и без того само собою кончится. Все мне известно, сынок: была порвана веревка — связали вы ее, да не больно хитро — узел остался... Гуляйте, гуляйте — жива буду, своими глазами увижу, как ты с тех гулянок зеленей листа станешь! При одном имени ее, если при тебе кто им обмолвится, — а, теперь ты ухмыляешься, верить не хочешь? — а придет время, может быть, и захохочешь, да только не человеком, а волком!

К весне я опять была беременна — с еще меньшею охотою к тому, чем в первый раз: мне было вполне достаточно моего Артюши, в которого я просто влюблена была — такой очаровательный развивался дитенок! Мне казалось обидным, что вот придется двоить свое материнство между ним и еще каким-то неведомым, другим. Но на Пасхе, в тот год еще снежной и холодной, поехали мы с Галактионом в Марфино навестить Артюшу. На возвратном пути,

уже вечером, на Самотеке при повороте в переулок раскатились у лихача сани, стукнулись о тумбу, и я вылетела на мостовую на всем ходу рысака. Ушиблась не больно, даже лицо успела защитить, не разодрала в кровь, но зато костяшкам пальцев сильно досталось, шапочка — в лоскутья, шубка — грязная тряпка. Доехала домой как будто ничего, здоровая. Едва дошла — боли и... выкидыш!.. Самый благополучный. Недельку пролежала в постели, будто больна ангиной — инфлюэнцы нынешней в то время еще не знали, — и встала как встрепанная.

Со смертью Катерины Бенаресовой стало возможным объявить Артюшу. Брать его на весну и лето из деревни было бы нелепо, и мы решили, что возьмем его в город с осени, а сейчас вдвоем с Дросидою наймем избу в Марфине, Галактион же будет к нам заезжать. Относительно младенца я сделалась теперь уже так храбра и не конфузлива, что, сойдясь у Эллы Левенстьерн с князем А.И. Урусовым, прямо спросила у него совета, как это сделать, чтобы Артюшу мне усыновить и — непременно бы с моей фамилией. Князь сказал, что возможно, но — долгая история: нужно согласие моих родных, нужно согласие Бенаресовых, если таковые имеются, и, так как я дворянка, то усыновление пойдет на высочайшее утверждение... Рекомендовал мне для хлопот одного помощничка своего: шустрый был молодой человек и старательный, дела-то ему, должно быть, были внове, так уж так-то ли надрывался...

В согласии своих — брата Павла, кузена-профессора — я не сомневалась: люди умные, либеральные. Удивятся странной охоте усыновлять чужое дитя? Признаюсь, что мое. Ну, погорюют, подосадуют, побранят — да и перестанут, простят. У профессора жена суровая, пуританка ужасная, — та, пожалуй, от дома откажет. Так не очень-то она мне нужна. Всегда мы друг дружку терпеть не могли, а в дому у них я бываю только на Рождество, на Пасху да в ихние се-

мейные праздники... И скука у них всегда — о Господи, какая зеленая скука!

Ну а с Бенаресовыми вышла заминка. Не от Катерининой родни: они, поверенный объяснил, и прав никаких не имели, чтобы помешать. Так для проформы съездил Галактион в Курскую губернию поговорить с дьяконом и дьяконицей. Сказали без всякого спора:

— Куда нам его? Дайте, коли ваша милость будет, что-нибудь на бедность, и — отступаемся! Берите! Нам, как лицам духовного звания, не достоит и мешаться в подобно затруднительные мирские дела.

А нашелся, вынырнул откуда-то со дна меньшой брат покойного Бенаресова, такой же пропойца, но лукавый подлец, из выжиг. До настоящей сути дела он, к счастию, не добрался: думал, что ребенок действительно Катеринин. Но учуял, что тут жареным пахнет, и вооружился шантажничать.

— Я, — заявляет, — родной дядя младенца, отцу его родной брат и за кончиною родителя единственный и естественный сему малолетнему несмысленышу попечитель... Не допускаю никаких усыновлений, желаю сам дать воспитание племяннику, на что имею достаточные средства!

А какие у него, бродяги, средства? Недвижимости — жена-калека, которой он же, пьяный, переломил спину безменом, так отнялись у нее с того ноги и лежит третий год на печи в хибаре, не движется. А движимого — вот эта самая хибара в Бронницах, что ли, или в Подольском, где она лежит, потому что, как ветер подует, хибара шатается, как мимо в телеге едут, трясется.

С этим судариком пришлось повозиться. Три сотни счистил, чтобы отстать и провалиться сквозь землю. А дознайся-ка он, что Артюша — мой сын, то мы от него и тысячей не отмахнулись бы... Это дело с ним Дросида вела и, давай ей Бог здоровья, ловко спроворила.

XLIV

А со мною, когда Галактион ездил в Курскую губернию к Катерининой родне, случилось происшествие горькое и страшное.

Была я в городе за покупками. Вижу афиши: в «Эрмитаже» у Лентовского идет «Удалой гасконец» с Аркадием Черновым. Ах, не слыхала! Останусь послушать!.. Покупки свезла на квартиру, дала телеграмму в Останкино знакомому лавочнику, чтобы известил в Марфино, что заночую в городе. Обедала у Эллы Левенстьерн. Звала ее с собою в театр, но у нее болела голова, не поехала. После обеда ухожу, Матрена Матвеевна меня провожает и — с тонкою, этакою ядовитою усмешечкою на толстой роже:

— Что так торопитесь? Начало в «Эрмитаже» в девять, а еще далеко до восьми... Знакомого, что ли, кого рассчитываете приятно встретить?

— Нет, — говорю, — не рассчитываю, а рано ухожу потому, что вы с Эллой немножко подпоили меня ликером и я хочу пройтись пешком, покуда светло...

Вечер июньский, ясный. Иду бульварами — полно народу. Прошла Страстной, прошла Рождественский — устала.

«Ну вот сейчас у ресторана «Эрмитаж» возьму хорошего извозчика: там — биржа...»

Но, едва поравнялась я с рестораном, не успел ко мне подкатить лихач, не успела я велеть ему: «В сад «Эрмитаж»», не успела поставить ногу на подножку пролетки — слышу оклик:

— Tiens, tiens, tiens! Mademoiselle Saidakoff! Quelle belle chance!*

Оглядываюсь: из подъезда «Эрмитажа» вышел господин — мужчина-шик в модных, как тогда носили, крылатке и шляпе-

* Стойте, стойте, стойте! Мадемуазель Сайдакова! Какой счастливый случай! (*фр.*)

калабрийке. Тоже на вид что-то вроде «удалого гасконца» или, как, помните, полицеймейстер Огарев любил себя рекомендовать: «Мужчина с большими усами и малыми способностями». И направляется ко мне с простертыми руками, чуть не с объятиями...

Беляев!!!

Я, понимаете, пополовела, похолодела, сердца не стало в груди — с неожиданности и страха чуть вместо пролетки на колесо не села.

Ведь надо же быть греху! Я о нем, проклятом, и думать-то давно забыла, уверенная, что он за тридевять земель, на Черном море, — ан, пожалуйте: встреча! Как Мефистофель из трапа!

Не знаю, что лепечу, а он уже обе руки мои забрал, трясет их, целует по очереди:

— Ах, м-м-маммочка! Как я рад вас видеть!.. А ты, любезный, — к лихачу, — разве не видишь, что свершился переворот судеб и барышня сейчас никуда не поедет?

И с этими словами подхватывает меня наглейше под руку и ведет в ресторан.

Я опомнилась, вырываюсь:

— Что вы? Бог с вами! Куда? Я не хочу!

— Ни-ни-ни! Никаких! Жантильом Беляев желает по случаю радостной встречи сокрушить флакон «Моэта» и умоляет вас оказать ему честь пригубить...

— Да не пойду я! Что выдумали?

— Пойдете, мамочка! Клянусь вам честью вашей бабушки и будущим крестом на Святой Софии, пойдете!

— В ресторан... одна?..

— Вдвоем, мамочка, вдвоем — с вами Аристарх Беляев, рыцарь без страха и упрека... le beau Dunois a la russe...*

— Это еще хуже... Завтра по всей Москве разнесется...

* Прекрасный Дунай в русском стиле... (*фр.*)

— Мамочка! Оставьте мещанские страхи, они вас недостойны.

— Нет, оставьте вы меня, Беляев! Пустите руку! Что за скандал бесстыдный?

— Мамочка, никакого скандала, но будет гросс-скандал, если вы продолжите упорствовать... Le beau Dunois не привык к отказам... Слушайте: я считаю... Un... deux... Имейте в виду, что, произнеся trois*, я разбиваю вот это зеркальное стекло, даю по физиономии вон тому беспечно приближающемуся к нам неведомому господину, затем падаю на тротуар и начинаю кататься в злейшем эпилептическом припадке. Мамочка, неужели вам приятнее сопровождать меня свидетельницею в участок, чем посидеть какие-нибудь полчаса в кабинете лучшего российского ресторана с почтительнейшим вашим другом и слугою за бокалом великолепнейшего вина?.. Un... deux...

Покосилась я на его бесстыжие глаза: да! Чем грозит, то сделает! На всякое безобразие способен!

— Хорошо, — говорю, — только, ради Бога, ненадолго... Я спешу в театр...

— Аркашку Чернова слушать? Не уйдет ваш Аркашка, мамочка!

— Не смейте называть меня «мамочкой»! Что за фамильярность? Откуда?

Он вдруг нагнулся почти к лицу моему и хитро-хитро подмигнул мне из-под шляпы.

— А разве вы не «мамочка»? Я думал: вам приятно... слово нежное... и — нежное к нежному... «М-м-мамочка...» Ха-ха-ха! Не нравится? Ну не буду... не буду...

Я обмерла. Вот оно почему он так разнагличался! Дошла-таки до него наша клевета... Ну, Лили!.. Ну, Лили!.. Заехала ты в ухаб — как-то выедешь?

* Раз... два... три (*фр.*).

Но в кабинете Беляев повел себя сперва совсем прилично и вежливо. Я уже усумнилась было: не ошиблась ли я на счет «мамочки»-то? Не почудился ли мне намек — так, в случайном простом совпадении слов... от не совсем чистой моей совести?..

Сообщил он мне, что в Москве проездом, по делам, четвертый день, а сегодня в полночь с минутами уезжает в Питер, вторым курьерским... И вот — на прощание с Первопрестольною, Белокаменною, Златоглавою и прочая, прочая вдруг этакая, мол, очаровательная встреча!

— Encore une fois a, votre santé, mademoiselle Lili!*

— Благодарю вас, но я больше пить не стану!

— Боитесь, головка закружится?

— Нет, мне пора в театр, и не хочу сидеть в зале с красным лицом.

— Э! Что театр! Чернов не в последний раз поет. «Эрмитаж» вы всегда имеете к вашим услугам, а мы опять — кто знает, когда увидимся... Выпейте!

— Нет.

— За свое-то здоровье?

— Нет.

— Ну за мое?

— Ни за чье.

Он сразу переменил тон и лицо. Глаза наглые, усы всtopорщенные. С усмешечкой:

— Ни даже за здоровье новорожденного?

Ох, как дернуло меня! Едва держалась.

— Какого новорожденного?

— Как? Вы не знаете? В городе Манчестере на сыре честере меж двух дверей родился китайский архиерей... За него и выпьем!

— Оставьте говорить чепуху!

---

* Еще раз о вашем здоровье, мадемуазель Лили! (*фр.*)

— Чепуху? — опять жульнически подмигнул он мне, как на улице насчет «мамочки». — Вы полагаете, чепуху?.. Ну а скажите-ка, мадмуазель Лили, это как, по-вашему, будет: чепуха или нет, что некая московская барышня ухитрилась родить сына от человека, с которым никогда не спала?.. Ну-ну! Нечего с места вскакивать! Куда?

— С человеком, который позволяет себе говорить таким языком с женщиной, я не останусь ни минуты.

— Фантазия! Не уйдете!

— Нет, уже ушла!

— А вот только попробуйте выйти за дверь — я во все звонки зазвоню и караул закричу, что вы у меня вытащили бумажник...

Я, уже державшаяся за ручку двери, услыхала — задрожала, отступила.

— Вы лжете, негодяй! Ничего я у вас не брала.

— Ну и лгу! Ну и лгу! — смеялся он. — А вас все-таки обыщут! Все-таки обыщут! А когда ничего не найдут, я пред вами в раскаянии на коленки стану и со слезами извинюсь в ошибке, и вы должны будете меня простить. А по Москве, которой вы так боитесь, пойдет молва, что мадмуазель Сайдакова, пребывая в ресторане «Эрмитаж» с известным вивером Аристархом Беляевым, была заподозрена в похищении у него бумажника, и хотя бумажник нашелся, но...

— Нет, вы ошибаетесь, что я должна буду вас простить, — набралась я смелости, сказала с твердостью. — Слезами вашими я не тронусь, а прямо отсюда отправлюсь к обер-полицеймейстеру...

Он захохотал.

— Нашли пугало! Хотите, под ручку пойдем? Сопровождать вас согласен... Полицейский дуэт споем... Вы будете петь сопрано, как я, подлец-расподлец, обманом и насилием затащил вас, невинную такую овечку, в ресторан и взвел на вас ложное обвинение. А я буду контрастировать баритоном,

что в ошибке виноват и слезно каюсь, но в ресторан пригласил я вас вовсе не обманом и не насилием, а для честного объяснения ваших странных поступков. Потому что вы на всю Москву распускаете ложные слухи, будто я отец вашего ребенка, что неудобно для меня как человека женатого и почтенного отца своего собственного благородного семейства...

— Молчите! — шепчу ему. — Не надо! Молчите!

— Ага? Теперь — молчите? Ах вы, такая-сякая, сухая, немазаная! И что вам только в голову взбрело? Хорош, должно быть, настоящий-то родитель, если, чем в нем признаться, валите грех на Аристарха Беляева...

— Молчите! Молчите!

Оттопырил губы под усами, подняв брови по лбу, усами водит, головою качает — ломается, будто раздумывает.

— Молчать можно, но, мадмуазель Лили, за молчание платят.

Фу ты — слышите? — хам какой! Однако мне стало немножко легче.

— Что же, — отвечаю, — если в этом только дело, то скажите мне, сколько вы желаете получить? Но предупреждаю вас, что я совсем не богата, много дать не могу...

— А мало взять я не хочу, — возразил он и захохотал. — Эх, вы... Лиляша!

Впервые меня посторонний человек этим именем назвал. Обожгло, но — оборвать уже не смею. А Беляев бесцеремоннейше треплет меня с покровительством по спине и внушает:

— Наивность! Аристарха Беляева купить воображаете! Le beau Dunois, сударыня моя, шантажом не занимается. С дам денег не берет, а сам им платит... Вы оскорбили рыцаря без страха и упрека!.. А так как ни одно оскорбление рыцаря не должно оставаться без наказания, то вот получите...

И — хвать меня на колени, чмок прямо в губы...

Я вырвалась, отпрыгнула в угол, стулом загородилась, дрожу вся, челюсти ходят, зубы стучат... А он хохочет.

— Это, Лиляша, в задаток взято, а теперь давайте сторгуемся по-настоящему… Только знаете что? Здесь неудобно. Прислуга слышит, иной раз некстати входит. Перейдемте-ка в более скромное помещение — не бойтесь, неподалеку, здесь же, только другой подъезд…

Вот оно что! Про другой подъезд «Эрмитажа» довольно я слыхала — в Москве разве малые ребята не знают, что это за благословенное местечко... А Беляев уже серьезно, даже нахмурясь, говорит:

— Вы, мадемуазель Лили, взвели на меня небылицу и подкинули мне младенца, в котором я не виноват ни сном ни духом. А я теперь хочу дело поправить и в небылице вас оправдать. Вперед, когда будете рассказывать, что с Беляевым связь имели, то по крайней мере не солжете. А если вам не угодно расплатиться в предполагаемом порядке, то к обер-полицеймейстеру не вы пойдете, а я. И судебное преследование за клевету возбудить против вас я должен буду. И в газеты пущу. В «Московский листок» попадете, в «Новости дня»: мне Сенька Кегульский приятель…

— Беляев, — говорю, — вы же человек из порядочного общества! Неужели вы не понимаете, какую гнусность мне предлагаете? А еще рыцарем себя называете — без страха и упрека! Какое же это рыцарство? Никак я не ждала от вас ничего подобного...

— Извините, — возражает, — ловлю вас на маленькой лжи: ждали и должны были ждать. Потому что вы меня своим друзьям и знакомым расписываете таким мерзавцем, что ежели бы я обладал демоническою натурою, то мог бы даже некоторую мрачную гордость восчувствовать, какая я всесовершенная сволочь… Но так как я не демоническая натура, но очень веселый добрый малый, то говорю прямо и про-

сто: час любви и наслаждения — и все забыто! Насмарку!.. Comprenez?*

Слышу не слышу — мечется дума, как летучая мышь: «Кто же это меня выдал? Кто мог выдать? Кроме Дросиды, знали только Элла Левенстьерн со своей противной толстухой Матреной... Но, если бы Элла виделась с Беляевым, неужели ли же она меня сегодня не предупредила бы?.. Или, может быть, Элла проболталась кому-нибудь, и в самом деле сплетня плывет по Москве, и он ее принял уже из третьих рук?»

А Беляев щелкает часами.

— Ба! Уже почти девять! В самом деле, для любви и блаженства остается что-то около часа, потому что курьерского поезда я пропустить не намерен даже ради любви и блаженства. «Ля чи да-рем ля мано!» — слыхали «Дон Жуана»? Идем, Лиляша!.. Да ну, будьте умница, не кобеньтесь! Ведь, в самом же деле, «мне срока дано на один час», а затем я исчезаю, и все, что есть во мне приятного, исчезнет вместе со мною... Ну чем вы рискуете? Что вы теряете? Сообразите выгоды, вычтите неудобства — плюс огромнейший...

— Отойди, скотина! Ударю!

— А вот только посмей: и другого подъезда ждать не стану, здесь повалю.

Хуже сказал: грубым, уличным, мужицким словом. И — точно обухом меня им пришиб. Никакой воли, вся — страх. Потому что вижу: пиджак от француза, пробор в кудрях Теодором выведен, а в пиджаке и с пробором — разбойник волжский, Стеньки Разина работничек. А он меня уже на коленях держит и целует не жалея.

— Эх, Лиляша! Плох, должно быть, этот любовник твой, за которого я в ответственные редакторы тобою пожалован... Женщинка ты ничего, душистая, а настоящие мужчины, вид-

* Понимаете? (*фр.*)

но, тебя не любливали... Ну-ну! Без обмороков и без истерик! Терпеть не могу!.. И совсем не с чего: не бойся и не дрожи — я не в тебя, компрометировать тебя не намерен, свое желаю получить, но если сама будешь умна, то останется в секрете. Видишь: ты мне в рыцарстве отказываешь, а я деликатный — даже не интересуюсь знать, за какой это таинственный пейзаж и жанр на двух лапах ты заставила меня расписываться в младенце... В чужие дела не мешаюсь и для своих огласки не люблю. Безмолвен и загадочен, как мавзолей без надписи. Или — как бракоразводные сутяги себя публикуют: «Скорое и безупречное исполнение поручений всякого рода и совершенная тайна...»

— Слушайте, — говорю-дрожу, — я отрекаться не могу, виновата и в вашей воле... Сопротивляться вам не смею и, если вы клянетесь мне в совершенной тайне, не шутя, а как человек, вы же, сохранивший какие-нибудь остатки чести...

А он ломается:

— О, этого добра во мне — горы! Россыпи! Миллионы пудов 96-й пробы! Я своей честью торгую не только на внутренний рынок, но даже и на заграничный вывоз!

— По крайней мере, — умоляю, — скажите мне, каким образом, откуда вы узнали?

— А это, — говорит, — я тебе, Лиляша, открою тоже там, куда мы теперь высочайше проследуем.

Позвонил. Человек входит, а он, бесстыдник, меня с колен не спускает, железной лапой стиснул. Едва я успела от срама лицо спрятать. Швырнул слуге двадцатипятирублевку.

— Сдачи не надо и — проводи коридорами... понимаешь?

Опять крепко сцапал меня под руку и поволок. Жива я или мертва? Не я иду, ноги несут. Кружим лабиринтом каким-то. А он меня тащит, а на ухо мне черт знает что говорит!.. Вот он, сон-то мой в Марфине, когда сбылся! Вот он, какой «Эрмитаж» был мне напророчен! Истинно уж сатир в пляску волочит и — «сотворим прелюбы»! Только тогда-то во сне я коз-

лоногого беса ногой в пузо отпихнула и опрокинула, а теперь тут, наяву — ах ты, Господи, да что же это за наслание такое?! Словно я не живой человек, а лайковая кукла...

Но надо правду сказать: Беляев на сатира с картины не походил нисколько, а был собой молодец хоть куда, и если бы не вел себя такой свиньей, то слегка пофлиртовала бы я с ним — в другое время — охотно... Но ведь дикарь дикарем! Как невольницу с торга в гарем ведет, разбойник! И еще издевается, острит:

— Ты, Лиляша, как я замечаю, дичок: в наивности застряла и любопытства к мужчинам мало имеешь. Вот я тебя просвещу и внушу тебе разнообразие вкуса... увидишь: много веселее жить станет!

Спросите меня: почему я шла за ним, как овца в стаде за козлом-вожаком? Почему не вырвалась, не барахталась, не кричала?.. А как вы думаете: часто ли наша сестра, молодая бабенка либо, того пуще, виноватая девушка с грешком, кричит, когда попадает нахалу насильнику в лапы? Скажу вам: на десять, может быть, одна. Чистая девушка, та, как не очень-то знает, чего от нее насильник добивается, непременно закричит, потому что от неведения в ней отвращение выше всякой меры и страх за самую жизнь. Это даже — мне старушка одна богомольная показывала в Библии — Священное Писание различает. Ежели на девушку нападал в пустыне насильник, то — которая девушка докажет, что кричала, да ей никто не помог, насильника побивали камнями; а которая доказать не могла, то обоих...

Только позволю себе возразить-прибавить: в пустыне-то, у кочевых шатров или кибиток, дикарке, отбиваясь от дикаря насильника, кричать естественно и легко, потому что нет никакого срама. Ну а завопить на помощь нынешней женщине в коридоре или в кабинете сомнительной гостиницы — ах, большое мужество и самообладание нужно, потому что срам скандала-то на насильника упадет перышком, а на женщину

свинцом... Господи! Да вы только представьте себе картину: сбежавшихся официантов, скандалящего господина, посторонние случайные лица в качестве непрошеных благородных свидетелей — еще, на грех, знакомый навернется, — полиция, протокол, общее недоверие: ежели, мол, тут насилие и ущерб твоей добродетели, то какие же, с позволения сказать, черти занесли тебя в подобный вертеп в компании с подобным субъектом?.. Девять из десяти — которая рассудком, которая инстинктом — смирятся, скажут себе, как и я сказала: «Э, не убудет меня! Не умру я от этого и авось не слиняю! А зато тайну себе куплю, никто ничего не узнает, и жизнь моя потечет по-прежнему, как река в своем русле: муж или любовник спокойны, семья не осрамлена... А уж за обиду свою, дай срок, я с обидчиком, даст Бог, как-нибудь рассчитаюсь — по-нашему, по-бабьему, по-незабывчивому!»

Лукреций-то, которые от таких причин закалываются всенародно, на свете немного. Но мало женщин, чтобы, претерпев насилие, прощали и забывали. Если, конечно, не самки, обрадовавшиеся именно вот тому, что, как Беляев изволил острить, кто-то им «внушил разнообразие вкуса...». Девушки, соблазненные и обиженные, те действительно к самоубийству очень склонны, а наши русские Лукреции умирают редко. А вот с их-них Тарквиниев, если бы я была агентом страхования жизни, то особенно высокую премию брала бы... За семь лет у меня в хору четыре девушки перебывали, за которыми в прошлом осталось, что они своих насильников малость покормили мышьячком: две на скамье подсудимых посидели и получили оправдание, а двум сошло с рук — осталось шито-крыто...

— Вы-то знали, однако?

— Я знала, и подруги хористки знали.

— И... ничего?

— А что же? Не осуждали, а которые и хвалили.

— А не обидетесь, разрешите спросить: сами вы лично как к тому относитесь?

Елена Венедиктовна помолчала малую минутку, потом глянула бодро, с вызовом.

— Разно, знаете... Смолоду в ужас пришла бы... А теперь, когда слышу подобное, говорю: «Собаке собачья смерть...» Что же? По справедливости: он у нее — честь, она у него — жизнь... на квит надо!..

А насчет русских Лукреций вот, послушайте, фактик. Почти что на моих глазах дело было, в Вологде. Жил-был там купец — из себя молодец, жена-красавица. Жили душа в душу. Был у купца приказчик, парень-ухо, «гитарист и соблазнитель деревенских дур», славился своей удачей по Вологде. Друзья-компания, зная, что он бахвал великий, и натрави его: «Ты-де, Алексей, некстати много чванишься, что горняшек портишь — на этот товар у кого удачи нет, — а вот попробовал бы ты счастья у хозяйки!..» Он и попробовал, а хозяйка его такою грозою отшила, что не знал, как отойти. Едва умолил, чтобы не сказывала «самому». А между тем он приятелям уже нахвастал, будто у него с хозяйкой дело идет на лад. А какой там лад, когда баба глядит тучей и рычит медведицей? А приятели дразнят: «Нет, ты покажи! Нет, ты докажи!» Парень злой, бесстыжий — не лучше моего Беляева, «рыцаря без страха и упрека». Подкараулил хозяйку — одну — в глухой кладовке, набросился врасплох, осилил. И закомандовал:

— Видишь, каков я?

— Вижу.

— Поняла меня?

— Поняла.

— Должна ты мне покорствовать?

— Должна.

— Ну то-то! Приходи, значит, завтра в таком-то часу в такую-то рощу.

— Слушаю.

— Чтобы у меня — аккуратно! А вздумаешь мужу жалиться — и ты, и он на ноже поторчите!

— Нет, зачем жалиться?

И точно: мужу она не пожаловалась, но сейчас же после этого дела пошла к свекрови и рассказала чистосердечно все, как было. Свекровь ее очень любила, а женщина была — старого века кочерга: хотя добрая и разумная, но — ух, характерная! Железо!.. Невестку она, убедившись, что вины на бабенке нет, побила для приличия келейным порядком, а затем и рассудила Соломоновым судом:

— Ты про этот грех молчи, а паче всего мужу ни слова. Нечего беспокоить его: он сгоряча за нож возьмется. Из-за паскудника ли Алешки ему в острог садиться и свой честный дом рушить? Ты — второй месяц тяжелая в законе, стало быть, другого плода от беззаконья не понесешь, а — тем море не опоганилось, что собака полакала. Алешке же, сукину сыну, устроим мы нашу бабью отместочку — пока жив будет, не забудет, в гробу вспомнит, перевернется...

И научила:

— Поди ты сейчас к мужу в лавку, улучи шепнуть тому подлецу, что в час и место, когда велел, прийти не можешь, свекровь-де тебя работой заняла. А вот послезавтра муж едет в Кадников получать по векселям, свекровь идет в Прилуки ко всенощной, там и заночует, а я, стало быть, одна в дому; отворю тебе окошко, ты влезешь, пануй во всю ночь...

— Маменька, — говорит невестка, — да ведь он похвальбишка: сейчас расхвастает...

— А нам, — возразила свекровь, — то и надо, чтобы расхвастал.

В расчете не ошиблась. Бахвал сей же час оповестил свою компанию:

— Вот вы не верили, что я с хозяйкой живу, а она мне завтра в ночь у себя в спальне рандевуй назначила. Своими глазами можете видеть, как я в урочный час в окошко к ней полезу...

Ну и сталось. Собрались друзья-компания в урочный час. Укрылись за углом под забором. Ночь лунная, видно, как днем.

Смотрят, дело как будто на правду похоже: во втором этаже купцова дома тихо открылось-распахнулось окно. Алексей этот:

— Что? Видали нашу удачу молодецкую?

И — марш! На фундамент вскочил — видит компания: тянется по стене, ухватился за подоконник, поднимается на руках, сунул голову в окно.

И вдруг, как сатана с небеси, бух на землю — оборвался, так черным нетопырем и черкнул по белолунной стене... А из окна — бабий вопль в два голоса:

— Ай! Кто там? Караул! Помогите! Режут! Воры! Воры!

Честная компания врассыпную, кто куда! А бабы пуще орут! И слышат молодцы: Алексей что-то тоже подвывает волчьим голосом...

Взбулгачилась улица... Пришли с фонарями... Алешка по земле волчком крутится, клубком свивается, ревет то волком, то медведем, а подойти к нему — нос зажми: такая вонища... А свекровь с невесткою, с перепуга дрожмя дрожа, объясняют соседушкам:

— Мы к празднику уборку в дому делали и опозднились. Поужинав, хотели уже спать ложиться, да спохватились, что всюду полы вымыты, а отхожее место работница отложила на после, да позабыла. А мы ее с вечера отпустили на праздник к угоднику, в Прилуки. Как быть? Нагрели с невестушкой котел воды и давай сами... Открыли окно — помои выливать... Вдруг слышим: шарп-шарп по стене... Невестка глянула в окно — половая стала: «Маменька, к нам вор лезет!..» А нас в доме — две бабы, хозяин в отъезде, я человек старый, слабый... Что делать?.. Невестка — бабочка могутная: схватила ведро с помоями, да, как он, сукин сын, морду свою в окно сунул, она ему на голову и надела... Ну, помог Бог, ошпарила подлеца — завизжал и покатился...

— Ну, и?.. — спросил я, видя, как, замолкнув эффектно, Елена Венедиктовна победоносно и с вызывающей иронией на меня посматривает.

— Ну и — только по снисхождению, что присяжные дали, не пошел парень в каторжные работы за покушение на грабеж, не считая того, что с кипятка у него рожа от кожи облезла, а с грязи рожа на роже прикинулась... А купчихина репутация выросла выше соборной колокольни... Да-с, то-то вот и оно-то!.. Как находите?

— Гм... не скажу, чтобы благовонно, но не смею отказать в остроумии...

— Ах, голубчик, да ведь по климату! Где кинжал, а где ведро с помоями... А мерзавец-то, я слыхала, отбыв положенное ему тюремное заключение, года по воле не прогулял — удавился. Потому что молва за ним всюду шла и нигде ему не было покоя от насмешек: «Расскажи, Алеха, как тебя купчиха купала в мужнином дерьме...» Да! Вот они, наши российские-то Лукреции, каковы! Хоть и не благовонно — находите, но согласитесь, умнее римской…

XLV

За одно спасибо Беляеву: недолго томил. В самом деле очень спешил на петербургский поезд, ждало его в Питере важное дело. И слово свое сдержал: открыл мне, как и от кого доведался до моей клеветы.

— Сообщила это, — говорит, — мне милая женщина, через которую я, приехав четвертого дня без гроша, успел в Москве на скорую руку занять деньжонок. Слыхала ты, что есть в Москве ростовщик и дисконтер Волшуп?

Можете себе представить, что со мною при этом имени сталось?! К счастию, лежала я, отвернувшись к стене, и в алькове нашем был полумрак, а — что голосом откликнулась плаксивым и трепетным, так можно ли было в тех моих обстоятельствах иметь голос бодрый и твердый?

— Кто, сказали вы?

— Волшуп... Галактион Артемьич Волшуп.

— Нет, как вы о нем сказали? Кто он?

— Ростовщик и дисконтер... Впрочем, где же тебе знать? Барышни к промышленникам такого рода отношения иметь не могут.

Час от часу не легче! Галактион — ростовщик и дисконтер?! Лежу — ушам не верю... Ну-ну, молчи, владей собою — что-то услышишь дальше?

Дальше услыхала такую историю.

Едет Беляев в Петербург по крупному концессионному делу, которое сулит ему чуть не миллионы. Выехал он из Одессы с порядочною суммою в кармане, предназначенною для подмазки в Питере кого надо. Но в поезде попал в шулерскую компанию, которая затянула его в игру и обчистила как липку, так что в Москву он приехал гол, как буддийский святой. Бросился искать денег по московским знакомым — кого нет в городе, кто не дает.

— Положение пиковое. С горя — что делать? — закатился к «Яру». Все равно, мол, пропью остальные, а утро вечера мудренее, авось что-нибудь да наклюнется. Сколь я ни обчищен, но, во всяком случае, между мною и Хитровым рынком остаются часы, запонки и хорошее платье, не считая нескольких дней кредита в «Славянском базаре»... У «Яра» вижу: за дальним столиком с двумя немцами — барон М.

Молчу. Вот только того не доставало, чтобы и этот тут припутался!..

Дальнейшее Беляев рассказывает, а я уже по барону сама сообразила, угадываю — хоть подсказывать.

— Запутались на всю ночь. Поутру, едучи от «Яра», изложил я бароше свои злоключения. Он говорит: «Попробуем поправить. Сам я, конечно, ничем тебе помочь не могу, потому что живу дарами Провиденья, а оно отпускает их весьма не щедро. Но вот тебе номер телефона. Вызвони некоего господина Волшупа — Галактиона Артемьевича Волшупа. Адреса не даю, потому что он живет в ужасной яме и не любит, чтобы

к нему бывали незнакомые. Ты объяснишь, что направил тебя к нему и телефон дал я. Он назначит тебе где-нибудь свидание, и я уверен, что сделает для тебя все возможное...»

Я мысленно возблагодарила Бога, что Галактион уже с неделю в отъезде и, значит, с ним-то Беляев уж никак не мог иметь встречу... Вообразить их двоих лицом к лицу — мысль приводила меня в содрогание!.. Хотя, может быть, это было бы лучше того, что последовало.

А последовало, что за отсутствующего Галактиона дело взял на себя Михайло Фоколев, человек, который в этом случае был для меня опаснее самого Галактиона, потому что Галактион нашей выдумки о Беляеве не знал, а Фоколеву она была известна от тетеньки Матрены Матвеевны. Так что если бы этот рафинад ходячий захотел, то мог бы держать меня в руках двойною осведомленностью — и о настоящем родителе моего ребенка, и о мнимом. Но он был парень очень порядочный и вопреки двойной осведомленности вдвойне и молчал, сдерживаемый и дружбою к Галактиону, и влюбленностью в меня.

Сперва Фоколев затруднился было исполнить просьбу Беляева: сумма была значительная — десять тысяч. Отговаривался, что невозможно без Галактиона Артемьевича: наше дело маленькое, мы в широкие обороты не пускаемся, крупными ссудами не рискуем, к тому же касса в расходе. Но Беляев предложил баснословные проценты и хороший куртаж, а барон М. — свое поручительство, и сделка состоялась. Но касса Фоколева оказалась действительно в расходе. Он осилил собрать только семь тысяч, а остальные три добывать бросился к своей любезной тетеньке Матрене Матвеевне.

Толстуха, узнав, что ссуда требуется для господина Беляева, проявила необыкновенный интерес к сделке. Процент она тоже заломила чудовищный, но, кроме того, поставила непременным условием, что желает сперва видеться и переговорить с Беляевым и лично вручить ему валюту в об-

мен на вексель. Беляев против встречи ничего не возразил и любезно пригласил кредитующую тетеньку в «Эрмитаж» на завтрак. Фоколеву (как я много позже узнала) и в голову не пришло, что тетенька добивается этого рандеву из любопытства проверить мою историю. Думал, что тетенька, обуреваемая озлоблением своей обширной плоти, просто ищет случая позабавиться с приятным кавалером, чему он, по некоторым личным соображениям, был даже рад. Вчера на условленном свидании проклятая толстуха и выболтала Беляеву свой донос.

— Я, — говорил Беляев, — сперва не поверил, потом изумился, потом обозлился, поехал было к тебе на квартиру — требовать объяснения, но звонил — не дозвонился, только, кажется, звонок оборвал. Дворник-скотина пьян, ничего объяснить не в состоянии, мычит, воняет перегаром и плетет вздор. Я дал ему в ухо и проклял его, прогнал дурака в дворницкую. Двор у вас захолустный какой-то, пустой, как степь Гоби. Нашлась, однако, бабица, объяснила мне, что ты на даче, но — где дача, не знает... Я плюнул и уехал. Все равно, думаю, когда-нибудь встретимся, сосчитаемся, а не встретимся, то и расти беда трын-травой. В конце концов, ведь не знаю, какая тебе прибыль, но мне никакой убыли нет... Не тратить же мне короткое московское время на поиски по дачам. Я и на сегодня-то застрял в Москве только потому, что в благодарность за посредничество надо было угостить барошу завтраком. Занимались этим полезным делом с половины второго до вечера... Он — перед тем, как нам с тобой встретиться (вот-то уж воистину на ловца и зверь бежит!), ушел не больше как за десять минут, а я, на мое счастье, того... в уборной задержался...

Господи! Хоть тут-то посчастливилось, не подвела судьба-злодейка! Ну что бы со мною сталось, если бы они вышли вместе из «Эрмитажа» и Беляев начал бы свои наглости ко мне при нем, при бароне? Умереть на месте — больше ничего! В каких-нибудь десяти минутах погибель прошла мимо...

Вот-то уж воистину — «как их Бог не в пору свел?».

Робко закидываю словцо:

— Вы знаете, что барон М. мне — хотя и дальний, родственник?

— Как же! Помню что-то вроде чего-то... А почему это ваше родство должно нас в данный момент интересовать?

— Меня — потому, что я хочу знать, не посвятили ли вы вашего приятеля в сделанное вами… открытие?

Он сделал лукавую шутовскую гримасу.

— А если бы и так?

Я, едва услыхала, как вскочу! Прыг через него из алькова и — к окну! Едва-едва он успел поймать меня за сорочку.

— Сумасшедшая! Куда ты?

— Пустите! — шиплю. — Пустите! На мостовую выброшусь, голову себе расшибу…

Я рвусь, а он назад одергивает. Сорочка затрещала, я, не удержав равновесия, бухнула-опрокинулась на ковер. Беляев поднял меня, усадил в кресло, зубы стиснутые мне разжал, стакан вина влил — стоит, смотрит с жалостью и как будто немножко сконфужен…

— С чего *вы*, Лили?

А я ничего ответить не в состоянии, только бормочу вперебой со стуком зубовным:

— Если барон… если вы барону…

— Да ничего я барону! — воскликнул он. — Успокойтесь, пожалуйста, совсем никакой причины нет так волноваться… Мне очень жаль, что я пошутил неосторожно, а вы так серьезно приняли... С какой бы стати я рассказывал барону? Что вы воображаете, будто я совсем уж потерянная личность? Нет-с, у меня есть свои правила! Pour chevaliers de ma patrie...* и так далее! Ни слова не было сказано о вас между мною и бароном! Клянусь — чем хотите: четой и нечетой, ме-

* Как рыцарь своего отечества… (*фр.*)

чом и правой битвой, утренней звездой, вечернею молитвой, гаремом царя Сарданапала, хоботом слона в Зоологическом саду, курантами на Спасской башне, недосягаемою вершиною Эвереста и обрезанием тысячи ста сорока семи раввинов!.. Ни слова!.. А теперь, после того, что видел вас в такой ажитации, обещаю вам — теми же святынями, — что не только этого никогда не скажу барону, но и вообще упоминания о вас при нем буду избегать... Э-ге-ге! Так вот оно что?! Ларчик-то, оказывается, просто открывался?!

— Что вы хотите сказать? — шепчу.

— Да то, что, по вашему смятению судя, это по его милости, что ли, вы меня в номинальные папаши-то произвели? Скажите правду, я не разболтаю.

Какую удобную и правдоподобную ложь кладет мне в рот! Но произнести ее — нет, не поворачивается язык! Осталось во мне от старого, погасшего чувства к барону что-то такое, что не позволяет... По всей душе ходи как хочешь, в грязных сапогах, а вот сюда — остерегись, не подступай: храм разрушенный все храм, кумир поверженный все бог.

Уклончиво ответила:

— Вы же говорили, что этот вопрос вас не интересует?

— Совершенно так, но сейчас заинтересовал... Вот будет штука, если я — не чаял, не гадал — в вознаграждение дружеской услуги поставил барошке оленьи рога! Свинство и конфуз товарищеской чести! Признайтесь уж лучше, чтобы мне знать, как себя пред ним держать. Он?

— Нет, не он.

— Правду говорите?

— Правду.

— Гм... А с чего же тогда вы, смею спросить, взбесновались?

— С того, что между мною и бароном дружба с ранних детских лет, с того, что это чувство мне дороже всего на свете, с того, что, если я потеряю его уважение...

— Да не горячитесь, Лили! Чего вы? «С того», «с того» — словно ектенью читает!.. Скажем просто: платоническая любвишка, поиграли в сухую любовь... Ох-ох-ох!.. Cousinage dangereux voisinage!..* Ну, если не он, то опять теряю интерес к вопросу. Все равно кто. Пускай это разыскивает ваша толстая неприятельница. А она, дружески предупреждаю вас, разыщет.... За что она вас так не любит?..

— Я не знаю... Разве?.. Мне известно, что она болезненно любопытная и иногда довольно злостная сплетница, но особой нелюбви ко мне я в ней не замечала.

— Не приметливы же вы. Ух, не любит! Вчера, когда я объявил ей, что вся ваша болтовня обо мне совершенная чепуха и я изумлен выше меры, потому что не только никаких экспериментов деторождения, но хотя бы тени романа, ни даже сколько-нибудь серьезного флирта не бывало между нами, она вся раздулась от радости, как жаба, раскраснелась, как клюква, глаза, как фонари, засветились ярым желтым огнем. Сущая кошка: давно желанную мышь поймала. Пренеприятную рожу скроила. Я даже пожалел немножко, что поспешил отречься от вас. Пусть бы продолжала думать на меня и была бы, как леди Макбет, в неведенье спокойна, не копаясь дальше. Вы ее опасайтесь, Лили.

— Благодарю за совет, — горько сказала я, — но что она может сделать хуже того, что вы со мной сделали?

Возразил с совершенною беспечностью:

— Уж будто так скверно? А между тем меня многие дамы хвалили, и от дев случалась одобрение получать!

И — я не ответила, онемела, знаете, — а он продолжает добродушнейшим тоном, совсем дружелюбно:

— Ах, Лили! Охота вам трагедию изображать? Смотрите на дело проще.

— Проще — на то, чем я достала себе стыд и угрызение совести на всю жизнь?

---

* Кузинство — опасное соседство!.. (*фр.*)

А он — спокоен, будто правый, — сидит на кровати, нагнулся, завязывает шнурки в штиблетах и бурчит:

— Уж и на всю жизнь! Пожалуйста, мой ангел, не пугайте меня страшными словами. На всю жизнь — глупая мещанская фраза. Зачем подписывать такой долгосрочный вексель? Скажи лучше, — опять он на «ты» перескочил, — «сей мой грех — до порога!».

Недоумеваю:

— Как это? До какого порога?

— Да я бы тебе советовал, вот до этого, — указал он головой на дверь номера, — а в крайнем случае — до подъезда. А как сядешь в пролетку, тряхни головой: лети, грех, прочь из ума, вон из памяти! Право же, не стоит увозить далеко столь тяжеловесную незабудку...

— Знаете, Беляев… Ну, Беляев…

— И знаю, и не погоняй, — перебил он, хладнокровно натягивая на ноги пестрые клетчатые брюки, последний крик тогдашней летней мужской моды. — Дерзновенное и неразумное женское существо! Ну что ты в состоянии противопоставить опыту вещего мудреца Беляева, кроме вот этаких бормотаний, пожимания плечами да взглядов, не столько пепелящих, сколько, извини, бессмысленных? Лицемерие, душа моя! Бабы предрассудочное лицемерие! Ты и не воображаешь, до какой степени ты сейчас лицемерка, и, сама себя не понимая, выкрикиваешь совсем не то, что в самой вещи чувствуешь. На всю жизнь! Много ли ты в сих делах-обстоятельствах смыслишь? Откуда ты себя, какова ты в них, знаешь? Брысь, котенок! Твое время еще впереди. Который я у тебя любовник?

— Вы вовсе не любовник мой, — вскричала я с гневом, — а...

— Второй, — не обратив никакого внимания, не дал он мне продолжить, — а вернее, первый, потому что твой первый номер — платонического барошу я не ставлю в счет, — твой

первый номер, которого ты скрываешь, есть, сколько я могу догадываться, некая постоянная величина, нечто вроде тайнобрачного супруга...

Он встал и, с прежнею невозмутимостью выправляя по рубашке и застегивая расшитые шелковыми цветами подтяжки, продолжал:

— А Беляев — знаешь ли ты, скольких любовниц имел и сменил на своем веку мудрый Беляев? Списком Дон Жуана не похвалюсь — думать надо, и Дон Жуан-то хвастал, приписывал. Но за сотню будет. Я сегодня заставил тебя пропустить «Удалого гасконца» с Аркашей Черновым. А ты слыхала его в «Корневильских колоколах»?

Стал в позу — не смею солгать, чтобы не эффектно, — и запел во весь голос, не смею отрицать, что умело и очень недурным баритоном:

Итальянки,
Немки, испанки
И англичанки —
Словом, весь мир, —
Меня любили,
Счастье дарили,
Создать сулили
Мне мой кумир!..

— С тем меня и получите: маркиз де Корневиль!.. И так рекомендуюсь я тебе, Лиляша, не в похвальбу, а в поучение... Передай мне, пожалуйста, галстух: вон он — на подзеркальнике...

И, когда я машинально послушалась, передала, Беляев откровенно расхохотался и, повязывая перед зеркалом галстух пышною бабочкою, весело поучал:

— Все вздор, Лиляша! Бери пример с той милой еврейки, приятельницы царя Соломона или Иисуса, сына Сирахова, которая в подобных приключениях «покушала, ротик обтерла и говорит: я ничего дурного не сделала».

— Не очень-то, господин Беляев, хвалят люди эту вашу милую еврейку и не очень-то красивыми именами ее называют.

— Вздор, вздор, Лиляша! В глаза не назовут, потому что за это морду бьют и к мировому судье тянут, а за глаза — все равно ведь: «Будь ты чиста, как снег, и холодна, как лед, — не уйдешь от клеветы!» Уж какая-нибудь Матрена Матвеевна или Мастридия Поликарповна — как там ее? — позаботится раскрасить тебя во все цвета... Следовательно, плюй на все и береги свое здоровье!.. Поверь: Матрена или Мастридия, твоя толстая антагонистка, а моя кредиторша эту заповедь знает и исполняет...

— Я попросила бы вас избавить меня от ваших поучительных примеров.

— Почему, mon trésor?*

— Потому, что не позволяю вам ставить меня на одну доску с подобною женщиной.

— Ангел мой, — возразил он, одною рукою в рукаве пиджака, другою ища другой, — мне очень жаль отказать тебе, но ты посягаешь на мое мировоззрение. Для меня все женщины, с четырнадцати до пятидесяти лет, стоят на одной доске, за исключением, если — уж очень, извини за выражение, «рыло». Этих я вовсе не допускаю на доску, а помещаю под доскою. Они для меня не существуют. Могут заниматься науками, делать политику, пропагандировать женское равноправие, упражняться в литературе и художествах, проповедовать спиритизм, теорию, социализм — не препятствую. Женское «рыло»... брр! Это — кошмар из бездны небытия!

Покуда он распространялся так, осторожно сдувая, снимая и счищая пушинки и пылинки, приставшие к его шикарному пиджаку, я набрела размышлением на воспоминание — за три часа тому назад: как Элла Левенстьерн, когда мы с ней остались на несколько минут одни, объяснила мне причину

* Мое сокровище? (*фр.*)

своей головной боли — что у нее незадолго до моего приезда вышла довольно острая ссора с Матреной Матвеевной из-за нестерпимого своевольства и грубости, которых избалованная домоправительница набиралась день ото дня все больше и больше.

— Вчера, — жаловалась Элла, — уехала, даже не потрудившись спроситься, на именины какой-то своей приятельницы. Пропала на целый день, вернулась лишь к вечернему столу, да еще и навеселе, так что я не позволила ей показаться гостям — у меня обедали вчера университетские ученые-армяне: маленький горбунчик Джаншиев и толстый Гамбаров... А сегодня она с похмелья, должно быть, изволит дуться, придирается к каждому моему слову и делает сцены...

Соображаю: гуляла вчера толстуха не на именинах у приятельницы, а угощал ее и подпоил на радостях счастливо заключенного займа благодарный Беляев. Понятна стала загадочно-ядовитая улыбка, которою проводила меня Матрена Матвеевна, когда я уходила от них после обеда. Но так как Элла была со мною, как всегда, без малейшей перемены и не обнаруживала ко мне какого-либо особого любопытства, то, очевидно, Матрена Матвеевна еще не успела или, пребывая в гневе за ссору, еще не хотела рассказать Элле обо мне и Беляеве. И, благо, они дуются друг на дружку и авось еще не помирились, то — ах как было бы мне хорошо и выгодно увидаться с Эллой прежде, чем толстуха доложит ей свое свидание с Беляевым и разоблачит меня и распишет по-своему!..

Обдумывая это, я быстро одевалась. Что-то на ковре хрустнуло под ногою. Подняла: маленькая гребеночка из дамской прически — ободок пополам! Не моя: мои — черепаховые, гладкие, а эта — с серебряными звездочками по ободку. Довольно красивая вещица. Я было как подняла ее, так и бросила с брезгливостью: кто же знает, с чьей она головы? Местечко такое, что, может, сифилитичка потеряла. Но — странное дело! — знакомы мне как-то эти серебряные звездочки. Как будто видела я их недавно на ком-то...

Пока я после этой находки мыла руки, обратил на нее внимание Беляев. Рассмотрел и — гогочет:

— Везет тебе, Лиляша! Подбирай да прячь: ведь это она вчера позабыла! Это — ее!

— Кто — она? Чье — ее?

— Да толстухи нашей... Матрены-Мастридии, туши благословенной... Го-го-го! Ха-ха-ха!..

Гляжу, вспоминаю: да, действительно — это я именно на Матрене Матвеевне видела такие звездочки... Это ее гребеночка... Но как же она сюда попала?

— Очень просто: на чьей голове была, та и потеряла.

— Матрена Матвеевна?!

— Да... что же тебя так удивляет, Лиляша? Вчера мы с нею по случаю нашей сделки очень мило позавтракали в ресторане, а потом, слегка подвыпив оба, благополучно перекочевали сюда...

Он обвел указательным пальцем в воздухе стены номера, ткнул точку по направлению к алькову. Злобный стыд новою волною всплыл во мне и заклокотал смолою.

— Вы... вы хотите сказать... вы были здесь с нею?

— Был. А почему бы нет?

— И после того... после этой... кухарки... осмелились... не постыдились привести сюда меня? О! Это слишком! Нет, уж это слишком!

Не выдержала, заревела. Он терпеливо ждал минуту, другую, третью, потом взглянул на часы, сожалительно покачал головою.

— Лили, я с удовольствием дал бы вам время плакать сколько вам угодно. Слезы вам идут, как Ксении Годуновой, любоваться вами, плачущей, эстетическое наслаждение, и досадно, что охота возрыдать пришла вам так поздно. Но тем не менее, пожалуйста, уймите ваши слезные потоки. Одиннадцать без пяти минут. В полчаса двенадцатого я должен лететь на вокзал, а до того хотел бы немножко перекусить на дорогу...

Принесли ему. Я на его угощение только головой отмахнула. Засела в алькове, закрылась занавесками — уже совсем одетая, в шляпе, — реву. Ест, жует, спрашивает:

— Из-за чего, собственно, этот поток?

Шепчу, всхлипываю:

— Этим унижением вы добили меня... Да, добили!.. Грязный вы человек, вот что!

— Допустим, но все-таки к чему такая аларма?

— Да, вижу я: действительно для вас все женщины стоят на одной доске... Хоть бы в том пощадил — другое бы место выбрал...

— Душа моя, этот номер — лучший в гостинице. Когда я здесь, всегда его занимаю. Мне его отводят, даже не спрашивая. Чего вы бушуете? Чисто, даже не без претензии на роскошь и изящество. Не в клоповник же какой-нибудь было вас вести.

— Лучше самый скверный клоповник, чем здесь, где вчера…

— Ах, бросьте! После вчера здесь убрано.

— Не очень-то убрано, если валяются гребеночки с серебряными звездочками...

— А эту гребеночку вам следует в кармашек спрятать, и за нее должны вы и судьбу свою, и номер этот, и меня, грешного, благодарить. Молебен у Иверской отслужите, рубленую свечу поставьте, что она вам попалась под ногу. Неужели вы не понимаете, какое оружие она дает вам на тот случай, если толстуха на вас нападет с разоблачениями?

И в две минуты, жуя, глотая, запивая, научил меня — целую программу действия внушил. У меня и слезы высохли. Никак не разберу этого человека. Надо мне его ненавидеть и проклинать, а повернул дело так, что приходится чуть не благодарить. Встал из-за стола.

— Ну-с, мне пора. Осмотрите-ка комнату хорошенько, чтобы тоже не оставить какой-нибудь гребеночки, шпилеч-

ки, брошечки... Как знать, кто здесь будет после нас? Возможно, что бароша М. налетит с какой-нибудь феей... Он ведь от своей постоянной-то Дульцинеи — знаете ее? Красавица! — бывает, часом, тоже загуливает... Все в порядке? Allons, enfants de la patrie!..* Дайте вашу ручку, и простимся честь честью. Извините, чем обидел, а я, когда кого обижу, никогда на того не сержусь. Mes adieux, mademoiselle!** Едва ли мы когда-либо еще встретимся, так не поминайте мерзавца Беляева уж очень-то лихом... Что? Ведь считаете меня мерзавцем? А? Считаете? Ну-ка, на прощанье, откровенно?..

— Не знаю, Беляев, на прощание кем вас считать... Сбили вы меня с толку... Поступили вы со мною скверно, именно мерзавца достойно, а...

— Что же осеклись? Что следует за сим «а»?

— Ничего.

— Как ничего? Быть не может! За «а» всегда «бе» следует! Говорите ваше «бе»!

— Дикий вы — вот что!

— Как Амонасро, царь эфиопов?

— Почти... Но послушайте...

— Слушаю.

— Как вы все-таки могли... как вам не было стыдно... противно... с этою?

Он засмеялся.

— Ага! Вот что ее теперь больше всего беспокоит! Эстетическое недоумение! Душа моя, да уж не ревнуете ли вы? Вот была бы потеха! Ну, не прав ли был я, сомневаясь, будто уж так было скверно?

— Оставьте свой безобразный цинизм... Довольно уж!

— О женщины, женщины! — сказал великий Шекспир,

---

* Вперед, сыны отечества!.. (*фр.*; первая строка «Марсельезы»).

** Прощайте, мадемуазель! (*фр.*)

и совершенно справедливо!.. Но почему же, однако, должно было мне быть стыдно и противно? Особа эта несколько объемиста, но собою недурна — следы этакой, знаете, хороводной красоты, — ну и все прочее, чем может женщина доставить удовольствие мужчине, смею вас уверить, она имеет в совершенной исправности... Что это? Вы опять плакать?

— Не могу я слышать, когда так... о женщине!.. Ах, Беляев, Беляев! Бог вам судья! Вот так-то вы и обо мне будете рассказывать какой-нибудь вашей очередной....

— Лили, я уже имел честь заявить вам, что, как скоро мы покинем это убежище и расстанемся, все, что здесь произошло, вместе с вашим именем исчезнет из моей памяти. Наш грех — до порога.

— А зачем же вы о ней мне все рассказали?

— Во-первых, потому, что чувствую к вам симпатию и хочу снабдить вас кое-каким оружием против вашего несомненного врага. Вы котенок, а она продувная шельма и скотина. Я не охотник до женщин-скотин, а люблю им, passez le mot*, пакостить. Во-вторых, она моя кредиторша, и преподлая, скажу вам, кредиторша, такие проценты лупит... уф!.. Стану я церемониться кредиторшей! Платя Шейлоковы проценты, да еще буду я обязан соблюдать ее амурные секреты? Pas si bête, ma belle!**

— Ах, Беляев, какая вы, право...

— Дрянь скажете? Ей-Богу, неправда. Мерзавец так мерзавец, но не дрянь.

— Я и не хотела... Какая вы... смесь!

— О да! Алхимическая! Слыхали вы о философском камне, превращающем металлы в золото? Имею честь представиться: это я. Только алхимик, который меня делал, был дурак и — каких-то элементов не доложил, каких-то перело-

---

* Простите за выражение (*фр.*).

** Не такой я дурак, моя красавица! (*фр.*)

жил, и в результате я вышел философским камнем наоборот: не металлы превращаю в золото... во всякую труху!.. Вы, кажется, удостоили улыбнуться? Вот это мне чрезвычайно приятно.

— Не понимаю все-таки... не понимаю я, Беляев... Вы человек из общества, хорошей фамилии, образованный, а она — пусть привилегированная, избалованная, зазнавшаяся, холеная, но, в конце концов, все-таки... хамка! Прислуга!

— О, в этом отношении я нисколько не аристократ! Liberté, fraternité, égalité!* Говорю же вам: маркиз де Корневиль!

Не в титуле моя приманка,
Отдать мне сердце согласись:
Как для меня ты не служанка,
Так для тебя я не маркиз!

— Ах, не кричите! Ведь на весь отель слышно... И, наконец, Беляев... наконец... что вы в ней нашли?.. Ведь она уже... не так уже молода.

Он расхохотался во все горло.

— А у нас, мерзавцев, есть на это пословица: «Из старых кур навар гуще!..»

Вышли мы не подъездом на улицу, а двором — и в ворота. Отошли несколько влево, вдоль бульвара. Беляев свистнул. Подкатили от «Эрмитажа» лихачи.

— Что делать, Лили? — говорит он, подсаживая меня в пролетку. — Уж такая моя веселая натура: люблю, чтобы в жизнь вплывало что-нибудь этакое... уродство некое... нелепое и смешное... гротеск!

— Странный... ужасно странный вы... — с искренностью говорю я, прощаясь. Потому что чувствую: собою удручена и потрясена ужасно, а к нему злобы — нет.

---

* Свобода, братство, равенство! (*фр.*)

— Для кого из двух странный, Лили? Для рыцаря или для мерзавца?

— Для обоих, Беляев.

А он уже без всякого смеха, совершенно серьезно:

— А вы не думаете, что рыцари средневековые как раз такие были? Читывал я про них. Дутая репутация. Гроб-то Христов завоевывать позовите меня — и я пойду... «Вскипел Бульон, течет во храм...» Но, помимо Христова гроба, вообще па-а-а-арядочные свиньи были и жили по-свински... Encore une fois, mademoiselle mes adieux et remerciements!..* Трогай, извозчик!

И, отступая от пролетки, шепнул последним словом:

— Помните: грех — до порога. «Покушала, пот утерла, и я ничего дурного не сделала». Иначе — пропадешь, брат Лиляшка!

Оглянулась я на него с пролетки, а он уже в другую вскочил, и умчал его лихач в противоположную сторону.

И — *больше мы никогда в жизни с Беляевым не встретились.*

* * *

Лечу бульварами. Голова — будто улей, где гудят и мечутся тысячи растревоженных пчел. Не могу собрать мыслей — все вразброд. Шатает их из стороны в сторону, будто пролетку, на которой еду. И так же шумят-гремят. Тогда ведь резиновых шин еще не было, лишь лет через пять они появились... И — секунда: «Теперь тебе, Лили, только — с моста да в воду!»

Секунда: «Грех — до порога. «Покушала, рот утерла, и я ничего дурного не сделала».

То — ужас по корням волос ходит, жар и холод сменяя, будто мигают, и вся — в гусиной коже. То — вспомню которое-нибудь паясничество Беляева, и — почти смешно... Понимаю, конечно, что истерика это, но — смешно. Зубами

---

* Еще раз до свидания и благодарю!.. (*фр.*)

скриплю от злобы на себя, что мне смешно, когда умирать впору, а ничего поделать с собою не могу — смешно...

Доехали до Пречистенского бульвара, повернули в Гагаринский переулок, и тут охватил меня такой страх дикий, что я не остановила лихача у наших ворот, а промчалась мимо, да так дальше и дальше, пока не вылетели на Смоленский бульвар... Извозчик спрашивает:

— Куда же, барышня? Рядили в Гагаринский.

А я — как в обмороке. Едва поняла.

— Поворачивай назад, я задумалась, проехали мимо.

И стыд, что он меня, наверное, за пьяную принимает, помог мне овладеть собою.

Подъезжаем к дому, и покажись мне издали, будто в окнах свет.

«Ах, это Галактион вернулся из Курска! У него — свой ключ. Зашел на квартиру, увидал покупки, оставленные мною, сообразил, что я ночую в Москве, и ждет... Встретиться с ним сейчас? Да ни за что!»

Ближе — вижу, что ошиблась: просто яркий лунный отблеск по стеклам... Слава Богу!.. Вспомнила, что никак нельзя быть Галактиону: еще сегодня утром перед отъездом из Марфина имела от него телеграмму, что он задержится на день-другой... А остановиться и войти в квартиру все-таки не решилась. Очень ясно и жутко представилось, что, как останусь я одна в пяти пустых темных комнатах — электричества-то ведь тогда не было, а свечи еще и есть ли дома? — как полезут на меня тоска и жуть из всех углов... Недолго этак распустить корсет да на шнурке и подвеситься за шейку «в зале на люстре...». А хотя зовы к самоубийству наплывали на меня, «мадемуазель Лили», каждую минуту, но каждую же минуту вставала им навстречу из меня, «Лиляши», такая страстная, такая могучая жажда жизни, что выразить слов не нахожу... Все вдруг мило, темные деревья на бульварах, игра луны на главах и крестах церквей, фонарь на углу, спина извозчика, пар

лошади и — что она селезенкой екает, и что пролетка гремит, и что мимо едем — городовой унимает пьяного, чтобы не орал «Стрелочка» на весь Арбат...

И гоняла я, гоняла лихача моего по Москве, аж он взмолился, что лошадь устала. Нечего делать: надо домой... Но в это время мы выехали от Александровского сада на площадь... Вдали мерцают яркие огоньки, ночью тихо так гудит-жужжит бормотание... Иверская!

Туда!

Отпустила лихача и — в часовню. К иконе — уже нельзя, зарешечена. Упала на паперти, в толпе, на колени — давай молиться...

Ан, веры-то нет и никаких слов молитвенных на языке. А вместо того лезет в голову, как прошлою зимою скакали мы — компания Эллы Левенстьерн — тоже далеко за полночь на ечкинской тройке как оглашенные по всей Москве, и когда проезжали Воскресенскую площадь, то пьяный актер Андреев-Бурлак нас, расходившихся, уговаривал-унимал, шлепая неповоротливым языком по огромной своей губище:

— Тише, тише, messieurs-dames*, не шумите: мадемуазель Иверскую разбудите!

«Вот, — думаю, — теперь за это самое и пришло на меня... расплачиваюсь!..» Рядом, слышу, молятся люди: «Разреши мглу прегрешений моих, Богоневесть!» — а у меня «мадемуазель Иверская»!.. Ах, суди Бог папашу с мамашей, и всех наставников моих, и меня самое — не выучили вере и молитве с детства... за то и погибаю! При ком ангелы-хранители, а при мне — черти... Кругом люди молятся — плачут в три ручья, а у меня глаза сухоньки... «Тока слез моих не отвратися», — а если не только тока, но и слезинки одной нет... «Пречистая и благословенная Богородица Мария, ми-

* Господа-дамы (*фр.*).

лость Сына твоего и Бога излей на страстную мою душу и твоими молитвами настави мя на деяния благая...» Да, кому Она пречистая и благословенная, на тех изольет и тех поставит, ну — а кому «мадмуазель Иверская»?!

Нет, не входит в душу благоговение, нет моления... Сильнее меня окаянство мое... Что же так молиться? Одно кощунство... Да и о чем? Что, как Беляев советовал, нашла поганую гребеночку? Так за это не к Высшей небеси и Чистейшей светлости солнечной прилично воссылать моление, а именно к какой-то мадемуазель Иверской, которая кружится в бесовском воображении пьяного актера...

Стою на коленях, рукой машу, кресты кладу, а — что в душе? Пусто в душе. Стыд людской, страх людской — да. А раскаяние? Никакого раскаяния... Тупость какая-то... Или я, в самом деле, из тех, для которых грех — до порога, скушала и рот обтерла? Или прав был Беляев, когда подмигивал: «Будто уж так скверно?..» Ох, нету, нету подле меня ангела-хранителя, стоит за мною в темной ночи дьявол, как за Маргаритою в «Фаусте», и рожи корчит, и шепчет... что шепчет!.. Нет, грешно и кощунно оставаться здесь, в святом месте, с такими мыслями, с дьявольским шепотом над ухом!

Встала и пошла прочь с паперти. А ночь уже совсем побелела. Я с паперти, а на паперть — дама: только что сошла с извозчика, и он отъехал, в стороне ждет... Гляжу: мерещится мне, что ли? До галлюцинаций дошла?.. У нее на лице выражение — в том же роде...

— Элла?! Ты?!

— Я-а-а... А ты... каким образом?..

Я ничего ей в ответ, но обе мы стали на колени... И теперь — я молилась... Покошусь на Эллу, вижу, она жарко молится, и слезы стоят в глазах, и в мою душу входит молитва, и тоже глаза чешутся текучим кипяточком...

А потом Элла увезла меня к себе. Едем — и молча удивляемся друг на дружку. Наконец — она:

— Как это ты?

— Не знаю, как, Эллочка… Меня большое горе постигло… Должно быть, горем занесло… А ты?

— Я так часто… У меня ведь всегда большое горе...

И, видя, что я не понимаю, дальше:

— Скверно живу, Лили... совсем не умею жить… Кружусь-кружусь, а вот иногда подступит, стиснет, и — некуда, как сюда…

— Да ты же, кажется, лютеранка?

— Да, крещена так, но — кто же из нас, кружась, помнит и знает веру, в какой родилась?.. Все равно. Бог один, а здесь хорошо. Наплакано, намолено. Святые флюиды в воздухе. Я Матерь Божию очень люблю, Лили. Ездя сюда, незаметно акафист Ей наизусть выучила... А сегодня меня к Ней бессонница привела. Моя Матрена так отличалась весь день, так меня расстроила, что ни валериан, ни бром меня не взяли… Металась-металась сперва по постели, потом по спальне, потом по всему моему нескладному сараю-дому, как горошина в пузыре. Нет, вижу, сна до утра не будет! Оделась, вышла тихонько и поехала... Я так часто! — повторила она.

— Не ожидала… вот не ожидала!

— И я тебя никак не ожидала…

— Я — в первый раз... То есть — так вот… странно!..

— А ты почаще, Лили. Грешные ведь мы с тобой. Хорошо душе помыться. Что тебя так передернуло?

— Мне сегодня один человек сказал, что «грех до порога…».

— Да, да, — неожиданно согласилась она, — да... но именно потому-то и нужно... Говорят, что нехорошо выносить сор из избы, но если его вовсе не выносить, то изба превратится в склад мусора. С душою — тоже... Мусор избяной можно в печи сжечь, а — душевный?.. Носишь-носишь, да и не вытерпишь: побежала разгрузиться от него немножко пред Нею, Благодатною Надеждою ненадежных... Католичкам хорошо, как у них есть ежедневная исповедь, — что со-

грешила, то и снесла ксендзу в исповедальню... А у вас, православных, исповедь редкая, у нас ее вовсе нету. Приходится нам переваривать свои грехи молчком, в самих себе. Не с кем поделиться горем своего окаянства, кроме — как с Нею, Единою Вскоре Предстательствующею... Магдалиненскою жизнью живем, Лили, так надо знать и Магдалинины слезы. От дел наших нам не будет спасения, а Она женским сердцем знает наши женские телесные слабости и душевные недуги и всех нас, любовно приступающих ко крову Ее, пожалеет, исцелит, сподобит и спасет...

Слушаю... Господи ты Боже мой! Да сколько же лет я эту Эллу — безумную Эллу, демоническую Эллу, декадентку Эллу, кривляку Эллу — знаю, а оказывается, все — только с лица и никогда никакой изнанки в ней не предполагала? Ан изнанка-то выглянула, да еще и — вон какая!.. И лицо у нее в рассвете разгорающегося дня совсем не Эллина капризная мордочка с бегающими и стреляющими козьими глазками, а хорошее, строгое, просветленное лицо: добрый ангел из глаз смотрит...

Умилилась я... Только в седьмом часу утра мы заснули... До того времени все я Элле о себе повестила — все, уже без малейшей лжи. И о Галактионе, и о Беляеве, и о Бенаресовой — все... Только о Матрене промолчала, потому что знала: Эллу это страшно огорчит... Плача было много... А она, сидя подле меня, тоже плакала потихоньку, гладила меня по голове да приговаривала:

— Бедная ты, бедная! Чего налгала-напутала!.. Бедные мы все, бедные! Лжем, путаем — до чего долыгаемся, запутываемся!..

И положила она эти мои признания в такой ящичек своего сердца, который ни для кого не открывался, ни даже для ее всеведущей Матрены... Вот почему я и взбесилась, и обозлилась так, когда вы сказали, что знаете мою историю — угадали ее, — потому что написали «Ребенка» со слов Эллы и Корсакова... Это она, хотя и поздно разблаговестила, а все-

таки вроде того, как если бы священник проболтался об исповеди...

А Матрена Матвеевна, в общем, пока что на этом деле гриб съела. Когда она стала рассказывать Элле, та остановила: «Не трудись, дескать, я все уже знаю гораздо подробнее и точнее от самой Лили, а тебе, Мотя, советую молчать, так как ты попала в глупое положение. Беляев одурачил тебя. Он отрекался пред тобою просто потому, что опасался, не выведываешь ли ты его для каких-нибудь вредных шагов против него и Лили. Шантаж ему почудился, понимаешь? Впрочем, и вообще мужчины приличного круга не раскрывают подобных секретов пред посторонними. Кроме того, он подметил, что тебе уж очень хочется, чтобы Лили вышла лгуньей и клеветницей, а так как ты вела с ним денежные переговоры, то он и подольстился к тебе, сыграл на слабой твоей струне. Теперь, конечно, посмеивается в Петербурге. А что я тебе говорю правду, не ошибаюсь, можешь допросить самое Лили. Она виделась с Беляевым: он нарочно вызвал и доложил ей все о тебе от слова до слова... Ты попала в глупое положение».

С «Мотей» мы тоже объяснились наедине. При первой попытке толстухи зашипеть и уязвить, я ей очень спокойно подтвердила, согласно вчерашнему наставлению Беляева, все, что раньше сказала ей Элла, и прибавила:

— Вот что, Матрена Матвеевна. Ссориться нам не из-за чего, и я не желаю ссоры. А, если вы ее хотите, то она обернется не в вашу пользу. Вы не будете молчать обо мне — то и я не буду молчать о вас, где и как вы справляли именины, на которые уехали, не спросясь у Эллы...

Она побагровела.

— Это вы что-то загадками... Какие-то сплетни...

— Нет, не сплетни, а если вперед в том же месте будете, то советую вам не забывать там гребеночек с серебряными гвоздиками: они у вас слишком приметные...

Боялась я: удар ее хватит!.. Однако шипит:

— Если я была, то, значит, и вы там были. Как пристойно для благородной барышни!

— Да, — скрепилась я, — очень непристойно. Но я была по силе давних отношений и для необходимого объяснения с человеком, с которым я связана — вы знаете, чем. А вы — зачем? Я себя возвышать над вами в нравственности не собираюсь, но вы, сколько мне известно, очень дорожите своей репутацией добродетельной вдовицы. Так если вы намерены ославить меня, то я ославлю вас — и прежде всего в глазах вашей госпожи, Эллы Федоровны, которая считает вас чуть не монахиней. С доказательствами. Так вот и посчитайте: не лучше ли нам остаться в добрых отношениях, не вредя друг дружке. Вы — молчок, я молчок.

Она помялась, попыхтела, лицо от частой смены краски пестрое. Потом вместо ответа со вздохом:

— Эх, Елена Венедиктовна! Что я вам скажу? Должны мы, женщины, завсегда друг за дружку держаться, потому что мужчины против нашей сестры завсегда подлецы!

— Именно, что завсегда подлецы! — подтвердила я.

На том и пофиникали. Худой мир лучше доброй ссоры!

XLVI

Приключение с Беляевым очень меня пришибло. Может быть, отчасти и к пользе моей, потому что, чувствуя себя тайно виноватою, сделалась я удивительно как смирна, покладиста и приемчива к жизни. Конец лета и начало осени мы прожили в Марфине чисто семейным порядком, душа в душу с Галактионом, наезжавшим из Москвы почти каждый день, и не нарадуясь на Артюшу. Если бы Галактион в это время повторил свое брачное предложение, я покорно пошла бы за него. Но он молчал, а я не хотела ему навязываться — особенно теперь, с черным пятном на совести. В первые дни после беды мне приходилось делать над собою усилие, чтобы

подходить к колыбели Артюши, брать его на руки, — сознавала себя недостойною прикосновения к невинному существу, к чистой младенческой душке. С первого часа, еще в Киеве, как я сдала Артюшу кормилице, я чувствовала к ней ревность за счастье кормить его и никогда позже тоже не могла отделаться от болезненного ощущения некоторой зависти всякий раз, что видела своего мальчика у груди-вымени нашей орловской двуногой коровы. Но теперь я благословляла судьбу за то, что не кормлю сама, потому что, казалось мне, никогда бы не осмелилась я допустить, чтобы ротик и личико Артюши прикоснулись к груди, захватанной развратными руками. Вот в этих своих мыслях, когда подступали, я Беляева ненавидела, а вообще — не скажу… нет!..

Элла, по обыкновению, отправилась в первых числах июля на воды в Германию. Немногие недели после нашей встречи у Иверской мы провели в частых свиданиях и в нежнейшем дружестве. Уезжая, она очень советовала мне покончить раз навсегда со своим неопределенным положением — обвенчаться с Галактионом, не смущаясь ни тем, que dira le monde*, ни собственными причудами и капризами, которыми меня сбивает с пути и отводит от доброго смысла дьявол, отец суеты и тщеславия. В моем новом религиозном настроении и покаянном стихе это звучало очень приемлемо и убедительно. Однако дьявол дьяволом, но была еще одна очень реальная причина, помимо дьявола и молчания со стороны самого Галактиона, почему снова поднимать брачный вопрос представлялось мне в то лето невозможным и прямо-таки нечестным.

В июле обозначилась беременность. От кого? Могла ли я с уверенностью сказать? Наградить же Галактиона ребенком Беляева возмущало мою душу. Я заранее, едва определились первые признаки, решила, что носить не буду и впредь вооб-

* Что скажет свет (*фр.*).

ще детей иметь не намерена. В первых числах сентября съездила в Тулу — и освободилась. Никто не знал. Галактион был в отъезде по каким-то поручениям Иваницкого, Дросида гостила у «маменьки» в монастыре. Операция поразила меня своею легкостью. Она не очень согласовалась с моею тогдашнею религиозностью, но мне казалось, что я из двух зол выбираю лучшее и из двух грехов — менее вредоносный. А давно ли брезговала, возмущалась, ужасалась, за убийство считала?

Акушерка, которая производила операцию, научила меня мерам предосторожности на будущее время. Ах как я была тогда ей благодарна, не подозревая, что усваиваю искусство, которое отнимает смысл у любовного союза, приобретаю удобства, которыми самые чистые, нежные и пламенные супружества направляются к вырождению в разврат! Обычность это, и мало кто о ней думает, но поверьте: как только женщина обучилась обменивать наслаждение с мужчиною в уверенности, что не будет плода, дьявол ставит на ней тавро своим когтем, тоже с уверенностью, что она — рано или поздно — непременная овца в его стаде.

Очень угнетало меня открытие, что Галактион промышляет ростовщичеством. Узнай я это раньше, до несчастной встречи с Беляевым, возможно, что дело дошло бы до разрыва. Я выросла в интеллигентном обществе, где к ростовщику питали большее презрение, чем к разбойнику и вору. Но теперь я считала себя такою грешною, что не смела никого осуждать. Мучило меня только сознание, что если Галактион ростовщик, то, значит, и я ростовщица, потому что мой капитал находится в его руках и приносит доход, на который я живу, следовательно, участвую в его операциях. Около того времени я прочитала «Кроткую» Достоевского, и, хотя не находила в себе общих черт с героиней, а Галактион уже вовсе нисколько не походил на героя, повесть произвела на меня чрезвычайно большое впечатление. Безнравственность промысла, напитанного ненавистью к человечеству, призра-

ком стояла пред моим мысленным взором. И странным до дикости, до невероятия казалось мне, что промыслом, столь жестоким к людям и столь ненавистным для людей, может заниматься такой мягкий, деликатный, чувствительный, сантиментальный даже человек, как Галактион.

Надо было выяснить этот вопрос, а подойти к нему было трудно — не знала, как. Обстоятельства, при которых я осведомилась о ростовщичестве господина Волшупа, не располагали к откровенности. Но вышло так, что он сам заговорил. В Марфине мы свели знакомство с небогатой старушкой полковницей, державшей на соседнем хуторке — не особенно удачно — молочную ферму. Для покрытия своих дефицитов она распродавала понемногу ценные вещи, уцелевшие от минувшего величия, когда ее покойный супруг занимал важный пост в Царстве Польском и грел свои ручки вокруг конфискованных имений опальных магнатов. Должно быть, уж очень перегрел, потому что вылетел в отставку с запачканным формуляром и умер под судом, разоренный, оставив вдове скромную долю фермерши.

Побывав у нее однажды и рассмотрев ее сокровища, Галактион объяснил старухе, что, распродавая редкие и ценные любительские вещи, она убыточит себя.

— Если вам нужны деньги, я вам дам под залог больше, чем случайный скупчик-маклак, который норовит ухватить вещь за бесценок; платить процент будете божеский, а вещь останется ваша, и разживетесь, так и выкупите…

С этого случая и пошло наше объяснение. Галактион, к моему удивлению, нисколько не был сконфужен. Напротив, скорее, изумлен горячностью, с какою я на него напала: в своих денежных аферах он не видел решительно ничего предосудительного.

— Если нет, то зачем же ты их скрываешь?

— Как скрываю? От кого я их скрываю?

— Да хотя бы от первой меня...

— Никогда не скрывал.

— Однако я узнаю эту радость только на второй год нашей близости!

— Нет, это не так. Я много раз говорил тебе, что занимаюсь кредитными операциями.

— Да, но не объяснял, какими.

— Не было к тому повода. Я вообще не охотник говорить о своих операциях, а в особенности с женщинами. Что я в этом прав, доказываешь сейчас ты. Так набросилась на меня, словно мы с Михайлом Фоколевым режем проезжих на большой дороге.

— Я должна тебе заявить, Галя, что, например, брат Павел Венедиктович прямо сказал бы тебе, что одно от другого не далеко ушло...

— Потому я и не люблю трепать языком в вашем господском обществе, когда, слышу, говорят о коммерческих и финансовых делах. Святых слов и благородных предрассудков много, а правильного понимания нет… Павла Венедиктовича послушать, так и биржа — вертеп разбойничий: кто за ее порог ступил, пропащий человек, Каиново клеймо ему на лоб! Я на бирже поигрываю, однако в Каинах себя не числю и никакого Авеля не убил. Да и кругом поглядеть там по людям — не спорю, оно не без Каинов, но не все же Каины. А иного Каина как порассмотришь, какой он, к черту, Каин? Одно недоразумение! Настоящее ему место в Авелях — барашков пасти… Однако при всем том, питая высокое уважение к Павлу Венедиктовичу, зачем же я стал бы его огорчать, высказывая свое несогласие? Он своего мнения не переменит, я своего дела не оставлю... Эх, Лили! Кто существует от возвышенной интеллигенции, тому хорошо рассуждать подобно, чтобы душа ходила — ручки в перчаточках, ножки в галошках. А нашему брату, простому, неученому человеку… того… жить надо, Лили!.. Бывает, знаешь, что — хоть в луже, да не было б хуже!

— Как будто нельзя вовсе без лужи? Как будто нет других средств жить?

— Есть, да плохие, скупые, долгие, а хочется хороших, скорых и спорых.

— Жить — это так, но надо и другим жить давать.

— А разве я не даю? Еще и как! Вот хотя бы сейчас. Разве я не благодетель этой старухе полковнице? Дура несла на базар тысячерублевую вещь за сто рублей. Я даю триста и оставляю за нею право собственности. По-вашему, интеллигентскому — это как выходит? Павел Венедиктович или Иван Фавстович, практически не рассудя, скажут: «Грабеж на 700 рублей!..» А я скажу: «Полно, господа! Напротив, не подарок ли на двести?»

— Хорош подарок, когда ты проценты берешь! Зачем проценты?

— Помилуй, Лили! Как же без процентов? Ведь я даю деньги, не щепки. Капитал. А капитал — что? Сумма моего труда. Как же ты хочешь, чтобы я раздавал свой труд бесплатно? Каждый человек от своего труда живет. Какой же это будет труд, если трудящейся от него ничего не получает? Процент — святое дело. Процент — это моя заработная плата!

Понимаете: своим умом свою собственную политическую экономию сочинил — и уперся на ней. Сдвинь-ка!

— Так ты, — говорю, — эту свою заработную плату хоть бы брал в более умеренном размере, а то ведь дерешь...

— Нет, это неверно: драть не деру, а сколько нахожу справедливым, спрашиваю. Дают — беру. Нет — жду другого охочего. А ежели ты знаешь такого трудящегося человека, который за свою работу любит получать дешевле, чем она стоит, — ты мне этот тип покажи. Я его найму — в клетку посажу и буду возить по ярмаркам, показывать. Хорошие наживу деньги!

— Во всяком случае, Галя, очень желала бы я, чтобы ты занимался каким-нибудь другим трудом, а этот оставил!

— Желание твое, Лили, будет вскоре, очень вскоре исполнено. Но не потому, чтобы ты убедила меня, будто эта

часть моих занятий — ты не воображай, пожалуйста, что я только от ссудных операций существую, — будто она предосудительна. А потому, что теперь с агентурой от Иваницкого и кое-какими другими делами-делишками я шире пошел. Ссудное дело для меня уже мелко. И неудобно. Требует постоянного личного внимания, а я, ты видишь, теперь то и дело в разъездах. На Мишку Фоколева надежда плоха. Он малый толковый и честный, но увлекательный, уж очень легко обойти его словами. Намедни, когда я ездил в Курскую губернию по Артюшину делу, он тут одному проезжему барину семь тысяч рублей выдал без всякого обеспечения, под одно поручительство барона М. Уж я ругал-ругал его. Хорошо, как барин будет платить, а если нет? С барона М. мне не взыскивать: и нет у него ничего, и дружба не позволяет. Стало быть, пиши семь тысяч в дебет, а нас в лабет! Дурак Мишка! Хочешь рисковать, рискуй за личный счет, а в общем компанейском счете — какое твое право?

Рассказывал Галактион — и не подозревал, что история Мишкиной глупости известна мне не хуже, чем ему. Беседа наша была в марфинской липовой роще, так я, чтобы Галактион не заметил, что я непонятно ему с чего-то волнуюсь, рвала с липы листья и щелкала: чмок! чмок! чмок!

— Как скоро я отойду от дела, — говорил Галактион, — его возьмет на себя Миша Фоколев. То есть, собственно-то, не Миша: он мал капиталом, чтобы выдержать мой оборот. На его имя фирма объявится, и он в ней будет вроде ответственного управляющего или приказчика на отчете, а в настоящие хозяйки охотится его тетенька. Ты ее знаешь. Она у твоей приятельницы, Эллы Федоровны Левенстьерн, служит в экономках. Это бестия. Накрала с Левенстьернши за долгую службу, а частными ссудами по мелочам, на краткие сроки умножила. Я отойду, а они как хотят, так пусть и господарят, мое дело — сторона. А за выход и место должны мне выплачивать...

— Очень рада, — говорю, — слышать. Когда ты, Галя, скажешь мне, что не причастен больше к этому, извини уж, поганому промыслу, я поеду к Иверской служить благодарственный молебен. А покуда очень тебя прошу, исполни мою просьбу: не пускай ты, пожалуйста, в свои ссудные операции те мои три тысячи, что у тебя хранятся. Мне совершенно невыносима мысль, что я как-то косвенно оказываюсь все же процентщицей. Ведь у меня-то нет даже того трудового извинения, которое ты себе так находчиво придумал: я не трудом их заработала, но свалилось ни с того ни с сего, как говорится, дурацким счастьем, нежданное-негаданное наследство…

Пока я говорила, Галактион как-то странно, искоса смотрел на меня и ежился. Выслушав, пожал плечами...

— Можешь быть совершенно спокойна, Лили. Твои деньги и не были никогда в наших ссудных операциях, и не будут. Они у меня помещены совсем в особое предприятие.

— По делам Иваницкого? — спросила я.

Он засмеялся.

— Да, да... по делам Иваницкого...

* * *

Таким образом, союз наш совершал течение мирное и довольно идиллическое. По всей вероятности, мы превосходно сжились бы за дачное время и дальше для Москвы, если бы в жизнь нашу не ворвалась лютая катастрофа. Не успела я вернуться веселая из Тулы, как — прихлопнуло!

Привел в Марфино цыган ученого медведя. Мамка тем временем сидела с Артюшей на руках в избе, у открытого окна, и задремала. Вдруг мишка как рявкнет под самым окном во всю медвежью пасть. Баба спросонья взвизгнула, вскочила, Артюша бух у нее из рук и, хотя я успела подбежать, подхватить, все-таки пришелся головкой о половицу…

Ну... к вечеру — жар, к утру — менингит, через сутки — маленький покойник… Скончался мой Артемий Галактионо-

вич Бенаресов, не дожив двух недель до года и так и не успев переменить фамилии!

Н-н-ну... Что со мною было, этого не расскажешь... Помолчим... Есть беды, которых — хоть сто лет живи, не изживешь. Есть потери, которые только матери знают, каково это, когда живой кусок существа твоего, выношенный тобою в плоти и духе, плод чрева твоего, отрывается от тебя... Да еще как? С размаху, одним ударом смертной косы... Словно шла курносая ведьма проклятая бездельно мимо да — так, со скуки, пошалила... резанула...

Плохо я помню эти горькие дни — то есть все в них, кроме горя моего, навсегда неизбывного. И было, и есть, и будет!

Говорили потом, что и выла я, и каменела, и металась, и за руки, за ноги Галактион, Дросида, хозяйка со снохой держали меня часами, чтобы вреда себе не нанесла... Ничего этого не помню… помню только тоску — такую тоску, в которой вся, как в зыбучем песке, потонула: каждый волосок — тоска, каждая жилка — тоска, нечем дышать, нечем жить... ни воздуха, ни света — одна тоска, тоска, тоска!

И была я до того ужасна, что кормилица эта, орловка злополучная, которая Артюшу моего кокнула, смотрела на меня, смотрела да вдруг, слова не говоря, и полезла невесть зачем на чердак... Галактиону что-то не понравилось выражение ее лица. Он — за нею. А она уже и веревку через балку перекинула, и петлю на шею надела, и стоит на бочонке — только ногой оттолкнуть. Еле-еле подоспел Галактион...

Думали: с обычного деревенского страха, что — «засудят».

— Нет, — объясняет-ревет, — я это понимаю, что моей вины нет и помилуют, а только — пустите, удушусь: не могу я терпеть баринина горя!

Рухнула наша идиллия.

Хоронили Артюшу на кладбище в Останкине — без меня. Я лежала без памяти. Каждый день приезжал С.С. Корсаков

из Москвы. Три дня была опасна. Да нет, живуча. На девятый день служила панихиду на могиле. Ничего. Обошлось.

Галактион очень настаивал, чтобы я поехала куда-нибудь из Москвы подальше, чтобы рассеяться. Нет, нашла апатия. Никуда не хочу. Заперлась в московской квартире. И видеть никого не хочу. Единственно, кого хотела бы, — Эллу. Но она была за границею, да в этом году и еще особенно долго запоздала. Дросиду я выносила все-таки сравнительно лучше, чем других. С Галактионом мне было всего тяжеле. Я его боялась.

Почему? Не знаю. Может быть, потому, что сомневалась, не накричала ли я в дни моего безумия и беспамятства после смерти Артюши таких бредовых признаний и откровений, которые, если Галактион их слышал, должны положить между нами черту отчуждения — глубокую и широкую. Может быть, потому, что, как скоро я оправилась настолько, чтобы разумно рассуждать и спокойно воспринимать впечатления, С.С. Корсаков предупредил меня:

— Ваш друг, Елена Венедиктовна, требует очень внимательного надзора и ухода. Постигший вас острый кризис он выдержал лучше вас, но поражен в нервной системе гораздо тяжеле вас, и так как еще нет года, что он оправился после сотрясения мозга, то состояние его нельзя признать безопасным, несмотря на сравнительно здоровую видимость.

По-моему, и видимость была не очень-то здорова. Гримасы, приобретенные Галактионом от прошлогодних ушибов, за спокойное лето почти прошли было, но по смерти Артюши возобновились хуже, чем раньше, участились, почти не сходили с лица. Он стал заикаться и, заметив этот свой новый порок, боролся с ним тем, что по совету Корсакова старался говорить медленно и певуче. Это придавало его речи ненатурально торжественный и печальный оттенок, словно он не о простых и обыкновеннейших вещах говорит, а читает Псалтырь над покойником.

Слушая этот искусственный, угрюмо-похоронный тон, я каждый раз охватывалась подозрительною догадкою, что это Галактион так не от болезни, а нарочно. Что он глубоко затаил в себе какое-то негодование против меня и бессловесно судит меня в душе как виноватую в смерти нашего ребенка. Потому что я-то сама считала себя безусловно в ней виноватою. Что сонная мамка? Что цыган с медведем? Случайные орудия кары, ниспосланной мне за мою греховность. За всю по совокупности — за все легкомыслие, сладострастие и ложь последних двух лет, начиная с январской ночи в «лисьей норе», за постыдно трусливое подчинение нахалу Беляеву, за — «покушала, рот утерла, — я ничего худого не сделала», за — и это пуще всего, — за мой последний острый грех: за тульский аборт...

«Хотела Бога перемудрить. Давал он дитя — не хочу! Уничтожила дитя! Так вот же тебе: отнял и то дитя, которое любила...»

Божественная расправа с грешницей!

Но вместо того, чтобы принять ее со смирением и покорностью, озлилась я на Бога! Ух, ужас, до чего озлилась! Вызверилась! Вся моя недавняя религиозность прахом по ветру пошла!

«Пусть, — думаю, — легкодумная Элла верит и ездит по ночам к Иверской замаливать свои тяжкие грехи, что накануне с каким-нибудь приват-доцентом в «Стрельне» флиртировала, — перед тем, как завтра будет опять флиртировать с присяжным поверенным в «Эрмитаже»... Все вздор и самообман на легкие чувствица! Настоящего горя молитвою не избудешь...

Верить?.. Не хочу я в Него верить, когда Он обидел меня — Артюшу взял! Виновата я — ну, изуродовал бы меня либо как-нибудь еще выместил, а за что Артюша погиб? Если Бог справедлив, то где же тут справедливость? Если милосерд, то где же милосердие? Нельзя верить. Либо Его вовсе нет — тогда глупо верить в пустое место. Либо Он так жесток и несправедлив, что

не хочу я такого Бога, не надо мне Его, нет во мне хвалы к Нему, которую Он так любит... Да! Его все хвалят, а дьявола все ругают, ан дьявол-то добрее. Отец греха, да грех-то мне сына дал и в сыне счастье, а Он позавидовал, что грешница успокаивается и обретает мир душевный, и послал насланье...

Конечно, насланье!.. Если бы Артюша умер от кори, дифтерита, скарлатины, какой-нибудь эпидемии, которая по детям ходит, я, сколько бы ни тосковала, приняла бы горе как естественное и законное: не одна я плачу, сто, двести, триста, тысяча матерей плачут со мною... Смертная полоса!.. А то — цыган с медведем! Как, откуда взялся? И промысел-то этот медвежий запрещен уже несколько лет, и сама я читала у Гаршина чувствительный рассказ, как вожаки перестреляли своих медведей... Нет, вот остался какой-то! Сохранил его злой Бог на мою беду!.. Или, может быть, это Он с небеси своих ангелов-мстителей прислал с цыганской рожей и в медвежьей шкуре?

Страшно вспомнить, что думала, что говорила!

А больше всего из святости не взлюбила я, негодная окаянная грешница, Мать Пресвятую Богородицу.

Видеть не могу Ее с младенцем на руках. Завидно. И материнских страданий Ее о Сыне Распятом признавать не хочу.

«Ты-то, — думаю, — Сына выкормила, выпитовала, вырастила, был Он для Тебя радостью и утешением тридцать три года, а моему не дано было и одного года дотянуть... Где же твоему горю равняться с моим?»

И, когда меня утешали, что, дескать, чего вы так убиваетесь, женщина вы молодая, можете иметь детей, сколько захотите, отвечала:

— Никаких детей я больше не хочу и иметь не буду. Я рожу, а Он опять отнимет? Я не скотина, чтобы плодиться на убой!

Так я безумствовала и ожесточалась и добезумствовалась-таки до того, что действительно ангед-хранитель отошел от меня, а приблизился ко мне дьявол.

* * *

Неделю за неделей, месяц за месяцем жила я в своей черной хандре, почти не выходя из дому. Возвратившаяся из-за границы, Элла, навестив меня, пришла в ужас.

— Так нельзя, Лили. На что ты похожа? Старухой смотришь. Довольно уж. Разве можно считать жизнь конченой в двадцать пять лет? — любезно подарила она мне целых три года, потому что мне было уже двадцать восемь, правда, тем самым и у себя отщипнула чуть не десяток, потому что любила уверять, будто мы однолетки. — Желтая, пухлая, глаза дикие, растрепанная. Как причесана! Как одета!.. Ты очень рискуешь собою: не отравишься, так с ума сойдешь либо пить начнешь... Нет, я за тебя примусь! Надо тебя встряхнуть!..

Встряхнулась, — хлебнула прежней жизни: до Галактиона, до родов... Немножко развлеклась — в самом деле как будто легче стало. Тоска из души не ушла, лежит пластом, но — как будто ее угли жгучие присыпало сверху пеплом: кусают не таким острым огнем и не так постоянно.

Раз, другой — и пошло! Воскресла Лили Сайдакова, украшение салона Эллы Левенстьерн, ее ложи в театрах, зал Собрания в вечера концертов и балов, зимних пикников на тройках в подмосковные, и прочая, и прочая. Дома почти не живу. Днюю и ночую у Эллы.

Галактион был заметно рад свершившейся во мне перемене. До этого времени наши с ним отношения, нисколько не изменившись наружно, были в действительности очень натянуты. Та отчужденность, которую я чувствовала в самой себе, а приписывала ему, подавила всякую искренность между нами. Не то чтобы мы лгали друг другу — нет! А замолчали друг перед другом, зажили рядом каждый сам по себе, словно соседи, которые ни в ссоре, ни в ладу, либо старые супруги, которые на веку своем все переговорили между собою уж до того, что больше и говорить им не о чем,

кроме как — «иди завтракать», да «дай денег на рынок», да «что у нас к обеду — борщ или щи?», да — «который-то час? Не пора ли спать ложиться?..». Если у нас до того не дошло, то исключительно потому, что врозь жили, не на одной квартире. Походило на то, что быт наш стал — как злокачественный нарыв какой-то, пухнет-пухнет, саднит, дергает, и — кто же его знает, когда и как он прорвется и что прорыв принесет — исцеление или гангрену?

Когда нарыв прорвался благополучно, Галактион ожил и всячески поощрял меня тоже ожить. Деньгами он снабжал меня щедрее прежнего. Однако чувствовала я в нем коечто не прежнее. Любви, как было: всегдашняя нежность и часто страстность. Но он уже не следовал за мною прежнею потаенною тенью — влюбленно созерцать богиню, принадлежащую ему неведомо для мира. Я умела выпытать у Дросиды, что подозрения мои, будто я в бреду после смерти Артюши наделала признания, которые могли оттолкнуть от меня Галактиона, — напрасны. Нет, кроме дикого воя да бессвязных выкриков, ни он, ни другой кто от меня не слыхали. Но что-то он *вообще* раскусил во мне такое, против чего устояли любовь и страсть, но как будто пошло на убыль уважение, а благоговения, пожалуй, и вовсе не стало. Было, было такое — накопил в себе, — чего, любви не нарушая, однако и в любви уже не прощал. Может быть, память о тяжелой обиде, как я его встретила по возвращении его из Сибири. А может быть, и ближе — оскорбился на мои нотации за «ростовщичество»... Да! Нотации-то читаю, однако от «ростовщика» денежки беру!..

Со смертью Артюши перестали иметь смысл те ежемесячные выдачи, которые я принимала от Галактиона со времени моего отъезда в Одессу для родов. Однако он продолжал выдавать, а я принимать.

Покуда был жив Артюша, это имело вид — «на ребенка», хотя по щедрости выдач Галактиона я могла бы содержать

по-царски не одного, а дюжину ребят. В месяц моего траурного ошеломления я существовала слишком автоматически, чтобы не только размышлять о ловкости или неловкости продолжавшихся выдач, но и помнить о них. Они шли из рук Галактиона прямо в руки Дросиды. Эта за мрачные для нас с Галактионом месяцы так процвела, что даже пополнела: крала ужасно, потому что расходы мои были ничтожны, а остатков она не представляла мне никаких. Теперь ее благополучие затмилось. Мне самой потребовались деньги — и много денег. И тут я в первый раз задумалась об этой щедрой выдаче на ребенка: по какому, собственно, праву я продолжаю ее получать?..

Говорю Галактиону:

— Нам с тобой надо сосчитаться.

— В чем, Лили?

— В очень многом. Вот — ты квартиру отделал на свой счет, а в ней не живешь. Который уже месяц выплачиваешь мне за Артюшу, а его нет на свете... Это составляет большую сумму. Я попросила бы тебя подсчитать ее и сказать мне.

— А зачем, собственно?

— Затем, что желаю выплатить тебе мой долг.

Он усмехнулся.

— Я тебе давал это совсем не в долг, а в твое полное распоряжение.

— Спасибо за любезность и щедрость, но я такого крупного подарка принять от тебя не могу. Ты не настолько богат, я не настолько бедна. Это пахло бы содержанством.

Он опять усмехнулся длинно-длинно, рубцы в гримасе заиграли по лицу.

— Из каких же средств думаешь ты выплачивать мне, Лили, свой... долг?

— У тебя в кассе есть мои три тысячи. Вычитывай из них понемножку.

— Понемножку? Хорошо. А жить чем ты намерена?

— Постараюсь сократиться в расходах.

— Быть по сему!

Очень не понравилась мне его недоверчивая улыбка.

Не ладили мы еще и в том, что я тогда, как уже рассказала вам, вошла в раздор с Богом, а Галактиона, напротив, осенило набожностью. Он часто ездил к матери в монастырь, и, полагаю, честная старица Пиама не пропускала случая, чтобы настраивать сына против меня, ненавистной для нее — невесть за что. Дросида тут много суетилась и пакостила на обе стороны. От нее узнавала я о поездках Галактиона к «маменьке». То, что он вздумал скрывать их от меня, уязвляло мою гордость и волновало подозрительность, но я молчала: объясняться по такому поводу казалось мне ниже моего достоинства.

* * *

Угораздило меня в тот сезон сделать великую глупость. Задумала я выявить во всеобщее сведение «гражданский брак». Он и без того уже получил довольно широкую огласку. И дворовою молвою, через прислугу и соседей, а пуще через Марфино и Останкино, где мы не таились и жили почти что, как говорится, maritalement*. А смерть Артюши, моя затем хотя короткая, но громкая болезнь, наезды ко мне, больной, С.С. Корсакова заставили и вовсе открыть наши карты.

Суровая родственница-профессорша, как я и ожидала, прислала мне однажды письмецо, начинавшееся обращением — вместо «Милая Лили» — «Милостивая государыня Елена Венедиктовна» и кончавшееся словами язвительного упования, что она не будет больше иметь удовольствия видеть меня под целомудренным кровом ее дома. Не скажу,

* См. пер. на с. 198.

чтобы я прочла это с удовольствием, но... наплевать!.. Пожалуй, отсюда-то и взял меня задор козырнуть «гражданским браком». Оно, кстати, и не особенно оригинально было. В те годы полоса «гражданского брака» прошла по московской интеллигенции модным поветрием. Среди писателей, врачей, в адвокатуре, не говоря уже об артистах и художниках. Так что я была бы отнюдь не первою ласточкою этой весны, а, напротив, лишь одною из многих.

И вот для того, чтобы не очень удивить однажды общество своим выбором гражданского супруга, затеяла я приучать мало-помалу круг Эллы Левенстьерн к почтенному моему Галактиону Артемьичу Шуплову. Элла, по своему добродушию и по страсти к интересным и оригинальным положениям, согласилась помочь мне, и Галактион появился на ближайшем ее журфиксе.

Ну и настрадалась же я в тот вечер и за себя, и за него! Общество подобралось, как нарочно, самое блестящее: и Урусов, и оба Корсаковы, и Гольцев, и Корсов, и Константин Маковский в наезд из Петербурга, и Зилотти, и — кого-кого только не было! И среди такой-то компании — мой пень!

Одет-то был недурно; я постаралась об этом. Но как сидел на нем фрак! Как он держал себя во фраке! Что ни встанет, что ни сядет — чучело!.. И что только с ним сталось? Бывал же в людях! Помню его, бывало, у нас на журфиксах и вечеринках: ну, был застенчив, молчалив, неловок, но — человек, на ноги не наступал, локтями не задевал, стаканов с вином, чашек с чаем ни на скатерть, ни на платья соседки не опрокидывал и — не было за него страха, что вот-вот он отличится чем-либо подобным... А здесь — чудо-юдо морское: и смех, и грех, и жалок, и противен, и скука от него — на три комнаты, и такая беспросветная вульгарь...

Промолчал, конечно, весь вечер. И слава Богу, потому что от конфуза, воображаю, чего наплел бы, да еще и заика-

ясь. Лицо в шрамах, глаза остолбенелые, руки дрожат, потеет, блестит — черт знает что такое! Выражение лица — точно он сейчас со стола серебряные ложки украл и с испуга не знает, куда спрятать. Гости смотрят с недоумением: что за тип? Спасибо С.С. Корсакову: понял, сжалился, взял его под свое покровительство... А я уж старалась и не глядеть в их сторону, потому что — чуть взгляну, вся киплю внутри и проклинаю себя, зачем я его привезла, его — зачем он чурбан, Лидию, кривобокую его покойницу, зачем она, живучи с ним, не оболванила его в человека...

А в заключение радость. Пошла я в чайную немножко передохнуть от приятных впечатлений. И из дверей слышу разговор: беседует Матрена Матвеевна с компаньонкой певицы, которая в тот вечер пела у Эллы. Компаньонка спрашивает:

— Это какое пугало посажено у вас в гостиной — шитое лицо, страшные рожи корчит, фрак с лакея, штаны с покойника?

— А это, — отвечает толстуха, налив голос ядом, — видели особу в голубом? Ейный любовник.

— Что же это она выбрала такого неладного? Сама-то из себя — ничего, довольно даже картинна.

— Неладен, да денежки ладны, — хихикает толстуха.

— Содержатель, стало быть?

— А то с чего бы ей?

— Да, хамло хамлом... Богатый?

— Не так чтобы очень, а с состоянием. По дисконту.

— Из живодеров, значит?

— Ничего, дерет.

— Он с людей, а она — с него? Хи-хи-хи!

— Она с него. Хи-хи-хи!

— И много снимает?

— Да, родственник мой один с ним в общих делах состоит, так сказывал: тысяч до двенадцати.

— Однако! Это больше, чем моя примадонна в театре выпоет.

— На постели-то петь доходнее, чем на театре.

— А вы сказывали — не богатый!

— Не богатый, да тароватый. Родня мой говорит про этого Шуплова, что для себя он скупущий-прескупущий, куска хлеба лишнего не съест, бутылки пива не выпьет, живет свиньей, одежду носит до износа, а все — в эту прорву, все — в нее...

— Влюблен очень?

— Как кот в марте! Ну, и лестно ему, что барышня дворянского рода, хорошего общества... Через нее в люди пролезает... Ему не в гостиной место, а в прихожей с лакеями у шуб, а ради любовницы удостоен быть вон в какой компании. Уж истинно залетела ворона в высокие хоромы!.. Моя-то Элла свет Федоровна добра некстати. Попустила, а теперь и сама не рада... Скандал, а не гость!

— Что же? — снисходительно рассудила компаньонка. — Надо по справедливости войти в положение и голубой барышни этой... Из каких она, вы говорите?

— Сайдаковых. Елена Венедиктовна Сайдакова.

— Фамилия со звуком: слыхать, дворянская, хорошая. Если она, будучи приличного рода и порядочного общества, пожертвовала себя на подобное, то должна за то оправдать свой интерес...

— Это — что и говорить, — согласилась толстуха, — но только и бесстыжая же! Пентюх этот ведь не первый у нее. В запрошлом году она с господином Беляевым путалась, с Аристархом Вадимовичем. Может, слыхали?

— Это — который? Шенапан* известный?

— Вот-вот!.. Как же! И ребенок был: на чужое имя родила, по вдовьему паспорту — ее за это под суд можно. Да, на ейное счастье, недолго вязав ей руки, помер... А господина Беляева она ладила женить, да молодец-то лукав: оказался женатым и навострил лыжи... Хи-хи-хи!

* Хулиган, озорник (*фр.*).

— Хи-хи-хи! Она и взялась за ростовщика?

— Взялась за ростовщика.

— Хоть не модно, да доходно! Хи-хи-хи!

— Бесстыжая! — с ярою энергией пробасила толстуха. — Другая бы на ее месте не знала, куда глаза девать, а эта как ни в чем не бывало со своим хамлом вперла в гостиную и расселась: любуйтесь, добрые люди, какие бывают продажные!

Не вошла я в чайную, пошла обратно. В коридоре — навстречу Элла.

— Ах, Лили! А я тебя ищу. О, какая ты бледная? Что с тобой?

Я не отвечаю. Тогда она берет меня за обе руки, нежно трясет их, приближает свое лицо к моему и говорит с печалью:

— Лили! Я понимаю тебя. Я сама исстрадалась за вечер. Бедная! Много ты на себя взяла, и нелегко тебе... Il est impossible...*

Я освободила свои руки. Смотрю ей в глаза.

— Элла, мы подруги. Скажи по совести: считаешь ты меня содержанкой Шуплова?

Она страшно сконфузилась.

— Лили! Что за фантазии? Как можно?

— Нет, по совести! По совести! Думаешь ли ты, что я живу на его счет?

Она вертится, бегает от моего взгляда своими козьими глазами.

— Какая ты, право, странная, Лили...

— Значит, думаешь?

— Ах, Боже мой! Вовсе нет, но...

— Что «но»?

— Если бы даже и так, то что же тут ужасного? Ты девушка небогатая, замуж не вышла, любишь жить хорошо,

---

* Это невыносимо... (*фр.*)

выезжаешь... Должен же кто-нибудь оплачивать... твои туалеты... твой train de vie...*

— Кто-нибудь... Да, это замечательно, как верно ты сказала... именно — кто-нибудь. Ну спасибо. Теперь я знаю, что знать хотела... Пойдем к гостям. Неловко, что хозяйки нет так долго...

— Да, да... Но позволь, Лили, дать тебе совет: не будь так... прямолинейна!.. Есть вещи, которые делаются, но о которых не говорят... А если говорят, то бесполезно ставят в неловкое положение и себя, и — с кем говорят... Излишне и бестактно, шерочка!.. Ты сейчас так меня озадачила... Зачем?

С Галактионом дома вышла страшная сцена. Я заставила его признаться, что мои пресловутые три тысячи, которые приносили мне будто бы такой колоссальный доход, в действительности выросли за два года всего на несколько сот рублей, а все, что в этот срок я тратила на жизнь, туалеты, путешествия, развлечения, капризы, — все оплачивалось им. Сколько всего он ухнул в «прорву», как обругала меня давеча толстуха, Галактион не хотел сказать. Но я сама, соображая в уме некоторые свои крупные траты, подсчитала, что, пожалуй, и впрямь не меньше двенадцати тысяч в год и, значит, если расплачиваться, то должна ему около двадцати пяти тысяч...

Волосы дыбом встали: никогда мне такой суммы не выплатить!.. Значит, куплена, закабалена!.. Он, виноватый, рыдал, вопил, что ничего я ему не должна, никаких платежей он не примет; что теперь, когда его дела слагаются все лучше и лучше, он готов хоть вдвое тратить, лишь бы я была довольна и спокойна; что ему на свете дорога только наша любовь, а больше ничего не надо...

— Да мне-то надо! Мне-то надо! — визжала я. — Мне мое честное имя надо! Мне моя чистая совесть нужна! Где

* Образ жизни (*фр.*).

мое честное имя? Сегодня я своими ушами слышала, как меня называли продажной! Где моя чистая совесть, когда я сама себя сознаю содержанкой? А! Вы всегда кривлялись — боялись этого слова, а сделать меня содержанкой не побоялись?.. Хорошо же! Хорошо! Выкупиться у вас я не могу... Я невольница, я пленница, рабыня... А! Любовницы вам было мало — содержанку из меня сделали? Так радуйтесь: достигли! К вашему удовольствию, буду же, буду, буду содержанкой! Узнаете вы, что значит содержать барышню приличного рода и порядочного общества, которая себя пожертвовала на подобное, как сказала обо мне сегодня там у Эллы одна негодяйка!.. А вы... кто вы, какой вы, мне теперь все равно... Можете промышлять дисконтом, можете ограбить кассу вашего Иваницкого, можете идти на большую дорогу разбивать почты — содержанке безразлично, с каких доходов оправдывать свой интерес, как выразилась та же окаянная тварь!..

Визжала-визжала, покуда обессилела и — как сноп, в постелю... К утру кое-как, с грехом пополам помирились — простила... А когда Галактион ушел, а я с расходившихся нервов все еще уснуть не могу, приползла змея Дросида и зашипела:

— Наконец-то вы, барышня, взялись за ум и заговорили по-настоящему! Нешто с ними, мужчиньем, возможно добром? Небось теперь будет ходить, как встрепанный... обучен своему назначению!..

— Дросида! Я твоих одобрений не просила и наставлений не спрашиваю!

— Простите, барышня, я — любя.

— Потрудись любить как-нибудь иначе.

— Слушаю, барышня... А позволю себе, однако, заметить: хорошо это, что Галактион не знает, как вы Артюшеньку первоначально ставили на счет господину Беляеву... Пожалуй, не был бы таким безответным... Смотрите, барышня, как бы кто

ему довел... Ведьма эта, Матрена, страх болтлива и к вам зло питает...

Глотаю, думаю: «Не Матрена, голубушка ты моя, а это ты мне изволишь грозить за то, что я тебя сейчас оборвала... Хорошо, примем к сведению...»

— Да, — говорю, — ты права, это опасно, надо меры принять, и мы с тобою ужо поговорим. Но не сейчас: я сонная и почти не понимаю, что ты мне толкуешь...

Она сию же минуту — совсем другим тоном и из другой оперы:

— Ах, барышня, извините, что позволила себе рано вас беспокоить, бай-бай вам не даю, но дело такое, что я сейчас ухожу за покупками, а меж тем из магазина Арженникова вчера строго наказывали, чтобы беспременно принесла деньги по счету; вторая неделя, как книжка подсчитана, — ждут...

— Сколько там?

— Двести семнадцать с копейками...

— Откуда столько?!

— Извольте проверить... Все записано...

— Да я верю... Но зачем ты должаешь на книжку? Бери на наличные. Вон сколько накопила: так труднее платить.

— Накопилось, потому что вас часто дома не бывает. Я докладываю, а вы уедете и забудете — оно и растет...

— Хорошо... Семнадцать возьми там на столике из портмоне... А двухсот у меня нету — пусть ждут.

— Неловко, барышня. Сумма незначительная, магазин солидный. На грошах себе репутацию испортим.

— Да когда нету?

— А вы разрешите: я по дороге зайду к Галактиону, возьму.

— М-м-м... ну возьми!

— Записочку к нему дадите?

— М-м-м... Ну, дай карандаш... напишу...

XLVII

В романах и театральных пьесах часто изобретается, как девица или дама, открыв глаза на свое ложное положение при недостойном муже или любовнике, разрывает с ним однажды навсегда: «Не надо мне ваших проклятых денег! Не хвалитесь, что я живу на ваш счет! Не приму от вас ни копейки, ни булавки! Вот вам — бросаю: подбирайте с полу всю мишуру, которую вы мне дарили! Ухожу от вас, в чем пришла!»

И — в меблированные комнаты, на честный женский труд и благородную нужду!

В жизни, конечно, и это иногда бывает, только не так то часто и... трудно оно очень!

Не потому, что желания и воли нет, а потому, что — и рада бы в рай, да грехи не пускают. В романах, в театрах страсть как легко развязываются одною решительною минутою всякие житейские узлы, узелки и узелочки, — ну а в действительности они потуже... Попробуйте-ка вот так сразу взять да отказаться от своего прошлого. Вы-то, может быть, и рады бы, да оно-то ревниво, цепляется, не пускает...

«Нет, — говорит, — уж если ты возмечтала со мною расстаться, то надо по чести: давай сосчитаемся — не все же я тебе зло делало, бывало и добро... Ну-ка? Кто кому должен?.. А лучше — брось! Помиримся!...

Одеться, собрать свои вещи и уйти в меблированные комнаты недолго, но ведь и туда Дросида принесет мне свой счет от Арженникова на 217 рублей 45 копеек, когда у меня вон всего семнадцать. А это *мой* долг, на покидаемое прошлое его не запишешь...

Искать честного женского труда прекрасно, но, покуда я буду его искать, мадам Федотова пришлет мне счет за последний сезонный туалет, — и если я не заплачу, то взыскивать судом она будет с *меня*, а не с покинутого прошлого...

Терпеть благородную нужду готова, но какая же это благородная нужда, если кругом обсядут меня — да, *меня*, и не прошлое! — кредиторы и кредиторши и будут хором с утра до вечера трубить мне в уши, что я их обокрала?

Первая Дросида имеет право, потому что Бог знает сколько месяцев не получала жалованья и считает теперь за мною препорядочный куш — тоже за *мною*, а не за моим прошлым, т.е. не за Галактионом... Хотя от нее-то станется, что ухитрится взять и с меня, и с него!.. Не платила я ей не потому, конечно, что не могла — не было, а просто с моей стороны — по халатности и небрежности к мелкому домашнему расходу; с ее — «Ах, барышня! Что вы беспокоитесь? Успеется! Я и так вами много довольна!..». Может быть, по желанию сберечь и накопить, а может быть, и с расчетцем однажды прижать меня в неудобную безденежную минуту непосильным долгом... Коготки-то показывать время от времени она любила!

В тюрьму за долги больше не сажают, но станут меня таскать к мировому, станут приходить судебные пристава, продадут мою мебель, рухлядь и любимые цапки и ветошки, кредиторы и кредиторши получат право ругать меня за глаза и в глаза всякими нехорошими словами, иной, пожалуй, сгоряча еще и побьет...

Словом, круть-верть, в черепочке смерть: никак от грубого расчета с прошлым не увильнешь, если по совести. А увильнуть без совести, так вот плюнуть да уйти — тогда какого же, с позволения сказать, черта ты разыгрывала какую-то оскорбленную невинность или поросенка в мешке? В романе или на сцене оно выходит благородно, а так — что-то не очень. Матрена Матвеевна рассудит: «Выпотрошила «прорва» дурака — и сбежала».

И даже Элла — вслух не скажет, но, пожалуй, про себя поддакнет.

Да на суд людской, хоть и коробит от мыслей о нем душу, как бересту на огне, еще возможно, так и быть, наплевать

с высокого, но зеленого дуба! Смешил же намедни меня в театре, в антракте «Корделии», актер Правдин, уверяя, будто княгиня Марья Алексеевна умерла, он сам был на ее похоронах в Девичьем монастыре и даже упомянут в ее завещании — на три статметовые юбки. Но свою-то совесть как усмирить? А она нашептывает что-то в духе Матрены Матвеевны: «Обошлась в двадцать пять тысяч человеку, который сам лишнего куска не съест, бутылки пива не выпьет, все — в тебя, «прорву», — да и наутек? Хороша, голубушка! Это уж именно, что — «прорва»!»

Итак, хочешь не хочешь, а «смирись, гордый человек!» — такое у нас тогда по Москве присловье шло модное, с Достоевского, что ли, было перенято... Помните?

Смирилась, но и обозлилась за смирение. А обозлясь, в самом деле закинула чепчик за мельницу. Повела такой рассеянный образ жизни, как никогда. Любовников у меня не было, но вела я себя, флиртировала так, что мне можно стало приписывать их в сплетнях — и не одного. Деньги швыряла, должала — ужас! Даже Элла начала неодобрительно смотреть и выговаривала:

— Ты уж слишком разошлась, Лили...

— Разошлась, так сойдусь!

— Не остри, я серьезно... Вчера мне один очень доброжелательный к тебе человек — знаешь, что сказал?

— Ну?

— Сказал, извини: «От нашей мадмуазель Лили начинает что-то попахивать кокоткой...»

— А ему — что же, угодно, чтобы от содержанки Мадонной пахло? Ведь ты же знаешь, что я содержанка, Эллочка?

— Нет, не знаю и не хочу знать. Потому что, если я буду знать, то, как мы ни дружны, мне нельзя будет у тебя бывать, тебя принимать. А мне это будет очень горько, потому что я тебя люблю больше, чем ты думаешь. Пожалуйста, не бравируй. Помни, что твой Беляев не один нахал на свете. Влетишь в какую-нибудь скандальную историю — не

пощадят: оглянуться не успеешь, как очутишься за порогом общества... dèclassée...*

Ну, и напророчила: и влетела, и очутилась!.. Только не через мужское нахальство, как Элла грозила, а через женскую злость.

Помните, я говорила вам, что Галактион имел дарование находить на аукционах и в магазинах случайных вещей прелестные драгоценные безделушки и приобретал их для меня необыкновенно задешево?

Теперь в порядке разоблачений «содержанства», конечно, обнаружилось, что и эти дешевые покупки — из того же мешка; просроченные залоги или выторгованные Галактионом при выкупе за малую приплату. Должна признаться, что многие из этих вещей я очень любила и, когда в пору нашей драмы из-за «содержанства» думала о том, как надо будет бросить «всю эту мишуру», чтобы «подбирал с пола», болело мое женское сердце. В особенности полюбила я последний перед драмою подарок Галактиона — фермуар очень старинной работы. Элла знала толк в этих вещах, говорила: флорентинских мастеров, два золотых дракона сплелись в терновнике, у одного глаза — рубины, у другого — изумруды, а с хвостов висюльки — вперемежку рубинчики и изумрудики грушками. Антик! Изящество!.. Этот-то фермуар погубил меня.

Надела я его на большой благотворительный бал-базар в Собрании. Прекрасно. Веселюсь, очень веселюсь. Вдруг подходит ко мне некто Вентилов, пшют, довольно известный в Москве и вхожий в компанию Эллы, хотя не из частых и близких. Глядит и держится, показалось мне, как-то странно. Мямлит, тоже как-то запинаясь, что со мною желала бы поговорить графиня Б.

— Кто эта графиня Б.? Я не знакома.

— Д-да... она, видите ли... желает *объясниться*, — подчеркнул Вентилов, глядя мимо меня.

---

* Деклассированный элемент... (*фр.*)

— Странно! О чем может «объясняться» со мною незнакомая мне графиня Б.?

— Я только повторяю дословно поручение, данное мне графиней.

— Н-ну... если ее сиятельству угодно со мной «объясняться», то я к ее услугам...

— Графиня рассчитывает, что вы к ней пожалуете. Она ждет на хорах.

— С какой стати? Она имеет ко мне надобность, а не я к ней.

Вентилов с оглядкой слегка наклоняется ко мне и тихо, почти шепчет:

— Елена Венедиктовна, я позволю себе советовать вам: исполните желание графини… Тут вышло одно недоразумение… м-м-м… несколько неприятное для вас... С глазу на глаз вы, конечно, объяснитесь в два слова, а так… Графиня, знаете ли, такая нервная, эксцентричная, шумная… Южная кровь!

Перевожу про себя: «Способна закатить публичный скандал. Но за что? Когда и чем я могла это неведомое сиятельство изобидеть?»

— Хорошо, идем. Не знаю зачем, но идем.

Пошли. Я сперва не обратила внимания на ту черточку, что Вентилов не предложил мне руки и мы пробирались через толпу по залам, словно не кавалер с дамой, а конвойный с арестованной. Заметила это, лишь когда мы поднялись на хоры и направились в дальний их угол… «Хорош! — думаю. — Невежа! А еще считается по Москве одним из самых светских».

На хорах пусто… Графиня Б. стоит, ждет меня за колонною у балюстрады. Большущая женщина, одета тяжело и безвкусно: темно-красный бархат, оранжевая атласная вставка — купеческое замоскворецкое что-то! — декольте, брильянты всюду, где надо и не надо. Немолодая, носа-

тая, двойной подбородок. Из гречанок или молдаванок, что ли? Смуглая, с усиками, пудра с нее сыплется, черносливные глаза в пламенной злобе, в ажитации постукивает веером по перилам.

— Графиня, — представляет Вентилов, — мадемуазель Сайдакова, которую вы желали видеть…

А она ему и кончить не дала. Кивнула мне в виде поклона своим носищем и, приветного слова не сказав, тычет веером на мой фермуар.

— Не пожелаете ли вы, мадемуазель Сайдакова, объяснить мне, каким это случаем вы носите принадлежащую мне вещь?

Что называется, потолок на голову и кирпич прямо в темя!

— Как вам принадлежащую? Что вы хотите сказать? Я вас не понимаю... Это моя вещь!

— Ах, ваша? Не будете ли вы так любезны сообщить мне, где и когда вы ее приобрели?

Вот тебе раз! Не могу же я ответить: «Подарена мне моим любовником, Галактионом Шупловым, ростовщиком, у которого она была в закладе».

Возражаю с гордостью:

— По какому праву вы меня спрашиваете?

— Вы слышали: по праву собственницы. Это наша фамильная вещь. Два года тому назад она пропала: была украдена… Мадемуазель, если вы не объясните мне, откуда вам достался фермуар, я вынуждена буду заявить…

Головокружение!.. Колонны вертятся... Огни, тысячи огней в люстрах пляшут... Оркестр Рябова будто переселился с эстрады ко мне в голову... Вентилов заметил, что меня шатает обмороком, начал говорить этой ведьме графине что-то умиротворяющее. Слышу, как сквозь сон:

— Да, вы правы, перейдем... И пригласите мужа и того…

На хорах Собрания была комната, очень просторная и столько же невзрачная, под низким потолком. На студен-

ческих вечерах в ней устраивалась «мертвецкая» — курилка и пивной буфет, где пей, лей, пой, ори, речи говори, требуй конституции, — ничто не запретно! В обычные вечера она пуста и уныла, служит для склада лишних стульев. Как-то вдруг очутились в ней мы: я, графиня Б., Вентилов, неизвестстный мне хмурый толстогубый, до меловой белизны выбритый пожилой господин в очень хорошем фраке с орденской розеткой в петлице, оказавшийся затем графом Б., и какой-то вкрадчивый и ласковый субъект с зоркими карими глазками, необыкновенно вежливыми манерами и почти умильною речью. Хотя я никогда раньше не имела дела с полицией, но сразу догадалась, что этот тип — из Гнездникова переулка, и, должно быть, немаловажная фигура, потому что сиятельная чета относилась к нему довольно почтительно, как к ровне.

Вся эта компания расселась вокруг меня на стульях — кроме, впрочем, Вентилова, он остался на ногах — и принялась есть меня глазами. Пуще всех графиня: преотвратительно выпучилась — помесь рака с жабой!..

Чинят мне форменный допрос, хотя гнездниковский тип и предупреждает:

— Вы не опасайтесь, это нисколько не формально, мы просто пытаемся выяснить обстоятельства дела в мирном и благоприятном для всех частном порядке и покончить это несомненное недоразумение ко всеобщему удовольствию.

Графиня выдула из своих крашеных губ шумный вздох, долженствовавший обозначать, что на исход дела ко всеобщему удовольствию она нисколько не надеется. Ух, как же я ненавидела в эту минуту ее — носатую, пучеглазую, пыхтящую жабу в брильянтах, с ее двойным подбородком, жирною шеей, голыми плечами!..

Опомнившись от первого испуга и смущения, я сообразила, что увертываться нечего, надо признаваться по чистой правде. Конечно, я была совершенно уверена в том, что Галактион никогда не подарил бы мне вещь, доставшуюся ему

из сомнительного источника, — никогда не подвел бы он меня краденой драгоценностью. Сколько могла, толково изложила историю перехода фермуара в мои руки.

— Можете проверить у самого господина Волшупа, как он более известен в Москве, или у Галактиона Артемьича Шуплова, каково его настоящее имя…

Я заметила, что при имени «Волшуп» лицо гнездниковского типа прояснилось.

— Мы это сделаем, — любезно поклонился он мне, а обратясь к графине, продолжил: — Тут очевидное недоразумение, ваше сиятельство. Мадемуазель Сайдакова ссылается на лицо, известное нам с наилучшей стороны...

— Я первая буду рада, если недоразумение, — пропыхтела свирепая графиня, недоверчиво пожирая меня ненавистными глазами, — но до того времени, пока недоразумение не будет выяснено, я настаиваю на принятии мер к тому, чтобы мадемуазель Сайдакова не могла уклониться от ответственности… Даже в том случае, если бы она без дальнейших споров согласилась возвратить мне фермуар. Потому что я желаю, чтобы все, виновные в его пропаже, понесли наказание...

— А я заявляю, — резко возразила я, — что и не подумаю возвращать фермуар прежде, чем не будет доказано, что я приобрела его незаконным путем. И настаиваю, чтобы сюда вызван был немедленно Шуплов. Вот его телефон. Если господин Вентилов будет так любезен пойти и вызвонить его, можете быть уверены, что в ожидании его приезда я никуда не уклонюсь от ответственности и не тронусь с места…

Гнездниковский тип поднялся с места…

— Нет-с, — остановил он Вентилова, уже готового было идти, — этим я сам распоряжусь... Одну минутку терпения! — поклонился он разом и графине, и мне, умев сделать как-то так, что графине достался поклон более почтительный, а мне — более фамильярный и как бы ободряющий.

Мне показалось, что этот человек мне сочувствует и я могу рассчитывать на его поддержку.

Минутка его продолжалась недолго. Мне повезло. Словно по предчувствию, что он мне понадобится, Галактион, в последнее время не часто следовавший за мною, на этот раз вздумал побывать на базаре, и гнездниковский тип по пути к телефонной будке зазрил его и уловил у конфектного киоска, где он приобретал огромную бонбоньерку — конечно, для меня.

Никогда я не воображала, что Галактион может быть так ужасно бледен, как в этот раз, когда он вошел в «мертвецкую» под руку с улыбающимся гнездниковским типом. Но — совершенно спокоен. Деловито и обстоятельно объяснил, даже почти не дергаясь и не заикаясь:

— Если, ваше сиятельство, вы изъявляете претензию на фермуар, то вам придется доказывать ваше право судебным порядком...

— Я именно того и хочу, — с гневной ядовитостью возразила графиня, метнув в меня молниеносный взгляд.

— Извините, я не кончил... Потому что Елена Венедиктовна Сайдакова владеют им на совершенно законном основании. Я позволил себе преподнести им эту вещицу в день их рождения в знак моего глубочайшего к ним почтения и на правах давних дружеских отношений к их, всем известной и всеми уважаемой семье...

— Мне нет никакого дела до того, в знак чего моя вещь украшает мадемуазель Сайдакову, — резко оборвала графиня, — и нисколько не интересно знать, какие вы имеете права на эту особу... Мне достаточно слышать, что вы, следовательно, снимаете с нее ответственность за присвоение моей вещи и переносите на себя. Я прошу вас запомнить, — обратилась она к гнездниковскому типу.

Тот почтительно сомкнул глаза: дескать, весь — внимание и память!

— *Присвоение* мною вашей вещи… — с ударением продолжал Галактион, бросив вскользь. — Если вещь была ваша... совершилось тоже в наизаконнейшем порядке. Тому назад два года она была мне вручена в обеспечение довольно крупного займа...

— Вот как? Вы принимаете от воров в заклад краденое? — перебила пылающая графиня.

Галактион перебил невозмутимым:

— Если бы я *мог* подозревать, что залогодатель *вор*, а вещь *краденая*, — возразил он, крепко подчеркнув слова «мог», «вор» и «краденая», — то, конечно, не принял бы залога, а позвонил бы вот к ним, — указал глазами на гнездниковского типа. — Но залогодателем являлось лицо, прекрасно мне рекомендованное и, насколько мне известно, родственное вашему сиятельству: Мануил Стефанович Антониеску...

При этом имени граф Б., до сего времени недвижный и мрачный, как истукан, встрепенулся и устремил на супругу довольно дикий и нельзя сказать, чтобы доброжелательный взор. Вентилов тоже оживился заметным любопытством. Гнездниковский тип оставался бесстрастно внимательным. А графиня в своих красных бархатах и оранжевых атласах как-то осела на стул и, побурев в лице, разинула рот — выставку превосходнейших вставных зубов. Галактион докладывал:

— Я оценил вещь в 1500 рублей, выдал под нее тысячу сроком на два месяца. Так как по истечении срока залогодатель не внес ни валюты, ни процентов и затем в продолжение года не подавал никаких признаков своего существования, то, выждав все законные и сверхзаконные, по любезности, льготные сроки, я оставил фермуар за собою. Несколько месяцев тому назад господин Антониеску явился ко мне с просьбою о новой ссуде. В ней я ему по некоторым соображениям отказал, но предложил выплатить ему разницу между оценкою и старою ссудою под фермуар, с тем, конечно, чтобы продажа была оформлена юридически. Господин

Антониеску с радостью согласился и, получив 500 рублей, выдал мне соответственный документ. Вещь хранилась у меня до сей зимы, а затем я, как уже докладывал вам, имел честь и удовольствие поднести ее находящейся здесь Елене Венедиктовне Сайдаковой...

По мере того как Галактион повествовал, граф Б. постепенно наливал меловую белизну своих щек алою кровью.

— Если вашим сиятельствам угодно проверить мои показания документально, — обратился к ним обоим, но, главным образом, к нему Галактион, — то будьте любезны пожаловать ко мне на квартиру и обследовать проведение ссуды по книгам, расписки господина Антониеску и вообще безупречную правильность и безусловность нашей сделки...

— Я отказываюсь, — впервые дал услышать свой басистый голос безмолвный до этого момента граф Б. Он был краснее бархатов его супруги. Встал и, не сдержавшись, нескрываемо сердито рванул-бросил ей: — Vous ne faites pas que des bêtises!*

Пестрая жаба в брильянтах сидела коричневая, как индианка, от краски, бросившейся ей в лицо, и, распластавшись на стуле, дышала-пыхтела так ужасно, что я, созерцая, злорадно уповала: авось лопнешь!

Граф продолжал:

— Господин Шуплов, здесь действительно разыгралось недоразумение, в котором я спешу принести мадемуазель Сайдаковой почтительнейшие извинения и за себя, и за мою чересчур пылкую и торопливую супругу. Мадемуазель имеет право требовать от нас удовлетворения, и я ручаюсь моим словом, что она его получит, в какой форме будет ей угодно. Вместе с тем я просил бы и мадмуазель Сайдакову не настаивать на дальнейшем расследовании недоразумения, так

---

* Вы совершаете одни глупости! (*фр.*)

как откровенно заявляю, что по некоторым фамильным причинам оно нам едва ли не более неприятно, чем даже ей...

Галактион глядел угрюмым зверем и совсем не склонен был к легкому миру. Но вмешался гнездниковский тип. Щурясь и подмигивая, он начал мне внушать, что никак не в моих интересах раздувать в гласный скандал недоразумение, остающееся покуда втайне между противными сторонами и небольшим числом свидетелей — поклон в сторону Вентилова: о нем мы в жару состязания как-то позабыли... и, впоследствии оказалось, очень худо сделали!.. Огласка только напрасно взволнует общество толками и сплетнями, вредными для обеих сторон...

Я согласилась с типом. Потребовали только, чтобы граф и графиня Б. выразили мне письменно свое сожаление о случившемся за подписью обоих супругов. Назавтра я получила такое письмо — очень вежливое и толково составленное. Подпись графа была твердая и четкая, но бурный дух графини излил свою ненависть ко мне в диких каракулях — сущее «Обмокни».

Ах, и подарила же она меня взглядом, отходя с мужем от нас после этого кислого примирения! Впрочем, нет — двумя взглядами. Мне — пепелящая молния, удивляюсь, как я не сгорела на месте. Моему фермуару — тоскливо-влюбленная слеза, удивляюсь, как он, жестокий, выдержал, не сорвался с меня и не перелетел на ее молдаванские перси!

Вентилов, откланявшись мне, последовал за ними. По двусмысленной улыбке, игравшей на его изношенном лице, по насмешливым искоркам, запрыгавшим в его обычно бесцветных глазах, нетрудно было заметить, что пшют в восторге, одинаково потешаясь внутренне и над графами Б., и надо мною, — и материала для россказней ему теперь достанет надолго.

Мы с Галактионом были слишком потрясены и удручены, чтобы восчувствовать торжество своей победы. Гнезд-

никовский тип посмеивался и уверял, будто он с самого начала «недоразумения» предвидел конец.

— Не понравилось ее сиятельству: быстро раздумала, чтобы... как, бишь, она сказала-то? Чтобы виновные понесли должное наказание... Хе-хе-хе! Родного сына сажать за решетку не так приятно... Хотя и вздорная баба, а все же мать... Сын ведь ей Антониеску этот, от первого брака... Ферт, давно нам известный. Не первая его проделка. Совсем пропащий тип. Фамильный конфуз. Я с первой минуты, как услыхал, подумал про себя: «Тут не без Мануилки... опять обработал маменьку!..»

— Крадет у родной матери?!

— Э, сильно выражаетесь. Разве у матерей крадут, тем более в благородных семьях? Так, заимствуют не спросясь. Кто крадет, тот вор, того — на скамью подсудимых, а Мануилка гуляет, в ус себе не дует, значит, не вор...

Он рассмеялся.

— Однажды, впрочем, он уж очень ее освирепел: на крупном векселе ее бланк поставил... Вотчим давно настаивает, чтобы Мануилку — вон из фамилии и, не жалея, в руки правосудия. В этот раз чуть было не настоял... Нет, выпросился. Признала подпись и заплатила. И, знаете, чем он ее взял?

— Разжалобил? Выплакал?

— Нет, наглостью победил... Она, графиня эта, молодится очень, лет на пятнадцать кажет себя моложе, чем есть. Так у них условлено, чтобы в обществе слыть ему не сыном ее, а младшим братом. По батюшке он в бумагах Стефанович, а слывет — будто Аристидович, как она Аристидовна. Вот он и надавил на мамашу: «Я, мол, на скамью подсудимых — с моим удовольствием, и в Сибири люди живут. Но, помимо общего фамильного скандала, обдумайте, maman, приятно ли вам будет, когда на суде огласят публично, что я не Аристидович, а Стефанович, и у вас, такой-то молодой и очаровательной женщины, имеется тридцатилетний сын?..» Сдалась!

— Бог знает что! Даже невероятно.

— А вы верьте. Потому и верьте. Вероятному в Москве иной раз можно не верить, а невероятному верьте всегда. На то она и Москва: такой чудак-город!

Серьезно он советовал нам все-таки как-нибудь сладиться с графиней Б. насчет фермуара.

— Фамильный уник, ей хочется вернуть его обратно — возьмите с нее хорошие деньги, она богата и не скупа, заплатит, — и отдайте!..

Но я — на дыбки. Во-первых, фермуар мне нравится больше всех моих bijoux*, и я нисколько не намерена с ним расставаться. Во-вторых, если теперь, после «истории», в обществе будет замечено, что фермуар перешел с меня на графиню, пойдет говор, будто вещь была действительно украдена и досталась мне сомнительно и неправо, так что меня *заставили* вернуть ее и т.д. Галактион был того же мнения. Сказал, что — нет, в крайнем случае, уж лучше он приплатит графам еще сколько-нибудь, но фермуар должен остаться за мною...

— Что же? — развел руками, пожал плечами гнездниковский тип. — Мое суждение — как мне кажется, лучше, а дело — не мое, ваше. Поступайте как знаете. Но предупреждаю вас, мадемуазель, не считайте историю конченной. Этот фермуар еще много крови вам испортит.

* * *

Он мне не то что много крови, а всю жизнь испортил.

Началось с того, что, вернувшись с Галактионом с базара домой, оба очень мрачные, спросила я:

— Скажи, Галя, когда Антониеску принес тебе фермуар, ты действительно не знал, что он, как этот твой знакомый тип выражается, «заимствован» у графини?

---

* Драгоценности (*фр.*).

Уверена была, что ответит: «Конечно, не знал! За кого ты меня принимаешь? Как тебе не стыдно спрашивать?» Вместо того — угрюмый ответ:

— Очень знал. Уверен был, что стибрил. Где было ему, прохвосту, взять, как не мать обчистив?

— Как же так?

— Да так: взял с него подписку, что вещь ему действительно принадлежит, заставил его сделать собственноручно ее подробную опись да за этими гарантиями и рискнул... Вещь больно уж хороша. Представилось мне, как она однажды тебе понравится и будет на тебе красива, — и рискнул...

— Тронута и благодарю, но...

— Ах, Лили! — перебил он с некоторым раздражением. — В нашем деле, если проверять каждого сомнительного клиента и каждую сомнительную вещь, то лучше закрыть лавочку: будет плыть не в руки, а из рук.

— Но, если закрывать глаза на сомнительность клиентов и вещей, то нетрудно упасть и впрямь до покупки заведомо краденого, как язвила тебя эта нахальная графиня...

— Да, многие и доходят, и больше того — заводят постоянное якшанье с профессиональными ворами — притоны держат, сами становятся во главе воровских шаек и руководят ими... Надеюсь, ты меня к подобным фигурам не отнесешь, несмотря на нынешнее приключение, которое, как я вижу, внушило-таки тебе новое окисление против меня?

— Не стану отрицать, что есть немножко... И не устану повторять тебе, что, если лавочка такова, как ты сам подтверждаешь, то ее и лучше, и давно пора закрыть.

— Да я уже и закрыл. Нынешнее приключение — это задним числом. Из-за двух лет давности выплыло. Вроде, извини за выражение, старой отрыжки. А так — я на будущей неделе уже переезжаю даже на новую квартиру. Шабаш нашей «лисьей норе», как ты ее бранила. Потому что

Фоколев с тетенькой тоже ею брезгуют. Воображают расширить дело и сняли хорошее помещение на Арбате. Помещением-то расширились, а делом — как бы не сузились... Балованные — рано норовят выйти из черного тела!

В тоне его, положительно, слышалась ревнивая грусть мастера своего дела, который, расставаясь с профессией, видит, как за нее берутся дилетанты... И смешно, и противно!.. Сознаю, что человек новую жертву мне принес — «любимое дело» бросил. Но нисколько не тронута, потому что не могу понять, как такое поганое дело может быть любимым, и расстаться с ним может быть жертвою...

Спрашиваю:

— Разреши, Галя, еще одно мое недоумение: этот господин из сыскной полиции — так ведь? — был с тобой очень фамильярен. Вы давно знакомы?

— Лет пять. А что?

— Он сыщик?

— Нет, повыше, из главных.

— Откуда же твое приятельство с подобною личностью?

Он помолчал немножко и — виноватым голосом:

— Согласись, Лили, что без этой личности нам сегодня пришлось бы очень плохо.

— Соглашаюсь, но ты не ответил мне на вопрос.

— Да все оттуда же, Лили, из промысла...

— То есть?

— Н-ну... ты же слышала: к нам ходят иногда сомнительные люди, приносят сомнительные вещи... Мы в подобных случаях обязаны уведомлять... К нам тоже иногда обращаются за справками, не был ли такой-то, не находится ли в закладе такая-то разыскиваемая полицией пропажа... Некоторая связь имеется постоянно...

— Позволь, но ведь это же значит доносить и участвовать в сыске?

— М-м-м... есть отчасти... это очень неприятная сторона нашего промысла…

— Настолько неприятная, что, признаюсь, я не понимаю — как ты мог быть к ней прикосновенным? А уж в особенности, как ты, находясь в связи с сыскной полицией, не стеснялся и не смущался дружить с нашим домом при брате Павле, бывать на наших вечеринках, водить компанию с учащейся молодежью, со студентами... Мало ли кто у нас тогда бывал, мало ли что говорилось! В своем кругу — души нараспашку, языки без привязи... Ан, оказывается, в уголку сидит-молчит и все слышит и на ус мотает господин с полицейскими связями...

— Не обижай, не понимая, Лили, — хмуро остановил меня Галактион. — Это совсем другое дело. К политическому сыску я, само собою разумеется, никогда не имел никакого отношения, не имею и иметь не буду. Не могу иметь. Но уголовный сыск имеет право требовать от меня содействия, и я не имею права ему отказывать. Да, сказать по совести, и не чувствую себя вправе отказывать. Ничего нет позорного — напротив, борьба с уголовным элементом столицы...

— Я не умею различать такие тонкости: сыщик политический, сыщик уголовный... По-моему, сыщик всегда сыщик... брр... Конечно, очень приятно узнать, что они тоже делятся на белых барашков и черных козлов и что твои знакомые сыщики принадлежат к числу добродетельных. Но все-таки твое общение с этими господами нисколько не делает меня гордою за тебя, и, хотя твой сыскной приятель действительно оказал мне большую услугу, я, когда приедем домой, старательно вымою руку, которую ему подавала...

— Это твое дело, Лили, — глухо отозвался он, — но будь справедлива ко мне: вспомни, что я ни этих моих связей и знакомств не навязывал тебе, ни вообще не ставил тебя хотя бы в самое малое соприкосновение с моим промыслом... с моим бывшим промыслом, — поправился он. — Я оберегал тебя от

сомнительных встреч. Помнишь ты, как я решительно просил тебя никогда не бывать ко мне иначе, как поздним вечером, когда схлынет моя клиентура? Ты еще посмеялась, что, может быть, в запретные часы у меня бывают женщины?

— Да, помню, и ты ответил мне, что «да», бывают.

— Для обычной клиентуры по залогам у нас с Фоколевым есть совсем другое помещение, в другой части города, а в «лисью нору» ко мне ныряла только публика потайная, с которою делались тайные дела, говорились тайные речи. Там — на дружеской ноге и по-товарищески, а на улице или в ресторане, в театре встретимся — проходим мимо без поклона, без взгляда, будто незнакомы... В эти часы, если приходили ко мне люди за деньгами, то только за большими, — кого стоило принимать в строгой моей секретности. А больше приходили с деньгами, приносили мне в оборот, потому что работал я не только на свой капитал, которым я маленькая букашка, но гораздо больше на сборный. Питали ко мне доверие разные люди, охочие до нашего промысла, но которым, по их званию или общественному положению, неудобно им заниматься, и снабжали меня своими капитальцами на оборот. Пестрая публика — удивилась бы ты, кабы я всех назвал. Была балерина из Большого театра и был поп кладбищенский. Был генерал известнейший и была кухарка от господ с Собачьей площадки. И надо было так устраивать и располагать время, чтобы все они друг друга не знали и не встречались бы в наши договорные и расчетные часы... Голова, бывало, трещит, покуда высчитаешь и сладишь: балерину — этак, попа — так, генерала — так-то, кухарку — сякто... Ну, и полицейские визиты тоже бывали у нас условлены и размечены на эти часы, кроме как ежели какая экстра... Большая-таки машина была у меня заведена, Лили... Не справиться Мишке Фоколеву одному... нет! Где!..

Слушала и изумилась... Новые и новые стенки непонимания и отчуждения вырастали между мною и Галактионом...

Накануне своего переезда на новую квартиру Галактион возымел сентиментальную идею провести нам прощальную ночь в «лисьей норе» — по-прежнему. Я имела глупость согласиться и была наказана скукою до одурения с приливами время от времени превеликой злости. Для пущей чувствительности Галактион привел «лисью нору» точнейше в тот самый вид, как была она в пресловутую ночь моего первого в нее сошествия, а меня упросил быть в том же самом платье, как тогда. Оно было давно подарено мною Дросиде, но, на горе мое, она еще не продала его и не переделала — висело у нее не надеванным, — так что не удалось мне отговориться от сентиментального маскарада. Мода за два года сильно переменилась, и я казалась себе ужасно нелепою в старье, что далеко не содействовало мне к хорошему настроению. Вообще нет ничего глупее искусственного переживания значительных моментов отжитого прошлого. Галактион в лирическом настроении был утомительно неуклюж. Воздыхал, вспоминал, а я зевала, сперва потихоньку, а потом, уже не стесняясь, во весь рот да поглядывала на часы, выжидая с нетерпением, скоро ли он наговорится и ляжем спать. Полногрудая «Елизавета Петровна» со стены улыбалась ядовитее, чем когда-либо. Должно быть, на прощание, потому что это было в последний раз, что я ее видела.

* * *

Вентилов, конечно, раззвонил по Москве историю с фермуаром и сцену на базаре, которой он был свидетелем и участником. И, хотя рассказывал он ее довольно точно, значит, показалось бы, выгодно для меня, последствия меня постигли самые печальные.

Все московское «бабье-дамье», как любил выражаться брат Павел, обрушилось на меня своим лицемерным судом, как на обнаруженную наконец-то грязную содержанку низменного ростовщика и авантюристку опасного полета. Над

графиней подсмеивались, что сунулась в воду, не зная броду, и попала в глупое положение, но находили ее, по существу, правою, а меня кругом завинили. Галактоном мало интересовались, как человеком, чуждым обществу и ему неведомым. Вся тяжесть сплетни легла на меня. Имя мое трепалось московскими языками добрый месяц и вышло из трепки изорванным в клочки и вымазанным чернейшею грязью.

Чего-чего только не наплетено было на меня, несчастную! Основное приключение на базаре заглохло в новых баснях. Сегодня рассказывали, будто я украла фермуар у графини Б. Завтра — нет, не я украла, а украл по моему наущению Антониеску, с которым-де я живу (никогда в жизни не видала этого проходимца!), обирая в то же время какого-то ростовщика, богача несметного. Послезавтра — нет, Антониеску ни при чем, обвинение против него — интрига, подстроенная ненавидящим пасынка графом-вотчимом: это он подкупил меня и Галактиона осрамить молодого человека клеветою. Каждый день нес какую-нибудь новую гадостную ложь.

Вылезла из подполья и припуталась к общей каше молва о моей связи с Беляевым — это уж, конечно, добрыми стараниями Матрены Матвеевны! Дошла она и до Галактиона. Но к счастию — ах, очень несчастному счастию! — и он в это время наслушался слишком много явно невероятного вранья, как бедного нашего Артюшу приписывали и Антониеску, которого я никогда не видала, и графу Б., которого я видела однажды в жизни при трех свидетелях-мужчинах и в присутствии его собственной супруги, и чуть не каждому мужчине моего знакомства. Поэтому он не придал значения и молве о Беляеве.

Я смелая, но нет во мне наглости. Наберись я духа ее, назавтра же после скандала поскакала бы по всем знакомым, показывая графское письмо, сама раскрикивая и рас-

писывая свое приключение в пестрые цвета: вот, мол, какое свинство мне подстроили!.. Верили бы, нет ли, но осталась бы я в нападении, а нападающая сторона всегда имеет шансы на выигрыш против защищающейся. Но я так была потрясена, так растерялась, так была сконфужена разоблачением моего «содержанства», так застыдилась Галактиона, что пропустила целую неделю в бездействии, нигде не бывая, отказывая визитерам, которые ко мне заходили, боялась, что из любопытства к героине «скандала». А тем временем Вентилов болтал, графиня Б. трубила, сплетня крепла и разветвлялась. Когда я наконец собралась с мужеством и показалась в люди, то должна была убедиться собственными глазами и чутьем, что я затравлена, тяжко ранена и оправиться мне трудно...

В знакомых домах меня или не приняли вовсе, или принимали странно, с вытянутыми лицами, словно не живая гостья пожаловала, а покойница с Ваганькова кладбища. Где — четверть часа выживающего молчания. Где хозяйка сказывается больною и высылает занимать меня компаньонку, а у той в глазах: «Что же? За тридцать в месяц должна я и этот срам претерпеть!»

Где хозяйка из любопытства к «бесстыжей» выплывет и продержит несколько минут на нахальном расспрашивании и шпиговании ехидными шпильками, но барышень будто бы нет дома, тогда как за стеной Катя с Зиной выколачивают на рояле в четыре руки рапсодию Листа, а Оленька — Зембрих без пяти минут, — где-то полощет горло пискливыми фиоритурами. Детей при моем появлении всюду быстро убирали, словно я несла им оспу или дифтерит...

Осмелилась показаться в Симфоническом собрании и уехала после первого отделения в антракте. Все «бабье-дамье» от меня — как от чумы. После того, как первая же, которую встретила — еще в вестибюле, сделала вид, будто меня не замечает, чтобы не обменяться со мною поклоном, я уже не решалась ни

с одной поздороваться сама и выжидала, как они. А они проплывали мимо павами и — словно я пустое место! — не видят, ослепли! А если уж столкнемся нос к носу и никак нельзя не увидать, то — кивок такой принужденный и надменный — лучше бы прямо в глаза плюнула!

Мужчины — те ничего, подходят, болтают, но стали как-то уж очень развязны. Вентилов разлетелся ко мне, словно правый, и я, хотя и знала уже о его вредной болтовне, не посмела отделать его, как следовало, и старалась быть с ним любезной. Не сомневаюсь, что он сейчас же высмеял мою любезность. Знает, дескать, кошка, чье мясо съела!

Но добило меня и уехать заставило — что, когда я зашла в уборную поправить прическу, окружили меня там три сестрицы Татаркины. Девицы эти принадлежали уже не к веселящейся, а к чересчур веселящейся Москве. Были из «бедной, но благородной» фамилии и все три хорошенькие. Репутации отчаянной — даже снисходительная Элла и та пожимала плечами при их именах. Кокотками они слыли напрасно — у каждой был «свой», слывший женихом, хотя и менялись эти женихи время от времени, — впрочем, не слишком часто. Но водились они почти исключительно с мужским обществом и кутили в нем напропалую. Друзья их, сумские гусары и присяжные поверенные из ходовых, не стеснялись, раскутившись, заезжать к ним даже в два и три часа ночи, будили, распивали с барышнями привезенное шампанское либо их увозили на тройках в Стрельну, «Золотой якорь», в Всесвятское, к цыганам в Грузины. За это по Москве была Татаркиным кличка — «Кабачок трех сестриц», из «Периколы». Я с ними была едва знакома, считала себя отделенною от них непроходимою чертой, держала себя с ними, когда случалось встречаться, гордо, свысока.

Теперь «три сестрицы» набросились на меня с шумными любезностями, дружелюбные, фамильярные — подруги!

Новые подруги! Нельзя было лучше дать почувствовать мне, что я качусь вниз по лестнице и ласковые ручки их подхватывают меня в приятельские объятия уже — ах, на какой невысокой ступеньке!.. Десять дней, неделю тому назад смели бы эти хорошенькие «три мерзавочки», как тоже слыли они среди золотой молодежи, виснуть на мне со своими нежностями! А теперь, когда я от них вырвалась и уходила, а они-таки проводили меня по залам до вестибюля — уж очень, должно быть, приятно было показаться со мною в публике! — теперь я, сходя по лестнице, явственно слышала, как младшая Таркина — наверху у балюстрады — сказала сестрам:

— А эта мамзель с фермуаром еще фуфырится!

Старшая возразила:

— С непривычки!

И все три захохотали.

Вот вам! Зарегистрована, и уже кличка готова. Они — «Кабачок трех сестриц», а я буду — «Мамзель с фермуаром»... И... надо привыкать!

Галактион переносил гул сплетни еще хуже и нервнее меня, хотя он в своем деловом кругу и меньше слышал. Впрочем, Дросида уж очень старалась и о его, и о моем осведомлении, ежедневно усердствуя доводить до меня, как она то «вдрызг поругалась», то «чуть глаза не выцарапала» какой-нибудь своей приятельнице, которая, мол, говорила о вас нехорошее. Напрасно я запрещала ей тревожить меня глупыми кухарочьими сплетнями, что мне их не интересно и низко слушать. Она возражала с язвительным негодованием:

— Кабы кухарочьи, барышня! Нет, не кухарочьи! Она, мерзавка, повторяет, что своими ушами слышала, как ейная барыня с мадам Кузнечиковой перемывали ваши белые косточки... Да! Барыни, а не кухарки!

Галактион исхудал, позеленел, не переставал коверкаться своим исшрамленным лицом даже в сравнительно спокойные минуты, при малейшем же возбуждении — ужас, что

с ним делалось, и заикание его уже не поддавалось корсаковским речитативам... Мне было жаль его, но в то же время я была и ожесточена против него, считая его проклятую профессию источником всех нахлынувших на меня зол. Он проговаривался, да и сама я угадывала, что больше всего мучит его бессилие перед сплетнею, полная невозможность вступиться за меня открыто и сильно. Что он мог? Побить, что ли, кого-либо из сплетников? Какая польза, кроме... нового скандала? Мало, что ли, шума, еще хочется? Нет уж, пожалуйста!.. И я сама унижала его от воинственных порывов... А он с горечью говорил:

— Да, ты права... Морду подлецу расквасить я могу не хуже, а пожалуй, получше кого другого... А дальше что? На дуэли со мною он драться не станет, почтет за низость... Разве что наймет хитровских босяков, чтобы намяли мне бока в темном переулке... А то на злобный посмех подаст к мировому, чтобы еще раз оскандалить тебя публично, чтобы через репортеришек в газеты попала... Убить его, собаку, — на Сахалин идти... Я и пошел бы, да ты-то как останешься.

Слушала я его сокрушения с тем же двойным чувством жалости и ожесточения. Жалела, потому что нет грустнее зрелища, чем мужчина, сильный, энергичный, с умом, с волею, — в состоянии беспомощности. А ожесточалась, потому что чрез его невольную беспомощность чувствовала себя уж очень беззащитной... И иной раз нет-нет да и думалось: «А ведь будь в сплетне о Беляеве правда, будь моим любовником не Галактион, а этот beau Dunois* и маркиз де Корневиль, положение мое было бы куда лучше... Он бы уже десять физиономией разбил, на десяти бы дуэлях дрался и не ныл бы ни о мировом, ни о хитровцах в темном переулке, как ноет Галактион. Да и прав, ему нельзя не ныть: низкорожденный, малоправный, замаран ростовщичеством... Где ему

---

* Прекрасный Дунай (*фр.*).

защитить меня против общества, когда его общество на порог не пускает и именно за него-то и меня тоже общество выталкивает за порог… Беляев — тот да, защитил бы, о, как защитил бы!.. Интересный человек!.. «Я, может быть, мерзавец, но не дрянь!..» Да... не дрянь!..

Галактион?.. Гм… Сам по себе тоже не дрянь, крепкий, цельный человек, по-своему порядочный, стоит многих Беляевых... Но порода его дрянь, мелкая мещанская дрянь, черная кость — сам он ее, свою шупловщину, сознает в себе и ненавидит… Вяжет его порода. Когда его покойную жену Лидию оскорбили, он дал оскорбителю пощечину, а тот пренебрег! Это, мол, все равно что лошадь лягнула… Барон М. дрался за Галактиона… Теперь, поди, не пошел бы во второй раз?.. Однажды оно красиво, а дважды уже смешно, просится в карикатуру: что за приятель-дуэлист — на случай мордобитий, учиняемых приятелем, который — «не дуэлеспособен»?!

Ах, порода, порода! Как ни демократничать, а большая сила порода! Вот как переступишь через свою породу, завязнешь в «мезальянсе», приходит опыт ее понимать… Беляев — дикий человек, «мерзавец», но его в любовниках мне в конце концов простили бы: свой!.. А Галактион — il est impossible!* — говорит добрейшая Элла и глядит на меня с такою жалостью, словно я тяжким мученичеством искупаю свою связь с ним, как восьмой смертный грех... И еще это несчастное увечье! Я скоро сама заражусь его гримасами и тоже стану заикой… Да если поставить их рядом — Галактиона и le beau Dunois, — то бедняжка Галактион при всех своих достоинствах явит довольно жалкую фигуру...

Да и достоинства… Условно в нем все как-то... В одном мещанская строгость, в другом мещанская терпимость… Промыслом ростовщик, хоть и бросил, а жалеет. Ближайший

* См. пер. на с. 400.

друг — приказчик Фоколев. Водится с сыщиками и не стыдится. Покупает краденый фермуар и, лишь бы формально быть правым, спокоен… Правда, все это для меня. Но есть вещи, которых порядочный человек не сделает и для любимой женщины. Le beau Dunois способен для женщины убить, ограбить, отчаянное преступление совершить и удивить мир злодейством, но не держать ростовщическую лавочку, не якшаться с сыском… Нет, все от породы! Плоха порода Галактиона. Шуплов он, «маменьки», старицы Пиамы, сын, Дросиды племянник. Мало поправила его сумасшедшая кровь беззаконного родителя-дворянина! Унизила-таки я себя с ним, ах, унизила!

И стала я в подобных взбалмошных и горделивых мыслях доходить уже и до того, что, может быть, и хорошо, что Бог взял к себе Артюшу еще младенцем. Потому что, если бы он вырос в шупловскую породу, как обещал в колыбели своей точной схожестью с Галактионом, думалось мне, это было бы для меня великим горем, и, как знать, может быть, я когда-нибудь за это разлюбила бы свое дитя, как вот — надо же признаться — уже разлюбила Галактиона.

А еще сделалось понемногу, что, отчуждаясь от Галактиона, начала я вспоминать Беляева уже без всякого к нему неудовольствия, снисходительно, а иной раз, пожалуй, даже немножко мечтательно... Хорошо, что не встретились, а то, того гляди, и влюбилась бы... Вспоминала его бесшабашные цинические словечки — «Уж будто так скверно?» — и не возмущалась больше, а только усмехалась про себя — и стыдно малость, и лукаво: «Этакий же, мол, плут и озорник!»

Евы мы, батюшка вы мой, все — внучки праматери Евы! Та в раю загуляла от глиняного Адама с лукавым пестрым говоруном — змеем, а мы, бабенки, по наследству от нее — что вы с нами поделаете? — слабы мы пред хитрецой удалых и веселых разбойников — этаких вот Алеш Поповичей, как «мой» Беляев, черт бы его брал!

А сплетня тем временем выползла из Москвы и доползла до Уфы к брату Павлу. Получила я от него письмо — пространное и тревожное. Известила его о моих «скандалах», конечно, наша московская блюстительница фамильных нравов, целомудренная профессорша. На том свете она, вероятно, попадет в рай, так чтоб ей с райских древ только одни кислички рвать! Брат Павел просил немедленных разъяснений. Да! Разъясни-ка! Вокруг меня было уже так много наврано, что разъяснять — пиши не письмо, а толстый том!

Однажды и сам наш знаменитый родственник-профессор пожаловал ко мне, несмотря на разрыв дипломатических отношений, объявленный мне его суровою супругою, и, конечно, с ее посыла. Доказывал битый час с большим волнением, но красноречиво, как с кафедры, что я опозорила фамилию Сайдаковых и что теперь единственный для меня благоприятный исход — уехать из Москвы надолго или даже навсегда куда-нибудь подальше, в глухую провинцию либо за границу.

Совет был неплохой. Если бы я чувствовала, что профессор дает его, сердечно входя в мое трудное положение, я, может быть, и послушалась бы. Но я слышала в голосе, видела сквозь очки в бегающих глазах, что фамильная знаменитость фальшивит. Нисколько ему не жаль меня, как он уверяет, и вовсе не меня хочет он образумить и поставить на путь истинный, а просто желательно им с супругой сплавить меня, с позволения сказать, к чертям в болото — прочь от высоконравственного профессорского дома, чтобы по стенам его не скользила тень моих «скандалов».

— Ты, Лили, знаешь, что я не ханжа, не обскурант, но человек свободомыслящий и стою выше праздных толков и предрассудков толпы. В твоей истории с ребенком я тебя не одобряю, но и не бросаю в тебя камня, как фарисей. Прочие сплетни, распущенные о тебе, я презираю, считаю баснями. Единственное, что я ставлю тебе в вину, как твой старший

родственник и всегдашний доброжелатель: ты легкомысленно и неосторожно бравируешь общественным мнением и провоцируешь его гнев и вражду...

Слышу: неправда! Врет! Улещает! Сплетням во всем верит, а мне ни в чем... Показала ему письмо графа и графини Б. Пробежал, пожал плечами...

— Для близких к тебе людей, для меня, например, это, конечно, очень приятный документ, но для общества?! Как ты его огласишь в известность? Не в газетах же напечатаешь? Не в списках же гектографом распространишь? Нет, Лили! Повторяю и настаиваю: скажи, как, Чацкий, «вон из Москвы!» и ступай «искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок...». Лучше бы всего тебе за границу...

Я рассердилась.

— За границу я уехала бы охотно, но у меня нет средств прилично жить за границей. Разве вы поможете?

А я знаю, что он скуп, как пес на сене, а супруга — вдвое. Скривился:

— Откуда же мне, Лили? Мои средства ограничены, у меня семья...

— Так где же мне взять?

— А разве этот твой... гм... твой... гм... господин Шуплов не мог бы тебя там устроить?

Я — как расхохочусь ему в лицо:

— Славно! Вы, mon trés cher et honorable cousin*, приехали меня щунять, зачем по Москве идет обо мне молва как о шупловской содержанке, а советуете, чтобы и впрямь Шуплов меня содержал... только бы не на ваших глазах?! Ловко!

Покраснел до белков глаз.

— Ты забываешься, Елена!

— Нет, это вы забываетесь, кузен!.. Что придумал?! За границу... в глухую провинцию... еще и стихами из «Горя от

* Мой дражайший и уважаемый кузен (*фр.*).

ума» убеждает... Да что я вам — Софья Павловна Фамусова, что ли, чтобы так вот и поехать вам «подалее от этих хватов, в деревню к тетке, в глушь, в Саратов»?! Извините, не намерена! У меня в Саратове-то тетки-то нет!..

— Но у тебя есть брат в Уфе…

— Которого вы потрудились любезно известить о моих московских «скандалах»... К брату Павлу я не поеду...

— Почему?

— Потому, что он занимает в Уфе видный педагогический пост. Воспитателю юношества сестра-содержанка не ко двору. Если я здесь, в Москве, где миллион жителей, оказываюсь неудобна для вашей семьи, моих сравнительно дальних родственников, то уж брату-то Павлу в какой-то Уфе, где каждый все знает про каждого, ославленная сестра повиснет жерновом на шею... А я брата Павла люблю и совсем не желаю портить ему положение и карьеру!.. А еще, если хотите знать, почему я никуда не поеду, — потому, кузен, что я женщина с самолюбием и не намерена уступать всякому «бабью-дамью» поле без боя. Не желаю своим исчезновением подтвердить все их подлое вранье. Чтобы вслед мне ползло шипение: «Ага! Струсила! Сбежала!..»

Кузен-профессор уехал, страшно недовольный, едва кивнул мне на прощание. И, уже одеваясь на уход, преподнес довольно зловещую угрозу:

— Ты, Лили, становишься на скользкий путь. Смотри, чтобы он не привел тебя к такой точке, когда расстаться с Москвой тебе придется в зависимости уже не от собственного твоего выбора, а по принуждению...

— Это с революционерами бывает, — огрызнулась я, — а я политикой не занимаюсь...

— Случается и не с революционерами, — холодно возразил он и хлопнул дверью.

Роднею стало меньше!

XLVIII

Это было бы ничего, а вот друга потерять жалко! На первых порах после скандала Элла за меня львицей встала. Да и потом грех сказать, чтобы изменила мне, перекинулась бы на другую сторону. Напротив, случалось мне и после того, как мы разошлись, слыхать стороною, что она говорит обо мне очень хорошо и всегда меня защищает. Но разойтись-то нам все-таки пришлось. Отчасти, может быть, я сама была виновата.

Было незадолго перед новым ее отъездом за границу — в тот год она рано собралась: пришла ей фантазия вкусить весну на Лаго Маджоре. Ну что же? Денег куры не клюют — вкушай!.. Я и сама вкусила бы, если бы независима была в средствах, как ты. А Галактиона грабить уж очень не хотелось. Особенно после беседы с милым кузеном-профессором.

После скандала я была у Эллы несколько раз, но показываться на ее пятницах избегала. Приезжала не иначе, как сперва поговорив по телефону, кто есть у нее. И, если какое «бабье-дамье», то оставалась дома. Но вышло так, что однажды рискнула без предупреждения и как раз влетела. Никогда еще, кажется, не видала Элла у себя столько «бабья-дамья», как в ту пятницу. Аркадий Чернов у нее в тот вечер пел и Александр Иванович Южин стихи читал — за ними и налезли... поклонницы! Потом, погодя немного лет, таких поклонниц звали «психопатками», а в мое время они слыли по Москве «Астартами» — Николай Рубинштейн своих почему-то так окрестил, а с него перешло и на других!

А рискнула я потому, что была очень расстроена. Накануне вечером звонит мне Галактион:

— Дома ты? Можно к тебе приехать?

Голос веселый. Явился — такой сияющий, такой в духе: пожалуй, после смерти Артюши я уже и не видала его в подобном подъеме...

— Что это ты, — спрашиваю, — двести тысяч выиграл или, не служивши, в генералы произведен?

— Нет, — говорит, — Лили, не только ничего не выиграл, а, напротив, даже довольно много проиграл, и чин на мне прежний — из двенадцати овчин отставной козы барабанщик. А с чего я так распрыгался, и сам не знаю: прыг нашел... Где Дросида?.. На-на, тетенька, получай деньги, катай на Воздвиженку к Мора за шампанским и фруктами: кутнем, Лили, устроим себе лентовскую Кинь Грусть!

Никогда не видала его в таком резвом настроении! Даже меня, хмурую, развеселил. И очень рада я, что спала с него отчего-то эта черная мара, которая лежала на нем многие месяцы и, признаться, частенько меня пугала: нет-нет да и вспоминалось, как Корсаков предостерегал меня на счет его нервной потрясенности.

За ужином, который Дросида привезла от Мора, рассказывает:

— Весел я, Лили, от такой глупой причины, что и признаваться совестно... Всего каких-нибудь два часа тому назад я был мрачнее тучи, потому что действительно сегодня поутру биржа укусила меня маленько, а я этого терпеть не могу. Даже не столько из-за потери, сколько — зачем счастье изменяет, а ум не сосчитал? — не люблю!.. Обедали мы с Мишкой Фоколевым в Ново-Троицком, неприятных людей там встретили... окисла душа... Не то те напиться, так не пью, не то те удавиться, так будто обидно!.. Пришел домой, стою у окна, во двор гляжу без всякого соображения... А во дворе, знаешь, две собачонки лохматые, генеральшины, что в бельэтаже, охотятся за дворниковым котом. Здоровый такой котище, серый, хвост трубой... Он от них дерет, дерет, а, заметно, всерьез их не принимает. Они на него насядут, вот-вот схватят и лают с радости, как кококольчики звенят, трещотки трещат. А он вдруг обернется к ним, сядет на задние лапы — собачонки струсят и отскочат: такой выразитель-

ный кот!.. Однако, долго ли, коротко, ли загнали они его в глухой угол. И сели все трое, смотрят друг на дружку. Они броситься не смеют, ему некуда уйти. Сидят и сил набираются, потому — серьезной трепки надо ждать, полетит шерсть клочками!.. И вдруг, Лили, понимаешь — ха-ха-ха! — этот черт-котище — ха-ха-ха! — как изогнется дугой, как изгорбатится, глаза — угли каленые! Да одну по морде лапой раз! Другую по морде лапой два! Да одним скоком через них и пошел драть по двору!.. Молния! Я тебе говорю: сущая молния, Лили!.. А те-то дуры как рванулись вперед, не удержались с разбега и сшиблись в углу мордами, и обе обиделись и давай друг на дружку брехать... Ха-ха-ха!.. И, понимаешь, стало мне на них ужасно смешно, и вот с той самой минуты хожу я в веселом духе, и чрезвычайно как мне мило все, что вижу, и жизнь замечательно как приятна и хороша... Так что вот даже не выдержал, захотелось мне с тобою поделиться этим моим блаженством... Прелесть, как хорошо!..

— Очень рада и поздравляю тебя, — смеюсь ему, — но немного же тебе, однако, надо, чтобы блаженство добыть...

Блаженствовал он так с полчаса. Говорил — не заикался, лицом почти не кривлялся. Только — от шампанского, что ли, хотя выпил он всего полстопки, — глаза у него стали, как две яркие стразовые пуговицы и как-то недвижно остеклenели… Болтает без умолку и даже остроумен... Но вдруг приостановился, смотрит на меня, бледнеет да — как вскрикнет диким голосом:

— Лили! У тебя волосы горят!

Я схватила себя за голову: вздор!.. А он — бух со стула на пол и забился, изо рта пена... Хотя я свои фельдшерские курсы успела изрядно забыть, но не настолько, чтобы не узнать падучую... Вот так подарок! Кончился пир наш бедою! Этого только не доставало!

Прибежала Дросида и — я сразу заметила — не особенно удивилась. Принесла мою черную шелковую юбку, покрыла

ему лицо. Перестал биться. Выждали мы, пока обморок не перешел в сон. Перенесли на мою кровать. Претяжелый был, оттянул все руки. Спит. Испугана я выше меры. Скверное зрелище, особенно когда близкий человек. Да и уж очень неожиданно. Третий год живу с человеком — никаких признаков не подавал, не подозревала!

— Ишь, — говорит, — скажите пожалуйста: вернулась!

— Значит, бывало с ним?

— То-то, что нет... не слышно, чтобы бывало...

— А почему же ты говоришь: «Вернулась»?

— Маленьким его раза два-три корчило, годов шести-семи. А потом с возрастом прошло. Думали совсем — помнить забыли. Ан, поди же ты — черная немочь! Сколько лет ждала — ожила.

Ночь прошла тяжело. Галактион, когда проснулся, был ужасно слаб, надо было ходить за ним, как за ребенком. К утру он оправился и после нового, уже здорового сна вздумал было встать и идти в город по своим делам. Однако я удержала его в постели до полдня. Вылежался он — вижу: совсем здоров. Ну, Бог с тобой, вставай, накормлю завтраком, и ступай-гуляй на все четыре стороны, куда тебе надо.

Из вчерашнего Галактион ничего не помнил. Спрашиваю:

— С чего тебе почудилось, будто у меня волосы горят?

Хмурится, как ночь.

— Экая дичь… Всегда я какой-нибудь этакий вздор… будто пламя пройдет перед глазами…

— Всегда? — пытливо поймала я его на слове.

Он помолчал немного. Потом — твердо:

— Да, Лили, *всегда*!

— Значит, это с тобой давно и часто?

— Нет, Лили, недавно и редко. Всего два раза было. Первый — через две недели после Артюшиной смерти, второй — на вторые сутки после того, как у Эллы Федоровны на вечере были… вчера — третий...

— Как же ты от меня скрывал?

— А зачем было открывать? Ведь ты не поможешь.

— Надо лечиться, Галя! К докторам — к Корсакову, Сербскому...

— Да я был у Корсакова.

— Что же он сказал?

— Да что сказал? Дрянь дело, сказал. Сколько ни жить, падучки не изжить. Могила вылечит.

Замолчали оба. Думаю про себя: «Ну, я сегодня же к Сергею Сергеевичу. Это надо выяснить в подробности».

А Галактион, надумавшись, смотрит на меня ясными глазами.

— Лили, помнишь, как я все приставал к тебе, чтобы венчаться, и ты сердилась?

— Конечно, помню, но — почему об этом надо вспоминать?

— А тебя не удивляло иногда, что я после такой моей всегдашней настойчивости вдруг перестал, как обрезал?

— Если хочешь, да, пожалуй, немножко удивляло... Но Дросида мне говорила, что тут на тебя твоя «маменька» налегла… поставила тебе в условие своего от нее наследства...

По лицу его пробежала тень.

— Нет, что маменька!

И замолчал.

Я поняла. Стыдно мне стало, что я — о наследстве, когда...

— Великодушный ты, Галактион! — говорю, слезы глаза чешут.

— Нет... так, знаешь… Что же тебе в самом деле жизнь-то в узелок завязывать?.. Я калека… Если эта штука начнет меня трепать, так — несколько лет, и я либо идиот, либо — вставляй себе подземное перо, как говорится…

— Глупости, Галя! Собрался в могилу в тридцать лет с малым… Подбодрись! Иные с этой болезнью доживают до глубокой старости...

— Может быть, да мне охоты нет. Не радость это — ходить между людей, будто и ты человек как человек, а про себя трястись душонкою: а вдруг и сейчас кувыркнусь?

— А ты не трясись, так и не кувыркнешься.

— Рад бы и стараюсь, да трясется.

Молчим. Начинает:

— Но пуще смерти я идиотизма боюсь. А говорят, он с учащением припадков обязательно приходит рано или поздно…

— Пустяки! Вовсе не так уж непременно… Достоевский всю жизнь болел, однако умер стариком и в здравом уме…

— Эка сравнила! То Достоевский… Ему, может быть, чтобы поглупеть, надо было бы не пять — десять, а лет триста болеть... А я Шуплов, мой умишка простой, маленький… Ты, Лили, если заметишь что, будто я того…

— Бог знает что тебе в голову ползет, Галя!

— Нет, ты, пожалуйста, не скрывай тогда, скажи... Я тогда...

Он щелкнул у виска пальцами.

— Без долгих рассуждений и без малейших колебаний... Я и теперь не прочь бы...

— Перестань, пожалуйста! Неприятно слушать.

— Да с тобою очень уж жаль расставаться. Ужасно я тебя люблю, Лили. Так люблю, так люблю, что...

— Лучше немножко меньше и не приходя в напрасное волнение. А то опять все лицо прыгает и в словах стал спотыкаться... Не надо, милый Галя! Держи себя в руках...

— Да, не надо... в руках... Знаешь ли, Корсаков мне сказал, что лучше бы мне не иметь детей... Д-да-а-а... Выходит, Бог-то знает, что делает. Как мы роптали, когда Артюшеньку Он прибрал, а может быть, для нас горестно, а для него лучше... Передается оно... Вырос бы полоумным каким или преступником — какое несчастие, а мне — какой совести укор! Поди, и у меня-то оно — через папеньку сумасшедшего... пьяницу... Вот-то пес проклятый! Небось

дворянства своего мне не передал, а падучкой наградил, крокодил!

— Да не волнуйся ты, — уговариваю, а про себя думаю: «К моим мыслям пришел!»

— Мать, как узнала, что это началось со мною, теперь увещевает меня: «Бросай ты все, Галактион, и иди в монахи — это на тебе перст!.. В спокойствии жизнь кончишь и в почете от людей к Богу отойдешь...» Оно, что говорить, спокойно и даже довольно заманчиво... Веру я имею, тишину люблю, прихотями не набалован, в покаянии потребность есть... Да вот ты-то... Тебя очень люблю! И — всяко, знаешь... и духом, и грехом, — и, извини, может быть, покажется тебе, грубо скажу, но, по правде, не знаю, как больше... В монастырь ли идти с моим к тебе желанием всегдашним?.. Эх! А Корсаков говорит: «Детей не надо...» Эх!..

Помчалась я к Корсакову: нету дома, в больнице. Я в больницу — только что уехал. Я опять к нему на дом: двух минут не застала, ускакал по визитам. Ах, несчастие!.. Соображаю: «Пятница. Вечером Сергей Сергеевич, наверное, будет у Эллы. Поеду к ней, останусь у нее обедать и пробуду до его приезда. К гостям выходить не буду: я же не в вечернем туалете. Переговорим где-нибудь в задней комнатке, и уеду».

Имела я обыкновение: если налетала к Элле на обед без зова, привозила ей торт или коробку конфект — какие-нибудь сладости. И теперь заехала за тем самым к Трамбле. А там, глядь, сидят и угощаются шоколадом девицы Татаркины — весь «Кабачок трех сестриц» в полном сборе, и при них три кавалера: два хорошо мне знакомых — художник Костя Ратомский и Макс Квятковский, а третий какой-то долговязый драгун.

Барышни завизжали, захохотали, вцепились в меня, почти насильно усадили за свой столик. Трещат, как сороки, сыпят словами и смехом, как из решета, я едва успеваю слово вста-

вить. Квятковский, не переставая, острит. Ратомский на скатерти и на салфетках рисует на всех нас карикатуры. Драгун на пари ест пятую порцию мороженого... Ералаш!

Время незаметно бежит. Сумерки — вспыхнул газ. Спохватываюсь, что уже седьмой час, мне пора к Элле. Поднимаюсь — удерживают, пищат, визжат. Нет-нет, я ухожу! Но как раз в это время входит в кондитерскую Вентилов и, увидав компанию, — тоже к нам. Сразу уйти стало неловко. Будет иметь вид, будто я убегаю от него. И, если уйду, воображаю, какое мытье моих косточек начнется. Нет, лучше пережду полчасика... У Эллы садятся за стол в семь — успеваю!

Успею да успею, полчасика да четверть часика... Квятковский страшно интересно рассказывает свою последнюю поездку в Париж. Ратомский достал из кармана альбом и уже серьезно меня зарисовывает, просит не двигаться... Хвать-похвать, а времени-то девятый час!.. Отличилась! Элла терпеть не может, чтобы так к ней приезжали — в середине или в конце обеда. Особенно в вечера журфиксов: любит устроить себе передышку между обедом и до десяти часов, когда начинают съезжаться пятничные гости...

Барышни Татаркины, узнав, что я собиралась на обед к Элле Левенстьерн, да опоздала, пришли в великий восторг. Завизжали, что они тоже голодны и — давайте обедать вместе, господа кавалеры обязуются нас накормить. И — как вихрем, перенесло нас всею компанией в «Славянский базар».

В уборной за поправкою причесок трещит Илька, старшая сестрица Татаркина:

— Ах, как я рада, что вы с нами вместо — чем у этой вашей противной Эллы! Вы извините, что я так про вашу приятельницу, но признаюсь, мы ее терпеть не можем... Важничает, как не знаю кто, разыгрывает из себя аристократку, а кто она, позвольте спросить? Особа неизвестного про-

исхождения, вдова какого-то разжившегося шведского купчишки, известного пьяницы... Не от чего ей поднимать нос пред нами: мы, слава Богу, русские дворянки, наш папа был заслуженный генерал... Знакомством ее мы, конечно, не льстимся, тем более что ее общество — позвольте мне по дружбе вас предупредить — способно бросить на молодую девушку немножко двусмысленную тень...

— Как это? Почему? — изумилась я.

— Ah, mon Dieu! On dit... qu' elle a des passions!*

— То есть? Я не понимаю...

— Как вы наивны! Ну, знаете, как описывают эти... Золя... Бело... «Mademoiselle Giraud ma femme»**... Нана и Сатинетт...

— Какой вздор! Я впервые слышу! Возмутительный вздор!

— Да? Вы думаете? Вам, как близкой к дому мадам Левенстьерн, конечно, лучше знать, но я на вашем месте не возмущалась бы так решительно... Она — такая парижанка, а там, вы знаете...

— Послушайте, Илька, уверяю вас, что это клевета. Не повторяйте ее. Я не только близка к дому Эллы, я, может быть, самый близкий друг ее и готова поклясться вам чем хотите, что нет ничего подобного. У Эллы нет не только того, как вы намекаете, но и никакого предмета увлечения среди мужчин...

— Да потому-то и говорят.

— Кто говорит?

— О Боже мой! Не могу же я называть... Tout le monde le dit...*** Общество... При ней, знаете, состоит какая-то фаворитная особа... даже не из общества, а так — из простых... что-то вроде приживалки, экономки... est ce que je sais?..****

* Ах, мой Бог! Ходят слухи... о том, что она страстно влюблена! (*фр.*)

** «Мадемуазель Жиро, моя подруга» (*фр.*; рассказ Ги де Мопассана).

*** Весь свет твердит... (*фр.*)

**** Так я сказала?.. (*фр.*)

Имеет на мадам Левенстьерн огромное влияние и командует в ее доме больше, чем сама хозяйка...

— Да, есть такая особа. Так не она же говорит?

— Нет, не она говорит, но о ней говорят.

— О Матрене Матвеевне говорит «общество»?! Да что же о ней могут говорить?!

— Qu'elle est une espèce de mari de la dame...*

Я на мгновение остолбенела... Но — в следующее — всю свою досаду во внезапном смехе потопила: расхохоталась, как сумасшедшая. Этакая же пошлость! До чего же глупо!

«Ну, — думаю, — сегодня же Элла будет это знать. Это ей урок: не фамильярничай со своей толстухой! Посадила себе — ко всеобщему недоумению — наглую хамку на шею, вот и вкушай сладкие плоды!»

А Ильке сказала:

— Слушайте: Матрена Матвеевна, о которой говорите вы et tout le monde — мой враг, ненавидит меня, и я, со своей стороны, очень не люблю ее. Но тем не менее должна по справедливости заступиться: она одержима столькими естественными страстями, что приписывать еще и противоестественные — совершенно невероятно...

В порядке полчасиков да четверть часиков, да минуток с полминутками освободилась я от наянливого «Кабачка трех сестриц» и очутилась у Эллы только в двенадцатом часу ночи. Да и то лишь потому, что Макс Квятковский тоже ехал к Элле и вызвался меня доставить. Ах, и лихач же у него был знаменитый: Матвей от «Малого Эрмитажа» — первый рысак на всю Москву... Восторг, а не езда!

Приехала я к Элле очень в духе. Должна сознаться, что часы, проведенные в компании «Кабачка трех сестриц», прошли приятно. Если бы они были не такие изумительные визгуньи, пискуньи, трещотки и хохотушки, то упрек-

* Как о разновидности замужней женщины... (*фр.*)

нуть их общество было бы не в чем. Очень весело, но, безусловно, прилично. И интересно. Квятковский был очень некрасив собою, бедняжка, но зато умница и остроумен, как Мефистофель. Ратомский — известный баловень женской Москвы, эффектный, почти красавец и — весь талант. Долговязый драгун оказался князем Д., предобродушным и совсем не глупым малым, чего я никак от него не ожидала, когда он под немолчный хохот трех сестриц пожирал мороженое у Трамбле. За обедом было вино, но пили его очень умеренно — у Эллы подавали больше, и, когда Гальцев обедал, все пустело. Было совсем прилично. Ни одного вольного жеста, ни одного очень вольного словца. Я наблюдала и удивлялась про себя: «Если Татаркины всегда окружены таким обществом и так проводят в нем время, то за что же они ославлены чуть не кокотками и «Кабачком трех сестриц»? Может быть, полно, и они — не такие ли же напрасные жертвы сплетень «бабья-дамья», как я, горемычная? Да и об Элле, оказывается, вон какие напрасные мерзости плетутся!»

И невольно расположилась к ним симпатией и стала ласковою.

* * *

У Эллы вышло очень нехорошо.

Во-первых, я не ожидала такого блестящего собрания и, как вошла да увидала расфуфыренное «бабье-дамье» и самое Эллу во всем парижском великолепии, сразу сконфузилась, что я в утреннем визитном, а не в вечернем туалете. Во-вторых, обиделась (и имела на то право), что эта пятница, очевидно, званная, а меня Элла не пригласила. В-третьих, «бабье-дамье» мгновенно обложило меня полярными льдами, да и у Эллы в глазах мелькнуло неприятное выражение: «Ах, мол, как некстати!» Что касается Матрены Матвеевны, тоже по-своему расфуфыренной в пух и прах, то на ее толстом

циферблате было написано самыми четкими буквами: «Черт тебя принес! Вот-то уж незваный гость хуже татарина!»

Если бы мне не надо было видеть Корсакова, я сию же минуту уехала бы. Но наш с ним разговор затянулся. Профессор подтвердил мне очень опасное состояние Галактиона. До смерти и сумасшествия далеко — это он преувеличивает, — но болезнь требует для него серьезного отдыха и телом, и душою. Детей? Да, ни одному эпилептику не следовало бы иметь детей. Да и вообще поняла я из намеков доктора, что Галактиону было бы полезно отлучиться от меня на некоторое время, чтобы успокоить немножко свою взбудораженную нервную систему. По правде сказать, этому докгорскому совету я очень обрадовалась втайне: утомителен сделался полубольной Галактион, трудно с ним стало, а иногда и мучительно. Решила я во что бы то ни стало спровадить его из Москвы куда-нибудь на отдых и самой тем временем от него отдохнуть.

Беседовали мы в дальнем китайском будуарчике Эллы. Музыка и пение туда едва долетали. Слышала глухо, урывками, как Чернов пел вальс из «Корневильских колоколов», и невольно улыбалась, вспоминая, как Беляев передразнивал его в «Эрмитаже». Ах, странно люди цепляются один за другого, друг другу неведомо! Ну вот этот Аркадий Чернов — ведь какую он огромную роль в жизни моей сыграл, а мы и знакомы-то не были!.. Без его гастролей в Москве, без его окаянного «Удалого гасконца» разве встретилась бы я с Беляевым — со всеми затем последствиями — и в тот день, и на всю жизнь?

Покуда мы с Корсаковым беседовали, Матрена Матвеевна раз пять заглянула к нам, так что профессор наконец окликнул:

— Марья Матвеевна, вы — меня?

— Нет, нет, извините, не извольте беспокоиться... — прогудела она, исчезая.

Но через минуту опять появилась, и как раз в то время, когда я, смеясь, говорила:

— Почему вы, Сергей Сергеевич, зовете ее Марьей, когда она Матрена?

А он, смеясь же, отвечал:

— Потому что ей так больше нравится. Имеет маленькую слабость не любить своего крещеного имени и предпочитает слыть Марьей. Слабость невинная и свойственная многим Матренам. Мария Кочубей в «Полтаве» тоже ведь на самом-то деле Матрена была. «Именем нежным Марии» ее Пушкин окрестил по поэтической вольности…

— Что пушкинской Марии не пристало быть Матреной, с этим я согласна, но, когда на «имя нежное Марии» претендует восьмипудовая Матрена Матвеевна, это смешно...

— Это уж ее дело. А мне почему не делать женщине удовольствия, если я вижу, что оно ей приятно, а мне решительно ничего не стоит?

И, заметив появившуюся толстуху — конечно, подслушивала за дверью, — обратился к ней свободно и ничуть не смущенно:

— Так ли я говорю, Марья Матвеевна?

Она возразила медленно, с расстановкой — глаза бешеные:

— Вы-то так, а вот барышня Лили напрасно много интересуется чужими именами. Я, ежели меняю имя, так только для своего удовольствия, не делая тем никакого худа. А бывают иные, которые, взяв чужое имя, треплют его с любовниками по разным городам и рожают даже...

Отпалила и ушла. Как я вытерпела, чтобы не броситься на нее, а самой в обморок не упасть, — не понимаю. Корсаков имел такт пропустить мимо ушей, будто не слышал, а что слышал, будто не понял. Поболтал, пошутил еще минуты две-три и ушел. Осталась я одна, снаружи спокойная, внутри вся кипящая.

«Нет, — думаю, — какова бы я ни была «Мамзель с фермуаром», а это тебе даром не пройдет. Думала уехать — останусь. Сегодня поздно, не успею объясниться с Эллой, переночую, завтра поговорим...»

А эта тварь не хочет оставить меня в покое. Опять влезла.

— Вы, барышня Лили, что же не идете к ужину? Все сели.

— Я не буду.

— Тогда перейдите в какую-нибудь другую комнату. Эту я запру.

— Зачем это?

— Затем, что здесь барынины всякие «бижу» раскиданы, а сегодня у нас много незнакомой публики. Пропадет что — кто ответит?

На эту наглость я посмотрела ей в глаза и сказала коротко:

— Пошла вон.

Должно быть, хорошо посмотрела и сказала, потому что она, слова не возразив, бурей вылетела. А я размышляю: «Эта каналья способна нарочно что-нибудь стащить и припрятать, чтобы потом свалить на меня. Не тронусь с места, буду ждать Эллу здесь».

А весенняя короткая ночь уже отошла. В окна глядит белое утро. Вот тебе и ночевка!..

Элла, освободясь от гостей, пришла — краше в гроб кладут! Лицо — измятая перчатка, выжатый лимон. Вся обвисла, едва стоит на ногах — так устала...

— Как, Лили, ты здесь? А я думала, ты давно уехала.

— Как же бы я уехала, не простясь с тобою?

— Ну, мы с тобою настолько свои люди, что... Ой, не могу больше! Идем по постелькам...

— С удовольствием, Элла, только, пожалуйста, сперва осмотри этот твой будуар: все ли вещи в нем целы?

— Что это значит?.. Зачем?..

— Затем, что твоя прелестная Мотя имела дерзость намекнуть мне в глаза, что я ей подозрительна, не украду ли твои bijoux...*

Элла сморщилась.

— Ах, Лили! Ну как тебе не стыдно? Такая больная мнительность! Наверное, что-нибудь не так... Она уже мне шептала, что вы поссорились... Охота же вам, право!

— Ни малейшей охоты, но...

Она прервала меня ужасными зевками.

— Оставим до завтра, Лили... Я уже ничего не понимаю, что слышу, и мне кажется, будто ты говоришь со мною откуда-то издалека, из-за трех стен...

Назавтра встали и сошлись поздно, много за полдень. После кофе началось объяснение.

Элла со смущением, торопливо, бегая козьими глазами, говорила о своей неизменной дружбе ко мне и — что ее дом и для меня также всегда будет своим домом. Но в то же время давала понять, что было бы очень желательно, чтобы я в этот «свой дом» являлась, когда она, верный друг мой, одна и нет посторонних.

— Потому что ты, Лили, имела несчастие вооружить против себя общество, и — как дурно к тебе относятся, это — зрелище, от которого разрывается сердце. Вчера, например, это было ужасно... просто ужасно!

Я согласилась, что было ужасно, но возразила, что если Элла находит неудобным мое присутствие среди ее гостей, то, может быть, мне лучше перестать у нее бывать вовсе?

Она покраснела, заметалась.

— Как можно! Что это ты, Лили? Ты меня не так поняла...

— Так или не так, но потайной дружбы, украдкою, с черного крыльца я не желаю: гордость не позволяет. Это Никодим

* См. пер. на с. 417.

ко Христу ходил по ночам страха ради иудейска, а я — какого ради страха буду? Если тебе важнее отношения со всяким «бабьем-дамьем», чем со мною, то — с Богом! Я уйду, оставайся с этими целомудренными Сусаннами, из которых каждая имеет по три любовника зараз…

— Лили!

— Да, да! Я Лили, грешная Лили! Лиляша, как фамильярно называл меня Беляев! «Мамзель с фермуаром», как обзывают меня сестрицы Татаркины… Мне не место среди добродетельных Сусанн и Лукреций! Уйду и очень утешу тем особу, которая меня от тебя выживает...

— Это фантазии, Лили... Мне, конечно, очень неприятно, что вы как-то все не ладите с Мотей...

— Ага! Сама имя назвала... Не «не ладим», а говорю тебе прямо: либо я, либо она... И, так как я знаю, что ты ею мне не пожертвуешь, то ухожу я...

— Лили, право же, это пустые недоразумения…

— Хороши недоразумения, когда она меня в лицо обзывает воровкой, а если бы ты еще слышала, что она вчера мне преподнесла при Корсакове!..

— Лили, я ничуть не защищаю Мотю. Она груба, и я сделаю ей строгий выговор...

— Смотри, как бы она тебе не сделала!

— Но мне странно, что ты, образованная, умная девушка, так остро принимаешь слова и поступки женщины, стоящей несравненно ниже тебя по воспитанно и положению… В своей добродушной невежественности Мотя и мне часто говорит ужасные вещи — я не обращаю на них внимания.

— То-то твоя добродушная Мотя и прославилась по Москве как нахалка из нахалок, а ее власть над тобою разные сестрицы Татаркины объясняют сальными сплетнями из «Нана» и «Мадмуазель Жиро»…

Элла вспыхнула. Козьи глазки загорелись, позеленели.

— Если сплетни сальные, — сдержанно возразила она, — то не следует их повторять.

— Я и не повторяю, а предупреждаю тебя, что они ходят. Только вчера ломала из-за тебя по этому поводу копье с одною из Татаркиных.

— Благодарю тебя, но меня мало интересует, что лгут на меня девицы Татаркины. И позволь мне удивиться, что ты бываешь в обществе, где допустимы сальные сплетни обо мне — даже в твоем присутствии.

— Я именно не допустила…

— Нет, раз был спор, то, значит, допустила.

— Что же я, по-твоему, должна была делать?

— Что ты, не знаю. Я, если бы про тебя при мне говорили ложные гадости, встала бы и ушла.

— Это неправда. Обо мне в твоем обществе говорили ложные гадости. Ты не вставала и не уходила, а, напротив, защищала меня, и я за то тебе бесконечно благодарна.

— Сплетни о тебе исходили из печальных недоразумений, которые могли быть рассеяны моими фактическими поправками, и я их охотно давала.

— Ну, и я тоже смотрю на свой спор с Илькой Татаркиной как на фактическую поправку — и о тебе, и об этой твоей драгоценной Матрене, которой так желательно быть Марьей.

— Вот, вот! — вздохнула Элла. — Вчерашние шпильки! В том, что Мотя тебя не любит, не виновата ли ты сама, Лили? Зачем ты ее дразнишь?

— Я виновата?! Нет, это восхитительно! Виновата в том, что позволила себе легкую шутку, да и то не с нею, а с Корсаковым, а она ответила мне бесстыднейшим оскорблением?

— Нет, не только легкую шутку. Ты выгнала ее из комнаты.

— За новую нестерпимую дерзость, когда...

— Да, она забылась, я знаю. Но все же — «пошла вон»... Ты же не госпожа ей, Лили... Прости, но при всей нашей друж-

бе и близости мне кажется, что в этом доме право сказать кому-либо «поди вон» имею одна я...

— А мне кажется, что мы дошли до границы, когда ты испытываешь большой соблазн осуществить свое хозяйское право на эти милые словечки... надо мною!

— Это неправда. Напротив, я всячески желаю удовлетворить тебя. Даже если бы ты была не совсем права. Если тебе угодно, я заставлю Мотю извиниться...

— Чтобы она еще больше возненавидела меня и начала еще глубже подкапываться под меня? Благодарю, не надо.

— Да чего же ты, наконец, хочешь от меня, Лили! — вскричала Элла с нетерпением. — Я не понимаю!

— Я тебе сказала: или она, или я.

— И сама же ты сказала дальше, что я Мотею пожертвовать не могу. Сестры Татаркины могут лгать на меня за это какие угодно пошлые комментарии — ты знаешь, что они будут лживы и пошлы, — но не могу. Мы молочные сестры. Вместе выросли, жизнь прожили. Она — моя привычка, самая прочная, органическая. Не могу.

— Значит, так тому и быть. Сказано — сделано. Прощай, Элла.

— Надеюсь, до свидания, Лили?

— Нет, прощай!

Ушла.

Матрена Матвеевна имела благоразумие мне не показаться. Истерзала бы!

* * *

От автора

Разрыв с Эллою Левенстьерн имел для Елены Венедиктовны значение рокового порога. Переступив его, она очутилась уже на круто наклонной плоскости и начала опускаться медленно, но верно. Элла Левенстьерн при всем ее легко-

мыслии и позерстве была порядочна, интеллигентна, в свете ее считали немножко слишком «беззаконною кометою в кругу расчисленных светил», но — своею. Она была принята всюду, где хотела, и у нее бывать полагали недостойным разве лишь какие-либо из ряду вон старомодные prudes'ки и скучные педантички из типа той родственницы-профессорши, которая так сурово доезжала грешную Елену Венедиктовну. Оторвавшись от Эллы, Елена Венедиктовна потеряла последнюю свою связь сразу и со светом, и с интеллигенцией. Не стало у нее почвы для встреч. А так как затвориться в домашний обиход с полубольным эпилептиком Галактионом она и не хотела, да по живости темперамента и общительности характера и не могла бы, то, вытесненная из одного круга общества, сделав несколько шагов по лестнице вниз, освоилась в другом.

Ею завладел «Кабачок трех сестриц» — барышни Татаркины. В их развеселом обществе Лили прокружилась целый год. Я не буду останавливаться на этом ее времени потому, что в нем она не пережила никаких острых моментов, а общий быт веселящихся барышень — soupeuses* — был очерчен мною в «Марье Лусьевой», в тех главах, где эта двуногая овца втягивается развращающими ее своднями высокого полета в «омут веселья» золотой молодежи.

Главы эти в значительной степени обязаны своим содержанием рассказам Елены Венедиктовны. Но в «Марье Лусьевой» действие в Петербурге и носит петербургский отпечаток, а Елена Венедиктовна прошла свой предпроституционный стаж в Москве с отпечатком московским. Ни она, ни барышни «Кабачка трех сестер» не считали себя кокотками и действительно не были ими, так как не продавались телесно. И сводни за ними никакой не стояло, если не считать за таковую мамашу трех сестриц, почтенную мадам

* Зд. иронич.: любительницы поужинать, содержанки (*фр.*).

Татаркину, о которой была в Москве молва, будто с нее Островский писал Огудалову в «Бесприданнице».

Госпожа Татаркина действительно на Огудалову походила, как вылитая, но из дочерей ее не вышло ни одной трагической Ларисы. Все три были «попрыгуньи стрекозы» и в беззастенчивой стрекозиной грации простодушно и бесстыдно стремились к единому идеалу: выпрыгать, выпеть, выхохотать, выфлиртовать себе какого-нибудь состоятельного супруга. Или в крайнем случае обожателя, настолько капитального, что для него стоить рискнуть и побольше, чем стрекозиным прыганьем, песнями, хохотом, флиртом и легкими вольностями «совместного обучения», как острил их приятель и частный кавалер Макс Квятковский. Все три и достигли своей цели — нашли-таки очень солидных мужей, кои, хотя на завтра свадьбы и чесали нисколько сконфуженно свои затылки, однако обрели в девицах Татаркиных жен очень милых, спокойных, хозяйственных и даже добродетельных. Из таких успокоенных, пометавшись, почти всегда выходит образцовое «бабье-дамье».

Елена Венедиктовна была старше сестер Татаркиных, но не имела их опыта — того невинно-распутного опыта, которым награждает беспорядочное мужское общество особ, прослывших впоследствии с легкой руки Марселя Прево кличкою «полудевственниц», démi-vièrges*. Матримониальных целей, ради которых они себя проституировали если не плотью, то моралью, она тоже не имела, так как, хотя и не венчанная, и не сожительствующая вместе с Галактионом, чувствовала себя все-таки «в некотором роде замужем». Иные из мало знакомых, считая их мужем и женою, так и называли уже Елену Венедиктовну — мадам Волшуп. По некотором размышлении о том, что в качестве «Мамзели с фермуаром» лучше ей трепать ложное, не существующее в действитель-

* Юная развращенная девица (*фр.*).

ности имя, чем фамилию Сайдаковых, она стала сперва попустительствовать внушаемому ей самозванству, а потом и сама рекомендоваться, где было удобно, Еленой Волшуп. Что мало-помалу и знакомством было легко усвоено.

Отличала эту «Елену Волшуп» от Татаркиных также и гораздо большая материальная обеспеченность. Дела Галактиона Шуплова шли превосходно (Елена Венедиктовна уже и не интересовалась никогда, какие именно ведет он дела). Отказа в деньгах «содержанка» никогда не встречала и избаловалась в том очень.

«Кабачок трех сестриц» жил богемно и вечно зависел от щедрости своих друзей-мужчин. Елена Венедиктовна была среди них независимою, буржуазною и «импонировала» им как особа «устроенная», со своеобразным, но прочным и независимым положением. До известной степени они стояли теперь в том самом отношении к ней, как раньше сама она — к Элле Левенстьерн. Она весело покровительствовала, «Кабачок трех сестриц» весело принимал покровительство.

Разница была только в составе и тоне общества, которое их окружало. Если в театральной ложе Эллы Левенстьерн показывались в антрактах Урусов, Плевако, Сумбатов, Мамонтов, Суриков, Цертелев, Хохлов, Максим Ковалевский, Ленский, Гольцев, Ринк, Гучков, то в ложе «Мамзели с фермуаром», вокруг нее и «Кабачка трех сестриц» можно было видеть весьма блестящее, но несколько подвыпившее офицерство Ходынского лагеря, ходовых присяжных поверенных из тех, чьи имена появляются в годовом отчете сословия в разряде дел, рассмотренных Советом в дисциплинарном порядке. Второстепенных актеров от Корша и из оперетки. Окультуренных купчиков, привезших из заграничного вояжа преувеличенный парижский и венский шик. Безукоризненно модно одетых молодых людей, которых по неопределенности их занятий и средств жизни насмешливое общество начало тогда звать темно и неясно — «спортсменами». Солид-

но одетых, с тяжеловесными цепями и перстнями пожилых господ, которых по тем же причинам общество, наскучив звать их шулерами, так же насмешливо определяло «финансистами».

Заглядывал иногда и Галактион. Отношение его к новому кругу знакомства Лили было двойственное. Конечно, он не мог не замечать, что общество его возлюбленной глубоко понизило свой уровень, когда-то столько его восхищавший Но, с другой стороны, его очень утешало то обстоятельство, что Лили не играет больше второстепенной и как бы подчиненной роли при Элле Левенстьерн. Ее он за это всегда ревниво недолюбливал втайне, а после того, как Лили рассказала ему сцену разрыва с Эллой, уже и откровенно возненавидел. И только жалел, что у него покончены счеты с Фоколевым — то есть с Матреной-Марьей Матвеевной за спиною белосахарного племянника, — по передаче им своего кредитного дела, а то бы он толстуху прижал так, чтобы визжала и пищала!

Видеть свою Лили теперь самое как бы в Эллах Галактиону положительно нравилось. Приятно было и то, что в новый ее круг он смел наведываться без того стеснения и страха, какие питал к прежнему: пресловутый дебютный провал на журфиксе у Эллы Левенстьерн остался у него на сердце тяжелым камнем. Здесь же по смешанности общества Галактион проходил незаметно, а так как в этом обществе было и не без тайных должников его, то в иных случаях, пожалуй, и с некоторым почетом. Заглядыванием и наведыванием он, однако, не злоупотреблял. Побывает на несколько минут, посидит в уголку, покривляется исшрамленным лицом, позаикается с кем-нибудь в обмене незначительных слов и, сконфуженный тем, исчезает незаметно в совершенном довольстве, что видел свою возлюбленную в ее блестящем окружении и любовался, как за нею ухаживают и ей льстят. Ревновать Лили ему по-прежнему не приходило в голову.

— Да и прав был в том Галактион, — говорила Елена Венедиктовна. — Обманывать его — так, ради бабьей шалости, я не имела никакой охоты, а влюбленности такой, чтобы ради нее стоило рискнуть любовной драмой, не чувствовала... Начнешь, бывало, прикидывать в уме возможных героев для романа — нет, не стоит овчинка выделки. Костя Ратомский, конечно, красивей и интереснее Галактиона, да ведь свяжись с ним, об этом завтра же будет знать вся Москва: сам раструбит! А состояния у него — только талант, так что, когда за него Галактион от меня отойдет, что мы будем? Он — меня писать, а я пред ним натурщицей на модели стоять? Так у него таких и без меня много: тип на этот счет известный! Две недели блаженства, а потом — ищи-свищи его, голубчика!.. Вроде моего маркиза де Корневиль, Аристарха Беляева, — только без его молодецкой хватки... Вот, если бы Беляев... Это глупо, знаете, но, чем дальше шло время, тем Беляев воображался мне все как-то победительнее и увлекательнее. И, наконец, сделался для меня прямо маркою какою-то на моих ухаживателей и обожателей. Этот хорош, тот недурен, один как будто нравится, другой немножко волнует, но — куда же им всем и каждому порознь до Беляева... Сказано: «Le beau Dunois!..» Вспоминаю — и воображаю, воображаю — и вспоминаю... Ну и довспоминалась и довоображалась до того, что — влюблена! Серьезно, до страсти — пуще, чем когда-то, в девицах, была влюблена в барона М.: там томило воображение девическое, а здесь — жжет бабское... черту простор и легкость...

Появись тогда Беляев в Москве, кликни, свистни — все бросила бы, очертя голову, на край света поползла бы за ним, лишь бы взял... Когда узнала от кого-то — Квятковский, что ли, его видел, — что Беляев был в Москве проездом на юг, но, спеша по делам, не остановился больше суток, я так расстроилась, словно смертную беду пережила. Три глупейших дня в глупейших слезах — не позвал! Забыл! Значит, нуль я для

него в числе таких же нулей, нулей, нулей!.. Ревновала — куда-то в пространство неведомое, в пустое место, — к кому? А кто же знает? Ни к кому и ко всем! К «женщине» — вообще, к женщине, какая там для него нашлась в очередь его... каприза... маркиз де Корневиль он этакий!..

Об одной из сестриц Татаркиных, средней, Зине, тоже молва была, что она из беляевских жертв. Так престранное у меня отношение было к этой барышне. То я ее от ревности тайной видеть не могу: противна она мне, будто меня в самом дорогом моем обокрала. То, напротив, умилюсь, разжалоблюсь, как на подругу в общем несчастии, и так она мне вдруг мила, любезна, дорога... Ласкаю, балую, дарю — пуще двух остальных сестер!.. Беляеву-то унижение, что через его цинизм сравнялась с подлою Матреною Матвеевной, я давно простила, а вот ей — зачем она с ним как женщина была, как смела она быть... ух! Что ни вспомню, зубами скриплю...

Да, телом я была Галактиону верна: в этом он, отъезжая тогда опять в Сибирь на свидание со своим Иваницким, мог быть совершенно уверен. Но... *ему* ли я была верна? Вот это, знаете ли, вопрос. Если в корень моей верности смотреть, то верна-то я была своей мечте о Беляеве. Для Беляева берегла себя, оттого и была верна Галактиону. Извините меня, если вам цинично покажется, но, по-моему, сколько я замечала, очень много жен верны своим мужьям именно вот по этому рецепту.

Сохраняют то, что есть и к чему привыкли, а — что набегает лучшее, того не принимают, потому что имеют в мечте, как однажды получат они что-то воображаемое — какое-то уже самое лучшее, из лучших лучшее...Вы что-то улыбаетесь?

— Собственно, тому, что недавно вы уверяли меня, будто женщина никогда не в состоянии забыть и простить совершенного над нею насилия...

— И опять скажу: никогда!

— А как же... Беляев-то?

Елена Венедиктовна озадачилась, задумалась на минутку и — расхохоталась:

— Вы плут, подловили меня!..

— Нет правила без исключения?

— Нет, не то... А...

— Что же?

— Да... да... — продолжала она хохотать. — Должно быть, не полное насилие было, а так... середка на половинку... Слыхали? «Солдат, я тебя боюсь!» — «Чего?» — «Ты меня осилишь!» — «Дура, как я тебя осилю: у тебя ребенок на руках». — «А ребенка я на завалинку положу...»

— Гм... И вы так-то?

Она вдруг перестала смеяться, пожала плечами и очень серьезно возразила:

— А я знаю?.. Может быть, так, может быть, не так... Разве в этих случаях с подобными чертями сообразишь?!

С отъездом Шуплова в Сибирь веселый образ жизни Елены Венедиктовны украсился новым развлечением. В Москве тогда сильно развился скаковой спорт и впервые появился тотализатор. Елена Венедиктовна стала играть, и, на беду свою, очень счастливо — все выигрывала. В лошадях она решительно ничего не понимала, но везло ей — почти все лето везло, — дикое счастье. Известия о том, что она играет — и широко — дошли в Сибирь до Галактиона. Он, хотя и биржевик, имел великий страх ко всякому игорному азарту. Впервые за три года написал своей Лили укорительное письмо с увещанием бросить забаву, которая непременно кончится разорительным проигрышем. На это письмо Елена Венедиктовна страшно рассердилась. Игры не бросила, а напротив, предалась ей с удвоенным, утроенным азартом, так как, осердившись на Галактиона, возымела новую идею.

«Мне везет. Покуда везет, надо наиграть как можно больше денег. Их я не истрачу, а буду держать в банке и копить...

Когда строгий господин Шуплов вернется, я уплачу ему, сколько я должна, или по крайней мере значительную часть и, таким образом, положу конец и своему «содержанству», и нашим отношениям...»

«Господин Шуплов» вернулся. Но как раз перед его возвращением в игре Елены Венедиктовны прошла полоса неудач, и ее «выкупной фонд» настолько приуменьшился, что начинать драму «выкупа» с такими грошами было бы комично. Галактион, напротив, ездил удачливо по деньгам и на этот раз без всяких опасных приключений. Игры Елены Венедиктовны он и устно в глаза ей тоже не одобрил, но, узнав, что покуда она все-таки в выигрыше, махнул рукой: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало».

Однако стал осторожнее в выдаче ей денег на расходы и, выдавая, начал спрашивать — зачем? — чего прежде не бывало. Елену Венедиктовну это новшество обижало.

— Что за контроль? С какой стати? По какому праву! — наивно восклицала она, женски забывая, что право-то на контроль расходования своих трудовых денег Галактион имел полнейшее.

Дружною союзницей ее в этом случае оказалась Дросида. Когда барышня начала сильно выигрывать, она тоже обуялась жадностью и, как говорят игроки, «примазалась на арапа». Вошла с Еленой Венедиктовной якобы в часть, преловко, однако, увиливая от своей доли, когда выигрыши сменялись проигрышами.

Зимою скаковой тотализатор сменился беговым. Елена Венедиктовна и здесь оказалась завсегдатайницею. Стали видать ее и в тайных игорных домах с рулеткою. Завелась самодельная, будто бы игрушечная рулетка у сестриц Татаркиных. Это новое свое увлечение Елена Венедиктовна тщательно скрывала от Галактиона, зная, что он не выносит азартных игр, уверяя не без основания, что на счастье играть — надо быть дураком, а наверняка играть — надо быть

подлецом. Елена Венедиктовна с Дросидою пропускали эти «мужские» рассуждения мимо ушей.

Дросида настолько осмелела и уверовала в игрецкое счастье барышни, что, когда Елена Венедиктовна оказывалась в проигрыше, то, чтобы не спрашивать у Галактиона, Дросида снабжала ее деньгами из каких-то своих источников. Снабжала на короткие сроки и под лютые проценты, которые в обычном кредите ужаснули бы и Шейлока с Тубалом. Но, когда человек, а тем более женщина, втянется в постоянство игры, то с процентами мало считаются. Сегодня утром беру сто — если я на них вечером выиграю тысячу, то почему мне завтра утром не отдать полтораста, даже двести? Но проигрывала Елена Венедиктовна редко. В общем, ей продолжало страшно везти.

Везло и барышням Татаркиным. Только не в игре, а в жизни. Две, старшая Илька и младшая Инка, за зимний сезон нашли наконец таких покладистых женихов, которые и в самом деле на них женились: один в зимнем мясоеде, перед Масляницей, другой на Красной горке. «Кабачок трех сестриц» распался и упразднился! Третья Татаркина, Зина, в один прекрасный день исчезла за границу совершенно в том порядке, как в «Бесприданнице» Кнуров предлагал Ларисе Огудаловой. Собрался богатый самодур из новых коммерсантов в заграничный вояж, и потребовалась ему содержанка под видом компаньонки, переводчицы и учительницы манер, чтобы обтесаться от сероты для общества.

Этими своими житейскими преуспеяниями сестрицы Татаркины были обязаны, несомненно, усердию, с каким вывозила их Лили. Но заплатили они ей черною неблагодарностью. Замужние — одна за действительным статским, другая за коммерции советником, — нашли, что теперь, в солидном дамстве, им «Мамзель с фермуаром» не компания. И при помощи тактичной мамаши устроили так, что без всяких ссор, столкновений, острых объяснений Елена Венедиктовна сперва перестала

у них бывать, потом старались не заметить друг дружки при встречах, а в следующем сезоне уже и не кланялись — раззнакомились. Зина Татаркина летала за границею по курортам и бадортам, а в Москву не подавала никаких вестей. Лестница перевернулась. Всего год тому назад Лили Сайдакова находила низким для себя знакомство и неприличным общество сестриц Татаркиных. Теперь сестрицы Татаркины, «одамленные» законным браком, целомудренно отстранялись от общества и знакомства беззаконной Лили Сайдаковой.

Переворот лестницы подействовал на Елену Венедиктовну очень тяжело. Не то чтобы она обиделась. Нет, утрату подруг, дезертировавших из богемы в состав «дамья-бабья», она перенесла хладнокровно и перемену их отношения к себе рассудительно находила естественною. Но она совершенно отвыкла от одиночества, а осталась одинокою. Заскучала, затосковала. В Москве стало тошно. Воспользовалась случаем, что брата ее, Павла Венедиктовича, перевели с повышением в большой приволжский город, и решила посетить его там, прежде чем ее «ославленность» достигла этого нового места. Так как Шуплов по делам своим и Иваницкого должен был провести почти все это лето на Нижегородской ярмарке, то они выехали из Москвы вместе. Расстались в Нижнем: Шуплов остался на ярмарке, Елена Венедиктовна побежала пароходом вниз.

Брат Павел встретил ее с искренним восторгом — от себя и с заметным страхом и конфузом — что-то скажет его общество? Елена Венедиктовна почуяла это и пожалела о том, что приехала, едва ли не в первый же час, как приехала. Брат и сестра за четыре года, что не видались, сильно отвыкли друг от дружки. Он ей показался провинциально заплесневелым, она ему — он уж боялся, каким именем определить, — в самом деле чуть не кокоткою, как рекомендовала ее ядовитая московская профессорша. Общество Павла — губернские педагоги, врачи, чиновники, адвокаты, сотрудники двух

местных газет — показалось московской «мондэнке» (тогда было в ходу это новое слово, кажется, Боборыкиным пущенное в ход) ужасно пресным, скучным, серым, устарелым, грубоватым и наивно аффектированным.

— Еще щеголяют косоворотками и сходятся по вечерам — читать тайком старые номера «Земли и воли», — с усмешкой определяла она. — Поют «Утес», пьют тосты за «Незнакомку», делают по близкому соседству визиты к возвращенному старику Чернышевскому, который не знает, как от них отбояриться… Грызня о вопросах, диспуты, третейские суды, Иванову — не подавать руки за рутинерство и мракобесие, Петрову — собрать адрес за благородно передовой образ мыслей и гражданское мужество… Варятся в собственном соку — и предовольны... А ну их!..

Вдобавок скуки брат Павел оказался женихом: задумал вторично возложить на себя брачные узы. Невеста его, дочь председателя местной земской управы, девица красивая, состоятельная, добродетельная, но не совсем первой молодости, была, по выражению Елены Венедиктовны, «уж так умна, так умна, что, пожалуй, даже и дура». Мыслила по «Русским ведомостям», говорила цитатами из Михайловского, шутила по Щедрину, была чудовищем начитанности по социальным вопросам, усердно работала в области разных «маленьких дел» общественной деятельности и не без гордости давала понять, что, несмотря на видное положение отца, он и она находятся под тайным надзором жандармов. Павел Венедиктович был в невесту влюблен без памяти, а невеста невзлюбила будущую золовку по первому взгляду. Чувствуя, что мешает, Елена Венедиктовна — вместо того чтобы остаться у брата на лето, как сперва имела в мыслях, пробыла всего одну неделю и не столько уехала, сколько сбежала обратно в Москву, на этот раз уже не на Нижний Волгою, а по железной дороге.

— Ехала с комфортом, одна в спальном отделении, вагон почти пустой. Ехала в духе, ощущая не без удовольствия, как

благовонная атмосфера добродетели, которою я пропиталась за неделю у брата Павла, разряжается с каждою верстою, что поезд отходит от города, и сквозь исчезающий аромат начинает слегка дышать мне навстречу «смрад пороков моих», только нисколько меня не отягчая на этот раз, а дразня и забавляя... Даже стыдно: сознаю, что с братом навеки простилась, а весело, что удрала!.. Посовестись, матушка: тридцатый годок, а шалости и резвости вдруг словно в пятнадцатилетней пансионерке, отпущенной на каникулы...

На втором перегоне села в вагон помещичья семья: мать, две дочери — девочки-подростки и сын, кончалый гимназист. Едут в Петербург: девочек мать везет определять в институт, сына — в правоведение. Мать — бывшая красавица, теперь пятидесятилетняя толстуха, из добродушных черноземных тетех, но с манерами, видно, что хорошей крови и общества. Девочки — цыплятки. Сын — этакий, знаете, деревенский дворянский выкормок, маменькин любимчик, кровь с молоком, собой очень недурен, в мать, статный мальчишка. Заняли они, мать с дочками, купе, дальнее от моего, а сын устроился одиноко в соседнем... Хорошо. Сошлись в коридоре, разговорились. Милая семья. Сперва, как водится, девочки меня заобожали, потом мамаша ко мне расположилась. Сын... тот врезался в меня, кажется, еще, когда, таща в вагон маменькин чемодан, втиснул было его по ошибке в мое купе, и потом верст сто в том извинялся... Так что мать наконец прикрикнула:

— Да будет тебе, Олег! Ведь Зинаида Львовна по крайней мере уже десять раз сказала тебе, что нисколько не сердится.

В Зинаиды Львовны (имя средней барышни Татаркиной) я себя произвела по вдохновению романического предчувствия... Что хотите, а прав Галактион — насчет бесовского «овладения». Едва увидала я этого мальчика, как только глянул он на меня поверх глупого своего чемодана голубыми

глазами, в которых смешались испуг (за чемодан-то конфузный!) и восторг, — вступил в меня лукавый:

«Ай-ай-ай! Вот как глаза! Держись, Лили! Этот мальчик тебе даром не пройдет...»

И сердце: ек, ек, ек…

Завтракали вместе. Мамаша — откровенная. В какой-нибудь час — я только слушай! — все мне высыпала: за себя, за мужа, за детей, за всю семью, родню и родословное древо. Улучила секретную от детей минутку, чтобы и об Олеге: как она нарочно убедила его поступить в закрытое учебное заведение и на казенный кошт, чтобы — под строгим присмотром уберечь от столичных соблазнов.

— Потому что, знаете, Зинаида Львовна, мальчик огневой — долго ли свертеться в столице? К женщинам падок — весь в папеньку, от легкомыслия которого двадцать семь лет страдаю. А за этим уже по четырнадцатому году нужен был глаз да глаз. Мальчик красивый, неглупый, литературный, стихи пишет — интересный, словом… Ну и — то соседочка, то сестрина бонна, то гувернантка… Все, конечно, невинно, ахи, вздохи, платоническая, а все-таки... Но всего страшнее — чтобы — знаете, понимаете, — в низменную грязь не увяз… Горничные — нынче сплошь дрянные девчонки, себя погубить, в благородную семью скандал внести — это им, как стакан воды выпить… Летом — какая-нибудь pололка на грядах или другая деревенская прелестница… Долго ли мальчику потерять свое здоровье и нравственность, сделаться несчастным на всю жизнь?

Слушаю… Ладно, ладно… Даром не пройдет!

Девчонки меня, как быстро заобожали, так быстро и разлюбили, потому что Оля очень ядовито сказала Кате:

— Зачем ты пристаешь к Зинаиде Львовне? Разве ты не видишь, что ей интереснее говорить с Олегом о стихах, чем с тобою о деревенских глупостях?

Такая тринадцатилетняя язва! Приметливая!

В стихах и литературных разговорах провели мы день. Свечерело. Стемнело. Ночь. Мамаша с дочками — на опочиве. Мы с Олегом в коридоре у окна любуемся природой, которой не видно, потому что ночь безлунная, беззвездная — хоть глаз коли. Олег мне из Надсона «Мечты королевы» читает дрожащим голосом влюбленного козленка, а меня бес крутит-мутит «овладением»: «Ах, как бы это — чтобы и начать и приличие соблюсти?»

Ага!.. Наконец-то!.. Рука на талии… робкая, трепещущая...

Оттолкнула с гордостью:

— Это что же такое?

— Бе-е-е… ме-е-е…

— Этим милым приемам кто вас обучил? Ваши усадебные служанки, вероятно?

Нечленораздельные звуки.

Отвернулась с презрением (смех душит — дай-то Бог не фыркнуть!) и — в свое купе.

Бежит сзади, блекочет:

— Простите… извините…

Ну поломалась минут десять — простила и извинила. Прощала и извиняла до солнечного утра...

Ушел — вот тебе, думаю, и раз?! Как же это я? Четыре года твердой верности (потому что Беляева нельзя же считать!) — и вдруг… как же так?.. Ни с того ни с сего!.. Случайный встречный мальчишка…

Упреки совести? Раскаяние? Никаких! «Скушала, рот утерла и говорю: я ничего дурного не сделала».

Очень спокойно заснула и превосходно спала. Крепко и долго.

Проснулась: уже Малаховка. Сорок минут — и Москва. Ай, батюшки! Дай Бог быть готовой!

Провозилась в уборной — только-только успела... Поезд шагом, шагом и стал, и артельщики, белые передники, лезут в вагон…

Наскоро простилась с любезной семьей, пожелала им полного успеха в Петербурге. Девочкам с поцелуями — хорошо учиться. Олегу с крепким выразительным рукопожатием — быть умником, радовать мамашу успехами и приобрести литературную известность. У него было дикое, нелепое лицо. Трудно мне было удерживаться от смеха.

Иду по перрону — вдруг вприскочку бежит-догоняет он, сумасшедший. Без шляпы, вид растерзанный.

— Зина! Неужели — только и было?

— А вам мало?

— Да, Зина, мало! О Зина! Я отравлен тобой на всю жизнь!

— Будто уже я такая ядовитая? Ну авось в Петербурге найдете какое-нибудь противоядие.

— О Зина!.. Ты...

— И не «ты», а «вы». И не зовите меня Зиной, потому что я вовсе не Зина.

— К... к... к... как?

— Так. До свидания. Желаю вам еще раз всего хорошего, и идите-ка, идите к своим. Ваша мамаша уже, наверное, беспокоится, куда вы исчезли.

— Пусть беспокоится! Мне все равно... Вы взяли мою душу... Я не поеду в Петербург... Провались, правоведение!.. Я останусь здесь, в Москве, чтобы быть около вас, с вами быть, служить вам...

— Вот что еще выдумал! Вы славный мальчик, Рюрик...

— Как Рюрик? Почему Рюрик?

— Ах да! Что я! Олег... Извините, князей перепутала... Вы милый мальчик, Олег, только... вы не обидитесь, что я вам скажу?

— О, говорите! Говорите что хотите!.. Ха-ха-ха! Рюрик... А? Рюрик!.. Говорите!.. Даже имя... «Князей перепутала»... Рюрик!!! Говорите!.. Я уже так обижен чрез вас роком, что больше обидеть меня вы не можете...

— Так вот слушайте: быть при мне, быть со мною, служить мне — у вас на губах еще молоко не обсохло. Прощайте. Навстречу идут мои знакомые…

— И я никогда больше вас не увижу?

— Ах, милый Олег! Разве я пророчица? Гора с горою не сходится, а человек с человеком, говорят, всегда сойдутся.

— По крайней мере позвольте мне вам писать?

— Да вы же не знаете, кому, а адреса я вам не дам.

— Скажите только имя: я — до востребования…

— Хорошо… Пишите, — разбирает меня резвый бес, — пишите Матрене Матвеевне…

— Вас так зовут?! Быть не может!

— Крестили — значит, может... Да вы что? Может быть, за путешествующую аристократку меня принимаете? Разочаруйтесь: я самая простая женщина и служу в экономках у одной здешней госпожи…

Стоял он, глядел мне вслед, как статуя недоумения. А мне было очень весело и резво. Зачем я с ним эту последнюю комедию проделала — хоть убейте, не знаю: так, шаль нашла... дурака валяла…

Писал мне мальчик этот, только я, одно письмо получив, за следующими поленилась заходить в почтамт: пропали. Жаловался он мне на то пять лет спустя, когда — напророчила-таки я — сошлись «человек с человеком»... Ах, и жутко же сошлись!

* * *

Москва встретила меня ужасно неприветливо. Началось с того, что проездом с вокзала домой я потеряла сумочку с деньгами — тысячу рублей! — и с чековой книжкой. Таким образом, осталась без гроша и должна была сразу задолжать Дросиде. Галактиону я не хотела телеграфировать, боясь, что он не поверит потере, а подумает, будто я проиграла. О чековой книжке он ничего и не знал. Это были мои собственные наигранные сбережения. Я держала их у Юнкера на текущем счету.

О пропаже надо было заявить. Ради этого пришлось побывать в сыскном отделении. Там встретил меня старый знакомый, гнездниковский тип, так любезно поддержавший меня в истории с графиней Б. Из-за фермуара. И он, и другие служащие были чрезвычайно милы. Но мне все-таки что-то не понравились их манера и тон со мною. Была я в их учреждении впервые в жизни, а со мною держались и говорили так, будто давно и превосходно меня знают. Уж очень фамильярная какая-то вежливость — словно дают понять: «Вы покуда что дама — мы народ тертый, обращение с дамами понимаем и принимаем вас как приличную даму. Но нам очень хорошо известно, что вы «Мамзель с фермуаром», содержимая нашим приятелем Галактионом Артемьевичем Шупловым, и рекомендуетесь иной раз в обществе по его псевдониму Еленой Волшуп. А потому мы с вами свои люди, и хотя вы у нас в первый раз, однако, поверьте, не в последний».

Но все-таки молодцы! Сумочку мою они нашли, хотя и не скоро, и чековую книжку в ней. Деньги подобравший хитровец успел сильно прогулять. Уцелевшие двести семьдесят, помнится, рублей я заплатила сыщикам.

С этой первой беды и пошли, и пошли валиться на меня шишки, как на бедного Макара!

Во-первых, Дросида задавила меня счетами, накопившимися по хозяйству.

Во-вторых, в игре моей наступила полоса черного несчастья.

Но — какого! На всех фронтах! Тотализатор, рулетка, макао, красная и черная, орлянка — все виды азарта — словно заговор заключили против меня — отомстить мне за прошлогодние выигрыши. Что ни карта — бита! Что ни шанс — в трубу! Ставлю на вернейших лошадей: нет! Моя либо на старте закинется, либо препятствия не возьмет, либо жокея сронит, либо на финише оплошает, либо уже вот-вот у столба вдруг какой-нибудь одер неожиданный сзади наддаст и фуксом выскочит вперед на полноса... На одра, конечно, выдача колос-

сальная, а ты, Лили, получи шиш!.. На публике не заревешь с горя, но — ах, сколько платков я искусала-истерзала, сдерживая рыдания, когда арена преподносила мне этак-то сюрприз за сюрпризом...

Жуткое это дело — черная полоса, ох какое жуткое! Отдельный проигрыш, как бы ни был велик, горе в полгоря. Катастрофа — и только. Иногда даже к лучшему для человека. Слабняка пришибет, а кто характер имеет, того очувствует и отворотит от игры уроком на всю жизнь... А вот как зарядит тебе несчастье сплошным осенним мелким дождичком! Настоящего ошеломляющего проигрыша нет — такого-то вот, чтобы образумил сразу отстать, — а сосет, сосет, сосет каждый день понемногу. Разоряешься, а отстать нет резона, потому что не все же проигрываешь, иной раз и выиграешь — значит, счастье как будто не вовсе отвернулось, есть надежда, дергай... Но только выиграешь-то в единицах да десятках, а проигрыш — в сотнях и тысячах... Знаете, как банкометы острят, колоду в руки беря: «Семпеля даю, углы бью…» Вы не игрок?

— Нет, Елена Венедиктовна, Бог миловал.

Она сочувственно покивала крупной своей головой.

— Уж это именно, что Божья милость к вам, если миновали этой страсти. Хуже ее нету. Я вот, скажем, пьяница и бываю в этом виде довольно даже безобразна. Но это мое горе, а не погибель. Доктора Борка знаете?

— Даже приятели.

— Так он говорит, что я еще не настоящая алкоголичка, а только... как бишь это? Забыла!.. Гипсо... липсо...

— Дипсоманка, вероятно?

— Кажется, так... Если, говорит, переместить вас в среду, где пить не надо и прямого соблазна к тому нет, то вы и не будете, и хотения к пьянству у вас не станет через самое короткое время. А алкоголики того не могут. Вина, водки нет — столярный лак отстоит и вылакает; спирт из-под уродов в кунсткамерах, бывало, сторожа-алкоголики выкра-

дывали и пили. Иная злая алкоголичка, которая борется с собою, нарочно в водку нечистоты мешает, чтобы противно было, не прикоснуться бы к ней, проклятой; ан, глядь, час, другой, третий протерпела, а там — отстояла да и с ругательствами и проклятиями, себя презирая и ненавидя, а все-таки выпила...

— Это у Гонкура в «Жервезе» дословно описано...

— Читала, знаю. Но я в жизни видала примерцы посильнее Жервезы. В Вятке было: судили старуху за то, что на кладбище могилу раскопала, чтобы с покойника мертвую водку достать. Вы знаете, что это такое? Старый обычай, теперь он вывелся, да и запрещен, духовенство не дозволяет, однако в иных старозаветных углах еще держится и тайком исполняется: кладут покойнику в гроб бутылку водки — позабавиться на том свете. Это и есть мертвая водка. И есть такое поверье, что, кто у мертвеца его водку похитит, тому от нее самому помереть. Так вот вы и судите эту вятскую Жервезу: греха не побоялась, преступления не побоялась, смертной угрозы не побоялась, могилу разрыла, гроб взломала, гнилого покойника обшарила, нашла-таки бутылку, тут же у могилы выпила и свалилась пьяная... так ее и подобрали поутру сторожа...

Вот это номер!.. А мы, грешные, что: сладкими винами, коньяками высоких сортов, ликерами дез-иль гости балуют, так наливаемся. А что попроще, то — кроме родной матушки очищенной, ее же и монахи приемлют, — и нос воротим... Нет, нет! Винцо меня губливало, да не догубило, а вот игра... Именно с игры я стала, как вы теперь меня видите, а бывала я и хуже той, как вы видите. И с игры, боюсь, суждено мне покончить свой век каким-нибудь таким каторжным финалом, что — тьфу, ну его к свиньям! Не хочу и думать... Лучше — ставьте-ка флакон «Помри»! Авось не помрем, а во здравие выпьем!

— Флакон можно, но — разве вы продолжаете играть?

Она энергично затрясла головой.

— Избави Бог! Десять лет как заклялась. Никогда. Ни за что. Никакого азарта. Карт в руки не беру. В простые дурач-

ки просите, не сяду. Пари предлагайте, не приму. Покончено, отрезано, похоронено.

— Очень похвально, но тогда откуда же в вас этот мрачный страх за будущее от игры?

Она тяжело вздохнула.

— Черненький мой играет ужасно. Сейчас он в счастливой полосе, а бывает — все с себя, хоть до «сменки» и босячит. Мог бы, конечно, играть наверняка, потому что всю эту механику-технику он знает и, когда желаете в шутку, отлично производит. Но всерьез не любит. Нравится ему, видите ли, судьбу свою испытывать. Я, говорит, как Наполеон: у меня — звезда! Сам играет честно и требует, чтобы с ним — честно. Проигрывает хладнокровно, но чуть заметил плутню — дверь. А как ему не заметить, когда у него зрение — что называется, глаза через Волгу муху видят: на Откосе стоит — в Семеновский уезд глядит? Ну, и вечный у меня за него страх: зарежет он однажды какого-нибудь мерзавца-шулеришку... Головы-то проломленные и ребра пополам уже бывали... Покуда сходило с рук, а ну — как по песенке:

Прощай, город Одеста,
Ты наша карантин!
Завтра нас погонят
На остров Сахалин...

А мы с Черненьким — иголка с ниткой, — куда он, туда я, куда я, туда он. Богом не венчаны — черт веревочкой связал: обоим одна судьба — неразлучные. Одна смерть разлучит. Коли его на Сахалин, так я в сопровождающие. Нельзя, не позволят — сама кого-нибудь зарежу, а за ним уйду.

Говоря это, Елена Венедиктовна, вся пылающая, с глазами, налитыми синим огнем, была прекрасна. Помолодела на двадцать лет. Залюбовался я даже ею. Совсем сошла с нее на минутку стареющая, изношенная Лиляша — выглянула давно отмершая Лили Сайдакова.

— Давно вы с ним? — спросил я осторожно.

— Да уже девять лет, десятый пошел... Прочно! — с почти девически стыдливою гордостью улыбнулась она. Но в ту же минуту и нахмурилась. — Прочно, да не совсем... Я последние свои женские годы доживаю, а он — молодой... Годов пяток еще авось, Бог даст, продержусь, а там — что ему, бойцу-удальцу, со старухой-то? Уйдет... Старость молодости — не попутчица!

— Гм... а сами — как?

Она залпом осушила стопку вина, ударила своим обычным жестом нервного возбуждения ладонью по столу и с большою бодростью произнесла:

— А это — глядя, в каком городе приключится. Если здесь, то с Плашкоутного моста, если в Москве — с Москворецкого, если в Питере — с Николаевского... Была бы вода глубока, а мост найдется!

* * *

Ну-с, играла я, играла, проигрывалась да проигрывалась — моя чековая книжка истощилась, и наконец Галактион, побывав в Москве — едва ли не нарочно за тем приезжал, хотя и уверял, будто по делу, — прочел мне строгую нотацию, что так нельзя. Ему для меня ничего не жаль, но он далеко не миллионер, а я трачу деньги, словно печку ими топлю. Выговор я приняла со смирением: в самом деле чувствовала себя уж очень виноватой. Перед отъездом обратно в Нижний Галактион пересмотрел все мои bijoux — под тем предлогом, будто хочет видеть, чего у меня недостает, чтобы в следующий приезд привезти. Врал: просто хотел проверить, не продаю ли я уже или не закладываю ли подаренных им вещей.

Нет, этого еще не было. Хотя соблазн к тому не раз бывал в трудные минуты проигрышей, но меня сдерживала Дросида:

— Барышня, лучше каким угодно тяжелым долгом обязаться, только не закладайте вещей... Это вам на верную ссо-

ру с Галактионом... Погодите денек-другой, я вам достану! Уж я вам достану!

И вправду доставала. На каких условиях, это счет особый: говорю же вам, игроки, а в особенности игрицы, с условиями не считаются. Но доставала.

Однако пришел наконец и такой день, что говорит — достать нельзя. А у меня не только нет ни гроша на игру, но уже третьи сутки лежала на туалетном столике маленькая бумажка, что по иску г-жи Федотовой в 350 рублей по неоплаченному счету выдан ей в размере означенной суммы на меня исполнительный лист. Значит, каждую минуту жди визита судебного пристава...

Командую Дросиде:

— Нечего делать. Мне с Федотовой не ссориться из-за 350 рублей. Вот тебе брошь и серьги. Скачи в ломбард, заложи.

Но она:

— Ни за что не поеду. Это мне строго запрещено Галактионом.

Я вспылила:

— Как? Причем тут Галактион? Вещи мои! Или я в своих вещах не вольна?

— Этого, — говорит, — я не знаю, вольны вы или нет, но мне Галактионом строго запрещено. Ни я не поеду, ни вам не советую. Потому что если вы и впрямь задумали губить хорошие вещи ломбардом, то я обязана уведомить о том Галактиона: слово ему дала...

Ну... сцена!.. Но, сколько я ни бушевала, Дросида вросла в свое упрямство, как дуб корнями в землю. А между прочим, говорит:

— Удивляюсь я вам, барышня: почему вы так стесняете себя из-за ничтожных сумм, как хотя бы и эта? Словно мало кавалеров ухаживает за вами: только попросите, каждый поможет с радостью...

Возражаю:

— Во-первых, далеко не каждый, а во-вторых — занимать у «обожателя» — значит, очень опасно поощрять его. Обяжешься услугой — давай за нее и права. Иной Бог знает что вообразит и с какими претензиями подъедет...

Она:

— А вас с того убудет? Удивляюсь! Кавалера попросить вам совестно, а что пристав с описью придет, ничего... Полно вам модничать-то, фоны-тоны строить.

— Не фоны-тоны, а это уже что-то вроде барышень Татаркиных.

— А что барышни Татаркины? Глупее, что ли, нас с вами? Жили — не тужили, роскошно замуж повышли, хозяйством — полною чашею живут, а вы допрыгались — хотите вещи закладать... В барышнях Татаркиных я только того не похвалю, что они допускали много огласки о себе. Так это — чтобы не было лишней молвы, всегда можно расположить к общему удобству. Ежели дама осторожна, а кавалер не хвастлив, то — домовой, что ли, разболтает? Вы сами которое время жили с Галактионом, разве кто знал, кроме меня, а я, как рыба, молчала?

— Таких скромных, как Галактион, немного.

— Э, барышня, свет не клином сошелся. Прикажите, сию минуту назову вам такого вашего обожателя, который для вас рад в разор разориться за самую малую вашу ласку, а рот у него зашит покрепче Галактионова.

— Кто же этот интересный незнакомец? Открой, пожалуйста!

— Михаил Фоколев — вот кто. Будто сами не догадались?

— А! Этот? — засмеялась я. — Сахар Медович? А он еще пылает? Я, признаться, уже и позабыла совсем, что он существует на свете.

— И очень напрасно... Позвольте мне поговорить с ним насчет долга госпоже Федотовой? Он мигом устроит. А что, в самом деле, хорошего, ежели судебный пристав понавешает печатей? На весь двор скандал, на весь переулок разговора...

— Гм... поговори, пожалуй... Но почему ты так уверена, что у него рот зашит еще крепче Галактионова?

— На то имею три причины. Первая, что самый характер его такой — рот не колокол, язык на привязи. Вторая, что тетка его, Матрена Матвеевна, страх к нему ревнива, и он ее боится, потому что зависит от нее в капитале!.. Третья, что с Галактионом друг, уважает его ужасно как и тоже побаивается. Значит, чтобы дошло до Галактиона, что он за вами приударяет, это ему совсем не модель...

— А приударять за любовницей друга — модель?

Смеется щучьим ртом.

— У нас в Ростове говорят: «Рад другу, да не как себе».

Тем же вечером докладывает:

— Говорила с Мишкой. Рад-радехонек. Пятьсот сейчас кладет на бочку. Ни документа, ни расписки простой не хочет, ни процентов. Платить — когда хотите, а не захотите — так вовсе не платите. Одна модель, что ссуда, а на деле — в полное наше распоряжение. А с вашей стороны просит только того одного одолжения, чтобы сделали вы ему честь и удовольствие: удостоили бы послезавтра, в это воскресенье, разделить компанию — в Царицыне в парке погулять, по озеру покатиться, на Миловиде чайку попить...

— Гм... какой добрый-ласковый!.. А кто же в компании?

— А кто? Вы да он... да, пожалуй, для порядка я третья.

— Гм... это, Дросидушка, выходит уже не компания, а любовное свидание.

— А хоть бы и так? Слиняете вы, что ли?

— Да не имею я ни малейшего намерения играть в любовь с этим белосахарным типом... С чего ты взяла?

— С того, что вам надо госпоже Федотовой долг платить, а у вас — пусто... Пятьсот рублей на полу не подымешь... Мишка без всяких обязательств дает, можно сказать, из одной влюбленности... Неужто трудно сделать в ответ маленькое удовольствие?

— Да вовсе оно не маленькое, Дросида. Как ты не понимаешь, право? Подумай, какой это имеет вид. Ехать за пятьсот рублей на свидание с человеком, которого я едва знаю и о котором мне известно, что он в меня влюблен... Это и для Татаркиных много!.. Какого же уважения могу я тогда ждать — хотя бы даже вот и от этого самого твоего Мишки? Он первый будет вправе подумать, что я... продаюсь!

Она хладнокровно возразила:

— А вы себя подобными словами не пугайте. С какой стати самой на себя наговаривать, чего люди не говорят? «Продаюсь»! Скажете тоже! Подумаешь, вас приглашают не на дачную прогулку со знакомым молодым человеком, а на постелю к какому-нибудь беззубому старикашке развратному... Бросьте!.. Парень — золото: вежливый, доброй муштры, потерся в поездках по городам около людей, знает обращение, книжки почитывает; если хотите, можете с ним даже по-французскому — мерекает немного... А уж собою-то, хоть вы и смеетесь, будто он из сахара сделан, совсем молодец: свежий паренек, бравый, опрятный... Недаром тетенька Матрена Матвеевна в нем души не чает и ко всем женщинам его ревнует... Эх, будь я на вашем месте, уж отбила бы его у этой вашей ненавистницы! Пусть бы лопнула от злости — вот то был бы смех!

— Но я на своем месте вступать в соперничество с такою особою, как Матрена Матвеевна, нисколько не желаю. А Миша Фоколев, будь он даже вдесятеро превосходнее, чем ты расписываешь, какое мне дело?

— Такое, что, ежели бы — скажем к примеру, не обижайтесь, — и вышло что между вами, то никакой тут продажи с вашей стороны нет, а так только... маленькая забавка... Э-э-эх, барышня! Разве я не вижу, что вам с Галактионом давно уже и скучно, и тяжко, и тошно? Особенно с того времени, как стал падать... В последний приезд сказывал: в Нижнем-то опять два раза бухался...

— Как бы ни было у нас с Галактионом, — резко остановила я, — но, во всяком случае, не тебе, Дросида, говорить мне против него!

— Да я не против... что вы! Бог с вами!.. А только, что вам, замечаю, тесно в жизни... Четыре года в верности — оно хорошо, честно, да — кабы все стройно ладилось, а то... Ежели бы вы мужняя жена были, другое дело... Но я, барышня, себе в заслугу всегда ставлю, что вас от брака отговаривала. Вон как — когда теперь концы-то свелись, — на мое вышло, что не следовало... А к слову пришлось: Галактион, барышня, сказывал вам, что «маменька» теперь новую придумочку выдумала, чтобы женить его?

— Что такое? — всполошилась я. — Какой вздор! Откуда ты это? Что за нелепость?

— Д-да... Я тоже думаю, что чудновато как-то... Однако вести имею прямехонько из монастыря... А ведь «маменька» — она благая: взбредет ей в мысли, будто «осенение» или сон вещий увидит... долго ли ей?.. Теперь, сказывают, между нею и Галактионом вышла большая перепалка... Потому что «маменька» в своем запальчивом усердии ему уже невесту выискала...

— Даже и невесту! — недоверчиво захохотала я, однако очень озадаченная.

— Да, и невесту. Вам Галактион не говорил?

— Ни слова, говорю же тебе, ни слова!

— И мне тоже, стало быть, соблюдает свой секрет... Д-да... Высмотрела из богомолок. Сказывают: здоровеннейшая девчища, хоть в солдаты отдавай, с лица недурна, только немножко оспой тронута и с оспы же на одно ухо глухая. Совсем из простых, читать-писать умеет, а больше образованности — не спрашивайте... Полудурье!

— Так с чего же мать Пиама прочит Галактиону такую? Богата, что ли?

— Какое! Не то что бедна, а можно сказать, нищая. Что есть на себе, то и имущества.

— Не понимаю!

— Говорит: «Мне откровение было. На сей девице почиет благодать. Я видела, как она молилась перед Пречистою, — над нею свет был. А потому, ежели ты, Галактион, не хочешь послушать моего первого совета и принять иноческий чин, то исполни второе материнское наставление: поими сию благодатную девицу себе в жены, и она тебя очистит благодатью своею от скверны бесовской, в коей тонешь, и от сетей адских, в коих увяз, и родит она тебе детей благозаконных и христианских».

— Скверна и сети — это я, конечно?.. Но ведь, сколько бы ни благодатна была эта богомольная девица, Галактиону Корсаков прямо сказал, что он не имеет права иметь детей!

— То по-докторскому, а то по-ихнему, монастырскому. «Маменька» в свою девицу настолько веруют, что — лишь бы, говорят, Галактион женился, а супруга благодатная и благословенная с него и падучку снимет. А за послушание сулит: «Как только вы из-под венца, весь мой капитал — тебе на руки...» Соблазн!

Я очень хорошо знала, что ради меня Галактион не прельстится «маменькиным» соблазном, равно как и сомнительными прелестями благодатного «полудурья». Но тем не менее меня смутило и раздосадовало недоумение, почему он эту историю скрыл и замолчал...

Невольно продумала о том бессонно бульшую часть ночи. И нехороши были мои думы. И неверным, и шатким, и безбудущным рисовалось мне мое положение в жизни даже вот на жалком уровне невенчанной супруги господина Шуплова-Волшупа, сомнительного какого-то дельца с исшрамленным лицом, заики и эпилептика... А уж скучно-то, скучно мне на этом уровне! Права Дросида: выдерживать на нем верность — это почти геройство даже и для «мужней жены», а не только для свободной женщины, как я!

«И что, в конце концов, дает мне этот мой, с позволения сказать, «гражданский брак» даже хотя бы только материально — в самом грубом смысле слова? Предстоящий визит судебного пристава, от которого если я хочу избавиться, должна ехать на загородное рандеву с белосахарным Мишею Фоколевым под надзором откровенно сводничающей нас Дросиды... Любопытно знать, заплатил ей Фоколев за усердие «подготовить почву» или она так старается по каким-либо собственным соображениям? Вечно ведь хитрит, лукавит, мечет петли, путает узлы. А — знает, зачем? Едва ли... Галактион верит, что в ней сидит бес. Да, бес путаницы и интриги! Может быть, подкуплена она Мишей Фоколевым, а может быть, и по личному почину, из любви к искусству, так сказать, искренно служа бесу путаницы, тянет также и меня ему в подданство? Не разберу я эту женщину: то ли она мне верная слуга и надежный друг, как показывает — который год — словом и делом? То ли однажды вдруг внезапно выкажет себя самым злющим моим врагом и наглумится над моим доверием, против которого столько раз предостерегал меня Галактион?

Что же? Доставить разве удовольствие Дросиде и ее бесу?.. А может быть, и самой себе? И уж наверное белосахарному Мишке?.. Ха-ха-ха! Где-то читала: «Это доставляет мне так мало труда, а ему так много удовольствия...» Спутаться, что ли?.. Собственно говоря... Если оставить без внимания праздные требования верности не существующей любви, то... почему бы нет?.. Уже дважды ведь нарушила эту верность без малейших затем угрызений совести... «Грех — до порога»... «Скушала, рот обтерла и говорит: я ничего худого не сделала...»

Скверно, что замешались сюда эти проклятые пятьсот рублей... Ах, с какою бы радостью я отказалась от них, не будь они мне совершенно необходимы! Вычеркнуть сделку о пятистах рублях, и тогда, действительно, только «забавка», как говорит Дросида...

Почему нет?.. Она права: мужчина... смешной немножко, но в своем роде красивый, приятный... Не Беляев, о нет, куда же ему до Беляева! Но, пожалуй, выстоит против Олега... Тот ведь, собственно, даже еще и не мужчина, но скороспелый мальчишка... А уж по сравнению с моим бедным исковерканным Галактионом белосахарный друг его (какое все-таки свинское предательство ваша, господа, мужская дружба, когда вам баба головы мутит!) — перед Галактионом Миша прямо рафинадный Антиной!.. Эта поганка, тетенька его, особа с опытом и вкусом, знала, какого племянничка себе приспособить... Вот тоже этой подлой твари насолить и водрузить рога над ее толстой мордой — перспектива не без злой приятности...

Ха-ха-ха! «Забавка»!.. Как, бишь, это Беляев мне сулил? Да! «Любопытство к разнообразию мужчины...» Ну, что же, господин пророк? Должно быть, пришло мое время проходить курс мужского разнообразия... Смеялись, что вы — мой первый любовник, а вот как я уже преуспеваю: Олег был второй, а послезавтра в воскресенье в Царицыне — захочу, так будет третий... А захочу ли? Ох-ох-ох! Кажется, захочу...»

Может быть, и не захотела бы, и остался бы мой ночной бред бредом. Да поутру, едва встала, — звонок, и в самом деле судебный пристав с портфелем... Ну я в слезы... Поплакала, пококетничала, выпросила, чтобы отсрочил получение без описи до понедельника ввечеру... Когда ушел, сама заторопила Дросиду к Фоколеву — сказать, что на Царицыно завтра согласна...

Маевку провели мы столь невинно, что — хоть в хрестоматию для детей. Все по программе: прогулка на Золотой сноп, чаепитие на Миловиде, катанье в лодке и на «лыжах», прогулка за озером в лесу, обед в курзале, партия в кегли — впервые играла, и очень мне понравилось. Только и тут — что ни брошу шар, то — впустую либо на себя. А Фоколев бросит: девятка вокруг короля — высший номер! Играл красиво. Затем, поди, и затеял, чтобы щегольнуть предо мною своим мастерством и мускулатурою. Да, малый был дюжий и не-

дурно сложен, хотя любвеобильная тетенька немножко перекормила его пирогами и сдобным печеньем: слишком много мяса на костях — для парня тридцати лет.

День был очаровательно красивый. Царицыно — прелестное, поэтическое убежище. Я давно не бывала «на лоне природы» и с отвычки немножко раскисла от воздуха, ходьбы, озерной неги, — впала в сентиментальное настроение. Фоколев, желая блеснуть образованностью, вздумал вспоминать из «писателя господина Тургенева», как в этих самых местах, где мы теперь прогуливались, Инсаров с Еленою...

— Ваша тезка, Елена Венедиктовна!

Тезка-то тезка, только эта тезка не за пятьсот рублей здесь прогуливалась!

Дросида не отставала от нас ни на шаг, следя глазами ревнивого дракона. Она заранее и просила, и молила, и требовала от меня, чтобы я была с Фоколевым на строжайшей выдержке, покуда он с нею не «рассчитается». Я уверена, что, позволь себе Фоколев какую-нибудь вольность со мною, она бы его без церемоний за фалды: нет, мол, батюшка! Сперва денежки на бочку: знаем мы вас, московское жулье!

Но белосахарный молодец никаких вольностей себе не позволял, был деликатен, как герой из французского бульварного романа, и, заметно, очень робел сделанного им приобретения моей великолепной особы. И млел, и вожделел, и трусил.

После обеда в курзале Дросида шепнула мне, чтобы я на минутку вышла в уборную. Вышла. Возвращаюсь: у Дросиды лицо сияющее, белосахарный лик чернобрового Миши затенен некоторой коммерческой грустью... Рассчитались!

Деликатничал, рыцарствовал, просвещенность свою Миша продолжал выказывать до Москвы. Но с вокзала повез нас — уже достаточно бесцеремонным приглашением без отказа — ужинать в гостиницу Саврасенкова на Тверском бульваре. Ехали я с ним, Дросида — одна — сзади. Уже на извозчике в закрытой пролетке осмелел и дал такую

волю губам и рукам, что — ну, думаю, этот за свои денежки намерен вести себя хозяином!

В гостинице — лучший номер, и все-таки свинарня. Ели, пили. Дросида заснула или притворилась заснувшею на диване, за столом. Мы перешли за перегородку…

Проснулась утром — не сразу сообразила, где нахожусь. Его уже нету, исчез. Дросида за перегородкой гремит чашками: чайничает. Заглядывает ко мне.

— Вставайте попроворнее, одиннадцатый час. Домой время. Чайку прикажете?

Огляделась я: брр… яма!

— Нет, ужо дома...

Одеваюсь, а в уме — тошно: «Ну, Лили, не знаю, этот твой грех — до порога ли... Покушала, рот обтираю, а — «я ничего худого не сделала» — что-то не говорится...»

А Дросида еще и хвастает:

— Уж так-то ли счастлив, так доволен... Мне на радостях четвертной билетик подарил...

Молчу и — только бы поскорее уйти! Уже не то что «смрад моих пороков отягчает меня», а сдается мне, что смрад всех пороков, годами здесь справлявших свое торжество, лезет в меня из каждого цветка на замасленных и прокуренных обоях, из каждой здешней пылинки, пляшущей в солнечном луче... К зеркалу подошла — шляпу приколоть: исписано женскими именами и похабными словами… Ах! Поганы этакие местечки ночью, но уж днем! Днем!..

Совсем на уходе Дросида спохватилась:

— Погодите-ка... А под подушку вы заглянули?

— Нет... зачем?

— Как же так? Нет, вы загляните, непременно надо — это уж такой порядок, чтобы под подушку заглянуть...

Заглянула: аккуратно сложены, подсунуты три новенькие двадцатипятирублевые бумажки... На булавки!.. На «мыльце и душки»!

Как варом меня обварило! Вот когда я — впервые и навсегда — вполне почувствовала, что я уже нисколько ни Лили Сайдакова, ни даже «Мамзель с фермуаром», ни даже шупловская «содержанка», но просто — заурядная проститутка...

А Дросида посмеивается:

— Это он, выходит, барышня, сотню разменял: четвертную — мне, три — вам... расчетистый!

Я — р-раз, бумажки — пополам и на пол швырнула!

Дросида ахнула, подбирает, бранится:

— Зачем же рвать? Зачем бросать? Не хотите взять себе, я возьму... Хорошо, что не в клочки: склеить можно, в банке обменить...

А во мне дьявол! Дьявол!

И говорит-рычит этот дьявол из меня такие слова:

— Разорвала и бросила не потому, что взять не хочу, а — свези ты эти клочки ему, рафинадному идиоту, и скажи, что он, скотина, не знает, с кем имеет дело: «Мамзели с фермуаром» меньше двух сот под подушку не кладут...

Дросида и рот разинула. Воображала мне уроки давать, а я... вот так ученичка! Превзошла!

Все было скверно, все отвратительно, но, кажется, хуже всего было уходить из саврасенковской клоаки — грязными, закопченными коридорами с вонью ватерклозетов, мимо слуг с каторжными рожами, которые, когда мимо идешь, будто тебя не видят, а на самом деле уже высмотрели в тебе каждую примету, каждую складочку, каждый бантик, каждую пуговку на перчатках, ботинках — и запоминают на всякий случай: «Блядского полку прибыло! Новенькая! Бывайте почаще — торите дорожку! Не забывайте нас, а мы вас не забудем! Узнаем в случае чего!»

Грязный, вонючий коридор. Грязная, вонючая черная лестница. Грязный, вонючий извозчичий двор...

Дросида самодовольно хвалится:

— Сейчас мы — проходными дворами — на Страстную площадь, и — чисты!.. Мишка вчера страх недоволен был,

что я увязалась вместе, а как бы вы без меня выбрались, чтобы мило, гладко, благопристойно? Выскочили бы бульварным подъездом супротив Пушкина прямо на тротуар, да, глядь, и как раз на знакомого либо на сыщика, который вас доследит до дома и возьмет в подозрение напредки... Это, сударыня моя, надо знать!

Дома я напилась чаю, вымылась с головы до ног и легла спать. А Дросида куда-то исчезла.

Выспалась я. Обоняю себя и нюхом, и духом: тело усталое немножко, а ничего — смрад пороков как будто отстал... Является Дросида. Ликующая, кладет предо мною две радужные.

— Молодчина вы, барышня! Я ему, дураку, такого пфеферу задала... Уж он извинялся, извинялся... Я, говорит, не знал, не сообразил; к тому же, говорит, капиталы мои сейчас маленько в тонкости, после вчерашних трат придется мне большую экономию соблюдать на долгое время, да еще надо придумать, как я отчитаюсь в них от тетеньки... И разорванных бумажек назад не принял. «Сохраните, — говорит, — на память о моей глупой ошибке — любой банк обменит!..» Джентльмена из себя изображает... Хи-хи-хи!

Удовлетворили судебного пристава. Полтораста взяла Дросида — в счет хозяйственных долгов. С двумястами я поехала вечером в Петровский парк к знакомой еврейке, которая держала рулетку... И представьте — выиграла! Тысячу рублей привезла домой. Дросидин дьявол принял жертву: в награду за продажность счастье послал.

Завтра — опять маленькая удача, послезавтра — опять... Ну, как же тут было не процвести «греху — до порога»?

XLIX

— Какой-то лукавый наблюдатель сказал злую истину, что среди замужних женщин легко найти множество таких, которые никогда не имели любовника, но трудно — такую,

которая, однажды имев любовника, затем не имела бы других. А знаете, почему?

— Вероятно, потому, что, как Байрон утверждал, нет женщины, которая не пожелала бы разменять пятидесятилетнего генерала на двух двадцатипятилетних корнетов?

— Нет, это шутка. И несправедливая; от молодых мужей заводят любовников не реже, чем от старых. А серьезно?

— А серьезно — надо спросить о том праматерь Еву, но она умерла, и райского Змия, но он больше не разговаривает.

— А! Вы так?! Ну, ежели вы анекдотом, то и я вам — анекдот. Слушайте. Какой-то знаменитый римлянин побранился с другим знаменитым римлянином, и тот его обругал, будто у него изо рта скверно пахнет. Знаменитый римлянин смутился, спрашивает прочих тут бывших римлян: «Правду ли говорит этот мерзавец?..» Римляне подтверждают: «Да, знаменитый римлянин, мы очень тебя уважаем, но с сожалением должны признать, что враг твой прав: ты не благоухаешь!..» Знаменитый римлянин огорчился и, придя домой, устроил сцену своей жене, добродетельной матроне, зачем она никогда не упреждала его, что он имеет такой скверный недостаток. А добродетельная матрона возражает: «А откуда же мне знать, что это недостаток? Я думала: так надо». — «Как, дура ты этакая? Что же у тебя, носа, что ли, нет?» — «Нет, нос у меня есть — и длинный, римский, с горбинкой. И — что ты пахнешь очень неаппетитно, это я знаю со дня нашей свадьбы. Но, так как я, будучи добродетельною матроною, никогда не обоняла дыхания ни одного другого мужчины, кроме тебя, то была уверена, что все мужчины так пахнут...» Слыхали?

— Да, это — об адмирале Дуилии, который выиграл первую римскую морскую кампанию...

— А как вы думаете: у своей добродетельной матроны этот ваш Дуилий или Виргилий, Эмилий, Трефилий — своим объяснением насчет запахов — выиграл кампанию или про-

играл?.. Я так полагаю, что добродетельная матрона, возгоревшись любопытством, как же это «хорошо пахнут» другие мужские дыхания, очень вскоре украсила голову Дуилия предлинными рогами. А на Дуилия надулась на всю жизнь: «Связал же, мол, меня черт с вонючей мордой! Никогда ему не прощу, что столько времени морочил меня, дурочку, — принимала его недостатки за достоинства!»

Лукаво посмеиваясь, Елена Венедиктовна попивала винцо и с хитро прищуренными глазами спрашивала:

— Скажите-ка, «мужчина», по-вашему, какая часть речи?

— Да как будто по всем грамматикам имя существительное.

— По мужским грамматикам. В «существительное» мужчины из гордости самозванством себя произвели. А по нашей, женской, — существительное-то «женщина», а «мужчина» к ней прилагательное. Оно, впрочем, и по Писанию так следует. Как о браке-то сказано? «Оставит человек отца и матерь своих и прилепится к жене своей». Видите: какое же мужчина существительное, если сам по себе существовать не может, а либо к отцу-матери прилеплен, либо, от них отлепившись, к жене?.. Вы что смеетесь?

— Да Митрофанушка Простаков тоже вроде вас рассуждал. «Дверь? Котора дверь?» — «Да хоть эта?» — «Эта прилагательна». — «Почему?!» — «Потому что она к притолоке приложена, а вон та, которая в сенях не привешена стоит, та еще пока существительна...»

— А я вот вам уши надеру, чтобы вы Митрофанушкой не ругались!.. Ну-с, а чем прилагательное главным образом отличается от существительного? Не отвечайте, сама отвечу на пять! Тем, что изменяется по степеням сравнения. Положительная степень, скажем, «муж» — церковный, гражданский, все равно, — *один* муж. Этой положительной степенью спокойно довольствовалась добродетельная матрона по крайней мере, пока не узнала, что у ее знаменитого римлянина вонючая морда. Даль-

ше положительной степени не идут миллионы женщин, что делает честь им, славу их полу и удовольствие их мужьям. Но в жизнь других женских миллионов стучится и проникает «мужчина» в форме степени сравнительной: «первый любовник». Ну и, поскольку положительная степень положительна, то есть определенна и недвижна, настолько сравнительная сравнительна, то есть пытлива и искательна к отличкам. А потому по любопытству нашему женскому ужасно способна к распространению... Вот почему одномужница может прожить век, не имея ни одного любовника, но, если у «мужней жены» был один любовник, то будет и другой, третий, четвертый...

— А не кажется вам, Елена Венедиктовна, что это уже не сравнительная, а превосходная степень?

— Что вы! Что вы! — засмеялась, замахала руками она. — Мужчина в превосходной степени — это ужас... вожделение какой-нибудь Мессалины, Семирамиды, Лукреции Борджиа, Екатерины Великой. Это болезнь.

— Не все же цариц и принцесс. Болеют ею и обыкновенные смертные.

— Так их надо к Корсакову, Борку, к врачам нервных болезней. Нет, если женщина здорова и нормальна, то мужчину в превосходной степени она узнает только по принуждению — в проституции.

— А вы не допускаете существования прирожденных проституток?

— Это как итальянец-то сочинил... как бишь его?

— Ломброзо. И не один он, за ним целая школа.

— Может быть. Я не ученая, спорить не могу. А что-то не встречала. Распутных до невыносимости — да, знавала. Если между «порядочными женщинами» есть распутные, как не быть в проституции? Если на тронах водятся больные Мессалины и Екатерины, как не быть больным в бардаках? Но, чтобы, если это не болезнь, было прирожденное — не верю. Потому что никогда я не видала такой проститутки,

чтобы она свой промысел любила и уважала и не хотела бы из него уйти — хоть бы в мечте. Нет, прирожденных проституток, которые так к тому предназначены своею звездою еще в материнской утробе, я отрицаю. Это все подлецы мужчины выдумали, себе в извинение, что легко губят нашу сестру. А вот в привычную проститутку верю очень и знала таких многое множество. Но прирожденность тут ни при чем. А просто принуждение женщины к мужчине в превосходной степени развивает в ней привычку к физиологическому раздражению, и привычка легко может сделаться второю натурою. Оттого по большей части так неудачны опыты «спасения падших». Молоденькую, на первом-втором году, повернуть можно, а позже мудрено. Только тут не папа с мамой виноваты, а господа мужчины, которые ее истрепали в превосходной степени. Это все равно что мне бы сейчас сказали: «Елена, не опрокидывай в себя десяти рюмок коньяку в вечер, довольно с тебя одной...»Довольно-то оно, может быть, и довольно, да — подите отвыкните-ка! Так и там.

Нет, для нас, заурядных грешниц и греховодниц, достаточно и сравнительной степени. Но, знаете, и на ней, как напьешься «блаженства и муки» с грязью пополам до отравы, то больше этот нектар любовный в рот не идет. И рада ты радехонька, и счастье тебе из счастий, если Бог пожалеет тебя, пошлет навстречу случай — возвратиться на степень положительную... Вот — как меня Он пожалел: послал мне моего Черненького... Спас ведь, истинно спас!.. Что смотрите недоверчивыми глазами? Думаете: плохое от него спасение, коли он — удалая голова, разбойником назвать много, а тать — в самую стать? Эх, тут у нас на Волге есть пословица: «Хоть вор, да мой, — так и жалко!»

— Нет, я не о нем сейчас, а о вас...

— Что плохо мое спасение — будучи хозяйкой хора в пьяном кабаке на «Песках»? А вот — встретили бы вы меня десять лет тому назад, до Черненького-то, да видели бы, чем

я тогда была, так теперь лучше поняли бы... И падение, и спасение тоже, друг мой, — позвольте уж так назвать, — имеют свои степени сравнения: по падению, знаете, и спасение. Ежели, к примеру, человек в помойной яме тонул, да вытащили, — то не в гостиную же его нести, чтобы переодевать, обмывать, чистить... Когда Черненький меня зазнал, я, без церемоний вам сказать, была расхожей девкой, гуляла по книжке, — значит, эту вашу превосходную-то степень по принуждению тоже испытала превосходно! И был у меня «кот»-мерзавец, Васька Шилохвостов, хулиган, который меня обирал, ненавистный, и дул, как сидорову козу. И была я — в Питере тогда шлялась, — малою-малою черточкою отделена от конечной бездны, чтобы, значит, еще шаг — и на Сенной... Начни-ка меня в ту пору «спасать» кто хороший-то, не говорю уже, из любовников, а хотя бы брат Павел Венедиктович (разыскивал он меня в ту пору, да, Бог миловал, не нашел), — пожалуй, не то что меня не спас, а еще и сам моею вонью провонял бы... А вор спас... Трем мужчинам я обязана тем, что из глубины помойки выкарабкалась на ее краешек. Двое были из «порядочных», а третий — Черненький. И он-то больше всех сделал, а без него, пожалуй, и те ничего не успели бы: так крепко увязла... Но об этом, подождите, моя речь будет впереди...

Пожалуй, что так уж совсем в проститутки записать себя, как я, вспылив, поторопилась после Мишки Фоколева, было немножко рано. Погорячилась с непривычки — натеатральничала сгоряча.

Для того чтобы занять при мне место второго содержателя, белосахарный Миша был и беден, и скуп. Но он мне нравился физически, а в средствах я в ту осень и зиму не была стеснена. Так что взяла да и содержала его при себе, уже без расчета на его кошелек. Иной раз, изредка, когда от проигрыша оплошка в деньгах, скажешь ему:

— Мишка, я на мели, раскошеливайся, давай сотню.

Даст, хоть сперва и поторгуется, нельзя ли пятьдесят. А то пошлешь к нему Дросиду. Этого он, однако, не любил, потому что Дросида и для меня возьмет и для себя отщипнет. Кроме того, ему нравилось сохранять иллюзию романа par amour*, а Дросида уж очень грубо и прямо ставила:

— Живешь с женщиной — плати!

Человек он, как все полуобразованные и недовоспитанные люди, был двойной. Внешнего лоска или «галантерейности» в нем было гораздо больше, чем в его друге Галактионе. Однако Галактиона я все-таки решилась однажды показать в обществе Эллы Левенстьерн, а Мишу Фоколева не повезла бы. Уж очень ярко лежала на нем профессиональная печать. Чем учтивее и манернее был, тем больше казалось, что он сию минуту раскинет перед вами на столе, изящно и округленно, кусок материи и с деликатнейшим красноречием начнет ее выхвалять, а вам доказывать, что вы берете ее чуть не даром. Либо достанет из кармана сантиметр и столько же изящно и округленно обмеряет вас, уверяя с тысячею сладких комплиментов, что подобной фигуры не было и у княжны Г., на которую «мы шили приданое прошлою весною». Либо, глядя на ваши часы, браслет, брошь, не удержится, брякнет:

— Оценка двести, выдача сто двадцать пять. Могу вам предложить за ту же цену вещь новейшего фасона и даже в знак особо высокого почитания с уступкою пяти процентов.

Профессиональны были и руки его — красивой формы, белые, полные, с длинными линиями жизни и удачи на ладонях, — не то что у бедного Галактиона с его трагическими обрывами! — с чуть розовыми припухлостями Венериных бугорков, с пальцами, немножко смахивавшими на ливерные сосиски, обросшие розовыми лощеными ногтями. Я любила его руки. Они мне еще в Царицыне понравились. В них бывало приятно чувствовать себя. Да и весь он был прият-

---

* По любви (*фр.*).

ный. Теплый, чистый, во всем опрятный — хорошее мыло, приличные духи. Хотя порою мне и сдавалось, что я обнимаю что-то среднее между сахарною головою и сдобным пасхальным куличом с изюмом.

Был не глуп, да и не умен. Довольно много читал — конечно, все беллетристику — и даже запоминал (для разговора при случае, как в Царицыне — об Инсарове и Елене). Но, в сущности, книжек не понимал и не уважал, втайне думая, что они только «мода», без которой неудобно нынче, как без галстуха; но настоящего в книжках ничего нет и научиться из них для жизни ничему нельзя, потому что связи с жизнью они никакой не имеют, а все только — «из головы», «так». Тогда Толстой только что напечатал «Хозяина и работника». Все им увлекались. Заставила я Мишу прочитать.

— Ну, Миша, как?

— Да что же-с, Елена Венедиктовна? Этот хозяин, выходит, был совсем дурак: улегся на работника, со спины-то, значит, ему зябко — понятное дело, замерз. Ему бы под работника залезть, так и уцелел бы.

Эгоист он был совершеннейший, искреннейший, наивный. Хотя Дросида и уверяла, будто для меня он рад «хоть в разор разориться», но я убеждена, что в его «любви» ко мне играло немалую роль то условие, что, исключая первое свидание, когда он «шикнул» расходом, я ему почти ничего не стоила. За восемь месяцев наших отношений едва ли он истратил на меня столько же сот рублей. Щекотливое положение тайного фаворитного любовника содержанки его ближайшего друга Мишу нисколько не смущало. «Примазался на арапа» к выигрышной червонной даме Галактиона Шуплова и чувствовал себя отлично. Галактион, который все чаще и чаще в разъездах, меня оплачивает, а Миша за него со мной спит. Разделение труда и капитала, знаете! И заметьте это — в сочетании с беспредельным уважением к Галактиону.

— Если, Елена Венедиктовна, его не уничтожит падучка, увидите: миллионер будет. Держитесь, ох, держитесь за него. Все мы за него должны держаться: удачник и голова!

— А вот, как этот удачник и голова прознает, что ты добрые советы мне даешь, а, чуть он на вокзал да в вагон, ты меня — к Саврасенкову либо к Виноградову, что тогда будет?

— От этого, Елена Венедиктовна, Боже сохрани! По всей искренности скажу вам: обомру. Я его с ранних лет знаю: на ярость он туг, но в ярости — человек ужасный! Боюсь и храбриться не желаю, что боюсь!

— Ах ты, Сахар Медович! Смерти боишься, а в рай хочется? Смотри, в ад головой не попади!

Большой страх питал он и к тетеньке своей Матрене Матвеевне, но совсем другого рода:

— Вызлится ревнивая сатана — может разорить!

Связи своей с нею он не скрывал. По его словам, она развратила его еще пятнадцатилетним мальчишкою, да вот с тех пор и держит под башмаком. Содержания от нее он никогда никакого не получал, не получает и получать не намерен — это не правда, если что люди врут. Но в их общем ссудном деле на ее стороне значительный перевес капитала, а когда Галактион выделился («Ах, напрасно, Елена Венедиктовна, вы воспрепятствовали ему — к невыгоде вашей! Совершенно напрасно!»), то Фоколев для расширения дела уговорил тетеньку на целый ряд новых рискованных кредитов. Она деньги дала, но — под его векселя. Их он по частой надобности в оборотном капитале никак не успевает выкупить и должен то и дело переписывать. При этом случае я узнала от Фоколева, что Беляев по своим десяти тысячам рассчитался аккуратно в срок. Мне было очень приятно услышать это.

Странно, право! К Беляеву я эту толстуху ревновала до бешеного озлобления за его единственный, как он назвал, «гротеск», а к Мише Фоколеву нисколько, хотя часто бывала увере-

на, что он ко мне — прямо от нее. Может быть, потому, что уж очень он ненавидел эту свою командиршу-любовницу. Я дорого дала бы за то, чтобы подсмотреть какое-нибудь их свидание. Если Матрена Матвеевна не замечала истинных чувств, которые клубятся по ее адресу в сердце подневольного любовника, то этот белосахарный с глазами-коринками, с зубками-миндалями Миша должен был быть гением притворства и выдержки. Потому что баба-то она ведь далеко не глупая, не глуха, не слепа и в чуткости ей не отказала природа.

— Я из-за нее по-немецки стал учиться, — рассказывал однажды Миша.

— Зачем? Разве она понимает?

— То-то и есть, что не понимает. По-французски, кружась около барыни, кое-что смыслит, а немецкого языка Элла Федоровна не любит, он для Матренищи, значит, и закрыт — китайская грамота!

— Так на что же?

— На тот, Елена Венедиктовна, предмет, чтобы иной раз душу от нее отвести, в глаза ее ругать, а она бы не понимала.

— Как будто она по тону не услышит?

— Так ведь я — со сноровкой-с. Возьму ее за обе ручищи нежненько, в глазки ей гляжу, как баран влюбленный, устами улыбаюсь, ласковее чего невозможно, а языком лепечу слаще — из оперы — Фауста к Маргарите: «Ах ты, гезиндель! Ах ты, хуре! Ах ты, хюндин! Ах ты, тейфельсдрек! Ах ты, хексе!..»* Она ухмыляется: «Что ты, Мишенька, бормочешь? Мне невдомек». — «А это я, тетя Мотя, теперь, обучаясь по-немецки, выучил нарочно для вас все любовные и нежные слова...» Ну она, стерва — извините на слове, — и тает...

Вот ведь какой предатель!

* «Ах ты, шваль! Ах ты, шлюха! Ах ты сука! Ах ты, чертов дракон! Ах ты, клюшка!..» (*нем.*)

Он меня тоже не ревновал. Ни к Галактиону, ни — вообще. Но не потому, как Галактион. Тот не ревновал потому, что уж очень твердо мне верил. А этот, скорее, потому, что не верил. То есть ему даже странно было бы: как это я, вращаясь в обществе офицеров, адвокатов, актеров, игроков, спортсменов, финансистов, зачем-то соблюдала бы себя в целомудрии от столь соблазнительных господ кавалеров! Что не из верности Галактиону, тому он имел слишком определенное доказательство. Что же — из верности ему, что ли? Да он того вовсе не требует и не ожидает...

Я думаю, что он обиделся бы и взревновал бы только в том случае, если бы заметил меня в романе с кем-либо, стоящим на одном уровне с ним или ниже его... Но — с Беляевым, Ратомским, Квятковским, Вентиловым, князем Д.?! Я уверена, что он был убежден, будто я любовница кого-нибудь из них, если не всех их, и только уж очень ловка и искусна прятать свои шашни с ними от него, подобно тому, как мы с ним ловко и искусно прячем наши шашни от Галактиона и Матрены Матвеевны... Уличи он меня в связи, например, с князем Д., то едва ли не был бы польщен совместительством...

Но никого, кроме него, у меня не было. Телом я была сыта, а духом моим в тот год владела не любовь, но игра. Если бы не Миша, то, может быть, атмосфера скаковых трибун и игорных домов, насыщенная флиртовою фамильярностью и спросом и предложением женской продажности, втянула бы и меня в какие-нибудь новые похождения. Но наличность тайного «домашнего», так сказать, любовника, еще не успевшего надоесть, покладистого, не требовательного и всегда чувственно отзывчивого, покуда страховала меня от увлечений. «Сравнительная степень» у меня была, а к превосходной я ни раньше, ни тогда, ни после не стремилась. Я женщина не без темперамента, но вовсе не ходячая Этна или Гекла какая-то, вечно пылающая ненасытимым жерлом. Таких я жалею, но и терпеть их не могу.

Двойной склад Миши резко обозначался в его обращении со мною. На людях нам не приходилось встречаться — было негде и незачем. Но даже при Дросиде, которой, казалось бы, чего уж было ему стесняться, невозможно было быть учтивее, деликатнее и, так сказать, чужее его. Да и наедине со мною, покуда встреча да разговоры, — «Елена Венедиктовна», «вы» (несмотря на то что я-то с ним обращалась на «ты»), почтительный взгляд, почтительный тон, отборно-цветистая речь, ни вольного жеста, ни вольного выражения. Благонравие — хоть прямо в «Хороший тон» Гоппе: помните, такая книжка была? Над нею ужасно смеялись в печати и обществе, а она расходилась издание за изданием, потому что каждый приказчик, каждый конторщик, каждый писарь считал необходимым ее купить и изучить... Я уверена, что, если бы нас с Мишей видел кто посторонний, ему и в голову не пришло бы, что мы любовники. Подумал бы, что мы только что познакомились и впервые испытываем друг дружку «светским» обращением. Днем мы видались очень редко и сдержанно — либо наскоро, по делу («Дай сто!» — «Получите пятьдесят!»), либо, еще скорее, условиться о ночной встрече. К себе я принимала его редко. Он побаивался моей квартиры, может быть, не без основания: опасаясь, что его тетенька по хорошо известной ему ненависти ко мне подговорила когонибудь во дворе следить, кто у меня и как бывает. Дросиде, несмотря на то что ей он обязан был своим у меня «счастьем», Миша тоже плохо доверял.

— При всей к ней признательности, — говорил он, — держу с нею ухо востро-с. Конечно, она по своему политическому поведению оказалась в общем с нами счете, и предать нас для нее значит прежде всего выдать самое себя. Однако не мешает помнить-с, что она Галактиону Артемьевичу родная тетка-с и кровь много значит. Опять же, Елена Венедиктовна, эта Дросида Семеновна — какой человек? Довольно мне известна-с. Теперь я каждый раз, что между нами встреча-с, ей — красненькую в руку. А предложи ей кто: «Вот тебе двадцать пять, пока-

жи в замочную скважину, чем твоя барышня с Михайлом Фоколевым бывают заняты, запершись с глазу на глаз!» — возьмет-с и покажет. И в грех себе не поставит. Да-с.

Чаще всего мы сходились как бы случайною встречею, где-нибудь в переулке, не очень бойком да и не слишком людном, а затем — на первого извозчика и в какие-нибудь темненькие номера. «Эрмитаж» Фоколев решительно отрицал.

— Пожалуйте, Елена Венедиктовна, — объяснял он с наивностью, — там за номер надо десять рублей отдать... Грабеж!.. Стоить ли того дело?.. А у Саврасенкова с чистою переменою белья-с — три, и белье, уж позвольте мне судить, как специалисту, безукоризненное-с... Лучше же мы на остальные семь рублей винца выпьем, конфеток пожуем...

Пил Миша очень мало, почти что только пригубливал, но сластена был ужасный. Как только его белые зубки выдерживали без порчи кондитерскую сласть, грызть которую он не заставлял их, кажется, только, пока спал.

Но, едва мы оставались уже наверное одни в уверенно оплаченных за секрет четырех стенах и надежно был повернут ключ в замке номера, «двойной» Миша в одно мгновение ока преображался в совсем иного человека. Сдержанный дневной Миша испарялся куда-то бесследно, а вместо него будто из земли вырастал Миша ночной, бесцеремонно распущенный в полное свое удовольствие, веселый сладострастник и, хотя забавный, но, по правде сказать, хам. Тут уже не «Елена Венедиктовна, вы», а «Лиляша», «Лилька», «Лиляшка», «Что нос повесила? Шевелись!», «Эх ты, белотелая, белогрудая, медовые твои губки!..». Все части тела, все действия называются настоящими именами. Полная физиологическая нестесняемость, словно мы тридцать лет женаты и от совместного спанья нам уже ничто друг в дружке не может быть удивительно и конфузно. Ласки — веселая драка: щекотка, хлопки, шлепки, щипки... «Мишка, не кусайся, больно!» — «Хи-хи-

хи, затем и кусают, чтобы было больно!» — «Дурак, след будет!» — «Хи-хи-хи, до свадьбы заживет!..»

Но, чуть часы показали, что время расходиться, вся ночная дурь и блажь с него, как с гуся вода. Вскочил, в пять минут готов на уход, вышел в коридор рассчитаться по счету — возвращается уже дневным Мишей: «Елена Венедиктовна», «вы» и обращение, как с принцессой...

Курьезный малый! Сперва я думала, что он только лицемер великий. Но нет, не только. Притворщик-то он, конечно, был хороший, раз умел и продувную свою тетеньку водить за нос, и Галактиону честно смотреть в глаза поутру после ночи, проведенной со мною. Однако помимо лицемерия, сдается, ему самому пред собою самим очень нравилось играть ролю: «Вот, дескать, Мишка, хоть ты и Мишка, а, как захочешь да себя понудишь, так фу ты, ну ты, черт возьми, — прямо-таки джентльмен, принц Уэльский!..»

Тогда ведь этим принцем все мужчины бредили и старались ему подражать. Как же! Всю Европу обучил — впервые после Адама — носить штаны со складкой!

* * *

Так благополучно проваландались мы, греховодники, восемь месяцев.

Отношения мои с Галактионом тем временем все шли на порчу. Не потому, чтобы он что-нибудь заметил и ревновал, а потому, что опостылел он мне своей воркотней, зачем играю. Тем досаднее было, что я в ту зиму играла хотя не крупно, но довольно счастливо. И, вы знаете, все игроки суеверны, ловят счастливые и несчастные приметы. Вышло несколько таких злополучных совпадений, что как я с Галактионом — проигрываю; как с Мишкой — везет. Маскотту нашла!

Да — как узнать, да — как найти,
Что может счастье принести,

Чтоб осенить нас благодатно,
Чтоб жить прия-а-а-атно!..

А Галактиону однажды, взбесившись, так и отрезала начисто:

— Надоел ты мне со своими нотациями! Не брошу играть. А если хочешь знать, почему, то знай: желаю быть независимой, волю свою себе возвратить. Наиграю денег, отдам тебе все, что должна, и, значит, больше я не содержанка, а вольная птица... куда хочу, туда лечу!.. Улетать от тебя я вовсе не думаю — ты не воображай и не зеленей лицом понапрасну, — но и зависеть от тебя в каждом гроше и слушать от тебя попреки, что я транжирю, мотаю, по ветру пускаю, тоже не намерена! Проверь, если хочешь, все мои счета, спроси их у Дросиды: не на твои я играю, а на свои! Чего же ты тут суешься? Я из-за тебя и с роднею, и с друзьями, и со всем светом-обществом разошлась... Что же прикажете мне только в то жить, чтобы тебе, ненаглядному, в глаза глядеть? Так мне не пятнадцать лет, а скоро тридцать! Должна же я какое-нибудь свое удовольствие иметь... Ты весь в делах, ты то и дело уезжаешь, ты всегда занят, у тебя всегда полно своих интересов, а я... пойми, наконец, что мне же скучно, Галя...

Дросида — напрасно боялся ее Миша Фоколев! — стояла за меня горою и совершенно изменила Галактиону. Благодаря ей я получила довольно острое оружие против него, потому что она была всегда осведомлена и меня осведомляла о его сношениях с «маменькой».

— Я слышала, мать Пиама тебя уже не постригает, но женить собралась? — язвила я.

— Есть немножко, Лили, — смутился он.

— Почему же ты не нашел нужным сообщить мне об этом?

— Зачем же я стал бы напрасно беспокоить тебя тем, чему не бывать?

— Почему же не бывать? Невеста-то, говорят, хоть куда? Видал ее?

— Видел однажды.

— Скажите! Уже, значит, и смотрины были, а я ничего не знаю! Что же? Красавица?

— Нет, далеко нет, но...

— Что — «но»?

— Замечательная девушка, Лили.

— Вот как? Поздравляю. Что же именно замечательного ты в ней заметил? Кстати: имя ее?

— Агриппина Сильверстовна.

— То есть Аграфена Селиверстовна. Слышно, что из аристократок. Продолжай о своей замечательной Аграфене. Сколько ей лет?

— Да уж не из молодых: двадцать четвертый.

— Это, конечно, очень деликатно — говорить так при женщине, которой скоро тридцать. С чего же это твоя замечательная Аграфена так засиделась?

— А ей и вовсе не была охота замуж идти. И теперь неохота.

— Однако за тебя идет?

— Это «маменька» на нее наседает, сбивает. А ей бы — в монастырь. Богу молиться. «Маменька» сказывала: по шести и больше часов выстаивает на коленах, земные поклоны бьет…

— Воображаю, какие мозоли у нее на коленах!.. Какие же это грехи она замаливает так усердно?

— Какие у нее могут быть грехи!.. Просто верует очень, Бога любит... Христова невеста!

— А тебя «маменька» Христу в соперники прочит? Лестно!

— Бог знает, что ты говоришь, Лили!

— Нет, что же? Везет тебе, Галя. Была у тебя жена — не то Мадонна, не то Психея. Немножко, говорят, кривобокая, но — по Сеньке шапка: ты тоже не совсем Купидон...

— Лили, я просил бы тебя оставить Лидию в покое...

— Оставляю. Умерла Психея-Мадонна, судьба посылает тебе в любовницы императрицу Елизавету Петровну. Начала немножко сдавать Елизавета Петровна, благочестивая «маменька» заботится подыскать на смену какую-то святую девственницу, которая, кроме всех прочих достоинств, еще, говорят, хороша против нервных болезней...

— Ах, Лили, когда ты сердита, до чего злой бывает у тебя язык!

— С чего ты взял? Я нисколько не сердита. Но, когда против меня ведут тайную интригу, не радоваться же мне.

— Так не я же, Лили.

— Однако молчал. Зачем молчал? Зачем допустил, чтобы я узнала от других?

Дросида все время осторожно, но последовательно вкладывала мне в мысли думку, что Галактион не надежен. Либо падучая его окончательно доведет и сделает не человеком, либо «маменька», влиянию которой он поддается все более и более, возобладает и оторвет-таки его от меня монастырем ли, женитьбою ли.

Против того, чтобы Галактион отошел от меня, я, собственно говоря, ничего не имела и даже была бы тому рада. Но как обеспечить себя на случай разрыва с ним материально? Что я не в состоянии существовать игрою, это я уже понимала! Двухлетний опыт показал мне, как фантастичны были планы моего «выкупа» на выигрышные деньги. Уйдет Галактион — не Мишка же Фоколев моим кормильцем-поильцем останется. У этого и возможностей, и щедрости — самое большее — на сто в месяц, а я проживаю пятьсот, да на столько же должаю. Как-никак, а надо подумывать о новых источниках дохода...

Каких? Да ведь ясно уже — что же себя обманывать? — определилась дорожка: продалась раз — продамся и другой... Надо теперь только покупателя выбрать, не торопясь, как было с Мишкою — из-под нависшей над головой угрозы исполнитель-

ного листа. Не случайного, а прочного, protecteur et solide*, каков вот достался хотя бы Зине Татаркиной... Дросида правильно говорит, что напрасно я «фыркала» на барышень Татаркиных: они устроились куда умнее меня, — и вот теперь после фырканья-то я не только должна и хочу, но *мечтаю* — им подражать. И боюсь: в состоянии ли я? Не пропустила ли возможность и время?

Потому что как-то раз к концу зимы в цветочном магазине Ноева встретила я Вентилова с двумя какими-то, ему же подобными пшютами. Только раскланялись: они входили, я выходила. Но, едва выйдя, заметила, что забыла муфточку на кадке азалий, возле которой стояла, пока торговалась с продавцом за букет для именинницы, одной из моих новых приятельниц и сомучениц по клубной игре. Вернулась, пшюты меня не заметили, и, стоя за азалиями, я имела удовольствие выслушать их разговор обо мне.

— Это так называемая мадам Волшуп? — интересуется пшют № 1.

— Она же «Мамзель с фермуаром»? — хихикает другой.

Вентилов подтвердил.

— Говорят, она этого Волшупа здорово чистит? Тысяч тридцать в год стоит ему?

— Ну где! — возражает Вентилов. — Разве половину, и то вряд ли.

— Однако! Все-таки!

— На такую цифру мог бы найти и посвежее. Товарец недурен, но уже подержанный. Сколько ей может быть?

— Позволь, — говорит Вентилов, — это можно сосчитать. Скандалу с фермуаром сейчас третий год. Элла Левенстьерн перестала ее принимать около того же времени. Загадке с младенцем беляевского производства пятый год. Волшупа она подцепила тоже лет пять тому назад. Если сообразим, что перед

---

* Покровитель, солидный и надежный (*фр.*).

тем она трепалась по Собранию лет пять и даже семь в добродетели, то... Да, меньше тридцати ей никак быть не может!.. Но, чтобы она была дорога для какого-нибудь Волшупа, я, извини, все-таки не соглашусь с тобой. Ты его видал?

— Имел даже несчастие быть в его лапах! Много он крови из меня выпил, прежде чем я выпутался после наследства от дяди Юрия...

— Тогда ты знаешь, что Волшуп — совершеннейший хам, которого нельзя пустить в сколько-нибудь порядочное общество. А «Безумная Элла» попробовала однажды да и закаялась. Анекдотический был вечер. Разговоров Москве досталo на неделю. А Лили, хотя теперь, после всех ее скандалов, деклассировалась, шатается по игорным притонам и вообще сделалась une demi-mondaine*, а все-таки хорошей фамилии, еще недавно была всюду принята... Нет, это ты напрасно, он не переплачивает! Напротив, скорее, она продешевила себя...

— Ну, знаешь, может быть, раньше, а сейчас — за тридцатилетний фрукт — едва ли найдется охотник дать дороже...

— Да, сейчас, конечно, ее время прошло, но пять лет тому назад, даже три, когда графиня Б. устроила ей эту глупую историю с фермуаром, она еще была презаманчивая на самый избалованный вкус...

Можете себе вообразить, в каком настроении приехала я домой, выслушав о себе этакую, можно сказать, отходную!

К зеркалу!

Оно меня мало-помалу успокоило. Час битый сидела пред ним — себя изучала. Неправда! Еще хороша! Ни морщинки, ни желтинки, кожа свежа, как яблоко, глаза молодые, блестят, не мажусь, не крашусь, своей белизны и румянца довольно... Вздор! Метрическое свидетельство и этакая светская летопись, как Вентилов, могут определять мою хронологию как им угодно, но в зеркале я вижу себя женщиною не старше двадцати шести лет.

* Дама полусвета (*фр.*).

И на том теперь намерена остановиться по крайней мере на три года, а там — видно будет, передвинуться вперед или еще подождать... Ведь метрического свидетельства никто с меня требовать не станет, а «лета се муа!»*, как острит старый циник, типограф-барин Иван Николаевич Кушнерев...

Но все-таки... предостережение!.. Первое предостережение!..

«Товар недурной, но уже подержанный...» Была заманчива на «самый избалованный вкус», а теперь, значит, только на не очень избалованный или вовсе не избалованный?

Выходит: если еще раз ловить судьбу за хвост, то надо спешить, ох, как спешить!

И, ох, какое же злое семя бросили мне в сердце слова Вентилова, что «продешевила» я себя Галактиону! Пошел дорогой товар в руки невежественного приобретателя за бесценок, а теперь, с годами, ущербилась его стоимость и мудрено ему опять наверстать свое и подняться в цене, чтобы не сказать, что вовсе невозможно. Разве это можно «забыть — просить, простить — забыть?..». Все злей и злей накипало мое сердце против Галактиона...

* * *

Пришла весна. Стоял погожий апрель.

Однажды, выйдя с Мишей Фоколевым часов около пяти утра при полном рассвете от Саврасенкова по бульварному подъезду и садясь на извозчика, я заметила на бульваре близко памятника Пушкина крупную женскую фигуру в черном, и показалось мне, будто это — Матрена Матвеевна. Я немедленно шепнула Мише. Он пришел в беспокойство. Но, осторожно оглянувшись с извозчика, никакой черной фигуры у пушкинского монумента уже не увидал: исчезла. А проехав еще немного, вздохнул легко и говорит:

* Государство — это я! (*фр.*)

— Фу! Напрасно испугали! Как же я глуп! Совсем забыл, что тетеньки никак не может быть в Москве: Элла Федоровна третьего дни отбыли к своей кузине в Ригу и тетеньку взяли с собою в сопровождение — будут назад не ранее как через неделю...

Тем не менее, приехав домой, я рассказала Дросиде про почудившийся мне призрак и просила ее навести справки, точно ли Матрены Матвеевны нет в Москве. Дросида принесла известия успокоительные: толстуха действительно уехала два дня тому назад вместе с барыней только не в Ригу, куда Элла Федоровна, а в Вязьму, к своей тетке.

Встреча Матрены Матвеевны с племянником по возвращении из Вязьмы прошла мирно, любовно и благодушно. Не могло оставаться сомнения в том, что почудившийся мне неделю тому назад черный двойник ревнивой толстухи был игрою моего воображения. Прошла еще неделя. Мир и тишина.

Галактиона в эти недели тоже не было в Москве. Какие-то поручения Иваницкого держали его в Харькове. Внезапно он приехал без предупреждения, остановился у меня, так как его квартира ремонтировалась, пробыл три дня и опять уехал. Порученные ему харьковские операции, он говорил, не ладились, и был тем ужасно расстроен. Жаловался, что в Харькове опять имел жестокий припадок, много говорил о смерти, о сумасшествии, о своей никчемности в жизни; вообще мрачен и тяжел был ужасно. Очень не нравились мне глаза его: все он как-то дико и остро приглядывался ко мне, и я каждую минуту ждала, что вот-вот он опять завопит что-нибудь вроде того, будто у меня волосы горят, и повалится... Однако нет, обошлось, слава Богу.

Когда наконец я, проводив его на вокзал, увидала его коверкающееся лицо в окне отходящего вагона, с сердца моего спал тяжелый камень. Свободно вздохнула до глубины легких, и боюсь, что на лице моем играла не грустная улыбка любовной разлуки, а веселая, радостная, освобожденная.

Он же смотрел на меня все также странно — дико и остро, пока поезд не прошел перрона. Я ушла с вокзала почти в уверенности, что теперь в вагоне с Галактионом уже непременно припадок... Ну ничего! Не со зверями едет — помогут!

По дороге с вокзала я заехала в Купеческий банк разменять чек, оставленный мне Галактионом. И черт хотел, чтобы у кассы я — здравствуйте! — столкнулась с Мишей Фоколевым, тоже получавшим по чьему-то чеку. Он сообщил мне, что и он сегодня провожал — только не на Курском, как я, а на Брестском вокзале — тетеньку Матрену Матвеевну: поехала на три дня в Одинцово гостить к приятельнице-попадье. Обрадовались мы такому совпадению моей и его свободы и решили его использовать. Как только Миша освободился от своих занятий по магазину и ссудной кассе, взяли мы коляску и поехали на Воробьевы горы. Отличный вечер провели. А потом — ко мне. Дросида угостила нас славным ужином. И заночевали.

От автора

Эту часть своей повести Едена Венедиктовна рассказывала у меня на террасе моей завыставочной дачки.

Вечер был теплый, августовский, но она что-то все подрагивала.

— Зябнете? — спрашиваю. — Хотите, перейдем в комнаты?

— Нет, не то... А, извините, нет ли у вас дома коньяку? А то... тут я до такой точки дошла в моей биографии, что без него мне трудно... Хоть и пятнадцать лет тому, а — что ни вспомню, ознобом пробирает, зубки о зубки начинают стучать...

Хватила она коньяку изрядный стакашек. Приободрилась и спрашивает:

— Скажите, вас били когда-нибудь?

— Вот так вопрос! То есть как это — били?

— Да обыкновенно, как бьют: тяжелым — по телу?

— Драться случалось, к сожалению, и в драке, конечно, не все я бил, попадало и мне…

— Нет, это что! Это не то! Драка — полюбовное дело: кто кого, и «хоть рыло в крови, да наша взяла!..». А я говорю про такое битье, что вас лупят по чем попало, без жалости, без устали, без соображения, а вы беззащитны, будто связаны, и... А! Да ну к черту!

Хлопнула еще.

— Нет, описываемого вами удовольствия не испытывал и испытать не надеюсь.

— Конечно, где же вам! Мужчинам вообще редко перепадают подобные трепки, а вы и в мужчинах-то вон какой слонище… дьявол ли вас скрутит!.. Поди, и мальчиком не давались сечься?

— Не случалось: родители были добры, не секли.

— Меня тоже не секли, — задумчиво возразила Елена Венедиктовна, — и, кажется, напрасно… Может быть, отдай я дань розге в детстве, не выросла бы такою дрянью, чтобы терпеть битье в тридцать лет… Ух, голубчик вы мой, Александр Валентинович, вы по своей мужской психологии даже и представить себе не в состоянии, что это такое — как нашу сестру, виноватую бабу, бьют…

— Видать видал…

— Что «видал»! Видали, так, поди, и заступались, отнимали... А когда никто не видит, никто не помешает, некому заступиться — отнять?.. Я вам вот что скажу. Ребенка долго мучить только сумасшедшие могут — в здравом уме, каков ни есть ненавистный злодей, щипнет, рванет, толкнет, пихнет, высечет больно, да и жаль, и совестно станет, бросит до следующего раза. Скотину жестоко бьют, так все же с опаскою, как бы не искалечить в негодность к работе. А женщину бьют, не считая, не думая: «Врешь, мол, вытерпишь! Живуча, бестия! А нука вот тебе, попробуй! А такое видала? А этак тебе нравится?..» Дитя под розгой плачет — и каменное сердце тронет.

Скотина под кнутом или палкою взревет — хозяин поймет: «Пробрало! Довольно!» А женщина плачет — «бабьи слезы вода!». Женщина воет — «бабьему вою не верь!..». «Чего ревешь? Ведь не шкуру с тебя я содрал!» — утешает мужик избитую до полусмерти бабу. Видите, мерило-то какое: когда бабе разрешается реветь резонно и убедительно — когда с нее, живой, шкуру дерут!.. Ну да это, как в наши дни поговорка была: «Немножко философии!» Оставим!

* * *

Хорошо-с... Утро. Слышу: Дросида в кухне дверью хлопнула, замком щелкнула — на рынок ушла. Взглянул Мишка на часы.

— Батюшки, проспал! Девятый час, к девяти надо в кассу, к десяти в магазин...

Живо вскочил, но как вскочил, так и сел на постель. И лицо у него — словно увидал привидение.

Глянула я: с нами сила святая! Привидение и есть! В двери — прислонился к притолоке — стоит… Галактион!

Но — какой!!! Этакого мелового лица… этаких глаз-гвоздей… ай, и не говорите!.. И не дергается, окаменел... И шрамы его, как по маске, красными шнурками расписаны... И — он же среднего роста был, а тут вытянуло его злобой: показался он мне со страстей, будто вырос на добрый аршин...

Шагнул… Взял Мишку за ворот, поднял, встряхнул, да так, как тот был в одной сорочке, и потащил его к двери… Мишка вдвое его толще и ростом выше, и сильнее, вероятно, но растерялся, в оцепенении, не сопротивляется, идет, как теля на поводу... Я тоже оцепенела, гляжу…

В двери — как тряхнет!.. Мишка брык на пол — на все четырки! А Галактион его — раз, два, три сапогом в голый зад, вышвырнул и дверь захлопнул.

И все — молча. Молча же собрал все Мишкины причиндалы и тоже побросал за дверь. Затем сел в кресло около постели, облокотился руками о колени, голову спрятал в ладо-

ни, сидит и молчит... Тишина мертвая, и с тишины мне пущий страх... А заговорить — язык не поворачивается, прилип к гортани — не смею... И как это все сталось, и откуда он взялся, когда я вчера сама проводила его в Харьков, — нисколько меня не занимает, а одна думка стучит в виски: «Убьет… убьет… вскачу-ка я да побегу...» Но, чуть я шевельнулась, как он меня срежет по скуле: так я и опрокинулась...

И принялся он меня бить! Но — как!.. Нет, знаете, я еще стаканчик опрокину: без того невозможно…

Словно, знаете, по тебе частый град идет — только уж именно вот, как считают, в кулак величиною… И откуда только у мужчин в зверстве такое проворство берется?! Так и сыплет, так и молотит — как ни вертись, что ни повернись, уже готово: попало по тому месту… Надо кричать, понимаю, да — чуть было я пискнула, как он зарычит, без слов, зверем… Ужас меня задавил: инстинктом взяла, что, ежели закричу, то, прежде чем дозовусь на помощь, мертва буду. Хочу жить — надо терпеть; пусть бьет — авось не забьет… А он колотит-молотит, словно я ему сноп на току или железо на наковальне… И верите ли, под побоями впала я в такое отупение, что уж и боли почти не чувствую, и только считаю машинально в уме, хотя, вернее, в безумии: раз, два, три… пять… десять… двенадцать… двадцать… Да еще чудится мне, будто в соседней комнате, куда Мишка-то вылетел, кто-то тихо-тихо смеется… И с того смеха мне и любопытно, и страшно, и горько: Господи, кому другому быть, неужели Дросида?.. И как-то, знаете, мысли в голове стали мешаться и затмеваться и глаза под лоб уходят…

И вдруг крик, визг: Дросида зеленее листа, глаза — плошки, вцепилась скелетными руками в Галактиона и тащит его за пиджак прочь, шипит:

— Сбесился ты? Каторжанином хочешь быть? Пошел! Пошел!

И как-то вертуном его, вертуном и выпроводила за дверь. Ко мне. Ахает что-то, руками всплескивает… А я — в обмороке не

в обмороке, потому что все вижу и слышу, но и не в чувстве. Потому что не доходит до меня — словно я не я, а кукла моя.

А к нам звонок... другой... третий. Сильные, торопит кто-то нетерпеливый...

Выругалась Дросида, бросила примочки, которыми меня обкладывала, побежала отворять... Минутку спустя вбежала вихрем, пробормотала мне что-то, схватила платок на голову и опять умчалась... Потом уж я узнала: приходил дворник сказать, что — пожалуйте, мол, — господин Щуплов, который только что от вас вышли, в Гагаринском переулке, не дойдя бульвара, упали в припадке и бьется...

Покуда Дросида с Галактионом возилась и отправила его с нашим дворником на квартиру, я все время оставалась одна. Лежу — боль начала входить в тело, ни рукой, ни ногой шевельнуть не могу: все отшиблено, всюду болит... Лежу, а хихиканье это злорадное, которое мне прежде чудилось, теперь будто уже не в соседней комнате, а возле самой постели...

И — сон не сон, явь не явь — наклоняется надо мною, вроде как маска святочная, харя Масленичная: красная, как огонь, толстая рожа со свирепо выпученными глазами — и толстые руки берут меня за горло, и толстый свирепый голос гудит:

— Что, стерва, будешь знать, как отбивать чужих любовников? Вся ты теперь в моей власти. Что хочу, то с тобой и сделаю. Вот только пикни, давну за машинку, и нет тебя. И в ответе не буду, потому что ишь как хорошо тебя твой хахаль обработал: всякое следствие покажет, что подохла с побоев... Так только греха на душу брать не хочу. И рожи твоей смазливой травить кислотой не намерена, как иные дуры сгоряча поступают... А вот отведу я свою душеньку, насмеюсь, потешусь над тобою так, чтобы не забыла ты меня до гробовой доски, — это ты, голубушка, получишь, получишь, будь в том спокойна, не сомневайся, получишь, не задолжаю тебе...

А я — и от боли, и от страха, и чувствуя на горле ручищи ее — как труп...

— Ну, и... Дайте-ка коньячку... Ну и... Да, нет! Вы, хотя и много наших бабьих дел-секретов знаете, хотя и не страшно мне быть с вами откровенною больше, чем с иною подругою, а все-таки вы мужчина: и невероятно, и незачем вам знать бабские мерзости, на которые наша ревнивая злоба способна... Есть оскорбления... Права была мерзавка: и забыть их нельзя, и признаться в них невозможно — так и носи их в себе одиноко и неизбывно: ни простить, ни отомстить... Дайте-ка коньячку!.. Да не глядите с опаской: не напьюсь! Когда я в таких нервах, в меня плещи коньяком, как в бане на каменку, — все паром уходит...

Скрылась эта ведьма, скаля зубы, гогоча, как злорадная гусыня...

Я лежу, думаю-твержу себе в полуобмороке:

— Как же теперь жить? Нельзя мне дальше жить! До чего ты домыкалась, несчастная Лили! Худшего унижения уже не бывает! Такого оскорбления не переживают! Избитая любовником, оплеванная соперницей... Как же теперь жить? Нельзя дальше жить!

В нашей квартире ни электрических, ни духовых звонков не было, а болтались по стенам еще на старинный лад сонетки. И вот — глядела я, глядела с подушки на сонетку, — как она висит над ночной тумбочкой, близко кровати, с постели только руку протянуть, и покачивает красную кисть по лиловой стене, — и вдохновилась...

Трудно было, однако заставила себя сползти с кровати, добралась до тумбочки на четвереньках, встала, кряхтя и стоная. Подергала сонетку — откликнулся звонок в кухне. Ничего, шнурок крепкий, на верхнем костыльке держится надежно...

«Ну что же?.. Жить дальше нельзя... раздумывать долго нечего... Господи, отдаю Тебе мою душу, а ты, дьявол, бери мое грешное тело!»

Жестоких усилий стоило мне взлезть на тумбочку и завязать петлю. Высоко она пришлась; сонетка была не очень длинная.

Надевала петлю на шею — клянусь вам, не было ни страха, ни колебаний... Так жить нельзя!.. Господи, прости!..

Закрыла глаза. Оттолкнула ногою тумбочку. Рухнула. Слышала, как тумбочка грохнула об пол и жалостно звякнул в кухне потянутый сонеткою — тяжестью моего ринувшегося тела — звонок.

Мгновение — без сознания, и затем — ужасная боль.

Умерла, что ли?

Нет, вишу, а смерти нет. Какая же это смерть, если мне каленым железом жжет правое ухо, правую щеку, шею под подбородком, и сделалось что-то с нижнею челюстью, отчего рот разинут, как пасть, и ревет дикие бессловесные звуки. И голова лопнуть хочет, и глаза лезут из лба, и кровь потоками льет с лица, слышу ее ноздрями, рот ею полон...

Вишу, но живу... Да! Да! Живу! *Слава Богу*, живу!

И ужасная вдруг жажда жизни! О, какая дура я была, что давилась! О, какое счастье, что как-то случилось, что не удалось... Господи, прости, спаси, помилуй! Не дай погибнуть глупой, грешной... Какую угодно боль стерплю, только бы не смерть...

В чем дело, сообразила. Петлю взяла широко. Когда ринулась с тумбочки, шнурок, чем затянуть мне горло, скользнул вверх, и я повисла на подбородке, с вывихнутой челюстью, с ободранной правой щекой, с оторванным наполовину правым ухом... Вы никогда не обращали внимания, что оно у меня кривое и с рубцом? Вот, посмотрите...

Вишу... Кривляю руками, болтаю ногами, силясь достать до кровати, выискивая какой-нибудь точки опоры в стене... Проклинаю шнурок, что держит, не обрывается, — этакая дрянная полушерсть, а выдерживает груз почти пятипудового тела!.. Руками добраться до петли никак не удается. И плачу оттого, и боюсь: вдруг, если доберусь да начну поправлять, она опять скользнет как-нибудь так, что на этот раз уже удавит меня добросовестно?..

Вишу... Господи, что же будет с моей шеей — ведь пять пудов ее тянут книзу? Сломается... позвонки не выдержат... гусиная станет... Нестерпимое напряжение в затылке и спине, словно зубная боль во всем теле...

Точку опоры... именно уж точку: маленький гвоздик — только мизинцем упереться, нащупала слева в стене... И что бы вы думали? Немножко как будто легче стало... Ах, эта ужасная тяга всего тела вниз, когда живот хочет оторваться от груди, а внутри желудок будто свертывается в трубку и все внутренности вытягиваются вертикально!.. И ноги — как чугунные гири-тумбы: хоть бы оторвались они, что ли, а то ведь вытягивают, вытягивают из тебя всю тебя...

И непрерывный звон далекого колокольчика, потому что, как вишу я на костыле сонетки, то, стало быть, каждым своим движением то отпущу звонок, то притяну, он и заливается, звякает, плачет... Возвратившаяся Дросида, как еще на подъезде заслышала этот нелепый, прерывистый звон, мгновенно сообразила, что со мною творится недоброе...

Увидав, обмерла... Для моего спасения было бы достаточно поднять и подставить мне под ноги тумбочку, которую я, вешаясь, оттолкнула. Но Дросида, не сообразив, побежала в кухню за мясным ножом. Вскочила на кровать и с размаху перерубила сонетку. Понятно, я так и рухнула кулем. Расшиблась жестоко и лишилась чувств.

Отделана я была на славу. Жестокое Галактионово бойло не принесло мне существенного вреда, результаты виселицы тоже оказались более болезненными, чем опасными. Вывихнутую челюсть доктор, приглашенный Дросидою, вправил, как водится, одним взмахом руки — это и коновалы умеют; ухо пришил, ободранную щеку и рану, натертую шнурком под подбородком, дезинфицировал и забинтовал. Внутренних повреждений никаких не обнаружил. Но, падая, я разбила себе коленную чашку правой ноги, повредила левую руку и, ударившись об угол все той же злополучной тумбочки, вышиб-

ла себе два передних зуба. Это были плоды усердия поторопившейся Дросиды. Претендовать я не могла, потому что как-никак, а она дважды в одно утро спасла мне жизнь.

Рассказываю вам я долго, а знаете, сколько времени заняла вся драма на самом деле? Меньше часа. Галактион набросился на Мишку в начале девятого, а в девять я уже вышла из ванны, в которую прежде всего усадила меня Дросида, как только я очнулась от обморока и ждала врача, приглашенного ею по телефону. Висела я, казалось мне, долгие часы, а на деле едва ли пять минут. Потому что, отправив больного Галактиона на квартиру, Дросида, спешно возвращаясь домой ко мне, встретила в переулке Матрену Матвеевну и по ее свирепо радостной, торжествующей роже догадалась, что та была у меня и к побоям Галактиона прибавила свою собственную расправу. В том, что Матрена Матвеевна могла ко мне проникнуть во второй раз, Дросида винила всецело себя. Когда дворник пришел с сообщением о припадке Галактиона, Дросида засуетилась, заторопилась и в спехе забыла прихлопнуть дверь на подъезд. Ведьма воспользовалась и проскользнула.

— А в первый? — спросил я. — Ведь это, конечно, она хихикала, когда вам чудился смех в соседней комнате?

— Конечно, она... Тогда они вдвоем вошли в квартиру вторым ключом, который всегда был у Галактиона. Тут ничего хитрого нет. Не хитро и то, что Галактион, уехав в Харьков, вернулся из Подольска, а Матрена Матвеевна съехалась с ним из Одинцова, чтобы поймать нас. За тем и прискакал Галактион из Харькова, что Матрена обещала дать ему неотразимые доказательства моей неверности. Она выслеживала нас с той самой ночи, как я заприметила ее у памятника Пушкина.

— Терпелива же! Долго ждала. Очевидно, умела «Есть кушанье мщения холодным», как рекомендуют испанцы.

— Да ведь ей главное было — меня подловить и осрамить. Мишка ей — что? Она с ним, конечно, посчиталась, чтобы вперед не баловался, на сторону от нее не гулял, — пугнула по

компанейскому делу, пощечин, может быть, влепила десяток-другой, — да и простила, помирились, поладили. А меня она ненавистью ненавидела и жива быть не хотела, абы меня погубить. А как погубить меня могла она только через Галактиона, то и нашла к нему тропочку... А как вы думаете, какую?

— Дросида ваша вас выдала как-нибудь?

— Нет. Дросида тут, правда, не совсем чистою оказала себя, но далеко не в первую голову. Предать меня она действительно собиралась, потому что «маменька» обещала ей за разбив нас с Галактионом хорошие деньги. Но, посчитав, сосчитала, что, состоя при мне, утягивает больше и, значит, с убоем дойной коровы можно не спешить. Дросида виновата только тем, что, желая показать «маменьке», как она старается, намекнула ей насчет Мишки: вот-де на чем я изловлю нашу кралю. А мать Пиама чем дожидаться, как она изловит, сама взялась ловить. Подослала к Матрене пьяницу Бенаресова — помните, который навязывался Артюше моему в дяди и воспитатели: «Открой, мол, глаза несчастной женщине, как ее обманывают!..» Открыл. И проболтался при этом, как матери Пиаме желательно женить сына на благодатной девице, а Галактион упирается из любви ко мне. Матрена и ухватилась за эту ниточку. Не поленилась скатать к «маменьке» в монастырь. «Вы, мать честная, — говорит, — только вызовите Галактиона Артемьеича из Харькова в Москву, а уж я эту неприятную вам особу, а мою разлучницу берусь показать ему в самом блистательном бенгальском освещении...» Спелись!.. На Матренин-то донос Галактион, который ее терпеть не мог, пожалуй, и не посмотрел бы: мало ли клевет на меня пропускал он мимо ушей! А как «маменька» ему прислала из монастыря письмецо — тут его зазабрало за живое, полетел... По дороге в монастыре побывал — мать Пиама еще его подначинила и против меня, и против Дросиды, потому что уже заподозрила милую сестрицу, что фальшивит — двурушничает. Ну влетел в Москву не человеком, а бомбою разрывною, и прямо Матренище

в лапки. Но у той слов и рассказов много, а фактов налицо нет, потому что ни ей, ни Бенаресову Галактион не дал веры: вы, мол, из ненависти рады обложить Лили клеветою, а Бенаресов — хорошо мне известный прохвост, его за красненькую на какое угодно лжесвидетельство купить возможно. Нет, коли вы дерзаете обвинять предо мною дорогую мне особу и лучшего моего друга, тогда потрудитесь уличить существенно. Я вам не Отелло черномазый, чтобы по платку с вышивкой признать жену потаскухой. Кроме как собственным глазам, никакому свидетельству не верю!..

Тогда она и придумала эту штуку с обманными отъездами. Как раньше ей удалось Вязьмою нас изловить, так теперь Подольском да Одинцовом... Галактион едва согласился, потому что за три дня, что он у меня жил и меня наблюдал, почти убедился в невинности своей Дездемоны... Не будь моей встречи с Мишкой в банке да не закружись мы так сразу, то, пожалуй, ничего и не было бы, и Матрена осталась бы в виноватых, а Галактион в случае обмана обещал ей крутую расправу... Да уж очень я тогда обрадовалась, что сплавила его благополучно, — некстати захотелось на радости кутнуть... Гм... Когда я воображаю, что Галактион должен был пережить в эти три дня, живя рядом со мною и храня тайну против меня, то немножко прощаю ему и старые побои и не так обидно болят...

— А вот вы говорили, что Миша Фоколев у вас на квартире почти никогда не ночевал? Как же они в этот-то раз так прямо у вас на квартире его искать стали?

— Опять просто. За нами еще с той ночи у Пушкина два хитровца сыщиками ходили по Матренину найму. И как мы в Купеческом банке встретились, и как на Воробьевых горах поехали — все это было ей доложено. Но на Воробьевы горы эти мерзавцы — в трактире, что ли, засидевшись, — прозевали нас, как мы уехали и куда. А между тем Галактион Матрене объявил начисто: «Если вы сего числа не оправдаете ваших слов, как обещали, то я вас ошельмую клеветницей и публично

набью вам морду!..» Она и приструнила своих подлецов: «Где хотите, там найдите!..»

Они всю ночь бегали по нашим обычным местам: к Савраcенкову, к Виноградову, в разные номера по Рождественскому и Сретенскому бульварам: нет нигде!.. Которому-то уже к утру взбрело на ум: хотя и мудрено того ожидать, но, как больше деваться им некуда, то не у нее ли на квартире?.. Сунулся, повыспросил дворника — так и есть!

* * *

Все это, однако, позднейшее осведомление.

Вначале же я пролежала десять дней в нервной горячке, а затем два месяца пребывала сперва в недвижимости — ноги в гипсе, рука в бинтах, — потом с палочкой. Выправилась только к концу лета.

Очень долго после горячки я не смела и в зеркало взглянуть: боялась, что очень урод стала. Волосы мне пришлось обрить: падали целыми космами, и, того хуже, ранняя сединка в них блеснула. Пока что заказала блондинный парик. Брить не жаль было. Очень любила я русые косы свои, но погубила мне их та подлая баба. Сколько я их не мыла, не душила, все мне в воображении представлялось, будто от них пахнет мерзостью, которою она меня облила... К осени обросла новыми: «Как мальчик кудрявый, резва». Очень шло ко мне, помолодела.

Сединку где выщипываю, где подкрашиваю: свинцовый гребень выручает. Первый выход из дому — к дантисту. Через неделю — с зубами лучше природных. Прислал счет — ужас! Дросида ругается, что не из чего платить. Поехала объясняться, торговаться. Наглый подлец, американской выучки.

— Дорого, — говорит, — да мило. Впрочем, из симпатии к вам и восхищаясь вашей красотой, готов уступить 25 процентов под условием, что и вы окажете мне любезность... Вы какой ресторан предпочитаете — «Эрмитаж» или «Прагу»?

Шутками да прибаутками, а пошел между нами самый настоящей торг. С 25 процентов на 50, с 50 на 75, с 75 на ничего. Погасила я счет в три ужина. С доктором, который меня лечил, расплата вышла в том же роде. Молоденький был мальчишка, вздумал было в любовь играть, вроде Олега на железной дороге... Ну, нет! Не до того мне тогда пришло! У тебя ничего, у меня двое, ты мне не Арман, я тебе не Маргарита Готье! Отшила.

Однажды — еще до этого было, я только что с постели встала и по квартире двигаться начала — приносит ко мне посыльный, красная шапка, пакет. Надписан почерком Галактиона. Ну, руки задрожали, в глазах рябь пошла... Распечатала: чек на четыре тысячи рублей и коротенькое официальное письмо, что, мол, «милостивая государыня Елена Венедиктовна, не имея возможности далее заведовать операциями по вверенной Вами мне сумме, препровождаю Вам оную с накопившимися по сей день процентами, на каковые прилагаю расчетный лист, — готовый к услугам Галактион Шуплов...»

— А?! Как это, по-вашему?! — резко воскликнула она, шлепнув ладонью по столу. — А поди, скажете: благородно?

— А что же? — храбро возразил я. — Поступил прилично. Не мог же он удерживать ваши деньги после того, что между вами произошло.

— Да какие же они, к дьяволу, мои, когда он, может быть, больше, чем вдесятеро, на меня истратил?

— Ну, знаете, это совсем особый счет... Деловые люди не любят смешивать рубрик расхода.

— Да, да, — горько усмехнулась она. — Это — совсем как тот мой американский дантист: после третьего ужина дает мне двести рублей и говорит: «Но, Лильхен, из них вы уж, пожалуйста, заплатите мне семьдесят пять, которые вы мне должны, потому что это профессиональное... Все на свете имеет цену: вы имеете цену, мой труд имеет цену, я плачу вам за ваш труд, вы должны мне заплатить за мой...» Вот при случае расскажи-

те-ка дядюшке вашему, какие политикоэкономы бывают на свете... и в изобилии!.. Да-а-а... Так ваш суд тот, что, избив женщину до полусмерти, прислать ей деньги — это порядочно?

— Если бы он прислал вам уплату за избиение, то было бы непорядочно... А так, как вы рассказываете, — что же тут? Ликвидация деловых отношений и закрытый счет.

Она неодобрительно качала большой головой.

— Ох вы, мужчины! Как снисходительно тонко друг друга судите!

— Елена Венедиктовна, согласитесь, однако, что, будь ваш Галактион бессовестным негодяем, он мог бы и вовсе не обеспокоить себя уплатою этих денег...

— Мог-то бы мог, конечно, мог... Но все же я от обиды не взвидела света... Красная шапка ждет расписки... Пошла к себе, пишу у стола, а Дросида смотрит через плечо, читает... Пишу: «Милостивый государь Галактион Артемьевич, так как Вы с лишком три года были моим управляющим, а я за услугу привыкла платить, то возвращаю Вам доставленный от Вас чек и прошу Вас принять его в вознаграждение Ваших тяжких трудов...»

Как выхватит Дросида у меня бумагу! Шипит:

— Да ты с ума сошла?! (Во время болезни, как-то это само собою сделалось, что она со мною перешла с «вы» на «ты»). В доме копейки нет — долгами под самое горло подперло, — а ты опять свои фоны-тоны разводить?

Залилась я слезами, бросила перо.

— Если так, не хочу ничего писать, не стану... Пиши сама! Пиши, что хочешь, делай что хочешь... Я этих денег не желаю видеть, рукою не коснусь...

— А! Шалая! Право, шалая!

Схватила листок с моею монограммою и расписалась, что за моею болезнью чек получила она. Деньги по чеку тоже она получала: уговорила, заставила-таки меня поставить бланк...

Как скоро вернулось ко мне здоровье, повела Дросида серьезный разговор:

— Дела наши с тобой, Елена Венедиктовна, тонкие. Как дальше думаешь быть?

— Пока что у нас есть деньги, а дальше видно будет, что… не Бог, так черт даст!

— На Бога надейся, сама не плошай, а за то тебе и настоящего счастья нет, что с чертом много шутишь и часто некстати его поминаешь. А что до денег, ты это заблуждение оставь. Денег у нас никаких нет. Из Галактионовых четырех тысяч — вот, держи счета…

— А вещи? У меня же вещей на несколько тысяч… Теперь Галактион запретить не имеет права, неси в ломбард, что не очень необходимо…

— Да и снесла уже добрую половину… Что смотришь? Не украла у тебя: вот они все на квитанции, выкупай, если есть на что... Нарочно дешево закладывала, чтобы легче было выкупать…

— Но... но как же ты, не спросясь?

— А где мне было тебя спрашивать, ежели ты в горячке металась? А жить-то надо было аль нет? Третий месяц, что в доме никакого прихода, а расход через твою болезнь втрое… Долгов-долгов... Уж я верчусь-верчусь... Хорошо еще, что доктор в тебя влюблен, а то — чем бы платила?.. А тут еще новая радость: предстоит нам с тобою квартиру менять..

— Это еще что? С какой стати? Зачем?

— Затем, что контракту скоро конец, а нового хозяин не хочет.

— Почему?

— Говорит: вы беспокойные жильцы, у вас скандалы выходят… доживите до срока, да и с Богом!

И так-то мало-помалу, пример за примером доказала она мне, что сижу я в безвыходной яме и нечем помочь… Остальные вещи заложить — капля в море... Да и, например, какая же

я буду «Мамзель с фермуаром», если останусь без фермуара? Сильно я приуныла...

— Как же быть-то, Дросида?

— Да... как быть? По- моему, «чем ушиблась, тем и лечись…».

— То есть как это? К Галактиону, что ли, с повинной идти — в ножки кланяться? Нет, Дросида, я не тех кровей!

Она возразила с суровостью:

— О Галактионе нет речи. Если бы ты и пошла к нему с повинной, он тебя не примет. Похерил он нас с тобою. Я, когда ты болела, была у него. И ругалась, и пыталась разжалобить. Не тут-то было. В камень заключился — только рожи строит. Я ему говорю: «Она умереть может!..» А он засмеялся, как черт, и шипит с ощеренными зубами: «Неделю тому назад, я от этих трех слов с ума сошел бы, а теперь скажу: пусть дохнет! Одною, — и нехорошим словом тебя обозвал, — будет меньше!.. А затем, любезная тетенька, выйдем-ка в коридор, я имею там нечто показать и сообщить...» Ну, вышли... «Тетенька, — говорит, — видите вы сию лестницу? В ней тридцать две ступеньки. Так имейте в виду, что если вы когда-нибудь еще осмелитесь ко мне прийти, то вы все их пересчитаете вашей гнусной мордой... Вон!..» Так вот самыми этими словами… Это за тридцать-то лет, что я его с пеленок любила и тешила… Отблагодарил! Эх, Елена Венедиктовна, Бог тебе судья! За тебя терплю! Какая моя вина пред ним? Ну, какая? На тебя вызлился, а на мне срывает! Грех тебе, право, грех!..

Она пыталась заплакать, но сухие глаза не увлажнялись, а пылали — уж больно была зла.

— Он и на мне свою злость сорвал, кажется, достаточно, — возразила я, — что же ты мне-то в укор ставишь его грубость с тобою?

— Так ты пред ним вся виноватая! А я — что? Только-то с Мишкой-то тебя познакомила? Эка невидаль! Так разве

я ожидала, что вас черт дальше свяжет?.. Нет, это все от него, от Мишки-негодяя! Он у Галактиона в ногах валялся, прощения вымаливал и обеих нас исклеветал, весь грех на нас переложил, будто мы его вовлекли корысти ради...

— Ну и мерзавец же! — Я даже рассмеялась со зла... — «Чем ушибся, тем и лечись», — ты советуешь, Дросида Семеновна? Что же? Может быть, опять взяться за этого белосахарного подлеца и труса? Мы ведь главным образом об него ушиблись...

Дросида в мою иронию не вникла — всегда туга была на это ухо — и пресерьезно ответила:

— Оно бы почему нет? Каков ни есть доходишка, а все — постоянный. Но та-то и беда, что ты правду говоришь: уж больно трус. Галактион ему страха задал, Матрена вдвое. Мишка теперь, когда завидит меня издали на улице, перебегает на другую сторону и норовит свернуть в переулок или проходной двор. А если ты повстречаешь его, то ему со страстей приключится медвежья болезнь... Но — или на Мишке Москва клином сошлась? Мишка в беду всадил, а Митька, Васька или Гришка поправят...

— То есть, говоря просто и прямо, ты внушаешь мне... пойти по рукам?

— По рукам ли, по ногам ли, а только должна ты иметь от себя доход.

— Не поздненько ли, Дросидушка?

— Эва! Почему?

— Потому что мне тридцать первый год...

— А ты не сказывай! Кто те велит?

— Потому что у меня в голове уже проступает седой волос, потому что во рту два вставных зуба, потому что на щеке я закрашиваю шрам, на подбородке другой...

Я высчитываю, а она твердит:

— Пустое, пустое, пустое! Кабы все дамы были без изъянов, то Ралле с Буисом надо было бы поколеть с голода, а они

пятиэтажные дома строят... Меланхолии не разводи, а слушай дело. Мы сидим без гроша, а вчера ко мне прибегала кума из Дорогомилова, сказывала: очень тобою антиресуется один ее знакомый граф...

— Граф — знакомый твоей кумы из Дорогомилова? Любопытно! Какой же это граф?

— Обыкновенно, как графы бывают... Познакомься, так увидишь. Поговорить, что ли, с кумою-то?

Что-то сомнителен мне показался этот граф, с которым надо было знакомиться через Дросидину куму из Дорогомилова. Отсрочила удовольствие встречи с его сиятельством. Дросида надулась, но в тот же вечер, впервые после долгого перерыва появившись у рулетки Петровского парка, я хорошо выиграла. И зарядило мне счастье еще на три вечера. На четвертый все спустила, да так чисто, что сижу, нащупываю в портмоне последнюю пятирублевку и раздумываю: «Поставить или оставить на извозчика?.. Не очень весело идти пешком из Петровского парка в Гагаринский переулок... А впрочем, кто-нибудь да подвезет...»

А над ухом — тихим басом:

— Мадемуазель Лили, хотите на отыгрыш — двадцать пять?

Обернулась: князек Д., драгун «Кабачка трех сестриц». Посмотрели друг дружке выразительно в глаза.

— Давайте.

Немножко отыгралась. Опять — «Эрмитаж» с другого подъезда. Домой еще пятьдесят рублей привезла — уже не с рулетки.

От князька узнала я, что скандал моего избиения, как мы ни старались его прикрыть, хорошо известен в Москве, и хотя теперь уже вышел из моды, но месяца два тому назад был притчею во языцех. Князек был добрый малый, благовоспитанный, вежливый, ласковый. Но в обращении со мною даже у него вопреки всей порядочности засквозила та роковая особая фамиль-

ярность, что в мужской тактике тонко отличает женщину, доступную только для любовного романчика (как бы вольно она ни держала себя, даже как бы развратной ни была и ни слыла), от женщины продажной (в какую бы скромность она ни замыкалась и хотя бы к распущенности вовсе не была склонна). Разомкнулся круг последней тайны, еще отделявший меня от откровенной проституции. Стало возможно подходить ко мне, как к обыкновенной девке на бульваре, только не с полтинником или рублем в кармане, а от двадцати пяти и выше.

Те самые игорные притоны, которые низвели меня в эту грязь, сделались теперь моим базаром. У рулетки, у карточных столов, на скаковых трибунах, я искала покупщиков, меня искали покупщики.

— Что, Лиляша, продулась? Не горюй, едем, что ли?

— Сегодня к Лиляше не подходи: в выигрыше — и горда!

Это не сразу пришло. Пошла я по рукам в самом точном смысле слова.

Случилась тут со мною скверная история. Некий Минкин, пшют из компании Вентилова, ночевал со мною в «Эрмитаже». Наели, напили, а, когда дело дошло до счета, прохвост этот вдруг заявляет мне, что этакая же досада и пошлость: он забыл бумажник «в другом пиджаке» и должен съездить за ним домой, а я подожди. По фальшивым глазам вижу, что врет, никакого бумажника у него в другом пиджаке нет, да есть ли еще и другой пиджак-то. Решительно отказалась остаться одна: вместе вошли — вместе выйдем.

— Хорошо, — говорит, — если так, то ссудите мне до утра ваш браслет. Мы его оставим в залог уплаты, а завтра я его вам — хотите, на дом привезу, хотите — отдам, когда встретимся у Рахили Осиповны.

Что же? Не наживать неприятностей с прислугой — согласилась. Вызывает метрдотеля, объясняет, в чем дело. Тот с большою любезностью ко мне возражает, что господина он не имеет чести знать, но «мадам нам хорошо известна», а потому, дес-

кать, если я ручаюсь за уплату, то в браслете нет никакой надобности... Было очень деликатно, но, когда мы выходили, тот же метрдотель, мигнув на Минкина, шепнул мне лукаво:

— Арап-с!

И, конечно, Минкин никогда не заплатил по этому счету, и покрыть его пришлось мне.

Дросиду этот мой провал привел в ярость. Она уже давно ворчала, что я «не знаю обхождения», т.е., попросту сказать, не умею торговать собою. А тут — мало что отдалась проходимцу на даровщинку, да еще и за номер, за ужин плати!

— Тебя, как маленькую, одну пускать нельзя! — ругалась она, — три десятка лет на свете прожила, а губы распускаешь, словно вчера из емназии... Нет, вижу, так прока не будет: надо мне взяться за тебя... Ты красуйся, а столковаться-сторговаться пусть будет мое дело...

Надоела страшно.

— Ах, пожалуйста! — говорю. — Если бы это было возможно, я бы тебе в ножки поклонилась! Снимешь с меня самое противное, что есть и чего я действительно совсем не умею...

Перешила Дросида для себя несколько моих старых платьев и появилась при мне всюду — на базарах-то моих — достаточно отвратительная тетушка Дросида Семеновна, которая блюла за поведением племянницы в оба глаза. А племянница, как скоро князек ли Д., другой ли приобретатель шептал ей: «Лиляша, отсюда... туда?» — отвечала: «Отвяжись, разве не видишь, что я с теткой? Отпустит — да; не отпустит — нет».

Подобных мнимых теток при подобных же мнимых племянницах было много. Но моя была едва ли не курьезнее всех. Этакого огородного чучела, этакого накрашенного трупа, этакого Кощея Бессмертного женского пола ни в сказке сказать, ни пером описать. Первые ее появления со мною на базарах произвели сенсацию, чтобы не сказать: фурор. Сперва ее кричащая вульгарность и безобразие меня конфузили, но скоро я заметила, что ее находят, что называется, стильною для той живой вывески,

роль которой она отныне для меня стала играть. Дело было зимою, и, следовательно, эффект чучела оставался только комнатным. Но с мрачным юмором и страхом я уже предчувствовала, какой фурор произведет весною — на катанье Петровского парка, по Михалковскому шоссе или в Сокольниках на кругу, — рядом со мною в каком-нибудь зеленейшем платье (обожала яркие цвета!) и желтоперой шляпе — этот причесанный по моде, намазанный белилами и румянами бесстыжий скелет.

Разбазаривала меня Дросида с большим мастерством. Несомненно, много прилипало к ее рукам, может быть, даже и львиная часть, но жить стало значительно легче, в доме всегда вовремя находилось все, что было надо, долги не теснили. Но в то же время не могла я не замечать, что, подталкиваемая Дросидою, я уже не иду, а качусь по рукам, стремительно расширяя круг нашей «клиентуры». В выборе же «клиентуры» она решила руководиться главным образом не качеством, но количеством. И — черт ее знает, эту ведьму, откуда и когда и как изыскивала она все новых и новых претендентов на мое грешное тело!

Познакомилась в числе их и с «графом», которого она навязывала мне осенью. Это был дюжий, трехаршинный верзила, лет сорока, с висячими рыжими бакенбардами и с лицом, блестящим, будто он вымазался кольд-кремом, а стереть позабыл. Одет был богато, но дурацки модно и пестро; по жилету в объем непомерного брюха толстая цепь — собаку водить, на пальцах-колбасах перстней — витрина!.. По первому взгляду вижу: граф «кумы из Дорогомилова» столько же граф, как я китайская императрица, и самое лестное, что я о нем могу предположить, это — что он разжившийся буфетчик или камердинер какого-нибудь графа и теперь доставляет себе наслаждение иллюзией, разыгрывая роль своего бывшего барина. Вспоминаю об этом субъекте особо, потому что из-за него первого я выучилась сильно пить. Трезвой он был мне очень противен, так на свиданиях — дважды в месяц — я спешила напиться, чтобы хоть сколько-нибудь его выносить. Его спаивать было не нужно: все-

гда был пьян, глуп, напыщен, как индийский петух, трус и плаксив... Из-за расплаты между ним и Дросидой всегда выходили споры, и однажды она вцепилась своими костлявыми пальцами в его пышный бакен — за то, что он пытался подсунуть ей склеенную десятирублевку с разными номерами.

Был вдовец-священник, красивый, рослый, мрачный бородач. На свидания с ним надо было ездить куда-то страшно далеко — к Данилову кладбищу. Этот мне нравился, мне было его жаль, потому что он нескрываемо стыдился своей вдовьей слабости, что плохо борется — не одолевает озлобления плоти. Дорого платил, угощал удивительной вишневкой и дарил ценные добротные материи, которые, вероятно, и ему самому приносили в дар прихожанки на рясы и подрясники.

Был карлик, проворный человек, ростом едва мне по грудь, очень богатый член первоклассной коммерческой фирмы. Ликвидировав свою в ней часть, он жил рантьером в совершенной замкнутости на роскошной зимней даче в Сокольниках, никогда никуда не выезжая, редко кого к себе принимая, потому что был страшно самолюбив и стыдился своей малой фигуры при большом капитале. С ним бывало весело и забавно: он много знал, любил поговорить и за острым словом в карман не лазил. Только уж очень был развратен, манило его ко всяким извращенностям, и непременно хотелось ему втянуть меня в опиум и гашиш. Я попробовала, чуть не померла сперва от одури и кошмара, потом от головной боли и закаялась навсегда.

Были... что считать! Разные типы были... Как Саша Давыдов певал в «Паре гнедых»:

Грек из Одессы, еврей из Варшавы,
Юный корнет и седой генерал —
Каждый искал в ней любви и забавы
И на груди у нее засыпал...

Кончилось это разнообразие печально. В один довольно серый и кислый день позвонил к нам околоточный и вручил

мне повестку с предписанием явиться завтра утром в канцелярию обер-полицеймейстера для личного объяснения с его превосходительством.

Не скажу, чтобы в ожидании этого объяснения я провела приятную ночь. Но Дросида — эта дерзновенная, бесстрашная, бесстыжая Дросида — прямо-таки изумила меня: впервые видела я ее в состоянии дикой паники — оглупевшею, безрассудною, трясущеюся, в холерине... Провожая меня поутру, она взвыла, как по покойнику... Удивительно это, право! Есть вот характеры: не боятся ни Бога, ни черта, ни ножа, ни яда, ни совести, ни греха и преступления, а как до полиции — сразу дрянь, и тряпка тряпкой, и — под стол, под кровать, в нужник... Черт их знает, что им в этом слове мерещится, почему берет их такой трус — словно магическое заклинание какое-то!

Обер-полицеймейстер сам меня не принял, а объяснялся со мною пожилой чиновник, солидный, вежливый господин с Владимиром на шее. С совершенной учтивостью, но с такою же неукоснительностью он заявил мне, что до сведения полиции дошли слухи, что я существую предосудительными средствами и что произведенным обо мне дознанием слухи эти, к сожалению, вполне подтверждены. На основании чего полиция имела бы право без дальнейших рассуждений и церемоний регистрировать меня на «книжку». Но, так как я принадлежу к хорошей фамилии и имею в Москве всеми уважаемых родственников, то:

— Желая избавить и почтенную родню вашу, и вас от гласного скандала, его превосходительство поручил мне предложить вам, милостивая государыня, в трехдневный срок выехать из Москвы в какой угодно будет другой город. Если же вы этого благожелательного предложения не примете и намерены упорствовать, то, к моему глубочайшему сожалению, я должен буду вас задержать и препроводить для регистрации...

Вот оно, когда сбылось зловещее предсказание профессора, что будет время, когда придется мне покинуть Москву

уже не по собственному выбору, а по принуждению! Правду сказал: бывает и не за революцию!

Странно! Я приняла этот внезапный громовой удар, рухнувший мне на голову, сравнительно спокойно... Защищаться, оправдываться было излишне... Когда я заикнулась было, что — «на каком же основании?» — чиновник только глянул на меня мельком: ты, мол, не вздумай нагличать! — и молча подвинул ко мне по столу толстое «Дело» в синей обложки: мое «досье»...

Попробовала забежать в Гнездниковский, к знакомому «типу», столько раз высказывавшему мне свое благоволение. Но теперь он принял меня сухарь сухарем:

— Ничем не могу помочь. Слишком неосторожно вели себя. Единственный добрый совет вам даю: убирайтесь-ка вы с этою вашею тетенькою новоявленною из Москвы поскорее, покуда паспорта не замараны... А что, Шуплова с *тех пор* больше не видали?

— Нет, не видала и желания не имею видеть.

— Жестокая измена, значит? А свадебный билет он вам прислал? Женился ведь, вы знаете? Как же, как же! В Серпухове венчались... Я был приглашен, да не мог: служба не пустила... Ну-с, имею честь кланяться!..

Для одного дня получила я сильных впечатлений и приятных известий немножко слишком много.

* * *

Поплакала-таки я на прощанье с Москвою-матушкой. Ну, что-то скажет батюшка Питер.

Везла я с собою важное рекомендательное письмо. Снабдила им меня Рахиль Осиповна, хозяйка рулетки, у которой я чаще всего играла.

— Полагаю, — говорит, — что вы, душенька Лили, едете в Петербург не с тем, чтобы определиться в телеграфистки или телефонистки. Так вот этот адресок будет вам очень полезен.

У Дросиды в чемодане тоже рекомендательное письмо. Его дала ей одна из подобных же тетенек, с которою она свела знакомство, сопровождая меня по злачным местам моего базара, старая бестия-сводня, известная под кличкою Генеральша. Тоже с наставлением:

— Если, дескать, вы с вашей Лиляшей намерены в Питере основаться и заняться делом не глупо вразброд, как здесь, а по-настоящему, то вот эта особа вас устроит, на путь поставит и движение вам даст.

И оба письма с одним и тем же адресом: «Ее Превосходительству Полине Кондратьевне Рюлиной. Сергиевская, №...» — и в углу конверта какой-то крючок — винт не винт, что-то вроде поросячьего или чертова хвоста. Так как письма мы получили порознь и независимо друг от дружки — я от Рахили Осиповны, Дросида от Генеральши, — то это совпадение сперва нас удивило, потом обрадовало. Если два, так сказать, авторитета направляют в одно и то же место, то, значит, это не пустопорожнее что, а центр.

В Петербурге решили мы для первого эффекта задать шика. Остановились в Hôtel de France, взяли дорогой номер с ванною и всяким комфортом. Отдохнули, приоделись и отправились по адресу. Подъезд великокняжеский, антре* шикарнейшее, я даже смутилась, а Дросида и вовсе оробела: туда ли мы зашли? Как будто особы, к которым имеют право писать рекомендательные письма хозяйки игорных домов и сводни, в таких апартаментах не обитают?

«Их превосходительство» в этот раз нас принять не могли: нездоровы. Через швейцара просили оставить адрес — известят, когда будет можно. Вернулись мы, несолоно хлебав и нельзя сказать, чтобы в приятном настроении духа. Денег у нас было на исходе. Говорю, конечно, за себя, сколько мне было известно, потому что откуда же я могла знать, что Дросида возила

* Вход (*фр.*).

с собою зашитым в чемодан целый капитал процентными бумагами?

Два дня проскучали в хандре и беспокойстве. На третий — визит. Молодая дама красоты чрезвычайной, черноокая, чернокудрая, на француженку выглядит и шик парижский. Туалет — умопомрачение. Объясняет, что ее тетушка и приемная мать, Полина Кондратьевна Рюлина, все нездорова и не принимает, так прислала ее переговорить с нами по предмету наших писем. И так, знаете, действительно, сразу — к делу, именно уж совершенно по предмету, чрезвычайно вежливо, но и чрезвычайно бесстыже. Совсем озадачила меня хладнокровием: никогда я подобного тона не слыхала, чтобы так о живом человеке ему же в глаза, словно я в самом деле неодушевленная вещь какая-нибудь — именно уж «живой товар». Сидела у нас эта Адель Александровна — так ее звали — часа полтора и за этот срок проэкзаменовала меня, и в духе, и в теле. Ну, достаточно сказать, что заставила меня, т.е. так любезно попросила, что отказать было нельзя, — при ней ванну взять! А уж высмотрела меня! Сижу против нее на свету и вся горю конфузом, потому что понимаю: каждый-то самый малый мой недостаток она видит — не спрячешь от нее! — и прикидывает в ум на весах, чего с ним стою и вообще стою ли чего-нибудь...

Покончив эту любезную пытку, говорит:

— Ну, умирать зачем же? Не так это легко — умирать, чтобы стоило из-за подобного... А для этого — уметь надо или, может быть, даже родиться... тоже талант!..

— Словом, вы меня не берете под свое крыло, как сулила Рахиль Осиповна?

Она засмеялась.

— Под крыло-то я вас охотно возьму, потому что вы нам очень хорошо рекомендованы и мне чрезвычайно симпатичны, а в дело — нет... Но я вас устрою в другое дело, не наше, но тоже шибкое. В нем вы с вашим обра-

зованием, с вашим air distingué*, с вашим московским, извините, немножко провинциализмом придетесь как раз по спросу и вас оценят... Про мадам Буластову вы, конечно, слыхали?

— Понятия не имею.

— Это — у нее... Ее клиентура очень богатая и таковая, но немножко с соринкой, коммерческий мир... Женщина интеллигентная, порядочного круга, там производит сильное впечатление и быстро делает карьеру. Вы вот говорите по-французски, опять извините, как русская гувернантка из гимназисток: у нас так нельзя, а у Буластовой ваш французский язык по крайней мере 10 процентов плюса к вашей оценке. Вы дворянка, хорошей фамилии...

— Да, но именно этих-то своих качеств я и не намерена обнаруживать. Достаточно с меня уже и того сознания, что я позорю свою фамилию тайно. Торговать ею в открытую я не согласна. Продавать себя, как «Лиляшу», «Мамзель с фермуаром», «Мадам Волшуп» — что делать? — это мое несчастие. Но проституировать в себе «Сайдакову» — ни за что: это имя не мне одной принадлежит...

— Фу, как вы еще сантиментальны, — спокойно возразила прекрасная Адель, — сразу видно, что москвичка... Глядите на дело без горячности, проще... За фамилией вашей мадам Буластова, конечно, не погонится: фамилия хорошая, но не настолько, чтобы очень уж поражать слух ее клиентов. Ей будет дорога в вас просто приличная дама, которую при случае она может выдать за графиню, княгиню, генеральскую дочь, и вы оправдаете ее, не ударите в грязь лицом... На этом коньке там лихо едут. Которая умеет на него сесть — пожалуй, не надо и других привлекательных качеств. На Буластову теперь работаешь одна захудалая настоящая княжна; мало сказать — некраси-

* Наружность, благородный вид (*фр.*).

ва, а прямо — урод. Между тем — нарасхват, главный козырь в колоде!...

Так вот, мадмуазель Лили, и соображайте: хотите, познакомлю с мадам Буластовой, потолкуйте... Столкуетесь — я с вас и за комиссию ничего не возьму, пусть Буластиха платит. Не столкуетесь — ваше дело: моя роль кончена, устраивайтесь как знаете... Только предупреждаю вас: трудно это у нас в Петербурге, ах, трудно начинать новенькой, если за нею нет сильной руки... Ничего вы не сделаете в одиночку. И выделиться трудно — конкуренция велика очень, — и — здесь не Москва, которая живет спустя рукава: недели не пройдет, как вас вызовут в градоначальство объяснять, на какие средства вы живете... Полиция прозевает — какая-нибудь шваль из конкуренции накатит вас анонимным доносом... А за Буластовой будете, как за каменной стеной!.. И еще: в Петербурге женщине так легко нарваться на больного гостя... А у Буластовой в этом отношении, как у нас: мы своих женщин бережем, подозрительного мужчину к своей клиентке не допустим...

Пела она, пела — и все яснее мне делалось. Хотя и в первый раз еще видела я такую молодую, красивую и изящную торговку живым товаром, а угадала ее в совершенстве. И думаю: «Вот — не послушайся я тебя, прекрасная ты моя Адель Александровна, пошли я сейчас к чертям и эту твою мадам Буластову, за которую ты распинаешься, и тебя вместе с нею, так именно ты-то и накатишь меня доносом в градоначальство, именно ты-то и способна нарочно, в отместку, подослать ко мне гостя-сифилитика...»

Говорю:

— Адель Александровна, я в Петербурге — как в лесу, а вам — здесь все книги в руки... Так ли, не так ли, а раз мы здесь, то не в телефонистки же мне в самом деле поступать, как острила Рахиль Осиповна... Вручаю вам свою судьбу и следую вашему совету...

— Вот и прекрасно! — одобрила она. — Тогда сегодня вечером зайдите с вашей почтенной тетенькой ко мне на Сергиевскую... Только прошу вас, Дросида Семеновна, не с уличного подъезда, а со двора... Мы с вами еще раз обсудим дело во всех подробностях и выработаем, что называется, прелиминарный договор...

— Это уж пусть она, — указала я на впившуюся в меня алчными глазами Дросиду, — она уверяет, что я в подобных случаях глупа и только порчу...

— А, тем лучше, тем лучше! — любезно закивала Адель ухмыльнувшейся Дросиде. — Договориться с особой положительной всегда приятнее и для противной стороны, когда дело идет по чести... Хотя я вас и не дам в обиду Буластихе, поддержу — она-таки жила! — но, чтобы тетенька, это лучше... А заломается Буластиха, то Петербург ею не кончается: есть Прихунова, есть мадам Эдит... Да не заломается! Вы для нее клад!.. Уж предоставьте мне!

От автора

Буластихин дом свиданий, в который сторговала Елену Венедиктовну Адель и в буквальном смысле слова продала Дросида, подробно изображен в «Марье Лусьевой» с рассказов той же самой злополучной Лиляши. Повторять еще раз картины творившихся там безобразий жестокости и разврата мне не хочется. Тем более что вскоре выйдет в свет новое издание «Марьи Лусьевой», исправленное и значительно дополненное страницами, ранее пропущенными по цензурным страхам.

Едва вступив в Буластихин «корпус», Лиляша поняла, что она затянута просто-напросто в негласный публичный дом — очень дорогой, но тем более гнусный. Взбунтовалась на первых порах, но была так избита свирепою хозяйкою и зверообразною экономкою Федосьей Гавриловной, что присмирела в

паническом страхе. Били не менее жестоко, чем освирепевший Галактион, но куда умнее: артистично — боль ужасная, ни одного боевого знака на теле.

Дросида тоже пристроилась при Буластихе. Эта промышленница, кроме своего главного «корпуса», содержала в разных частях столицы несколько маленьких квартир для эксплуатации проституток-одиночек и для потаенных свиданий. Одну из таких мышеловок и взяла Дросида на откуп, заплатив Буластихе весьма значительную сумму за «вход» и обязавшись крупною арендною данью. Ей очень хотелось удержать Лиляшу при себе, но Бластиха бесцеремонно поднесла ей под нос жирный свой кукиш: «Нат-ко, выкуси!»

И обе — и хозяйка, и зверообразная экономка — приказали Дросиде, чтобы на прощанье с Лиляшей внушила ей: «Если хочет жива быть, нехай сидит тихо и не рыпается. Вздумает бежать, пойдет на донос, выйдет из-за нее тарарам, — амба! Так и скажи! А нет — обижена не будет. Так и скажи».

Лиляша притихла, но с горя и страха начала сильно пить. В этом ей не было запрета, напротив, поощряли.

В «корпусе» Лиляша провела два года. Предсказания ей Адели не сбылись: она не сделала «карьеры». Калашниковская пристань и Гостиный двор действительно воспламенялись ее дворянством и интеллигентностью, но быстро остывали, находя ее слишком скромной и скучной. «Словно учительша!» Выбить из Лиляши скромность усердно старалась плетка Федосьи Гавриловны и достигла известных успехов. Приобрела Лиляша то наигранное бесстыдство, которым так скучны и утомительны публичные женщины, когда они выучиваются бесстыдничать в уловках и кокетстве своего промысла, вовсе не по собственному душевному расположению и желанию, но — профессиональною дрессировкой. Этакая вслух орет кощунственные похабства, а про себя — за каждым — твердит: «Господи Иисусе Христе, прости — помилуй, не поставь мне, окаянной, в смертный грех! Мать Пресвятая Богородица, Царица Небесная, не слушай, что

поганые мои уста оскорбляют Тебя, слушай, как душа моя молится Тебе!»

Полузатворничество, сытные жирные кормы, частая и обильная выпивка и многий дневной сон делали свое дело. Лиляша полнела, жирела, брюзгла, старела. Близость молодых товарок по неволе выдавала ее возраст. Девчонки уже подсмеивались над нею:

— Не пора ли тебе, Лиляшенька, из барышень в экономки?

Но, в общем, ее любили и, сколько возможно в подобной яме, уважали. Томящая скука «заведения», когда оно не пьяно и нет гостей, навела Лиляшу на мысль составить из товарок хор. Когда-то, давным-давно, в учебные годы она управляла гимназическим хором и теперь вспомнила старину. «Барышни» были рады. Буластиха, сообразив, что из этой затеи может выйти привлекательный номер для ее вечеров, разрешила.

— Что же вы пели? — спросил я Елену Венедиктовну.

— Главным образом детские хорики разные... Есть сборники Рубца, Мамонтовой, Львовой, «Венок для благородных девиц»...

— Это — где:

Под вечер осени ненастной
В пустынных дева шла местах
И *апельсин* любви несчастной
Держала в трепетных руках?

— Вот-вот... А еще в «Выхожу один я на дорогу», тоже цензурная поправочка для благородных девиц:

Чтоб весь день, всю ночь мой слух лелея,
Мне *про дружбу* сладкий голос пел...

Про любовь-то благородным девицам петь не полагалось.

— Всегда — такое невинное?

— Когда для себя — да. «Барышни» между собою похабничать не любят, разве какие отчаянные. Для гостей, конечно,

другое дело... Пришлось и «Ежа» петь, и «Плач девицы из Калинкинской больницы», и «Камаринскую» без пропусков, и Мишу с Настей до конца, и «Вишню»... Но для своего удовольствия — никогда!.. А вот я помянула «Выхожу один я на дорогу…» Пели мы, само собою разумеется, «выхожу *одна я*», а дальше, представьте, тоже так, с поправкою «про дружбу»... Любовь-то нам каждой в жизни насолила и осточертела, а дружба была нужна, ах как нужна! Без нее в подобном месте, как в каторжной тюрьме, погибель женщине... Кого не взлюбят, съедают без остатка... Сколько таких несчастных прошло тогда мимо меня! Зла пленная женщина — раба. Самое унижают и истязают, так уж, если ей доведется унижать и истязать... ай-ай-ай! Почему в заведениях экономка всегда еще жесточе хозяйки и ее больше ненавидят? Потому что по большей части сами из девок, помнят, как сами в «барышнях» страдали, — вспомнит, скрипнет зубами и пошла тиранствовать...

Самое Лиляшу — за исключением первого жестокого битья — Буластиха и Федосья Гавриловна тиранили сравнительно редко и слабо. Но у ней сердце надрывалось при виде всего того, что эти чертовки проделывали над другими.

— Знаете, — говорила Елена Венедиктовна, — я верую, крепко верую, что Христовою благостью Бог рано или поздно всем людям-человекам все прегрешения простит. Но хоть не мне, грешнице, предугадывать суды Божьи, уповая, что тех мерзавок, которые нами, своими несчастными сестрами, торгуют, с прислужницами и прислужниками их — палачихами и палачами, Он, если и простит, то самыми последними... А лучше бы не прощал! Оставил бы навсегда дьяволов с дьяволами!

— Да ведь, Елена Венедиктовна, Ориген обещает, что будет время, когда и дьявол получит прощение!

— Ну вот разве тогда вместе с ним и хозяек публичных домов, экономок, вышибал, «котов», сводней... А раньше не надо!

— А как же ваши товарки вас-то самих приглашали из «барышень» в экономки?

— Я?! Меня?! Я в экономках?! Да скорее левую руку себе отрублю а правую зубами отгрызу... Слушайте, что я вам скажу: есть в проституции уже даже не на дне, а где-то ниже в поддонном иле такие несчастные твари, которые на смех развратным пьяницам согласны со псом быть. Так самая скверная из таких тварей все-таки благороднее и чище самой лучшей сводни и самой доброй хозяйки публичного дома!.. А об экономке... Лично меня Федосья Гавриловна почти что пальцем не тронула и никаких особых издевательств не творила надо мною, кроме обычного похабного зубоскальства, которое в правиле игры — как брань, на вороту не виснет, — и, стало быть, не в счет... А верите ли, я целыми ночами иногда не спала — обдумывала, кого мне зарезать, ее или себя? Потому что чувствовала: от соседства с их тиранством мешается во мне ум...

— Но себя-то за что же?

— Чтобы убийцей не быть... Из своего-то тела душу вынуть — все как будто смелее, чем из чужого!..

Не знаю, проникли ли Буластиха с Федосьей Гавриловной в тихую мою к ним ненависть, просто ли подсчитали к концу второго года, что я им не ко двору и не по публике, мало доходна, — только стала я замечать, что они на меня поглядывают как-то особенно, не то чтобы враждебно, а так, будто с недоумением: «Куда бы нам этот ненужный хлам девать? Совсем она нам ни к чему, а выбросить даром жаль: все-таки на нее деньги трачены...

Испугалась я: не сделали бы надо мною какой-нибудь мерзости? Потому что у Буластихи была такая манера, что «барышню», которая поистаскалась и стала недоходна, она отправляла с какой-нибудь негодяйкой из своих своден в провинцию на заработки, — «гастролями» мы это называли. А сводня где-нибудь у черта на экране, от которой три

года скачи — ни до какого государства не доскачешь, и спустит беднягу — перепродаст в публичный дом...

«Ну как, — думаю, — так-то и со мною?»

Дни, ночи волнуюсь: ах, что делать? Ах, как быть?.. Молюсь: Господи, пронеси беду! Матерь Божия, подай руку помощи! Дай знак спасения!

И вымолила-таки!

Пребезобразная была у нас афинская ночь. Купец-пряничник К. с компанией скандальничал. Мы, голые, вокруг него бегали хороводом, а он на нас из ведерка плескал шампанским.

И вдруг слышу я в его компании кто-то:

— Ах!

И вслед за ахом молодой человек, блондин с бородкой, в золотом пенсне, берет К. за плечо.

— Будет тебе бегами увеселяться. Брось. Мне с одной из лошадок поговорить надо.

И — ко мне:

— Здравствуйте, Зинаида Львовна... Матрена Матвеева... или, может быть, теперь вас еще как-нибудь иначе прикажете звать?

Олег! Мой железнодорожный мальчик Олег! Гора с горой не встретились, а человек с человеком — да.

Минутка из тех, когда, если на месте не помирают от стыда, то довечную болезнь сердца наживают... Вы только вообразите себе эту картину: вид-то, вид-то мой каков! Мокрая Ева, вином облитая, рожа, красная от бега, слиняла в поту, — пьяная, — патлы распустились, треплются по спине, груди висят...

— Что вы? — лопочу. — Я не понимаю... О ком вы говорите?.. Не знаю... Вы осмотрелись... Я вас не знаю, никогда не видала...

— Ну полноте! Двойников не бывает... Мадам! — подзывает Федосью Гавриловну. — Как зовут эту барышню? Она

скромничает, не хочет сказать своего имечка... А? Лиляшей? Благодарю вас... Так, как бы вы нам с Лиляшей помогли уединиться до утра?

Пришли мы в спальню. Он, не раздеваясь, сел на стул. Качает головою.

— Так вот вы кто?! А я-то, я-то воображал...

Как я разревусь! Потопом!

— Значит, вы? — спрашивает. — Вы? Не ошибся я? Вы?

— Я... я... Только не надо... пожалуйста, не надо...

— Помните, как я вам «Мечты королевы» читал?

— Не надо, ах, не надо!

— Не скажу, чтобы я пять лет помнил вас постоянно, но — ах, сколько раз мелькали вы в моей мечте «мимолетным виденьем»!

— Не мучьте! Ради Бога, не надо!

— И тогда... вы тоже были... при этой профессии?

— Нет... нет... это — после... недавно...

И всю ночь до утра рассказывала я ему свою историю — без утайки, со всеми настоящими именами, во времени, с местами действия. С глубоким вниманием и участием слушал.

— Что я могу для вас сделать?

— Боюсь, Олег, милый мой, что ровно ничего.

— Как ничего? Вас надо вырвать из этого промысла, вернуть в честную жизнь, к порядочным людям...

— Нет, — говорю, — вы это бросьте. Спасать погибших — занятие для погибших безнадежное, а для молодого человека, как вы, вредное. Мне, душенька Олег, тридцать два года. В этом возрасте женщина с протоптанной ею тропы на целину не сходит. И — я прямо вам говорю: я пьяница. Так что, пожалуйста, всякие проекты спасения и воскресения оставьте не начиная. Не будем морочить друг друга ни вольно, ни невольно. А если вы действительно хотите и в состоянии оказать мне помощь, то можете — огромную...

— Приказывайте. Я человек состоятельный, и у меня есть связи...

— Выручите меня отсюда, где вы теперь меня нашли. Здесь — я чувствую — кончу или преступлением, или сумасшествием...

— Что надо сделать для этого? Выкупить вас, вероятно?

— Это слишком дорого.

— Едва ли. Я, как юрист, могу сообщить вам, что вы имеете право уйти, даже не заплатив ничего, — так что выкуп — это дело вашей совести. Права задержать вас своей претензий хозяйка не имеет...

— Нет, имеет. Нас этот закон не касается.

— Каким же это образом?

— Таким, что мы не регистрованные проститутки, а тайные. Заведение Буластихи не публичный дом и неофициальный дом свиданий, а — так, частная квартира, где веселятся гулящие мужчины при участии знакомых хозяйке барышень. Полиция куплена, терпит. А мы... Говорю, Олег, на улицу не выйдешь, а если я хоть носовой платок отсюда захвачу, то Буластиха будет вправе преследовать меня как воровку... Если посмеет, конечно...

— А может это быть, что не посмеет?

— Да. Вы говорите: у вас связи есть. Простите за нескромность: кто, например ?

Назвал он мне несколько имен. Шишки!

— Да, если за вами могут в случае чего оказаться такие господа, то против вас Буластиха не пойдет... Когда так и вы в самом деле спасти меня хотите — украдите меня!

Олег расхохотался.

— Украсть?! Вот так штука! Как это ?

— Да, так: будто уж очень я вам понравилась, возьмите меня отсюда на несколько дней, заплатив вперед. У нас подобные долгие отпуски не очень приняты — обыкновенно в таких случаях навязывают надзирательницу. Но вы к нам

приехали с К., а он у нас царь и бог. Что велел, то сделано. А затем остается лишь укрыть меня где-нибудь да не выдавать, покуда Буластиха не поймет, что проиграла игру и не оставит меня в покое...

— Только-то? Да хоть сию минуту...

Ну, сию минуту не сию минуту, а на той же неделе я была свободна!

Олег, поразглядев меня при дневном свете, очень охладел в стремлении меня спасать. Однако великодушно устроил меня в довольно приличных меблированных комнатах на Литейной и дал деньжонок — обойтись на первое время. Через неделю заехал невзначай, застал меня мертвецки пьяною, убедился тем, что спасать меня действительно напрасный труд, и отстал...

Молодец! Отлично сделал! Я рада была, потому что видела, что он рыцарствует, насилуя себя, а, в сущности, я ему противна.

Я думаю, что Буластиха с Федосьей в душе даже рады были, что отделались от меня безубыточно и бесскандально. Но мой пример взволновал других кабальниц из вертепа. А потому сочли они нужным меня наказать — в поучение прочим. «Накатили» бедную Лиляшу! Одним утром вызвана в участок. Короткий допрос, и — «получите книжку»!

Зарегистрированная проститутка-одиночка... Новый фазис бытия!

Из приличных меблированных комнат, конечно, пришлось перебраться в неприличные, сплошь населенные такими же злополучными, как я. Ну... все по порядку: сады, панель, докторские осмотры, сыщики... вся мерзость открытой проституции!.. А все-таки вольная, не под пяткой у Буластихи, не под плеткой у Федосьи!.. Трудно страшно... Заработок плохой, конкуренция страшная, старые проститутки на нахоженных местах не позволяют работать, рычат на новенькую, что пришла хлеб отбивать, дважды была зонтиками избита... Нечего делать, без

мужского кулака, видно, не проживешь: завела «кота», — без всякой любви, так только — для защиты... Васька Шилохвостов — фигура из «блатных».

«Гулять» действительно стало легче, потому что «котя» мой был верзила и силач, имел широкое горло и репутацию головореза, с которым шутки плохи. Но сам-то он был мерзавец, каких мало, — заработок мой отнимал и пропивал до последней копейки, дул меня, пьяный... уж лучше бы, кажется, все девки Александровского сквера лупили зонтиками, чем он кулачищем, когда пьян и зол! А зол был каждый раз, когда пьян, а пьян — каждые сутки дважды!.. Единственное достоинство, что здоровый: не заразил. А впрочем, в этом отношении я и сама не понимаю, каким чудом была укрыта! Кругом товарки так и валятся одна за другой, а я — хоть бы мне что! Счастье ли везло необыкновенное, не брало ли меня — кто его знает. Даже доктора на осмотрах удивлялись: «О вас, мол, следовало бы в клиниках доклад с демонстрацией сделать. Такой редкостный пример иммунитета — раз в десять лет!»

Правда, что всегда, даже в самых грязных условиях, была очень осторожна и чистоплотна, Да ведь зараза — дело секунд, от нее чистотой не убережешься... Нет, Бог хранил! Судил Он, что не допустит меня до самоубийства. Как тогда, после Галактионовых побоев и Матренина издевательства, не дал повеситься, так теперь ограждал... Потому что это-то у меня было твердо надумано: как заражусь — в Неву! Ни самой гнить, ни людей гноить!

Горькое, очень горькое пришло мне житье с Шилохвостовым. Вся-то позаложилась, пообносилась я с этим пропойцей, дураком, ничего не понимающим. В старье, в рванье — в хлебные места показаться совестно: засмеют. Кормлюсь сумерками да закоулками... Если пятерку ухватишь, блаженство! Идеал! А то три да два... рублем, пока что брезговала... Но уже думала: «Это я гордыбачу, покуда лето, тепло,

а придет осень с дождями, зима с морозами — побежишь ты, Лиляшка, и за полтинник!»

А «кот»-мерзавец все пьет да пьет, все бьет да бьет.

Подружки, которые у меня завелись, жалеют:

— Что ты, Лиляша, маешься с этим обормотом? Он тебя доконает. Брось.

— Как бросить? Пришьет!

— Ну, это по-цыгански лапораки, а по-русски враки. Грозы много, а когда это бывало, чтобы «кот» из-за девки на Сахалин нацелился.

— Не пришьет, так изувечит: глаз вышибет, нос откусит, без зубов оставить. На что буду годна? На Сонной за гривенник со своей рогожкой?

— Иди, пока цела и еще не вовсе спала с тела, в заведение. Ты по-французски можешь, тебя в трехрублевое примут с радостью. А из заведения тебя Шилохвостову не достать. Иди. По крайности, отдохнешь и будешь сытая.

В новую-то неволю? Ах, противно! Ах, не хочется! Ах, смерть моя! Воля грязна, а о неволе подумаю: вдесятеро грязнее...

А нужда так и окружает, так и прет со всех сторон — гонит в глухой угол, а в углу — одна калитка: в Чубаров переулок, в публичный дом...

Молюсь, да уж плохо верю, что вымолю... Ан, поди же ты, не оставляет Бог младенцев своих и уповающих на Него!

В том году в августе ждали солнечного затмения и много было о нем разговоров и в газетах усердно писали. Однажды под вечер сидим мы — я и две такие же — безработно в Александровском сквере. Они меня спрашивают:

— Ты, Лиляша, говорят, в гимназии была?

— Если бы и была, что вам?

— Значит, всякие науки знаешь. Не можешь ли ты нам рассказать про затмение — что оно обозначает и от чего бывает?

Я пошевелила немного памятью и пошла поучать. Разошлась, увлеклась... Ах, Александр Валентинович! Вы вообра-

зить не можете, какое это великое наслаждение, какая гордость и радость, когда в свинстве подобной унизительной жизни вдруг нечаянно проверишь себя, и окажется, что — нет! Ты еще не вовсе отупелое животное: что-то разумное помнишь, знаешь можешь толково изложить...

Прочитала я свою лекцию — разошлись. И как раз, словно с того повезло, навертывается «понт»:

— Мадам, разрешите сделать вам компанию?

— С удовольствием.

В два слова — на извозчика, едем ко мне. Вежливый «понт»: подсадил, уютно посадил. Как с дамою. Проезжаем мимо Дациаро — из окон осветило моего «понта». Батюшки! Ай, да Лиляша! Какого молодца-красавца замарьяжила! Глаза палючие, ноздри жгучие, зубы сверкучие, соболиные брови над переносьем сошлись, а нос — точеный... Одет неплохо, однако и не так, чтобы... Не вовсе шентрапа, но и не из господ: очень средней руки «фраер»...

— Послушайте, — говорю, — приятный брюнет, я вами ужасно как сразу увлеклась и поехала, не рассуждая, но... должна предупредить: я меньше трех не принимаю...

Он засмеялся прелестно и возражает:

— А я должен вас предупредить, что меньше пяти не даю... Бросьте! Что за счеты, лишь стало бы охоты!... Скажите-ка мне лучше: откуда это вы так хорошо рассказываете про затмение?

— А вы что же подслушиваете? По полиции, что ли, служите?

— Да, — говорит, — служу... предметом уловления.

— Как это?

— Так: не я ловлю, а меня ловят.

— Ай, страсти какие! Никак революционера Бог послал?

— Нет, не опасайтесь! Хотите, спою «Боже, царя храни...»?

— Нет, спасибо, зачем же середь Невского?.. Стало быть, из «блатных»? Что-то не похоже? Мундир не тот.

— А вы — не по мундиру, а по человеку!.. Да это пустое. А вы мне лучше про затмение-то: откуда?

— Оттуда, что я не всегда была такою, как вы меня видите... Но, молодой человек, если вы намереваетесь расспрашивать меня, как дошла я до жизни такой, то остановите, пожалуйста, извозчика: я слезу. Потому что этого разговора терпеть не могу... Предпочитаю, чтобы мой любовник намял мне бока за то, что я вернусь домой без рубля...

Смеется:

— Ишь вы какая! А кто ваш любовник?

— Да вам-то что?

— А вы назовите.

— Если и назову, вы не знаете.

— А может быть? Я человек знакомства обширного: страх сколько мерзавцев знаю.

— А почему вы уверены, что мой любовник мерзавец?

— Не был бы мерзавец, так не бил бы женщину, кровью которой живет, за то, что она вернулась домой без рубля... Слушайте-ка, это часом не Шилохвостов?

Я так и ахнула:

— Откуда вы знаете?

— Да тоже оттуда, что я не всегда был тем, кем вы меня видите.

Я забоялась: двусмысленно что-то. Сыщиком как будто пахнет, а личностью — нет, не похож. Но он, понимая, успокоил:

— О Шилохвостове я потому догадался, что слыхал, будто он подловил какую-то рыбку-плотичку с образованием... Вы что же очень в него влюблены?

— Чрезвычайно!

— А как?

А мы тем временем едем Аничковым мостом, где статуи.

— Да так, что, ежели бы вот эти бронзовые кони ожили, так хорошо бы его, ненаглядного, к хвостам привязать, чтобы его роздало на четыре части...

Смеется:

— Да, это действительно чрезвычайно сильная любовь... Ну-с, а теперь позвольте и впрямь остановить извозчика: я намерен слезть и вам откланяться...

— Как же так? — забеспокоилась я. — А...

Он перебивает:

— Сегодня я подошел к вам исключительно затем, чтобы сделать знакомство и узнать ваш адрес. Вообще же имею сею ночью неотложное дело, почему и не могу дальше вас сопровождать. Но мы еще увидимся.

— Это очень приятно, и я всегда рада, но...

— Ах, да! что же я?! Чтобы Шилохвостов не намял вам бока, благоволите получить пятерку, которую я посулил...

— Спасибо, но... как же — даром?.. Мне совестно...

— А вы зачтите — за урок, что я прослушал о затмении...

— Послушайте, душенька, — говорю, — вы, извините, может быть, Шилохвостова забоялись и не хотите иметь с ним дело? Так его в эти часы не бывает дома.

Сделал серьезное лицо, а глаза смеются.

— Да, — говорит, — действительно, я с Шилохвостовым сегодня иметь дело не желаю. Это страшно. Я ужасный трус, а он сердитый и сильный... Извозчик, держи рубль, довезешь барыню, куда едет. Мадам, мое почтение.

Прыг и исчез, оставив меня в величайшем недоумении. Что за черт такой странный? То ли впрямь сыщик, то ли из ножевой артели? Всю ночь я о нем продумала, и назавтра, нет-нет, да и вспомнится на дню...

Ввечеру едва вышла из ворот — здравствуйте! Вчерашний мой красавец «понт» тут как тут.

— Какими судьбами?

— А я говорил же вам, что мы еще не раз увидимся. Сделался вашим соседом. Снял комнату в ваших номерах, по вашему коридору.

— Очень приятно, но что это вам вздумалось забираться в нашу трущобу? Хуже номеришек, кажется, не найти, хоть обойди весь Петербург.

— Хочу быть поближе к вам.

— Ах, скажите, какие комплименты! Я так пронзила ваше сердце?

Он пристально-пристально посмотрел мне в лицо палючими глазами и медленно, раздумывая, произнес:

— А вот — еще не знаю...

А у меня екнуло сердце:

— Ой, никак паренек-то влюблен? Да и я как будто дурю — влюбляюсь на старости лет?

Оборачиваю в шутку:

— А как же вы вчера убежали — не хотели с Шилохвостовым дела иметь, потому что он сильный и ревнивый?

— Я не говорил, что вообще не хочу с ним дела иметь, а сказал, что вчера не хочу, а сегодня, может быть, мне даже было бы очень желательно.

— Ой, что вы! Что вы! Не дай Бог! Он вас изломает.

— Изломает, так буду ломаный ходить.

В таких разговорах дошли мы до трактира «Москва», что на углу Невского и Владимирской.

— Зайдем?

Водочка да закусочка, да селяночка, да пожарская котлетка, да бутылочка удельного, да массдуанчик, да бутылочка шипучего, да кофе с ликерами и коньяком... Отвыкла ты, Лиляша, от таких пиршеств.

И единственно, что несколько портило мне блаженство — ложка дегтю в бочку меду, — что столика через три от нас сидели, пиво пили три парня из «блата»: один — известный мне приятель Васьки Шилохвостова, два других — незнакомые.

Блаженствовала, а «понт» мое блаженство наблюдал с величайшим удовольствием и как бы с некоторой грустью.

Кончили.

— Что же, — предлагает, — как ваше расположение, Елена Венедиктовна, не взять ли нам рысачка да не прокатиться ли на острова?

Вышли. У Палкина взяли лихача. Садясь, оглянулась: тип этот, шилохвостовский приятель, стоит на углу, смотрит вслед... А ну его к черту!

Едем. Чудесная ночь. Давно я природы не хватала. Острова в тумане, луна над Невкой, залив в золотом блеске... «Пустыня внемлет Богу и звезда с звездою говорит…» и плакать хочется... И — что уж там! Влюблена, влюблена по уши! Даже страшно!

Прогуляли до белого света... Ну а как повернули с Островов в город, затрясло меня.

Опять сейчас — поганый переулок, поганый двор, поганый коридор, поганый номер, поганый пьяный «кот»... Господи, доколе же?.. Ведь это же... Вот — Неву переезжаем... Благо заря так прекрасна и душа немножко ожила... Бухнуть бы через перила — вместо чем навстречу всей той погани...

А спутник мой молчаливый, словно прочитав мои мысли, отвечает на них серьезно-серьезно:

— Ничего, Елена Венедиктовна. Много претерпели вы от жизни. Поусильтесь, потерпите еще немного. Кончится не кончится, а льгота будет. Уж поверьте. Я даром слов не говорю.

Приехали в свою вонь. Поднялись в номера. Он в свою комнатку пошел, я в свою. Чуть вошла, тарарам по всем дворам:

— Где шлялась до утра, сукина дочь? С каким это хахалем тебя видели в «Москве»? Работать не знаешь, а любовь крутишь? Да я из тебя щепы и дранок наколю! Веревок-бечевок навью!

— Чего зря орешь, пьяница? «Где, где!» Известно, где: с «понтом» гуляла... На! Заткни свою пасть! Бери!

Швырнула ему пятерку, как вчера. Подхватил, посмотрел и ревет:

— Подавай остальные!

— Какие остальные? Что получила, то отдаю.

— Врешь, сука! В «Москве» набанкетовали счет на тридцать рублей, на лихаче покатили... Чтобы после того на пятерке отъехать?.. Подавай!

— Да нету у меня! Родить мне, что ли?

— Подавай!

— Нету!

Схватил он меня за волосы и ну возить! И рычит:

— Врешь! Я вытрясу! Я из тебя вытрясу!

Я — вопить... Номера у нас таковские: нет той ночи, чтобы драки не было. Из соседей кто разве лишь с бока на бок перевернется, заслышав сквозь сон, что который-то «кот» свою «маруху» лупцует.

Но не успела я завизжать в полный голос — дверь настежь, входит мой красивый «понт» и быстрым шагом, к Шилохвостову. Не говоря худого слова — хлясь! хлясь! хлясь!... Не опомнюсь, гляжу, выпуча глаза, как он этакого знаменитого верзилу хлещет, словно подряд взял. А Шилохвостов пуще опешил, и слов у него нет, и никакого сопротивления оказать не успевает, а только в соответствии, куда его эта молния бьет, то морду лапой прикроет, то под ложечкой схватится... И вдруг «понт» — как даст ему подножку! Шилохвостов бух с размаху на пол, инда весь этаж ходуном заходил... А «понт» ткнул его два раза сапогом в ребра, как собаку, и — ко мне, очень спокойно, утирая пот с лица:

— Уф, даже взопрел с подлецом! Собирай, Лиличка, свое барахло, ежели что хочешь взять, да едем ко мне на квартиру!..

Слышали? Понимаете?

Да-с! Вот он какой у меня, мой Черненький! Вот так мы с ним начали!.. Что? Скажете, не Наполеон?

* * *

Проституционный период биографии Елены Венедиктовны не кончился с переходом ее под покровительство Черненьного

кого. Она только сменила «кота»-сутенера и изверга на бескорыстного «кота»-любовника, который, когда бывал в удаче, сам почитал за величайшее счастье баловать ее, как умел и мог. Оправдывал! собою пословицу «щедр, как вор». Но свое обещание, что «кончится не кончится, а будет льгота», Черненький оправдал полностью.

Так как он свою Лиляшу не грабил, то она своим заработком стала оправдывать жизнь. Так как он свою «Лиличку» поддерживал материально, то она гораздо реже стала необходимо нуждаться в заработке, получила возможность осторожного выбора и выжидания, понемножку подняла себе цену, стала опять появляться в садах, переоделась из убогой роскоши наряда в приличный туалет. Так как в темном мире петербургского дна хорошо было известно, что за свою Лиличку Илья Черненький не постеснится пустить в ход не только страшные свои кулаки и мастерство в японской борьбе, но и финский нож, то под кровом его грозной репутации Лиляша проживала сравнительно спокойно и выправилась понемногу нервами и общим здоровьем.

На второй год их благополучного сожительства весною Елена Венедиктовна однажды в саду Неметти завидела издали в толпе стародавнего знакомого своих девических лет. Поспешила было отвернуться и скрыться, как всегда поступала она при появления какого-либо призрака из своего разрушенного прошлого. Но знакомый уже узнал ее, окликнул, догнал, поздоровался, вступил в дружеский разговор. Это был знаменитый оперный артист, баритон Леонид Георгиевич Яковлев. Он оказался последним мужчиною из тех трех, которых Елена Венедиктовна считала своими избавителями: Олег, Черненький, Яковлев. И, конечно, наиболее бескорыстным из трех, потому что те двое были заинтересованы в ней любовно. А Яковлеву ли было льститься на тридцатипятилетнюю, издержанную в проституции, пьющую женщину? За ним, красавцем и очарователем, по Петербургу бродила целая армия пси-

хопаток, и он, как Дон Жуан — выбирай любую! Нет, он, как очень сердечный человек, просто ужаснулся при виде, до какого унижения дошла в женском своем падении когда-то хорошо знакомая ему чистая девушка. И сжалился, протянул Лиляше руку, чтобы выбиралась она из трясины и становилась на ноги, если не Лили Сайдаковой, то хоть «Еленой Венедиктовной Мещовской», как слыла она в качестве хозяйки хора.

Идею организовать хор дал ей Яковлев, сам наведенный на то рассказом Лиляши, как она, живя в кабаке у Буластихи, организовала хор своих товарок.

— Значит, вы это умеете?! — воскликнул артист. — Так почему же вам не заняться тем же на воле?.. А ну-ка, я вас проэкзаменую?

Нашел:

— Голос у вас маленький и подержанный, но музыкальность несомненная, ноты читаете прекрасно оттенки понимаете и исполняете... Право, мой вам совет: займитесь-ка хором... Это дело, если повезет, выгодное. А для того, чтобы повезло, у вас много данных: и наружность, и манеры, и любезность обращения, и симпатичность, и, наконец, извините меня, вся сумма ваших привычек... Извиняете?

— Охотно извинила бы, если бы понимала, какие привычки вы, Леонид Георгиевич, имеете в виду...

— А вот слушайте. Я сам человек грешный и понимаю грешных людей: сердце сердцу весть подает. Вы очень хорошая, милая женщина. Судьба затянула вас в ненавистную вам профессию. Вы стремитесь из нее вырваться, уйти в так называемую честную жизнь, которая определяется семьею или женским трудом, у вас нет решительно никаких данных. Ведь с Ильей Тимофеичем вы расстаться не намерены?

— Что вы! Разве может быть об этом речь? Одна могила разлучит.

— Очень понимаю и одобряю. Но разве в неразрывном союзе с ним возможно думать о строительстве семьи, даже если бы вы сами оказались к тому способны, что, согласитесь, еще тоже под сомнением?

— Соглашаюсь, потому что, когда я имела случаи выстроить семью, я все их пропустила равнодушно и небрежно.

— Вот видите! Значит, «спасение» вас по первому способу, семейному, мы зачеркиваем. Как по вашей неуверенности в самой себе, так и по необходимости сохранить в качестве ближайшего вам человека, лицо столь мало пригодное в «отцы семейства», как Илюша Черненький. Обратимся ко второму способу…

— Здесь я и сама вам подскажу, что ни в гувернантки, ни в телеграфистки, ни в телефонистки, ни в стенографистки я не гожусь, даже если бы допустили меня...

— Совершенно верно. И скажу вам даже так, что, если бы вы вообразили, будто годитесь и принудили себя, то ваш опыт оказался бы лукавою насмешкою над собою. Когда женщина привыкла жить в мужском шуме, пить вино, есть ресторанную пищу, ложиться спать в шесть часов утра, а вставать с постели в четыре пополудни, когда она закладываете последние ценные вещи для того, чтобы сохранить на себе хорошее модное белье, — какая же она гувернантка, стенографистка или там прочее? Это не спасение, а самоиздевательство.

— А как же вы понимаете спасение?

— Вообще или для вас?

— Ну, хоть для меня? Это мне ближе.

— Для вас спасением, по моему пониманию, было бы сохранить ваш привычный образ и строй жизни, устранив из них только тот ядовитый элемент, который вас мучит и отвращает...

— То есть — продажность?

— Прямым словом, да. И вот, я думаю, что в качестве хозяйки хора вы без крутого перегиба палки в другую сторону могли бы найти среднюю линию, чтобы пойти по ней с реши-

тельной поправкой к главной своей «ошибке прошлого», а в то же время не лишком себя обнажая... Вы сами говорите — может быть, немножко преувеличивая, — что организм едва ли в состоянии, но упорядочить его и управлять им очень можно. Для этого, однако, необходимое условие, чтобы он не испытывал физиологической тоски по своей отраве...

Черненький понял и принял идею Яковлева с пылким энтузиазмом. Он был изумлен и восхищен легким разрешением трудной задачи, над которою он давно и мучительно ломал голову, а — «ларчик просто открывался».

Ходатайством и поручительством Яковлева градоначальник разрешил Елене Венедиктовне выписаться из регистрации и остаться в Петербурге без обычного в таких случаях испытательного срока. Жарко молилась она за благодарственным молебном, отслуженным ею в часовне Стеклянного завода.

Тогда же дала обет перед Пречистою: ни самой торговать собою, ни другою какою-либо женщиною; а ежели увижу я в близости себя девушку ли, женщину ли, которая заносит ногу на этот путь, то сделать все, что будет в моих силах, чтобы ее остановить и отклонить... И этот свой обет я сдержала: нет на моей душе ни одной женской погибели, и не бывало такого случая, чтобы я, замечая, как женщина, а того пуще девушка, обиженная, гибнет, не поспешила бы ей на помощь... Оттолкнет — ее воля, а бывали и такие, что говорят и письма пишут, будто молят за меня Бога. Авось их молитвами заслужу я, старая грешница, какую-нибудь милость к моему окаянству на суде Владыки Небесного... На свои-то молитвы плоха надежда... Люблю одну — может быть, знаете? — «Оком благоутробным, Господи, виждь мое смирение, яко помале жизнь моя иждивается, и от дел несть спасения. Сего ради молюся: оком благоутробным, Господи, виждь мое смирение, и спаси мя...» На благоутробное око Господне уповаю с дерзновением, а на дела... ох, ох! уж наши дела — как сажа, бела!.. «Суда Твоего Господи, боюся и муки бесконечные, злое же творя, не престаю!..»

Осуществить хоровое предприятие много помогала Елена Венедиктовне странная внезапность, которую она с убеждением считала за чудо. Однажды ее совершенно неожиданно вызвал письмом в свою контору на Невском нотариус, барон Р. фон Р., чтобы сообщить, что ее уже давно разыскивает душеприказчик скончавшегося год тому назад дворянина Аристарха Вадимовича Беляева, ибо в его завещании среди нескольких других женских имен упомянута и она в трех тысячах рублей — «чтобы не поминала лихом». Елена Венедиктовна, уверенная, что le beau Dunois давным-давно забыл об ее существовании, да и сама его уже порядком забывшая, так была потрясена загробною щедростью своего маркиза де Корневиль, что сперва даже недоумевала, брать ли. Но решила, что тут «перст», и взяла. На эти деньги и основала она свою первую капеллу в порядке быстром и упрощенном.

Пошла Елена Венедиктовна по частным музыкальным школам и курсам второго разряда, вроде Рапгофа и т.п., подобрала-сговорила пяток девиц с голосами и недурных из себя. Приняла в аккомпаниаторы музыкантика с пропитым, но чутким талантом, — Яковлев же рекомендовал. Разучила десятка полтора ходовых хоров. Пошила своим красавицам каждой по три дешевых костюма — русского, малороссийского и мордовского шитья. Черненький выловил где-то в трущобах превосходного гармониста и пару плясунов, мужа с женою: откалывали русскую — аж небу жарко, и если бы не были горькие пьяницы, то им бы на столичной сцене место. И, как приблизилась Нижегородская ярмарка, двинулась в Нижний впервые русская капелла Елены Венедиктовны Мещовской: такой псевдоним она себе взяла по городу, откуда был родом Черненький. Предварительные расходы и поездка стоили ей кучу денег и истощили до дна ее небогатую казну.

— Мы в Нижний так въехали: у меня, кроме багажа по хору, имущества — что на мне да в портмоне три целковых, а у Черненького — крест на шее да финский ножик в кармане.

Но — повезло! С первого же вечера определилось, что попали в точку и пойдем в ход. К концу первого месяца я уже имела возможность приодеть моих девиц русскими боярышнями семнадцатого века: новый эффект — новый успех! Начинали мы ярмарку в трактирчике второго разряда, с керосиновым освещением, а кончили у Егорова — да-с! Ни больше ни меньше, — с тем нас возьмите!.. А там — Ирбит, Харьков, киевские «Контракты», Кавказские воды, Ташкент... Где я с капеллой ни побывала, какого народа ни перевидала! Смею сказать: моя капелла на всю Россию известна и без дела не сидит. Теперь во Владивосток зовут, да уж больно дальний свет: пожалуй, покуда дотащимся, по дороге всех девчонок растеряю. Уже так было однажды — в Средней Азии. Приехали сам-девять, уехали сам-друг: остальные замуж повыскакали. Эти безневестные места — беда! Вот еще не люблю я Закавказья, а пуще всего Баку: нравы там пылкие, мужчины — черти ревнивые… Еще ничего не видев и прав никаких не имея, — а он уже глазищами сверкает, зубищами скрипит, за кинжал-минжал хватается: «Тибэ конэц, минэ конэц… немножки рэзать будым!..» В Баку у меня одна ярославочка крутила любовь с молодым персюком… красавец был и с состоянием... Да — покажись ему, будто она сладко поглядывает на офицерика одного… Ну, и утопла в мазуте... Дьяволы!.. А во Владивосток все-таки как-никак надо подняться. Покуда туда путь далек и труден, Дальний Восток — золотое дно. Пройдет Сибирка — будет уж не то. Хлынет конкуренция. Не то что мы, маленькие, а поди сама Надежда Славянская с хором поплетется, даром, что хор-то у нее — сто человек, и все в парче-бархате...

* * *

С Еленой Венедиктовной мне не суждено было встретиться больше. Как она кончила свое существование, не знаю, — может быть, и посейчас жива, хотя уже и древнею

старухою, изрядно за семьдесят лет. Но в 1899 году, глупейше прогорев на театральной антрепризе в Петербурге, приехал я в Москву искать кредита. Известный присяжный поверенный, Николай Петрович Шубинский, к которому я, по приятельским с ним отношениям, обратился за советом, дал мне рекомендацию к некоему своему клиенту.

— Я недавно этого подлеца из петли вытащил, — пропищал он своим высочайшим тенором, с обычною, несколько циническою, усмешкою в странных лиловатых глазах, — так едва ли откажет и, надеюсь, не очень обдерет.

Фамилия вытащенного из петли «подлеца» послышалась мне как будто знакомой, но — откуда, не припомню. Признал, когда посидел с этим Сахаром Медовичем четверть часа с глазу на глаз в учтивейших переговорах. Денег он мне дал под крепкий вексель с поручительством Шубинского, но ободрал жестоко. Шубинский, узнав принятые мною условия, даже руки воздел к потолку и пропищал уже на предельных фальцетных нотах:

— Александр Валентинович, не будучи пророком, имею честь предсказать вам, что вы кончите жизнь под забором и без штанов!

«Нечто среднее между сахарною головою с черными бровями и сдобным пасхальным куличом с изюмом», — вспомнил я, разглядывая многолюбезного ростовщика, образное описание Михайлы Ивановича Фоколева моею нижегородскую приятельницей Лиляшей.

Михайло Иванович в делах своих заметно весьма процветал. Бюро имел солидное, почти роскошное. За кассою в стеклянной клетке сидела пышная молодая особа купеческого телосложения и большой красоты, — и что у нее, то у Михайлы Ивановича одинаково тяжеловесные обручальные кольца: счастливое супружество, значит!

Покончив сделку, пригласил я Михайлу Ивановича, по московскому обычаю, к Тестову. И разговорились.

— А что, — спрашиваю, — с вашим приятелем, Галактионом Артемьевичем Шупловым, вы — как? Помирились или нет?

Он от неожиданности дрогнул своею белосахарною маскою и машинально ответил:

— Как же... давно помирились… — Но тут же, спохватясь, подозрительно уставил на меня свои две коринки. — А вам, смею спросить, откуда известно, что мы приятели и… были в ссоре?

— Да от той самой особы, из-за которой вышла ваша ссора...

Он сильно покраснел, но принял равнодушный вид и презрительно пожал плечами.

— Совершенно погибшая личность. Зазорно ее и поминать...

— Вот вы — как? После любви-то?

— Что вы, помилуйте, какая же любовь? Так, баловство по молодости холостых лет… Мало ли девок через руки проходило… Это Шуплов, дурак, ее всерьез принимал… Ну и поплатился же!..

— А что?

— Да... как вам изъяснить? Делами-то он — ничего, очень даже преуспел. Живет в Сибири и после Иваницкого, отошедши от наследников на самостоятельные разные там промыслы, весьма пушисто оброс, не будет ошибкою назвать капиталистом. Но падучка его доезжает, и... супруга ихняя намедни были в Москве по делам вместо него самого с доверенностью. Уже это, изволите видеть, многозначительно: когда же то бывало, чтобы Галактион по своим делам не сам на себя ответственность брал?.. Так очень тревожно были и не хвалили: не пришлось бы им Галактиона в безумном доме содержать... Потому что это — как его? — находит на него религиозное умопомешательство, чтобы, значит, все имущество раздать, а самому идти проповедовать новую веру... Я им, Аграфене Селиверстовне то есть, советовал, пока что до бе-

зумного дома хлопотать об опеке. Но они робкие, совестливые, тоже маленько с дурнотой от божественного: жалко им... Напрасно: сбрендит однажды вовсе — пропадет капитал... Тем паче, что Дросидка там вокруг бродит-вертится...

— Ах, эта?! А с нею что?

— Тоже в Сибирь попала, только не очень по своей воле. Она в Питере держала квартиру для гулящих девиц...

— Да, это я слышал...

— Ну-с, однажды на этой самой ее квартире обнаружилось «мокрое дело»: зарезали гостя, купца. Понапрасну пропал: думали, он икряной, с тугим бумажником, а вышел покойник плут — единственным сотенным билетом бахвалился, обернув им цветные бумажки... Сама-то Дросида рук не прикладала: обработали купца девки да вышибала. Они поплыли на Сахалин, а Дросиде, как она судилась только по прикосновенности, что знала, да не донесла, присяжные дали снисхождение... отделалась поселением. А в 1896-м на коронацию попала под манифест — теперь вольная, живет у племянника, катается как сыр в масле...

— Добрый, однако, человек Шуплов! Принять к себе такую особу после всех горестей, которыми он ей обязан...

— Да ведь он чудак. Когда Дросида к нему запросилась, он — что?! «Ах, говорит, пожалуйста! Ты мне для спасения души полезна будешь. Я, когда на Аграфену гляжу, то Бога помню, а на тебя глядя, не буду забывать, что дьявол есть...» Так и проживает старушечка на племянниковых хлебах на предмет напоминания о дьяволе... А мою собственную тетеньку, Матрену Матвеевну, вы изволили знать?

— Даже лично, когда она служила у Эллы Федоровны Левенстьерн...

— С этою, пожалуй, самый большой переворот жизни вышел. Когда Элла Федоровна задумали переселиться за границу, тетенька не пожелала последовать за ними, и по этому случаю вышла между ними ссора, так что и вовсе расстались. Немно-

гое время спустя тетенька говорят мне: «Ну, Миша, послужил ты мне не год, не два верою и правдою. За прошлую твою службу прими от меня великое спасибо и поклон до земли, а теперь — баста! Давай делиться — выхожу из дела! Потому что надумала я замуж за немца, а он из благородных и ревнив, так что нам с тобою отныне, значит, не по пути…» Я от радости едва удержался — до потолка не подпрыгнуть бы: Господи, услышал ты мои молитвы! Отваливается мое чудушко-кровопивушко!.. На свадьбе был, немца видел: здоровенный немец, кровь с молоком, и лета не более, как двадцати пяти, а ей-то уж куда за сорок... Однако этот немец напрасно на себя много надеялся. Хотя в капитале он тетеньку почистил достаточно, но за то она его в здоровье изнурила. Так что, три года проживши, стал он кровью кашлять и помер в чахотке... А тетенька, овдовев, ныне не хотят больше оставаться в грешном миру, но поселились для спасения души при той самой обители, где мать-игуменьей была в последние годы жития своего покойная мать Пиама, Галактионова маменька по плоти. Покамест так живут на положении как бы постоянной богомолицы, боголюбивой жены и ревнительницы, но мечтают со временем принять постриг... Хорошая обитель, богатая... Дьяконище там у них — голосом не вышел, зато и в женский монастырь спущен, но сущий Петр Великий: ростом с сосну, в плечах косая сажень, кулаком тумбу расшибает... Этот тебе не немец, кровью не закашляет... хи-хи-хи!...

Ну вот и слава Богу! Заключая «Лиляшу», я рад, что после стольких грешных женщин и мужчин мог показать под конец читателям хоть одну «спасенную душу», которой благой и добродетельный исход житейский оправдывает требование вечной справедливости, чтобы порок был наказан, а добродетель торжествовала.

Levanto

1913—1925—1928

ИЗ ПУБЛИЦИСТИКИ

ПУТИ РУССКОГО ИСКУССТВА
(*Извлечение*)

«Золотой петушок» Н.А. Римского-Корсакова — лебединая песня великого творческого таланта и первый крупный опыт музыкальной сатиры в самом остром и широком смысле слова — вновь выдвинул на сцену старый русский спор: политическое ли дело музыка и прилично ли музыкантам волноваться общественными вопросами и интересами настолько, чтобы подчинять их отражениям жизнь и движения своего искусства? Можно принять за несомненность, что музыка, как сила, воспринимаемая из пяти чувств человеческих всего лишь одним — слухом, — притом изо всех пяти самым зыбким, хрупким и менее всего определенным, — есть наиболее отвлеченное из свободных искусств. Однако в соединении со словом музыка необычайно легко перевоплощается в общественную идейность. В доказательство достаточно привести нехитрые мелодии и гармонические формы любого национального или классового гимна: «Марсельезу», «Варшавянку», «Rule, Britannia»*, «Шуми, Марица», «Internationale». Бывает, что, полюбив мелодию со словами, народ или общественная группа забывают потом слова и музыка укореняется в их

* «Правь, Британия» (*англ.*).

политической памяти символом только звуковым, а не словесным. Таков «Гарибальдийский марш» в Италии. Мало кто знает до конца текст «Марсельезы», польских революционных гимнов. Но когда-то его знали, он был и он создал первое обаяние этих звуков, он сделал, что они стали политическими и засели в памяти, им родной и близкой, как волнующий, страстный намек и символ. Ну а без слов? Мыслима ли, так сказать, общественная выразительность звука? Возможно ли превращение музыкальных звуков в социальную или политическую конкретность? Подлежит ли музыка политической ответственности, понимая последнюю, конечно, не в участковом смысле слова, но в моральнообщественном? Способна ли она, превратясь в политическую или социальную служебность, послужить определенным политическим целям и выразить собою политическую фигуру ее творца?

Мною посвящены вопросу этому большой двухтомный роман «Сумерки божков» (2-е издание книгоиздательства «Прометей») и заграничная брошюра «Искусство и русская современность». В настоящих своих набросках я хочу лишь отразить вкратце исторический ход этого спора.

Собственно говоря, он жив только для общества и публицистики. Правительственный опыт давно решил его для себя в смысле непоколебимо утвердительном, поставив над всеми областями русского искусства ряд строгих и придирчивых цензур, обязанных блюсти, чтобы никакое искусство никак не могло воспользоваться своими средствами и способностями именно на служение политическим идеям, правительству неудобным. А вся история русского искусства есть, собственно говоря, мартиролог или приспособлений творчества к государственным требованиям, терпимостям и возможностям, или попыток политической мысли проскользнуть сквозь цензуру хотя бы в искалеченном и маскарадном виде и сказать свое вещее слово эзоповым языком, эзоповыми красками, эзоповым резцом и вот теперь, оказывается, даже эзоповыми мелодией и гармонией, темпом и ритмом оркестра. Один из читателей «Сумерков бож-

ков» прислал мне интересное и шутливое замечание, что он был бы счастлив прослушать оперу «Крестьянская война», которая дает центр моему роману, но сомневается, чтобы подобную оперу допустила к представлению цензура, а следовательно, «вы, господин Амфитеатров, прегрешили против любимого вами реализма». Искажения и смехотворные переделки цензурою текста в «Золотом петушке» доказывают, что, к сожалению, читатель мой прав. Там, где цензура столь зорко стоит на политической страже, фактическая проницательность ее бывает воистину еще глубже и тоньше, а редактирующий такт изящнее и остроумнее всех ядовито выдуманных о том бесчисленных анекдотов. Не выручили Римского-Корсакова ни сказочный колорит, ни пушкинский авторитет и стих. Кажется, это первый пример в истории искусства, что комическая опера-сказка была проверена и обрезана с точки зрения политической опасности.

Наша лирическая сцена была политическою с самой ранней зари своей. Комические оперы Аблесимова («Мельник, колдун, обманщик и сват»), Лукина и Княжнина («Сбитенщик») с музыкой Булана и Фомина ярко внесли в русский екатерининский театр начала народности и демократический дух. С подмостков «Эрмитажа» крепостная оперная певица Лизонька Сандунова высмеивала в сатирической импровизации «при аплодисментах партера и метании на сцену кошельков» всемогущего вельможу-волокиту, графа Безбородко. Сама Екатерина II пользовалась оперною сценою для злых политических сатир на Потемкина и Густава, короля шведского. Мощная эпопея Отечественной войны наполнила театр патриотическими операми. Высшим и много позднейшим примером их явился «Иван Сусанин» Кавоса, прямого предшественника Глинки и в сюжете, и в сравнительной серьезности музыки.

В последние годы царствования Александра I и при Николае I окрепающий абсолютизм, распространяя цепкую паутину на все отрасли русской жизни, не позабыл об искусстве и поработил его себе тем усиленным, казенным меценатством,

которое покойный Лесков так хорошо начал было изображать в своем романе «Чертовы куклы», оставшемся недоконченным по цензурным причинам. Очень жаль это, потому что замысел Лескова был громаден, а эпоху и характеры он знал великолепно, чему и оставил свидетельство в «Захудалом роде». Роман этот можно считать предисловием к «Чертовым куклам». Уже в «Захудалом роде» начинают бродить по сцене Бенкендорф, Орлов и прочие творцы солдатско-светской атмосферы, в которой по воле Николая разложились и вымерли остатки старой боярской Руси. «Чертовы куклы» направлены были специально против дворцовой дисциплины искусства. В трагикомедии своего Фебуфиса Лесков собирался совместить две печальнейшие драмы двух величайших художников николаевского века: рассказать, как исказился и разменялся на медную монету громадный талант К.П. Брюллова, и бросить свет на причины и подробности смерти А.С. Пушкина. Царствование Николая I — эпоха блистательных дворцовых рабов в искусстве: эпоха живописи Брюллова, драмы Кукольника, музыки Глинки, — рабов, связанных в творчестве своем страхом неумолимого деспотизма, закупленных деньгами и милостями. Когда рабы ворчали, роптали, бунтовали, как Пушкин и Лермонтов, когда они осмеливались быть сами по себе и защищали свою поэтическую самостоятельность либо ставили ее в прямую оппозицию с бытовым укладом и нравами дворца, Бенкендорфы, Дубельты и фон Фоки уничтожали роскошные, но буйные таланты без всякой жалости, как какие-нибудь сорные травы. Даже не считая ряда разнообразнейших талантов, истребленных казнями, ссылкою и тюрьмою либо солдатчиною после декабрьского дела, николаевское царствование — эпоха насильственных смертей, безумия и преследования всех художественных и поэтических индивидуальностей, не входивших в рамки казенных программ. Грибоедова, оставшегося в полуподозрении по 14 декабря, отправили посланником в Те-

геран с совершенно сознательным предчувствием, что он послан на убой к личному своему врагу, персидскому шаху. Французский авантюрист Дантес в результате интриги, созданной Третьим отделением, пристрелил Пушкина. Лермонтов выброшен за строптивость на Кавказ. Его пощадили пули черкесов, но выстрел Мартынова, покончивший с великим поэтом в дикой грозе между Машуком и Бештау, был приветствован в Петербурге выразительным некрологом: «Собаке собачья смерть». Умницу Катенина сделали запойным пьяницей в тоске деревенской ссылки. Гениальный архитектор Витберг, вдохновенный автор мистического первопроекта храма Христа Спасителя в Москве, оказался слишком строптивою и непоклонною головою для петербургской кордегардии. И сам он очутился ссыльным, нищим, опозоренным и оклеветанным стариком в далекой Вятке, а вместо Витбергова храма на Воробьевых горах, которому посвятил такие поэтические и пылкие строки Герцен, Москва украсилась плачевно-огромною белою часовнею Тона с гнутыми золотыми куполами, казенного мниморусского типа. Лишь крайне незначительное число истинно крупных творческих умов и талантов достигало в ежовых рукавицах николаевского века пожилого возраста. Большинство вымирало к пятидесяти годам или едва перевалив за пятьдесят, а из большинства большинство — много раньше. Достаточно назвать имена Пушкина, Грибоедова, Марлинского, Гоголя, Белинского, Кольцова, Лермонтова, Полежаева, Баратынского, А.И. Одоевского, Рылеева, Веневитинова, Станкевича, Киреевского, Дельвига. Из исчисленных только один Баратынский прожил 44 года. Смолоду и он побывал в штрафных солдатах. Недолговечность эта выразительна не только в случаях, где она зависела прямо или косвенно от правительственного гонения, но и в тех, где смерть приходила по чересчур раннему зову естественных причин. Тоска и нервность мучительной неволи в бездушном пространстве, в царстве без атмосферы,

сокращали жизнь даровитых людей — они задыхались, как вольные птицы под колоколом воздушного насоса. Из всех названных писателей нет ни одного, кто не обмолвился бы сравнением жизни с тюрьмою. Никогда и нигде, кажется, не было написано стихов на тему «Узнику» больше, чем в николаевской России, причем писали их далеко не те лишь поэты, которые в самом деле физически испытали скорби тюрьмы. Нет — вся жизнь была тюрьма, из жизни вон рвались люди, как узники из тюрьмы. В какой черной яме удушались живая мысль и чувство русского общества, лучше всего ответит то странное обстоятельство, что даже сибирская ссылка сохраняла человека долголетнее, здоровее и в большей нравственной и умственной свежести, чем удушье петербургского двора — дворцовой камарильи и служилой аристократии. Возвращенные из Сибири Александром II, декабристы почти не застали в живых своих сверстников, ровесников и друзей идейных. А в сравнении с теми, кого застали, они были — как юноши рядом с разбитым, изжившим себя и физически и нравственно старичьем.

Пора безжалостного топтания непокорных талантов, дождей золота и почестей для талантов, умеющих проституировать себя, как Даная: желающих уловлять мановения и потрафлять на предначертания. Мы знаем исторически, что при Николае признанное прекрасным в «сферах» не могло подвергаться критике, а порицание и отрицание одобренных при дворе красот равнялись государственному преступлению. Первый более или менее серьезный политический журнал русский, «Телеграф» Полевого, был запрещен за строгую рецензию о патриотической драме Кукольника: «Рука Всевышнего отечество спасла». Сам Полевой был арестован и отдан под надзор полиции, а затем уже дрожал перед нею до конца дней своих, искупая минувшие дерзновения фабрикацией «Параши Сибирячки», «Дедушки русского флота», «Купца Иголкина» и тому подобных сценических гимнов во

славу и преуспеяние квасного патриотизма. Известен результат: «Вчера граф Александр Христофорович (Бенкендорф) позвал меня (Полевого) к себе. Государь благодарит вас, велел сказать вам, что он никогда не сомневался в необыкновенных дарованиях ваших, но не предполагал в вас такого сценического искусства. Он просит вас, приказывает вам писать для театра. Давайте мне все, что вы напишете, Государь сам будет все читать». И бриллиантовый перстень! Коготок увяз — всей птичке пропасть. Со ступеньки на ступеньку несчастный, когда-то крупный Полевой опустился очень низко. В 1846 году он даже выдал Третьему отделению собственного сына своего, Никтополиона, бежавшего за границу с политическою целью. Юношу поймали в Западном крае и посадили в крепость. Кукольник, Булгарин, Греч, Загоскин чуть ли не после каждого нового своего произведения получают денежные награды, пособия, ссуды, пенсии, бриллиантовые перстни. Даже Гоголь «ввел чуть ли не обязательной суммой в свой бюджет подачки царя и других членов двора» и платил за них жестоким позором льстивых писем и расчетливого шутовства.

За театром, за музыкою, за живописью, за скульптурою — всюду чувствуется грозная фигура Николая I с его неумолимою, всюду проникающею подозрительно-придирчивою политическою опекою. Долго держалась легенда, что Николай взял на себя цензуру сочинений Пушкина затем, чтобы защитить поэта от полицейской, светской и прихлебательско-литературной ненависти, окружавшей его в Петербурге. Но — открылись архивы, произведены тщательные, внимательные исследования, и минула легенда. Прежде всего, совсем не один Пушкин имел царя своим цензором, но и целый ряд выдающихся литераторов с сомнительным для правительства настроением ума. Затем мнимая милость оказалась цепью, и даже не золотою, — весьма откровенною цепью на величайший талант XIX века, дабы мировая сила его не бушевала

океаном, а текла бы Мойкою или Фонтанкою, не выше и не шире того, как велит петербургский гранит. Что мелких унижений, оскорблений, придирок, подозрительных запросов принимал Пушкин от жандармерии именно из-за сомнительной привилегии своей иметь цензором императора Николая, — не к месту здесь рассказывать. Мартиролог этот достаточно освещен — хотя бы в книге Лемке о «Николаевских жандармах». Поэт очутился в тисках ответственности, сравнительно с которою даже самый ничтожный писака того времени мог хвалиться, что он пользуется «свободою печати». Известно, что все сведения о членах царской фамилии в России и посейчас еще могут печататься не иначе как с разрешения министерства двора. Ну так вот и вся мнимая свобода, которою наградила Пушкина цензура Николая I, в действительности свелась к тому, что Пушкин очутился на положении хронического сведения об императорской фамилии, которое оглашать было преступлением до тех пор, пока чрез Бенкендорфа не звучало из царского кабинета благосклонное: «Можно». Истории с московским чтением «Бориса Годунова», стихотворением «Анчар» и т.п. ясно показывают, что поэт был изъят из ведения общей цензуры отнюдь не в поощрение себе, а из недоверия к слабоумию общих цензоров. Когда Пушкин обращался к последним, хитря, будто царская милость не лишает его права печатать свои вещи и на общем положении, установленном для всех подданных, — Бенкендорф бил тревогу, Николай гневался, и Пушкин получал оскорбительные, уничтожающие выговоры, как проштрафившийся мальчишка.

Лесков все в тех же «Чертовых куклах» остроумно и тонко передает, как Николай думал брюлловским «Последним днем Помпеи» послать победоносный вызов просвещенного абсолютизма революционной романтике, воплощенной в «Битве гуннов» Каульбаха. Николай I ненавидел романтизм, как политического врага, и охотно снисходил со своего Олимпа, чтобы полемизировать с ним. Он нанимал актеров высме-

ивать со сцены эксцентрические манеры графа Самойлова; в угоду великой княжне Марии Николаевне, принявшей на свой счет стихи Лермонтова «Первое января», Соллогуб пишет на поэта по высочайшему заказу пасквильную повесть «Большой свет»; композитору и директору театров Верстовскому велено затмить Мейербера, и злополучный Верстовский, едва владеющий музыкальными формами дилетант, сочиняет музыкальные чудовища, сперва «Пана Твардовского», потом «Громобоя», все русские мины под «Роберта-Дьявола». Народнический стародворянский патриотизм Глинки не удовлетворил Николая. Он был в восторге от монархического настроения «Жизни за царя», но остался недоволен, зачем поляки убивают Ивана Сусанина, тогда как в старой опере Кавоса Сусанин не только оставался жив и благополучен, но еще и пел веселые куплеты:

Пусть злодей страшится
И дрожит весь век!
Должен веселиться
Добрый человек!

Патриотический энтузиазм пристегивался всюду, без разбора, кстати или некстати: даже к водевилю. Не какой-нибудь «либерал и щелкопер», а почтеннейший С.Т. Аксаков жалуется в 1828 году: «Часто дают «Татьяну прекрасную на Воробьевых горах», которая отличается особенно следующими стихами:

За царя, за славу, честь
Нам слона приятно съесть.

Рецензент трагедии Кукольника «Федор Васильевич Басенок» указывал в статье своей, что «правительство во времена великого князя Василия Васильевича Темного само прибегало к средствам ослепления и, таким образом, давало

некоторый повод действовать наоборот с толиким же варварством Шемяки в отношении великого князя Василия». Бенкендорф немедленно, по личному приказу Николая, требует от министра двора, князя Волконского как обер-цензора театральных рецензий, чтобы тот принял надлежащие меры к «удержанию театральной критики в должных и ей приличных размерах». При этом он сообщил личный взгляд Николая на театральную рецензию: «Вообще разбор театральных пьес должен относиться к похвале или умеренному осуждению сочинения и игры артистов, а не к истории». Благоволение к театральной лести и строгая подозрительность к театральной оппозиции, открываемой, как мы видим, даже в справке исторической, относительно нравов Шемяки и Василия Темного, превращают николаевский театр, несомненно, в сознательную политическую силу, построенную если не искусно, то надежно и даже вызывающе, в орудие систематической предумышленности справа, не боящейся упрека за неразборчивость и нестесняемость средств. Шеф жандармов Бенкендорф заказывает актеру Каратыгину куплеты в похвалу Николаю «по поводу польского мятежа и холеры в Москве», а позже преемник Бенкендорфа Орлов — стихи против французов, на узурпацию Луи Наполеона 2 декабря 1852 года. Когда известный де Кюстин нанес николаевскому режиму страшный удар своею знаменитою разоблачающею книгою, «La Russie en 1839»*, Греч предлагает Бенкендорфу для полемики против обличителя взяться за театральные средства. «Мы затеваем написать водевиль «Voyage en Russie»** и выставить Кюстина на посмеяние всему Парижу. Содержатель театра de la Porte St. Martin берется дать эту пьесу, но и тут нужно будет подмазать: Париж хуже нашего нижнего земского суда, без денег ничего не сделаешь. Помогите, а я рад стараться и маркиза

* «Россия в 1839 году» (*фр.*).

** «Поездка в Россию» (*фр.*).

выставить перед всем светом, как он того стоит. Я замышляю с Оже составить итальянскую оперу из русской истории и дать привезенные мною сюда русские мелодии Доницетти для сочинения музыки на русские мотивы. Я уверен, что это произведет большое впечатление и очень выгодное».

Записки Глинки — драгоценный материал, чтобы почувствовать всю скользкость положения, какую создавала придворная опека даже покровительствуемому таланту. Все, под чем Николай чувствовал стихийную силу Прометеева огня, голос самостоятельной, убежденной гражданственности, внушало ему ревнивую подозрительность. Глинка был музыкант-патриот, но Николаю нужен был музыкант-полицейский. Глинка пел голосом старорусской народной песни, но Николаю нужен был голос маршевой русско-немецкой команды. И в конце концов Глинка бежит из Петербурга, как из плена, разочарованный, разбитый, — умереть на европейской свободе со своим оплеванным и осмеянным, никому не нужным «Русланом».

Любопытная вещь! До чего искание общественной целесообразности в искусстве свойственно русскому эстетическому вкусу, свидетельствует именно судьба «Руслана и Людмилы». При Николае им были недовольны как произведением, не сказавшим обществу ничего патриотического, чего ожидать давала право первая опера Глинки «Жизнь за царя». Впоследствии, когда великие музыкальные красоты и глубины «Руслана» были оценены и опера эта стала венцом и училищем русской музыки, неоднократно делались попытки навязать «Руслану» политический смысл, толкования в духе московского панславизма и квасного патриотизма. Я знаю две такие брошюры, вышедшие в 90-х годах. Одну написал артист Михайлов-Стоян, другую барон Таубе.

— Une oeuvre manquée!* — презрительно говорит о «Руслане» Николаевский двор устами Виельгорского и возлагает

* Неудавшееся произведение! (*фр.*)

на лоно свое как истинно великого и русского композитора жандармского генерала Львова. Записки этого Львова полны глубокого интереса, как документ любопытнейшего сплетения службы музыкальной с мотивами жандармерии. По приказу царя он всероссийски ревизует церковную музыку, чтобы в ней не было «современных выкрутасов», то есть романтического влияния. Русский Гайдн в голубом мундире не был бездарен, а скрипкою даже владел виртуозно, но как все-таки дилетант оказался ниже критики в грандиозном предприятии, которое и Глинку-то при всем его гении заставило сознаться, что ему недостает школы, и поехать на старости лет доучиваться в Берлин к Дену. Гусар Протасов управлял в это время русскою Церковью, а жандарму Львову предписано было сочинять «Херувимские» и «Отче наш»! Кто слыхал церковную музыку Львова, например, его пасхальные кондаки, не может не найти в ней бравых отголосков полковой канцелярии и ритмического треска барабанов на гауптвахте. Оперы Львова, писанные на патриотические сюжеты («Староста» и др.), не имели никакого успеха. Тогда Николай, по свидетельству Герцена, вовсе запретил постановку новых русских опер. Даргомыжский поэтому оставался под спудом до шестидесятых годов. Но высший триумф политической опеки над искусством представляет собою изданный по повелению Николая том церковных фасадов, высочайше утвержденных. Кто бы ни хотел строить церковь, должен был непременно выбирать один из казенных планов. Герцен справедливо находил, что недоставало Николаю лишь издать собрание высочайше утвержденных мелодий. Но, собственно-то говоря, попытки и к тому делались, по крайней мере в области церковной музыки. Тот же самый А.Ф. Львов, ратуя о единообразии церковного напева и получив на то одобрение Государя, составил пение для литургии. Как первенствующему и влиятельному духовному лицу, он привез четырех певчих придворной капеллы к Филарету и заставил их пропеть ли-

тургию при нем. Митрополит прослушал, подумал и сказал: «Прекрасно. Теперь прикажите пропеть одному». — «Как? — сказал озадаченный Львов. — Одному нельзя». — «А как же вы хотите, — спокойно отвечал Филарет, — чтоб в наших сельских церквах пели вашу литургию, где по большей части один дьячок, да и тот нот не разумеет». Глинка получал от Николая наставления, как инструментовать композиции. «Забавное письмо от Кавоса. В этом письме сказано между прочим:

«Sa Majesté L'Empereur a trouvé que l'instrumentation du choeur est faible et moi je partage parfaite-ment l'opinion de Sa Majeste»*. Глинка вышел из себя. «Cavos partage l'oprnion de Sa Majesté!»** — записывает он в бешенстве. «Bravo! bravissimo!» — и рисует на полях дневника ослиную голову.

Насколько удручала эта нестерпимая политическая опека даже любимых баловней русской власти, можно судить по известной трагикомической выходке Брюллова. Вырвавшись за границу, он перед рубежом велел остановить лошадей, разделся донага и в таком виде перешел границу, бросив на русской стороне все свои старые вещи, а на европейской — ждали его друзья с новым платьем, как человека, возрождающегося в новую жизнь. Великий оперный певец Иванов, лучший тенор своего времени, победитель Рубини, отказался возвратиться в Россию на службу императорских театров, и имя его было воспрещено к упоминанию: вычеркнуто из истории искусства! Русское общество чуть не в конце лишь семидесятых годов с удивлением узнало, что был такой артист, увенчанный всеевропейскими лаврами и осыпанный всеевропейскими миллионами. Глинка посетил Иванова в одном из своих путешествий и рассказал о нем в «Записках». Художники сходили с ума, как Федотов и Иванов, разлага-

---

* «Его величество император полагает, что инструментовкой хоровой музыки Востока я превосходно выразил точку зрения его величества» (*фр.*).

** «Кавос разделяет мнение его величества!» (*фр.*).

лись в мистицизме, как Витберг, спивались с круга, как Мочалов, Шевченко, Брюллов да и неразрывный друг его Глинка. Жизнь в России для большого таланта была сплошным самопожиранием. Не говорю уже о подпадавших под непосредственные политические подозрения и личный гнев императора, как было с Полежаевым, Шевченко и поэтом Соколовским, автором мистического «Мироздания». Единственною светлою надеждою всех художественных мемуаров того времени горит мечта — отряхнуть прах от ног своих и уйти в Европу. «Давай, улетим! Мы, вольные птицы, пора, брат, пора! Туда, где за морем синеет гора!» Но одних, как Пушкина, двуглавый орел крепко держал в когтях и предпочитал скорее заклевать, чем выпустить из лап на волю. Уж как его от Парижа-то отговаривали, чтобы вместо Сены посмотрел Аракс и Арпачай. А для других, многих, избавление приходило поздно. Глинка, Брюллов выбрались за границу, лишь чтобы умереть. Брюллов так и остался лежать в Риме на Campo Santo! А многим, третьим, уже и Европа ничего не могла сказать: слишком были отравлены и позднее противоядие оставалось бессильным. И притом, как сложился в то время даже напутственный хорал художнический в честь скульптора Ставассера, всего чаще случалось так, что —

Николай Иванович
Едет в город Рим:
Пьяная компания —
Вместе с ним.

И перемена родины становилась лишь переменою крепких напитков. Удачи с благополучною и почетною старостью в этом веке суждены были лишь Львовым да Кукольникам, умевшим укладывать свои таланты в полицейские программы, как в некий футляр, аккурат по мерке. Да и у Кукольника-то даже вырвался однажды вопль надрыва ужасом пере-

утомления бесправностью: «Бежать от них! Бежать хоть на время, потому что обстоятельства приковали мои ноги к этой земле, на которой есть жители, но нет еще граждан. Бедные люди! Бедная Россия!» Поэзия превращалась в провокацию и донос. Искусство понималось и поощрялось лишь как школа шовинистического тупоумия. Правительство просвещенного абсолютизма, ненавидя европейскую романтику, справедливо считая ее революционною, в то же время нехотя уступало духу времени и боролось с нею не только запретительными мерами, но, в противовес, стремилось создать собственных Шиллеров и Байронов, которых новые слова работали бы на пользу старых самодержавных устоев. И вот нарождаются целые литературные группы писателей как бы с двумя естествами, которых слово принадлежит как будто XIX веку, а идеи застряли по крайней мере в Гатчине Павла I. Кукольник, Ободовский, Гедеонов, Н. Полевой (как драматург), барон Розен и др. Карлы Мооры, переряженные «Ермаками», Валленштейны, переодетые в «князя Холмского», Скопины-Шуйские, Ляпуновы бродят по сцене в холодном неистовстве, слагая эфемерную жизнь свою из сантиментальных фраз о возвышенных чувствах к разным добродетельным красавицам и из оплаченного патриотического рева, который создал славу актера Каратыгина. Живопись, скульптура, архитектура, музыка, сцена призваны твердить обществу одно и то же: помни, что все твое спасение — в национализме и самодержавии. Любимый художественный сюжет эпохи — избрание на царство Михаила Феодоровича. Он заполняет собою николаевское искусство под знаменитым кукольниковским девизом — «Рука Всевышнего отечество спасла». Трудно и перечислить панегирические работы для сцены и литературы, обращенные к этому сюжету. Знаменитая фраза о двух «Юриях Милославских» в «Ревизоре» Гоголя далеко не так невинна и нелепа, как кажется, и совсем не так смешно и странно восторженное доверие, с ко-

торым ее встречает городничиха. Если мы пересмотрим историческую беллетристику тридцатых годов, то увидим, что Гоголь устами Хлестакова с наивным видом сказал презлую эпиграмму, которую, на его счастье, цензора приняли за фарс. Все сплошь — «Юрии Милославские» под разными именами, и совсем не мудрено рьяной чтице сбиться со счета и забыть, какого она Юрия Милославского читала — Загоскина или «вашего сочинения». Столько же усердно разрабатывалась легенда об Иване Сусанине. На нее употребили свое вдохновение два первоклассных композитора, драматурги Розен и Полевой и несколько второстепенных беллетристов.

Я позволю себе остановиться на одном из творений этих — на опере «Жизнь за царя» несколько подробнее потому, что ни в каком другом произведении русского искусства не сказалось с такой силою художественное политиканство, обостренное в России, быть может, больше, чем в какой-либо другой европейской стране. Политический смысл «Жизни за царя» настолько превышает ее художественное значение, что при всех своих музыкальных красотах опера Глинки не могла завоевать себе ни малейшего успеха в демократической Европе, перестроенной революционным громом 1848 года. Политическая тенденция, пропитывающая эту восторженную эпопею, оказалась равно непонятною и во Франции, и в Италии, и в Германии. Всюду «Жизнь за царя» становилась достоянием знатоков музыкальной фактуры, понимавших в ее авторе первоклассного мастера своего дела, и нигде не привлекала она публики. Европа недоумевала. В России «Жизнь за царя» искони понималась как предлог и вызов к монархическим манифестациям. Уже на первом представлении оперы, по рассказу самого М.И. Глинки, — «в сцене поляков, начиная от польского до мазурки и финального хора, царствовало глубокое молчание. Я пошел на сцену, сильно огорченный этим молчанием публики; и Иван Кавос, сын капельмейсте-

ра, управлявшего оркестром, тщетно уверял меня, что *это молчание происходит от того, что тут действуют поляки*». В 1863—1864 годах патриоты шли дальше и усиленно освистывали весь акт оперы, изображавший польский бал. Когда умирал Александр III, охранительская буржуазия поддерживала аплодисментами и криком решительно каждую фразу Сусанина, Сабинина и Вани, которую можно было бы так или иначе отнести к царю. Я, напротив, помню, как в Москве был пущен слух, будто Александру III по молитвам отца Иоанна Кронштадтского стало легче, и он на пути к выздоровлению. И вот — немедленно дают «Жизнь за царя». Настроение в театре приподнятое. Сабинин рассказывает об избрании Михаила на царство. Известный речитатив:

Это слух еще покуда,
А победа наша…

— Слух? — возражает Сусанин. — Слух? Да сто побед не стоят того слуха!

Бешеные аплодисменты… Тем не менее спектакль этот не был кончен, ибо между третьим и четвертым актом пришло известие, что Александр III умер. Впрочем, патриоты тогда успешно пользовались и не такими удобными случаями для манифестации. Так, в «Снегурочке» Римского-Корсакова былинный эпический хор к фантастическому царю Берендею обязательно прерывался требованием гимна «Боже, царя храни». В период послереволюционный — в 1908—1912 годах «Жизнь за царя» стала для так называемых монархических организаций предлогом для манифестаций, столь назойливо-крикливых, что наконец они надоели самим охранителям, власть держащим, и полиция начала их прекращать своим вмешательством как обыкновенное нарушение общественной тишины. То врывались на сцену, чтобы не позволить умертвить Сусанина, то качали и носили на руках по театру Саби-

нина и т.п. Одною из таких манифестаций, с натуры списанной, — в киевском городском театре, — я заключил второй том романа моего «Сумерки божков», только перенеся действие в другой город.

Итак, правительство русское под знаменем «просвещенного абсолютизма» всегда понимало политическую силу искусства и старалось обратить ее в свою пользу. Что касается русского общества, в которое оно вливало струи мундирного художества, то общество очень хорошо понимало, со своей стороны, как и зачем его воспитывают, и платило энергическим противодействием решительно всякому произведению искусства, принятому правительством под свое крыло. Трагедии Кукольника, человека, собственно говоря, далеко не обиженного природным талантом, рассматривались чуть ли не единственно с той точки зрения, что: вот, мол, приветствованный сферами клеврет, за критику которого запрещают журналы и сажают людей в Петропавловскую крепость.

«Я был, — рассказывает Герцен, — на одном представлении «Ляпунова» в Москве и видел, как Ляпунов засучивает рукава и говорит что-то вроде: «Потешусь я в польской крови». Глухой стон отвращения вырвался из груди всего партера; даже жандармы, квартальные и люди кресел, на которых нумера как-то стерты, не нашли сил аплодировать».

«Жизнь за царя» Глинки была приветствована как произведение искусства известным хвалебным каноном Пушкина, Жуковского, Вяземского и Виельгорского, но публика с самого начала разобрала сквозь прелесть оперы ее политическую тенденциозность и объявила ее «кучерскою музыкою». Ужасные стихи барона Розена, русско-немецкого поэта-патриота, усиливали это впечатление. Кстати заметить. Не раз уже среди любителей «Жизни за царя» возникали проекты спасти прекрасную музыку Глинки от разрушительного действия розеновских стишин, переложив ее на новый текст, и даже предлагали проекты. Я должен откровенно сказать, что считаю все

подобные попытки бесполезными и наверное неудачными. Наивно думать, что монархизм «Жизни за царя» заключен только в жалких стихах Розена. Вся «Жизнь за царя» — плод монархической мысли, и в ней не музыка дополняет слова, но слова музыку. Революционный или республиканский текст звучал бы с музыкою «Жизни за царя» страшно неловким диссонансом. Мечтать о приспособлении старой музыки к новым идеям могут только люди, не сознающие, что музыка есть такой же самостоятельный способ художественного мышления, как и всякое другое искусство, что композитор думает звуками так же выразительно и определенно, как поэт — словом.

При всей своей внешней красоте опера Глинки — памятник отжившего миросозерцания, и место ей уже не в жизни, но в историческом музее искусства. Новой России совсем не к лицу воспевать себя какими-то подкрашенными подделками «старых погудок на новый лад». Наступающие новые времена дадут ей и новое искусство, с новою музыкою, новыми операми и новыми Глинками, самостоятельно вдохновленными к творчеству вольнолюбивым мышлением века и энтузиазмом к гражданской свободе. Переделывать же Глинку из монархиста в человека нового строя — такое же безнадежное предприятие, как бы, например, перерисовать мадонн Рафаэля, созданных экстазом католической мысли, в «Богинь Разума».

Оппозиция правительственным вкусам сказалась в театральных партиях: обожествленный Белинским романтик Мочалов, несчастная Асенкова, воспетая Некрасовым, Михаил Семенович Щепкин, актер из крепостных людей, создавший целую династию наследственных демократов, — вот люди, царившие над воображением общества вопреки высочайше установленному и предписанному трагизму Василия Каратыгина, чье несомненно сильное и многими очевидцами засвидетельствованное дарование исторически осталось как бы в тени именно потому, что оно было установлено и пред-

писано, а следовательно, и ненавистно. Сам Брюллов, жизнь которого Лесков хотел сделать сюжетом «Чертовых кукол», оставался в глазах передовых, западнических групп николаевского общества не более как «пухлою ничтожностью»: именно этою кличкою обозвал его Тургенев в «Дыме» устами Потугина. Примирение интеллигенции с Брюлловым создалось лишь на почве открытого бунта, каким, слишком поздно для себя, вспыхнул этот стихийный, но легкомысленный человек, весь сплетенный из таланта и тщеславия, против золотых цепей, наложенных на него меценатствующим деспотизмом.

В то самое время как Николай Павлович душил романтизм революционный и пытался заменить его романтизмом самодержавия, Герцен писал от 29 октября 1843 года в своем дневнике: «Вчера «Фенелла», которую видел и прежде, увлекла меня сильнее обыкновенного. Голанд — очень хороший актер, не имея голоса, он игрою выкупает многое. Парижане бесновались и с коленопреклонением заставляли петь Марсельезу. Что ни говори записные музыканты, а либретто, а самая драма, развиваемая в опере, очень важное дело; тогда музыка действует не отвлеченно, а захватывает вместе с драмой всего человека, и действие ее не ослаблено, а увеличено. Либретто «Жидовки», «Вильгельма Телля», «Фенеллы» — наши, современные. Есть места в «Вильгельме Телле», при которых кровь кипит, слезы на ресницах, и между тем музыкой все это обнимается какою-то примиряющей средой».

И оперы, обаявшие Герцена, Белинского, Станкевича, Грановского, были у Николая I, Бенкендорфа, Орлова, Дубельта настолько опальными, что, оставляя их на сцене из стыда перед Европою, скрепя сердце, цензура «обезвреживала» их псевдонимными заголовками. Упомянутая Герценом «Фенелла» — это «Muta di Portici», «Немая из Портичи», опера Обера, грандиозно передающая неаполитанскую революцию Мазаньелло. Другое официальное название, присвоенное той

же опере, — «Палермские бандиты». «Вильгельм Телль» был превращен в «Карла Смелого», «Моисей» Россини — в «Зору», «Гугеноты» — в «Гвельфов и гибеллинов», «Пророк» — в «Осаду Гента», и даже злополучной «Жидовке», переделанной в драму, предложили назваться «Казнью огнем и мечом». Обе стороны — и правительство, и общество — одинаково не хотели знать музыки для музыки, искусства для искусства и за нотами искали заднего смысла — высшего, настоящего, целесообразного.

«Философия музыки, — говорит Герцен в «Былом и думах» о гегелианском кружке Станкевича, — была на первом плане. Разумеется, об Россини не говорили, к Моцарту были снисходительны, хотя и находили его детским и бедным, зато производили философские следствия над каждым аккордом Бетховена и очень уважали Шуберта, не столько, думаю, за его превосходные напевы, сколько за то, что он брал философские темы для них, как «Всемогущество Божие», «Атлас». Наравне с итальянскою музыкою делила опалу французская литература и вообще все французское, а по дороге и все политическое. Отсюда легко понять поле, на котором мы должны были непременно встретиться и сразиться».

А вот слова о том же писателя совсем иных взглядов, вложенные в уста человека «отжившего поколения»:

«— Вам никак теперь не возбудить и не развить идеальной пластики греческой; в мире, во всем человечестве нет этого представления. Вам рафаэлевских мадонн не возвратить, как не возвратить и самого католицизма с его деталями...

— Однако музыка есть еще до сих пор! — воскликнул Бакланов.

— Какая-с? Революционная! — подхватил Евсевий Осипович. — Вы слыхали all' armi?..* Пафос оперы на конце блеснувших кинжалов, вот и раскусите это! — заключил

* Паника?.. (*фр.*).

он, подмигнув лукаво на всех гостей». (Писемский. «Взбаламученное море».)

Николаевское искусство умерло вместе с Николаем и его военно-дворянской Россией, разбитой громами Севастопольской войны. Оно даже не умерло: оно просто лопнуло как мыльный пузырь. Иные молодящиеся бодрые старички удивительно ловко обманывают насчет своих лет крашеными волосами, румянами, белилами, пружинками для растягивания морщин, корсетом и тому подобными ухищрениями. И только гроб обнаруживает их почти сверхъестественную дряхлость. Смотрите вы на такого уличного мертвеца и вдруг с ужасом и отвращением видите: да ведь это — не свежий покойник! Он не сейчас умер! Он мертв уже десятки лет, и десятки лет мы мертвеца принимали за живого! Это — общественная нежить, это своего рода нечистая сила, как безобразный колдун в Гоголевой «Страшной мести». Таким поразительно дряхлым, давним, никому не нужным и позабытым мертвецом оказалось официальное искусство Николая I. Лучшим и выразительнейшим, карающим свидетельством его остается — хотя бы — глубокий пробел в русской портретной живописи между Брюлловым, последним портретистом большого света, и Крамским и Ге, первыми портретистами русской интеллигенции. В промежутке остались Зарянки, Винтергальтены, умеренные и аккуратные Молчалины от искусства, достойные представители века, которого режим возводил канцелярскую аккуратность и солдатскую безличность в идеал государственности, в народности видел бунт, в оригинальности — ослушание, в политической, религиозной и философской мысли — революцию.

Эпоха императора Александра II разбудила в русской интеллигенции чувство народности. За народность одинаково, хотя и с разных концов, ухватились и отвлеченное миросозерцание славянофилов, и реалистическое миросозерцание западников. Искусство 60-х и 70-х годов, одинокими и не-

счастными предтечами которого были в живописи талантливый Иванов с его глубоко рационалистическим «Явлением Христа народу», а в музыке — Даргомыжский, отозвалось на обе стороны как чуткое и разумное эхо. В эту пору наше искусство, с нигилистическою смелостью отбросив одинаково условные формы и русских мундирных традиций, и устарелого западного романтизма, нашло в себе, однако, ту общественную целесообразность, что дышала во французском романтизме и создала гражданские подвиги искусства, называемые полотнами Энгра, Делакруа, Делароша, Курбе или партитурами Мейербера, Галеви, до Берлиоза включительно. Это пора знаменитого протеста 13 художников против программ Академии художества, пора возникновения группы передвижников, пора нарождения музыкальной «Могучей кучки» с Балакиревым и русского музыкального образования в двух консерваториях с двумя Рубинштейнами во главе, пора комедий Островского и славы московского Малого театра, пора Стасова и Серова, пора Перова, «Бурлаков» Репина и писем Крамского, пора Антокольского, пора творческих сомнений Ге. Программное творчество, пропитанное политическою тенденцией, охватывает все области искусства. Гонимая в литературе и журналистике, преследуемая на кафедре, революционная мысль нашла свой приют в красках, в мраморе, в музыкальных звуках. Над кучкистами смеялись, что они пишут симфонии о том, как извозчик ищет в темноте потерянный кнут, но из этих ламентаций о потерянном кнуте вырос колоссальный Мусоргский, вырос Бородин, вырос Римский-Корсаков. Сколько насмешливого презрения возбуждала их «музыка будущего»! Сколько сатирических и просто ругательных стрел было обломано о Стасова, в ту пору их единственного защитника и пророка! А музыка-то действительно была для будущего, и надо было минуть двум десятилетиям, прежде чем пришли толмачи, чтобы открыть ее красоты, до тех пор оцененные лишь редкими знатоками,

ушам всей публики и покорить ей публику. Надо было наступить эпохе вдохновенных бродяг, эпохе Максима Горького, эпохе пролетариата, что растет и поднимается теперь, как Бирнамский лес на Донзинане, и жадными руками ищет оружия, и мрачными глазами ищет вождей на решительный бой за свою свободу. Нигде, быть может, с большею наглядностью, чем в России, не доказали музыкальные вдохновения теснейшей зависимости своей от политического склада авторов. «Борис Годунов» и «Хованщина», два главных устоя славы Мусоргского, конечно, не могли быть написаны не только блаженной памяти жандармским генералом Львовым или августейшим композитором, принцем Ольденбургским, если бы способности их внезапным чудом природы и доросли до уровня Мусоргского. В высшей степени интересен в ряду наших политических опер «Князь Игорь» Бородина с эпическою фигурою половецкого хана Кончака, которой опять-таки не создать композитору, единомыслящему с Павлом Крушеваном, Грингмутом и им подобными пожирателями инородцев, с изумительными сатирами двух гудошников и князя Владимира Галицкого...

Если б мне дождаться чести —
На Путивле князем сести,
Я б не стал тужить,
Я бы знал, как жить!
Я бы княжество управил,
Я б казны им поубавил,
Я бы пожил всласть,
Показал бы власть...

Удивительный русский оперный артист, которому новая музыка обязана десятками интереснейших открытий и толкований, Ф.И. Шаляпин создает из Владимира Галицкого сатиру, полную жизненной злости и яркости необыкновенной. Бешеный хохот веселой музыки хлещет, как бич, — не нужно и слов, чтобы слышать метко рассыпаемые автором звонкие удары. Во-

обще русская музыкальная сатира, открытая Даргомыжским, продолженная и возведенная в перл творения Мусоргским и Бородиным, только начинает свою карьеру в публике благодаря той новой вокальной школе, что декламацией сблизила современную оперу с античною трагедией. Блестящими русскими представителями ее являются Шаляпин и Оленина д'Альгейм. Звуки «Семинариста», «Плясок смерти» и в особенности знаменитой теперь в России по милости Шаляпина «песни о блохе», полны самой язвительной, пророчески обличающей, в глаза плюющей современности.

Проповедники артистического квиетизма, бросающие в глаза художникам общественной мысли укоры бездарностью, забывают, что таким образом они зачеркивают для учеников своих ряды величайших имен своего искусства, начиная с Бетховена. Он — как законный сын и и прямой наследник Французской революции, весь вылился из демократического духа и горел святым пламенем гражданской свободы до конца своих печальных, нищих, неподкупных дней. Они зачеркивают Вагнера, бойца на баррикадах 1848 года и автора памфлетов против Бейста, и Листа с его венгерскою саблею, полученною из рук Кошута. Они зачеркивают тоскливый плач Шопена — балладу c = es, написанную на взятие Варшавы. Они забывают, что вагнеровская музыка полна почти до мистицизма возведенным романтическим восторгом к объединяемой тогда Германии, и не хотят знать, какую важную роль сыграли в объединении этом немецкие хоровые общества, гезангферейны. Возвращаясь на русскую почву, можно с полным правом утверждать, что у нас почти не было талантливой музыки, старающейся скрыться в звуках для звуков от общественных волн и наплыва политических интересов. Наиболее яркими представителями музыки не от мира сего считаются у нас Чайковский и Рубинштейн. С первым я был знаком лично и могу засвидетельствовать, что его общественно-политическое безразличие очень подлежит сомне-

нию. Чайковский был умеренно-либеральный монархист типической интеллигентной марки, выработанной московскими шестидесятыми годами. Он сочинял коронационные кантаты и патриотические увертюры, потому что это занятие не было противно его монархическим убеждениям, но мягкое свободолюбие грустящего либерала и кающегося дворянина постоянно влекло его к иным темам и типам. Начиная еще с «Опричника», Чайковский постоянно мечтал о политическом колорите, который так легко удавался его антагонистам, ибо был плотью и кровью «Могучей кучки», но ему доставался туго и бледно. Наиболее энергическою попыткою Чайковского к политической характеристике оказался «Мазепа», где многое им было хорошо задумано, а кое-что и успешно достигнуто: например, фигура Орлика, сцена казни с пьяным казаком. Последнею заветною мыслью Чайковского было создать «Капитанскую дочку» с широкою картиною пугачевского бунта, разлитою в могучих волжских песнях. Что касается Рубинштейна, то лучшею характеристикою этого «не политического» композитора служит то обстоятельство, что огромное большинство его опер запрещено к исполнению в России: «Моисей», «Христос», «Суламит», «Купец Калашников». Запрет мотивируется религиозными соображениями, но — что же более политично в современной России, как не религия? На «Купца Калашникова» наложил печать запрета сам г. Победоносцев — за фигуру царя Ивана — как он служит панихиду по убиенным среди пьяных опричников. Сын Рубинштейна, покойный Яков Антонович, передавал мне такую сцену. Однажды посетив консерваторию, Александр III, уже при отъезде, на крыльце, подозвал Антона Григорьевича и сказал ему своим густым голосом:

— Антон Григорьевич, мне очень жаль, что ваш «Калашников» все еще под запретом. Сделайте удовольствие Константину Петровичу: вычеркните эту вашу панихиду...

Рубинштейн отступил с поклоном, упрямо потрясая своею косматою гривою:

— Ваше величество! Что написано пером, того не вырубишь топором!..

Единственным исключением из духовных опер Рубинштейна, допущенных к представлению, оказались «Маккавеи», полные, однако, столь искренним и бурным энтузиазмом любви к еврейскому народу, что уже тем одним они получают глубокий политический смысл и значение в государстве, где евреи унижены и бесправны. Остальные музыкальные мистерии Рубинштейна запретны, как штунда, как мистические полотна Боровиковского, на вес золота скупленные хлыстами и скопцами в тайники своих «кораблей», как «Святое семейство» Верещагина, как «Распятие» и одно время «Христос пред Пилатом» Н.Н. Ге.

Вспомнив о «Купце Калашникове», не могу не указать для характеристики политического настроения русского искусства, что, как скоро оно получило свободу от николаевской узды, оно почти ни разу не обратилось к патриотическим сюжетам с положительной точки зрения. Последний из «Юриев Милославских» — опера «Нижегородцы» Направника — написана чехом и, несмотря на прекрасные свои хоры, никогда не нравилась публике и не привилась ни к одной серьезной сцене. Любимою историческою эпохою русской драматической и лирической сцены становится время Ивана Грозного, дающее столько простора к протесту против произвола. «Опричник» Чайковского, «Купец Калашников» и увертюра «Иван Грозный» Рубинштейна, «Псковитянка» и «Царская невеста» Римского-Корсакова отвечают в музыке стихам Мея, Островского и Алексея Толстого, прозе Костомарова и Михайловского, бронзе Антокольского, краскам Репина, дружно устремленным к иллюстрации кризиса старой Руси, который приготовил столько глубоких аналогий и нравоучительных аллегорий для новой России.

Тяжеловесная, на свинцовый молот похожая реакция восьмидесятых годов, приплюснувшая мозги нескольких поколений толстовскою гимназией и толстовским Министерством внутренних дел, отравила и развратила все области умственной русской жизни. Не могла она бесследно пройти и для искусства. Эта реакция была хитрее, искуснее, практичнее и более «себе на уме», чем реакция Николая I. Восьмидесятые годы тщательно гнали всякий свободолюбивый протест, но к апофеозам рабства не вынуждали. Они держались той теории, что — политика ли осуждающая, политика ли восхваляющая — есть все-таки политика: «и лучшая из змей есть все-таки змея». В николаевские годы это только Дубельт внушал Булгарину, а в восьмидесятые вся правительственная политика — и всем. Примирись, пользуйся и — молчи! Системою эпохи было — убийство политической жизни и политического мнения. Их идеалом было — отучить умы от политики, увлекая их на иные пути, предполагавшиеся безопасною гимнастикою мысли, обращенной в самое себя, а потому бесплодно самое себя расточающей, самое себя пожирающей. Восьмидесятые и первая половина девяностых годов — плачевное время сытых кейфов мысли, коварно задержанной в своем развитии на бездельный роздых и в пытке вынужденного покоя «позабывшей ближнего для дальнего» и для самой себя. Задачи и размеры моей беседы не позволяют мне остановиться подробно на отдельных характеристиках этой широкой полосы эгоистического застоя, от влияния которого не ушла даже такая огромная умственная сила, как Лев Николаевич Толстой. Но не мне, автору «Восьмидесятников», повторяться, распространяясь обо всем этом. Для искусства антиполитическое настроение восьмидесятых годов выразилось возвратом на давно забытые тропы «чистого художества» и поразительно широким развитием театромании. Эта последняя овладела обществом с такою стихийною силою, что даже и само общество заметило ее эпиде-

мический характер и окрестило свою болезнь именем «театральной психопатии».

Когда вышел в свет мой роман «Сумерки божков», в центре которого поставлена фигура гениального артиста, посвятившего себя сцене с тем, чтобы обратить чрез театральное творчество свой художественный талант на служение общественно-политическому прогрессу, я получил очень много писем от современных артистов, преимущественно начинающих, убедивших меня в том, что общественность актерства — для молодежи вопрос очень жгучий и волнующий и весьма многие ставят его значительно впереди и культа «искусства для искусства», и всех самодовлеющих соблазнов театрального успеха.

Из помянутого моего романа ясно, что я большой энтузиаст такой художественной программы, т.е. превращения искусства в освободительную работу прогрессирующей социальности, но также и большой скептик насчет возможности практического осуществления этой программы. Искусство вообще, всюду и всегда — сила, рвущаяся на свободу, но покуда почти никогда ее не достигающая и всегда зависимая, как второй результат, от множества первых причин. Театр же из всех отраслей искусства хотя и наиболее богат средствами прямого воздействия на общество, но зато и наиболее сложно в них связан. До того, что когда оглядываешься на роль театра в истории человеческой гражданственности, то с тоской и недоумением ищешь, где в роли этой граничит ангел с дьяволом, и в круге ее теряешься определить: докуда движение театра — передовое, откуда оно — попятное? Ибо театр — во мгновении — совершеннейшее явление красоты, но никогда он не вечность, не абсолют красоты.

Нет точного и обоснованного критерия, который определял бы меру приближения театра к постоянству вечной красоты. Не только критерия, но даже примеров к критерию. Нет у театра ни своей Венеры Милосской, ни Моцарта, ни

Пушкина, ни Парфенона — ничего, создавшего «устои». Театр даже в самых совершенных своих созданиях зависит только от времени, хорош или дурен только во времени, работает только на время и нужен только времени. Есть театры, но нет театра. Поэтому и господами его, в конце концов, всегда являются не те, кто внутри его работает, трудясь на него как на самодовлеющую идею, но те внешние, кто в данный момент были суть или будут хозяевами времени. Театра как вечного единства нет, а есть только театры эпох. И — чья эпоха, того и театр. Он всегда идет за силою и зовом времени. То есть — за идейною потребностью и фактическою возможностью ее удовлетворения. Он никогда не творец и всегда приспособление.

Так как театр из всех видов искусства самый сложный и дорогой, то опять-таки из всех видов искусства он наиболее подлежит влиянию капитала и опеке стражи капитала — государственной власти. Нет страны на свете, в которой театр не стоял бы под государственным контролем. И это не только номинально, но и фактически. Воля других искусств не может быть совершенно парализована государством, если, конечно, последнее не прибегает к вандальским актам: не разбивает статуй, не взрывает зданий, не сжигает картин, партитур и драгоценных музыкальных инструментов. Государство может на некоторое время скрыть от общества произведение или орудие того или другого искусства, но, раз они были, оно не в состоянии обратить их в небытие! Запрета статуи, картины, музыкального сочинения — только бессильная отсрочка впечатления. Статуя Вольтера и голландцы Эрмитажа простояли на чердаке все царствование Николая I, но ни Гужон, ни Теньерс не перестали от того быть Гужоном и Теньерсом. Но когда государство запрещает произведение театра, оно умерщвляет его безвозвратно, потому что произведение театра — спектакли — суть единовременно и художественная цель, и средство. Пьеса почти гениального

Сухово-Кобылина, продержанная тридцать лет под запретом, не годилась ровно никуда.

Творчество театра всегда и всюду было, есть и — покуда видно — будет в руках капитала и государства, и актер как средство театрального творчества всегда представляет собою volens-nolens* последовательную собственность этих сил и покладистого работника на их заказ. Даже когда ему кажется, будто он воюет с ними и разрушает их. Сегодня «Крестьянская война» — завтра «Ах, потешь меня мечом!». Сегодня — «На дне», завтра — «Сон Услады».

Роль театра в политической жизни народов чрезвычайно двусмысленная и двусторонняя. О театре в истории можно сказать то же самое, что сказал о Гумбольдте король Георг Ганноверский: «Immer derselbe — immer Republikaner und immer im Vorzimmer des Palastes!»** — театр всегда — республиканец, лакействующий в королевской передней. Если мы обратимся к истории театра, то во всех странах Европы периоды процветания театра совпадают с периодами наиболее лютой политической реакции. Римский театр стал развиваться, когда пришли к обветшанию старые республиканские формы государства и единоличная власть силою военщины стала прибирать Рим к рукам. Росций — личный друг Суллы, как впоследствии Тальма, один из творцов республиканской Comédie Française, был другом Наполеона I. Чем крепче и решительнее господствует в государстве единовластие, тем больше оказывает оно покровительства и поддержки театру. Поэтому в Риме золотым веком театра являются правления восьми цезарей Юлиева дома, во Франции — царствование Людовиков XIV и XV, Наполеонов I и III, в Германии — эпоха просвещенных деспотиков, воспитанных в подражании версальским нравам, в Англии — вре-

* Волей-неволей (*фр.*).

** «Всегда республиканец и всегда в передней королевских дворцов» (*нем.*).

мя Елизаветы и после Кромвеля Стюартов, а в России — Екатерины II и Николая I. Все эти государи, равно как Австрия и Италия под гнетом Меттерниха, имели и создавали прекраснейшие театры, какими не может похвалиться ни одно либеральное правительство, и под скипетрами их эпидемия театральной психопатии развилась столько же буйно и широко, как еще недавно в наши дни. Не надо видеть в этом систематически успешном цвете театра на почве автократии результатов монаршего меценатства, хотя и оно, разумеется, чрезвычайно важный фактор. С одной стороны, процветание это, несомненно, обусловливается поддержкою власти, не жалеющей средств для развлечения праздно-покорной толпы, но с другой — также неизбежным приливом к искусству талантов, устремляющихся в театральное русло за несвоевременностью и затруднительностью других отраслей духовной и гражданской деятельности. Так — поколение великих итальянских актеров XIX века: Модена, Росси, Сальвини, вступило на сценическое поприще в сороковых годах, когда папство, Бурбоны и австрияки душили на Апеннинском полуострове всякую свежую мысль, всякое свободное слово. Щепкин, Мочалов, Мартынов, до Шумского и Садовского включительно, которыми кончился «золотой век» московского Малого театра, — дети унылой николаевской России. Нынешнее переполнение русского театра еврейскими силами я безусловно приписываю не какому-либо специальному пристрастию еврейской национальности к театральной профессии (исторически — откуда бы ему взяться!), но исключительно ограничительным мерам, закрывающим для еврейства большинство других путей интеллигентной деятельности. Это — движение по линии наименьшего сопротивления. Театр — точнейшее зеркало цезаризма, которого он излюбленное, хотя на словах и строптивое, детище: подобно родителю своему, он цветет лишь властью деспотизма, а в то же время неизменно носит в себе начала революции.

Меч солдата, устрашающий толпу, и маска актера, льстящая вкусам толпы, — неразлучные опоры самовластия. Рассматривая эпоху Николая I, мы видели, что в пышном блеске тогдашней сцены симпатии публики были отданы не тем послушным и угодливым артистам, которых осыпал своими милостями державный меценат, а, напротив, тем, которые имели репутацию самостоятельных, строптивых, свободомыслящих — тайных друзей общества против деспотического государства. Таковы были Мочалов, Асенкова, в которой общество поклонялось не только большому сценическому таланту, но и дочери казненного Рылеева (это не верно исторически, но ходила такая легенда, давшая, к слову сказать, сюжет одному преплохому, хотя и нелегальному заграничному роману), Щепкин, Мартынов. Похороны последнего дали повод к первой уличной политической демонстрации петербургских либералов. Тридцать три года тому назад карьера юной Ермоловой определилась с революционного монолога в «Овечьем источнике» Лопе де Вега. Таким образом, в театрах реакционных эпох публике всего милее то, что борется с существующим и действующим режимом, и от проникновения в театр протестующих сил зависит его успех и процветание. Тем не менее деспоты, которые были поумнее, никогда не душили и не преследовали оппозицию театра и очень исправно платили и платят жалованье ее представителям. Они очень хорошо знают, что мечи, поражающие тиранов на сценах, сделаны из картона, и театр — никогда не судная труба революции, а много-много, что рупор, чрез который может выкричаться интеллигентная фронда. Они пользуются театром как клапаном для выпускания из государственной машины паров общественного недовольства.

Тысяча девятьсот лет тому назад в Риме передрались поклонники двух актеров. Принцепс народа римского, Август Цезарь, приказал высечь обоих артистов, чтобы впредь не ссорились и не выносили своих закулисных скандалов на

улицу, заражая ими толпу. Но один из актеров, защищаясь, сказал:

— Что тебе за дело, цезарь? Ведь это же твоя прямая выгода, чтобы народ, занимаясь нами, не замечал, что делаешь ты.

Когда человека надо отбить от опасной идеи, власть искони находила, что наилучшее к тому средство — загородить ее лесом театральных иллюзий. Вспомните «Гамлета»:

Розенкранц

Нечаянно мы встретили актеров,
Идя к нему. Сказали это принцу —
И он как будто с радостью нас слушал.
Они здесь при дворе, и в этот вечер
Он приказал им, кажется, играть.

Полоний

Да, правда. Мне он поручил просить вас
Послушать и взглянуть на представленье.

Король

От всей души. *Я очень рад, что Гамлет*
Склонился к этому — и я прошу вас
Еще сильней возвысить и возжечь в нем
Желание таких увеселений.

Замечательная по политическому цинизму записка «О цензуре в России и книгопечатании вообще», составленная пресловутым Фаддеем Булгариным вскоре после 14 декабря, вполне откровенна на этот счет: «С этим (литературным) классом гораздо легче сладить в России, нежели многие думают. Главное дело состоит в том, чтобы дать деятельность их уму и обращать деятельность истинно просвещенных людей на предметы, избранные самим же правитель-

ством, а для всех вообще иметь какую-нибудь одну *общую маловажную цель, например театр, который у нас должен заменить суждение о камерах и министрах*. Весьма замечательно, что с тех пор, как запрещено писать о театре и судить об игре актеров, молодые люди перестали посещать театры, начали сходиться вместе, толковать вкось и впрямь о политике, жаловаться на правительство даже явно. Я в душе моей уверен, что сия неполитическая мера увлекла многих юношей в бездну преступлений и в тайные общества».

И власть согласилась с Булгариным. В 1828 году последовало разрешение печатать театральные рецензии и «в самом театре выражать свое удовольствие игрою артистов аплодисментами или иными знаками».

Как мы видим, булгаринская записка есть лишь расширенное рассуждение на тему лаконического Тацитова анекдота, и что умел понять умный, практический римский Август, то принял к сведению и к руководству русский Николай. Бесчисленны факты его терпимости к театральному остроумию. Свидетельство — не только лично им разрешенный «Ревизор», но и множество анекдотов в мемуарах современников, показывающих, что Николай обладал искусством faire bonne mine au mauvais jeu* даже при прямых эпиграммах по собственному адресу, вроде знаменитой выходки Живокини насчет Государственного совета. По Светонию, тою же терпимостью отличались цезари Юлио-Клавдианской династии, большие аристократы и большие театралы. Но при Николае же театральные рецензии цензуровались министром Двора, причем шеф жандармов Бенкендорф то и дело передавал князю Волконскому мнения и указания самого Государя. Таким образом, фактически театр был поставлен под прямой надзор жандармского корпуса, чего, к слову сказать,

* Делать хорошую мину при плохой игре (*фр.*).

и требовал тот же Булгарин в той же записке, указывая на безусловную необходимость подчинить цензурование театральных пьес и периодических изданий Министерству внутренних дел по части высшей полиции. «Это потому, что театральные пьесы и журналы, имея обширный круг зрителей и читателей, скорее и сильнее действуют на умы и общее мнение. И как высшей полиции должно знать общее мнение и направлять умы по произволу правительства, то оно же и должно иметь в руках своих служащие к нему орудия».

«Тяжба» Гоголя была разрешена к представлению лично Дубельтом, рукопись «Горе от ума» была собственностью Булгарина, о «Ревизоре» я упоминал выше.

Русский театр рассматривался властью искони как школьник, которому дозволяется веселиться, но — под внимательным надзором строгого гувернера. Все в порядке — пряник; брыкнул в сторону — розга. О том, как публика принимала спектакль, докладывалось генерал-губернаторам, а то и самому Государю. За шиканье или свисток можно было очутиться в деревенской ссылке (Катенин). Чрезмерные овации танцовщице Тальони в Москве вызвали командировку из Петербурга особой комиссии — для расследования, не кроется ли за сим какого-либо злоумышления. Как театральная рецензия влекла за собою политические последствия, знаменитейший пример — гибель «Московского телеграфа», закрытого за статью Полевого о трагедии Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла». Власть вмешивалась даже в техническую сторону статей о театре. Сохранилась любопытнейшая переписка между министром Двора Волконским и Бенкендорфом, возникшая из-за длиннот рецензии на оперу «Семирамида», напечатанной в «Северной пчеле».

Некогда Белинский приглашал современную ему интеллигенцию жить и умереть в театре. В настоящее время

Л.Н. Толстой объявил театр «учреждением для женщин, слабых и больных». Много времени нужно и много воды надо утечь, чтобы переоценка общественного института совершила столь резкую эволюцию от крайности к крайности. Толстой — ученик Руссо и подобно Скотту в Англии, Гарту в Германии сходится с ним в основном положении, которого держался и Шиллер: «По своей, так сказать, праздной сущности театр очень мало может способствовать к тому, чтобы исправить нравы, и очень много к тому, чтобы их испортить».

Голоса эти, возвращающие человечество почти к столь же резко отрицательному воззрению на театр, как высказалось оно у первых христианских писателей и Отцов Церкви или у английских пуритан XVII века, являются естественным, хотя и весьма слабосильным отпором «против течения». А течение, объявляющее театр насущною потребностью народа, которая должна удовлетворяться даром или за какие-нибудь гроши, что выходит почти даром, несет нас опять-таки попятным порядком к векам, когда даровые зрелища являлись одною из главных опор управления народом. Оставляя в стороне суждение за и против этих вопросов в современной общественной их применяемости, я хочу лишь отметить и утвердить то обстоятельство, что театр и общественный или политический пуризм искони и повсеместно враждуют между собою и всегда одними и теми же средствами, во имя одних и тех же начал. Театр обычно процветает в исторические полосы народов, когда последние переживают упадок своего общественного, политического и религиозного строя. Нет граждан, но — сколько угодно актеров. Жизнь призрачная начинает пополнять пробелы жизни действительной. Сочувствие толпы — не находящей в среде своей великого гражданина, достойного поклонения пред единичною личностью, без которого толпа жить не может, — обращается на великого актера, который во-

скрешает пред нею миражи лучших дней и чувств, давно угашенных в действительности. Вместо жизни — сновидение. Вместо подвига — его идея, выраженная в позе, жесте и фразе. Истины низки, но театр дарит нам возвышающие обманы, и с ними, конечно, легче и приятнее жить. Шиллер, автор девяти гениальных театральных пьес, однако, находил, что «от театра человек делается равнодушным к действительности и переносит истину из внутреннего содержания на формы и проявления». Театр, бесспорно, один из главнейших источников и двигателей той общественной поверхностности и легкости, которыми так неизменно определяются упадочные полосы. Я должен сознаться: личный взгляд мой на театр гораздо ближе к взгляду Толстого, чем к взгляду Белинского, понятному и извинительному для печальной эпохи общественного бессилия, когда писал великий критик, но потерявшему смысл для быстро умножившейся и развившейся всесословной интеллигенции послереформенной России. А уж в особенности в наш век, бродящий, как молодое вино, нахмуренный, как грозовая туча, — в век, талантливейший выразитель которого воспел «безумство храбрых» как «мудрость жизни». В такое время «умирать в театре», питаясь грезами вместо действительности, нащупывая идеи в иллюзиях, вместо того чтобы черпать их и бороться за них в жизни, — дело мало почтенное. В глухое двадцатилетие восьмидесятых и девяностых годов обессиленная классическою школою молодежь валила «жить и умирать в театре». Оглядывая, например, ряды современной действующей литературной армии, я насчитываю десятки собратьев, отдавших кто несколько лет, кто хоть несколько месяцев своего молодого прошлого театру как искупительную жертву Молоху, и список мне пришлось бы начать с самого себя. Странно сказать, но красивую одурь этого двадцатилетнего очарования театром как деятельностью стряхнул с русской молодежи человек, написавший самую сильную, громкую и наиболее

успешную театральную пьесу эпохи: Максим Горький. Выслушав вопль вдохновенного литературного «буревестника», век встрепенулся и оглянулся на себя пристально...

Гром ударил; буря стонет
И снасти рвет, и мачту клонит, —
Не время в шахматы играть,
Не время песни распевать!
Вот пес — и тот опасность знает
И бешено на ветер лает...
Уже ль в каюте отдаленной
Ты стал бы лирой вдохновенной,
Ленивец, уши услаждать
И бури грохот заглушать?

В шестидесятых и семидесятых годах интеллигентной молодежи было не до актерства. Сказать тогда, что ты идешь в актеры, значило вызвать со стороны действующего поколения бесцеремонный вопрос: разве ты так плох, что больше никуда не годишься? Знаю и говорю по опыту, потому что смолоду из-за моих сценических увлечений потерял симпатии многих высокодаровитых и хороших, истинно любивших отечество людей. И много лет прошло, прежде чем мы обратно прошли путь симпатий, сужденный с юности, и сошлись опять. Теперь — в первом десятилетии XX века — как будто воскресло и опять сурово гремит благородное требование:

Актером можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан!

Я смело ставлю в этом некрасовском двустишии «актера» вместо «поэта», потому что в наши 1880—1900 годы актерство было совершенно таким же невинно культурным прибежищем для оставленных за чертою общественной самодеятельности молодых дарований, как романтическая

поэзия — после смерти Лермонтова и до 1856 года, когда Некрасов написал «Поэта и гражданина». Молодые люди сороковых годов от безволия и бессилия жизни «шли в поэты», восьмидесятники и девятидесятники по тем же причинам «шли в актеры»*).

Повинуясь закону обращения силы в сторону наименьшего сопротивления, продолжали они, или, лучше сказать, снова начали уходить и в поэты. Правительственные попытки воскресить разрушенный шестидесятыми годами Парнас российской романической эстетики систематически проваливались, включая сюда и плутоватый проект С.Ю. Витте одевать русских литераторов, глядя по выслуге, в академические мундиры. Проект этот, как известно, сорвался по милости Максима Горького. Его правительство шуйцей своею пригласило в храм официальной славы, а десницею взяло за ворот, чтобы отвести в участок. Чехов и Короленко после того с негодованием ушли из двусмысленной ловушки, которая было их захватила, и пресловутое академическое отделение изящной словесности обратилось в трагикомическую кунсткамеру старомодных призраков литературного безразличия. Положение их в глазах общества было бы смешно, если бы не было так грустно. На литературу русскую монархизм должен был наконец с убеждением махнуть рукою как на силу, неисправимо политическую. Политическую настолько в корне и существе своем, что даже те искусственные, подложные, мнимо литературные кружки и общества, что возникли с правительственного благословения, чтобы «грести во имя прекрасного против течения», на поиски «вдохновений, звуков сладких и молитв», сами не замечали, как превращались в исключительно политические отряды реак-

*) Боюсь, что сейчас, после короткого перерыва, мы опять в том же периоде. А утешаюсь тем, что, оглядывая историческое прошлое, убеждаюсь, насколько все эти упадочные полосы слабы и скоро преходящи.

ционной полемики. Достаточно назвать пресловутое «Русское собрание» в Петербурге. Замечательное это явление, господа, что никто в России не вносил в литературу более азартного и крикливого политиканства, чем писатели, требующие, чтобы искусство было для искусства, красота для красоты, клянущиеся прелестью Рафаэлевых мадонн, мелодиями Моцарта и пушкинским стихом. Маркевич, Катков, Иван Аксаков, Крестовский, Фет, Майков — все это нежные души, благоговевшие богомольно перед святынею красоты и так двусмысленно ее замолившие, что самое слово «красота» одно время стало в напуганных глазах публики чем-то вроде казачьей нагайки и полицейского мундира. Нигде не склонялось это роковое слово усерднее, чем на страницах «Русского вестника» и на столбцах «Московских ведомостей». Приводили к присяге «красоте» чуть не наравне с присягою самодержавию и православию, и, если вы видели в книжке журнала восторги к самодовлеющему искусству и к гению чистой красоты, то, перевернув несколько страниц, могли быть твердо уверены, что найдете приглашение бить «жида» и ловить социалиста. Разумеется, большинство злоупотреблений «красотою» как орудием реакционного политиканства надо записать в разряд наглых «мошенничеств пера» по предварительному умыслу и давно набитому шаблону. Но были люди искренние, которые действительно умели как-то дико совмещать в себе идеи «шепота, робкого дыхания, трелей соловья» с идеями киргиз-кайсацкого нахрапа, жандармского самодовольства, кулака, плети и тюрьмы. Страннейший, почти патологический пример такого совместительства мы видим в оригинальной фигуре Фета, человека, жестокостью общественной мысли походившего на первобытного варвара, что не мешает ему быть поэтом поразительной глубины, с многострунным чутьем к таинствам пантеизма...

Фет — литературный, но, слава Богу, не политический отец много шумящего, много осмеянного, но и много поклоняе-

мого поэтического движения, что называется декадентским. Долгое время путь этого движения, впоследствии победоносного в лице Бальмонта и Валерия Брюсова с товарищами, был обставлен такими уродливыми и крикливыми чудовищами общественного скандала, что за вычурными юродствами ничего нельзя было понять в этой анархии стихотворной мысли, ронявшей на землю вместе с тучами черной сажи бриллианты чистой воды. Очень хорошо видя, понимая и, когда мог, отмечая отрицательные и патологические формы, которые часто принимало декадентство в своей уже довольно долгой эволюции, я, однако, с давнего времени стою на том и твержу, что по периоду брожения нельзя отвергать силу и достоинство будущего вина. Чувство смелой мысли, чувство буйных талантов, дикий Sturm und Drang*, сквозь вихри которого пробивается к свету что-то неопределенно большое и как будто новое, сказывались в декадентах с первых шагов их. Но патологическая скорлупа облекала их плотно и долго. Они затянули свой ученический период далеко за пределы ученического возраста. И это — не их частная вина, но несчастье всего поколения, к которому они принадлежат. Это люди — воспитанные восьмидесятыми годами, им теперь под сорок лет. Дети толстовской образовательной системы и юноши в ужасное, развратное своею принципиальною беспринципностью царствование Александра III, они вступали в жизнь с раздавленными, ранеными мозгами. Восьмидесятники поздно начинали мыслить: сперва надо было очнуться от искусственного невежества, в которое нас погружала утомительная школа, и от искусственного эгоизма, которым обнимала нас исполненная реакции и перепуганная реакцией жизнь. Позвольте мне цитировать один оптимистический монолог из моего романа «Восьмидесятники», относящийся к поколению, несколько старшему,

* Буря и натиск (*нем.*).

чем творцы декадентского движения, но соприкосновенному с ним многими смежными сторонами.

«Что поранено, может исцелить, что притуплено, оттачивается. Я сказал тебе, что мы в качестве юного поколения оплошали. Но юностью жизнь не кончается. Я поколения нашего не хороню. Нет, не хороню. Надо ранам исцелиться, надо притупленному обостриться, — время нужно, чтобы больные выздоровели и вынули из-под спуда свою забитую силу. Понял? Мы не в состоянии выделять из своей среды гениальных юношей, мы плохи, как молодежь, но, быть может, у нас будет хорошая вторая молодость. Каждый человек должен «найти себя» — только с того момента начинается его сознательная роль в обществе, дельная работа и полезность. Проклятые мозговые болячки не дали нам найти себя в двадцать—двадцать пять лет, — быть может, нашему задержанному развитию суждено победить свои тормозы к тридцати пяти годам или к сорока. И тогда мы скажем свое историческое слово, которое есть у каждого поколения, и оправдает себя пред человечеством захудалый гений нашего века. Вспомни, Борис, вспомни своего возлюбленного Некрасова: «Бывали хуже времена, но не было подлей». И вот в эти-то времена, которых подлее не было, мы учились в школе, которой хуже не было. Эти времена гвоздили нас своею подлостью по незаросшему темени. Ну, и ничего не поделаешь; надо сперва изжить и выбросить из организма наследие подлых времен, а тогда уже и уповать, что и мы не лыком шиты. Прежние поколения, найдя себя, потом до старости экзаменовались в верности юношеским идеалам и твердости юношеских убеждений. А нашему поколению, чтобы найти себя, нужно будет забыть, что мы были молоды... А забыв, говорю тебе: может быть, и воскреснем!

Наше поколение уже грешит и смердит и нагрешит и насмердит еще больше. Но это не оно грешит и смердит, потому что оно за себя не ответственно и в себе не вольно. Нельзя

исказить мозг без того, чтобы не была искажена жизнь. Измятые мозги — скверные путеводители: они толкают нас на шальные, кривые дороги. И тысячи будут ходить по кривым дорогам и думать, что они — прямые, а настоящее, прямое почитать кривым. Я пророчествую тяжкие времена затемнения и пустоты, пророчествую мелкое насилие, кровь, разврат ума и воли, житье в собственное брюхо, проповедь звериного эгоизма, торжество невежества, триумф тщеславия, апофеоз холопства, самое разностороннее и утонченное пакостничество. Мы удивим мир своим падением, и мир от нас отворотится. И все-таки клянусь тебе, Борис: стоит жить и есть на что питать надежду. Ибо мозги — сверхъестественно живучая штука, и в жизни неистощимо кипит целючая вода. Исцелеют люди, и будет век просветления — эра нашего покаяния. Великого покаяния, Борис! Каждою душою, всем обществом, всею громадою... Я думаю, что наш больной и спящий гений — именно гений покаяния...»

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
Из сочных гроздей венки свивать.
Хочу упиться роскошным телом,
Хочу одежды с тебя сорвать;
Хочу я зноя атласной груди;
Мы два желанья в одно сольем.
Уйдите, боги. Уйдите, люди;
Мне сладко с нею побыть вдвоем!
Пусть будет завтра и мрак и холод,
Сегодня сердце отдам лучу.
Я буду счастлив. Я буду молод!
Я буду дерзок! Я так хочу!

Это знаменитое стихотворение — своего рода символ веры эгоистического оргиазма, в котором сладострастно и капризно металась красавица муза Бальмонта и которому, каждая по-своему, вторили музы других декадентов. Но оно осталось уже далеко позади и в жизни, и в творчестве поэта.

Самолюбивый восторг вознес его, как бога, на вершину Олимпа, но, очутившись на вершине, Бальмонт увидел слишком ясно, что возноситься и мечтать себя богом не стоило. На Олимпе нет ни нектара, ни амброзии, ни самодовольных братьев-богов. Там только камни, лед и одиночество. И задумался светлый, солнечный бог, и вдруг понял он, что, играя своею волею и силою, зашел совсем не туда, куда зовет своих избранников долг человеческий. А с земли летят глухие человеческие звуки. «Каменщик» Брюсова, мрачный и зловещий, строит тюрьму, которую суждено разрушить грядущему поколению... Люди, лихорадочно работающие над своими талантами, жадные к накоплению знаний жизнью и книгою, декаденты не могли застыть ни в диком веселье чувственности, ни в сектантских экстазах мистического эгоизма. Праздник жизни кончился. Любимцы богов затосковали в царстве наслаждений, наедине со своим избалованным «я» и уже стучатся к земле, к бунтовскому очагу Прометея, к огням страдания и борьбы.

Кто близок был к смерти и видел ее,
Тот знает, что жизнь глубока и прекрасна.
О, люди, я вслушался в сердце свое
И знаю, что ваше несчастно...

Декадентская критика поняла и подняла из забвения «кнутом иссеченную» музу Некрасова — статья о нем Бальмонта поистине вдохновенна. И шепнула им воскресшая, мученическая муза про новые пути, на которых оргиастический восторг родится из жертвы за брата своего, про новые обязанности к людям, без которых даже самое пестрое и изящное забвение в себе — не более как цветами украшенное свинство... И ноги их уже касаются этих чистых, тернистых путей, и я хочу верить: когда-нибудь станут и пойдут по ним твердо, хотя, может быть, и обольются кровью...

1906—1910

ЛИТЕРАТУРА В ИЗГНАНИИ

Публичная лекция, прочитанная в Миланском филологическом обществе

1

Сила. Численность. «Главный недостаток?» Литература белых отступлений

По всей вероятности, многие из слушателей, идя на эту мою лекцию, говорили себе: «Русский писатель-изгнанник будет рассказывать нам о русских писателях в изгнании, — значит, наслушаемся мы жалоб, горьких слов и тяжелых вздохов».

Я обману эти ожидания. Вместо предвидимой картины упадка и разрушения я надеюсь показать картину, напротив, высокого подъема и прочного созидания. Тяжкие материальные условия, в которых мы, изгнанники, влачим свое существование, не сломили ни духа, ни энергии русского литературного класса. Напротив, обновили их: расширили территориально и этнографически область нашего бытового наблюдения, обострили наше внимание, углубили психологическое проникновение.

За немногие годы своего невольного возникновения русская зарубежная литература проявила жизненной силы, творческой способности и красочного богатства несравненно больше, чем в предшествовавший наш литературный период от кончины Чехова до революции. Дерзну даже сказать, что и в последние два десятилетия XIX века, если оставим в стороне колоссальное твор-

чество Льва Толстого, русская литература была беднее людьми и событиями, чем в нынешнем своем зарубежном состоянии, казалось бы, столь неблагоприятном для ее роста и развития.

Не примите это за оптимистическое преувеличение. Его легко оправдает простой статистический подсчет сил, проявлявших себя в литературном зарубежье с 1918 по 1929 г. произведениями более или менее крупного объема, преимущественно в отдельных изданиях. По первой памяти, не прибегая к библиографическим источникам, я насчитываю их до ста, причем считаю только авторов беллетристических произведений, оставляя в стороне критиков, публицистов, историков и мемуаристов, хотя из них многие также должны были бы причислены быть к художественной литературе.

Кроме того, я не включал в список случайных писателей, не успевших определиться профессионально. И, наконец, само собой разумеется, в списках нет сменовеховцев. Исключение сделано только для Б.В. Савинкова и Дерენталя, потому что, как бы сомнителен ни был политически Савинков и как бы несомненно гнусен ни был Деренталь, но в качестве литераторов (и очень даровитых) они всецело принадлежат Зарубежью*).

---

*) Вот этот список: Аверченко (ум.), Адамович, Алданов, Амфитеатров, Л.Н. Андреев (ум.), Арцыбашев (ум.), Бальмонт, кн. Барятинский, кн. Бебутова, Берберова, Бранд, Брешко-Брешковский, Бунин, И. Воинов, кн. Волконский А., кн. Волконский С., Галич, Гиппиус, Глуховцова, С. Горный, Гофман, Гребенщиков, Гришин, Гусев-Оренбургский, ген. Деникин, Деренталь, Елец, Б. Зайцев, Зуров, В. Кадашев (Амфитеатров-сын), кн. Касаткин-Ростовский, Клементьев, А. Кондратьев, Корчемный, Кошко (ум.), Краснов, Крачковский, Крыжановская (ум.), Куприн, Ладыженский, Лоло, Лукаш, Лунин, кн. Львов, Л. Львов, Маковский, Мережковский, Минцлов, Муратов, Наваль, Нагродская, Наживин, Немирович-Данченко, Первухин (ум.), Петрищев, Пильский, Плещеев, Потемкин (ум.), Ремизов, Ренников, Рощин, Рыбинский, В. Рышков (ум.), Савин (ум.), Светлов, В. Сирин, Соколов-Кречетов, Степун, Л. Столица, Г. Струве, Б. Суворин, Сургучев, И. Северянин, Е. Тарусский, гр. Л.Л. Толстой, Тыркова-Вильямс, Тэффи, Урванцев (ум.), Ал.М. Федоров, Философов, Хирьяков, Ходасевич, М. Цветаева, Чириков, Шмелев, Шумлевич, Шульгин, кн. Щербатов, А. Яблоновский, С. Яблоновский.

«И ныне, господа отци и братья, еже ся где буду описал, или переписал, или не дописал, чтите неправдивая Бога деля, а не кляните». *Ал. Амф.*

Само собою разумеется, что далеко не все произведения исчисленных писателей вправе рассчитывать на большое значение в литературе, но имеется между ними немало и таких, совершенство которых вводит авторов в число русских классиков. Как бесспорные, общепризнанные примеры, укажу «Господина из Сан-Франциско» и «Митину любовь» И.А. Бунина, «Неупиваемую чашу» Шмелева, «Житие святого Сергия» Б. Зайцева, «Золотого петуха» А.И. Куприна.

Предупредив, таким образом, аудиторию о моем оптимистическом общем взгляде на зарубежную русскую литературу, я позволю себе быть оригинальным в том отношении, что вместо немедленного исчисления ее достоинств начну с рассмотрения главного недостатка, который ставят ей в укор наши враги. А именно: это при несомненном богатстве силами зрелыми и дозревающими она скудна молодежью и, следовательно, не имеет будущего.

В укоре этом есть доля правды, но еще большая доля преждевременности. Сейчас еще нельзя судить, органический ли это недостаток или лишь случайный, условный, в зависимости от недавности бытия самой нашей эмиграции, едва достигающей десятилетнего возраста. Ведь революция не сразу ее создала. Февральский переворот 1917 года вызвал лишь малочисленное выселение за границу чрезмерно фанатических или чрезмерно робких представителей крайней монархической правой и нескольких предусмотрительных капиталистов, имевших благоразумие не поверить в прочность «бескровной» революции с г. Керенским во главе государства. Интеллигенция и руководствующая часть ее, литература, не имели к этим первенцам эмиграции почти никакого отношения и, напротив, шумно справляли праздник свободы, очень гордо водворившейся на развалинах павшего царизма. Праздник, увы, очень короткий. Поразительная бездарность и слабость (да и не без подловатости) Временного правительства быстро привели нашу республиканскую идиллию к плачевному концу.

При сменившем ее большевизме, покуда он не показал когтей повального красного террора, из России тоже мало кто бежал. В торжестве Ленина интеллигенция видела не более как острый и очень неприятный для нее, но кратковременный политический переворот, имевший среди дурных и опасных сторон одну даже недурную: что сместил всем опостылевшее Временное правительство и окончательно разоблачил в недавнем общем идоле Керенском политического шарлатана и жалкого труса. А потому, как ни погано было от большевиков, общество терпеливо ждало новоочередного переворота, который теперь вслед Керенскому сместит и Ленина с компанией и водворит тот или иной твердый порядок. Большинству интеллигенции он мечтался в форме военно-республиканской диктатуры, меньшинству — в форме конституционно-демократической монархии. Самодержавистов в это время почти не было.

Вместо чаемого переворота мы дождались похабного Брест-Литовского мира, убедившего большевицкую «головку», что усталая от войны и одержимая революционным умопомешательством Россия неспособна на политическое сопротивление какому бы то ни было внутреннему политическому насилию. Ленинцы разнуздались окончательно. Наступила пора воинствующего коммунизма и разрушения страны красным террором с красным грабежом. Интеллигенция дрогнула и спохватилась бежать. После убийства Государя с семьею в Екатеринбурге эмиграция сделалась эпидемическою, а когда союзники предали белое движение и в порабощенную Россию пришел голод, — стихийною.

Тяжелые и отчаянные бывали бегства, как одиночные, так и массовые. Последние обыкновенно следовали за отступлениями белых армий и делили их судьбу. Бог миловал меня от скорби видеть трагические южные эвакуации Новороссийска и Крыма, но я был очевидцем Петрограда в дни, когда он почти взят был ген. Юденичем: операция про-

валилась в момент своего полного успеха в результате предательского отхода английской эскадры к Риге. Горестное отступление Юденича изображено нашим знаменитым писателем Александром Ивановичем *Куприным* в книге «Купол Исаакия Далматского». С болотистых равнин вокруг Петрограда золотой купол его собора виден за десятки верст. Последовательное медленное исчезновение его из глаз отступающих было для них горькою символическою драмою утраты отечества, может быть, в невозвратность. Куприн, гатчинский житель, свидетель наступления и участник отступления, прочувствовал эту драму личным опытом и передал ее со всею правдивою трогательностью, свойственною ему, высокоталантливому ученику Антона Чехова и наследнику его искренности и тонкого «атомистического» письма.

2
П.Н. Краснов

То же самое отступление подробно описано в романе «Понять — простить» автором, наиболее читаемым в русском Зарубежье. Генерал Петр Николаевич Краснов — человек уже немолодой, но в нашей литературной семье — из младших участников. К перу он обратился лишь после того, как победа большевицкой революции над белым движением остановила его политическую и военную карьеру и вынудила его покинуть отечество. Так что в Краснове как писателе мы имеем, несмотря на его почти 60-летний возраст, в точном смысле слова, «дитя эмиграции».

Очень талантливое дитя, одаренное способностью стремительно быстрого художественного письма. За десять лет Красновым написано чуть ли не пятнадцать толстых томов — преимущественно романов о войне и революции. Главная сила их, конечно, в картинах военного быта и военного дела, превосходно изученных автором, прошедшим школу войны с младших

офицерских чинов до высшего командования. Как художник-баталист, Краснов силен не менее великого автора «Войны и мира» (напр<имер>, в «Единой Неделимой»). Пожалуй, для нас его батальная живопись даже интереснее, так как он пишет современную ужасную «войну на расстоянии», а ее приемы, нравы и психология, конечно, очень далеко ушли от эпохи Наполеоновых войн, которую Толстой должен был угадывать, и от войн Севастопольской и Кавказской, в которых он лично был участником-наблюдателем.

Кровный казак и природный кавалерист, Краснов не превосходим в изображениях военного, так сказать, центавризма: слияния психологии всадника с психологией лошади в единую действенную силу. Его успехи в этой области тем более замечательны, что она любовно разработана в русской литературе ее классиками (Лермонтов, Тургенев, больше всех Толстой), а в ближайшее время ею занялись Куприн (знаменитый «Изумруд») и Шмелев («Мэри»). Выделиться на фоне такого авторитетного предшествия не легко и, конечно, свидетельствует о первоклассном художественном таланте.

Краснов глубоко чувствует народный быт и положительные качества русского народа, спасающие его анархическую натуру, даже и на предельном рубеже греховности, способностью к деятельному покаянию («Единая Неделимая»). Если мы прибавим к этому мастерство Краснова писать занимательно, с пестрою фабулою, с уснащением действия увлекательными приключениями и безусловно прекрасный русский язык, то понятно будет современное увлечение Красновым зарубежной читательской массы, не говоря уже об остром публицистическом значении его романов.

Это пламенная проповедь противобольшевицкого активизма, неумолимого в борьбе и отмщении. Ужасы, постигшие Россию чрез большевицкое пленение, Краснов не стесняется воспроизводить с натуралистической резкостью. Так как

Краснов — человек очень религиозный, мистик и верит в оккультные силы, то коммунизм и в особенности его русская, большевицкая форма представляются ему явлениями сатаническими, водворением царства пришедшего на землю Антихриста. Поэтому борьба с большевиками — обязательное и непременное христианское дело: борьба Христовой Церкви с наступающими на нее врагами адовыми, крестовый поход за Христа на Дьявола. Воплощенным дьяволом чудится одному из героев Краснова (генералу Кускову в «Понять — простить») ораторствующий Троцкий, другому (Ершову в «Единой Неделимой») — вовлекший его в пучину преступлений коммунист-пропагандист. И т.д.

Положительные идеалы Краснова страдают некоторою неопределенностью: порок общий, впрочем, всей русской эмиграции. Мы все очень хорошо знаем, чего мы не хотим в исковерканной революцией России и что должны уничтожить, но не очень-то точно знаем, чего хотим и что должны выстроить. Краснов — монархист, будущую Россию мечтает видеть с царем и господствующею православною Церковью. Но царь Краснова какой-то особенный, идеальный, символический самородок, возникающий провиденциальным посланством («Чертополох»), чтобы управлять народом непосредственно, без бюрократического засилья и средостения, но вместе с тем в подчинении народной воле, выражаемой тоже как-то непосредственно.

Церковь Краснова тоже идеальная: свободолюбивая, терпимая ко всем христианским вероисповеданиям, но крайне строгая и взыскательная к православию в собственных недрах.

В еврейском вопросе Краснова нельзя причислить к принципиальным антисемитам: он не «жидоед». Но политический антисемит в условиях современности, поскольку евреи участвовали в развитии большевицкой революции и использовали ее к своему возвышению, обогащению и преимущественноправию за счет разрушенной России.

Понятно, что Краснов — пылкий апологет старой дворянской семьи, в Бога веровавшей, царя чтившей, и благоговейный идеализатор русской женщины того прекрасного и возвышенного типа, который принято определять «женщинами Тургенева», а родоначалие свое он ведет от пушкинской Татьяны, этой Мадонны русского общества.

Идеалистическое воззрение Краснова на семью и нравственное воспитание делало бы его романы чрезвычайно полезными для юношества, если бы ужасные картины торжествующего большевизма не вынуждали автора к изобилию натуралистических сцен всевозможного большевицкого полового безобразия.

Но для юношества Красновым написан очаровательный «Мантык»: бодрая повесть приключений двух славных русских мальчиков в Абиссинии, в духе Майн Рида, но с большим талантом и с превосходством идейного урока. Вещь энергическая, патриотическая и увлекательно авантюрная.

Я позволил себе долго задержать ваше внимание на литературной фигуре генерала Краснова потому, что она вмещает в себе все достоинства и все недостатки той части эмиграции и беженства, которую я назову «непримиримою» буржуазией, дает ей любимое чтение и отражается в десятках, если не в сотнях книг ее литературы.

Вопреки своему изобильному производству литература эта не блещет ни крупными именами, ни яркими творениями. Краснов — предельная точка ее достижений, к которой неисчислимые усердствующие стремятся, но немногие доходят.

3

Молодость литературная, трудовая и боевая. «Галлиполийская литература». Иван Савин

Интеллигентная эмиграция, созданная первыми пятью годами большевицкого ига, составилась по преимуществу из

людей зрелого возраста, лет 35, 40 и выше, и вывезенных ими стариков, женщин и детей. Молодежи было в ней сравнительно мало. Молодежь противобольшевицкой интеллигенции была частью скошена смертью на полях Гражданской войны, частью вывезена в составе белых армий Деникина и Врангеля при южных эвакуациях; частью, наконец, стала приспособляться к хаосу взбудораженной страны. Одни поладили с советским деспотизмом, другие ушли в подполье, чтобы продолжать «контрреволюцию»; третьи вернулись в учебные заведения с тем, чтобы время от времени подвергаться «чистке» в качестве элементов не пролетарского происхождения; четвертые занялись спекуляцией по НЭПу.

Эвакуированная молодежь через Константинополь рассасывалась понемногу на поиски трудового пропитания по всему земному шару. Часть ее надолго задержалась в Галлиполи в военном лагере под строгою дисциплиною генерала Кутепова. Когда, волею держав, галлиполийский лагерь был упразднен, его офицерство рассыпалось по Европе повсеместно. Часть галлиполийцев получила возможность продолжать образование, прерванное войною (преимущественно в Праге). Большинство должны были обратиться к ручному труду. Русских офицеров увидели чернорабочими шахты, порты, фабрики и заводы в Европе, кофейные, табачные и всякие иные плантации в Южной Америке, Азии, Африке. Солдаты французского Иностранного легиона в Марокко и Сирии. Волонтеры в армиях междоусобных войн Китая. И т.д.

Ясно, что среда, погруженная в 12-часовой физический труд и обуреваемая заботою в буквальнейшем смысле о хлебе насущном, не способствует росту и развитию литературных дарований. И если все-таки возникла и существует так называемая Галлиполийская литература, это героическое исключение доказывает только, что дух культуры — Божья

искра! — неистребим даже в самых тяжелых условиях и воистину дышит, «где хочет», порождая цветы и на граните. Силы «Галлиполийской литературы» довольно скромны, деятельность не обширна, но она имеет несомненно благое влияние на эмиграцию твердостью своей патриотической энергии и является одним из наиболее стойких оплотов против тенденций и пропаганды «соглашательства».

Из писателей галлиполийской группы должны быть отмечены Н.З. Рыбинский (автор «Галлиполийских рассказов», с прекрасным, получившим широкую известность «Володею», и милой комической идиллии «Лиза») и поэт Иван Савин, «галлиполиец по духу», скончавшийся два года тому назад в Гельсингфорсе.

Обрусевший финн по рождению, пылкий русский патриот по чувству, Савин в годы Гражданской войны жестоко пострадал от большевиков. Братья были убиты, сестры опозорены. Удивительно ли, что поэзия Савина, слабая по форме, силою ненависти и жажды мщения поднимается на высоту такой страстной скорби, что трудно читать его стихи без слез, не заражаясь их праведным гневом, не вторя его проклятиям. Муза Савина — воистину «муза мести и печали». Его поэзия — родная сестра той, полной громами и молниями прозе Арцыбашева (увы, его мы тоже потеряли два года тому назад!), внимая которой, юноша Коверда вспомнил, как на его глазах большевики зарывали в землю еще живыми расстрелянных, и взялся за револьвер, чтобы убить цареубийцу Войкова.

В наше время метрическое свидетельство как возрастной показатель не много значит. Юноша, прибывший в эмиграцию восемь лет назад двадцатилетним, сейчас считает себя уже не 28, как показывает документ, а не все ли 40 и больше. Поглощенный трудом ручным, а не интеллектуальным, очень от него усталый и огрубелый, молодой эмигрант преждевременно стареет духом. Проходящей огни и воду и мед-

ные трубы молодежи не до литературы, ибо литература в эмиграции не кормит. Отдавать ей свои досуги? Но у молодого эмигранта (говорю, конечно, о порядочной трудовой молодежи, а не о лодырях) не бывает досугов. Когда же он выбьется из трудовой нужды настолько, чтобы получить досуги для литературного дебюта, он уже не молод.

Он уже значительно прижился в той или другой из стран своего эмигрантского кочевания и получил профессиональную печать от которого-нибудь из своих промыслов и ремесел.

И если он дебютирует в литературе, то уже — как много бывалый мемуарист; ему есть что вспомнить, побольше всякого старого старика. Рассказывает нам, как он был шофером, официантом, солдатом Иностранного легиона и т.д.

Всегда «был». Именно это непременное прошедшее время, свидетель многоопытности, и кладет на все молодые дарования, обнаружившиеся в Зарубежье между 1918—1929 гг., ту роковую печать, что дает врагам эмиграции некоторое право утверждать, будто у нее нет литературной молодежи.

Нет, она есть, только ищут ее не там, где надо, доверяя метрическим свидетельствам. Надо искать не на скошенном поле, а на всходах. Наша литературная молодежь еще на вырост! Это те, кто вывезен был из России ребенком или сам выбрался отроком, как Леонид Зуров, автор «Кадета», лучшего плода эмигрантской беллетристики за 1928 год. Когда эти всходы поднимутся — как поднимается всякий хороший овощ на огороде, увлажненном отшумевшими грозами, — тогда и будет правильно и честно судить и считать, есть ли у литературной эмиграции достойное молодое преемство. А покуда были бы равно несправедливы как осуждения, так похвальба, потому что худое не показательно по вышеисчисленным причинам, а в хорошем нельзя отрицать случайности и единичности. Мы пережили и доживем десятилетие не литературной молодости, но боевой и трудовой.

4
М.П. Арцыбашев. И.С. Шмелев

Огромное влияние на эту молодежь имел и словом и личным примером покойный Арцыбашев: живое воплощение некрасовского завета писателю, что —

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан!

Михаил Петрович Арцыбашев был большим писателем, но еще больше — «человек он был!».

Беллетристика его разноценна. Есть в ней перлы, есть, с позволения сказать, и навоз. Пресловутый «Санин» вопреки его всемирной известности относится ко второй категории, но, например, «У последней черты» — уже очень значительная, исторически показательная вещь, не дооцененная еще по достоинству, как, впрочем, и вообще Арцыбашев. Он из тех авторов, которых понимание возрастает чрез отдаление их эпохи в историческую перспективу: истинную оценку им дает не современность, но потомство.

В этом Арцыбашев напоминает Бальзака. Оба были чрезвычайно модны и популярны в свое время, но своим временем очень плохо и поверхностно поняты, а потому вскоре по отшествии своем из сего мира впали в полосу забвения. Бальзак вновь понадобился французам и воскрес в значении великого мастера, определителя литературной эпохи, лет через двадцать пять после смерти, Арцыбашев русским понадобится гораздо скорее. Разница с Бальзаком та, к невыгоде Арцыбашева, что ему не суждено было довести развитие своего художественного дара до предела данных ему средств и способностей. И умер он рано, задолго до смерти отошел

от беллетристики для деятельности боевого политика-публициста, которая в истории эмиграции останется навсегда блестящею страницею — формуляром великой и незабвенной службы русскому народу.

Арцыбашев вовсе не был «человеком экстремы», как многие пытались его определять, обманываясь его пламенным литературным темпераментом. Напротив, характером он был очень мягок, а ум имел рассудительный и логический. Но именно на прямолинейных путях строгой «честности мысли», логической до конца, обретал он ту беспощадную последовательность, что определяет его как писателя-гражданина, смелого до дерзости, прямого до грубости, всегда с решительным ультиматумом «или — или» на пере. Его варшавская противобольшевицкая кампания была сплошным бомбометательством в лагери коммунизма и соглашательства. Не принадлежа ни к какой политической партии, ни правой, ни левой, будучи ярко выраженным борцом-индивидуалистом, Арцыбашев тем не менее естественно занял первенствующее место в строю «непримиримых». Соглашатели язвили его направление кличкою «лубочной непримиримости». Он ее принял с удовольствием, но ответил соглашателям кличкою «ультрафиолетовых», которая к ним привилась и не доставляет им ни малейшего удовольствия.

Три года кипел Арцыбашев в своих героических боях — больной, в непосильном труде, почти в нищете — и сгорел в боевом пламени. Некоторые враги его (увы, русские и не большевики!) указывали не без злорадства, что у него не нашлось достойных преемников. Но в слове их у Арцыбашева и не могло, и даже не должно было быть. В своем огневом пафосе он договорился до той точки, на которой слово должно или переходить в действие, или умолкнуть. Когда смерть одною рукою сломала перо Арцыбашева, другою рукою она подала револьвер восторженному юноше Коверде. Арцыбашев оставил по себе «литературную школу», но она не пишет, а стреляет, уходит с винтовками в белорусские леса, органи-

зует и ведет крестьянские восстания, «бьет змею, да не забывает и змеенышей», как учит заповедь нынешнего «Братства русской правды»: беспощадно истребляет, сколько в силах, всякую встречную большевицкую власть и сама от нее бестрепетно погибает с чувством исполненного патриотического долга.

Арцыбашев, вступив в эмиграцию, громко заявил, что отныне впредь до падения большевиков он более не романист, не новеллист, не драматург, а только публицист, политический трибун-патриот.

Близкий к Арцыбашеву по настроению и темпераменту, Иван Сергеевич Шмелев, таких заявлений не делал и зароков не давал. Он слишком художник, чтобы заклать свое высокое искусство на жертвеннике политики. Но силою своего изобразительного дара он в искусстве оказывается публицистом более всех преднамеренных публицистов и занимает передовой пост в той части зарубежной литературы, которую я позволю себе определить «воплем выстраданного слова». Она очень обширна. В большей или меньшей мере к ней причастны почти все писатели-эмигранты, так как редко кто из нас не имел несчастия лично претерпеть или очевидцем наблюдать возмутительные насилия и надругательства большевицкого ада над человеком и Богом в человеке.

Конечно, вся эта литература скорбящей памяти граничит с обличительным мемуаром и отмечена яркою печатью индивидуального импрессионизма, иногда — до формы прямо-таки личных дневников («Окаянные дни» Бунина). Шмелев в этой литературе — самая высокая точка, самая громкая нота.

Знаменитое «Солнце мертвых» Шмелева — тоже дневник. Автор пережил в Крыму страшные 1921 и 1922 годы, когда голод довел население до людоедства.

Это самая грозная книга, из всех написанных против большевицкого злодейства, несмотря на то что в ней нет тех ужасных сцен жестокости, насилия, казней, пыток, грабежей,

разврата, которыми изобилуют романы Краснова и его подражателей.

Свирепое большевицкое действо у Шмелева всегда освещается только мельком, оставаясь на заднем плане: к чувствованию как незримая, но все подавляющая, отравляющая, разрушительная сила, а не к изображению. На переднем же плане — страдательный результат действа. Трава не росла там, где ступали копыта коня Аттилы, — не растет и там, где ее топтали сапоги большевиков. Всюду за ними по пятам их входит и водворяется властвовать Смерть. Смерть культуры, смерть человека, смерть самой природы.

Крым названных лет — наш очаровательный, царственно-могучий и богатый Крым — обратился под пятою большевизма в страну камня, где погасла живительная сила Прометеева огня, и люди, одичав, стремительно покатились в предысторический мрак, на уровень говорящих животных.

Одичание человека в рабстве у голода, холода и постоянного страха смерти, в существовании не под одним, а под неисчислимо нависшими дамокловыми мечами, капитуляция мыслительных и волевых способностей пред инстинктом самосохранения — вот постоянная жуткая тема Шмелева.

Развивая ее, он соперничает в силе с Достоевским, в правдивости далеко превосходит Эдгара По («Это Бальзаком и было»), горечью дерзновенного сарказма соприкасается с Теккереем («Панорама»).

Достоевского в Шмелеве больше всего. Со времен «Бесов», «Идиота» и «Братьев Карамазовых» никто не только в русской, но и во всемирной литературе не проникал в ночную область человеческого духа с такою смелостью и до таких мрачных глубин («Солнце мертвых», «Повесть об одной старухе»).

Да, Шмелев, конечно, глава и вождь «достоевщины» в современной литературной эпохе, но «достоевщины» в новом издании, пересмотренном и дополненном. Ибо она пере-

жила Великую войну и русскую революцию и видела, и на шкуре своей претерпела неистовство «бесов», когда они, предвиденные и предсказанные Достоевским, вырвались из ада и забушевали над опозоренной и в кровавой грязи захлебнувшейся Русскою землей.

Страдальческий вопль Шмелева производит тем более острое впечатление, что вырывается он вовсе не из груди титана, а скорее, из груди ребенка, за что-то брошенного капризом судьбы в переживание чудовищной трагедии, тогда как ему и хочется, и следовало бы жить и творить в обстановке идиллии.

Светлый мистицизм «Неупиваемой чаши», светлая грусть тонкого психологического проникновения в мир животных («Мэри»), сияние русских святых праздников под гул московских колоколов — вот где истинный Шмелев, Шмелев по натуре, Шмелев, не испуганный дикою жизнью до стонов и криков, мучительных, как голос апокалиптической жены, которая «вопиет болящи и страждущи родити».

5
Два русла. А.И. Куприн. «Неотургенизм». Б.К. Зайцев. В. Сирин

Издавна замечено, что поток русской литературы льется двумя руслами: художественного объективизма, определяемого именем Тургенева, и страстного субъективизма, определяемого именем Достоевского. Два русла соединились было в огромном разлив-озере Льва Толстого, но оно их не удержало, и по выходе из него поток опять разделяется на два рукава, причем тургеневский рукав значительно усилился, приняв в себя притоки от Чехова с его школою. Тем более что к ней надо отнести и М. Горького в лучший, ранний, период его творчества, когда он был вольным нравоописате-

лем-романтиком и чудесным языком рассказывал нам «правдивые лжи» о босяках. Совершенно так же, как в тридцатых годах Марлинский чаровал общество «правдивыми лжами» об Аммалат-Беке и Мулла-Нуре, а в сороковых и пятидесятых Григорович — «правдивою ложью» об Антоне Горемыке и Тургенев «Записками охотника». В эмигрантской литературе русла Тургенева и Достоевского определяются с большою ясностью, несмотря на позднейшие привносы.

Особняком стоит крепкий, могучий талант Александра Ивановича Куприна. Младший сверстник Чехова, Куприн, конечно, тоже должен быть отнесен к тургеневскому руслу, но уже по выходе его из толстовского озера. Из всех современных русских писателей Куприн наиболее родня Толстому-художнику, хотя не имеет ничего общего с Толстым-моралистом и религиозным проповедником. Куприна можно определить Львом Толстым первой художественной манеры — как написаны «Казаки», «Два гусара», «Поликушка» и пр., включительно с «Холстомером», соперником которого явился купринский «Изумруд». Как в Толстом, живет в Куприне то же «славочудское» языческое начало, тот же натуральный великорусский пантеизм. С тою же острою наблюдательностью — до как бы общности с природою во всех изображаемых ее силах, с тою же радостью и полнотою здоровой жизни, с тем же умением наслаждаться счастьем существования и полно ощущать каждый его яркий момент.

Это писатель бодрый и бодрящий. В этом отношении Куприн стоит даже впереди Толстого, так как в нем нет ни капли рано заговорившей в Толстом «нехлюдовщины»: страсти к психологическому «самоковырянию» и возни со своим «я». Куприн не знает уныния и умеет разгонять его в читателе самыми простыми средствами. Так: возьмет да укажет вам какой-нибудь радостный символ бытия, мимо которого вы проходили без внимания, как слепой и глухой, а зрячий и чуткий художник вдруг открыл вам глаза и уши: «Смотри,

слушай — вот тебе луч и голос веры и надежды!» Гениально выразителен в этом значении рассказ Куприна «Золотой петух»: очень простая «симфоническая» картина зари, когда вся земля оглашается радостным перекликом петухов, приветствующих рождение дня. Простая, но в простоте своей глубоко мудрая, полная всечеловеческой мысли, вещь эта заставляет каждого читателя почувствовать себя, хоть мгновение, гражданином вселенной и органическим атомом ее величия.

Куприн и в жизни тот же, что в литературе. Его любимое общество — бодрые, сильные люди физического труда и спорта: атлеты, охотники, цирковые артисты, жокеи, наездники, гимнасты, боксеры. Mens sana in corpore sano*. Он любит хорошесть человека, чистоту духа и, как никто другой, умеет выявить высокое чувство и благородное побуждение в простейшем действии простейшего героя; таков его знаменитый «Гранатовый браслет», высшее достижение великорусской грусти пополам с улыбкой трагизма, в почти комической наивности. Куприн не так силен, остр и тонок, как Сервантес, но, если бы надо было написать русского Дон Кихота, эту задачу следовало бы взять на себя именно ему, по родству духа. И какого бы Россинанта написал этот великий знаток и друг мира животных, который рассказывает нам о душе лошади, собаки, петуха, и с такою живостью и ясностью, словно он сам когда-то был ими в метампсихозе.

Во главе тургеневского течения надо по праву поставить Бориса Константиновича Зайцева, одного из лучших эпигонов чеховской школы, мягкого, нежного художника-акварелиста. В романе «Золотой узор» и в повести «Странное путешествие» Зайцев умел даже ужасы революции изобразить в какой-то снисходительной красивости. «Золотой узор» имел смелую задачу истинно тургеневского плана.

---

* В здоровом теле здоровый дух (*лат.*).

Предшествовавшие войне и революции русские годы были в русской интеллигенции вправлены оргией декадентской (под множеством групповых названий) распущенности. В чаду ее значительно закоптился и поблек лик русской женщины «из общества». Как будто исчезли куда-то в неведомость и пушкинская Татьяна, и тургеневские Лиза, Елена, и толстовские Наташа и Китти, а на место их царственно водворились всевозможные, с позволения сказать, «халды» эротомании, алкоголизма и наркотизма. Б. Зайцев задался целью и достиг ее — доказать, что вопреки греховной грязи, которую им суждено было переплыть, Татьяна, Лиза, Елена, Наташа, Китти не захлебнулись ею, но, глотнув немного, выплюнули, что в рот попало, и, к счастию общества, уцелели. В испытаниях войны и революции они кровью, слезами и трудовым потом смыли с себя налипшую грязь праздных пороков и, воскреснув духом, по-прежнему являются главным активным началом и волевым двигателем русской национальной общественности.

В последние годы мысль и творчество Б. Зайцева приобрели мистический уклон. Плодом его явилось «Житие святого Сергия» — лучшее произведение писателя, проникнутое теплою всечеловечностью, но в то же время истинно национальное, русское по духу. Свое паломничество на Афон Б. Зайцев отразил в умилительной, пожалуй, даже слишком елейной книжке, напоминающей по тону старинные «хождения» — однако не древних паломников, а так, лет сто тому назад.

Зайцеву смежен новеллист Илья Сургучев, более известный как драматург (автор «Осенних скрипок»). Под несомненным влиянием Зайцева стоят молодые, возникшие и развившиеся уже в эмиграции Николай Рощин и Владимир Сирин. Под последним псевдонимом стал известен сын публициста и политического деятеля, конституционалиста-демократа В.Д. Набокова, убитого в 1922 году шальною пулею сумасшедшего Шабельского.

Сирин, в рассказах и стихах своих мечтательный эстет и лирик с уклонами в фантастический импрессионизм, обещает выработаться в очень значительную величину. Он хорошей школы. В первом своем романе «Машенька» он подражательно колебался между Б. Зайцевым и И.А. Буниным, успев, однако, показать уже и свое собственное лицо с «не общим выраженьем». Второй роман Сирина «Король, дама, валет» — произведение большой силы: умное, талантливое, художественно-психологическое, — продуманная и прочувствованная вещь. Так как ее действующие лица и вся обстановка — не русские (область наблюдения автора — среда богатой немецкой буржуазии в Берлине; если бы не типически русское письмо В. Сирина, то роман можно было бы принять за переводный), то ему надо отвести место, и очень почетное, в том разряде зарубежной литературы, который я обобщу (хотя будет и не точно) названием «экзотического». Подробнее поговорю о нем ниже.

6

Четыре причины «неотургенизма». Экзотическая беллетристика. Фантасты. Рост большого романа. Вспоминатели

Чем объясняется заметное предпочтение Зарубежьем сравнительно спокойной, «объективной» лжи Тургенева зигзагам и извилинам бурной линии Достоевского? Казалось бы, в интеллигенции, столько страдающей, как наша, должно было бы быть как раз наоборот.

Однако главною причиною является, по-видимому, именно наша переутомленность ужасными переживаниями. Потребовалась успокоительная реакция духа в сторону оптимистических исканий. Ведь все мы насмотрелись и натерпелись такого, что без искры самоохранительного

оптимизма в душе все подлежали бы соблазну покончить с собой самоубийством. Однако оно хотя и часто, слишком часто в эмигрантской среде, все же не эпидемично. Живем и жить хотим.

Накопление ужасных впечатлений изливалось, изливается и, конечно, еще будет изливаться тысячами рассказов, мемуарных по содержанию, субъективно-импрессионистских по изложению. В них очень часто едва грамотный автор побеждает первоклассного литератора, потому что видел больше и терпел горше: сила материала отвечает сама за себя, не требуя искусства. «26 тюрем и побег» Бессонова и «Там, где еще бьются» атаманов Дергача, Кречета, Морова и других командиров БРП — не литературные произведения, но, читая их, переживаешь эмоции, каких не в состоянии дать никакое словесное художество. В ком из нас слабеет ненависть к большевикам, в ком зарождается уступчивость соблазнам соглашательства — пусть прочтет сборник «Там, где еще бьются». Если некоторые страницы не воскресят в нем жажды борьбы и не напомнят ему о «кладе последнем, третьем кладе» невинно губимых, о «святой мести», то, значит, пропащий он для русского дела человек, ушло из его души русское начало, и заживо мир праху его!

Однако подобные мгновенные фотографии с их натурализмом, даже не психофизиологическим, но прямо-таки патологическим, физиологическим и анатомическим, уже начинают отходить за границы литературы с тем, чтобы когда-нибудь послужить богатым практическим материалом для истоков нашей печальной эпохи и для казуистики психиатрических трудов. И публика, и литература запросили передышки от человеческого крошева на полях сражений, от перевязочного пункта, застеночных пыток и бойла, от общей покойницкой ямы для расстрелянных, от тюрьмы, дома сумасшедших, «чубаровшины» и т.д. Любопытно отметить, что то же самое наблюдается сейчас и в подсо-

ветчине. Еще в прошлом году на белградском съезде писателей Б. Зайцев доложил, что, по его сведениям из Москвы, Тургенев опять сделался наиболее читаемым и требуемым в библиотеках классиком и что поворот назад, к Тургеневу, ясно обозначается в молодой подсоветской литературе вопреки проклятиям и доносам, которыми за то сыплет подсоветская журналистика.

Вторая причина зарубежного «неотургенизма» — поразительное разнообразие новых впечатлений, воспринимаемых русскими писателями в их рассеянии по земному шару. В каких бы то ни было тяжких обстоятельствах не может художник видеть без потребности отразить виденное в слове. Великий наблюдатель и психолог, Иван Алексеевич Бунин, прежде чем обосноваться во Франции, исколесил чуть ли не весь подлунный мир. Ясно, что в его душу должны были глубоко впиться и впились бесчисленные впечатления «чужих небес», порождая ту экзотическую часть его разностороннего творчества, которою наша зарубежная литература вправе гордиться, как в полном смысле слова плотью от плоти и костью от костей своих: «Господин из Сан-Франциско», «Сны Цанга», «На водах» и т.д. Описательный характер, непременно присущий этому роду литературы, неизбежно вносит в них элементы того наблюдательного спокойствия, которому обучал нас личный враг Тургенева, но литературный его сподвижник, Гончаров. Это литература «Фрегата „Паллады"», перестроенного сообразно требованиям и успехам новейшей культуры.

В результате ее возникновения мы получили множество не только рассказов и стихов, но и целых романов с русскими героями на театрах действия в Китае, Абиссинии, Южной Америке, на Конго, даже в Центральной Африке. Среди авторов отмечу Ренникова (более, впрочем, известного своими остроумными «маленькими фельетонами») и — к сожалению — должен отметить Деренталя, сыгравшего такую гнус-

ную роль в деле покойного Бориса Савинкова. Его экзотические романы, повести и рассказы увлекательны по фабуле и блестящи по языку. Этот человек мог бы быть русским Стивенсоном. Почему он предпочел сделаться советским прохвостом, «темна вода во облацех небесных».

Европейское отделение этой литературы представлено по преимуществу мастерами эскизов. Для Франции — И. Сургучев, Тэффи, Рощин. Для Италии — П.А. Муратов и М.А. Осоргин. Для Германии — В. Сирин, возвысившийся в «Короле, даме, валете» до глубины и типической изобразительности, удивительных для автора, который сам не немец. О, как знает Сирин немецкого бюргера и его женщину! В этом романе он отнюдь не нежный, сумеречный лирик полуфантастического настроения, как в рассказах и стихах, а, напротив, резкий, иногда лаже жесткий натуралист не германской, а французской школы — я сказал бы, до «золаизма» включительно. Три характера — основные в романе — выдержаны превосходно (в особенности «король» — муж), а живопись действительно жива.

Описательная часть романа очень сильна, что опять-таки напоминает Золя в картинах Парижа, но Берлин Сирина уже проведен через обработку футуризма. Поэтому Сирин — большой мастер передавать самое трудное для слова: впечатление быстрого движения, мелькания и т.д.

Кажется, никогда еще в литературе не было такого меткого изображения близорукости: восприятия плохим зрением внешнего мира и отражений этого недостатка на мире духовном. Сцены близорукого героя в вагоне курьерского поезда, пожалуй, лучшие в романе.

Если Сирин лишь одною ногою стоит в области фантастики с философским оттенком, то сын мой, Владимир Кадашев (утвердившийся за ним псевдоним), обосновался в ней очень прочно и убежденно («Фрачник с хвостом», «Зум-Зум» и пр.). Сильное воображение, напитанное Гофманом, Эдгаром По, Стивенсоном.

Манера и язык предвоенного импрессионизма с заметным влиянием Андрея Белого. Фантастику без философии, просто ради занимательности для охотников до оккультных чудес и страхов усердно насаждала покойная Крыжановская. К ней в «Чернокнижнике» примыкает Минцлов.

Третья причина «неотургенизма», может быть, покажется слушателям странною и парадоксальною, однако я на ней настаиваю. Это — слабость и бедность русского журнализма в эмиграции, а отсюда и почти совершенное уничтожение материальной связи между ним и беллетристикой.

Перед войною и революцией колоссальное размножение в России ежедневной и еженедельной печати давало легкий и быстрый сбыт каждому коротенькому наброску, подписанному громким именем. Поэтому мелкое литературное производство главенствовало над крупным и тормозило ход широких замыслов, осуществление которых требует долгого времени и сосредоточенного труда. Журналистика эмиграции количественно ничтожна. Ее спрос на мелкую беллетристику до того превышен предложением, что промысел «новеллиста» потерял всякую выгодность. Поэтому более или менее крупные силы его покинули, что освободило для них досуг обратиться к большим планам, издавна лелеянным ими, но не успевавшим вызреть для выхода в свет по оттеснению спехом мелкой работы.

Романист Иван Наживин напечатал недавно признание, что, в сущности, изгнание послужило на пользу его литературной производительности, так как раньше он за всю свою писательскую жизнь сочинил всего восемь романов, а теперь за каких-нибудь семь-восемь лет — двадцать пять! Общий факт усиленного производства больших романов распространяется и на первоклассных писателей. Почти все они за время эмиграции или написали новые романы, или докончили и обработали прерванные революцией. Наш старейшина, 85-летний Василий Иванович Немирович-Данченко за пять

лет пребывания в Праге приготовил к печати 12 больших томов! Евгений Николаевич Чириков там же выпускает едва ли не каждый год по роману. Что работа над романом, если он не пишется наспех для «бульвара», дело вдумчивое, и не только по доброй воле автора, но и механически влечет его к внимательному логическому построению и детальной художественной отделке, известно, я полагаю, каждому писателю. И отсюда — воскресение Тургенева как вечного образца и учителя литературной стройности — «неотургенизм».

Четвертая причина отчасти возвращает нас к первой. Эмиграция нуждается в красивых воспоминаниях и живет в непрестанной оглядке назад, на лучшее прошлое. Знаменитый стих Данте — «Nessun maggior dolore ehe ricordarsi del tempo felece Nella miseria»* — над нею не властен. Поэтому значительная часть эмигрантской литературы укладывается во вздохи по разрушенной русской культуре («Петербург» С. Горного) и в мемориальное усердие уберечь если не в быте, то в памяти ее остатки и традиции (помещичий быт у Бунина, московский купеческий быт у Шмелева). А другая, не менее значительная часть старается изыскивать и изъяснять причины, почему столь могущественная и многосодержательная культура уступила так легко разрушительному натиску дикарей, объявивших ее ненужною.

7
Историческая беллетристика. Д.С. Мережковский. М.А. Алданов. А.М. Ремизов. Л. Зуров. Юмористы

Отсюда — устремление эмигрантской литературы в области исторической беллетристики. Наиболее веские труды

* Нет большего мученья, Как о поре счастливой вспоминать В несчастье (*ит.*; пер. Д. Минаева).

в ней принадлежат старому корифею исторического романа, Дмитрию Сергеевичу Мережковскому, расширившему свою знаменитую трилогию «Христос и Антихрист» еще двумя томами: «Рождение богов» и «Мессия». Их, однако, надо поставить отдельно от общего движения новой исторической беллетристики, так как автор углубляется ими в древнейшие эпохи критской и египетской культур и преследует цели не только философские, но, пожалуй, даже теологические. Ряд романов из русской истории написаны Красновым, Лукашем, Минцловым, Первухиным, Наживиным и др.

Внимание авторов, переживших грозные годы Великой войны и русской революции, естественно, привлекают в прошлом по преимуществу аналогичные эпохи: бунты Стеньки Разина, Емельки Пугачева и русский патриотический подъем в Отечественную войну 1812 года. К области исторического романа надо отнести и последнюю работу Мережковского «Наполеон».

Наиболее замечательным явлением эмигрантской исторической беллетристики была тетралогия Марка Александровича Алданова «Мыслитель»: «Девятое Термидора», «Чертов мост», «Заговор», «Святая Елена — маленький остров». Она охватывает тридцатилетний период от падения Робеспьера — через Итальянскую и Швейцарскую кампании Суворова — через убиение императора Павла — до смерти Наполеона, минуя, впрочем, весь срок Первой империи. Капитальный труд Алданова представляет собою высокую ценность, как историческую и литературную, так отчасти и публицистическую. В зеркале Французской революции читатель невольно ищет параллелей к событиям и лицам современных нам революций, и автор тоже невольно нам их выясняет.

Талантливый и блестяще образованный, Алданов — типический западник, весь от корня скептической вольтерианской школы, от Эрнеста Ренана, Анатоля Франса. Глубокий

пессимист, при всяком удобном случае ссылающийся на безотрадную философию Экклезиаста. Художественное достоинство его романов неровно, но очень часто поднимается на высоту первоклассного мастерства, особенно в сильных драматических сценах с возбужденным движением масс: падение Робеспьера, переход Суворовым Чертова моста, убийство Павла I, предсмертный бред Наполеона. Сцены и фигуры европейской истории обыкновенно удаются Алданову лучше, чем русские. Он превосходный мастер исторической характеристики, его портретная живопись в самом деле живет.

Это свое завидное качество Алданов обнаруживает и как наблюдатель современной нам политической истории в блестящей книге «Современники» рядом характеристик Ллойд Джорджа, Черчилля, Клемансо и др. Если мы отметим, что в современном политическом мире симпатии Алданова влекутся к Клемансо, а в истории к Наполеону, то получим достаточно определенную характеристику и самого Алданова — мыслителя-скептика, который слывет и, кажется, сам себя считает социалистом, хотя влюбляется исключительно в диктаториальные «сверхчеловеческие» фигуры. Группе исторических беллетристов естественно быть смежною с группою многочисленных сейчас старателей о сохранении в чистоте и правильности русского языка, сильно страдающего в эмиграции от подчинения местным идиомам. Юное поколение эмиграции под влиянием чужеземной школы, газеты, театра, товарищества очень дурно говорит по-русски и даже вовсе забывает родной язык. Предсказание не из благоприятных для поправки главного недостатка нашей зарубежной литературы, о котором я говорил вначале: малочисленности в ней молодых сил. Стражами русского языка выступают сейчас в эмиграции главным образом князья Александр и Сергей Михайловичи Волконские, а также обширная группа фольклористов и «стилизаторов».

Последних возглавляет Алексей Михайлович Ремизов. Чрезвычайно талантливый и часто захватывающе увлекательный беллетрист-мистик, превосходный знаток русского фольклора и старинного книжного краснослова и словоизвития, Ремизов, однако, для русского языка — страж довольно двусмысленный, так как сам одержим капризною страстью к его переработке в ложно архаическую «стырь». Так что одною рукою он оберегает, а другою, пожалуй, портит. Но он талантлив, остроумен, и при отличном знании им языка изобретаемые им словечки и обороты иногда бывают забавны и интересны. Однако в общем утомляют внимание, как долгое праздное упражнение в словесном «обезьянстве» (определение самого А.М. Ремизова).

Когда Ремизов не кривляется «обезьяньим королем», он очень хорош и силен, способен растрогать и умилить, но редко балует он этим читателей. Выйдя из школы Лескова, он влюбился как раз в опаснейшую сторону таланта этого замечательного писателя, в предумышленно виртуозную игру словами, и довел ее до крайности, иногда до превращения в карикатуру на русский язык. Подражатели Ремизова, не обладая ни его талантом, ни его знанием языка, ни его архаическою начитанностью, портят русскую речь уже обеими руками.

Недавно на скудном поле «стилизации» поднялось новое растеньице — в виде исключения очень привлекательное пока что, а как оно разовьется и зацветет и какой плод даст, поживем — увидим. Это — молодой Леонид Зуров с «Отчиной» и рядом исторических рассказов. Но он ученик не Ремизова, а Бунина, и бунинская печать на нем вклеймлена ярко и глубоко. И «стилизует» он в бунинской простоте, а не в ремизовском ухищрении. «Отчина» (повесть о древнем Пскове и осаде его Стефаном Баторием) — превосходная эпопея в прозе, полная силы, чувства и вкуса в выборе словесных средств. Но все же истинная привлекательность Зурова не

в искусной «стилизации», а в редкой свежести и искренности дарования, радостно чувствующего жизнь и отзывчиво откликающегося ей бодрым юношеским лиризмом и духа, и языка. Много нашумевший (по рекомендации Бунина) «Кадет» Л. Зурова (защита военно учащеюся молодежью Ярославля против большевиков в 1918 г.) действительно — почти безусловно — прекрасная вещь. Ее вместе с «Королем, дамою и валетом» В. Сирина эмиграция смело может выставить напоказ в ответ на попреки неимением литературной молодежи.

Преждевременная смерть Аркадия Тимофеевича Аверченко выбила самую значительную силу из рядов русской зарубежной юмористики, и без того не весьма многолюдных. Вечно юная, умно улыбливая Тэффи, яркие фельетонисты-сатирики Александр Александрович Яблоновский и Ренников, неистощимый и неутомимый юморист-стихотворец Lolo (Мунштейн) — вот и кончен счет, потому что Саша Черный с годами отошел от юмористики, в которой по справедливости царил в последние годы перед войною, к литературе для детей и чистому лиризму.

8
К.Д. Бальмонт и И.А. Бунин

Когда проходишь предгорья, вступаешь в горы, когда поднимаешься на горы, достигаешь вершин.

Так и я, совершая свое странствие по высотам русской зарубежной литературы, прихожу наконец к двум ее вершинам, именам которых, вероятно, суждено обозначить исторически нынешний ее период. Имена эти — для поэзии стиха — Константин Дмитриевич Бальмонт, для поэзии прозы — Иван Алексеевич Бунин. Вот уже около сорока лет Бальмонт царит в русской поэзии, время от времени переживая направленные против него поэтические революции, однако ни одной из них не удалось лишить его

трона, который он сам некогда занял революционным порядком как кипучий в страстный поэт декаданса. Времена эти остались далеко позади. Бальмонт прошел длинную и сложную эволюцию чуткого импрессиониста, отзывчивого влияниям как русской, так иностранной мысли — философской, эстетической, социальной, политической — подобно восприимчивой мембране. Это едва ли не самый образованный человек в русской художественной литературе и полиглот, каких мало во всех литературах.

Казалось бы, познавательная ненасытность Бальмонта к книгам, к людям, к новым странам должна была направить его к эклектизму. Но его спас огромный субъективный талант в соединении с крайне субъективным же характером. Неутомимый всемирный путешественник, жадный охотник за новыми мыслями и впечатлениями, он, однако, никогда не подчиняется впитанной мысли или полученному впечатлению, но их себе подчиняет. Поверяет их близость его собственному духу и, убедясь в ней, претворяет их в новые идеи, облекает в новые неожиданные формы.

Подобно Куприну, которого Бальмонт обожает, объявляя самым русским из всех современных русских писателей, он — пантеист, солнцепоклонник. «Золотой петух» Куприна откликнулся пламенным восторгом в душе поэта, в юности освятившего свое творчество стихом: «Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце», а в старости не устающего твердить: «Вседневность Солнца моя твердыня... Я сгусток Света. Я слиток Солнца. Моя твердыня во мне крепка».

Я на своем веку знал лично очень много поэтов, но единственного Бальмонта, который всегда мыслит бесстрашно поэтически (и не умеет мыслить иначе) и, как мыслит, так говорит, как говорит, так действует.

Арестованный большевицким ЧК, он на вопрос о политических убеждениях коротко ответил: «Поэт». И это действительно самая полная его характеристика.

Поэт-философ светлой радости и любви к человечеству, дышащий одною жизнью с солнечным миром, полный через край яркими образами, изливающий их с величайшею легкостью и неистощимым постоянством звучными стихами. Собственно говоря, Бальмонт — непрерывный импровизатор. На высотах утонченной литературы он чудом сохранил дивный дар, которым поражают нас рапсоды, волхвующие лирики, жрецы и колдуны-ясновидцы первобытных народов. Если бы «L'Ingénu»* Вольтера сделался поэтом, он писал бы, как Бальмонт.

Несравненно богатый интернационалист впечатлений, космополит нежности ко всему миру, где светит Солнце, Бальмонт, однако — как всякий истинный поэт! — глубокий и страстный патриот-националист по пламенной любви к России, по своей тоске в разлуке с нею, по острому чутью ее несчастий, по жаркой ненависти к ее угнетателям, по жадному упованию и ожиданию ее воскресения.

Прислав мне и жене моей свою книгу «Где мой дом?», он знаменательно надписал на ней: «Русским-русским от русского-русского К. Бальмонта». Сейчас он окунулся в стихию славянского мира и привольно в ней купается. Едва ли кто другой сделал столько для ознакомления русских с поэтическою мыслью братьев-славян. Он — как бы живое олицетворение идеи, что русский гений есть всеславянский гений.

Жребий всемирного путешественника выпал и Ивану Алексеевичу Бунину, королю нашей современной художественной прозы. Великою надеждою русской литературы Бунин был с первого появления в ней тридцать лет тому назад. В своем предсмертном письме ко мне Антон Чехов указывал в Бунине своего преемника (за «Чернозем»).

* «Простодушный» (*фр.*).

Академия поспешила раскрыть пред Буниным свои двери задолго до всяких юбилейных сроков, помнится, на пятнадцатом году его деятельности. Словом, признание Бунина литературным светилом дело давнее, дореволюционное и довоенное.

Но только в эмиграции гений Бунина явил нам всю свою мощь и многогранность, весь свой блеск и беспредельно широкий охват. Молодой Бунин вышел из русла Тургенева, но оно уже давно стало тесно. Его стихия шире, сильнее и, так сказать, телеснее тургеневской. Все расширяясь, поток Бунина вторично образует на течении русской литературы таинственное озеро, подобное тому, каким разливалось художество Льва Толстого.

Современный Бунин — как бы и синтез русской литературной мысли по крайней мере за три четверти века. Спокойный, мудрый, чудотворно разнообразный, он весь и всегда свой, никогда никому не подражает, а между тем в нем, как лучи в общем фокусе, сошлись и слились все. Изучать Бунина в зарубежном периоде — значит видеть пред собою все положительные стороны русской художественной прозы, начиная чуть не с Пушкина, потому что даже волшебная тайна пушкинского лаконизма усвоена и использована им с чутьем и мастерством, какие редко кому давались из последователей поэта. Бальмонт когда-то, в дни пылкой юности, обмолвился гордым стихом: «Предо мной все другие поэты — предтечи». Бунин с полным правом мог бы сказать то же самое о всех наших значительных прозаиках. Все они его учители и все догнаны или превзойдены им в каком-нибудь из оригинальных опытов, которыми он так несметно богат.

Пушкина звали Протеем за необыкновенную способность отвечать каждой осветившей его идее точною формою. В Бунине мы имеем подобного же Протея. В своих чудотворных преображениях он иногда представляется

мне каким-то колдуном, который, по пословице, не только видит каждого человека насквозь, но и землю под ним на три аршина. Такая прозорливость не всем приятна, и колдунов за нее больше уважают и боятся, чем любят. Бунину это знакомо. Семнадцать лет тому назад он был почти проклят русской интеллигенцией за пессимистическое суждение о русском крестьянине в мрачной книге «Деревня». Однако большевицкая революция оправдала угрюмые пророчества Бунина от слова до слова, с тою же страшною и горестною точностью, как оправдались апокалиптические «Бесы» Достоевского, тоже возмутительные для современной им интеллигенции и еще долго потом.

И сейчас Бунин иногда подвергается нападкам как писатель, мало внимания уделяющий интересам современности: годам войны и революции, эмигрантскому быту, вообще социально-политическому дню.

Нападки эти несправедливы фактически, потому что из-под пера Бунина вышел грозный дневник «Окаянных дней» — неизгладимое клеймо «на много лиц бесстыдно бледных, на много лбов широко-медных»; а каждое публичное выступление писателя как оратора гремит анафемой злодеям России: большевикам и их угодникам-соглашателям.

Несправедливы и принципиально. Было бы истинно прискорбно, если бы Бунин часто отрывался от своего художественного труда для полемической публицистики и социально-политических проповедей, как бы прекрасны ни были их цели.

Да не повторится горькая ошибка Льва Толстого! Бунин тоже философ, но знает и твердо верует, что философия художника должна говорить с массами средствами его искусства, а не отречением от них для проповеднической схематизации с навязчивым дидактизмом.

За время эмиграции Бунин напечатал «Господина из Сан-Франциско», «Митину любовь», «Цикады», «Иду», «Дело корнета Елагина», несколько сборников мелких рассказов и стихов. Ни одно из этих произведений не касается текущей современности, однако каждое принималось с таким страстным вниманием, словно автор предлагал публике острейшие памфлеты на злобу дня.

И так не только в нашей русской среде, но и всюду, где узнали Бунина в переводах. Причина тому именно в волнующих философских проникновениях бунинского словесного художества. Он предназначен в сем мире угадывать во временном вечное, в случайном непременное, в будничном и пустяковом постоянный, железный психологический закон. Философия его пессимистична, родственна Экклезиасту и восточным мудрецам-фаталистам, но одета в такое разнообразие наблюдательной красочности, что первым и долгим впечатлением по чтении Бунина всегда бывает пышное торжество жизни. Размышления о «великой грусти» автора — наблюдателя и мыслителя — приходят потом.

Некоторые находят творчество Бунина холодным. Это все равно что жаловаться на холод мрамора, из которого высечена «Ночь» Микеланджело, или бронзы, из которой отлит «Персей» Бенвенуто Челлини. За холод принимаются уверенное спокойствие творца-олимпийца, знающего судьбы созерцаемого им мира, привычная сдержанность взрослого человека-мудреца, наблюдающего пестрые страсти и порывы людишек-детей. В этом отношении, равно как разнообразием творчества, Бунин напоминает Гёте. Правда, он еще не написал нам русского «Фауста», но очень возможно, что мы получим его в громадной национальной эпопее «Жизнь Арсеньева», которую теперь Бунин медленно пишет и печатает. Каждая глава широчайше планированного, отчасти как будто автобиографического романа будит нетерпеливое ожи-

дание дальнейшего развития этого глубоко взятого синтетического подхода к русской душе.

Может быть, Бунину дано будет договорить о ней то, чего не успели сказать Толстой, Достоевский и Чехов, и уяснить наконец Западу загадку, что такое вечно приводящая его в недоумение «славянская душа».

Если я прибавлю, что никогда еще никто в русской литературе не доводил языка до такого богатства, силы и смелости, как автор «Иоанна Рыдальца», «Святителя» и т.п., никто не возносил его красоту до такой чарующей музыкальности, как автор «Цикад», «Иды», «Митиной любви», «Жизни Арсеньева» и т.п., — то этим я завершу мой бегло набросанный портрет значительнейшего из наших писателей, и под впечатлением его грандиозной фигуры позвольте мне оставить и вас, заключая эту лекцию.



ПРИМЕЧАНИЯ

ЛИЛЯША
Роман одной женской жизни

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Лиляша: Роман одной женской жизни. Книга 1—3. Рига: Грамату драугс, 1928.

Пролог

С. **7.** *Дорошевич* Влас Михайлович (1865—1922) — публицист, театральный и художественный критик, прозаик.

Росси Эрнесто (1827—1896) — итальянский актер, выдающийся исполнитель ролей в трагедиях Шекспира.

Лопатин Герман Александрович (1845—1918) — революционер. В 1887 г. приговорен к вечной каторге. До 1905 г. в Шлиссельбургской крепости.

Ковалевский Владимир Иванович (1848—1934) — ученый-аграрник, экономист. С 1892 г. директор Департамента торговли и мануфактуры. В 1900—1902 гг. товарищ министра финансов.

Витте Сергей Юльевич (1849—1915), граф — государственный деятель. В 1886—1888 гг. управлял Юго—Западной железной дорогой. С 1892 г. управляющий Министерством путей сообщения, министр финансов. С 1903 г. председатель Комитета министров.

С. **8.** *Шабельская* Елизавета Александровна (1855—1917) — писательница, театральная деятельница, издательница газеты «Свобода и порядок».

Эпернэ — город во Франции, центр производства шампанских вин.

С. **9.** *Кази* Михаил Ильич — капитан-лейтенант, командир парохода Добровольного флота «Нижний Новгород».

Николай II (1868—1918) — последний император России. Расстрелян с семьей и слугами в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 г.

Пастухов Виктор Николаевич (1864—1902) — журналист. Редактор газеты «Нижегородская почта» (с 1885 г.) и иллюстрированного журнала «Гусляр», издаваемых его отцом Н.И. Пастуховым.

Пастухов Николай Иванович (1831—1911) — журналист, прозаик. Автор бульварного уголовного романа «Разбойник Чуркин» (1882—1885). Издатель популярных газет «Московский листок» (1881—1911), «Нижегородская почта» (1884—1903), журналов «Колокольчик» (1882), «Гусляр» (1889—1890), «Заноза» (1891).

С. **10.** *Коковцев* (Коковцов) Владимир Николаевич (1853—1914) — министр финансов в 1903—1914 гг.

Тимирязев Василий Иванович (1849—1919) — действительный статский советник. В 1896 г. генеральный комиссар Всероссийской художественно-промышленной выставки. С 1902 г. товарищ министра финансов. В 1905—1909 гг. министр торговли и промышленности. Член Государственного совета. Автор труда «Торговля России с Германией с 1887 по 1901 г.» (СПб., 1903).

Фет Афанасий Афанасьевич (наст. фам. Шеншин; 1820—1892) — поэт, мемуарист.

Гиляровский Владимир Алексеевич (1853, по другим сведениям 1855—1935) — журналист, прозаик, поэт; «король репортеров», написавший знаменитые книги «Трущобные люди» (1887), «Москва и москвичи» (1926), «Мои скитания» (1928), «Люди театра» (опубл. в 1941) и др.

С. **11.** *Эфрос* Николай Ефимович (1867—1923) — журналист, театральный критик и историк театра. Редактор газеты «Новости дня» (1896—1906). Автор труда «Московский Художественный театр. 1898—1923» (1924) и книг о К.С. Станиславском, В.И. Качалове и др.

Вакх (Дионис) — в греческой мифологии бог плодоносящих сил земли, виноградарства и виноделия.

Афродита — богиня любви.

С. **12.** *Ярилин праздник* — торжества у славян, устраивавшиеся ежегодно перед Петровым постом (в конце весны — начале лета). Они посвящались Яриле, мифологическому и ритуальному персонажу, с которым связывались надежды на плодородие, а также представления о сексуальной мощи.

С. 12. *Кигн* Владимир Людвигович (1856—1908) — прозаик, публицист, критик, печатавшийся под псевдонимом Дедлов.

С. 13. *Маркиз де Корневиль* — герой комической оперетты «Корневильские колокола» (1877) французского композитора Робера Планкета (1848—1903).

...как некогда фиванские вакханки истребили противника Дионисовых празднеств, скучного Пенфея? — Эпизод греческого мифа, ставшего сюжетом трагедии Еврипида «Вакханки». Неистовые поклонницы бога виноградарства и виноделия Диониса (Вакха) растерзали фиванского царя Пенфея за то, что он пытался воспрепятствовать отправлению культа Диониса в Фивах, запретив женщинам чествовать бога. За это Дионис поразил фиванок безумием, заставив их предаться вакхическим оргиям.

С. 14. *Забава Путятишна, Соловей Будимирович, Настасья Микулишна, Святогорова жена, Илья Муромец* — персонажи русских былин.

С. 17. *Барков* Иван Семенович (ок. 1732—1768) — поэт, переводчик. Прославился непристойными стихами, расходившимися в списках (впервые опубл. в 1992 г.).

С. 20. *...для роли жены Пентефрия...* — Имеется в виду библейская история о жене начальника телохранителей египетского фараона Потифара, которая пыталась совратить Иосифа, но была им отвергнута.

Чупров Александр Иванович (1842—1908) — экономист, статистик, публицист, профессор политэкономии Московского университета, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1887). Один из основоположников отечественной статистической науки. Организатор переписи населения Москвы в 1882 г.

С. 21. *Герье* Владимир Иванович (1837—1919) — профессор всеобщей истории в Московском университете, основатель и руководитель Высших женских курсов в Москве (1872—1905).

С. 22. *Кочетова* Зоя Разумниковна (1857—1892) — оперная певица (колоратурное сопрано). В 1879—1883 гг. солистка Большого театра.

С. 23. *Тихонравов* Николай Саввич (1832—1893) — историк русской литературы, до 1889 г. профессор, ректор (в 1877—1883 гг.) Московского университета. Академик.

Бентам Иеремия (1748—1832) — английский социолог, юрист, философ; основоположник утилитаризма.

С. **24.** *Баранов* Николай Михайлович (1837—1901) — генерал-лейтенант, сенатор. С 9 марта 1881 г. — градоначальник Петербурга, через год отправлен губернатором в Архангельск, а в 1883 г. — в Нижний Новгород.

Эней — в греческой мифологии троянец, бежавший из горящей Трои, захваченной греками. В Карфегене его приютила царица *Дидона*, влюбившаяся в него. Однако Эней, повинуясь предсказаниям оракула, отправился в страну своих предков Италию. Дидона в отчаянии покончила с собой. Дидона и Эней — персонажи эпической поэмы Вергилия (70—19 до н.э.) «Энеида» и оперы английского композитора Генри Пёрсела (1659—1695) «Дидона и Эней» (1689).

С. **26.** *«Пруд»* (1905) — первый роман Алексея Михайловича Ремизова (1877—1957).

Боголепов Николай Павлович (1846—1901) — правовед. В 1881—1893 гг. профессор истории римского права, ректор Московского университета. С 1898 г. министр народного просвещения. В 1901 г. смертельно ранен террористом-эсером.

Капнист Павел Александрович (1840—1904) — юрист, с 1880 г. попечитель Московского учебного округа.

«Новое время» (1868—1917) — официозная петербургская газета (с 1876 г. издавалась А.С. Сувориным и его сыновьями). Амфитеатров печатался в этой газете с 1891 г., а в 1892—1899 гг. вел рубрику воскресного фельетониста «Москва. Типы в картинках».

...боевой период «России»... — Уйдя из суворинского «Нового времени», Амфитеатров вместе с В.М. Дорошевичем в апреле 1899 г. основал газету «Россия», которая в январе 1902 г. была закрыта за публикацию памфлета Амфитеатрова «Господа Обмановы» (см. т. 6 наст. изд.). Автор был отправлен в ссылку.

...вторая ссылка в Вологду за Горный институт... — Амфитеатров 27 апреля 1904 г. в газете «Русь» напечатал статью «Листки», в которой защищал студентов Горного института, обвиненных в прояпонских настроениях. За это писатель вновь был выслан в Вологду с запретом заниматься литературной деятельностью. В июле 1904 г. ему удалось выехать за границу «по состоянию здоровья».

...после убийства Плеве... — Вячеслав Константинович Плеве (1846—1904) — в 1902—1904 гг. министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов. Убит эсером-террористом Е.С. Созоновым.

С. **26.** *Лопухин* Алексей Александрович (1864—1927?) — в 1902—1905 гг. директор Департамента полиции. Выступил с разоблачениями провокаторской деятельности полиции, в частности, раскрыл общественности имя провокатора Е.Ф. Азефа. В 1909 г. приговорен к пяти годам каторги; помилован в 1912 г. С 1918 г. в эмиграции. Автор мемуаров

С. **27.** *Лавров* Вукол Михайлович (1852—1912) — журналист, переводчик. В 1880—1907 гг. издатель и редактор журнала «Русская мысль».

С. **28.** *Коновалов* Дмитрий Петрович (1856—1929) — физикохимик. В 1886—1907 гг. профессор Петербургского университета. В 1908—1915 гг. товарищ министра торговли и промышленности. Академик с 1923 г.

...гонимый Сипягиным и Плеве... — Названы министры внутренних дел; с 1900 г. — Дмитрий Сергеевич Сипягин (1853—1902), убитый эсером-террористом С.В. Балмашевым, и с 1902 г. — В.К. Плеве (см. о нем выше). Ведомствами этих министров Амфитеатров дважды подвергся ссылке за свои статьи.

С. **29.** *Морозов* Савва Тимофеевич (1862—1905) — директор-распорядитель правления мануфактурной компании, крупнейший пайщик Московского Художественного театра, председатель Нижегород-ского ярмарочного комитета.

Сумбатов Александр Иванович (псевд. Южин; 1857—1927) — режиссер, актер, драматург, педагог. В 1909—1925 гг. руководитель Малого театра.

Рыбаков Константин Николаевич (1856—1916) — актер Малого театра с 1871 г.

Лешковская Елена Константиновна (наст. фам. Ляшковская; 1862—1925) — комедийная актриса Малого театра с 1888 г.

Петерсен Владимир Карлович (Петерсон; 1842—1906) — военный инженер, журналист.

Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) — прозаик, драматург, публицист, мемуарист; владелец книжного издательства, в котором выходили газета «Новое время» (с 1876 г.), журнал «Исторический вестник» (с 1880 г.). На паях с П.П. Гнедичем и П.Д. Ленским организовал в Петербурге частный театр (1895—1917), который с 1912 г. назывался Театром литературно—художественного общества имени А.С. Суворина.

С. **29.** *Лилина* Мария Петровна (наст. фам. Перевощикова; 1866—1943) — любимая актриса А.П. Чехова в МХТ. С 1889 г. жена К.С. Станиславского.

Луначарская Наталия Александровна (урожд. Сац, в 1-м браке Розенель; 1902—1944) — актриса. Вторая жена наркома просвещения А.В. Луначарского.

Коллонтай Александра Михайловна (урожд. Домонтович; 1872—1952) — политический деятель, дипломат, публицист. В 1917—1918 гг. народный комиссар государственного призрения. С 1923 г. посол (первая в мире из женщин) в Норвегии, с 1926 г. в Мексике, с 1927 г. в Швеции.

С. **30.** *Домострой* — памятник русской литературы XVI в., свод патриархальных житейских правил и наставлений, основанных на беспрекословном повиновении главе семьи. Предполагаемый автор одной из редакций памятника — священник московского Благовещенского собора Сильвестр (?— ок. 1566), духовный наставник юного Ивана Грозного.

Книга первая

С. **44.** *...дочь Александра Второго...* — Мария Александровна (1853—1920) —великая княжна. В 1874 г. вышла замуж за герцога Эдинбургского, сына английской королевы.

Елизавета Петровна (1709—1761/62) — императрица России с 1741 г.

С. **51.** *Картезианцы* — члены католического монашеского ордена аскетов, возникшего в XI в. во Франции.

С. **60.** *«Так храм оставленный — все храм, // Кумир поверженный — все бог!»* — Из стихотворения Лермонтова «Расстались мы; но твой портрет...» (1837).

С. **64.** *Аграф* — нарядная пряжка или застежка.

С. **73.** *Мюльгаузен* — профессор политэкономии в Московском университете.

С. **82.** *«Джоконда»* (1876) — опера итальянского композитора Амилькаре Понкьелли (1834—1886).

С. **83.** *...на Василия Кессарийского, муж именинник...* — Имеется в виду 30 января (12 февраля), день памяти архиепископа Кессарийского Василия Великого (329—379).

С. **86.** *Иван Великий* — колокольня в московском Кремле, названная по имени находящейся в ней церкви Ивана Лествичника.

С. **89.** *Патефруа* (фр. pate frua) — фруктовая паста, мармелад.

С. **93.** *Лукреция* — героиня оперы «Лукреция Борджиа» (1833) итальянского композитора Гаэтано Доницетти (1797—1848), написанной по драме В. Гюго «Анджело, тиран Падуанский».

Виргиния — целомудренная дочь римского воина, убитая отцом, желавшим спасти ее от похотливых притязаний децемвира Аппия Клавдия. Считается, что это убийство послужило причиной низложения власти децемвиров («коллегии десяти»).

Тарквиний Гордый — последний царь Древнего Рима (в 508—507 до н.э.), прославившийся жестоким обращением не только с врагами, но и со своим народом и патрициями.

С. **100.** *Козьма Прутков* — коллективный псевдоним писателей А.К. Толстого и братьев Жемчужниковых, Алексея (1821—1908), Александра (1826—1896) и Владимира (1830—1884) Михайловичей, совместно выступавших в 1850—1860-е годы с пародиями, баснями, афоризмами, комедиями.

Взвейся выше, понесися... — Романс на слова «Песни», приписываемой Алексею Федоровичу Мерзлякову (1778—1830).

С. **101.** *Гаусс* Карл Фридрих (1777—1855) — немецкий математик.

Лобачевский Николай Иванович (1792—1856) — математик, создатель неевклидовой геометрии, названной его именем.

С. **102.** *Эвклид,* Евклид — древнегреческий математик, живший в Александрии в III в. до н.э. Основной труд — «Начала» в 15 книгах.

С. **107.** *Каин* — в библейских преданиях старший сын Адама и Евы, убивший из зависти своего брата Авеля.

С. **119.** *Венецианские догарессы* — супруги дожей, представителей верховной власти в Венецианской республике (с VIII в.).

Инфанты — принцессы.

С. **121.** *Квазимодо* —— персонаж романа французского прозаика, поэта и драматурга Виктора Гюго (1802—1885) «Собор Парижской Богоматери» (1831).

Гуинплэн — герой романа В. Гюго «Человек, который смеется» (1869).

С. **123.** *Маркони* Франческо (1843—?) — итальянский оперный певец (тенор).

С. **125.** *Мурильо* Бартоломе Эстебан (1618—1682) — испанский живописец. Автор нескольких картин из жизни Богоматери, в том числе знаменитой «Мадонны с младенцем».

С. **127.** *Южин... в «Ричарде Третьем»...* — Роль Ричарда III в одноименной трагедии Шекспира А.И. Сумбатов-Южин впервые исполнил в 1897 г. на сцене Малого театра.

С. **131.** *Помстилось* — померещилось.

С. **134.** *Либрпансерство* — вольнодумство (от фр. un libre penseur — свободомыслящий).

Левитан Исаак Ильич (1860—1900) — живописец, творчество которого составило эпоху в развитии русской пейзажной живописи.

Урусов Александр Иванович (1843—1900), князь — известный в Москве адвокат, переводчик, литературный и художественный критик.

Гольцев Виктор Александрович (1850—1906) — публицист, критик, ученый. Сотрудник и редактор многих изданий, в том числе газет «Юридический вестник», «Русский курьер», «Курьер», «Русские ведомости», журналов «Русская мысль», «Вестник Европы», «Русское богатство» и др. Активный деятель земского движения.

Корсаков Сергей Сергеевич (1854—1900) — психиатр, с 1892 г. профессор Московского университета. Автор классического труда «Курс психиатрии» (1893).

Антиной — в греческой мифологии предводитель женихов, сватавшихся к жене Одиссея Пенелопе, которая 20 лет ждала своего мужа. Одиссей, возвратившись из странствий, убил дерзкого Антиноя.

Чупров Алексей Иванович (?—1898) — бухгалтер, управляющий фирмой М.В. и С.В. Сабашниковых.

С. **136.** *Мопассан* Ги де (1850—1893) — французский прозаик.

С. **137.** *Гамбетта* Леон (1838—1882) — премьер-министр и министр иностранных дел Франции в 1881—1882 гг. Лидер левых республиканцев.

Дуров Анатолий Анатольевич (1887—1928) — цирковой актер и дрессировщик животных.

Амвросий (в миру Александр Михайлович Гренков; 1812—1891) — иеросхимонах, старец Оптиной пустыни, духовный писатель.

Этуаль (фр. etoile) — звезда.

С. **140.** *Пассек* Евгений Вячеславович (1860—1912) — юрист, публицист, профессор римского права, ректор Юрьевского университета. Женой Е.В. Пассека была сестра Амфитеатрова Александра Валентиновна.

Бернар Сара (1844—1923) — французская трагедийная и мелодраматическая актриса, художница.

С. **148.** *Балетта* Элиза (ок. 1870—?) — французская актриса. В 1891—1906 гг. в петербургской французской труппе. Любовница великого князя Алексея Александровича (1859—1908), генерал-адмирала, главного начальника флота, сына Александра II.

С. **152.** *Бентам* Иеремия — см. примеч. к с. 23.

Рикардо Давид (1772—1823) — английский экономист, автор классического труда «Начала политической экономии и налогового обложения» (1817).

Дрепер Джон Вильям (1811—1882) — американский химик, физиолог и историк. Автор книги «История умственного развития Европы» (1869, 1899).

Дарвин Чарлз Роберт (1809—1882) — английский естествоиспытатель. Автор трудов «Происхождение видов путем естественного отбора» (1867), «Происхождение человека и половой отбор» (1871) и др.

С. **158.** *Филемон и Бавкида* — в греческой мифологии благочестивая супружеская пара, которой боги даровали долгую жизнь и возможность умереть в один день.

Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна — верные супруги, персонажи повести Н.В. Гоголя «Старосветские помещики» (1832).

С. **162.** *Сандо* Леонар Сильвен Жюль (1811—1883) — французский прозаик. Друг Жорж Санд (свой псевдоним она образовала из его фамилии), написавший в соавторстве с нею свой первый роман «Роз и Бланш» (1831).

С. **163.** *Жорж Занд* (Санд; наст. имя и фам. Аврора Дюпен; 1804—1876) — французская писательница.

И смерть пришла: наступило за гробом свиданье... — Из стихотворения Лермонтова «Они любили друг друга так долго и нежно...»; 1841); вольный перевод стихотворения Г. Гейне «Они любили друг друга, но никто из них...» (1827).

С. **172.** *Золя* Эмиль (1840—902) — французский прозаик. Автор 20-томной серии романов «Ругон-Маккары» (1871—1893).

С. **172.** *Боборыкин* Петр Дмитриевич (1836—1921) — прозаик, драматург, публицист, критик, мемуарист.

Голконда — государство в Индии XVI—XVII вв., славившееся своими месторождениями и гранильнями алмазов.

С. **173.** *Ротшильд* — семья европейских банкиров, основанная Мейером Ансельмом Ротшильдом (1743—1812).

Поляков Самуил Соломонович (1837—1888) — крупный предприниматель в сфере строительства железных дорог, основатель банкирской династии; вместе с братьями Лазарем (1842—1914) и Яковом (1832—1909) учредил ряд банков и промышленных обществ.

Книга вторая

С. **176.** *«Крейцерова соната»* (1887—1889) — повесть Л.Н. Толстого.

С. **183.** *«Фауст»* (1859) — опера французского композитора Шарля Гуно (1818—1893) на сюжет 1-й части одноименной трагедии И.В. Гёте (1773—1808). В России впервые поставлена в петербургской Итальянской опере в декабре 1863 г. и в Мариинском театре 15 сентября 1869 г.

С. **184.** *«Лоэнгрин»* (1848) — опера немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813—1883).

С. **185.** *Отелло, Дездемона* — персонажи трагедии Шекспира «Отелло» (1604) и одноименной оперы (1886) итальянского композитора Джузеппе Верди (1813—1901).

С. **191.** *Мондэнка* — светская женщина (от фр. mondain).

Парюра — дамский гарнитур (от фр. parure).

Куафер (фр. coiffeur) — парикмахер.

Верлен Поль (1844—1896) — французский поэт-символист.

Мамонтов Савва Иванович (1841—1918) — предприниматель, меценат, театральный деятель, режиссер, либреттист, переводчик. В подмосковном имении Абрамцево в 1870—1890 гг. открыл мастерские для художников. Основал Московскую частную русскую оперу (1885—1904), сыгравшую новаторскую роль в совершенствовании русского музыкального театра.

С. **192.** *...«мимолетному видению, гению чудной красоты»...* — См. у А.С. Пушкина в стихотворении «К***» («Я помню чудное мгновенье...»): «Как мимолетное виденье, // Как гений чистой красоты», посвященное А.П. Керн.

С. **194.** *...со времени изобретения господином Томасом Эдисоном телефона...* — Томас Алва Эдисон (1847—1931) — американский изобретатель (более 1000 изобретений). Усовершенствовал телефон (1876) Александера. Белла (1847—1922).

С. **196.** *Безбородки* — малороссийский дворянский род, среди которых наиболее известны генеральный писарь Андрей Яковлевич (1711—1780), его сыновья, действительные тайные советники, дипломат Александр Андреевич (см. о нем примеч. к с. 563), сенатор Илья Андреевич (1756—1815).

Кочубеи — потомки генерального судьи Василия Леонтьевича, казненного в 1708 г. гетманом Мазепой: действительный тайный советник, председатель Государственного совета и Комитета министров (1827 г.) Виктор Павлович (1768—1834), его сыновья князья: действительный статский советник Лев Викторович (1810—1890), камергер Василий Викторович (1811—1850), гофмаршал Михаил Викторович (1816—1874), действительный статский советник Сергей Викторович и др.

С. **199.** *Страстная* (Великая седмица) — последняя неделя Великого поста перед Пасхой, посвящаемая воспоминаниям о страданиях и смерти Иисуса Христа. Каждый день Страстной недели называется Великим и отмечается торжественными богослужениями.

Фомина неделя — первая после Пасхи.

С. **200.** *Александр Невский* (1220 или 1221—1263) — князь новгородский в 1236—1251 и тверской в 1247—1252 гг., великий князь владимирский с 1252. Обезопасил западные границы Руси, разгромив шведов в Невской битве (1240) и немецких рыцарей в Ледовом побоище (1242).

Александр Михайлович (1301—1339) — великий князь тверской (1325—1327 и с 1337) и владимирский (1325—1327).

С. **201.** *Корсов* Богомир Богомирович (наст. имя и фам. Готфрид Геринг; 1843, по др. данным 1845—1920) — оперный певец (баритон) Мариинского (Петербург) и Большого (Москва) театров.

С. **203.** *Граф Невер* — персонаж оперы Дж. Мейербера «Гугеноты».

С. **206.** *Дионисий* I Старший (ок. 432—367 до н.э.) — тиран Сиракуз с 406 г. до н.э., основавший мощное государство западных греков по обеим сторонам Мессинского пролива.

С. **207.** *...«любви все возрасты покорны»...* — Из «Евгения Онегина» А.С. Пушкина.

С. **207.** *Гекла* — вулкан в Исландии с пятью кратерами.

С. **225.** *Петров пост* — в честь апостолов Петра и Павла, длящийся от 8 до 42 дней (в зависимости от начала Пасхальных празднеств). Начинается в первый понедельник после Духова дня и оканчивается в праздник апостолов Петра и Павла 29 июня (12 июля).

С. **231.** *Агарь* — рабыня Сарры, бездетной жены патриарха Авраама, ставшая его наложницей и родившая ему наследников.

С. **232.** *Гарпагон* — главный герой комедии «Скупой» (пост. 1668 г.) французского комедиографа Мольера (наст. имя и фам. Жан Батист Поклен; 1622—1673). Нарицательное прозвище скряг.

Фурия — одна из римских богинь мщения.

С. **235.** *Удольфские тайны какие-то.* — Имеется в виду роман «Тайны Удольфского замка» английской писательницы Анны Радклиф (урожд. Уорд; 1764—1823), основоположницы «романа тайн и ужасов» (готического).

С. **264.** *Диккенс* Чарлз (1812—1870) — английский писатель.

Флобер Гюстав (1821—1880) — французский прозаик.

Габорио Эмиль (1832—1873) — французский писатель, автор романов о сыщике Лекоке, принесших ему славу одного из зачинателей детективного жанра.

Ксавье де Монтепен (1823—1902) — французский прозаик, драматург, публицист. Автор мелодраматических и уголовных романов, из которых около 60 изданы в России.

Понсон дю Террайль Пьер Алексис (1829—1871) — французский прозаик. Автор историко-приключенческих и детективных романов, в том числе знаменитого многотомного сериала «Похождения Рокамболя».

Крез (560—546 до н.э.) — царь Лидии, прославившийся своим богатством.

С. **270.** *...ликовал Исаия.* — «Ликуй, Исаия!» — название литургического гимна, исполняемого во время бракосочетания.

С. **289.** *Корсаков* С.С. — см. примеч. к с. 134.

Савей Могилевич — прозвище (?) Алексея Александровича Остроумова (1844—1908), терапевта, профессора Московского университета (с 1880 г.), владельца лечебницы на Девичьем поле.

Сербский Владимир Петрович (1858—1917) — врач, один из основоположников судебной психиатрии в России. В 1902—1911 гг.

профессор Московского университета. Автор руководства «Судебная психопатология» (т. 1—2, 1896—1900).

С. **289.** *Кожевников* Алексей Яковлевич (1836—1902) — врач, профессор Московского университета. Один из основоположников невропатологии в России.

С. **297.** *Ермолова* Мария Николаевна (1853—1928) — трагедийная актриса; с 1871 г. в московском Малом театре.

С. **302.** *«Уриэль Акоста»* — трагедия немецкого прозаика и драматурга Карла Гуцкова (1811—1878) и опера Валентины Семеновны Серовой (1846—1924), впервые поставленная в Большом театре в 1885 г.

Книга третья

С. **319.** *Сандуновские бани... как перестроили их Гонецкий с Фирсановой...* — Сандуновские бани в Москве построили в XVIII в. актер, исполнитель ролей плутоватых слуг Сила Николаевич Сандунов (1756—1820) и его жена певица, драматическая актриса Елизавета Семеновна (бани названы в ее честь; см. о ней в прим. к статье «Пути русского искусства»). В 1894 г. на месте старых бань возвели новое здание (по проекту архитектора Б.В. Фрейденберга) отставной офицер Алексей Николаевич Гонецкий (1867—1904) и его жена Вера Ивановна, (1862—1934), домовладелица, меценатка и благотворительница, дочь купца-миллионера И.Г. Фирсанова.

С. **320.** *Пифия* — в греческой мифологии жрица-прорицательница в храме Аполлона в Дельфах.

Ключ Кастальский — в греческой мифологии ручей на Парнасе, подаренный богом реки Кефисом дельфийской нимфе Касталии. Славился как прорицалище Аполлона и как источник вдохновения.

С. **324.** *«Эрмитаж»* — сад в центре Москвы (на Божедомке), принадлежавший актеру и антрепренеру Михаилу Валентиновичу Лентовскому (1843—1906). Здесь он открыл театры оперетты, Фантастический, Новый и «Скоморох». В 1894 г. «Эрмитаж» был арендован Я.В.Щукиным, который построил театр, где выступала его опереточная труппа, а также гастролеры. Здесь 26 мая 1896 г. москвичи увидели первый кинофильм.

С. **326.** *Мне грустно и легко. Печаль моя светла...* — Из стихотворения Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» (1829).

С. **333.** *Эрмитаж* — один из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев. Основан в Петербурге Екатериной II в 1764 г.

С. **337.** *Миликтриса Кирбитьевна* — героиня русской сказки «Бова-королевич».

С. **345.** *Огарев* Николай Ильич (1820—1890) — генерал-майор. В течение 30 лет был полицмейстером I отделения Москвы. В.М. Дорошевич назвал Огарева «легендарным полицмейстером».

С. **350.** *«Московский листок»* (М., 1881—1918) — ежедневная газета Н.И. Пастухова (до 1911 г.).

«Новости дня» (М., 1883—1906) — ежедневная политическая, общественная и литературная газета, издававшаяся А.Я. Липскеровым.

С. **351.** *«Дон Жуан»* (1787) — опера австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта (1756—1791).

С. **354.** *Лукреция* — добродетельная супруга Луция Тарквиния Коллатина, обесчещенная Секстом, сыном этруска Тарквиния Гордого, последнего царя, правившего в Древнем Риме в 508—507 гг. до н.э. Заколола себя мечом. Ее гибель послужила поводом к ликвидации царской власти в Риме.

С. **358.** *Дисконтер* (от англ. *discount* — процент скидки) — банкир, ростовщик, дающий кредиты под проценты, под долговое обязательство.

«Яр» — популярный в XIX в. московский ресторан (открыт в 1826 г.), в котором выступали лучшие цыганские ансамбли, в том числе знаменитый хор Ильи Соколова.

Хитров рынок размещался в центре Москвы на берегу Яузы. Назван по имени основателя (с 1823 г.) генерал-майора в отставке Н.З. Хитрово. К началу XX в. «Хитровка» стала пристанищем бездомных и рассадником преступности; место действия героев книги В.А. Гиляровского «Москва и москвичи».

«Славянский базар» — гостиница (1872) и ресторан на Никольской ул. в Москве. Здесь 21 июня 1898 г. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко приняли решение об открытии Московского Художественного театра (МХТ).

С. **361.** *...как степь Гоби.* — Гоби — обширная полоса пустынь и степей в Центральной Азии.

С. **364.** *Леди Макбет* — персонаж трагедии Шекспира «Макбет» (1606), жена полководца, побудившая его преступными сред-

ствами захватить трон Шотландии. Ее имя стало нарицательным для обозначения злодейки.

С. **366.** *«Корневильские колокола»* — см. примеч. к с. 13.

С. **369.** *Годунова* Ксения Борисовна (?—1622) — дочь царя Бориса Годунова.

С. **376.** *Андреев-Бурлак* Василий Николаевич (наст. фам. Андреев; 1843—1888) — актер, прозаик. Один из организаторов «Первого товарищества русских актеров» (1883).

С. **377.** *Маргарита* — персонаж трагедии Гёте «Фауст» и одноименной оперы Ш. Гуно.

С. **379.** *Магдалина* — в Библии раскаявшаяся блудница Мария из Магдалы, исцеленная Иисусом Христом и ставшая проповедницей его вероучения.

С. **383.** *«Кроткая»* — «фантастический рассказ» Ф.М. Достоевского из «Дневника» (1876—1877), о котором М.Е. Салтыков-Щедрин сказал: «Таких жемчужин немного во всей европейской литературе».

С. **392.** *...рассказ, как вожаки перестреляли своих медведей...* — Рассказ «Медведи» (1883) Всеволода Михайловича Гаршина (1855—1888).

С. **399.** *Прорва* (простореч.) — зд.: глотка.

С. **406.** *«Корделия»* — вероятно, одна из переделок трагедии Шекспира «Король Лир», персонажем которой является Корделия, дочь Лира.

Правдин Осип Андреевич (наст. имя и фам. Оскар Августович Трейлебен; 1849—1921) — актер Малого театра с 1878 г.

Княгиня Марья Алексеевна — персонаж комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».

С. **407.** *Фермуар* — брошь, пряжка, которой застегивались ожерелья.

С. **416.** *Ферт* — зд.: самодовольный, развязный человек (от старого названия буквы «ф»).

С. **425.** *«Перикола»* (1868) — оперетта французского композитора Жака Оффенбаха (наст. имя и фам. Якоб Эберштейн; 1819—1880). На русской сцене оперетта шла с 1870 г.

С. **431, 432** *Чацкий, Софья Павловна Фамусова* — герои комедии Грибоедова «Горе от ума».

С. **433.** *Чернов* Аркадий Яковлевич — актер оперетты, впоследствии оперный певец.

С. **433.** *Южин* — актерский псевдоним А.И. Сумбатова (см. примеч. к с. 29).

...слыли по Москве «Астартами»... — Астарта — в финикийско-сирийской мифологии богиня любви и плодородия, богиня-воительница.

С. **445.** *Мария Кочубей в «Полтаве»...* — Персонаж поэмы Пушкина «Полтава».

С. **448.** *«Нана»* (1880) — роман Э. Золя.

«Мадемуазель Жиро» — рассказ Ги де Мопассана.

С. **453.** *Урусов* А.И. — см. примеч. к с. 134.

Плевако Федор Никифорович (1842—1908) — юрист, адвокат, выдающийся судебный оратор.

Сумбатов — см. примеч. к с. 29.

Мамонтов С.И. — см. о нем примеч. к с. 191.

Суриков Василий Иванович (1848—1916) — живописец-передвижник; автор монументальных полотен, отразивших остроконфликтные моменты русской истории: «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири Ермаком» и др.

Цертелев Дмитрий Николаевич (1852—1911), князь — поэт, прозаик, философ. В 1890—1893 гг. издатель журнала «Русское обозрение».

Хохлов Павел Акинфиевич (1854—1919) — оперный певец (баритон). В 1879—1902 гг. солист Большого театра.

Ковалевский Максим Максимович (1851—1916) — историк, этнограф, юрист, социолог; профессор Московского университета. Депутат I Государственной думы. С 1907 г. член Государственного совета. С 1909 г. издатель и активный сотрудник журнала «Вестник Европы». С 1914 г. академик по разряду историко-политических наук.

Ленский Александр Павлович (наст. фам. Вервициотти; 1847—1907) — актер, режиссер, педагог. С 1876 г. в Малом театре.

Гольцев В.А. — см. примеч. к с.000. .

Гучков Николай Иванович (1860—1935) — в 1905—1913 гг. московский городской голова.

Корш Федор Адамович (1852—1923) — драматург (в основном переводчик), юрист, антрепренер, владелец популярного в Москве Русского драматического театра (1882—1917).

С. **459.** *Шейлок, Тубал* — персонажи комедии Шекспира «Венецианский купец» (1597).

С. **461.** *...читать тайком старые номера «Земли и воли»...* — Речь идет о подпольной газете (СПб., окт. 1878 — апр. 1879; вышло 5 номеров) тайной террористической организации «Земля и воля».

«Утес» — стихотворение А.А. Навроцкого «Утес Стеньки Разина» («Есть на Волге утес...»; 1870), ставшее популярной песней (на музыку положено Навроцким, А.Г. Рашевской и др.).

...к возвращенному старику Чернышевскому... — Публицист, прозаик, критик Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889) в 1862 г. был арестован и заключен в Петропавловскую крепость (здесь написал роман «Что делать?»). В тюрьмах и ссылке провел более 20 лет, за четыре месяца до кончины получил разрешение поселиться в родном Саратове. Автор трудов по эстетике, философии, социологии, политэкономии, этике. В 1856—1862 гг. один из руководителей журнала «Современник». Идейный вдохновитель движения революционной демократии 1860-х гг.

«Русские ведомости» (М., 1863—1918) — политическая и литературная газета, основанная Н.Ф. Павловым.

Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — публицист, социолог, критик; теоретик народничества. В 1892—1904 гг. редактор журнала «Русское богатство».

С. **464.** *«Мечты королевы.* На мотив из Тургенева» («Шумен праздник, — не счесть приглашенных гостей!..»; 1881—1882) — стихотворение С.Я. Надсона, навеянное повестью И.С. Тургенева «Первая любовь».

С. **465.** *Провались, правоведение!* — Имеется в виду Императорское училище правоведения (основано в 1835 г.), закрытое учебное заведение для детей потомственных дворян, готовившее их к службе по судебному ведомству.

С. **469.** *«Жервеза»* — «Мадам Жервезе» (1869), последний совместный роман французских прозаиков братьев Эдмона (1822—1896) и Жюля (1830—1870) де Гонкур.

С. **480.** *Инсаров, Елена* — герои романа Тургенева «Накануне» (1860).

С. **486.** *Мессалина* (ок. 25—48 н.э.) — третья жена римского императора Клавдия, казненная им за распутство и заговор против него.

Семирамида — героиня ассирийских преданий, родом из Вавилона, царица Шаммурат, правившая в конце IX в. до н.э. Ей приписывается возведение в Вавилоне «висячих садов», одного из семи чудес света.

С. **486.** *Лукреция Борджиа* — см. примеч. к с. 93.

С. **494.** *Гоппе* Герман Дмитриевич (1836—1885) — основатель издательства в Петербурге (1867), выпускавшего в 1867—1900 гг. «Всеобщий календарь», журналы «Всемирная иллюстрация» (1869—1898), «Модный свет» (1868—1883), «Огонек» (1879—1881) и др.

С. **496.** *Принц Уэльский* — с XIII в. титул наследников английского престола.

Маскотта — героиня одноименной оперетты (1880; в России шла также под названием «Красное солнышко») французского композитора Эдмона Одрана (1840—1901).

С. **498.** *Психея* — в греческой мифологии олицетворение человеческой души.

Купидон — в римской мифологии божество любви.

С. **502.** *Кушнерев* Иван Николаевич (1827—1896) — очеркист, редактор-издатель еженедельника «Народная газета» (1863—1869), журнала «Грамотей» (СПб., 1862—1868; М., 1869—1876). С 1868 г. редактор «Ведомостей московской городской полиции» и заведующий полицейской типографией. В 1869 г. основал в Москве свое типографо-издательское товарищество — «Кушнеревку», выпустившую около 60 книг. С 1869 г. издавал также «Всеобщую газету», переименованную в 1871 г. в «Московскую биржевую газету».

С. **525.** *Давыдов* Александр Давыдович (наст. фам. Карапетян; 1849—1911) — популярный оперный и эстрадный певец (лирико-драматический тенор), артист Малого и Большого театров, а также Московского артистического кружка и театра оперетты.

«Пара гнедых» («Пара гнедых, запряженных с зарею...»; 1880) — стихотворение Алексея Николаевича Апухтина (1840—1893), положенное на музыку дружившим с ним П.И. Чайковским и ставшее популярным романсом.

С. **534.** *...сборники Рубца, Мамонтовой, Львовой...* — Книги второстепенных поэтов.

Под вечер осени ненастной... — Имеется в виду стихотворение Пушкина «Романс» («Под вечер, осенью ненастной...»; 1814), впервые положенное на музыку в 1829 г. Н.С. Титовым.

Чтоб весь день, всю ночь мой слух лелея / Мне про дружбу сладкий голос пел... — Искаженные строки стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» (1841). У Лермонтова: «Про любовь мне сладкий голос пел».

ИЗ ПУБЛИЦИСТИКИ

Пути русского искусства

(Извлечение)

Печ. по изд.: Амфитеатров А.В. Собр. соч. Т. 21. Склоненные ивы. М.: Просвещение, <1913>.

С. **561.** *«Золотой петушок»* (1907) — последняя опера Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844—1908).

«Марсельеза» (1792) — революционная песня, сочиненная французским поэтом и композитором Клодом Жозефом Руже де Лилем (1760—1836). С 1795 г. стала государственным гимном Франции.

«Варшавянка» (1863) — революционный гимн польских рабочих на слова Вацлава Свенцицкого (1848—1900). В России известна в переводе Г.М. Кржижановского (1872—1959).

«Rule, Britannia» («Правь, Британия») — начальные слова государственного гимна Великобритании.

«Internationale» («Интернационал») — гимн международного пролетариата (1888) и российской социал-демократии (с 1906 г.). Текст Эжена Потье (1816—1887), музыка Пьера Дегейтера (1848—1932). В 1918—1943 гг. гимн СССР.

С. **563.** *Аблесимов* Александр Онисимович (1742—1787) — драматург, издатель сатирического журнала «Рассказчик новых басен» (1781). Автор комической оперы «Мельник, колдун, обманщик и сват» (1779).

Лукин Владимир Игнатьевич (1737—1794) — драматург, переводчик. Автор комедии «Мот, любовью исправленный» (1765).

Княжнин Яков Борисович (1742—1791) — драматург, поэт, переводчик. Автор восьми трагедий, трех комедий и шести комических опер, в том числе названной в тексте «Сбитенщик» (1783).

Фомин Евстигней Ипатович (1761—1800) — композитор, репетитор придворных театров.

«Эрмитаж» — зд.: петербургский Эрмитажный театр (Екатерининский) в примыкающем к Зимнему дворцу здании, которое построил в 1783—1787 гг. итальянский архитектор Д. Кваренги.

Сандунова Елизавета Семеновна (урожд. Федорова; 1772, по др. сведениям 1777—1832) — оперная и концертная певица (меццо-сопрано), драматическая актриса, автор песен. Первые выступления

состоялись в 1790—1794 гг. в Эрмитажном театре. В 1794—1813 гг. пела в Москве.

С. **563.** *Безбородко* Александр Андреевич (1747—1799), светлейший князь — секретарь Екатерины II с 1785 г. Занимая пост 2-го члена Коллегии иностранных дел с 1783 г., являлся единственным докладчиком и исполнителем повелений императрицы по внешнеполитическим вопросам. При Павле I государственный канцлер (с 1797 г.). Будучи холостяком, обрел славу неразборчивого поклонника женщин, содержал при себе нескольких актрис и танцовщиц.

Потемкин Григорий Александрович (1739—1791) — генерал-фельдмаршал, фаворит и ближайший сподвижник Екатерины II.

Густав III (1746—1792) — король Швеции с 1771 г.

Кавос Катерино Альбертович (1775—1840) — русский композитор, дирижер, вокальный педагог. Итальянец по происхождению. Автор нескольких балетов и опер, в том числе «Иван Сусанин» (1815), поставленных в петербургском Большом театре. Кавос одним из первых признал превосходство оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя» над своей оперой «Иван Сусанин» и 27 ноября 1836 г. дирижировал оркестром при первом исполнении шедевра Глинки.

Глинка Михаил Иванович (1804—1857) — композитор, родоначальник русской классической музыки. Автор оперы «Жизнь за царя» (1836; «Иван Сусанин» с 1939 г. по новому либретто поэта С.М. Городецкого).

С. **564.** *«Чертовы куклы»* (1880; ч 1. Русская мысль. 1890. № 1; остальные части в неопубликованных черновиках) — антимонархический роман Николая Семеновича Лескова (1831—1895).

«Захудалый род. Семейная хроника князей Протазановых» (Русский вестник. 1874. № 7, 8, 10) — роман Н.С. Лескова.

Бенкендорф Александр Христофорович (1781—1844), граф — генерал-адъютант, генерал от кавалерии. В Отечественной войне 1812 г. проявил себя как мужественный военачальник. С 1826 г. шеф корпуса жандармов и главный начальник III Отделения собственной его императорского величества канцелярии, сенатор. Участник подавления восстания декабристов. В 1826—1829 гг. выступал посредником в отношениях между Николаем I и Пушкиным. Царь отозвался о Бенкендорфе так: «В течение 11 лет он ни с кем меня не поссорил, а примирил со многими».

С. **564.** *Орлов* Алексей Федорович (1786—1861), князь — генерал от кавалерии. Участник Отечественной войны 1812 г., в которой был семь раз ранен. Во время восстания декабристов первым из полковых командиров привел свою часть к Николаю I и направил ее против мятежников. В 1844 г. сменил умершего А.Х. Бенкендорфа на посту шефа жандармов и главного начальника III Отделения. А.С. Пушкин посвятил Орлову послание, в котором написал:

О ты, который сочетал
С душою пылкой, откровенной
(Хотя и русский генерал)
Любезность, разум просвещенный...

Фебуфис — т.е. «сын Феба», персонаж романа-памфлета Н.С. Лескова «Чертовы куклы». Прототип Фебуфиса — художник К.П. Брюллов.

...драмы Кукольника... — Имеется в виду заслужившая одобрение Николая I пьеса «Рука Всевышнего отечество спасла» (1832, поставлена в 1834 г.) Нестора Васильевича Кукольника (1809—1868), прозаика, драматурга, поэта, художественного критика, журналиста, автора популярных и в наше время романсов «Сомнение», «Колыбельная песня», «Жаворонок» и др.

Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1862) — генерал от кавалерии. В 1839—1856 гг. управляющий III отделением Собственной его императорского величества канцелярии.

Фок Максим Яковлевич фон (1774 или 1775—1831) — с 1813 г. правитель Особенной канцелярии Министерства полиции (с 1819 г. Министерства внутренних дел). С 1826 г. директор канцелярии III Отделения.

С. **565.** *Дантес* Жорж Шарль, барон Геккерен (1812—1895) — убийца А.С. Пушкина. В России с 1833 г. С 1836 г. поручик Кавалергардского полка.

Мартынов Николай Соломонович (1815—1875) — убийца М.Ю. Лермонтова, его соученик в Школе юнкеров и сослуживец.

Катенин Павел Александрович (1792—1853) — поэт, драматург, критик. Его знакомство с Пушкиным состоялось в 1817 г. Творчество Пушкина Катенин оценивал чаще всего отрицательно, сделав исключение только для «Евгения Онегина», «Капитанской дочки» и некоторых других произведений.

С. **565.** *Витберг* Александр Лаврентьевич (1787—1855) — архитектор и живописец.

...храма на Воробьевых горах, которому посвятил такие поэтические и пылкие строки Герцен... — См.: Герцен А.И. Былое и думы. Ч. 1—3. Гл. 5. Ник и Воробьевы горы.

Тон Константин Андреевич (1794—1881) — русский архитектор, главный архитектор при постройке храма Христа Спасителя в Москве (1837—1889), комиссии по возобновлению Зимнего дворца (с 1838 г.) и Большого Кремлевского дворца (1838—1849). Основатель русско-византийского («тоновского») стиля в зодчестве.

Марлинский — псевдоним Александра Александровича Бестужева (1797—1837), прозаика, поэта, критика; одного из наиболее активных членов Северного общества декабристов.

Полежаев Александр Иванович (1804—1838) — поэт, отправленный в солдаты за признанную крамольной поэму «Сашка» (1825).

Баратынский Евгений Абрамович (1800—1844) — поэт.

Одоевский Александр Иванович (1802—1839), князь — поэт, декабрист.

Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826) — поэт. Один из руководителей восстания декабристов. Повешен.

Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805—1827) — поэт, философ, критик.

Станкевич Николай Владимирович (1813—1840) — философ, поэт; основатель литературно-философского кружка в Москве (1831—1839).

Киреевский Иван Васильевич (1806—1856) — философ, критик, публицист. Основоположник (вместе с А.С. Хомяковым) славянофильства.

Дельвиг Антон Антонович (1798—1831) — поэт, критик, журналист. Ближайший друг А.С. Пушкина.

С. **566.** *Возвращенные из Сибири Александром II, декабристы...* — Оставшиеся в живых декабристы были амнистированы манифестом от 26 августа 1856 г.

...«Телеграф» Полевого... — «Московский телеграф» — журнал, основанный в 1825 г. прозаиком, историком Николаем Алексеевичем Полевым (1796—1846). Журнал был запрещен цензурой в 1834 г. Поводом послужила отрицательная рецензия Полевого (Москов-

ский телеграф. 1834. № 3) о пьесе Н.В. Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла».

С. **567.** *Булгарин* Фаддей Венедиктович (1789—1859) — прозаик, критик, издатель. Автор исторических, приключенческих, нравоучительных и мелодраматических романов и повестей. В 1825—1839 гг. соиздатель и соредактор Н.И. Греча по журналу «Сын отечества» (1825—1839) и газете «Северная пчела» (в 1825—1859 гг.).

Греч Николай Иванович (1787—1867) — прозаик, публицист, мемуарист, издатель «Сына отечества» и «Северной пчелы». В его доме проходили знаменитые «четверги», на которых бывали А.С. Пушкин, К.П. Брюллов, Н.В. Кукольник, П.А. Плетнев и др.

Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852) — прозаик, автор исторических романов.

С. **568.** *...книге Лемке о «Николаевских жандармах».* — Имеется в виду исследование «Николаевские жандармы и литература. 1826—1855» (СПб., 1908, 1909) историка и публициста Михаила Константиновича Лемке (1872—1923).

Истории с московским чтением «Бориса Годунова», стихотворением «Анчар»... — А.С. Пушкин, приехав в сентябре 1826 г. в Москву, читал только что законченную историческую драму «Борис Годунов» в домах своих друзей — у С.А. Соболевского, П.А. Вяземского, Д.В. Веневитинова. Узнав об этом, Бенкендорф затребовал рукопись. В результате появилась резолюция Николая I с рекомендацией переделать «комедию свою в историческую повесть или роман наподобие Вальтер Скотта». Пушкин эту рекомендацию отверг, что на четыре года задержало публикацию трагедии. В феврале 1832 г. поэту пришлось давать еще одно объяснение Бенкендорфу — на сей раз по поводу стихотворения «Анчар» (1828), в котором не без оснований усмотрели протест против тирании.

«Битва гуннов» — символическая картина немецкого исторического живописца Вильгельма Каульбаха (1805—1874).

...нанимал актеров высмеивать со сцены эксцентрические манеры графа Самойлова... — Николай Александрович Самойлов (ок. 1800—1842) — флигель-адъютант Александра I. С 1827 г. отставной полковник. Герцен рассказывает о нем эпизод на учениях: будущий император Николай I за какое-то нарушение хотел схватить Самойлова за воротник, на что офицер ответил: «Ваше величество, у меня в руке шпага». Этой дерзости великий князь не забыл. Однажды

Николай I узнал его в театре. «Ему показалось, — вспоминает Герцен, — что он как-то изысканно одет, и он высочайше изъявил желание, чтоб подобные костюмы были осмеяны на сцене. Директор и *патриот* Загоскин поручил одному из актеров представить Самойлова в каком-то водевиле. Слух об этом разнесся по городу. Когда пьеса кончилась, настоящий Самойлов взошел в ложу директора и просил позволения сказать несколько слов своему двойнику. Директор струсил, однако, боясь скандала, позвал гаера. “Вы прекрасно представили меня, — сказал ему граф, — но для полного сходства у вас недоставало одного — этого брильянта, который я всегда ношу; позвольте мне вручить его вам: вы его будете надевать, когда вам опять будет приказано меня представить”» (*Герцен А.И.* Былое и думы. Ч. 1—3. М., 1982. С. 68).

С. **569.** *Мария Николаевна* (1819—1876), великая княжна — старшая дочь Николая I. С 1852 г. президент Императорской Академии художеств.

...Соллогуб пишет... пасквильную повесть «Большой свет»... — Граф Владимир Александрович Соллогуб (1813—1882) весной 1839 г. прочитал царской семье свою повесть «Большой свет» (опубл. в 1840), написанную по заказу великой княжны Марии Николаевны. Некоторые из современников восприняли повесть как памфлет, пародирующий лирику М.Ю. Лермонтова и его самого (в образе Мишеля Леонина). Однако это мнение лермонтоведами ныне отвергается. Лермонтов, прочитав повесть, сделал вид, что она к нему не имеет никакого отношения, и продолжал дружески бывать в доме Соллогуба.

Верстовский Алексей Николаевич (1799—1862) — композитор, театральный деятель. Автор лучшей русской оперы доглинковского периода «Аскольдова могила» (1835).

Мейербер Джакомо (наст. имя и фам. Якоб Либман Бер; 1791—1864) — композитор. Жил в Германии, Италии, Франции. Создатель жанра большой оперы: «Роберт-Дьявол» (1830), «Гугеноты» (1835; в России под названием «Гвельфы и гибеллины»), «Пророк» (1849; в России под названиями «Осада Гента» и «Иоанн Лейденский») и др.

«Пан Твардовский» (1828), *«Громобой»* (1858) — оперы А.Н. Верстовского, из которых первая (по либретто М.Н. Загоскина) шла в Москве с большим успехом, а вторая (на сюжет стихотворного цикла В.А. Жуковского) быстро сошла со сцены.

С. **569.** *«Роберт-Дьявол»* — опера Дж. Мейербера.

С. **569.** *С.Т. Аксаков жалуется в 1828 году.: «Часто дают «Татьяну прекрасную на Воробьевых горах»...* — См.: Аксаков С.Т. 20-е письмо из Петербурга к издателю «Московского вестника» (Московский вестник. 1828. № 21—22). «Татьяна прекрасная на Воробьевых горах, или Неожиданное возвращение» — интермедия-водевиль, музыка А.Н. Титова, К.А. Кавоса и Д.А. Шелихова.

Василий Васильевич Темный — Василий II (1415—1462), великий князь московский (с 1425 г.).

Шемяка Дмитрий Юрьевич (1420?—1453) — князь галицкий, великий князь московский (1446—1447), ослепивший в 1446 г. Василия Темного. Был осужден церковными иерархами и отлучен от Церкви.

Волконский Петр Михайлович (1776—1852), светлейший князь — генерал-фельдмаршал. Участник Отечественной войны 1812 г. С 1826 г. министр императорского двора и уделов.

Каратыгин Петр Андреевич (1805—1879) — драматург, актер Александринского театра. Автор популярных водевилей (их около пятидесяти).

...преемник Бенкендорфа Орлов... — А.Ф. Орлов (см. о нем примеч. к с. 564).

...на узурпацию Луи Наполеона... — Речь идет о Наполеоне III (1808—1873), французском императоре в 1852—1870 гг. В 1848 г. избран президентом, а после государственного переворота провозглашен императором.

Де Кюстин Астольф (1790—1857), маркиз — французский литератор, посетивший Россию по приглашению Николая I. В 1843 г. в Париже издал четырехтомник «Россия в 1839». Россия в книге предстала как страна варваров и «бюрократической тирании», что вызвало официозные опровержения.

С. **571.** *Доницетти* Гаэтано (1797—1848) — итальянский композитор, автор 74 опер, из которых наиболее известны «Любовный напиток» (1832), «Лючия ди Ламмермур» (1835), «Дон Паскуале» (1843).

Записки Глинки — автобиографические «Записки» композитора М.И. Глинки, написанные в 1854 г. и впервые изданные в Петербурге в 1871 г.

Михайлов-Стоян Константин Иванович (1851—1914) — болгарский оперный певец, режиссер, музыковед, окончивший Петербур-

гскую консерваторию и певший в Большом и Мариин-ском театрах. Автор брошюр «Глинка и Пушкин в “Руслане и Людмиле”», «История и пророчество в “Руслане и Людмиле”», «Судьбы России в “Руслане и Людмиле”», неоднократно издававшихся в Петербурге.

С. **571.** *Виельгорский* Михаил Юрьевич (1788—1856), граф — государственный деятель, композитор, меценат, хозяин литературно-музыкального салона в Петербурге, где бывали А.С. Пушкин и М.И. Глинка.

С. **572.** *...как истинно великого и русского композитора жандармского генерала Львова.* — Алексей Федорович Львов (1798—1870) — композитор, скрипач, дирижер, директор Императорской певческой капеллы. Автор государственного гимна России на слова В.А. Жуковского «Боже, царя храни» (1833). Имел звания генерал-майора императорской свиты (1843), тайного советника и гофмейстера высочайшего двора (1853).

Гайдн Франц Йозеф (1732—1809) — австрийский композитор.

...на старости лет доучиваться в Берлин к Дену. — М.И. Глинка незадолго до смерти предпринял очередную поездку в Берлин, где и умер 3 февраля 1857 г. Как и братья А.Г. и Н.Г. Рубинштейны, Глинка брал уроки у Зигфрида Дена (1799—1858), немецкого музыкального теоретика, педагога, издателя.

Гусар Протасов управлял... русскою Церковью... — Имеется в виду генерал от кавалерии, граф Николай Александрович Протасов (1798—1855); с 1836 г. до кончины обер-прокурор Святейшего Синода.

Даргомыжский... оставался под спудом до шестидесятых годов. — Александр Сергеевич Даргомыжский (1813—1869) — один из основателей русской классической музыкальной школы. Первую оперу («Эсмеральда», по роману В. Гюго «Собор Парижской Богоматери») написал в 1847 г. Однако известность к нему пришла после того, как в Большом театре в 1859 г. с успехом прошла постановка его оперы «Русалка» (1855; на сюжет поэмы А.С. Пушкина), написанной в новом для русского оперного искусства жанре народно-бытовой психологической музыкальной драмы. Огромной популярностью пользовались также его романсы и песни.

Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов; 1782—1867) — церковный деятель, проповедник, богослов, философ, историк Священного Писания. В 1821—1867 гг. — митрополит Московский. Более 40 лет был также священноархимандритом Троице-Сергиевой

лавры, где и похоронен. Автор книг: «Начертание церковной библейской истории», «Катехизис Православной Церкви», «Слова и речи»; переводчик Священного Писания на русский язык. Составитель акта о передаче престола Николаю I, манифеста 19 февраля 1861 г. об освобождении крестьян.

С. **573.** *Иванов* Николай Кузьмич (1810—1880) — оперный певец (тенор). Обучение вокалу прошел у М.И. Глинки, с которым совершил поездку в Италию, где успешно дебютировал в Неаполе. Считался единственным, кто мог соперничать с «королем теноров», выдающимся представителем итальянской школы бельканто Джованни *Рубини* (1794—1854).

Иванов Александр Андреевич (1806—1858) — живописец; автор монументального полотна «Явление Христа народу» (1837—1857).

Федотов Павел Андреевич (1815—1852) — живописец и график. Автор картин «Свежий кавалер» (1846), «Разборчивая невеста» (1847), «Сватовство майора» (1848), принесших художнику известность.

С. **574.** *Мочалов* Павел Степанович (1800—1848) — с 1824 г. актер Малого театра, представитель романтизма на русской сцене.

Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861) — украинский поэт и художник.

Соколовский Владимир Игнатьевич (1808—1839) — поэт из кружка А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Автор поэмы «Мироздание». Как вспоминает А.В. Никитенко, «за несколько смелых куплетов, прочитанных или пропетых в кругу приятелей... он просидел около года в московском остроге и около двух лет в Шлиссельбургской крепости» (*Никитенко А.В.* Дневник: В 3 т. Т. 1. М., 1955. С. 201).

Аракс и Арпачай — реки в Армении.

Ставассер Петр Андреевич (1816—1850) — скульптор, академик.

С. **575.** *Ободовский* Платон Григорьевич (1803—1864) — драматург, поэт, переводчик.

Гедеонов Степан Александрович (1816, по др. сведениям 1815—1878) — историк, археолог-искусствовед, драматург. Автор исторических драм «Смерть Ляпунова» (1845) и «Василиса Мелентьева» (1868; в соавторстве с А.Н. Островским), монографии «Варяги и Русь» (ч. 1—2, 1876). В 1867—1875 гг. директор императорских театров. С 1863 г. до конца жизни директор театра «Эрмитаж».

Розен Егор Федорович (1800—1860), барон — поэт, драматург. Автор либретто к опере «Жизнь за царя» (1836) М.И. Глинки.

С. **575.** *Карл Моор, Валленштейн* — персонажи драм Шиллера «Разбойники» и «Валленштейн».

Ермак Тимофеевич (между 1532 и 1542—1585) — казачий атаман, совершивший поход (1582—1585) в Сибирь, которым положено начало ее освоению. Герой многих произведений русской литературы.

Холмский, Скопин-Шуйский — герои исторических трагедий Н.В. Кукольника «Князь Даниил Дмитриевич Холмский» (1840) и «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский» (1835).

Ляпунов — герой драмы С.А. Гедеонова «Смерть Ляпунова».

Михаил Феодорович (1596—1645) — царь с 1613 г., основавший династию Романовых.

С. **576.** *...революционным громом 1848 года.* — Имеются в виду революции, охватившие страны Европы.

...Иван Кавос, сын капельмейстера... — Сын К.А. Кавоса (см. о примеч. к с. 563).

С. **577.** *Александр III* (1845—1894) — император России с 1881 г.

Иоанн Кронштадтский (в миру Иван Ильич Сергиев; 1829—1908) — протоиерей Андреевского собора в Кронштадте; проповедник и благотворитель.

«Боже, царя храни» (1833). — См. примеч. к с. 571.

С. **578.** *Я был... на одном представлении «Ляпунова»...* — См.: Герцен А.И. Былое и думы. Ч. 4—5. У Герцена: «на первом представлении»; автор имеет в виду московскую премьеру, которая состоялась в Большом театре 18 января 1846 г. А впервые драма С.А. Гедеонова была поставлена в 1845 г. в Александринском театре, где успех постановке создал исполнитель главной роли Василий Андреевич Каратыгин (1802—1853).

Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — поэт, переводчик, критик.

Вяземский Петр Андреевич (1792—1878), князь — поэт, критик, мемуарист. В 1855—1858 гг. товарищ министра народного просвещения, сенатор (1855). Член Государственного совета (1866).

Виельгорский М.Ю. — см. о нем примеч к с. 571.

С. **579.** *Рафаэль* (собств. Раффаэлло Санти; 1483—1520) — итальянский живописец и архитектор, представитель Высокого Возрождения, оказавший огромное воздействие на европейскую живопись.

С. **579.** *...Асенкова, воспетая Некрасовым...* — Варвара Николаевна Асенкова (1817—1841) — актриса Александринского театра. Н.А. Некрасов посвятил ей стихотворения «Офелия» и «Памяти А-ой».

Щепкин Михаил Семенович (1788—1863) — с 1824 г. актер московского Малого театра. Реформатор русского сценического искусства.

С. **580.** *«Дым»* (1867) — роман Тургенева.

«Фенелла» («Немая из Портичи»; 1828) — опера французского композитора Даниэля Франсуа Эспри Обера (1782—1871).

«Жидовка» («Еврейка»; 1835) — опера французского композитора, педагога, писателя Фромантеля Галеви (наст. имя и фам. Элиас Леви; 1799—1862).

Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — историк, профессор Московского университета; лидер русских западников.

Мазаньелло (наст. имя Томмазо Аньелло; 1623—1647) — рыбак, вождь антииспанского восстания в Неаполе.

С. **581.** *Россини* Джоаккино (1792—1868) — итальянский композитор. Автор комических опер-буффа «Итальянка в Алжире» (1813) и «Севильский цирюльник» (1816), героических «Танкред» (1813), «Моисей» (1818; в России «Зора») и «Магомет II» (1820), героико-романтической «Вильгельм Телль» (1829; в России «Карл Смелый»).

Станкевич Николай Владимирович (1813—1840) — философ, поэт, организатор литературно-философского кружка (1831).

Бетховен Людвиг ван (1770—1827) — немецкий композитор, пианист, дирижер.

Шуберт Франц (1797—1828) — австрийский композитор.

С. **582.** *«Взбаламученное море»* (1863) — антинигилистический роман А.Ф. Писемского.

...громами Севастопольской войны. — Крымская война 1853—1855 гг.

«Страшная месть» (1832) — повесть Н.В. Гоголя.

Крамской Иван Николаевич (1837—1887) — живописец, рисовальщик, художественный критик; один из создателей Товарищества передвижных художников (1870).

Ге Николай Николаевич (1831—1894) — живописец. Член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок (1870). Автор философско-религиозных картин «Что есть истина?» (1890), «Голгофа» (1893), созвучных взглядам Л.Н. Толстого.

С. **582.** *Молчалин* — персонаж комедии Грибоедова «Горе от ума».

С. **583.** *Даргомыжский* А.С. см. о нем примеч. к с. 571.

Энгр Жан Огюст Доминик (1780—1867) — французский живописец и рисовальщик; создатель картин на литературные, исторические и религиозные сюжеты.

Делакруа Эжен (1798—1863) — живописец, график, глава французского романтизма.

Деларош Поль (наст. имя Ипполит; 1797—1856) — французский живописец.

Курбе Гюстав (1819—1877) — французский живописец.

Галеви Фромантель (1799—1862) — французский композитор. Один из создателей жанра «большой оперы»: «Еврейка» (1835), «Пиковая дама» (1850) и балетов.

Берлиоз Гектор (1803—1869) — французский композитор, дирижер. Автор симфонии «Ромео и Джультта» (1839), опер «Троянцы» (1859), «Беатриче и Бенедикт» (1862) и др.

...знаменитого протеста 13 художников... — Имеется в виду так называемый бунт четырнадцати, когда в 1863 г. выпускники петербургской Академии художеств отказались писать конкурсную картину и организовали Санкт-Петербургскую артель художников. Возглавил артель ее инициатор Иван Николаевич Крамской (1837—1887).

...пора возникновения группы передвижников... — Товарищество передвижных художественных выставок было образовано в 1870 г. в Петербурге по инициативе И.Н. Крамского, Г.Г. Мясоедова, Н.Н. Ге и В.Г. Перова. Распалось в 1923 г.

...«Могучей кучки» с Балакиревым... — «Могучая кучка» — творческое содружество композиторов конца 1850 — середины 1870-х гг., в которое входила «пятерка»: М.А. Балакирев (глава), А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков.

...в двух консерваториях с двумя Рубинштейнами во главе... — Имеются в виду братья Рубинштейны Антон Григорьевич (1829—1894) и Николай Григорьевич (1835—1881), возглавлявшие соответственно Петербургскую и Московскую консерватории.

Стасов Владимир Васильевич (1824—1906) — художественный и музыкальный критик, историк искусства. Идеолог и участ-

ник содружества композиторов «Могучая кучка» и объединения художников-передвижников. С 1900 г. почетный член Петербургской АН.

С. **583.** *Серов* Александр Николаевич (1820—1871) — композитор, один из основоположников русской музыкальной критики. Автор опер «Юдифь» (1862), «Рогнеда» (1865), «Вражья сила» (1871; завершена женой В.С. Серовой и Н.Ф. Соловьевым).

Перов Василий Григорьевич (1833—1882) — живописец. Один из организаторов Товарищества передвижников.

«Бурлаки» — картина И.Е. Репина «Бурлаки на Волге» (1873).

Антокольский Марк Матвеевич (1843—1902) — скульптор.

Бородин Александр Порфирьевич (1833—1887) — композитор, ученый-химик; участник кружка «Могучая кучка». Автор незавершенной оперы «Князь Игорь» (дописана по авторским эскизам А.К. Глазуновым и поставлена в 1890 г.).

С. **584.** *Бирнамский лес* — одно из мест в горах Шотландии, где разворачиваются события в трагедии Шекспира «Макбет».

...августейшим композитором, принцем Ольденбургским... — Вероятно, принц Петр Георгиевич Ольденбургский (1812—1881), генерал от инфантерии (1841), автор стихов и переводов. С 1860 г. главноуправляющий учреждениями императрицы Марии. Президент Императорского Вольного экономического общества (1841—1862).

...единомыслящему с Павлом Крушеваном, Грингмутом... — П. Крушеван — издатель газеты «Бессарабец». Впоследствии один из организаторов еврейского погрома в Кишиневе, учиненного в пасхальные праздники 6—7 апреля 1903 г. Грингмут Владимир Андреевич (1851—1907) — публицист, критик, политический деятель. В 1905 г. возглавил монархическую партию.

Владимир Галицкий, Владимир Володаревич, Владимирко (?—1153) — князь, объединивший всю Галицкую землю.

Шаляпин Федор Иванович (1873—1938) — оперный певец (бас), солист Московской частной русской оперы, Большого и Мариинского театров.

С. **585.** *Оленина Альгейм* Мария Алексеевна (1869—1970) — камерная певица (меццо-сопрано).

Квиетизм (от лат. quietus — спокойный, безмятежный) — религиозное учение (XVII в.) в католицизме, идеалом провозгласившее

созерцательность, бездействие, пассивное подчинение воле Бога. Осуждено Церковью.

С. **585.** *...Вагнера, бойца на баррикадах 1848 года...* — Композитор Рихард Вагнер, находясь в Дрездене, принял активное участие в революционных событиях 1848—1849 гг. После разгрома восстания бежал в Веймар к Ф. Листу, а затем в Швейцарию.

Бейст Фридрих Фердинанд (1813—1886) — саксонский и австрийский государственный деятель, дипломат. Явился одним из тех, кто дал повод для дрезденского восстания в 1849 г.: он отсоветовал королю утверждение конституции.

Лист Ференц (1811—1886) — венгерский композитор-романтик, пианист, дирижер. Во время революционных событий 1848 г. в Венгрии Лист принял пост придворного капельмейстера в Веймаре и жил в замке Альтенбург до 1861 г.

Кошут Лайош (1802—1894) — организатор борьбы венгров за независимость во время революции 1848 г.

С. **586.** *Победоносцев* Константин Петрович (1827—1907) — государственный деятель конца XIX — начала XX вв. Ученый-правовед, переводчик и публицист. Учитель цесаревича Николая Александровича, императоров Александра III и Николая II, а также членов семьи венценосцев. В 1880—1905 гг. обер-прокурор Святейшего Синода.

С. **587.** *...мистические полотна Боровиковского...* — В творчестве Владимира Лукича Боровиковского (1757—1825) церковная живопись занимает видное место. В частности, он написал для Казанского собора (1811) в Петербурге художественные композиции «Благовещение», «Константин и Елена», «Великомученица Екатерина», «Антоний и Феодосия».

«Святое семейство» — вероятно, «Свидание узника с семейством», одна из картин на религиозные темы Василия Петровича Верещагина (1835—?), участвовавшего в создании художественных композиций для строившегося храма Христа Спасителя: «Распятие», «Положение во гроб», «Снятие со креста».

«Нижегородцы» (1868) — опера Эдуарда Францевича Направника (1839—1916), композитора и дирижера, автора известной оперы «Дубровский» (1894).

Мей Лев Александрович (1822—1862) — поэт, драматург, переводчик.

С. **587.** *Костомаров* Николай Иванович (1817—1885) — историк, прозаик, поэт, критик, писавший на русском и украинском языках. Главный труд — «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» (1873—1888).

С. **589.** *Венера Милосская* — статуя римской богини любви, хранящаяся в парижском Лувре.

С. **590.** *Парфенон* — главный храм на Акрополе в древних Афинах, посвященный покровительнице города Афине-девственнице. Возведен в 448—438 гг. до н.э.

Эрмитаж — один из крупнейших художественных и культурно-исторических музеев мира в Петербурге, возникший в 1764 г. как частное собрание Екатерины II.

Гужон Жан (1822—1904) — французский скульптор.

Теньерс, Тенирс (Teniers) Давид Младший (1610—1690) — фламандский живописец. Известность ему принесли картины, изображавшие крестьянские свадьбы, пирушки, сборища в деревенских шинках.

Пьеса... Сухово-Кобылина, продержанная тридцать лет под запретом... — Речь идет о комедии Александра Васильевича Сухово-Кобылина (1817—1903) «Смерть Тарелкина» (1869), подвергшейся запрету. Впервые поставлена в 1900 г. в театре Литературно-художественного общества в Петербурге.

С. **591.** *«На дне»* (1902) — пьеса М. Горького, разрешенная к постановке сперва только на сцене МХТ (18 декабря 1902 г.).

Гумбольдт Александр Фридрих Генрик фон (1769—1859), барон — немецкий естествоиспытатель, географ, путешественник.

Георг Ганноверский — Георг V (1819—1878), король Ганновера.

Росций — один из друзей Луция Корнелия Суллы (138—78 до н.э.), римского полководца и государственного деятеля. В 83 г. Сулла объявил себя диктатором, ограничил полномочия народных трибунов, передал суды в руки сенаторов.

Тальма Франсуа Жозеф (1763—1826) — французский актер; с 1787 г. в театре «Комеди Франсез».

Людовик XIV (1638—1715) — французский король с 1643 г. из династии Бурбонов, добившийся наивысшего торжества абсолютизма.

С. **591.** *Людовик XV* (1710—1774) — король Франции с 1715 г. (до 1723 под регентством герцога Орлеанского).

С. **592.** *Елизавета* I Тюдор (1533—1603) — королева Англии с 1558 г.

Кромвель Томас (1485—1540), лорд — главный правитель Англии с 1539 г. Обвинен в измене и казнен.

Стюарты — королевская династия в Шотландии (1371—1714) и Англии (1603—1649, 1660—1714).

Екатерина II Великая (1729—1796) — императрица России с 1862 г.

Модена Густаво (1803—1861) — итальянский актер; его ученики Э. Росси и Т. Сальвини.

Росси Эрнесто (1827—1896) — итальянский актер, выдающийся исполнитель ролей в трагедиях Шекспира.

Сальвини Томмазо (1820—1915) — итальянский актер. Был на гастролях в России в 1880, 1882, 1885, 1900—1901 гг.

Мартынов Александр Евстафьевич (1816—1860) — актер Александринского театра с 1836 г. Один из лучших исполнителей ролей в пьесах И.С. Тургенева и А.Н. Островского.

Шумский Сергей Васильевич (наст. фам. Чесноков; 1820—1878) — актер Малого театра, любимый ученик М.С. Щепкина. До 1847 г. успешно выступал в водевилях.

Садовский Пров Михайлович (наст. фам. Ермилов; 1818—1872) — актер Малого театра, участвовавший в первых постановках всех пьес А.Н. Островского. Основатель знаменитой актерской династии.

С. **593.** *«Овечий источник» Лопе де Вега* — «Фуэнте Овехуна» (1619), народно-героическая драма испанского драматурга Лопе Феликса де Вега Карпьо (1562—1635). Пьеса была переведена на русский язык в 1876 г. С.А. Юрьевым специально для бенефиса М.Н. Ермоловой, блистательно сыгравшей роль главной героини. «Бывшим на этом спектакле, — вспоминал Н.И. Стороженко (1836—1906), один из тех, кого она считала своим учителем, — до сих пор памятно то глубокое, потрясающее впечатление, которое произвели и пьеса и игра М.Н. в роли Лауренсии... Когда Лауренсия, бледная, с распущенными волосами, дрожащая от стыда и негодования, прибегает на площадь и сильной речью возбуждает народ к восстанию против губернатора, восторг публики дошел до энтузиазма» (сб. «Мария Николаевна Ермолова. Предисловие». М., 1905. С. IV—V). После нескольких представлений полиция вынуждена была потребовать исключения спектакля из репертуара.

С. **593.** *Август* (63 до н.э. — 14 н.э.), до 44 до н.э. Гай Октавий, с 44 до н.э. Гай Юлий Цезарь Октавиан, с 27 до н.э. Гай Юлий Цезарь Октавиан Август — римский император с 27 до н.э.

С. **595.** *Тацит* Публий Корнелий (ок. 58 — после 117) — римский историк.

С. **596.** *За шиканье... очутиться в деревенской ссылке (Катенин).* — Эпизод из биографии поэта, драматурга, критика Павла Александровича Катенина (1792—1853). За скандал, учиненный на представлении «Поликсены» В.А. Озерова, Катенин 7 ноября 1822 г. распоряжением императора был выслан из Петербурга.

Тальони Мария (1804—1884) — артистка балета, ведущая солистка Парижской оперы. В 1837—1842 гг. гастролировала в России.

С. **597.** *Руссо* Жан Жак (1712—1778) — французский философ, писатель, композитор; деятель Просвещения.

Скотт Вальтер (1771—1832) — английский поэт и исторический романист.

Гарт Генрих (1855—1906) — немецкий поэт и критик.

С. **601.** *«Русское собрание»* — клуб сторонников так называемого русского начала. В уставе, утвержденном 26 января 1901 г. министром внутренних дел В.К. Плеве, говорилось: организация имеет целью «содействовать выяснению, укреплению в общественном сознании и проведению в жизнь исконных творческих начал и бытовых особенностей русского народа». Впоследствии (с 1905 г.) клуб сблизился с Союзом русского народа (в частности, в защите самодержавия).

Маркевич Болеслав Михайлович (1822—1884) — прозаик, публицист, критик. Автор романов «Марина из Алого Рога» (1873), «Четверть века назад» (1878) и др.

Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886) — публицист, поэт, общественный деятель; редактор газет «День» (1861—1865), «Москва» (1867—1868), «Москвич» (1867—1868), «Русь» (1880—1886). Один из последних славянофилов, перешедший на позиции панславизма.

Крестовский Всеволод Владимирович (1839—1895) — поэт, прозаик. Автор романа «Петербургские трущобы» (1867), дилогии «Кровавый пуф» (1875), трилогии «Тьма египетская» (1888), «Тамара Бендавид» (1890) и «Торжество Ваала» (1891).

Майков Аполлон Николаевич (1821—1897) — поэт; автор антологических произведений, посвященных эпизодам из русской и европейской истории.

С. **602.** *Бальмонт* Константин Дмитриевич (1867— 1942) — поэт-символист.

Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924) — поэт, прозаик, драматург, критик, литературовед, переводчик, литературно-общественный деятель; один из вождей и теоретиков русского символизма. Инициатор и руководитель ведущих органов символистов издательства «Скорпион» (1899—1916) и журнала «Весы» (1904—1908).

Sturm und Drang — литературное движение «бурных гениев» в Германии 1770—1780-х гг., требовавших от литературы изображения сильных страстей, протеста, богоборческого бунтарства, разрыва с эстетикой классицизма.

С. **605.** *«Каменщик»* («Каменщик, каменщик в фартуке белом...»; 1901) — стихотворение Брюсова. В фельетоне «Отклики» Амфитеатров писал: «Под “Каменщиком” г. Валерия Брюсова, конечно, Некрасов с радостью подписал бы свое имя: до такой степени это волнующее, мрачное стихотворение — в духе и тоне “музы мести и печали”, с такою силою бьет оно по сердцам и гудит тревожным, вечевым звоном» (Русь. 1904. 15 мая; под псевдонимом Абадонна).

...«кнутом иссеченную» музу... — Строка из последнего стихотворения Некрасова «О муза! я у двери гроба!..» (1877).

...Некрасова — статья о нем Бальмонта... — Вероятно, статья «Сквозь строй (Памяти Некрасова)» (1902), написанная к 25-летию со дня смерти поэта.

Литература в изгнании

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Литература в изгнании: Публичная лекция, прочитанная в Миланском филологическом обществе. Белград: оттиск газеты «Новое время», 1929. Впервые — в газете «Новое время» (1929. 16—24 мая).

С. **607.** *«Сменовеховцы»* — представители общественно-политического движения 1920-х гг. (главным образом в среде русских эмигрантов), ориентировавшиеся на возврат России к рыночной экономике, надеевшиеся на перерождение власти большевиков в условиях новой экономической политики (нэп). Печатный орган — «Смена вех» (Париж, 1920—1922).

Савинков Борис Викторович (1879—1925) — политический деятель, писатель. С 1903 г. один из лидеров боевой организации эсеров, организатор и участник убийств министра внутренних дел В.К. Плеве

и московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. В 1906 г. приговорен к смертной казни. Бежал в Румынию, где занялся литературным творчеством (написал романы «Конь бледный» и «То, чего не было»). В 1917 г. управляющий военным министерством во Временном правительстве, исполняющий обязанности командующего войсками Петроградского военного округа. Ушел в отставку после подавления 25 августа 1917 г. мятежа генерала Л.Г. Корнилова (1870—1918). Участвовал в антибольшевистском движении. В 1919 г. выехал за границу. В 1924 г. вернулся в СССР (в результате удавшейся провокации чекистов). 7 мая 1925 г. покончил с собой в советской тюрьме (по другой версии — убит чекистами).

С. **607.** *Деренталь* Александр Аркадьевич (наст. фам. Дикгоф; 1885—1939) — литератор, переводчик, политический деятель; эсер. Участвовал в убийстве Гапона. После 1918 г. соратник Б.В. Савинкова, вместе с которым 16 августа 1924 г. вернулся в Россию. В варшавской газете Д.В. Философова «За свободу!» 15 марта 1925 г. М.П. Арцыбашев в «Записках писателя» поддержал высказывавшиеся в эмиграции обвинения в провокациях Дикгофа-Деренталя и его жены. «Если судьба сведет меня когда-нибудь с Д.В. <Философовым>, — писал Деренталь В.В. Мягковой в апреле 1925 г., отвергая обвинения, — я его заранее предупреждаю — буду бить его совершенно некультурно, неинтеллигентно и неприлично» (цит. по публикации: Амфитеатров и Савинков. Переписка 1923—1924 // Альманах «Минувшее». № 13. М.; СПб., 1993. С. 107). Подвергся репрессии в 1937 г. и расстрелян.

Вот этот список... — Амфитеатров включил в свой список следующих поэтов, прозаиков, драматургов и публицистов русского зарубежья: Аверченко Аркадий Тимофеевич (1881—1925), Адамович Георгий Викторович (1882—1972), Алданов Марк Александрович (наст. фам. Ландау; 1886—1957), Андреев Леонид Николаевич (1871—1919), Арцыбашев Михаил Петрович (1878—1927), Бальмонт Константин Дмитриевич (1867—1942), Барятинский Владимир Владимирович (1874—1941), Бебутова Ольга Михайловна (1879—1952), Берберова Нина Николаевна (1901—1993), Бранд Владимир Владимирович (ум. 1942), Брешко-Брешковский Николай Николаевич (1874—1943), Бунин Иван Алексеевич (1870—1953), Воинов Иван Авксентьевич (1885—1917), Волконский Александр Михайлович (1866—1934), его брат Волконский Сергей Михайлович (1860—1937), Галич Леонид Евгеньевич (1878—1963), Гиппиус Зинаида Николаев-

на (1869—1945), Глуховцова, Горный Сергей (наст. имя и фам. Александр-Марк Авдеевич Оцуп; 1882—1949), Гофман Модест Людвигович (1887—1959), Гребенщиков Георгий Дмитриевич (1883—1964), Гришин А., Гусев-Оренбургский Сергей Иванович (1867—1963), генерал Деникин Антон Иванович (см. о нем примеч. к с. 614), Деренталь А.А. (см. о нем примеч. к с. 607), Елец Юлий Лукьянович (Лукич; 1862—?), Зайцев Борис Константинович (1881—1972), Зуров Леонид Федорович (1902—1971), Кадашев Владимир Александрович (наст. фам. Амфитеатров; 1888—1942), Касаткин-Ростовский Ф.Н., Клементьев В.Ф., Кондратьев Александр Алексеевич (1876—1967), Корчемный В., Кошко Аркадий Францевич, генерал Краснов Петр Николаевич (1869—1947), Крачковский Дмитрий Николаевич, Крыжановская (Рочестер) Вера Ивановна (1857—1924), Куприн Александр Иванович (1870—1938), Ладыженский Владимир Николаевич (1859—1932), Лоло (наст. имя и фам. Леонид Григорьевич Мунштейн; 1866—1947), Лукаш Иван Созонтович (1892—1940), Лунин Н., Львов Николай Николаевич (1867—1944), Львов Лоллий Иванович (1888—1967), Маковский Сергей Константинович (1877—1962), Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865—1941), Минцлов Сергей Рудольфович (1870—1936), Муратов Павел Павлович (1881—1950), Наваль, Нагродская Евдокия Аполлоновна (1866—1930), Наживин Иван Федорович (1874—1940), Немирович-Данченко Василий Иванович (1844—1936), Первухин Михаил Константинович (1870—1928), Петрищев Афанасий Борисович (1872—1938), Пильский Петр Моисеевич (1879—1941), Плещеев Александр Алексеевич (1858—1944), Потемкин Петр Петрович (1886—1926), Ремизов Алексей Михайлович (1877—1957), Ренников Андрей Митрофанович (наст. фам. Селитренников; 1882—1957), Рощин Николай Яковлевич (наст. фам. Федоров; 1896—1956), Рыбинский Н.З., Рышков Виктор Александрович (1863—1924), Савин Иван Иванович (наст. фам. Саволайнен; 1899—1927), Светлов Валериан Яковлевич (наст. фам. Савченко; 1860—1934), Сирин В. (Набоков Владимир Владимирович; 1899—1977), Соколов Сергей Алексеевич (псевд. С. Кречетов; 1878—1936), Степун Федор Августович (1884—1965), Столица Любовь Никитична, урожд. Ершова (1884—1934), Струве Глеб Петрович (1898—1985), Суворин Борис Алексеевич (1879—1940), Сургучев Илья Дмитриевич (1881—1956), Северянин Игорь (наст. имя и фам. Игорь Васильевич Лотарев; 1887—1941), Тарусский Е. (Рышков Е.В.), Толстой Лев Львович (1869—1945), Тыркова-Вильямс Ариадна Владимировна (1869—1962), Тэффи

Надежда Александровна (урожд. Лохвицкая; 1872—1952), Урванцев (Урванцов) Лев Николаевич (1865—1929), Федоров Александр Митрофанович (1868—1949), Философов Дмитрий Владимирович (1872—1940), Хирьяков Александр Модестович (1863—1942), Ходасевич Владислав Фелицианович (1886—1939), Цветаева Марина Ивановна (1892—1941), Чириков Евгений Николаевич (1864—1932), Шмелев Иван Сергеевич (1873—1950), Шумлевич Константин Яковлевич, Шульгин Василий Витальевич (1878—1976), Щербатов Сергей Александрович (1875—1962), Яблоновский (Снадзский) Александр Александрович (1870—1934), Яблоновский (Потресов) Сергей Викторович (1870—1953).

С. **608.** *Керенский* Александр Федорович (1881—1970) — государственный и политический деятель, юрист, публицист. С марта 1917 г. министр юстиции, военный и морской министр, министр-председатель (с июля) Временного правительства. С 1918 г. в эмиграции. В 1922—1933 г. издавал газету «Дни». В 1936—1940 гг. редактор журнала «Новая Россия». Осенью 1940 г. уехал в США. В Нью-Йорке в 1949 г. основал «Лигу борьбы за народную свободу», редактировал журнал «Грядущая Россия».

С. **609.** *Юденич* Николай Николаевич (1862—1933) — один из руководителей белого движения, генерал от инфантерии. В 1919 г. руководитель наступления белой армии на Петроград. После его провала отступил в Эстонию, в 1920 г. эмигрировал.

С. **612.** *Троцкий* Лев Давидович (наст. фам. Бронштейн; 1879—1940) — политический деятель, один из вождей Октябрьского переворота. В 1929 г. выслан за границу и там убит террористом по заданию НКВД.

С. **613.** *Рид* Майн (1818—1883) — английский прозаик, автор авантюрно-приключенческих романов об американских индейцах.

С. **614.** *Деникин* Антон Иванович (1872—1947) — генерал-лейтенант, один из руководителей белого движения. В апреле 1920 г. эмигрировал, передав командование генералу П.Н. Врангелю.

Врангель Петр Николаевич (1878—1928), барон — генерал-лейтенант, один из главных руководителей белого движения. С 1920 г. в эмиграции. В 1924—1928 гг. организатор и председатель «Русского общевоинского союза».

Кутепов Александр Павлович (1882—1930) — генерал от инфантерии, участник белого движения в армии Деникина. В эмиграции председатель «Русского общевоинского союза» (с 1928 г.). Выкран агентами ОГПУ и вывезен из Парижа. Умер (по одной из версий убит) по пути в Новороссийск.

С. **615.** *Рыбинский* Н.З. — публицист газеты «Новое время» (Белград, 1921—1930), глава издательства при газете в 1930 г.

Савин Иван Иванович (наст. фам. Саволайнен; 1899—1927) — поэт, прозаик, драматург. С 1919 г. доброволец в армии Деникина. В 1922 г. с отцом финном уехал в Хельсинки. Публиковался в эмигрантских газетах и журналах Берлина, Белграда, Риги.

С. **18.** *Его поэзия — родная сестра... прозе Арцыбашева...* — Михаил Петрович Арцыбашев (1878—1927) в эмиграцию приехал знаменитым автором романов «Санин» (1907), «У последней черты» (1912), «Женщина, стоящая посреди» (1914), а также многих поэтических повестей и рассказов, посвященных интимной сфере чувств человека и вызвавших ханжеские обвинения в безнравственности и даже порнографии. Среди тех, кто первым взял под свою защиту Арцыбашева, были А.А. Блок, П.С. Коган, М. Горький. «Нужно быть слепым, — восклицал Коган, — чтобы не видеть, какие сокровища нежных и чистых чувств разбросаны в произведениях Арцыбашева!» «Арцыбашев — это Моне русской литературы! — вторил ему Львов-Рогачевский. — Он внес в свои произведения свет и воздух, игру солнца, небывалую яркость и свежесть красок».

Войков Петр Лазаревич (1888—1927) — с октября 1924 г. полпред СССР в Польше. Застрелен 7 июня 1927 г. на варшавском вокзале Б.С. Ковердой (1907—1987). Убийца был осужден на 10 лет тюремного заключения (см. подробно в кн.: Дело Б. Коверды. Париж, <1928>).

С. **617.** *Бальзак* Оноре де (1799—1850) — французский прозаик, автор эпопеи «Человеческая комедия».

С. **618.** *Его варшавская противобольшевицская кампания...* — Арцыбашев в эмиграции стал ведущим публицистом варшавской газеты «За свободу!», в которой почти в каждом номере публиковал антибольшевистские «Записки писателя», пристрастно читавшиеся во всех уголках русского эмигрантского рассеяния. Из 112 публикаций Арцыбашева около половины вошли в его двухтомник «Записки писателя» (т. 1. Варшава, 1925.; т. 2. Черемуха. Варшава, 1927).

...ответил соглашателям кличкою «ультрафиолетовых»... — См. статью М.П. Арцыбашева «Ультрафиолетовые» (За свободу! 1923. 12, 13 декабря).

С. **619.** *«Братство русской правды»* — тайная антибольшевистская организация, созданная в 1921 г. в Берлине редактором журнала «Русская правда» (1922—1933) С.А. Соколовым (Кречетовым), П.Н. Красновым и Георгием Николаевичем, герцогом Лейхтенберг-

ским (1872—1929). Амфитеатров примкнул к «Братству» в 1927 г. и стал его летописцем: в архиве писателя сохранились неопубликованные материалы для «Бесед о БРП».

С. **619.** *«Окаянные дни»* — дневниковые записки И.А. Бунина с 1 января 1918 г. по 20 июня 1920 г., которые печаталась в парижской газете «Возрождение» с 3 июня 1925 г. и затем многократно издавались книгой.

«Солнце мертвых» (Окно. 1923. № 2; 1924. № 3. Отд. изд.: Париж: Возрождение, 1926) — роман-исповедь И.С. Шмелева, в котором отражены трагические события его жизни в Крыму с 20 августа 1921 г. по март 1922 г.

С. **620.** *По* Эдгар Аллан (1809—1849) — американский поэт, прозаик, критик; зачинатель детективного жанра в мировой литературе.

Теккерей Уильям Мейкпис (1811—1863) — английский прозаик. Автор романов «Ярмарка тщеславия» (1848), «Пенденнис» (1850), «Виргинцы» (1857).

С. **622.** *Аммалат-Бек, Мулла-Нура* — персонажи одноименных повестей А.А. Бестужева-Марлинского (см. о нем. примеч. к с. 565), поэта, прозаика, критика, участника восстания декабристов 1825 г. Сосланный в солдаты, погиб в бою на Кавказе.

Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1900) — прозаик. Автор повестей «Антон Горемыка» (1847) и «Гуттаперчевый мальчик» (1883), принесших ему известность, а также книги «Литературные воспоминания (1893).

С. **623.** *Сервантес* Сааведра Мигель де (1547—1616) — испанский прозаик, поэт, драматург. Автор шедевра мировой литературы, романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1605;1615).

Россинант — кличка лошади Дон Кихота.

С. **624.** *«Житие святого Сергия»* — житийная повесть Б.К. Зайцева «Преподобный Сергий Радонежский» (Париж: YMCA-Press, 1924).

Набоков Владимир Дмитриевич (1870—1922) — публицист, кадет, член I Государственной думы. Убит террористом в Берлине.

С. **627.** *«Фрегат "Паллада"»* (1858) — путевые записки И.А. Гончарова, совершившего в 1852—1855 гг. кругосветное плавание в качестве секретаря адмирала Евфимия Васильевича Путятина (1804—1883).

Ренников Андрей Митрофанович (наст. фам. Селитренников; 1882—1957) — прозаик, драматург, публицист. С марта 1920 г. в эмиграции. С 1921 г. ведущий сотрудник белградской газеты «Новоевремя» (1921—1930) М.С. Суворина, в которой с первого номера вел рубрики «Ма-

ленький фельетон» и «Библиография». С 1926 г. в Париже, где сотрудничает в газете «Возрождение». Автор романов «Тихая заводь» (1914), «Разденься, человек» (1917), «Диктатор мира», «Души живые» (оба 1925), «За тридевять земель» (1926), «Зеленые дьяволы» (1937), «Кавказская рапсодия» (1952), пьес «Тамо далеко» (1922), «Галлиполи», «Беженцы всех стран» (обе 1925), «Борис и Глеб», которые с успехом шли на русских сценах многих стран.

С. **628.** *Стивенсон* Роберт Луис (1850—1894) — английский прозаик-неоромантик, автор приключенческих романов.

Осоргин Михаил Андреевич (наст. фам. Ильин; 1878—1942) — прозаик, публицист, критик, переводчик, мемуарист. В 1906—1916 гг. корреспондент в Италии московской газеты «Русские ведомости» и журнала «Вестник Европы». В 1921 г. по просьбе Е.Б. Вахтангова перевел в стихах пьесу Карло Гоцци «Принцесса Турандот», которая принесла славу и ему, и режиссеру, и театру. Был заместителем председателя московского отделения Всероссийского Союза писателей. Осенью 1922 г. выслан из России (см. об этом его очерк «Как нас уехали»).

Золаизм — натурализм, крупнейшим представителем которого был французский прозаик Э. Золя.

Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — немецкий писатель и композитор.

С. **629.** *Андрей Белый* (наст. имя и фам. Борис Николаевич Бугаев; 1880—1934) — прозаик, поэт, критик, литературовед, мемуарист; автор программных работ о символизме.

С. **630.** *Горный* Сергей — псевдоним Оцупа Александра Авдеевича (1882—1949), поэта, прозаика, критика. С 1920 г. в эмиграции (Берлин, Париж, Мадрид).

С. **631.** *Робеспьер* Максимильен (1758—1794) — деятель Великой французской революции, один из вождей якобинцев. Казнен термидорианцами, свергшими диктатуру якобинцев.

...срок Первой империи... — Время правления во Франции Наполеона I Бонапарта (1804—1814 и 1815 гг.).

Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892) — французский прозаик, драматург, философ, историк-востоковед; автор известных книг «Жизнь Иисуса», «Апостол Павел», «История Израиля» и др.

Франс Анатоль (наст. имя и фам. Анатоль Франсуа Тибо; 1844—1924) — французский прозаик и публицист. Лауреат Нобелевской премии (1921).

С. **632.** *Екклезиаст* — проповедник, именем которого в Библии названа одна из книг Ветхого Завета.

Ллойд Джордж Дэвид (1863—1945) — премьер-министр Великобритании в 1916—1922 гг., один из лидеров либеральной партии.

Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (1874—1965) — английский государственный и политический деятель; премьер-министр Великобритании в 1940—1945 и 1951—1955 гг.

Клемансо Жорж (1841—1929) — в 1880—1890 гг. лидер радикалов; премьер-министр Франции в 1906—1909, 1917—1920 гг.

С. **633.** *Баторий* Стефан (1533—1586) — польский король с 1576 г., полководец.

С. **634.** *Черный* Саша (наст. имя и фам. Александр Михайлович Гликберг; 1880—1932) — поэт, прозаик, драматург, критик, переводчик, журналист. С осени 1918 г. в эмиграции. В 1921—1923 гг. редактор литературного отдела берлинского журнала «Жар-птица» (1921—1923) и альманаха «Грани» (1922—1923). С марта 1924 г. во Франции. Последние его книги — «Несерьезные рассказы (1928) и «Солдатские сказки» (1933; печатались в газете «Последние новости»).

С. **636.** *«L'Ingénu»* («Простодушный»; 1767) — философская повесть французского прозаика, философа, историка Вольтера (наст. имя Мари Франсуа Аруэ; 1694—1778).

...жене моей... — Имеется в виду Иллария Владимировна Амфитеатрова (урожд. Соколова; 1875 — после 1943), вторая жена А.В. Амфитеатрова.

С. **637.** *...«Предо мной все другие поэты — предтечи».* — Вторая строка стихотворения К.Д. Бальмонта «Я — изысканность русской медлительной речи».

Протей — греческое морское божество, мудрый старец, обладавший пророческим даром, а также способностью принимать облик зверя, воды и дерева. Отсюда — переносный смысл: непостоянный, изменчивый человек.

С. **639.** *«Ночь»* — статуя итальянского скульптора, живописца, архитектора и поэта Микеланджело Буонарроти (1475—1564).

«Персей» (1545—1554) — бронзовая статуя итальянского скульптора, ювелира и писателя Бенвенуто Челлини (1500—1511).

Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832) — немецкий поэт, прозаик, драматург, философ, естествоиспытатель.

СОДЕРЖАНИЕ

Амфитеатров А.В.
А 63 Собрание сочинений: В 10 т. Т. 9. Лиляша. Пути русского искусства. Литература в изгнании / Сост., примеч. Т.Ф. Прокопова. М.: НПК «Интелвак», 2005. — 688 с.

ISBN 5-93264-025-1 (т. 9)

В девятом томе Собрания сочинений А.В. Амфитеатрова впервые в России публикуется роман «Лиляша», написанный в эмиграции. В книгу также включены статья «Пути русского искусства» и лекция «Литература в изгнании».

УДК 882 Амфитеатров 2
ББК 84 (2Рос=Рус)1

Амфитеатров Александр Валентинович

Собрание сочинений в 10 томах
Том 9

ЛИЛЯША
ПУТИ РУССКОГО ИСКУССТВА
ЛИТЕРАТУРА В ИЗГНАНИИ

Редактор *Татьяна Горькова*
Корректор *Светлана Цыганова*
Макет и верстка *Ирины Ануфриевой*

Подписано в печать 02.03.2004.
Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 36,12.
Уч.-изд. л. 42,22. Тираж 800 экз. Заказ № 5389

Лицензия ЛР № 071768 от 15 декабря 1998 г.

Издательство НПК «Интелвак»
117105, Москва, Нагорный проезд, 7

Факс 127 3847. Тел. 127 3846. E-mail: iv@deltacom.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета в ОАО «Дом печати — ВЯТКА»
610033, г. Киров, ул. Московская, 122

ISBN 5-93264-025-1



